

И. Б. ГРЕКОВ

ВОСТОЧНАЯ
ЕВРОПА
И УПАДОК
ЗОЛОТОЙ
ОРДЫ

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ СЛАВЯНОВЕДЕНИЯ И БАЛКАНИСТИКИ

И. Б. ГРЕКОВ

ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА
И УПАДОК
ЗОЛОТОЙ ОРДЫ
(на рубеже XIV—XV вв.)



ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
ГЛАВНАЯ РЕДАКЦИЯ ВОСТОЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1975

9(М)1
Г80

Ответственный редактор
акад. Б. А. РЫБАКОВ

Книга посвящена истории политического развития Московской Руси, Литвы и Польши, их борьбе за государственную централизацию против феодального сепаратизма в связи с наступлением Золотой Орды.

Г $\frac{10604-52}{013(02)-75}$ 117-74

© Главная редакция восточной литературы
издательства «Наука», 1975

ОТ АВТОРА

В настоящей работе исследуются сложные и вместе с тем весьма важные исторические процессы, протекавшие на территории Восточной Европы на рубеже XIV—XV вв. Этот период в истории польских, русских и литовских земель оказался той переломной эпохой, когда в условиях интенсивно происходившего преодоления феодальной раздробленности и закономерно наступившего торжества сил феодальной концентрации, в обстановке напряженной борьбы на международной арене, на смену тенденции формирования этнически однородных государств, в виде возрождения их политического облика X—XII вв., приходила тенденция создания обширных многонациональных государственных систем. В результате этих перемен начала складываться новая политическая карта восточной части Европейского континента, просуществовавшая с небольшими отклонениями около четырех столетий.

Ход и результаты этой борьбы, протекавшей далеко не гладко и не равномерно, имели настолько большое значение для последующей истории стран Восточной Европы, что они уже давно стали привлекать внимание как отечественной, так и зарубежной историографии, оказавшись в фокусе острой научной и политической полемики. Еще в XIX—начале XX в. было обнаружено и опубликовано много документов по истории польских, литовских и русских земель этого времени и начат источниковедческий анализ его памятников.

Значительный вклад в исследование эпохи внесли публикации и источниковедческие работы польских историков — А. Дзялыньского [109], И. Даниловича [96], М. Круповича [110], Е. Рачиньского [82], А. Белевского [89], А. Гельцеля [103], А. Пшездзецкого [75], А. Соколовского [70], Ю. Шуйского [70], С. Пташицкого [25, 32], А. Прохаски [71, 86], Ф. Пекосиньского [83, 84, 94], Ст. Смольки [467], М. Бобржиньского [103, 467], О. Бальцера [100], Ан. Лсвицкого [70], В. Семковича [65, 68], Ст. Кутшебы [65], Ю. Фиялека [68], А. Яблоновского [99, 537] и многих других. Их усилиями были опубликованы такие важные для данной эпохи источники, как хроника Длугоша, хроника Яна из Чарнкова, огромное количество

документов частной и официальной переписки, значительный комплекс самых разнообразных актов, в том числе и актов польско-литовской унии.

Важное значение для разработки политической истории Восточной Европы XIV—XV вв. имела источниковедческая и издательская деятельность дореволюционных русских историков, подготовка таких изданий, как «Полное собрание русских летописей» [36—46], «Акты, относящиеся к истории Западной России» [9], «Собрание государственных грамот и договоров» [54], «Акты Литовской метрики» [7], изучение и публикации памятников куликовского цикла (С. К. Шамбинаго и др.) [52].

Изучение политической истории Восточной Европы в XIV—XV вв. было облегчено публикациями, отражавшими как политику Орды в восточной части Европейского континента (Тизенгаузен [58, 59], Вельяминов-Зернов [152], Березин [136], Пуласский [629, 630], А. Прохаска [617—628], М. Ждан [675]), так и политику западноевропейских феодальных сил по отношению к Польше, Литве и Руси (Тургенев [6], Тейнер [105], Бунге [85] и др.). Кроме того, для данной проблематики имели важное значение введение в научный обиход сочинений византийских авторов Григоры, Халкокондила, Дуки, Сфрантзи, Критулу [67, 73; 78; 97], опубликование актов константинопольской патриархии [33, 64], а также издание материалов по истории южного славянства, Молдавии и Валахии [12; 19^a 26; 76; 99; 542 и др.].

Но, отдавая дань публикациям и источниковедческим работам как зарубежных, так и отечественных историков, мы не можем игнорировать того обстоятельства, что общеисторические построения многих из них были не свободны от определенной политической тенденциозности, некоторой однобокости в решении тех или иных проблем исторического развития Восточной Европы.

В исторических концепциях представителей различных «национальных» школ, в их трактовках данной эпохи весьма часто выступала концепция национальной обособленности, а иногда и национальной «исключительности», стремление либо искусственно изолировать историю своего народа от исторического развития других родственных народов, либо изобразить историю своей страны в качестве «доминанты» исторической жизни всей Восточной Европы.

Так, если иметь в виду польских историков старших поколений, то они готовы были видеть в данной эпохе, ознаменованной заключением польско-литовской унии, либо присоединение к Польше «исконных польских» территорий, поскольку украинцы и белорусы, по мнению некоторых историков этой школы, как, например, Духинского [481—483], были лишь разновидностью польской народно-

сти, либо претворение в жизнь давно созревшей «ягеллонской идеи», намеченной «свыше» программы инкорпорации великого княжества Литовского в состав польского государства (с теми или иными отклонениями такие взгляды высказывали К. Шайноха [656], Ю. Шуйский [658], Ф. Конечный [556—558], А. Левицкий [580] и др.).

Дальнейшее развитие польской домарксистской историографии, изучавшей данную эпоху, было связано как с выдвижением новых, несколько «усложненных» концепций, так и с попытками более развернутой их аргументации.

Так, стремясь доказать если не «извечность» сложившихся на рубеже XIV—XV вв. политических границ Восточной Европы, то по крайней мере «исторические права» Польши на эти границы, польские историки конца XIX — начала XX в. использовали самые разнообразные историко-политические аргументы. Они прибегали к гипертрофированной оценке деятельности Ягеллонов, и прежде всего короля Ягайло, который благодаря своей «необыкновенной» политической дальновидности обеспечил якобы реализацию польско-литовской унии (Прохаска [618; 619; 622; 625], Колянковский [553]). Они прибегали также к теориям «геополитического предопределения», сыгравшим будто бы решающую роль в процессе сращивания Литвы и Западной Руси с польским государством. Это «предопределение», по утверждению О. Галецкого, нашло отражение в факте появления на свет так называемой ягеллонской идеи, которая и оказалась будто бы «мотором» в заключении польско-литовской унии [510; 511; 517]. Польские историки того времени часто вставляли на путь прямой идеализации тех порядков, которые складывались в польско-литовском государстве после унии; в частности, исходя из тезиса о культурном и государственно-правовом превосходстве Польши над Литовской Русью, польские историки выдвигали концепцию быстрого и радикального ее перерождения под воздействием значительно более «цивилизованной» Польши и в то же время концепцию мирного и равноправного сосуществования Польши, Литвы и западных земель Руси в рамках этого государственного объединения.

Эта последняя концепция федерального устройства польско-литовского объединения получила особенно широкое распространение среди польских медиевистов первой половины XX в. (М. Лимановский [582], Л. Василевский [663], С. Зайончковский [671], О. Галецкий [510; 511], Г. Пашкевич [608а; 610] и др.).

По-видимому, концепция федерального устройства польско-литовского объединения выдвигалась с целью не только оправдать и «освятить» наступательную политику польского феодального госу-

дарства на территории Восточной Европы в XIV—XVI вв., но также и противопоставить «европейский федерализм» польско-литовского государственного комплекса «азиатскому централизму» Владимирско-Московской Руси.

Насколько недостаточно обоснованной была идеализация «федеральных порядков» в государственном объединении, создании польско-литовской унии, насколько малооправданными были попытки противопоставления политической структуры этого объединения политическому строю Великого Владимирского княжения, свидетельствовало уже нечеткое раскрытие таких явлений, как федерализм и уния, расплывчатое толкование терминов, обозначающих эти явления. Если в унии тогдашние польские историки готовы были видеть самые различные варианты взаимоотношений двух государственных образований (от прямой инкорпорации одного государства другим до союза равноправных партнеров), то в федерализме польско-литовского политического комплекса они усматривали либо то, что было в равной мере характерно как для польско-литовского объединения, так и для Великого Владимирского княжения (например, значительные пережитки феодальной раздробленности в виде существования отдельных земель-княжеств, сохранявших свою автономию), либо то, что было противоестественным для этнически однородной в тот период Владимирско-Московской Руси и вполне естественным для многонациональной польско-литовской государственной системы (например, частые проявления так называемого литовско-русского сепаратизма, выражавшие довольно устойчивую тенденцию самостоятельного функционирования двух государственных организмов, объединенных на первых порах лишь формальным «верховенством» одного монарха).

Признавая весьма распространенной в польской историографии концепцию федерального устройства польско-литовского объединения на рубеже XIV—XV вв., нельзя не отметить существования в ней и иных взглядов на данную эпоху политической истории Восточной Европы. Так, довольно значительная группа польских медиевистов отстаивала тезис о прямой и непосредственной инкорпорации Польшей великого княжества Литовского уже в 1385 г. или, во всяком случае, тезис о существовании такой «максималистской» программы в правящих кругах польского королевства на рубеже XIV—XV вв. Эта последняя группа польских историков не была монолитной: одни историки (Бальцер [459а], Колянковский [553]) придерживались того мнения, что бескомпромиссная и прочная с самого начала инкорпорация Литвы польским государством явилась результатом резкого превосходства «европейской» Польши над «отсталым» великим княжеством Литовским, что в дальнейшем этот

сцементированный Польшей политический организм оказался форпостом Европы в борьбе с «азиатской Москвой».

Другие историки, склонные трактовать соглашение 1385 г. как акт инкорпорации (например, Г. Ловмянский [585; 586]), рассматривали данную эпоху в конкретно-историческом плане и в аспекте широких исторических сопоставлений. Так, подобный подход к Кревской унии позволил трактовать ее не с позиций каких-то особых преимуществ феодальной Польши перед другими феодальными странами Восточной Европы, а с позиций признания параллелизма в историческом развитии ряда восточноевропейских государств, идентичности внешнеполитических программ феодальных государств этой части Европейского континента — иными словами, с таких позиций, которые, по существу, исключали возможность противопоставления «европейской» Польши «азиатской Москве»¹.

Русские историки XIX — начала XX в. также уделяли определенное внимание данной эпохе, которой касались в своих общих работах по истории России Н. М. Карамзин [229], С. М. Соловьев [369], В. О. Ключевский (238), специально занимались ею А. В. Экземплярский [435], А. Барбашев [126; 127], М. К. Любавский [272—277], позднее А. Е. Пресняков [317; 318], И. И. Лаппо [250], В. И. Пичета [313, 314], А. А. Шахматов [427—432], М. Д. Приселков [319; 320; 322; 323].

Значительное внимание локальной истории рассматриваемой эпохи уделяли украинские историки В. Б. Антонович [120], Н. П. Дашкевич [188], И. А. Линниченко [256, 257] и М. С. Грушевский [173—182]; белорусские исследователи в XIX — начале XX в. лишь приступили к изучению прошлого своего края [310]. Говоря о собственно литовской историографии данной эпохи, следует упомянуть имена Т. Нарбута [597], С. Даукантаса (XIX в.), И. Басанавичюса (начало XX в.), в буржуазной Литве этот период разрабатывался коллективом литовских историков под руководством А. Шапоки [660].

Однако как в польской историографии, так и в трудах русских, украинских, белорусских и литовских исследователей мы сталкиваемся с попытками представителей различных «национальных школ» либо изолировать «свою» историю от якобы «чужой» истории родственных народов, либо изобразить историю «своего» народа, «своего» государства в качестве главной магистрали всего восточноевропейского исторического процесса.

¹ Все эти концепции получили то или иное отражение в дискуссии польских историков середины 30-х годов [449; 450; 451; 585; 610 и сл.].

Так, многие русские историки XIX — начала XX в., уделяя довольно значительное внимание истории Руси XIII—XV вв., видели в этом периоде несложную историческую судьбу всех частей русской земли, оказавшихся политически разьединенными, но все еще сохранявших сознание своего этнического, языкового и культурного единства, а прежде всего судьбу той части русской земли, на которой происходило тогда становление правящего дома Ивана Калиты — Дмитрия Донского — Ивана III и постепенное превращение удельного Московского княжества в обширное Московское государство.

Но, интересуясь главным образом судьбой правящей династии и судьбой той территории, на которой происходило при участии этой династии «собрание земли и власти», эти историки, как правило, забывали о том, что торжеству Москвы в Северо-Восточной Руси предшествовал длительный период борьбы ряда центров русской земли, в том числе западнорусских земель, за восстановление ее былого единства, период той самой борьбы, в которой Москва выступала лишь в качестве одного из претендентов на роль объединителя всей русской земли. Эти историки не отдавали себе отчета в том, что так называемый удельный период в истории Руси был эпохой полицентрализма русской земли, что на протяжении XIII—XIV вв. сначала несколько центров стремились осуществить программу объединения Руси, а потом по мере роста сил феодальной концентрации остались только два претендента на эту роль — Великое Владимирское княжение и великое княжество Литовское и Русское. Русские историки XIX — начала XX в. не обращали должного внимания на то обстоятельство, что оба политических организма выступали довольно длительное время с одной политической программой — программой объединения всех русских земель под эгидой одной из соперничавших сторон. Не замечая конфронтации Москвы и Вильно на почве борьбы за объединение всех русских земель, эти историки мало интересовались и причинами незавершенности этой борьбы.

Однако было бы ошибкой утверждать, что игнорирование истории западнорусских земель характерно для всей старой русской историографии. Отдельные ее представители проявляли значительный интерес к истории этого края: М. Коялович [244], Ф. Леонтович [252, 253], М. В. Довнар-Запольский [196, 197], М. Ф. Владимирский-Буданов [156; 157], М. К. Любавский [274, 275]. Правда, при этом они не замечали, что на вошедших в состав польско-литовского государства западнорусских землях происходил в XV—XVII вв. процесс формирования белорусской и украинской народностей.

Этой последней стороне восточноевропейского исторического процесса стали придавать определенное значение такие наши историки, как В. Б. Антонович [120, 121], Н. П. Дашкевич [188; 189], И. Линниченко [256; 257] и др. Собрав большой документальный материал по истории Галицкой Руси и по истории Поднепровья, они внесли также свой вклад и в исследование политической жизни восточноевропейских стран XIV—XV вв. Но если вышеназванные историки, изучая историю украинских земель, не отрицали существования родственной близости всех частей восточного славянства, то работавший на рубеже XIX—XX вв. М. С. Грушевский, отрицая существование единой древнерусской народности как исторической основы позднее возникших трех братских народностей (русской, украинской, белорусской), не видел параллелизма исторического развития великого княжества Литовского и Великого Владимирского княжения, в равной мере стремившихся восстановить в XIV в. былое единство русской земли. Игнорируя постоянно проявлявшееся тяготение друг к другу украинского, белорусского и русского народов, Грушевский создал исторически неверную картину изолированного существования якобы чуждых друг другу восточнославянских народов, картину «извечной» вражды «украинской нации» к «московщине», а тем самым допустил явную тенденциозность в раскрытии всего восточноевропейского исторического процесса в феодальную эпоху.

Концепция Грушевского продолжает оставаться идейным фундаментом всей современной «школы» украинских буржуазных националистов, развернувшей свою «работу» за рубежом, а также других буржуазных исследователей истории Восточной Европы, которые видят свою главную задачу в сталкивании восточнославянских народов друг с другом, в искусственной дезинтеграции восточнославянского исторического процесса.

В связи с изложенным становится очевидным, что для советской историографии отнюдь не потеряли своего значения критика взглядов Грушевского, а также преодоление однобокости исторических построений дореволюционных русских историков, либо не замечавших формирования украинской и белорусской народностей, либо сводивших весь общерусский исторический процесс к истории правящей династии, к истории «государства Российского».

Но, критикуя эти неверные концепции, мы должны противопоставить им такое понимание истории Восточной Европы рассматриваемого времени, которое учитывало бы диалектику восточноевропейского исторического процесса, имело бы в виду как тенденцию обособления в этом процессе, так и тенденцию его единства; мы должны противопоставить им такое понимание данного процес-

са, которое позволяло бы говорить как о формировании русского, белорусского и украинского народов, так и о существовании исторически устойчивой семьи восточнославянских народов — народов, по словам В. И. Ленина, братских, «столь близких и по языку, и по месту жительства, и по характеру, и по истории» [5, 342].

Рассматриваемая в работе эпоха изучалась также советской и польской послевоенной историографией. Пользуясь марксистскими методами исследования, советская и современная польская историческая наука по-новому подошла к изучению истории Восточной Европы.

Вставшая на путь марксистского развития польская историография решительно отказалась от апологетики восточной экспансии феодальной Польши, стала придавать важное значение этническому принципу в историческом развитии феодальных государств Восточной Европы и вместе с тем уделять большое внимание изучению истории экономических и культурных связей Польши с народами СССР. Это новое направление в работе польских историков получило отражение не только в фундаментальном издании «История Польши» под редакцией Г. Ловмянского [527], но и в отдельных частных исследованиях В. Влодарского [666], Я. Башкевича [463], А. Гейштора [497], Ж. Бардаха [461], С. Кучиньского [566, 567], Е. Охманьского [605], С. Зайончковского [670]. Много ценного для источникововедения данной эпохи дали работы А. Ветулани [662], Я. Дамбровского [477], К. Перадской [616], Б. Кюрбусовны [570].

Важные сдвиги в изучении рассматриваемого времени произошли и в советской историографии. Многие вопросы в области источникововедения были освещены в работах М. Д. Приселкова [60; 323; 325; 326], М. Н. Тихомирова [381—386], Б. А. Рыбакова [336—342], Д. С. Лихачева [264—269], Л. В. Черепнина [414; 415; 418], Н. Н. Воронина [160], А. Н. Насонова [292—296], В. Ф. Ржиги [330—331], Н. Г. Бережкова [135], К. Н. Сербиной [60], Я. С. Лурье [278; 280], А. Г. Кузьмина [246], А. И. Рогова [332; 333], Л. А. Дмитриева [192—194], Ю. К. Бегунова [129—131], М. А. Салминой [345], Р. П. Дмитриевой [195], М. Ючасы [437, 438], В. А. Чемерицкого [412], Я. Н. Шапова [433, 434] и др. Важную роль в новом осмыслении истории как всей Восточной Европы, так и отдельных населяющих ее народов сыграли прежде всего обобщающие работы по истории СССР, по истории Украинской, Белорусской и Литовской ССР, по истории Польши и Византии, а также многочисленные монографии таких исследователей, как М. Н. Тихомиров [382—385], Б. А. Рыбаков [336], В. В. Мавродин [281—283а], Л. В. Черепнин [415; 416; 417], Д. С. Лихачев [262—269], Н. Н. Воронин [160, 161], А. Н. Насонов [294—296], В. Н. Лазарев

[248, 249], В. Т. Пашуто [306—308], В. Д. Королюк [239], А. А. Зимин [202—205], А. М. Сахаров [348; 349], К. В. Базилевич [302, 303], А. Ю. Якубовский [168], М. Г. Сафаргалиев [350], Г. А. Федоров-Давыдов [403], В. О. Довженок [219], К. Г. Гуслистый [184], Ф. П. Шевченко [219], В. И. Перцев [218; 310], Л. С. Абцеदारский [111, 218], Л. С. Пьянков [218], Ю. И. Жюгжда [220, 200^a], Ю. Юргинис [220], Б. И. Дундулис [198; 199], М. Ючас [436—438] и др.

Хотя советская историография в принципе признает недостаточным изолированное изучение истории отдельных народов (в этом отношении особенно показательно осуждение старой практики интерпретации истории России в отрыве от прошлого других народов СССР), тем не менее у нас еще мало сделано для того, чтобы такой метод стал универсальным, в частности чтобы изучение прошлого таких исторически близких народов, как украинский, русский, белорусский и литовский, велось в последовательном раскрытии их взаимосвязи и взаимодействий, чтобы исследование параллельных процессов в исторической жизни этих народов осуществлялось в сравнительно-историческом плане. Именно поэтому представляются вполне оправданными попытки советских историков изучать исторические пути родственных народов не в их искусственной разобщенности, а в той их реальной взаимосвязанности, какая существовала в действительной исторической жизни.

Вполне правомерно, в частности, утверждение современного литовского историка Б. И. Дундулиса о том, что при анализе хода борьбы великого княжества Литовского за свою независимость в XV в. необходимо учитывать не только роль собственно Литвы, но также роль Руси, украинских и белорусских земель, входивших в состав этого феодального государства, и признание Дундулисом того обстоятельства, что задача изучения взаимоотношений этих народов является весьма актуальной и что эта проблема ждет своего исследователя [199, 4].

Нам представляется, что задача исторической науки на современном этапе действительно должна состоять не в том, чтобы изолированно изучать какую-либо одну сторону, одну тенденцию исторической жизни Восточной Европы, и тем более не в том, чтобы гиперболизировать или абсолютизировать ее, а в том, чтобы, учитывая всю сложность и противоречивость тогдашней политической обстановки, рассматривать параллельно все главные протекавшие здесь процессы, исследовать различные тенденции политической жизни в их взаимосвязи и взаимодействии.

Автор считает важным сравнительное изучение тех параллельных процессов в историческом развитии польских, литовских и русских земель XIV—начала XV в., которые привели к образованию

ряда крупных феодальных государств в данной части Европейского континента. Автор исходил из того положения, что если сам факт создания больших государственных образований был обусловлен прежде всего определенным этапом развития феодальной формации, определенной расстановкой классовых сил, закономерно наступившим торжеством программы феодальной концентрации, то темп, масштабы, в какой-то мере характер процессов, приведших к формированию этих государств, во многом зависели от конкретного хода политической борьбы, происходившей между всеми восточно-европейскими странами, от того или иного соотношения сил на международной арене, от той или иной активности в данной части Европейского континента ордынской державы и западной дипломатии.

В настоящей работе автор выдвинул в качестве предмета исследования в основном две ведущие тенденции политической жизни восточноевропейских стран того времени: с одной стороны, тенденцию формирования этнически однородных феодальных государств (обусловленную процессами восстановления былого единства древнепольских и древнерусских земель), а с другой — тенденцию складывания многонациональных государств, порожденную особой сложностью внутривосточноевропейского и международного развития восточноевропейских стран на рубеже XIV—XV вв.

Если говорить о более конкретных задачах работы, то они состояли в том, чтобы, во-первых, определить характер исторического развития восточноевропейских стран — Польши, Литвы, Владимирского княжения — накануне того сдвига в политической жизни Восточной Европы, который был ознаменован актом польско-литовской унии 1385 г.; во-вторых, показать конкретно-исторические обстоятельства заключения унии Польши с Литвой в конце XIV в.; в-третьих, проследить на протяжении трех-четырех десятилетий политическую эволюцию восточноевропейских государств, которая привела к формированию новой политической карты ведущих стран Восточной Европы на рубеже XIV—XV вв.

Выполняя эту работу, автор, естественно, не мог оставить вне поля зрения те важные исторические процессы, которые происходили в предшествующую эпоху, так как без этого трудно понять главные линии политического развития ведущих стран Восточной Европы на рубеже XIV—XV вв. и характер международной борьбы того времени.

ГЛАВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
СТРАН ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ
XIII — ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIV в.
И СТАНОВЛЕНИЕ ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКОЙ
ПОЛИТИКИ ОРДЫ

Обращаясь к сложным путям исторического развития польских, русских и литовских земель в раннефеодальную эпоху, мы обнаруживаем в них много общего, выявляем ряд аналогичных по своей сущности исторических процессов.

Здесь прежде всего следует иметь в виду параллельное становление древнепольского и древнерусского раннефеодальных государств, сыгравших, как известно, одинаково важную роль в исторических судьбах восточного и западного славянства, в развитии феодальных отношений на польских и русских землях, в завершении формирования древнепольской и древнерусской народностей.

В сущности, историческая жизнь этих государств протекала синхронно, в рамках одних и тех же тенденций развития в эпоху феодальной раздробленности, когда в условиях напряженной борьбы центробежных и центростремительных сил периодически выдвигалась программа восстановления былого единства как древнепольских, так и древнерусских земель.

Так, можно считать, что в феодальной Польше XII—первой половины XIII в. программа воссоздания ее былой целостности выдвигалась довольно часто. Само заведение Болеслава Кривоустого (1138 г.), справедливо связываемое многими историками с фактическим укреплением феодальной раздробленности в стране [575; 527, 228—230], было вместе с тем своеобразной попыткой сохранить в какой-то форме целостность древнепольских земель [592]. Важные акции для поддержания единства

феодалной Польши были предприняты при Владиславе II (1138—1146) и при Болеславе IV Кудрявом (1146—1173) [527, 304 и сл.].

И в дальнейшем попытки восстановления единства древнепольских земель не прекращались [505, 92—115, 133—143], а национальное самосознание польской народности не только не исчезало, но и углублялось [463, 452, 527, 248—249]. По сути, программа объединения польских земель определила политику польского князя Генриха Бородатого, сумевшего в 30-х годах XIII в. консолидировать в рамках единого политического целого такие польские земли, как Силезия, Малая Польша, любушская земля, Великая Польша [505, 143, 150]. В рамках этой же политической программы (предполагавшей не только территориальную консолидацию, но и соответствующее юридическое оформление намечаемых сдвигов, в частности коронацию польского князя) действовал и его сын Генрих II Благочестивый (1238—1241). Однако тенденция к феодальной концентрации не давала прочных и стабильных результатов; тенденция к феодальной раздробленности оказывалась сильнее.

Такое соотношение сил в борьбе двух указанных тенденций обуславливалось определенным уровнем социально-экономического развития феодальной Польши того времени и ее весьма сложным международным положением (в частности, усилением натиска германских феодалов, созданием на польских и прусских землях Тевтонского ордена, появлением с 40-х годов XIII в. реальной угрозы со стороны татаро-монголов и т. д.) [587; 214, 75—80].

Почти в таких же условиях происходило в XII — первой половине XIII в. и историческое развитие русской земли. Политическая жизнь феодальной Руси в этот период протекала также в рамках непрекращавшихся столкновений центристремительных и центробежных сил, в постоянной конфронтации программы консолидации древнерусских территорий с программой политического дробления русской земли¹.

¹ Говоря об этом периоде в развитии феодальной формации на русских землях, А. Н. Насонов писал, что его «исследование обнаруживает наряду с тенденциями к обособлению, с действиями факторов разъединяющих существование тенденций к объединению, действие факторов связывающих» [295, 26—27].

Весьма характерной в этом смысле была эпоха первой половины XII в., когда подавляющая масса феодалов, укреплявшаяся в отдельных частях русской земли, продолжала тем не менее видеть в относительно единой русской державе наиболее надежного защитника своих классовых интересов внутри страны и на международной арене. Не случайно в этот период постепенного расширения фактической автономии отдельных областей многие феодалы продолжали выступать за сохранение в той или иной форме целостности русской земли. По сути дела, тенденция сохранения общерусского единства выражалась тогда не только в таких фактах, как установление «единодержавия» одного князя на всем пространстве русской земли (например, Владимира Мономаха или Мстислава Владимировича), но и в таких явлениях, как заключение между различными княжескими группировками тех или иных политических компромиссов. В данном случае речь должна идти и о проведении княжеских съездов, и о практике совместного управления русской землей несколькими князьями, об установлении «двуумвиратов» или «триумвиратов».

Когда же компромиссы между князьями не удавались, тенденция сохранения целостности Руси, видимо, проявлялась некоторое время в открытой борьбе различных княжеских группировок за осуществление тех или иных вариантов общерусской программы, вариантов, отличавшихся друг от друга сначала только личностью князя — претендента на ведущую роль в русской земле (и стоявшей за ним той или иной группировкой менее влиятельных князей), а потом и тем городом, вокруг которого должно было произойти объединение всех древнерусских территорий.

Весьма характерно, что развернувшаяся в середине XII в. борьба между князем Юрием Долгоруким и князем Изяславом Мстиславичем была для каждого из них борьбой за «свой» вариант сохранения единства всей русской земли, но при этом такой вариант, реализация которого требовала обязательного утверждения Киева как города, все еще остававшегося едва ли не единственным символом целостности Руси. Что касалось напряженной борьбы различных княжеских группировок второй половины XII — первой трети XIII в., то она часто также оказывалась выражением их соперничества на

почве того или иного отстаивания программы общерусского единства, причем тогда наряду с Киевом выдвигались и новые объединительные центры — Чернигов, Владимир, Смоленск и т. д. Разумеется, их рост обуславливал относительное ослабление Киева, а не его абсолютное запустение, что не всегда различается.

Симптомы консолидации Руси вокруг новых центров можно видеть в политике многих русских князей второй половины XII — первой трети XIII в. Такие попытки предпринимал владимирский князь Андрей Боголюбский (1157—1174), который не только добился подчинения Владимиру Рязани, Смоленска, Полоцка, Великого Новгорода, но и пытался распространить влияние этого нового центра на Южную Русь (поход на Киев 1169 г., оставление в Поднепровье своих «наместников»: Глеба в Киеве, Владимира Глебовича в Переяславле и т. д.) [36, 348, 354—355, 357, 361].

Видимо, в связи с такой политикой Андрея Боголюбского следует рассматривать и его попытку создания в 60-е годы XII в. новой русской митрополии во Владимире².

План консолидации русских земель вокруг Владимира выдвигал и другой хорошо известный владимирский князь — Всеволод Юрьевич Большое Гнездо (1176—1212), сумевший, несмотря на прогрессирующую феодальную раздробленность, широко раздвинуть границы своего политического влияния: ему удалось в той или иной мере подчинить себе Рязань, Смоленск, Великий Новгород, Киев, в политических контактах с ним были также заинтересованы и галицкие князья [36, 386, 389].

В рамках данной политической программы действовал, в сущности, и преемник князя Всеволода на Владимирском столе — князь Юрий (1218—1238), которому удалось сохранить связи Владимира с Рязанью, Смоленском, Витебском, Великим Новгородом (в 1221 г. он основал Нижний Новгород) [323, 72, 82—87; 264, 270—271; 336, 302—303].

Но владимирские князья не были единственными

² Характерно, что Царьград отверг эту попытку Андрея Боголюбского, мотивируя свой отказ недопустимостью существования двух митрополий в одной и той же стране и невозможностью упразднения старой митрополии всей Руси в Киеве [285, т. 3, 298—300].

претендентами на ведущую роль в процессе консолидации русской земли. Весьма активными в осуществлении подобных замыслов были черниговские князья. Они энергично добивались утверждения своего влияния в рамках всей русской земли, многие из них занимали не только собственно черниговский, но и киевский стол, они часто направляли своих представителей на берега Волхова, сотрудничали с князьями Смоленска³. Тогда в глазах данной княжеской группировки именно Чернигов оказывался главным городом Руси, а «мать городов русских» — Киев рассматривался ею лишь как политический придаток этого нового центра. В 1175 г. черниговский князь Святослав совершил даже наезд на Киев, подобный тому, какой в 1169 г. позволил себе Андрей Боголюбский [36, 366].

Среди княжеств, претендовавших в эпоху феодальной раздробленности на ведущую роль в политической жизни всей русской земли, были также Галичина и Волынь. Если в середине XII в. перед угрозой феодальной экспансии со стороны Польши и Венгрии Галицкая Русь отстаивала свое положение составной части русской земли, выступая лишь в качестве партнера одного из претендентов на гегемонию в общерусском масштабе, а именно суздальского князя Юрия Долгорукого (ведя при этом борьбу с другим претендентом — киевским князем Изяславом Мстиславичем), то позднее, во второй половине XII — начале XIII в., при князьях Ярославе Осмомысле (1153—1187), Владимире Ярославиче (1188—1199) и особенно при князе Романе Мстиславиче (погиб в 1205 г.) роль Галицко-Волынской Руси в системе русских княжеств становилась все более активной и более самостоятельной. Так, князь Роман Мстиславич подчинил в 1201 г. своему контролю Киев, объявил себя великим князем, заставил считаться с собой и Великий Новгород [306, 9, 19, 30, 191—193]. Еще более увеличился удельный вес галицко-волынской земли в политиче-

³ Политической активностью в общерусском масштабе отличались черниговские князья Всеволод Ольгович (ум. в 1146 г.), Ярослав Всеволодович (княжил в Чернигове с 1176 по 1199 г.), Святослав Всеволодович (занимал киевский стол с 1176 по 1194 г. с одногодичным перерывом в 1181 г.), Всеволод Святославич Черемный (несколько раз княжил в Киеве в начале XIII в.), Михаил Всеволодович (находился в Киеве в 1236—1238, 1241 гг., в 1246 г. погиб в Орде) [281, 226—279].

ской жизни феодальной Руси при князе Данииле Романовиче [219, 96—105, 269], открыто претендовавшем не только на подчинение Галицко-Волынской Руси, но и на первенство в Поднепровье, в Северо-Западной Руси, на ведущую роль в системе всех русских княжеств.

В XII — первой половине XIII в. на территории обширной русской земли существовало несколько княжеских группировок, а вместе с тем и несколько феодальных центров, параллельно выдвигавших программу восстановления былого единства Руси [225, т. II, 27—29, 519, 522; 131] ⁴.

Происходившая тогда между различными княжескими группировками борьба за тот или иной вариант консолидации Руси не давала сколько-нибудь стабильных результатов; объективно эта борьба приводила к дальнейшему развитию феодальной раздробленности [336, 301]. Но, говоря о сосуществовании двух тенденций исторического развития феодальной Руси домонгольского периода, мы должны отдавать себе отчет в том, что каждая из них имела свои социально-экономические предпосылки. Мы хорошо знаем, какие экономические факторы содействовали утверждению центробежных сил в исторической жизни Руси того времени. Эта проблема получила всестороннее освещение в советской историографии [302, 270—320; 336, 301 и сл.]. Но, видимо, и центростремительная тенденция питалась не только «памятью» об историческом прошлом Руси, но также и какими-то реальными экономическими и политическими стимулами. Так, мы не должны игнорировать того обстоятельства, что перемещение столицы обширного феодального государства в новый центр сулило феодальным верхам этого центра усиление их экономических и политических позиций. Именно в столице обширного феодального государства должен был сосредоточиваться «национальный доход» всей страны, создававшийся из дани, штрафов и т. д. Именно здесь, в столице, должно было происходить распределение и перераспределение земельного фонда страны в пользу той или иной группировки

⁴ Существование этой общерусской программы получило отражение не только в русском летописании того времени, но также в таких хорошо известных литературных памятниках, как «Слово о погибели Русской земли», «Слово о полку Игореве» и т. д. [225, т. II, 27—29, 519; 522, 131].

феодалов, именно здесь должны были решаться основные вопросы внутренней и внешней политики всего государства, разумеется, с учетом интересов местных феодалов, а также интересов местной княжеской династии. Ничего не было удивительного в том, что какая-то часть местных феодалов, прежде чем удовлетвориться программой-минимум в виде «замыкания» в своем княжестве, мечтала об осуществлении программы-максимум, нацеленной на создание в их городе нового центра Руси, а также на превращение их самих в хозяев русской земли в целом.

Говоря о сложном и противоречивом историческом развитии феодальной Руси накануне появления в Восточной Европе татаро-монгольских завоевателей, нельзя упускать из виду и тех важных исторических процессов, которые происходили в данный период на соседних с Русью землях, в частности на литовских. Весьма характерно, что процесс становления раннефеодальной литовской государственности протекал на единой этнической основе. Так, в первой половине XIII в. Литовское княжество складывалось путем включения в его состав основных собственно литовских территорий: к 1240 г. под контролем литовского князя Миндовга уже находились Аукштайтя, Жемайтя, Делтува, Нальша, Каршува и некоторые другие земли [581, т. II, 334—345; 220, 81, 115]. Характеризуя итоги объединительной политики князя Миндовга, летописец писал: «И нача княжити один во всей земле Литовской», «великий князь Литовский самодержечь был во всей земле Литовской» [37, 815, 831, 858].

В этот период отношения между литовским княжеством и княжествами Северо-Западной Руси не выходили за рамки обычных отношений между соседними феодальными государствами. Были этапы сотрудничества и совместного противодействия натиску Тевтонского ордена, укреплявшегося тогда в Поморье и Пруссии (известны договоры между Литвой и Новгородом 1213 г., между Литвой и Галицко-Волынской Русью 1219 г., тесные контакты Литвы с Черной Русью — Новгородом, Слонимом, Волковыском, Полоцком, Минском, Берестьем и т. д.), но были и этапы соперничества и даже вооруженных конфликтов (поход литовцев на Чернигов 1220 г., литовские набеги на западнорусские территории 20—

30-х годов XIII в. и т. д.), а также вооруженные выступления русских князей против Литвы [308, 366—376; 218, 63—65].

Однако при усиливавшемся натиске Тевтонского и Ливонского орденов тенденция к установлению сотрудничества между Литвой и западнорусскими землями постепенно брала верх, хотя еще и не приводила к полному сращиванию двух самостоятельных политических организмов в одно государство.

Таковыми представляются основные линии политического развития литовских, русских, а также польских земель в первой половине XIII в., в период утверждения воинственных орденов на территории Восточной Прибалтики, в эпоху, предшествовавшую появлению в Восточной Европе татаро-монгольских завоевателей.

* * *

В странах Восточной Европы 30—50-х годов XIII в. происходили важнейшие события: с одной стороны, усилился натиск западноевропейских феодальных сил на польские, литовско-прусские и русские земли с помощью укрепившегося тогда орденского государства (в 1237 г. Тевтонский и Ливонский ордена объединились) и с помощью Бранденбурга (в 1249 г. он захватил любешскую землю), с другой — произошло вторжение татаро-монгольских завоевателей, приведшее не только к невиданному по масштабам разорению русских и польских земель, но и к установлению политического господства Орды в Восточной Европе.

Правда, в напряженной борьбе с захватчиками народов Восточной Европы все же иногда удавалось ослабить нажим западноевропейских феодальных сил, а также останавливать или замедлять продвижение татаро-монгольских завоевателей. Так, скованная явным и скрытым сопротивлением Руси Орда не могла подчинить своему непосредственному контролю политическую жизнь Польши, хотя последняя далеко не всегда оказывала энергичное сопротивление ордынским вторжениям (из трех военных кампаний 1241, 1259 и 1287 гг. ордынцы встретили активное противодействие на польской земле лишь в первой кампании) [560, 463, 150—151].

В середине и второй половине XIII в. активную борь-

бу с наступлением Бранденбурга и Ордена вели народы Польши [587, 670, 527, 336—345], Восточной Прибалтики [214, 78, 79; 220], Северо-Западной Руси под руководством Александра Невского [307].

Тем не менее наступление западноевропейских феодальных сил и вторжение татаро-монгольских завоевателей сыграли весьма значительную роль в дальнейшем историческом развитии стран Восточной Европы, хотя они, по нашему мнению, и не изменили радикальным образом тех исторических процессов феодального «дробления» и феодальной концентрации, которые происходили здесь в предшествующий период и продолжались, правда в несколько ином темпе, в последующую эпоху.

В историческом развитии феодальной Польши второй половины XIII — начала XIV в. борьба центробежных и центростремительных сил характеризовалась постепенным преобладанием последних [214, 99—103; 527, 419—435].

Процессы феодальной концентрации на польских землях обнаруживали себя в фактах почти одновременного выдвижения несколькими центрами программы объединения древнепольских территорий; этими объединительными центрами прежде всего были Малая Польша, Великая Польша и Силезия [463, 237—248]. Так, уже в 80-х годах XIII в. малопольский князь Лешек Черный пытался консолидировать малопольские земли как ядро последующего объединения всей Польши [463, 248—251]. Правда, эта попытка была сорвана противодействием малопольских możnowładców, а также вторжением татаро-монгольских завоевателей (1287 г.), тем не менее она ясно говорила о наличии тенденции к консолидации польских земель.

Этим же задачам была подчинена и политическая деятельность преемника Лешека Черного — силезского князя Генриха IV Пробуса, пытавшегося увязать консолидацию страны с предоставлением ему польской короны [464, 44—53; 463, 252—256]. (Переговоры по этому поводу с римской курией были прерваны только после смерти Генриха Пробуса, последовавшей в 1290 г.)

В рамках этой же объединительной программы действовали в то время и феодалы Великой Польши, оказавшиеся под угрозой натиска Бранденбурга и Ордена, и действовали, надо сказать, более успешно, чем их

малопольские партнеры. Уже в 1278 г. князь Пшемислав II добился консолидации великопольских земель; в 1290 г. после смерти Генриха Пробуса он оказался обладателем Кракова, а позднее и Восточного Поморья. Правда, Пшемиславу II не удалось удержать за собой краковского удела, доставшегося чешскому королю Вацлаву, тем не менее он уже в 1295 г. получил польскую корону, сделав тем самым важный шаг на пути юридического оформления процесса консолидации страны [461, 251; 463, 262—269, 400 и сл.].

Устранение Пшемислава II с политической арены (он был убит в 1296 г. подосланными из Бранденбурга агентами) не оказало сколько-нибудь значительного влияния на процесс консолидации польских земель. Уже в 1300 г. его умело использовал в своих интересах чешский король Вацлав, добившийся тогда предоставления ему польской короны. Выражением объединительных процессов явилась и яркая политическая карьера польского князя Владислава Локетки (1306—1333), который после долгой и упорной борьбы объединил почти все польские земли, став в 1320 г. обладателем польской короны. В состав этого государства были включены почти все польские земли, за исключением Мазовии, Силезии, Поморья, части Куявии [527, 432—440; 463, 401—410].

Весьма характерно, что процессы консолидации польских земель, происходившие на рубеже XIII—XIV вв., получили прямое отражение в развитии польского летописания (осуждение феодальной раздробленности, апологетика великопольского князя Пшемислава II в Великопольской хронике конца XIII в. [570, 60], критика сепаратизма удельных князей в Краковской хронике [89, т. II, 147]), в практике подчеркивания общепольского значения отдельных «местных святых» (великопольского св. Войцеха [89, т. I, 184—222], малопольского св. Станислава [89, т. IV, 319—438], силезской св. Ядвиги [89, т. IV, 501]), в утверждении польского языка в политической и церковной жизни страны [461, т. I, 244], наконец, в появлении особых дипломатических документов, фиксировавших переговоры претендентов на польскую корону с папской курией (так называемая коронационная петиция Владислава Локетки 1318 г. [105, т. I, № 226]).

В сущности, аналогичные процессы происходили во второй половине XIII — начале XIV в. и на обширных территориях феодальной Руси, несмотря на то что последняя оказалась в политической зависимости от ордынской державы. В рассматриваемое время различные объединительные центры Северо-Восточной, Юго-Западной и Западной Руси не только продолжали существовать, но и постепенно накапливали силы.

На землях Владимирского княжения сложилось несколько крупных княжеств, претендовавших на ведущую роль в политической жизни русской земли. В ходе напряженной борьбы этих княжеств друг с другом, на основе определенных социально-экономических сдвигов на рубеже XIII—XIV вв. наиболее видное положение заняли Тверь и Москва, а в середине XIV в. главным центром Северо-Восточной Руси стала Москва⁵.

Одновременно с возникновением очагов феодальной концентрации в рамках Владимирского княжения шел процесс объединения русских земель на юге, в частности в Галицко-Волынском княжестве. Максимальных успехов это объединение достигло при Данииле Романовиче (1238—1264). Значение Галицко-Волынского княжества как очага политической консолидации русских земель сохранялось и при его преемниках — Василии Романовиче (1264—1271), Лье Данииловиче (1272—1301) и Болеславе — Юрии II (1322—1340) [306, 277—302; 139, 256, 219].

Если на юге и северо-востоке русской земли объединительную политику возглавили русские князья, то на западе она оказалась связанной со становлением раннефеодального литовского государства, по-видимому совпавшим по времени с процессом консолидации мелких западнорусских княжеств в более крупные объединения. Международное и внутривнутриполитическое положение западнорусских и литовских земель во второй половине XIII — начале XIV в. часто ставило перед ними общие задачи. В результате возникали интенсивные политические контакты. Разумеется, в процессе создания этого нового ли-

⁵ Отдельные этапы борьбы московских князей за доминирующее положение в Северо-Восточной Руси достаточно полно освещены в исторической литературе (А. Е. Пресняков, В. В. Мавродин, А. Н. Насонов, М. Н. Тихомиров, Л. В. Черепнин, И. И. Смирнов, А. М. Сахаров и др.).

товско-русского объединения были случаи прямой экспансии литовских феодалов на русские земли, так же как и случаи наступления русских феодалов на литовские территории [308, 378—382]. Но важным фактором синтеза литовского раннефеодального государства с западнорусскими княжествами было, видимо, совпадение их политических интересов [308, 70—72, 76—77, 373—376]. Практика сохранения автономных русских княжеств в составе великого княжества Литовского и Русского [272; 273, 274; 308, 392; 553, 13] усиливала тенденцию к объединению, содействовала быстрому росту этого нового государственного образования за счет западных, а потом и юго-западных земель феодальной Руси.

Таким образом, закономерный процесс феодальной концентрации на территории русской земли в конце XIII — начале XIV в. оказался связанным в первую очередь с Владимирским княжением и с Литовско-Русским и Галицко-Волынским княжествами⁶.

Параллельное созревание очагов централизации приводило к тому, что каждое крупное объединение стремилось обосновать свой приоритет во всей русской земле и создать реальные предпосылки для распространения своего влияния на все русские территории. Об этом свидетельствовало создание в наиболее крупных политических образованиях особых церковных иерархий: одной во Владимире — на Клязьме [163, т. II, 94], другой в Галиче (существовала с перерывом с 1302 по 1347 г.) [163, т. II, 96, 125—130; 379, 26; 471, 4, 5; 175, 543—545], третьей в городе Черной Руси — Новгородке [163, т. II, 129; 308, 340; 304; 609, 322].

Характерны попытки каждого князя превратить свою церковную организацию в общерусскую, поставить на пост митрополита такого кандидата, который был бы способен в силу своих особых индивидуальных качеств стать реальным главой всей русской церкви, и обеспечить его постоянное пребывание в своем княжестве. По-

⁶ Можно предполагать, что аналогичные процессы протекали, правда не столь интенсивно, и в других русских землях, в частности, в политической жизни Чернигово-Северского, Смоленского княжеств. В конце концов и огромная по своим размерам Новгородская республика олицетворяла тенденцию собирания русских земель вокруг единого центра, собирания, протекавшего, как известно, без участия сильной княжеской власти и исторически себя не оправдавшего.

видимому, не случайной была практика признания князьями Северо-Восточной Руси митрополитов южнорусского происхождения («южанами» были митрополиты Кирилл, Петр, Алексей) и последующая практика выдвижения князьями великого княжества Литовского и Русского митрополитов, ведущих свое происхождение из Северо-Восточной Руси (кандидат Ольгерда митрополит Роман был тверичанин, кандидат Витовта митрополит Герасим был «москвитин») [163, т. II, 53, 99—103, 185; 371].

О существовании широких общерусских замыслов в каждом крупном государственном образовании Восточной Европы того времени говорила и практика политических контактов между княжествами, осуществлявшаяся в XIII—XIV вв. (в частности, заключавшиеся с определенными политическими целями многочисленные браки среди московских, тверских, нижегородских, рязанских, литовско-русских, галицко-волынских и других княжеских домов) [435; 666].

Таким образом, есть основание утверждать, что на протяжении второй половины XIII — первой половины XIV в. происходило постепенное становление нескольких очагов концентрации русских земель. Но, говоря об этом параллельном развитии ряда политических образований на территории русской земли, следует иметь в виду и наличие определенных этапов в этом развитии, этапов, обусловленных не только общим поступательным движением феодальной формации, но и некоторыми особыми обстоятельствами, сопровождавшими это движение. Дело в том, что возникавшее между различными объединительными центрами соперничество на первых порах протекало главным образом в чисто политической сфере. Занятые борьбой с ближайшими соседями, не имея общих границ, Владимирско-Московское, Галицко-Волынское и Литовско-Русское княжества почти не сталкивались друг с другом на поле брани [435, 86] (исключением были отдельные столкновения галицко-волынских и литовских князей, происходившие на протяжении второй половины XIII и первой половины XIV в. при активном участии татар). Но если период до середины XIV в. характеризовался в основном скрытой политической борьбой за промежуточные, «нейтральные» княжества (Киев, Смоленск, Тверь, Новгород, Псков), то после этого хронологического рубежа наступила эпо-

ха открытых военных конфликтов сначала между Галицко-Волынской Русью и Литвой, а потом между Литвой и Московской Русью.

Этот результат развития русских земель был подготовлен прежде всего самим ходом их социально-экономической и политической жизни. Однако чтобы лучше понять внутреннюю логику борьбы встречных тенденций развития (сначала в масштабах отдельных частей Руси, а потом в масштабах всей Восточной Европы), нужно одновременно иметь в виду наиболее существенные аспекты ордынской политики, которая не только играла важную роль, но и отражала реальные политические процессы, протекавшие на территории Восточной Европы.

* * *

В историографии уделялось много внимания изучению происшедшего в середине XIII в. вторжения татаро-монгольских завоевателей в пределы Восточной Европы, а также рассмотрению всего периода их господства над русскими землями. По этим проблемам собран большой материал, сделаны важные и интересные наблюдения, касающиеся, в частности, особенностей и значения восточноевропейской политики Золотой Орды⁷.

Все историки согласны с тем, что Орда действительно сыграла большую роль в исторических судьбах Восточной Европы, однако характер этой роли раскрывался ими по-разному [303, т. I, 7—32]. Правда, разногласия в историографии не касались проблемы ордынско-польских отношений (Польша, как известно, приняла ряд ударов татаро-монгольских полчищ — в 1241, 1259, 1287 гг., но в дальнейшем оказалась за пределами непосредственного воздействия ордынских властей) [527; 528]. Противоречивые мнения высказывались главным образом по поводу статуса отношений Орды с русской

⁷ Восточноевропейская политика Золотой Орды была предметом специальных исследований таких дореволюционных русских историков, как И. Н. Березин, В. В. Вельяминов-Зернов, В. Г. Тизенгаузен, а также советских историков А. Н. Насонова, А. Ю. Якубовского, В. В. Мавродина, Л. В. Черепнина, М. Г. Сафаргалиева, И. И. Будовница, Г. А. Федорова-Давыдова, В. В. Каргалова и др. На Западе в XIX—XX вв. ею занимались И. Хаммер-Пургшталь, Оссон, Б. Шпулер.

землей. Так, значительная часть исследователей склонна считать, что политические замыслы и расчеты золотоордынских ханов касались главным образом Северо-Восточной Руси, что татары вмешивались лишь в дела Москвы, Твери, Рязани и Нижнего Новгорода, а все остальные части русской земли будто бы не знали татаро-монгольского господства [609; 486]. При этом одни видели в политике Орды только поощрение тенденции сепаратизма [294, 8, 153; 350, 10], а другие, особенно зарубежные историки, усматривали в ней поддержку объединительных тенденций и даже утверждали, что само образование русского централизованного государства явилось будто бы результатом осуществления замыслов ордынской державы, итогом целенаправленной поддержки ордынской дипломатией только правителей Владимирского княжения. Такая трактовка позволяла им противопоставлять «азиатский» путь развития Московской Руси «европейскому» пути развития великого княжества Литовского и Польши⁸.

Разумеется, советская историческая наука не может согласиться с такими построениями некоторых зарубежных историков. Критика этих взглядов является актуальной задачей нашей историографии⁹. Тем не менее советские историки не могут отрицать важной роли ордынской державы в политической жизни Восточной Европы XIII—XV вв.

Хорошо известно, как происходило в середине XIII в. вторжение татаро-монгольских завоевателей в пределы Восточной Европы [294, 9—49; 168; 214—232; 350, 51—52; 230, 463, 150—151], как в течение сравнительно короткого времени установилась их власть над русскими землями, как после последовательных ударов в 1238—1240 гг. по Северо-Восточной [301, 858—885; 168, 201—217; 350, 21—23; 230] и в 1258—1259 гг. по Южной и Западной Руси [308, 381—396; 306, 282—284; 633] после

⁸ Подобные взгляды изложены в работах Б. Шпулера, О. Галлецкого, Г. Пашкевича, Е. Лемберга, а также М. Т. Флоринского, Г. В. Вернадского и многих других. В сущности, это мнение разделяет и Феннел, недавно выпустивший книгу о возвышении Москвы [486].

⁹ Критику концепции такого плана см. в работах И. И. Минца, Е. И. Дружининой, Л. В. Черепнина («Коммунист», 1954, № 11), Н. Я. Мерперта и В. Т. Пашуто («Вопросы истории», 1955, № 8), Л. В. Черепнина [416, 141—145]. См. также: [303, 7—92].

серии мероприятий административно-политического характера¹⁰ татаро-монгольские завоеватели на протяжении сравнительно короткого периода утвердили свое господство над огромными территориями Восточной Европы, над обширными пространствами русской земли¹¹.

Представление о размерах потерянной русскими князьями территории, представление о русской земле в самом широком, а вместе с тем и самом распространенном понимании этого термина [342, 157—158] дает «Слово о погибели Русской земли»: «Отселе до оугор и до ляхов до чахов от чахов до ятвязи и от ятвязи до литвы до немецъ от немецъ до корелы от корели до оустыюга где тамо бяхоу тоимици погании и за дышючим морем от моря до болгарь от болгарь до боуртас от боуртас до черемис от черемис до морьдви» [352, 109; 131, 154].

Естественно, что сами размеры подвластной территории уже во многом определяли характер политики Орды в Восточной Европе, требуя применения разнообразных методов и приемов. Но основу осуществлявшегося золотоордынскими ханами сложного комплекса мероприятий составляло использование противоречий внутриполитической жизни русской земли того времени.

Придя в Восточную Европу, татары застали здесь две закономерные тенденции развития феодальной Руси — центробежную и центростремительную, подготовленные всем ходом развития. Понятно, что золотоордынских ханов интересовало не торжество той или иной тенденции, а создание максимально благоприятных условий для господства над русскими землями, для получения

¹⁰ Татаро-монгольские ханы провели перепись подвластного им населения (такие переписи проводились уже в 1257 и 1273 гг.), обложили его данью [294, 19—22; 317, 109; 168, 219—232], подчинили своему контролю деятельность почти всех русских князей, а также в известной мере и деятельность церкви [163; 294; 143; 320; 321; 205; 411].

¹¹ Хотя русские земли в рамках Золотой Орды занимали особое положение и «восточные источники не относили русских земель к владениям Улуса Джучи» [168, 61], тем не менее власть золотоордынских ханов в «русском улусе» была в XIII—XIV вв. достаточно сильной [350, 19, 27, 37]. Арабский писатель Эль-Омари так характеризовал положение, сложившееся в Восточной Европе после прихода татаро-монголов: «У султана этого государства (речь идет о золотоордынском хане. — И. Г.) рати черкесов, русских и яссов... Они... не в силах сопротивляться султану... и потому [обходятся] с ним как подданные его, хотя у них и есть [свои] цари» [58, 231].

львиной доли «пационального дохода» Руси в виде «выхода», «царева сбора» и т. д. Эта главная стратегическая задача Орды и определяла все тактические приемы ее политики. И эту задачу она решала путем умелого разжигания политических распрей в стране, сталкивания сил централизации и децентрализации (противоречия «по вертикали»), поощрения борьбы между исторически сложившимися очагами консолидации в русских землях (противоречия «по горизонтали»). «Традиционной политикой татар, — писал К. Маркс, — было обуздывать одного русского князя при помощи другого, питать их раздоры, приводить их силы в равновесие и не позволять никому из них укрепляться» [1, 80].

Подобное понимание тактики и стратегии Золотой Орды подтверждается большим количеством фактов. Так, золотоордынские ханы, установив свою власть над разрозненной, политически раздробленной страной, все же сочли нужным сохранить два важных политических института общерусского значения, а именно Великое княжение во Владимире [294, 27; 317, 53, 58—59; 63; 350, 37—38] и митрополичью кафедру в Киеве [163, т. II, 53]. Использование Ордой института великого княжения в качестве инструмента татарской политики на Руси было отмечено К. Марксом: «Для того, чтобы поддержать рознь среди русских князей... — писал он, — монголы восстановили достоинство великого княжения» [1, 78]. Совершенно естественно, что правители Орды, сохранив эти общерусские институты, позаботились, чтобы ни великий князь владимирский, ни митрополит всея Руси не проявляли слишком большой политической активности. Об этом свидетельствовали не только опустошенные резиденции великого князя (дотла сожженный Владимир) [294, 35, 39] и митрополита (вконец разоренный Киев) [306, 221; 294, 47], но и весьма сложная судьба тех, кто занимал эти посты. Так, суздальский князь Ярослав Всеволодович получил в Орде ярлык на Великое Владимирское княжение уже в 1243 г. [317, 53; 323, 57]. Казалось, что признание его старейшим князем «в русском языке», разгром татарами Черниговско-Северского княжества, давнего антагониста Владимирского княжения [294, 27; 306, 270; 301, 862], расчищали почву для активизации деятельности Ярослава. Тем не менее уже в 1246 г. он был вызван в Орду и там казнен.

А. Н. Насонов высказал предположение, что казнь Ярослава была вызвана разногласиями внутри правящих кругов Орды (двоевластием) [294, 32]. Той же причиной он объясняет и создание двух параллельных великих княжений— в Киеве, куда в 1249 г. был назначен Александр Ярославич (Невский) [36, 472; 294, 32—33, 40], и во Владимире, где почти одновременно был посажен брат его Андрей Ярославич [36, 472; 306, 271]. Это объяснение, однако, не кажется исчерпывающим. В 1249 г. внутривполитическая борьба в Орде затухала (после смерти хана Гаюка в 1248 г. хозяином положения в ордынской империи оказался на несколько лет сам Батый, а не поставленный им хан Менгу) [59, 65—66; 350, 25—26, 43]. Кроме того, при таком объяснении остается немотивированным факт одновременного следования князей Александра и Андрея через волжские владения Батыя в Монголию и одновременного получения ими ярлыков в одной и той же Каракорумской Орде. Все эти соображения позволяют думать, что параллельное создание двух великих княжений, в Киеве и Владимире, по-видимому, являлось не следствием конфликта в «верхах» ордынской империи, а результатом применения ордынскими правителями определенной тактики, в частности первым шагом на пути использования Ордой противоречий между крупными центрами объединения Руси (противоречия «по горизонтали»). В тот момент галицкая земля еще не входила фактически в состав «русского улуса» Орды и в глазах ордынских политиков еще не могла служить реальным противовесом Великому Владимирскому княжению. Это обстоятельство, вероятно, и продиктовало ордынским ханам, и прежде всего Батую, план создания двух княжений на территории уже покоренной Руси, чтобы обеспечить власть над страной при помощи хорошо известных им политических приемов сталкивания. Осуществление такого плана предполагало как раз ослабление борьбы между ордами и согласование действий между ними.

Это подтверждается последовавшей вскоре ликвидацией одного из двух великих княжений в связи с возникновением новой политической обстановки в Восточной Европе. Когда Андрей Ярославич женился на дочери Даниила галицкого [36, 472], когда тверской князь также оказался на стороне Даниила, а перспектива пре-

вращения Галицко-Волынского княжества с помощью папы римского Иннокентия IV в особое королевство начала определяться все более отчетливо [163, т. II, 85; 329, 168; 306, 239, 444, 140], тогда для ордынских политиков стала особенно очевидна нецелесообразность сохранения двух великих княжений на подвластной им русской территории. Необходимость ослабить чрезмерно усилившуюся власть Даниила заставила Орду отказаться от расщепления великокняжеского престола и восстановить одно Владимирское княжение, которое в 1252 г. было передано Александру Невскому [36, 473; 294, 33] при сохранении его «прав» и на Новгород.

Характерно, что, восстановив это княжение, Орда продолжала поощрять его общерусские притязания [294, 34; 308, 372]. Весьма показательно, что следующим шагом Орды было прямое выступление татарских войск против галицко-волынской земли; в результате вторжения войск Куремсы в 1254 г. и полчищ Бурундая в 1258—1259 гг. князь Даниил превратился в вассала ханов [37, 828—846, 849; 306, 284]. В этом новом качестве Галицкая Русь стала выполнять функцию противовеса сначала Владимирскому, а потом и Литовскому княжествам.

Если, обращаясь к Галицко-Волынской Руси или к Владимирскому княжению, ордынская дипломатия имела дело с давно сложившимися, можно сказать, традиционными очагами объединения русской земли, то в великом Литовском княжестве Орда видела новое государственное образование, интенсивно развивавшееся во второй половине XIII в. за счет присоединения западнорусских земель и поэтому делавшее лишь первые шаги на пути реализации своего варианта консолидации Руси. Тем не менее ордынская дипломатия отдавала себе отчет в том, что формировавшееся тогда в ходе синтеза Литовского княжества с западнорусскими землями новое государственное образование, во-первых, начинало играть все более заметную роль в системе русских княжеств, а во-вторых, оно все еще оставалось менее зависимым от Орды, чем другие части русской земли.

Все это заставляло Орду не только внимательно наблюдать за политикой галицких и владимирских князей, но и следить за процессами бурного роста великого

княжества Литовского в последние годы княжения Миндовга (50—60-е годы XIII в.), а также во время правления Витеня и Гедимина (1316—1341). Орда пыталась столкнуть Галицкое княжение с великим княжеством Литовским, чтобы таким путем упрочить свое влияние на литовско-русских землях, а вместе с тем и укрепить свою власть едва ли не над всем восточноевропейским пространством. Если добавить к литовско-русскому, галицко-волынскому и владимирскому аспектам политики Орды еще и настойчивые попытки золотоордынских ханов закрепить за собой также и Великий Новгород, то станет очевидным, что ордынская держава уже в течение первых десятилетий своего хозяйничанья в Восточной Европе добилась установления контроля над всеми русскими землями¹².

¹² Иногда историки игнорируют то обстоятельство, что Орда основывала свое «право» властвования над восточноевропейским пространством в XIV—XV вв. на факте захвата в середине XIII в. всех русских земель в границах древнерусского государства. Практически это означало, что золотоордынские ханы рассматривали в XIV—XV вв. в качестве одинаково подвластных им территорий Владимиро-Московскую, Галицко-Волынскую и Литовскую Русь. Эта концепция ордынских политиков была настолько очевидной для современников, что она попала и в русскую летопись и в такие литературные памятники, как «Сказание о Мамаевом побоище». Так, говоря о намерениях Мамаю восстановить ослабленную тогда власть Орды над русскими землями, создатель этого произведения писал: «Царь Батый пленил всю русскую землю и всеми странами владел... так же Мамай мысляше во уме своем». Рассказывая о политической подготовке Мамаю к походу на Русь, автор «Сказания» отмечал, что правитель Орды «начал испытывати от старых Эллин, како Батый пленил Киев и Владимир и всю русскую землю» [52, тексты, стр. 4]. Но еще более четко эта ордынская концепция господства над всей русской землей проявилась в практике выдачи ярлыков как митрополитам всея Руси [320, 205], так и различным князьям на обладание русскими землями, князьям не только московским, тверским, суздальско-нижегородским, но и киевским, литовско-русским и др. Практика раздачи ярлыков различным князьям русской земли обнаруживает себя в огромном актовом материале Северо-Восточной Руси [16, 54], а также в актах великого княжества Литовского и Русского [9, 10, 13, 51а], вместе с тем данная практика выявляется и в документах собственно ордынского и ордынско-крымского происхождения. Так, существовали ярлыки на русские земли Тохтамыша королю Ягайло 1393 г. [298], а также Тохтамыша главе литовско-русского княжества Витовту 1397 г. [624; 629]. Подобная практика продолжалась в течение XV и даже XVI в. [630, № 20; 176, 85—87, 457—461; 553, 256; 311, 170—187]. «Крымские ханы, — замечает В. В. Мавродин, — считали себя хозяевами русских земель, прямыми преемниками Бату, имевшими право

Но, распространив на них политическое влияние, ордынская держава не встала на путь ломки происходивших здесь исторических процессов, а лишь умело к ним приспособилась, имея в виду извлечение из сложившейся ситуации максимальных для себя выгод. Так, отнюдь не смущаясь тем фактом, что во второй половине XIII в. продолжали существовать и развиваться крупные политические объединения на территории Руси, ордынская дипломатия добивалась лишь того, чтобы не допускать чрезмерного усиления какого-либо из них, подогревая противоречия между удельными князьями в рамках больших объединений или сталкивая крупные княжения друг с другом (часто на почве борьбы за Новгород).

Весьма показательной в этом смысле оказалась политическая ситуация в Восточной Европе, в частности на землях Владимирского княжения, после смерти Александра Невского (сентябрь 1262 г.). В этот период Орда стала применять свои методы еще более настойчиво, сталкивая друг с другом наследников князя Александра.

Так, не желая, видимо, усиливать политический потенциал сына Александра Невского, тогдашнего новгородского князя Дмитрия, ордынская дипломатия неожиданно проявила благосклонность к его дяде — малозначительному в тот период тверскому князю Ярославу Ярославичу. Весьма характерно, что в силу сложившейся в еще более ранние времена политической традиции новый великий князь стал одновременно обладателем и Великого Новгорода. «Сяде по брате своем великом князе Александре Ярославиче на великом княжении во Владимире брат его князь великий Ярослав Ярославич и быть князь великий Володимирский и Новгородский» [41.X.144]. Тогда князь Ярослав заключил и особый договор с Новгородом [14, № 1].

Но, предоставив своему новому фавориту столь широкие возможности, Орда вместе с тем позаботилась, чтобы у него были энергичные и в достаточной мере

рассматривать завоеванные ими некогда русские земли как свою собственность» [281, 316, 406—410].

О распространении во второй половине XIII — начале XV в. ордынского влияния на все земли «русского языка» свидетельствовал также факт чеканки и хождения «двуязычных», русско-татарских монет как на северо-восточных территориях Руси [208; 400], так и на юго-западных русских землях [208; 242; 176; 84; 185, 401].

амбициозные соперники: ордынские власти не только не устранили с политической арены князя Дмитрия Александровича, но и стали, видимо, скрыто поддерживать его «реваншистские» настроения в отношении дяди — князя Ярослава Ярославича. Не без санкции Орды переяславский князь Дмитрий стал вести борьбу против Ярослава «князя Владимирского и Новгородского», опираясь на союз с Псковом и тогдашним псковским князем Довмонтом.

Однако возникшее позднее политическое сближение князей Дмитрия и Ярослава (в условиях усилившейся угрозы со стороны Орды в конце 60-х годов) заставило, по всей видимости, ордынскую дипломатию снова перетасовать карты: тверской князь Ярослав в 1270 г. был лишен владимирского стола, а в 1271 г. был убит.

Владимирским великим князем стал на этот раз другой брат Александра Невского — костромской князь Василий Ярославич. Весьма характерно, что ему, так же как и его предшественникам на великокняжеском столе, были предоставлены возможности распространения своего политического влияния на берега Волхова. «Того же лета, — читаем мы в Воскресенской летописи, под 1271 г., — седе во Владимире на столе князь Василей Ярославич Костромской и бысть князь великий Володимирский и Новгородский» [40, 171].

Но, создав эти условия «максимального» благоприятствования новому владимирскому князю, Орда не думала отказываться от традиционных приемов своей тактики: одновременно с выдвижением Василия Ярославича костромского, ордынские правители стали поощрять политические амбиции юного тверского князя Святослава, сына убитого в 1271 г. князя Ярослава Ярославича. Им обоим была предоставлена возможность вести длительную и упорную борьбу друг с другом за обладание Великим Новгородом (оба князя при этом «параллельно» использовали и вооруженную поддержку ордынцев).

Ставя перед двумя борющимися группировками весьма близкие задачи — овладение Владимиром и Новгородом, ордынские правители, естественно, усиливали накал борьбы между ними, а вместе с тем содействовали их взаимоослаблению, что, разумеется, помогало укреплять Орде свое влияние в Восточной Европе.

Не удивительно, что после ухода с политической арены обескровленных длительным соперничеством князей Василия костромского и Святослава тверского, правитель Орды Менгу-Темир продолжал осуществлять ту же тактику в отношении русских земель.

Так, передав в 1277 г. переяславскому князю Дмитрию Александровичу Владимир и Новгород, Орда не забыла подготовить ему и мощную «оппозицию».

И хотя в этих условиях князю Дмитрию на протяжении ряда лет и удавалось удерживать за собой владимирский стол, а также какие-то позиции в Новгороде [40, 173], ему все же пришлось столкнуться с появлением сильного соперника. На этот раз Орда выдвинула в качестве противовеса Дмитрию его же брата, городецкого князя Андрея Александровича, который, по словам летописи, испросил у хана «себе княжение великое под братом своим старейшим», а вместе с тем получил от Орды для реализации этой цели вооруженную помощь («приведе с собою рать татарскую» [04, 175]).

Исходившая от Орды политическая и военная поддержка очень скоро позволила городецкому князю Андрею не только вытеснить своего брата из Владимира и Новгорода, но и занять все его позиции как на Клязьме, так и на Волхове. Но этим результатом Орда не могла, естественно, удовлетвориться: как только наметилось торжество князя Андрея, ордынская дипломатия снова стала активно поддерживать «поверженного» Дмитрия против своего же недавнего фаворита. Вследствие такого оборота дела князь Дмитрий уже в 1283 г. вернул себе как владимирский стол, так и Великий Новгород и князь Андрей вынужден был на какое-то время объявить себя его послушным вассалом.

Но и эта победа Дмитрия оказалась непрочной; по прошествии нескольких лет князь Дмитрий столкнулся с новым выступлением своего старого соперника: получив санкцию Орды, а также вооруженную помощь хана Тохты (1290—1312), городецкий князь Андрей Александрович в 1293 г. повел открытую борьбу против великого князя Дмитрия, заставив его покинуть Владимир, Новгород, а затем перебраться в Псков.казалось, что на этот раз городецкий князь Андрей одержал полную победу над своим соперником. Однако такой исход событий не устраивал ордынских правителей. Уже

в 1293—1294 гг. Орда снова оказывает помощь князю Дмитрию, содействуя его примирению с князьями, а также его переезду из Пскова сначала в Тверь, потом в Переяславль. Видимо, только неожиданная смерть князя Дмитрия, последовавшая в 1294 г., не позволила ему вернуться с помощью Орды во Владимир и Новгород.

Однако и смерть князя Дмитрия не принесла его сопернику, князю Андрею, полного покоя: уже в 1294—1295 гг. Орда создала ему мощный противовес в виде целой коалиции князей — Ивана Дмитриевича переяславского, Даниила Александровича московского и Михаила Ярославича тверского.

Новая расстановка политических сил четко обозначилась уже в 1296 г. на «разъезде во Владимире», где кроме заинтересованных князей присутствовали представители Орды, а также два епископа — владимирский Симеон и сарайский Измаил; здесь было достигнуто компромиссное соглашение между враждовавшими друг с другом княжескими группировками: князь Андрей сохранил за собой владимирский стол и, пожалуй, только виды на Новгород Великий [317, 88]; противники князя Андрея, несмотря на все его домогательства, оставили за собой город Переяславль, резиденцию князя Ивана Дмитриевича, а также, судя по ряду данных, получили какие-то шансы на обладание Великим Новгородом. На последнее обстоятельство указывает заключение именно тогда — в 1296 г. [140, 90; 317, 89] — специального договора Великого Новгорода с тверским князем Михаилом Ярославичем и московским князем Даниилом Александровичем [14, № 4, 5, стр. 13—14].

Если иметь в виду существование уже не раз отмечавшейся традиции в политической жизни русской земли XI—XIII вв. — традиции поддержания постоянных контактов обладателей великокняжеского престола с Новгородом, то договор 1296 г. можно рассматривать как своего рода симптом вновь намечавшегося конфликта между княжескими группировками, как своеобразную подготовку к удалению князя Андрея с владимирского престола, а вместе с тем и к появлению тверского или московского князя не только во Владимире, но и на берегах Волхова.

Во всяком случае, дальнейшая политическая жизнь русских земель развивалась именно в этом направлении.

Городецкий князь Андрей был вскоре лишен Владимирского княжения, а вместе с тем и шансов сохранить свои позиции в Новгороде. Однако противостоявшая ему коалиция князей недолго торжествовала свою победу: как только городецкий князь Андрей ушел с политической арены, коалиция распалась. Входявшие в ее состав московские и тверские князья стали главными соперниками в борьбе как за Владимир, так и за Новгород.

Открывалась, по сути дела, новая страница в политической истории Восточной Европы, новый этап в конфронтации процессов феодального «дробления» и феодальной концентрации, а вместе с тем, как считал А. Е. Пресняков, и новая веха в сложном взаимодействии «княжого права» и «права вотчинного».

Однако эта новая эпоха в исторической жизни восточноевропейского пространства, по существу, не внесла значительных перемен в выработанную ранее стратегию ордынской державы в отношении Восточной Европы, не изменила и давно сложившихся тактических приемов ордынской дипломатии в отношении русской земли.

Такие же политические методы широко применялись ордынскими правителями и в последующее время, в период единодержавного правления ханов Тохты (1290—1312) и Узбека (1312—1342) [294, 78—82; 168, 88—94; 350, 63, 65, 101]. Весьма показательной была политика Орды, осуществлявшаяся в первой половине XIV в. в отношении княжеств, объединенных Великим Владимирским княжением.

Санкционировав существование Великого княжения во Владимире, золотоордынские ханы умело разжигали борьбу князей Северо-Восточной Руси за обладание великокняжеским престолом. В конце XIII и первой половине XIV в. наблюдалась любопытная закономерность: Владимирское княжение, как правило, получал тот княжеский дом, который в данный момент Орда считала менее могущественным и, следовательно, менее опасным. Как только обладатель владимирского стола усиливался, Орда лишала его поддержки и вставала на сторону более слабого претендента, тем самым восстанавливая необходимое ей «равновесие» в системе княжеств Северо-Восточной Руси. Чтобы убедиться в наличии такой закономерности, достаточно проследить раз-

вите отношений между Москвой, Тверью и Новгородом того времени в связи с основными этапами тогдашней политики Орды.

В начале XIV в. Тверское княжество не без ордынского участия оказалось политически самым мощным [139, 91; 362; 282, 37—39]. Тверской князь Михаил Ярославич не только занял с помощью Орды владимирский престол в 1304—1305 гг., но и выступал в качестве «великого князя всея Руси» [317, 102—106, 109; 33, 147]. Не удовлетворившись достигнутым, он стал добиваться подчинения своему влиянию Москвы и Новгорода, а также стремился контролировать деятельность митрополита всея Руси. Весьма существенным для политики Михаила было то обстоятельство, что он постоянно поддерживал контакт с литовскими князьями. Высокий пост тверского епископа занимал с 1289 г. владыка Андрей, прямой родственник литовских князей [60, 344—345].

Разумеется, осуществление претензий тверского князя наталкивалось на весьма энергичное сопротивление московского князя, а также в дальнейшем и митрополита всея Руси Петра.

В этой напряженной политической борьбе в роли своеобразного арбитра постоянно выступала Орда. Новгородская летопись писала под 1304 г.: «И сопростася два князя о великое княжение: Михайль Ярославич Тферский, Юрь Даниловиць Московьский, поидоша в Орду въ споре, и много бысть замятни Суздальской земли во всех градах» [30, 332]. Как известно, Орда решила тогда спор в пользу тверского князя Михаила. Опираясь на этот успех, Михаил попытался наложить руку и на Новгород: «А в Новьгород въслаша Тферици наместники Михайловы силою, и не прияша Новгородци» [30, 332]. Проявив настойчивость, Михаил добился своего и в 1307 г. стал князем Великого Новгорода.

Однако эти действия тверского князя встретили отрицательное отношение со стороны Орды, которая теперь постаралась вытеснить из новгородской земли Михаила Ярославича с помощью другого претендента на Новгород — московского князя Юрия Даниловича. Чувствуя поддержку Москвы, новгородцы изгнали, видимо, в 1310—1311 гг. тверских наместников. Но тверской князь принял все меры, чтобы восстановить свое влияние на Волхове. Собрал войско против северного соседа («зара-

тися князь Михаил к Новгороду») [30, 335], он занял Торжок, Бежицу и организовал экономическую блокаду Новгородской республики («не пуста обилья в Новгород») [30, 335]. В результате Новгород снова капитулировал перед тверским князем. Поставленный еще в 1304 г. новгородский епископ Давид посетил весной 1312 г. Тверь и заключил от имени Новгорода соответствующий договор: «И иде владыка Давыд во Тферь весне, в роспутье, и доконцаша мир и князь... наместники своя присла в Новгород» [30, 335].

Но торжество тверского князя на новгородской земле оказалось недолговечным. Уже в 1314 г. возник открытый конфликт между Москвой и Тверью на почве борьбы за влияние в Новгороде: «Приеха Федор Ржевский в Новгород от князя Юрия с Москвы и изыма наместники Михайловы, и держаша их во владычне дворе... Новгородцы со князем Федором поидоша на Волгу и выйде изо Тфери князь Дмитрий Михайлович и ста об ону страну Волгы и тако стояша и до замороза, а Михайлу князю тогда сушу в Орде» [30, 335].

Видимо, в 1314 г. дело разрешилось в пользу Москвы дипломатическим путем: «По сем доконцаша мир с Дмитрием и оттоле послаша по князя Юрья на Москву по всей воле новгородской. Тое же зимы... приеха князь великий Юрьи в Новгород на стол с братом Афанасием и ради быша новгородцы своему хотению...». Но и победа московского князя в Новгороде оказалась не окончательной. В 1315 г. Юрий Даниилович был «из Новгорода позван в Орду от цесаря... оставив в Новгороде брата своего Афанасия» [30, 336]. Когда московский князь направился в Орду, тверской князь был на пути из ордынской столицы в свое княжество. Показательно, что Михаила Ярославича сопровождали татарские войска («Того же лета поиде князь Михайло из Орды в Русь, ведь сь собою татары, ока[я]нного Тайтемеря» [30, 336]), а это означало, что Михаил вновь попытался восстановить свою власть в Новгороде. Наместник московского князя в Новгороде Афанасий попытался оказать вооруженное сопротивление тверскому и татарскому войску, у Торжка «бысть сеча зла». Победителем в сражении оказался тверской князь; новгородское войско во главе с Афанасием отошло к Новгороду и заперлось в крепости. Подступив к Новгороду, Михаил Ярославич

потребовал выдачи московского князя. После длительных препирательств новгородцы «по неволе выдаша его, а на собе dokonцаша 5 темь гривен серебра, dokonцаша мир и крест целоваша» [30, 336].

Характерно, что после получения выкупа и приведения к присяге новгородского населения тверской князь переселил видных новгородских бояр из Новгорода в Тверь [30, 336]. По-видимому, тверской князь чувствовал себя полным победителем: «И посла князь наместника свои в Новгород» [30, 337]. Но уже в 1316 г. положение изменилось: поддержанные Москвой (и Ордой), новгородцы снова восстали против господства князя Михаила. К ним присоединилось население всей новгородской земли — ладожане, лужане, корела, ижора и т. д. Новгородцы стремились ликвидировать тайную агентуру тверского князя на своей земле: так, некто Игнат Беска был сброшен с моста в Волхов, поскольку он «перевет держаща к Михаилу», Данилко Писцов был убит каким-то холопом за переписку с Тверью и т. д. [30, 337]. Попытка епископа Давида достигнуть компромисса с князем Михаилом и вернуть новгородских бояр из тверского плена не увенчалась успехом. Тверской князь, видимо, считал себя настолько сильным в то время, что отверг все предложения Новгорода [294, 93, 101]. Ведущее положение Твери в системе княжеств Северо-Восточной Руси подчеркивается, между прочим, и тем фактом, что именно тогда Тверь стала центром общерусского великокняжеского летописания. Так, следы общерусского тверского летописного свода 1305 г. мы видим в Лаврентьевской летописи, а фрагменты тверских сводов 1318 и 1327 гг. — в Тверском сборнике [42, 293].

Однако чрезмерное усиление тверского князя, разумеется, не могло нравиться правителям Золотой Орды. Именно тогда хан Узбек стал снова поддерживать московского князя против тверского. Под 1318 г. в Новгородской летописи сказано: «Того же лета выйде князь великий Юрьи из Орды с татары и со всею Низовскою землею и поиде к Тфери на князя Михаила» [30, 338].

Характерно, что, инспирировав поход московского князя на Тверь, представитель Орды Телебег настоял на том, чтобы Новгород сохранил нейтралитет в этой борьбе [30, 338]. Когда же московский князь без поддержки Новгорода проиграл сражение против тверского войска,

Орда, видимо, снова санкционировала союз Юрия Даниловича с Новгородской республикой. Во всяком случае, после поражения 1318 г. Юрий Данилович бежит в Новгород, собирает там новгородско-псковское войско и снова идет на Тверь.

Но до нового сражения дело не дошло. При явном содействии Орды между Москвой и Тверью был заключен мирный договор, одним из пунктов которого была обязательная поездка обоих князей в Орду. Как известно, для чрезмерно усилившегося тверского князя Михаила эта поездка кончилась кровавой расправой, для московского князя Юрия — предоставлением ему Великого Владимирского княжения (1318—1322) [30, 338].

Все эти факты ясно показывают, что для Орды институт Великого Владимирского княжения был лишь одним из инструментов политики столкновения князей друг с другом. Аналогичным образом обстояло и с другим институтом общерусского значения — русской церковной иерархией, в частности с такими ее важными звеньями, как кафедра митрополита всея Руси [143, 324—344] и основанная в 1261 г. сарайская епископия [163, 61; 294, 46—47, 79]. Об этом свидетельствовала уже деятельность митрополитов Кирилла (1243—1280) и Максима (1283—1304), вынужденных не только обращаться к ордынской державе за подтверждением их поставления в Константинополе [34, III, 465—470], но и постоянно согласовывать линию своего поведения с политикой ордынской дипломатии в Восточной Европе, в частности с ее часто меняющимся отношением к таким центрам русской земли, как Киев и Владимир, Тверь и Москва, разумеется, и Великий Новгород [362, 165, 179—181, 195, 201]. Об этом свидетельствовали и события начала XIV в., когда развернулась борьба русских княжеств за того или иного кандидата на пост митрополита всея Руси [362, 160, 163, 187, 192].

Став в 1305 г. великим князем всея Руси, тверской князь Михаил сразу же решил подчинить своему контролю и митрополичью кафедру, выдвинув на нее в 1305 г., после смерти митрополита Максима своего кандидата — Геронтия [163, 101]. Однако константинопольский патриарх не поддержал настойчивых просьб Твери и поставил митрополитом всея Руси в 1308 г. галицкого кандидата игумена Петра, который вскоре был благо-

склонно принят в своей резиденции во Владимире [45, 87; 60, 353]. Весьма характерно, что и ордынский хан Тохта также не стал содействовать дальнейшему усилению Твери и 12 апреля 1308 г. выдал ярлык на митрополию игумену Петру¹³.

Не примирившись с таким оборотом дела, тверская дипломатия стала энергично противодействовать этому назначению сначала чисто политическими средствами, а потом и религиозными. В 1308 г. тверской князь организовал поход на Москву [45, 87; 60, 353], а в 1311 г. предпринял военно-политические акции против Владимира, тогдашней резиденции митрополита Петра. Действия князя Михаила были связаны с намерением получить от митрополита благословение на изгнание московского князя Юрия из Новгорода. Однако военная кампания 1311 г. не дала результатов [60, 354]. Тогда на сцену был выпущен тверской епископ Андрей, который во всеуслышание стал обвинять нового митрополита в симонии, т. е. в поставлении иерархов русской церкви «по мзде» [236, 99—105]. Обвинение такого характера должно было скомпрометировать Петра как в глазах константинопольского патриарха, так и в глазах иерархов русской церкви, а следовательно, лишить его поддержки и влияния. Но расчет Михаила не оправдался.

По согласованию с греческим патриархом, а также с ханом Золотой Орды Тохтой в 1311 г. в Переяславле был созван общерусский съезд князей и высшего духовенства. Съезд рассматривал выдвинутые Тверью против митрополита Петра обвинения. Петра защищали московский князь Юрий Данилович и константинопольский патриарх Афанасий. На его стороне фактически оказались и золотоордынские правители, которые выдали ярлык Петру еще в 1308 г. и одобрили созыв съезда. Переяславский съезд отверг все обвинения в адрес Петра и, по существу, упрочил его положение в качестве митрополита всея Руси. Такой результат, разумеется, не устраивал Михаила, продолжавшего считать себя ордынским фаворитом. Теперь нападки в адрес Петра последовали не только со стороны епископа Андрея, но и со стороны самого тверского князя, вернувшегося в 1312 г. из Орды в Тверь; в Константинополь был направ-

¹³ Текст ярлыка 1308 г. до нас не дошел, однако он был повторен в позднейших ярлыках [320, 70, 78, 86; 34, т. III, 472].

лен тверской посол Акиндин с доносами на церковные злоупотребления Петра. Однако все эти ухищрения тверской дипломатии опять ни к чему не привели. Ни новый цареградский патриарх, ни пришедший к власти в 1312 г. хан Узбек не только не признали обоснованными обвинения тверского князя против митрополита, но и стали еще более энергично поддерживать главу русской церкви [45, 88; 60, 354].

Таким образом, очевидно использование Ордой русской митрополии в качестве одного из инструментов ее политики в Восточной Европе.

В определенной связи с этим находится и замена сарайского владыки Измаила в 1312 г. епископом Варсонофием [60, 354], являвшимся сторонником Петра и московского князя Юрия Даниловича [30, 339—340]. Еще более упрочив свое положение поездкой к хану Узбеку¹⁴, митрополит Петр перешел от обороны к наступлению в борьбе со своим давним противником епископом Андреем: уже в 1315 г. он добился снятия сана с тверского владыки и назначения на епископскую кафедру в Тверь, по-видимому, уже упомянутого Варсонофия [60, 355]. Выступая союзником относительно слабой Москвы против более могущественной тогда Твери, митрополит Петр почти постоянно жил в столице Московского княжества. В сущности, фактический переезд митрополита всея Руси из Владимира в Москву произошел задолго до его формального перевода, состоявшегося, судя по ряду данных, только в 1325—1326 гг. [163, 138—143; 323, 123]. Видимо, особенно тесное и эффективное сотрудничество Петра с московским княжеским домом установилось тогда, когда усилившаяся Тверь была лишена Великого Владимирского княжения, а московский князь Юрий Данилович стал его обладателем (1318—1322).

Однако это сотрудничество устраивало золотоордынских ханов только до тех пор, пока не стало обнаруживаться ослабление Тверского княжества и намечаться усиление Москвы. Имея в виду перспективу возможного перевеса Москвы над Тверью, Орда уже в 1322 г. решила снова «перетасовать» карты, устранив с политической арены московского князя Юрия Даниловича и

¹⁴ Дошедший до нас ярлык хана Узбека, якобы выданный Петру, является позднейшей фальсификацией [320, 47—48; 361a, 72].

передав ярлык на Великое Владимирское княжение представителям тверского княжеского дома — сначала Дмитрию Михайловичу (1322—1325), а потом Александру Михайловичу (1326—1327). Но предоставив этому правящему дому владимирский стол, правители Орды снова приняли меры для ограничения его дальнейших политических претензий. Важно, однако, отметить, что на этот раз речь шла не только о скрытой поддержке его соперника — московского князя Юрия, но и о попытке ордынских политиков радикально пересмотреть сложившийся порядок взаимоотношений Великого Новгорода с Владимирским княжением. Так, если в 1322—1324 гг. обладатель владимирского стола — тверской князь Дмитрий был просто не допущен на берега Волхова (там оставался московский князь Юрий), то уже в 1328 г. Орда как бы юридически закрепляла отмену этого порядка. «Озбък, — читаем мы в Новгородской I летописи, — поделил княжение: князю Ивану Даниловичу (московскому. — *И. Г.*) Новгород и Кострому, а суздальскому князю Александру Васильевичу дал Володимир и Поволжье» [30, 469].

Однако это экспериментирование с противопоставлением Новгорода Владимирскому княжению продолжалось недолго. Весь ход политической жизни Восточной Европы того времени, в частности интенсивный рост Владимирского и Литовского княжений, заставлял Орду добиваться сохранения своей власти над русской землей не столько поддержкой внутренних противоречий в рамках этих государственных образований, сколько поощрением соперничества между ними (между прочим, и на почве борьбы за влияние на берегах Волхова, происходившей не без участия Орды). Уже на рубеже 20—30-х годов в Новгороде укрепил свои позиции Иван Калита [30, 346, 469], а в 1333 г. на Волхове появился наместник великого княжества Литовского и Русского — князь Наримант Гедиминович [30, 346; 38, 263, 477].

Так, поощряя противоборство великих княжений, умело регулируя соотношение сил между ними, в частности, и путем ориентирования Новгорода на сближение с тем или иным «великим княжением», Орда обеспечивала постоянную конфронтацию ведущих очагов консолидации русских земель, а вместе с тем и необходимую ей политическую напряженность в Восточной Европе.

**МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
В ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ
В 50-Х — НАЧАЛЕ 80-Х ГОДОВ XIV В.**

**Политическое развитие Великого Владимирского
княжения, Литвы и Польши в 50—70-х годах**

Изучая историю стран Восточной Европы, мы обнаруживаем в них много общего. В первой половине XIV в. тенденция феодальной концентрации, а вместе с тем и тенденция консолидации этнически однородных территорий стала явно брать верх над тенденцией феодального дробления. Эти процессы представляли собой закономерное явление в историческом развитии всей Европы того времени [266] и стали «одним из рычагов прогресса в средние века» [2].

Мы видели, что на протяжении первой половины XIV в. феодальная Польша в ходе борьбы ряда объединительных центров друг с другом многого добилась на пути восстановления своего бывшего единства, консолидации этнически однородных территорий, создания национального польского государства [463].

В исторических судьбах русской земли XIV в. эта закономерная тенденция обнаруживалась в развитии двух параллельно существовавших феодальных государств — Великого Владимирского княжения и великого княжества Литовского и Русского.

О таком характере их развития свидетельствовала прежде всего общность их социально-экономической и политической жизни: одинакова была судьба феодально-зависимого крестьянина, похожим было развитие феодального города, много общего было в эволюции землевладения, в судьбе класса феодалов [317, 282, 416, 348, 275, 220]. Нередко аналогично шло развитие государственности в обеих странах, наблюдалась почти одинако-

вая степень их «централизации» и «децентрализации» в виде уделов или земель-княжеств; выявлялся аналогичный характер взаимоотношений великих и удельных князей, прослеживались равноправные отношения литовско-русских князей и князей Владимирского княжения, которые проявлялись как в практике частых переездов князей из одного княжества в другое, так и в многочисленных случаях заключения браков между домами Рюриковичей и Гедиминовичей [435, 273, 274, 668, 584, 586]. В основе параллелизма исторических процессов в этих княжениях лежали не только общие закономерности развития феодального общества в целом, но и то обстоятельство, что как Владимирское, так и Литовское княжения росли за счет различных частей русской земли, близких друг к другу по происхождению, укладу социально-экономической жизни, уровню духовного и культурного развития, религии, обычаям и т. д. По существу, можно говорить об определенной преемственности между эпохой XIV — начала XV в. и киевским периодом в историческом развитии феодальной Руси, преемственности, проявившейся как в сфере политической жизни, так и в области культуры, литературы, языка и т. д. [263, 6, 14—15, 22; 268, 36—59; 303, т. I; 160, 223, т. III]. Если же учесть, что в данном случае мы имеем дело с таким переходным периодом в истории восточного славянства, когда между различными частями русской земли было больше общности, чем различий, когда древнерусская народность себя еще не изжила, а в становлении трех братских восточнославянских народностей были сделаны только первые шаги, то совершенно закономерным представляется факт выдвижения феодалами Владимирского и Литовско-Русского княжений весьма близких программ, основанных на «встречных» устремлениях тех и других объединить все древнерусские земли вокруг «своих» государств.

Таким образом, общность политического, социально-экономического и культурного развития двух указанных феодальных государств подтверждала закономерность происходивших в Восточной Европе объединительных процессов, объясняла факт параллельной борьбы этих государств за древнерусское наследство, делала понятными постоянные попытки Москвы и Вильно тем или иным путем восстановить общерусское единство.

Процесс становления Владимирского княжения как основы образования русского «национального» государства хорошо изучен историками [282, 416]. Мы знаем о результатах деятельности московских князей Ивана Калиты (1328—1340), Семена (1340—1353), Ивана (1353—1359), Дмитрия (1362—1389). Известно также, что претензии этих князей на роль объединителей русских земель обуславливали их отношение к «православию» и митрополиту всея Руси, оказывали влияние на политику брачных союзов. Именно в 40—60-х годах политическое влияние Великого Владимирского княжения в русских землях не только распространилось на большую территорию, но и в какой-то мере стало более стабильным. Хотя политическая жизнь Владимирского княжения осложнялась спорами из-за великокняжеского престола между Москвой, Нижним Новгородом, Тверью и Рязанью [317, 530—538], тем не менее к середине 60-х годов XIV в. ведущей политической силой Северо-Восточной Руси оказалась Москва, возглавленная малолетним князем Дмитрием и стоявшим за его спиной митрополитом всея Руси Алексеем [416, 551—555 и сл.].

Но не менее внушительными были и результаты исторического развития великого княжества Литовского и Русского в середине XIV в. Мы знаем, что уже Гедимин (1316—1341) многого добился в распространении своего влияния на западнорусские земли, но значительно больше в этом направлении сделал его преемник — князь Ольгерд (1341—1377). При нем великое княжество Литовское и Русское не только формально выдвигало программу восстановления былой целостности Руси, но и практически старалось осуществить ее путем «собира-ния» всех древнерусских земель¹. Так, уже первая половина жизни Ольгерда, проведенная им в Витебске (до 1345 г. он был женат на витебской княжне Марии Ярославне), представляется весьма показательной в этом смысле. Именно тогда он, видимо, принял православие

¹ В исторических работах распространено не совсем точное наименование этого государственного образования. Между тем летописи того времени, а также актов и материалы XIV—начала XV в. называют данное государство «великим княжеством Литовским и Русским» или «великим княжеством Литовским, Русским, Жемайтским» [44, т. 17, 61, 84, 259, 335, 338; 65, 37, 62, 91, 97 и сл.]. Этому вопросу посвящена специальная работа польского историка Я. Адамуса [449, 313—332].

[63, 57], а в 1342 г. пытался подчинить своему влиянию Псков. В 1346 г. он попытался упрочить свои позиции в Новгороде, в 1349 г. женился на тверской княжне Ульяне Александровне, закрепив свое влияние в Твери, а в 1352 г. в напряженной борьбе с Польшей добился присоединения Волыни.

Как только митрополичья кафедра оказалась вакантной в 1353 г., Ольгерд выдвинул своего кандидата в митрополиты — иерарха тверского происхождения Романа, чтобы с его помощью «приобрести себе власть и в Великой Руси» [33, № 30, 168]. Воспользовавшись пассивностью Орды, он взял в 1362 г. Киев, а в 1363 г. нанес поражение на реке Синие воды татарским войскам [176, 78—80; 567, 177—178], пытавшимся остановить дальнейшее разрастание Литовско-Русского княжества в этом районе.

В последующие годы Ольгерд продолжал раздвигать границы своего государства: в 1364 г. присоединил Подолию, в конце 60-х — начале 70-х годов — чернигово-северскую землю, а в 1376 г. — на короткое время Галицкую Русь.

Разница между ними состояла, между прочим, в том, что процесс роста Великого Владимирского княжения не выходил первоначально за этнические границы русских территорий и совершался путем расширения одного из ведущих русских княжеств, в частности Московского, а процесс объединения юго-западных русских земель протекал в рамках великого княжества Литовского и Русского, во главе которого оказалась собственно литовская княжеская династия. Если в конце XIII — первых десятилетиях XIV в. существовало в рамках этого княжества своеобразное равновесие между его литовской и русской частью, между литовскими и русскими феодалами, то при Ольгерде это равновесие было, видимо, нарушено. Быстрый территориальный рост великого княжества Литовского за счет русских земель создал здесь новую расстановку сил, увеличивая политический потенциал Руси и уменьшая удельный вес литовского элемента. И чем дальше это княжество продвигало свои границы на восток и юго-восток, чем обширнее становилась русская территория, входившая в состав этого княжества, тем больше «русифицировалась» литовская династия (русификация, разумеется,

не распространялась на собственно литовские земли), тем последовательнее правящие круги этого государства отстаивали общерусскую программу, программу объединения всех русских земель под их властью. Так причудливо переплетались в политической жизни великого княжества Литовского и Русского две тенденции: тенденция становления многонационального государства и тенденция возрождения общерусского «национального» государства на базе восстановления единства русской земли.

В эпоху правления Ольгерда, а потом и молодого Ягайло эта вторая тенденция исторического развития великого княжества Литовского и Русского оказалась ведущей и определяющей. Тот факт, что во главе этого государства оказалась вставшая на путь «обрусения» литовская династия, не менял в тот период характера его политики по отношению к русской земле, отнюдь не устранял параллелизма в тогдашней исторической жизни Литовско-Русского княжества и Великого Владимирского княжения.

* * *

Говоря о значительных сдвигах в восточноевропейском историческом процессе середины XIV в., нельзя забывать, что они явились результатом не только внутреннего, закономерного развития Литовского и Владимирского княжений, но в известной мере также и итогом всей международной жизни данной части европейского континента, нельзя, в частности, игнорировать значительное влияние на ход политического развития этих стран таких важных феодальных сил того времени, как Ордынская держава на востоке, Польша, Венгрия, Империя на западе, Византия на юге.

Прежде всего, мы должны иметь в виду те заметные перемены, которые происходили в тогдашней политической жизни самой Орды. Если при ханах Узбеке и Джанибеке Орда оставалась для соседей сильной и грозной державой, то в 60—70-е годы внутриполитическое положение ее стало несколько иным. Процесс феодализации постепенно приводил к дальнейшему обособлению отдельных улусов, к усилению тенденций децентрализации, к обострению династической борьбы. Отражением этих сдвигов в социально-экономической и политической жизни Орды были феодальные смуты, наступившие после насильственной смерти Джанибек-хана

(1357 г.) [168, 269—271] и продолжавшиеся вплоть до воцарения Тохтамыша (1381 г.). Внимательно наблюдавшие за развитием событий в Орде русские летописцы характеризовали сложившееся там в 1357 г. положение следующими словами: «и бысть в Орде замятня велика» [42, т. XV, вып. I, 69], «того же лета замятня в Орде не преставаше, но паче возвизавшеся» [41а, т. 10, 22а]. И действительно, в течение 24 лет (1357—1381) на золотоордынском престоле перебывало более 25 ханов [59, 146, 207; 522, 315—325; 168, 272; 294, 117—121; 653, 109, 120]. В результате последовательной смены ханов Бердибека, Кульны, Хизра (Кидыря), Темир-Ходжи на ордынском престоле в 1362 г. утвердился Абдула, креатура Мамай, который, не будучи чингисидом, не имел права занимать ханский трон [522, 325—326; 60, 377—378]. Абдуле и Мамаю не удалось распространить власть на всю Орду. Одновременно с ними «правили» ханы Булат-Темир, Амурат (Мюрид), Хаджи, Джанибек II и др. В этих условиях Сарай-Берке постоянно переходил из рук в руки [350, 123—131; 168, 275; 317, 301—319; 42а, 70].

Таким образом, почти двенадцатилетний период в истории Орды (с конца 50-х до конца 70-х годов XIV в.) был временем усилившейся феодальной анархии, и это не могло не отразиться благоприятным образом на развитии русских земель. Но значение вспышки феодальной анархии в Орде не следует преувеличивать. Дело в том, что, несмотря на обилие ханов, по-видимому, довольно рано самой влиятельной фигурой в политической жизни Орды оказался уже упомянутый Мамай [42а, 70, 73]. Сменяя одного хана другим (в конце 60-х — начале 70-х годов он заменил Абдулу новым ханом — Макат-Салтаном) [60, 389], Мамай начинал играть все более заметную роль во внутренней и внешней политике Золотой Орды [58, 350, 389; 350, 123, 134; 294, 121, 124; 168, 275, 279—280]. Характеризуя отношения, сложившиеся в Орде к концу 70-х годов, Троицкая летопись подчеркивала, что часто сменявшиеся цари обладали тогда лишь номинальной властью, а реальным хозяином Орды был Мамай. Запись 1378 г. гласила: «Царь ихъ, иже въ то время имеаху себе не владеяше ничимъ же и не смеяше ничто же сътворити пред Мамаем, но всяко старейшинство держаше Мамай и всеми владеаше въ Орде» [60,

416; 45, 127]. Все это в известной мере объясняет, почему Орда, несмотря на весьма напряженную внутривосточную политическую борьбу, все же продолжала и в эти годы осуществлять довольно активную наступательную политику в отношении восточноевропейских стран, хотя усиление центробежных тенденций в самой Орде определенным образом сказывалось на характере внешней политики золотоордынских правителей.

Итак, как ход событий в Орде, так и развитие восточноевропейских стран в середине XIV в. создавали во многом новую расстановку сил в Восточной Европе, обуславливали сложение новых политических отношений между Золотой Ордой, Литовско-Русским государством и Московской Русью.

И действительно, когда ордынские политики увидели, что ведущие очаги концентрации русских земель стали расти территориально, крепнуть политически, что столкновения, возникавшие между объединительными центрами, все чаще заслоняли борьбу, происходившую между мелкими княжествами внутри этих объединений, они сочли необходимым изменить кое в чем свою восточноевропейскую политику, «усовершенствовать» тактику. Практиковавшееся ранее использование противоречий между тенденциями централизации и децентрализации золотоордынские ханы стали теперь дополнять, а иногда и заменять использованием антагонизма между складывавшимися крупными государствами Восточной Европы. Ордынские правители все больше сознавали риск поощрения противоречий между теми княжествами, которые были расположены слишком близко друг к другу: это могло привести (а иногда и приводило) к окончательной, «необратимой» победе одного из соперников, что, разумеется, мало устраивало ордынских политиков. Поэтому с середины XIV в. Золотая Орда все чаще пыталась разжигать противоречия тех объединительных центров русской земли, которые оказывались далеко расположенными друг от друга².

Однако эти попытки были связаны с двумя как бы взаимоисключающими условиями: с одной стороны, с

² В этом отношении было характерно не только перемещение внимания Золотой Орды с Твери на Москву, но и санкционирование переноса столицы Суздальско-Нижегородского княжества из Суздаля в Нижний Новгород (1350 г.) [296, 170].

форсированием тенденции смыкания территориально-политических границ этих объединений, а с другой — с содействием сохранению пояса «нейтральных» княжеств в качестве постоянной арены борьбы между ведущими очагами централизации. Одним из ярких примеров новой тактики Орды была политика хана Джанибека по отношению к Галицко-Волынской Руси в 40—50-х годах XIV в., умело скоординированная с политикой Польши.

Южнорусские территории постоянно находились под пристальным наблюдением ордынских правителей. Известно о совместных с татарами походах галицко-волыньских князей против Литвы (1315 г.) [308, 396], об использовании Ордой своего вассала киевского князя Федора в сложных политических комбинациях той эпохи (1332 г.) [318, 57—58; 301, 521]. Ордынская дипломатия в 40—50-х годах оказала значительное влияние на судьбу Галицко-Волынского княжества.

Источники сообщают о том, что Орда в начале 1349 г. заключила с польским королем Казимиром соглашение, острие которого было направлено против Литвы и западнорусских земель [89, т. II, 885; 176, 33—34]. Показательно, что ордынско-польское сближение 1348—1349 гг. совпало по времени с резким ухудшением ордынско-литовских отношений. Именно тогда послы великого князя литовского Ольгерда встретили плохой прием в Орде [40, 215; 60, 369; 435, т. I, 86]. Используя договоренность с ханом, польский король начал уже в 1350 г. осуществлять крупные наступательные операции на территории Волыни и Подолии. Преодолевая сопротивление литовских сил, польские войска заняли ряд городов-замков (Гжель, Берестье, Владимир) [404, 89; 528, 341—343]. Военная активность Казимира сочеталась с дипломатической: весной 1350 г. польский король заключил союз с венгерским королем Людовиком, а также добился помощи римского престола [528, 343; 653, 106—107].

Наметившаяся в ходе военных и политических событий перспектива значительного усиления Польши, видимо, серьезно беспокоила ордынских правителей. Во всяком случае, в 1350—1351 гг. Орда перестала поддерживать Казимира, заняв позицию «строгого нейтралитета» в польско-литовском конфликте, а затем начала энергич-

но помогать Ольгерду против польского короля [609, 394—395; 653, 107—108].

Открытый переход Орды на сторону Ольгерда существенным образом изменил соотношение борющихся сил. Осознав бесперспективность продолжения борьбы при таком обороте дела, Казимир в 1352 г. пошел на компромисс с Ольгердом. В силу достигнутого соглашения Галицко-Волинская Русь была разделена между польским королем и литовским князем: Казимир получил земли люблинскую и галицкую³, Ольгерд оказался обладателем Владимира, Луцка, Белза, Холма, Берестья [219, 114—115; 176, 441—445]. Нетрудно видеть, что в подготовке этого соглашения активную роль сыграла ордынская дипломатия, что условия компромисса были не только во многом подготовлены ордынской державой, но, возможно, и дипломатически санкционированы самим ханом Джанибеком в 1352 г.

Выявляя важную роль Орды и ордыно-польских отношений в историческом развитии восточноевропейских стран середины XIV в., мы не можем игнорировать большое значение для политической жизни Восточной Европы и такого фактора, как Византийская империя, не можем упускать из вида весьма сложных отношений Константинополя с Ордынской державой, а также самых тесных связей Константинопольского патриархата с русской церковью в это время. Речь в данном случае должна идти не только о существовании обычных дипломатических контактов между двумя феодальными государствами — Ордой и Византией, а о сложении весьма своеобразных форм политического сотрудничества этих государств на русской почве, о выработке определенных форм координации их практической политики в системе княжеств русской земли. Отсюда хорошо известные ханские ярлыки тем русским митрополитам, которые ставились в Константинополе, отсюда часто взаимосвязанные визиты русских митрополитов в Орду и Царьград, а также постоянные контакты Сарайской епископии с Константинополем [33, № 10, 54] и даже византийско-ордынские брачные союзы [58, 304].

Но говоря об этом сотрудничестве Ордынской державы с Византией в XIV в., следует иметь в виду, что

³ «Русь, что короля слушает».

оно, как правило, носило неравноправный характер: ордынская сторона в этом партнерстве чаще всего была ведущей.

При этом, если Орда во имя удержания своей власти в Восточной Европе, во имя усиления политической напряженности в системе русских княжеств не просто использовала исторически сложившуюся ситуацию в русской церкви, а стремилась активно на нее воздействовать, умело сочетая сохранение общерусской митрополии с допущением в нужных случаях отпочкования ее отдельных частей, то Константинополь, традиционно заинтересованный в стабильной целостности «митрополии всея Руси», на практике весьма часто должен был лишь следовать ордынским рекомендациям как в отношении структуры русской церкви, так и в отношении подбора для нее тех или иных иерархов.

Происходившее при таком соотношении сил сотрудничество Орды и Константинополя, разумеется, многое предопределяло в политической и церковно-политической жизни Восточной Европы XIV в. в пользу Орды, однако и это сотрудничество, испытывая на себе воздействие различных международных и внутривосточных факторов, временами меняло свой характер. Так, известны попытки Константинополя играть в отдельных случаях весьма активную и вполне самостоятельную роль в развитии международных отношений данного региона, что делает необходимым постоянный учет реального участия как Византийской империи, так и Ордынской державы в тогдашней политической жизни Восточной Европы, а вместе с тем требует и пристального внимания к внутривосточному положению названных феодальных государств. С этой точки зрения представляется, например, весьма существенным тот факт, что развернувшаяся в 30—50-х годах XIV в. напряженная борьба двух феодальных группировок Византии — константинопольской элиты под эгидой Палеологов с провинциальной знатью под предводительством Иоанна Контаруки — во-первых, имела выход в сферу церковно-политической идеологии (Палеологи устами своего идеолога Варлаама готовы были «спасать» империю путем церковной унии и «духовного» сближения с Западом; Контарукин, как и выразитель его взглядов Григорий Палама, отстаивал программу сохранения целостности

Византии в опоре на внутренние силы возрожденного православия в греческой земле, а также на Балканах, на Кавказе, в Восточной Европе, отвергая при этом идею церковной унии); во-вторых, теснейшим образом переплеталась с развитием международных отношений того времени (Палеологи сотрудничали со странами Запада и Ордой, Контакузин искал поддержки не только в странах православного мира, но и подымавшихся тогда турок); в-третьих, оказывала иногда довольно сильное влияние на весь ход международной жизни данного региона, заставляя при этом в отдельных случаях идти на тактическое маневрирование даже Ордынскую державу. Так, можно думать, что совершившееся в 1347 г. слияние Галицкой митрополии с общерусской митрополией Феогноста [33, № 4—8] явилось результатом не ордынского вмешательства, а инициативы Византийской империи, явно усилившейся после прихода к власти И. Контакузина. Но если осуществившееся в 1347 г. восстановление целостности русской церкви следует рассматривать как торжество Константинополя и Москвы (Контакузин, московский князь Симеон и митрополит Феогност действовали вполне согласованно в этот период), а вместе с тем и как ущемление ордынских планов в Восточной Европе, нацеленных, как известно, на поощрение соперничества между двумя великими княжениями в политической и в церковной сферах, то ход церковно-политической жизни на Руси в 1353—1354 гг. свидетельствовал о явном преобладании ордынской концепции «расщепления» русской земли и русской церкви.

Так, играя на противоречиях двух основных объединительных центров феодальной Руси, ордынские правители не только следили за ходом политической борьбы в церковной среде, но и пытались определенным образом оказывать влияние на эту борьбу. Вмешательство ордынской дипломатии в дела русской церкви имело место в середине XIV в., когда, по образному выражению летописи, «мятеж во святительстве сотворился».

Сам факт «мятежа во святительстве» свидетельствовал об обострении тенденции поляризации политических сил феодальной Руси вокруг двух главных центров. После смерти митрополита Феогноста (1353 г.) в Константинополь приехал московский кандидат на пост митрополита Алексей, родом из черниговских, «украинских»

бояр, а ставленниками литовского князя Ольгерда оказались сначала грек Феодорит, а потом уроженец тверской земли Роман [317, 290—296; 163, т. II, 172—173, 185; 471, 13—16; 596, 278—288].

Настойчивые просьбы литовского и московского князей, видимо, поставили в трудное положение патриарха Филофея, считавшего в соответствии со сложившейся традицией, что «вся Русь должна находиться в ведении единой, неразделенной киевской митрополии с местопребыванием в городе Владимире» [471, 14].

Сначала патриарх готов был признать и Киев, и Владимир резиденциями только одного митрополита всея Руси, именно Алексея [471, 14]. Однако позднее, под давлением представителя литовского князя Ольгерда, он принял компромиссное решение, сделав и Алексея, и Романа митрополитами. Алексей был поставлен митрополитом всея Руси в Киеве и Владимире, Роман — митрополитом литовским с резиденцией в Новгороде. В его ведение входили епископства Малой Руси, а также епископства литовское, полоцкое, туровское⁴.

Такой результат был весьма показательным для тогдашней политики Литвы. Вполне естественно, что Ольгерд, присоединив к Литовскому княжеству Воынь [176, 34—40; 528, 343] и рассчитывая в будущем на расширение своего государства за счет других русских территорий на юге и востоке, признал необходимым не только создать самостоятельную русскую православную церковь в Литве, но и выдвинуть в качестве ее руководителя человека, ведущего свое происхождение из Северо-Восточной Руси, чуть ли не родственника самого тверского князя⁵.

Характерно, что митрополит Роман сразу же захотел выйти за рамки предоставленной ему сферы влияния и настаивал на том, чтобы в его титуле значилось «митрополит всея Руси» [609, 391 и сл.]. Приехав в Литовское

⁴ В Рогожском летописце под 1355 г. записано: «Того же лета мятеж сотворишется, чего то не бывало преже сего: в Царегороде от патриарха поставлени быша два митрополита на всю Русскую землю Алексей да Роман. И бышет межи ихъ нелюбие велико» [42а, 63; 33, прил. № 24; 471, 16].

⁵ Нельзя забывать, что Ольгерд сначала был женат на дочери витебского князя Ярослава (1318 г.), а потом на сестре тверского князя Михаила Александровича [302, 215, 522; 317, 295—298].

княжество, он после ряда неудачных попыток все же поселился с помощью Ольгерда в Киеве, где и начал осуществлять свои функции митрополита всея Руси [163, 191; 236, 140].

Естественно, что Алексей и стоявшие за ним политические силы Московской Руси повели энергичную борьбу против пролитовского митрополита Романа. В борьбу двух митрополитов оказалась вовлеченной и ордынская дипломатия. Видимо, не случайно Алексей, перед тем как ехать с жалобой на Романа в Константинополь, направился в ордынскую столицу [60, 375]. Получив здесь поддержку, он двинулся в Царьград, где также был поддержан патриархом. Заручившись благожелательным отношением двух важных политических инстанций, Алексей в 1358 г. поехал в Киев где рассчитывал расправиться с «самозванным» митрополитом Романом. Однако в Киеве его ждали далеко не религиозные дискуссии. Только своевременное предупреждение избавило Алексея от ареста, а возможно, и смерти.

Завершила борьбу двух митрополитов всея Руси лишь неожиданная смерть Романа, последовавшая в 1361 г. [471, 17; 163, 192]. Но, разумеется, ликвидация этого конфликта не была окончанием борьбы литовского и московского государств за приоритет в религиозной и политической жизни Руси. Сложная политическая борьба 50-х годов продолжалась и в последующее десятилетие, причем продолжалась в том же по существу ритме, в том же чередовании успехов и неудач, которыми характеризовалось соперничество Владимирского и Литовского княжений в поясе нейтральных русских земель — в Великом Новгороде, в Твери, в Нижнем Новгороде и в предшествующий период. Так, если еще в начале 50-х годов в условиях тесного политического взаимодействия Орды, Константинополя и отчасти Польши произошло усиление Ольгерда и соответственное ослабление московского князя, отражением чего явились разрыв Москвы с Новгородом Великим (1353 г.), временный приход к власти в Твери пролитовского князя Всеволода (1352), антимосковские демарши нижегородских князей (1353 г.), то уже в середине 50-х годов роли обладателей Владимирского и Виленского престолов поменялись: став фаворитом Орды, московский князь Иван Иванович сумел на протяжении 1354—1356 гг. укрепить

свои позиции на Волхове, в Нижнем Новгороде и в Твери [30, 363; 42, 66].

Если на рубеже 50—60-х годов после смерти московского князя Ивана снова наметилось ослабление Москвы и соответственное наращивание сил Литовской Руси (на владимирский стол был посажен нижегородский князь Дмитрий Константинович, связанный родством с Ольгердом с 1354 г.), Великий Новгород оказался в сфере влияния этого нового обладателя владимирского стола [30, 307], то в 1362—1363 гг. в фокусе симпатий ордынской дипломатии опять оказался московский правящий дом, а Ольгерд вынужден был столкнуться с прямым противодействием Орды его территориально-политическим амбициям. (Так, Ольгерд должен был давать отпор татарским войскам в Среднем Поднепровье в 1362 г., а московский правящий дом в лице юного князя Дмитрия Ивановича получил не только владимирский стол, но и прочные позиции на Волхове [30, 369—370], а также в Суздальско-Нижегородском княжестве.)

Но, если на протяжении 60-х годов XIV в. Москва сближалась с Великим Новгородом, а также с Суздальско-Нижегородским княжеством, то тверская земля продолжала оставаться ареной политического соперничества промосковских группировок кашинских князей с пролитовской группировкой холмских и микулинских князей.

Хотя формально тверским князем до 1368 г. оставался кашинский князь Василий промосковской ориентации, тем не менее его соперник князь Михаил Александрович с помощью дипломатии Ольгерда становился все более влиятельной фигурой.

Однако как бы ни развивались события в Твери в 60-х годах XIV в. процесс феодальной концентрации, осуществлявшейся на базе Великого Владимирского княжения, оказался в это время настолько интенсивным, что Орда практически уже не могла его остановить старыми методами сталкивания князей друг с другом.

Характерно, что в этих весьма сложных для Орды условиях ей приходилось все чаще прибегать к новым методам — методам вооруженной борьбы против чрезмерно усилившихся и вышедших из повиновения сил

феодалной Руси. Уже в 1365 г. хан Тагай вторгся с большим войском в пределы Рязанского княжества, но встретил здесь организованный отпор рязанского князя Олега, пронского князя Владимира и козельского князя Тита [60, 381—382; 42а, 80]. В 1367 г. натиск татар на Северо-Восточную Русь усилился. «Князь Ординский, именем Булат Темирь прииде ратью Татарскую и пограби уезд даже до Волги». Однако этот ордынский военачальник уклонился от генерального сражения с войском суздальского князя Дмитрия Константиновича, что привело впоследствии к уничтожению татарской армии и гибели самого Булат-Темира [60, 385].

Возраставшая активность Орды на востоке и Ольгерда на западе вынуждала московского князя Дмитрия Ивановича также действовать довольно энергично. Когда князь Михаил уехал в 1365 г. для переговоров с Ольгердом, Дмитрий Иванович решил поддержать своих сторонников в Тверском княжестве: сначала в Москву был вызван тверской епископ Василий и, по-видимому, наказан за неудачное для московской «партии» решение дорогобужского спора за обладание этим княжеством [60, 384—385; 435, т. II, 516—517], а затем, в 1366 г., московские войска вместе с кашинскими и волоцкими под водительством князей Василия и Еремея прошли боевым маршем к самой столице Тверского княжества. В ответ на это осенью того же года армии Ольгерда и Михаила пошли на Кашин, резиденцию промосковских князей.

Заключенное в конце 1366 г. перемирие между Михаилом и Василием Михайловичем было лишь кратковременной передышкой, за которой последовали новые схватки между сторонниками Литвы и Москвы в тверской земле, новые столкновения между Ольгердом и Дмитрием на всех тех территориях, которые составляли пояс «нейтральных» русских княжеств.

То обстоятельство, что позиция Орды становилась все более пролитовской, заставляло Дмитрия вести последовательную борьбу на два фронта. Начиная с середины 60-х годов XIV в. московское правительство все чаще шло на открытый разрыв с правителями Орды, вместе с тем московский князь вынужден был все более бдительно следить за скрытой и явной подготовкой Ольгерда к новому натиску на территории «нейтральных»

русских княжеств, а также и на земли самого Московского государства.

Весьма характерно, что в данной обстановке московский князь, все больше игнорируя волю Орды, добился дальнейшего сближения с Суздальско-Нижегородским княжеством: в 1366 г. он женился на дочери суздальского князя Дмитрия Константиновича [45, 105—106], что, несомненно, сделало более прочным соглашение 1364 г. Летом 1367 г. Дмитрий Иванович заключил союзный договор с Новгородом Великим, в силу которого на Волхов были посланы московские наместники [30, 369]. Политические шаги Дмитрия Ивановича на Волхове и в Нижнем Новгороде сопровождались активностью и в отношении Тверского княжества. Так, в 1367 г. великий князь владимирский Дмитрий Иванович и митрополит всея Руси Алексей в связи с дорогобужским спором вызвали в Москву на своего рода третейский суд тверского князя Михаила [42а, 84]. Чувствуя за собой поддержку Литвы и Орды, Михаил Александрович приехал в Москву. Но здесь его ждал арест, что в конечном счете должно было облегчить решение тверской проблемы в пользу московского князя.

Однако развитие событий в этом направлении, видимо, настолько расходилось с интересами Орды, что ее дипломатия, до сих пор державшаяся в тени, стала действовать открыто, стремясь не допустить соединения Твери с Москвой. Сразу после ареста Михаила в Москву прибыли ордынские послы, потребовавшие освобождения тверского князя [45, 107; 42а, 87; 60, 386]. Вынужденный отпустить Михаила в Тверь, московский князь все же сумел добиться того, что в Городке был посажен московский наместник, а князем утвержден Еремей, придерживавшийся тогда московской ориентации [42а, 85, 87].

Возвратившись в Тверь, князь Михаил «негодоваша» на московского князя, «нача же на митрополита жаловашеся». В этой обстановке в Твери неожиданно умер кашинский князь Василий (1368 г.), и Михаил стал не только фактическим, но и формальным главой тверской земли. Тогда великий князь владимирский и московский Дмитрий Иванович организовал поход на территорию Тверского княжества [42а, 88]. Появление московского войска в тверской земле привело к немедленному бег-

ству Михаила в Литву: «Князь же Михайло бежа в Литву к князю Ольгерду, зятю своему и тамо многы укоры изнесе и жалобы изложи, прося помощи себе... зовучи его ити ратию к Москве» [60, 387].

Ольгерда, видимо, не нужно было долго уговаривать. В его распоряжении уже давно находилась хорошо подготовленная армия для решительной схватки с Московским государством⁶. В декабре 1368 г. эта армия была подведена «близь порубежия литовского», а затем брошена «в пределы области Московския» [42а, 88, 89]. Разрушив ряд порубежных городов, войско Ольгерда двинулось к Москве. Стремясь захватить город, в котором укрылись князья Дмитрий Иванович, его двоюродный брат Владимир Андреевич, а также митрополит всея Руси Алексей, Ольгерд, вероятно, рассчитывал добиться решающего перелома в борьбе с Московским государством. Масштабы разрушений, причиненных армией Ольгерда, также свидетельствовали о грандиозных замыслах великого князя Литовского и Русского в отношении будущей судьбы русских земель. Автор Троицкой летописи должен был признать, что «прежде того толь велико зло Москве от Литвы не бывало в Руси, аще от Татар бывало» [60, 388; 42а, 90].

И все же замыслам Ольгерда не суждено было осуществиться: он «стоялъ около города три дня и три ночи... а града кремля не взял и поиде прочь возвратится въ свояси» [42а, 90]. Правда, вторжение Ольгерда вынудило московского князя снова пойти на некоторые уступки в пользу Твери и Литвы. Однако в 1369 г. после удачных военных операций против союзных Ольгерду Смоленска и Брянска Дмитрий Иванович уже в августе 1370 г. объявил о расторжении мирного договора с Тверью и стал готовиться к войне против Михаила.

Тверской князь немедленно направился в Литву, а затем побывал в Орде [42а, 93]. Результаты этой миссии свидетельствовали об определенных сдвигах в политике ордынских правителей в отношении русских земель. Столкнувшись со стремлением Ольгерда и Дмитрия так или иначе ликвидировать пояс «промежуточных» княжеств, Орда решила сохранить «нейтральную зону» как

⁶ Весьма показательно, что в эту армию входили вооруженные силы Тверского и Смоленского княжеств [60, 387].

арену постоянных столкновений двух ведущих центров Восточной Европы. Эта цель частично была достигнута путем предоставления Михаилу ярлыка на Великое Владимирское княжение [42а, 93]. Разумеется, этот шаг был прежде всего направлен против Москвы, но в известной мере он задевал и Литву, стремившуюся поглотить Тверь и не желавшую, чтобы она заняла место Москвы в системе княжеств, охватываемых Великим Владимирским княжением.

Тем не менее Ольгерд приветствовал предоставление Михаилу ярлыка на владимирский стол. Уже осенью 1370 г. он вместе со всеми литовскими князьями, а также со смоленским князем Святославом и тверским Михаилом двинулся на Москву [42а, 94]. На этот раз московский князь оказался более подготовленным. Владимир Андреевич стоял с войском у Перемышля на реке Угре [435, т. II, 296], пронский и рязанский князья также пришли к нему на помощь. Вторжение Ольгерда принесло новое разорение Москве, но оно не достигло главной цели — занятия московского кремля — и не привело к решительным сдвигам в соотношении сил между Литвой и Московским государством.

Между тем поведение честолюбивого великого владимирского князя Михаила, видимо, настораживало самого Ольгерда настолько, что он предложил Дмитрию Ивановичу заключить мир, закрепив его браком между литовской княжной Еленой Ольгердовной и князем «московской руки» Владимиром Андреевичем [60, 392, 393].

Наметившаяся в 1370—1371 гг. перспектива литовско-московского сближения и в связи с этим возможность ликвидации пояса «нейтральных» княжеств, вероятно, не могли не вызвать тревогу в Орде. Не случайно ордынские правители именно тогда решили снова разжечь московско-литовскую вражду: в 1371 г. ярлык на владимирский стол опять получил московский князь Дмитрий [42а, 96—97]. Правда, это отнюдь не означало, что Орда превратилась в непримиримого противника Михаила и Ольгерда. Она продолжала поддерживать как Дмитрия, так и этих князей, скрыто сталкивая их друг с другом.

Получение Дмитрием ярлыка на великое княжение вновь сблизило Михаила с Ольгердом, послужив, возможно, причиной возобновления совместных вооружен-

ных выступлений против московского князя и его сторонников в тверской земле (например, в 1372 г. был razорен Дмитров, а также совершен новый поход к Кашину) [42а, 100]. Совместные операции против московских сил в 1372 г. Ольгерд и Михаил осуществляли также в районах Переяславля, Торжка, Любута [42а, 99—100]. Здесь войска Ольгерда потерпели поражение, что вынудило его летом 1372 г. снова пойти на перемирие с Дмитрием Ивановичем [42а, 103—104]. Оставшись в одиночестве, тверской князь Михаил в 1373 г. также должен был установить мирные отношения с Дмитрием Ивановичем.

В этих условиях становился все более заметным кризис ордынской политики в Восточной Европе, обусловленный как вспышками феодальной анархии в самой Орде, так и нарушением равновесия между ведущими восточноевропейскими государствами в пользу Владимирского княжения, сумевшего в середине 70-х годов подчинить своему контролю Тверь, Нижний Новгород, Рязань и Великий Новгород. Не удивительно, что именно в эти годы Орда вынашивала различные планы ослабления Владимирского княжения, прибегая к скрытой поддержке Великого Новгорода, Твери, Нижнего Новгорода против Москвы, к заключению антимосковского союза с Литовской Русью и к антимосковским военным демонстрациям, а в дальнейшем и к вооруженным выступлениям против Северо-Восточной Руси. Владелец Владимирского стола и его союзники энергично противодействовали нажиму Орды. «Того же лета, — записано в летописи под 1374 г., — новгородцы Нижнева Новгорода побиша послов мамаевых, а с ними татар тысящу и старейшину их, именем Сарайку» [60, 396; 42а, 106].

Важные события происходили и во внутривосточной жизни Великого Владимирского княжения. Под 1374 г. Троицкая летопись сообщает: «Бяше съезд велик в Переяславли, отъвсюду съехашася князи и бояре и бысть радость велика во граде Переяславле...» [60, 398; 42а, 108]. Хотя летописец связывает это событие с рождением у Дмитрия Ивановича сына Юрия, тем не менее представляется весьма вероятным, что съезд имел прямое отношение к выработке антиордынской программы для всех земель Великого Владимирского княжения. Показательно, что на съезде не присутствовали татарские

послы, хотя пребывание их на княжеских съездах стало традицией. Характерно также, что эпизод с «побиением послов Мамаевых» произошел как раз во время съезда [60, 398] и что войска против татар послало то самое Нижегородское княжество, которое прежде нередко являлось в руках Орды орудием против Москвы.

Вполне понятно, что возраставшая активность Великого Владимирского княжения, а также установление мирных отношений на московско-литовской границе были для ордынской дипломатии крайне нежелательными явлениями. В этих условиях Орда делала все от нее зависящее, чтобы направить внимание князя Дмитрия на Запад. Уже в начале 1375 г. правители Орды опять прислали тверскому князю Михаилу ярлык на Великое Владимирское княжение [42а, 110], что свидетельствовало о намерении татар спровоцировать новое выступление Михаила против Москвы.

Это выступление не заставило себя долго ждать. Летом 1375 г. Михаил сложил с себя крестное целование Дмитрию и послал войска к Угличу, а тверских наместников направил в Торжок [46, 118]. Разумеется, тверской князь рассчитывал на поддержку, с одной стороны, Орды, а с другой — Литвы. Всем было ясно, что Михаил не только близок Ольгерду, но «сложился съ Мамаем и со всею ордою» [60, 398]. Поведение Михаила вызвало соответствующую реакцию московского князя Дмитрия и всех участников переяславского съезда. Летом 1375 г. была создана большая армия, в которую входили войска многих русских земель, включая и Великий Новгород. В августе 1375 г. объединенные силы Дмитрия оказались у стен Твери, тогда же были заняты такие центры тверской земли, как города Зубцов, Белгородок, Старица. Военное и политическое преобладание Москвы было настолько очевидным, что ни Орда, ни Литва не решились прийти на помощь тверскому князю [42а, 112]. Осознав свое бессилие, Михаил капитулировал перед превосходящими силами княжеств Северо-Восточной Руси [46, 119]. Он отказался от притязаний на Великое Владимирское княжение, признал независимость Кашинского княжества, объявил себя младшим братом московского князя.

Понятно, что ни Литва, ни Орда не хотели мириться с подобными результатами московско-тверского конф-

ликта. Не удивительно, что после 1375 г. Ольгерд, с одной стороны, и Мамай — с другой, усилили прямые атаки на Великое Владимирское княжение.

Чем напряженнее становилась борьба между Москвой и Вильно за гегемонию в Восточной Европе, тем в большей мере эта борьба оказывалась связанной со всем ходом международной жизни того времени. Верная своей тактике поддержания равновесия между ведущими восточноевропейскими странами, ордынская держава в эти годы все чаще, как мы видим, помогала Литве против усилившейся и вышедшей из повиновения Московской Руси, вместе с тем она оказывала помощь Литве и в ее борьбе против Польши. Представляется поэтому необходимым вести дальнейшее исследование международных отношений Восточной Европы того времени с учетом политики не только Орды, но и Польши и ее внутривосточного развития.

**Главные тенденции
политического развития Польши
в 70-х — начале 80-х годов XIV в.
(неизжитый «полицентризм»,
неудача польско-венгерской унии)**

Встав на путь создания объединенного национального государства еще на рубеже XIII—XIV вв., феодальная Польша многого добилась в этом направлении в период пребывания у власти Казимира Великого (1333—1370).

Хотя Казимиру и не удалось ликвидировать все остатки феодальной раздробленности в стране, обеспечить реальное сращивание Малой и Великой Польши, тем не менее именно в 40—60-е годы XIV в. было много сделано для консолидации польских территорий (возвращены Куявия и добжинская земля, установлен контроль над Мазовией), а также приняты меры по изживанию «полицентризма» польских земель, в частности по сглаживанию противоречий между феодалами Великой и Малой Польши, возникавших на почве борьбы за лидерство в политической жизни страны в целом, но отнюдь не на почве борьбы за «увечковечивание» феодальной замкнутости Малой и Великой Польши, тем более

не на основе «фиксации» не возникавших на указанных польских землях процессов «культурно-этнического» обособления.

Вместе с тем именно при Казимире были сделаны и первые шаги в направлении превращения польского национального государства в многонациональное: в течение 40—50-х годов феодальное польское государство в упорной борьбе с великим княжеством Литовским и Русским добилось подчинения себе Галицкой Руси [214, 105; 608, 104—164; 544, 102—118].

Разумеется, тогдашнее историческое развитие Польши происходило в тесном взаимодействии с развитием других стран Европы. В частности, Польша не стояла в стороне от той напряженной политической борьбы, которая разворачивалась в Центральной Европе между ведущими династиями за создание «своих» многонациональных государств, борьбы между Люксембургами, Габсбургами, правителями Венгрии из Анжуйской династии. Постепенное усиление Люксембургов, происшедшее в 30—60-х годах XIV в., их постоянные контакты с Орденом приводили к политическому сближению Польши и Венгрии [475, 30—35]. Используя поддержку Венгрии, польскому королю Казимиру не раз удавалось сдерживать натиск Люксембургов. Точно так же и Людовику венгерскому благодаря помощи польского короля часто удавалось содействовать упрочению позиции венгерского королевства в Центральной Европе [530, 46—55]. Не удивительно, что на протяжении 40—60-х годов польско-венгерское сотрудничество, основанное на равноправии сторон, оказывалось все более тесным [643, 26—28]. В 1355 г. был заключен договор, который установил определенный порядок престолонаследия в Польше в случае смерти Казимира: польский престол должен был перейти венгерскому королю Людовику или его мужскому потомству. Прямым результатом этого договора было провозглашение польским королем Людовика венгерского вскоре после смерти Казимира, последовавшей 5 ноября 1370 г. [75, X, 335—339].

Превращение венгерского короля Людовика в главу двух государств знаменовало собой наступление нового этапа в политической жизни не только Венгрии и Польши, но в какой-то мере и всех стран Центральной и Юго-Восточной Европы.

Теперь не только Люксембурги создавали свое обширное многонациональное государство в центре Европы, распространяя одновременно свое влияние на Чехию, Силезию, Лужицы, Бранденбург, стараясь установить свой контроль над политикой венгерского княжества, а также прибалтийских орденов; теперь на путь создания еще более широкого многонационального объединения встали и правящие верхи Венгрии и Польши⁷.

Весьма характерно, что реальная расстановка сил внутри этого нового объединения не способствовала сохранению равноправия «сторон». Ведущей частью этого объединения оказалась Венгрия, а Польша чаще всего была ведомой. Здесь сыграли свою роль многие обстоятельства: и то, что Людовик был прежде всего королем Венгрии, а Польшей управлял лишь через своих представителей, а также и тот факт, что в это время Венгрия оказалась более централизованной, чем Польша, различные части которой продолжали соперничать друг с другом, продолжали вести то скрытую, то явную борьбу между собой [214, 105—106; 528, I, 441].

Таково было общее соотношение сил в новом династическом объединении Венгрии и Польши, именно оно и предопределило во многом реальный ход политической жизни в этих странах на протяжении 70-х и начала 80-х годов XIV в.

Став обладателем польской короны, Людовик венгерский сразу добился такого усиления своих позиций на международной арене, что воевавшие против него Люксембурги уже в 1371 г. сочли нужным прекратить борьбу против Венгрии и начать мирные переговоры с нею.

Но, используя Польшу в качестве своеобразного политического подспорья, Людовик венгерский не проявлял в дальнейшем необходимой, с точки зрения широких кругов польских феодалов, заботы об их политических интересах. Их задевало, видимо, прежде всего то, что польский король почти не бывал сам в Польше. В качестве правительницы страны туда была направлена его мать Елизавета, а потом Польшей управляли дру-

⁷ В условиях усилившейся агрессии германских феодалов тенденция политического сближения ряда восточноевропейских феодальных государств (в форме заключения союзов, династических уний, создания многонациональных государственных объединений и т. д.) была характерной чертой исторической жизни Центральной и Восточной Европы XIV—XV вв.

гие эмиссары Людовика [75, X, 341—345; 89, II, 649]. Широкие слои польской шляхты были недовольны и тем обстоятельством, что новый польский король активно сотрудничал лишь с группировкой малопольских феодалов.

Поддерживая честолюбивые амбиции малопольских феодалов (их лидерами были Завища из Курозвенка, Сензивой из Шубины, представители рода Лелевичей — Ян из Мельштина, Рафал из Тарнова, рода Топорчиц-Старжовых — Отто из Пильцы, Ян из Бирнева, Яшко из Тенчина и многие другие) [75, X, 343—344, 349—351; 356—357, 361—363, 372, 388; 392—393 и сл.], Людовик венгерский не считался с их политическими соперниками — великопольскими панами.

В рядах великопольских феодалов были пассивные противники нового польского короля, признававшие только его приход к власти, но не желавшие с ним сотрудничать (так называемые легитимисты), но были и такие, которые оказывали активное сопротивление новой власти. В рядах великопольской оппозиции мы видим Януша Сухивилка, бывшего канцлера при короле Казимире, архиепископа гнезненского Ярослава Богория, Яна из Чарникова (автора широко известной хроники), в дальнейшем Бартоша из Одолянова и др. [75, X, 346—348, 365; 528, 417—418].

Формы борьбы великопольских феодалов с Людовиком венгерским и малопольскими лидерами были самыми разнообразными. Начинали великополяне с противодействия проникновению малопольской администрации на территорию Великой Польши, а кончали попытками разрыва династической унии с Венгрией и выдвижения на польский престол более приемлемых кандидатов. Размах своей политической деятельности великопольские феодалы не ограничивали пределами Польши, они старались действовать в контакте с внешнеполитическими силами, получая поддержку то от Люксембургов, то от папской курии. На энергичные попытки великопольских феодалов противопоставить себя Венгрии и ее малопольским партнерам король Людовик отвечал не менее энергичными попытками утвердить свою администрацию на территории Великой Польши [75, X, 343—344], попытками не только парализовать политическую деятельность близких великополянам претендентов на

польскую корону, но и обеспечить эту корону за венгерским правящим домом.

Так, зная о переговорах Карла IV и папской курии с великополянами по поводу будущей судьбы польского престола, зная о политической активности Владислава Белого на великопольской территории, Людовик венгерский сам пошел на сближение с Люксембургами: 23 июня 1373 г. он заключил с ними соглашение о женитьбе Сигизмунда Люксембурга на его дочери Марии.

В таких сложных международных условиях, в напряженной политической борьбе, развернувшейся тогда в Польше, осенью 1374 г. произошло событие, которое должно было в какой-то мере разрядить обстановку. Собранный в Кошицах съезд польских феодалов заключил с королем Людовиком соглашение, по которому польские феодалы гарантировали правящей венгерской династии право на польскую корону даже в том случае, если у Людовика не окажется мужского потомства и он выдвинет на польский престол одну из своих дочерей [75, X, 329—330]. Для Людовика венгерского эта гарантия имела огромное значение. Она не только предполагала сохранение венгерско-польской династической унии в дальнейшем, но и ограждала польский престол от посползовений со стороны различных претендентов польского происхождения (в частности, Кажки поморского, Владислава Белого, Земовита мазовецкого) [528, I, 426].

Но, добившись этой важной уступки, Людовик венгерский вынужден был удовлетворить и существенные требования польской шляхты. Прежде всего король должен был декларировать отказ от практики насаждения венгерской администрации в государственный аппарат Польши, кроме того, он должен был отказаться от содействия проникновению малопольских феодалов на должностные посты Великой Польши. Кошицкий привилей действительно гарантировал назначение на должность старосты лиц только польского происхождения, а назначение на земские должности — только жителей данной земли. Широко известно, кроме того, что кошицкий привилей значительно расширил сословные привилегии польских феодалов и ограничил королевскую власть.

Таким образом, важное значение кошицкого акта 1374 г. совершенно очевидно. И тем не менее, сколь ни важны были постановления кошицкого съезда, они не

приостановили напряженной политической борьбы, происходившей как внутри Польши, так и вокруг нее на международной арене.

Так, продолжая оставаться на посту великопольского старосты, Сендзивой из Шубины уже после кошицкого привилея стал продвигать своих сторонников на ключевые посты Великой Польши. В 1375 г. на посту познанского епископа оказался Николай из Курника [75, X, 355—356; 89, II, 665—666]. Появление в Познани этого иерарха, тогда приверженца Завиши из Курозвенка, естественно, ослабляло позиции гнзненского архиепископа Януша Сухивилка.

Между тем дальнейшее упрочение влияния Людовика венгерского и его малопольских партнеров продолжало вызывать недовольство определенных международных сил, поддержанных Люксембургами и папской курией. Владислав Белый в августе 1375 г. снова попытался укрепиться в Великой Польше [75, X, 356—357]. Однако перевес «венгерской» партии был настолько значительным, что, проиграв ряд сражений с армией Сендзивоя и Яшко Кмита, Владислав предпочел мирный исход борьбы: получив выкуп за свои владения, он покинул пределы Польши (конец 1376 г.) [75, X, 361—363].

Но если осуществлявшееся с помощью Людовика подчинение малопольским лидерам Великой Польши встречало естественное сочувствие среди малопольских феодалов, то тогдашняя политика венгерского короля в отношении Галицкой Руси вызывала крайнее беспокойство самых широких слоев господствующего класса Польши.

Мы видим, что на территории Великой Польши Людовик действовал с помощью малопольских феодалов как будто ради их собственных интересов, на территории же Галицкой Руси он выступал как глава венгерского феодального государства, по сути дела мало считаясь с интересами польских феодалов в этом районе.

Если в первые годы своего пребывания на польском престоле Людовик венгерский доверил управление Галицкой Руси Яну Кmite, старосте, поставленному еще Казимиром Великим, то уже в 1372 г. он сделал правителем галицкой земли своего родственника и давнишнего политического партнера Владислава Опольского, который откровенно стремился закрепить данную тер-

риторию не столько за Польшей, сколько за Венгрией [89, II, 665, 680; 75, 359—360, 374, 420; 176, 107—109, 462]. Он не только наводнил Галицкую Русь западными, главным образом венгерскими и немецкими, колонистами, но и создал здесь в 1375 г. латинский епископат во главе с архиепископом Матвеем из Егер [89, II, 664—665; 75, X, 360; 444, 31—35]. Он пытался перенести центр этого епископата из Галича во Львов. «Достигнутые им результаты стали основой будущего развития латинской церкви и укрепления западной культуры на Руси», — подчеркивали историки [528, I, 429—430].

Но сколь ни значительны были успехи политики архиепископа Матвея и князя-наместника Владислава Опольского [468, 426], реальные результаты этой политики не вызывали восторга среди польских феодалов [75, X, 369—370, 374, 415; 176, 109—112].

Не встречали они одобрения и среди правящих верхов соседнего с Польшей государства — великого княжества Литовского и Русского. Продолжая борьбу за освобождение Галицкой Руси (прерванную в 1370—1371 гг., когда был возвращен город Владимир), литовско-русские князья Любарт-Дмитрий, Кейстут и Юрий Нариманович провели в 1376—1377 гг. операции большого масштаба против сил венгеро-польского короля. Осенью войска литовско-русских князей проникли не только в Червонную Русь, но и на территорию Малой Польши (почти до Кракова); весной 1377 г. Любарт и Кейстут организовали еще один военный поход, в результате которого Владислав Опольский бежал в Венгрию [89, II, 674—675; 75, X, 366—368].

Однако в дальнейшем в ходе операции наступил перелом. Сравнительно быстро Людовику венгерскому и Владиславу Опольскому удалось собрать большую армию и в течение июля—сентября 1377 г. провести успешное контрнаступление против великого княжества Литовского и Русского.

В результате этих операций польско-венгерские власти закрепили за собой Холм и Бельз [75, X, 371—372; 89, II, 678; 176, 107—114].

После этих столкновений с князьями великого княжества Литовского и Русского король Людовик стал еще более последовательно осуществлять «приобщение» Галицкой Руси к венгерскому государству (вместо Вла-

дислава Опольского здесь появились венгерские наместники) [528, I, 458], а кроме того, установил тесные политические контакты с крестоносцами явно антилитовской направленности [528, I, 431].

Закрепив таким образом свои позиции в Галицкой Руси, Людовик венгерский снова стал форсировать подчинение себе Польши, на этот раз с помощью своего испытанного соратника Владислава Опольского. Так, в конце 1377 г. на место правительницы Елизаветы, покинувшей Польшу, был назначен именно Владислав Опольский, тогдашний правитель Галицкой Руси [75, X, 369—370, 376—377; 89, II, 680].

Одновременно Людовик продолжал опираться на поддержку таких малопольских лидеров, как Завиша из Курозвенка, Сендзивой из Шубины и др. [75, X, 371—372]. Новым в тактике Людовика венгерского стало более интенсивное, чем раньше, использование противоречий в среде великопольских феодалов. Назначив в 1377 г. великополянина Домарата на пост великопольского старосты, а Петраша Мороха на должность куявского старосты (оба они из рода Грималитов) [75, X, 372], Людовик венгерский столкнул их с другими великопольскими вельможами, которые почувствовали себя обделенными в результате этих новых назначений. Великопольскую фронду теперь возглавляли такие крупные феодальные роды, как Палуки, Доливицы, Наленчи, Зарембы, Лодзицы и др. [528, I, 434]. И хотя предпринятая Людовиком венгерским попытка расщепить ряды великопольских феодалов дала какой-то временный результат (сила противодействия великополян несколько ослабла), тем не менее это отнюдь не означало, что Великая Польша была близка к капитуляции.

Уже в конце марта 1378 г. великополяне, собравшиеся на съезд в Гнезно, открыто протестовали против назначения Владислава Опольского правителем Польши, считая этот акт нарушением кошицкого привилея [89, II, 681]. Но дело не ограничилось политическим протестом. Один из новых лидеров великопольской оппозиции, Бартош из Одолянова, встал на путь активного противодействия политике Людовика венгерского и Владислава Опольского. Он не только совершил поход в Силезию, но и установил близкие отношения с князем мазовецким Земовитом III, который играл тогда видную

роль в политической жизни Восточной Европы (будучи противником Ордена, он был близок Литве, выдвигая план ее христианизации с помощью польского костела [528, I, 434]).

Это сотрудничество великополян с мазовецким домом все больше беспокоило Людовика. Оно заставило короля изменить свою тактику: Владислав Опольский был теперь отстранен от должности верховного правителя Польши (осенью 1378 г. этот пост заняла снова королева Елизавета) [75, X, 376, 389] и переброшен в добжинскую землю; находясь на территории, отделявшей Мазовию от Великой Польши, Владислав Опольский должен был, видимо, противодействовать дальнейшему углублению сотрудничества между мазовецкими князьями и великопольской фрондой. Кое-что Владиславу удалось сделать в этом направлении: где-то на рубеже 1378—1379 гг. он женился на сестре Земовита III Офке, добившись тем самым лояльности мазовецкого князя к Людовику венгерскому.

Но эту лояльность проявляли только сам Земовит III и его сын Януш; другой же его сын, Земовит младший, продолжал сотрудничать с великопольской оппозицией, надеясь на то, что в случае смерти Людовика именно он будет наиболее реальным претендентом на польский престол [75, X, 414, 437; 593]. Растущая активность лидера великополян Бартоша укрепляла Земовита младшего в его надеждах на польскую корону.

Все это учитывал Людовик венгерский, когда усиленно добивался нового съезда польских панов в Кошицах, на котором он рассчитывал снова провозгласить одну из своих дочерей официальной наследницей польского престола.

Чувствуя себя недостаточно прочно на польском престоле, Людовик пытался установить контакты со своими политическими соперниками в Центральной Европе, например старался закрепить права своих дочерей на венгерскую и польскую короны специальными соглашениями с Люксембургами и Габсбургами.

Так, после договора Людовика с Люксембургами по поводу брака Марии и Сигизмунда (договор от 23 июня 1373 г. был подтвержден 14 апреля 1375 г.) устанавливались аналогичные отношения и с Габсбургами. 18 августа 1374 г. было заключено соглашение о женитьбе

Вильгельма Габсбурга на младшей дочери Людовика Ядвиге (соглашение позднее несколько раз подтверждалось: 4 марта 1375 г., 15 августа 1378 г., наконец, 12 февраля 1380 г.) [475].

После того как умерла в конце 1378 г. старшая дочь Людовика Екатерина (одна из возможных претенденток на польскую корону), вопрос о закреплении за венгерской династией польского престола стал, видимо, снова актуальным. Упрочить позиции венгерской претендентки на польскую корону заставляла и борьба с великопольской оппозицией, выдвигавшей своего кандидата.

Так, в августе 1379 г. состоялся новый съезд польских феодалов в Кошицах. Несмотря на противодействие великополян, съезд провозгласил Марию наследницей польского престола. Это решение в какой-то мере упрочило позиции Людовика в Польше, но не заставило великополян сложить оружие. Бартош из Одолянова, союзник Земовита младшего, продолжал борьбу против Людовика венгерского и Владислава Опольского. Не имея достаточных сил для ликвидации этого движения, глава польско-венгерского объединения должен был время от времени заключать мирные соглашения с главой великополян Бартошем [75, X, 393]. Но и в условиях временных передышек политическая борьба продолжалась.

Когда умер глава малопольских феодалов и главный советник Людовика — Завища из Курозвенка (12 января 1382 г.), когда великопольские феодалы попытались закрепить вакантные епископаты Гнезно и Познани за своими сторонниками [89, II, 701, 713, 715], Людовик принял все меры для того, чтобы не допустить усиления своих противников в польском королевстве [528, I, 439—440]. Ведущие епископаты Великой Польши с помощью папы Урбана VI оказались в руках приверженцев короля и малополян: 9 июня 1382 г. в Гнезно был назначен краковский прокуратор Бодзанта, в Познань — Ян Кропидло, младший брат Владислава Опольского [75, X, 401—402]. Ключевые позиции в Кракове после смерти Завищи из Курозвенка были переданы четырем видным малопольским панам, которые были послушными исполнителями воли венгерского короля. Такими методами Людовик стремился сохранить польский престол для своей дочери Марии.

Одновременно Людовик расчищал путь и для утверждения на польском престоле ее будущего супруга Сигизмунда Люксембургского. 25 июля 1382 г. на съезде польских старост венгерский король объявил о проекте выдачи замуж Марии за Сигизмунда с последующим признанием его польским королем. Тогда же, видимо, было принято решение о возобновлении вооруженной борьбы против великопольской оппозиции и ее лидера Бартоша из Одолянова, союзника мазовецкого князя Земовита младшего. Так, уже в августе—сентябре 1382 г. войска под командованием Сигизмунда Люксембургского, тогда еще маркграфа бранденбургского, а также Сендзивоя из Шубина и Домарата вели боевые операции против сил Бартоша.

Борьба прекратилась только тогда, когда было получено известие о смерти Людовика, последовавшей в ночь с 10 на 11 сентября 1382 г. Казалось, что теперь ничто не могло помешать осуществлению планов покойного короля. Однако в действительности препятствий на пути их реализации оказалось довольно много.

Сложившаяся тогда политическая обстановка как в Венгрии, так и в Польше исключала, по сути дела, всякую возможность осуществления замыслов короля Людовика. Ни венгерские, ни польские феодалы не хотели дальнейшего усиления Люксембургов, а польские феодалы, кроме того, не хотели сохранять унию с Венгрией.

В результате Мария была оставлена в Венгрии в качестве наследницы престола, а это означало, что все предшествующие соглашения теряли свою силу: Сигизмунд Люксембургский не мог теперь рассчитывать ни на Венгрию (здесь у него не было никаких корней), ни на Польшу. Польские феодалы, уставшие от «провенгерских» экспериментов Людовика, стремились разорвать унию с Венгрией, а поэтому новая венгерская королева, Мария, не могла стать одновременно и польской королевой.

Перспектива сохранения венгеро-польской унии, а теперь перспектива подчинения венгеро-польского объединения Люксембургам столь отрезвляюще подействовали на умы политических лидеров Польши, что осенью 1382 г. наметилось даже сближение соперничавших группировок польского господствующего класса [89, II, 723; 75, X, 416]. Эта тенденция консолидации польских

феодалов проявилась на радомском съезде в ноябре 1382 г., когда было принято согласованное решение о будущей судьбе польского престола [75, X, 417]. Польские феодалы выразили готовность признать права на польскую корону только той дочери Людовика, которая согласилась бы постоянно жить на территории Польши и которая одновременно не была бы обладательницей венгерской короны [528, I, 444]. По сути дела, данное решение означало отказ правящих верхов Польши от реальной унии с Венгрией.

Такова была реакция польских феодалов на двенадцатилетнее пребывание короля Людовика на польском престоле, таков был, по сути дела, печальный итог его правления в польском государстве.

Мы знаем, что у польских феодалов были основания относиться таким образом к деятельности Людовика венгерского в качестве польского короля. За годы его правления ведущие группировки польского господствующего класса хорошо поняли, что династическая венгеро-польская уния не только не гарантировала объединившимся государствам элементарного равноправия, но и создала весьма благоприятные условия как для превращения Польши в политический придаток венгерского королевства, так и для перераспределения в пользу Венгрии некоторых важных территорий, недавно приобретенных польским королем Казимиром III (в частности, территорий Галицкой Руси) ⁸.

Поэтому не было ничего удивительного в том, что ведущие политические лидеры малополян и великополян не только осудили недавнее правление «польского» короля Людовика, но и отвергли предложенную им программу дальнейшего сохранения венгеро-польской унии. Однако двенадцать лет сотрудничества польских феодалов с Людовиком венгерским не прошли для них бесследно, они определенно воздействовали на их политическое мышление. Осуждая такой вариант династической унии, олицетворением которого был сам Людовик, польские лидеры стали искать ее новый вариант, при котором Польша оказалась бы не ведомым, а ведущим государством. Иными словами, польские феодалы, от-

⁸ Так, в 1382 г. после смерти Людовика венгерские феодалы уступили князю Любарту русские земли с городами Каменец, Олеско, Городло, Лопатин, Снятин [75, X, 415; 89, II, 722].

вергнув стратегические планы Людовика, направленные на превращение Польши в политическое подспорье Венгрии, не думали отказываться от его тактики.

Оценив должным образом изощренные приемы политики короля Людовика, они решили использовать их для осуществления своей собственной политической программы в Восточной Европе.

* * *

Последующие три-четыре года прошли в напряженной политической борьбе между правителями Венгрии и польскими феодалами. Первые стремились всеми способами сохранить венгеро-польскую унию в том ее состоянии, в каком она существовала при Людовике, а польские феодалы усиленно старались не только уклониться от прежней унии с Венгрией, но и осуществить свой вариант ее, более выгодный для них.

Нежелание сохранять унию с Венгрией сближало обе ведущие группировки польских феодалов — малополян и великополян, однако конкретные планы дальнейшего политического развития Польши их разделяли. Многие великопольские лидеры хотели, чтобы польским королем был мазовецкий князь Земовит младший, не возражая при этом против его женитьбы на дочери венгерского короля Ядвиге, а малопольские политики стремились провозгласить королевой Польши Ядвигу, но с условием отказа ее от всяких форм венгерской опеки, а также с условием аннулирования прежнего соглашения о ее брачном союзе с Вильгельмом Габсбургом [75, X, 418—419].

Так, найдя в конце 1382 г. общую платформу в своем противодействии появлению в Польше Марии Венгерской и Сигизмунда Люксембургского, малопольские и великопольские феодалы уже в начале 1383 г. начали борьбу за «своих» кандидатов на польский престол, а вместе с тем и борьбу за ведущую роль «своих» земель в объединенном польском государстве.

Малопольские лидеры были последовательны в отстаивании своей программы, чего нельзя сказать о ведущих феодальных родах Великой Польши. Часть великопольских феодалов (прежде всего Бартош из Одолянова) делала ставку на Земовита и на дальнейшее сближение Великой Польши с Мазовией. В январе 1383 г. к этой

«партии» примкнул и познанский воевода Винцент из Кемпы [89, II, 725—726; 75, X, 420—422].

Другая часть великополян, в частности Домарат из рода Грималитов, готова была теперь, после отказа Малой Польши от сотрудничества с Марией и Сигизмундом, поддерживать Люксембургов, надеясь, видимо, с их помощью добиться усиления Великой Польши в объединенном польском государстве.

Так, первые месяцы 1383 г. прошли в напряженных схватках Бартоша и Земовита, с одной стороны, Домарата и Сигизмунда Люксембургского — с другой. Военные действия происходили в районе Познани, Калиша и в других центрах этой части страны [75, X, 421—425].

Тогдашние правители Венгрии не могли игнорировать эту борьбу в Польше. Боясь полностью потерять связь с Польшей, венгерские феодалы попытались изменить форму своего вмешательства в польские дела, а вместе с тем и ослабить внутривнутриполитическую борьбу в польском государстве [89, II, 735; 643, 25—27]. 23 февраля 1383 г. перед собравшимися в Серадзи польскими должностными лицами венгерская королева Елизавета официально объявила об отказе Марии от претензий на польский престол и сообщила о готовности венгерского правящего дома прислать весной 1383 г. другую дочь Людовика — Ядвигу — для провозглашения ее польской королевой [75, X, 425—427; 89, II, 733]. Венгерская дипломатия стремилась объединить вокруг Ядвиги широкие слои польских феодалов и изолировать тем самым великопольских сторонников Земовита.

Это вмешательство венгерской дипломатии в политическую жизнь Польши не осталось бесследным. В новой политической ситуации малополянам удалось навязать великополянам 8 марта 1383 г. соглашение о перемирии с условием возвращения Калиша и недопущения Земовита в великопольские города.

Но это перемирие не было полной победой малополян, не было оно и капитуляцией группировки Бартоша — Земовита. Это перемирие было лишь временной передышкой перед новым туром столкновений. В этих условиях возник проект женитьбы Земовита на Ядвиге, который поддерживал не только сам Земовит, но и гнезненский архиепископ Бодзанта, ставший на некоторое время сторонником мазовецкого князя [75, X, 427].

При таких обстоятельствах 28 марта 1363 г. собрался в Серадзи еще один съезд польских феодалов. Сначала великополяне с их планами провозглашения Земовита польским королем имели явный перевес (сторонником Земовита теперь был не только Бартош, но и некоторые великопольские феодалы, а также сам архиепископ гнезненский Бодзанта). Однако в дальнейшем малопольским феодалам все же удалось удержать съезд от перехода на сторону Земовита и добиться поддержки кандидатуры Ядвиги [75, X, 426, 428].

Одновременно они вынудили Венгрию декларировать свой отказ от приобретений в Галицкой Руси, сделанных еще во время правления Владислава Опольского. Отмечая факт польско-венгерских переговоров 1383 г. о дальнейшей судьбе Галицкой Руси [75, X, 428], мы должны помнить, что практически венгерские феодалы продолжали контролировать значительную часть Прикарпатской Руси до 1387 г. [528, I, 458, 465]. Декларация Венгрии о возвращении этих земель Польше [89, II, 735] не могла не расположить широкие круги польских феодалов к выдвигаемой программе возведения на польский престол Ядвиги. Большое значение для польских феодалов факта обладания Галицкой Русью подчеркивали авторы «Политической истории Польши»: «В течение 40 лет польский элемент распространился в Червонной Руси. Многочисленные земельные пожалования польским панам открыли путь для колонизации, в которой малопольские паны принимали самое живое участие» [528, I, 458]. Данное предположение тем более вероятно, что часть этих «передаваемых» территорий тогда находилась в сфере влияния волынского князя Любарта, союзника Кейстута [75, X, 415].

Но хотя на втором серадзском съезде малопольским феодалам удалось отклонить кандидатуру Земовита, тем не менее сам Земовит, поддержанный определенными кругами великопольских феодалов, продолжал добиваться своих целей. Так, он решил пойти на весьма рискованный шаг: зная о времени предполагавшегося переезда Ядвиги из Венгрии в Польшу (начало мая 1383 г.), Земовит намеревался перехватить ее на пути в польскую столицу, жениться на ней, а потом вместе со своей супругой вступить на польский престол [75, X, 429—430]. Однако замысел этот не удался. О нем узна-

ли малопольские лидеры [75, X, 430—431], узнала и королева Елизавета — мать Ядвиги. В результате совещаний с польскими официальными лицами в Кошицах срок приезда Ядвиги был перенесен на ноябрь 1383 г.

Теперь на сторону малополян и Ядвиги перешли и некоторые видные великополяне — Домарат, поддерживавший ранее Сигизмунда из Люксембурга, и Винцента из Кемпы и сотрудничавший с Бартошем и Земовитом (в начале 1383 г.).

Тем не менее ради привлечения и других великопольских лидеров было решено пожертвовать Грималитами: на посту великопольского старосты Домарат был заменен Перегрином из Вонглешина, а на посту куявского старосты вместо Петраша из Молохова появился Сцибор Мощичиц. Этот шаг, однако, не улучшил положения. Когда в мае 1383 г. Земовит решил силой добиться польской короны, на его стороне оказался обделенный Петраш из Молохова, оба они тогда же установили свой контроль над Куявией [75, X, 431—434].

Окрыленный этим успехом, Земовит попытался созвать «свой» съезд польской шляхты в Серадзи. В середине июля 1383 г. этот съезд состоялся. Но крупные политические деятели того времени в Серадзь не приехали, если не считать прибывших все же сюда гнезненского архиепископа Бодзанты, епископа плоцкого Сцибора и епископа куявского Николая. Тем не менее Земовит был здесь выдвинут главным претендентом на польский престол, хотя коронация его и не состоялась [75, X, 432—433].

Не добившись, таким образом, своей цели политическими средствами, Земовит снова применил силу. Сначала он направился к Калишу (конец июня), потом, поручив осаду города Бартошу, двинулся в Мазовию и Куявию [75, X, 433—436].

Между тем малопольские лидеры, обеспокоенные чрезмерной политической активностью Земовита, стремились ослабить его позиции в Великой Польше. Для этой цели был использован авторитет папской курии.

Перешедший на сторону малополян и Ядвиги бывший великопольский староста Домарат из рода Грималитов оказался тогда орудием курии и венгерской дипломатии. Выполняя их инструкции, Домарат вынудил одного из главных тогдашних сторонников Земовита, гнезнен-

ского архиепископа Бодзанта, прекратить поддержку этого претендента на польский престол (июль 1383 г.) [75, X, 430—441]. После того как Бодзанта перешел на сторону малополян, мазовецкий князь решил приостановить вооруженную борьбу и попытался сам добиться взаимопонимания с предводителями малопольских феодалов; возможно, что Краков по особым тактическим соображениям пообещал ему тогда нечто весьма существенное (может быть, даже руку Ядвиги и соответственно польский трон), во всяком случае Земовит пошел на перемирие со своими бывшими противниками на условиях не очень для себя выгодных: он должен был прекратить наступательные операции, снять осаду Калиша (против чего возражал Бартош, одержавший к этому времени ряд побед в борьбе с новым великопольским старостой — Перегрином из Вонглешина) [75, X, 436—437].

Нежелание Бартоша подчиниться условиям соглашения, заключенного Земовитом с краковскими лидерами (в начале августа 1383 г.), было использовано малополянами как предлог для начала военных действий и против Бартоша, и против самого Земовита. В их распоряжении тогда уже оказались 12 тыс. венгерских войск под командой Сигизмунда Люксембургского — тогда еще маркграфа бранденбургского [75, X, 437].

Теперь стало ясно, что краковское соглашение с Земовитом и сделанные там ему предложения были лишь тактическим маневром, лишь средством выиграть время, необходимое для формирования и переправки венгерских войск на польскую территорию.

Преследуя совершенно определенную политическую цель — устранение Земовита как соперника Ядвиги в борьбе за польский престол, венгерские войска двинулись в Мазовию [75, X, 437].

В этой новой обстановке Земовит снова вынужден был пойти на примирение со своими противниками — оно состоялось 6 октября 1383 г. при посредничестве Владислава Опольского, женатого, как известно, на дочери старшего Земовита — Офке. Хотя по этому соглашению Земовит младший сохранял за собой, видимо, контроль над Куявией, тем не менее он прекращал свою борьбу против Малой Польши и Венгрии [593, 95 и сл.].

Возможно, что свою роль в этом соглашении сыграли и малопольские лидеры; ослабив Земовита с помощью венгерских войск, малополяне боялись, чтобы дальнейшее пребывание этих войск на территории Мазовии и Великой Польши не привело к восстановлению венгерского контроля над польским государством.

Вероятно, малопольские феодалы пошли снова на компромиссное соглашение с Земовитом по той причине, что оно позволяло убрать с территории Польши как венгерские войска, так и их военачальника — Сигизмунда Люксембургского [75, X, 440].

Дальнейший ход событий, в частности дальнейшее развитие венгеро-польских отношений, в какой-то мере подтверждает такое предположение. Возможно, что отказ Елизаветы прислать свою дочь Ядвигу в Польшу к назначенному сроку был реакцией на удаление венгерских войск с польской территории, удаление преждевременное и явно нежелательное, с точки зрения правящих верхов венгерского государства. Без достаточно серьезных оснований Елизавета вряд ли уехала бы со своими дочерьми в Долмацию в октябре 1383 г., договорившись, что одна из них — именно Ядвига — должна короноваться в Кракове в ноябре того же года. Именно поэтому краковские лидеры, чувствовавшие себя виноватыми, не только направили своего посла Сендзивоя из Шубины в Венгрию для выяснения там дальнейших планов тогдашних правителей венгерского королевства, но и послали вместе с ним заложников — детей видных польских магнатов; именно поэтому Елизавета задержала Сендзивоя и его спутников в Задаре, именно поэтому она потребовала передачи Кракова под контроль венгров и Сигизмунда Люксембургского [75, X, 444].

Но эти требования легко были отклонены малопольскими лидерами, так как в это время благодаря их дальновидности на польской территории уже не было крупных венгерских формирований, которые могли бы поддержать эти требования. Малопольские феодалы хотели скорее видеть Ядвигу в Кракове, но не в качестве инструмента политики Анжуйской или Люксембургской династий, а как орудие их собственной политики в Восточной Европе. Усиление трений с Венгрией осенью 1383 г. угрожало бы малопольским лидерам потерей «своего» претендента на польский престол в лице Ядвиги.

ги и вместе с тем открыли бы путь к польской короне Земовиту — кандидатуре Мазовии и Великой Польши, а это для них было бы равносильно самоубийству.

Теперь предводители малопольских феодалов стремились скорее получить Ядвигу в Кракове, но, разумеется, без сопровождения венгерской армии и Сигизмунда Люксембургского.

2 марта 1384 г. в Радоме был созван съезд малопольских и великопольских феодалов [75, X, 445]. Из его постановления было ясно, что в Польше допускали возможность затяжного бескоролья. На это время к каждому генеральному старосте прикомандировывалось по шести советников от шляхты и по два советника от городов. Они должны были присягнуть дочерям покойного Людовика, ожидая приезда одной из них и ее коронации (возможно, тогда был назначен срок ее прибытия в Польшу — 8 января 1384 г. [528, I, 451]), но вместе с тем им запрещалось вступать в какие-либо соглашения с венгерским двором, ездить в Венгрию под угрозой обвинения в измене [75, X, 447].

Таким образом, этот съезд еще раз продемонстрировал волю малопольских феодалов действовать с помощью дочери венгерского короля, но не в интересах Венгрии, а в интересах Польши, точнее — Малой Польши.

Показательно, что малополяне при этом заигрывали и с Владиславом Опольским, надеясь в его лице получить удобного посредника в дальнейших сложных переговорах с венгерским двором, а возможно, и в переговорах с Мазовией. Но венгерская династия ответила на съезд в Радоме весьма своеобразно: вместо немедленной присылки Ядвиги в Краков правители Венгрии направили туда Сигизмунда Люксембургского в качестве губернатора [75, X, 446]. Было совершенно очевидно, что венгерские феодалы все еще добивались сохранения венгеро-польской унии в прежнем ее виде. Но малопольские лидеры, умудренные большим политическим опытом, решительно отклонили идею приезда на польскую территорию этого новоявленного губернатора.

На съезде в Сонче польские феодалы приняли решение (8 мая 1384 г.) не посылать больше в Венгрию за Ядвигой, а собраться 22 сентября для выдвижения нового кандидата на польский престол [75, X, 447].

Такой неожиданный оборот дела заставил правите-

лей Венгрии изменить свою позицию. Осенью 1384 г. королева Елизавета санкционировала поездку своей дочери Ядвиги в Польшу. В Кракове она появилась 13 октября 1384 г., сопровождаемая кардиналом Дмитрием (осудившим год назад гнезненского архиепископа Бодзанта за сотрудничество с Земовитом) [528, I, 444—450]. 15 октября 1384 г. состоялась коронация Ядвиги [75, X, 450].

Наконец лидеры Малой Польши могли торжествовать свою победу. Польский престол заняла юная королева, все прежние брачные обязательства которой теперь потеряли силу. После этого окончательного размежевания с Венгрией малопольским феодалам оставалось выполнить вторую часть своей политической программы: обеспечить королеве такой брачный союз⁹, который одновременно представлял бы вариант династической унии, значительно более выгодный, чем вариант венгеро-польской унии.

И таким идеальным брачным союзом оказалась выдача замуж Ядвиги за великого князя литовского, русского и жемайтійского — Ягайло Ольгердовича. Польско-литовская уния во всех отношениях должна была удовлетворить польских феодалов.

Давний вариант унии, связанный с превращением польского короля в реального правителя польско-литовского объединения, исключал возможность установления равноправия между объединяющимися государствами, обеспечивал Польше роль лидера намечавшегося объединения, а Литве — роль руководимой периферии.

Этот вариант унии сразу должен был усилить позиции Польши на международной арене, должен был облегчить скрытое соперничество польского государства с правителями Венгрии из Анжуйской династии и вместе с тем создать благоприятные условия для противодействия Габсбургам, Люксембургам, Бранденбургу и Ордену.

Но главное преимущество намечавшейся унии состояло в том, что «она открывала Польше такие перспективы усиления своего государства и экспансии на восток, о которых до сих пор не мечтали, и делала возможным

⁹ Длугош подчеркивал, что уже в момент коронации Ядвиги польские феодалы думали о подыскании ей политически выгодной партии [75, X, 449].

такой успех, который воспитанникам политической школы Людовика венгерского позволял смело утверждать, что они значительно превосходили своих учителей» — так считали авторы «Политической истории Польши»¹⁰ [528, I, 452].

Политическое развитие Великого Владимирского княжения и великого княжества Литовского в 70-е годы XIV в.

Но как бы ни запутанна была тогдашняя внутри-политическая жизнь феодальной Польши с ее скрытым полицентризмом и явными столкновениями малопольских и великопольских możnowładców, как бы ни сильна была после разрыва с Венгрией предубежденность польских феодалов к идее унии с другим государством, международная обстановка, в частности усилившаяся тогда германская феодальная экспансия, толкала Краков на путь активной политики, на путь приобретения новых союзников в Восточной Европе. Намечавшаяся же при поисках новых партнеров возможность ставить не только вопросы военно-политического сотрудничества, но и вопросы территориального характера (хотя бы в виде окончательного признания прав польской короны на Галицкую Русь), в сущности, предопределяла однозначное решение проблемы будущих союзников: выбор падал на восточного соседа Польши — великое княжество Литовское и Русское [527, 562—566; 214, 119—120].

Но прежде чем четко наметилась такая тенденция во внешней политике польского феодального государства, произошли весьма существенные сдвиги в развитии международных отношений Восточной Европы в целом. Речь, по сути дела, должна идти о возникшем еще в 70-е годы XIV в. кризисе ранее сложившихся отношений между Москвой, Вильно и ордынской державой. Дело в том, что если на протяжении предшествующих десятилетий Орде удавалось, как мы видели, поддерживать равновесие между Владимирским и Литовско-Русским княжениями (путем насаждения «местного» сепаратиз-

¹⁰ Так же высказывались и другие польские историки, в частности С. Смолька [649, 646], Прохаска в своих работах о короле Ягайло [619, 622] и Витовте [618], Колянковский [553] и др.

ма в рамках названных политических образований, а также путем поощрения «великодержавных» устремлений великих княжений, путем их сталкивания, регулирования их территориального роста и т. д.), то теперь, в 70-е годы XIV в., в связи с явным усилением Северо-Восточной Руси и выходом Москвы из повиновения правители Золотой Орды оказались перед фактом нарушения сохранявшегося раньше равновесия, а следовательно, и перед возможностью крушения всей системы ордынского господства в Восточной Европе. Наметившийся таким образом в 70-е годы XIV в. кризис ранее сложившегося в этой части Европейского континента порядка вынуждал ордынских политиков прибегать к новой тактике, к новым приемам сохранения своей власти над восточноевропейскими территориями.

Теперь ордынская дипломатия должна была восстанавливать нарушенное равновесие между Москвой и Вильно не только путем скрытой поддержки Твери и Великого Новгорода против Москвы, не только путем заключения антимосковского союза с правителями великого княжества Литовского, но и путем вооруженного выступления против Северо-Восточной Руси.

Такова сущность сдвигов, наметившихся в международной жизни Восточной Европы 70-х годов XIV в. Нам представляется, что учет этих сдвигов позволяет глубже понять как линию поведения ордынской дипломатии в отношении восточноевропейских стран, так и сам характер политического развития Владимирского и Литовского княжений в период, предшествовавший Куликовской битве.

Это были годы, когда Владимирское княжение пыталось расшатать власть ордынской державы в Восточной Европе, стремилось нарушить в свою пользу то равновесие между Москвой и Вильно, поддерживая которое ордынские правители сохраняли контроль над восточноевропейскими странами. Имея в виду эти цели, московский князь стремился упрочить внутреннее единство русских княжеств, объединенных Москвой, старался расширить круг своих союзников не только за счет княжеств Великого Владимирского княжения, но и за счет некоторых удельных князей великого княжества Литовского и Русского. Естественно, что подобные шаги московского правительства не встречали одобрения тогдаш-

него правителя Орды Мамай, а также и великого князя литовского; у каждого из них были свои планы в отношении дальнейшего статуса Восточной Европы, не совпадавшие с программой будущего победителя на Куликовом поле.

Если Мамай, добиваясь сохранения власти Орды над восточноевропейскими странами, старался восстановить нарушенное равновесие между Владимирским княжеством и Литовским княжеством с помощью отрыва от Москвы ряда русских земель, а также с помощью совместного ордынско-литовского выступления против Московской Руси, то правители великого княжества Литовского и Русского, стремясь превратить Литовско-Русское государство в ведущую силу Восточной Европы, в главного наследника древнерусской земли, хотели не только ослабить московское государство путем его политической изоляции, военного нажима, но и подчинить его своему контролю. Если обратиться к конкретным фактам политической истории восточноевропейских стран накануне Куликовской битвы, то нетрудно будет убедиться в том, что конфронтация программ этих трех государств подчиняла себе весь ход политической жизни Восточной Европы.

Так, весьма показательными были в этом смысле политика Москвы в середине 70-х годов XIV в., ее отказ выплачивать дань в прежних размерах [38, 77], ее открытое выступление против Орды, выступление, осуществленное с явным намерением еще в большей мере изменить общее соотношение сил в свою пользу. Так, в 1375 г. был организован поход против Твери. Московскому князю Дмитрию удалось привлечь к участию в этом походе очень широкий круг русских князей¹¹.

Несмотря на тогдашнюю дипломатическую активность Орды и Литвы (в самой Твери не зря «надеялись

¹¹ В походе на Тверь принимали участие кроме самого Дмитрия московского князя суздальско-нижегородские, князья ярославские, князья ростовский, белозерский, Можайский, новосильский, Оболенский С. К., тарусский Ив. К., смоленский Иван Вас., брянский Роман Мих., стародубский. Кроме того, в осаде Твери участвовали и новгородцы «князя великого честь изводяще, лаче же свою отмъщающе обиду, бывшую от Торжку» [42а, 110—112]. К Москве был тогда, видимо, расположен и Псков [50, 105; 294, 130—134; 140, 160—162].

помочи от Литвы и от татар» [42а, 112]), тверской поход завершился важной политической победой московского князя Дмитрия: Тверь оказалась под его контролем на некоторое время [42а, 112; 16, № 9, 25].

Заключенное тогда соглашение (докончальная грамота 1375 г.) не только устанавливало определенную субординацию между «старейшим» московским князем Дмитрием и «млодшим» князем тверским Михаилом, но и выдвигало четкую программу дальнейшего внутривнутриполитического и международного развития Великого Владимирского княжения [16, № 9, 25—26].

В докончальной грамоте речь шла о сохранении тесного сотрудничества всех участников похода 1375 г. с тверским князем, о создании общего фронта русских земель в составе Москвы, Великого Новгорода, Рязани, Твери, Смоленска и т. д., вместе с тем здесь намечались линии дальнейшего развития отношений Владимирского княжения с Ордой и великим княжеством Литовским. Что касалось Орды, то докончальная грамота не только обнаруживала прекрасное понимание традиционной ордынской тактики сталкивания отдельных русских княжеств друг с другом, но и предлагала эффективные меры борьбы с этой тактикой: «А имут нас сваживати татарове, и имут давати тебе нашу вотчину, великое княжение, и тебе ся не имати... А имут довати нам твою вотчину Тверь, и нам ся тако же не имати...» [16, № 9, 26]. «А вотчины ти нашия Москвы и всего великого княжения и Новгорода Великого под нами не искати...» — говорилось в грамоте [16, № 9, 25—26]. В этом же документе предусматривалась практика антиордынского сотрудничества Москвы и Твери как в военной, так и в финансово-экономической областях.

«А пойдут на нас татарова или на тебе... битися нам и тебе с одиного всем противу их». «А с татары уже будет нам мир, по думе. А будет нам дати выход, по думе же, а будет не дати, по думе же». Что касалось дальнейших отношений Москвы и Твери с Литвой, то здесь предлагалась такая программа действий: «А к Ольгерду ти и кь его братии... целование сложити. А пойдут на нас Литва или на Смоленского на князя на великого или на кого на нашу братию на князей, нам ся их боронити, а тебе с нами всим с одиного» [16, № 9, 26].

Таким образом, совершенно очевидно, что в результате тверской кампании 1375 г. фронт русских земель, возглавляемый Владимирским княжеством, не только расширился, но и явно активизировался. В сущности, московский князь уже тогда за пять лет до Куликовской битвы открыто заявил о своем намерении усилить борьбу как против Орды, так и против Литовско-Русского государства. Московский князь Дмитрий старался упрочить политическое сотрудничество русских земель, объединенных тогда Владимирским княжеством (прежде всего сотрудничество Москвы с Нижним Новгородом, Рязанью, Тверью, Великим Новгородом); вместе с тем он добивался более эффективного противодействия натиску Орды и нажиму Литовско-Русского государства.

На протяжении 1376—1379 гг. ход событий складывался таким образом, что на восточных рубежах Владимирского княжества происходили ожесточенные бои с наступающими ордынскими силами, а на западных границах развивалась также напряженная борьба, носившая часто политический характер. Зная о тесном сотрудничестве в тот период Мамай с правителями Литвы, московский князь стремился осуществлять хорошо скоординированную политику. Его вооруженная борьба на востоке постоянно подкреплялась его политическими усилиями на западе.

Если иметь в виду тогдашние политические позиции Владимирского княжества в Восточной Европе, то они во многом зависели от отношений Москвы с Нижним Новгородом и Рязанью. Что же касается линии поведения суздальско-нижегородских и рязанских князей, то в середине 70-х годов XIV в. они, по-видимому, сотрудничали с московским князем Дмитрием Ивановичем. Так, в июле — августе 1375 г. суздальский князь Дмитрий Константинович (на его дочери был женат Дмитрий Донской), а также суздальские князья Борис Константинович, Семен Дмитриевич и другие принимали участие в кампании против тверского князя Михаила Александровича, тогдашнего союзника Орды и литовского князя Ольгерда [42а, 110; 294, 133—134].

Видимо, какое-то участие в борьбе с Тверью принимало и Рязанское княжество. Хотя политика рязанского князя не отличалась прямолинейностью, можно все же

предположить, что в 1372 г. после нескольких лет взаимных ссор и борьбы [435, II, 4; 246, 213—214] между Олегом рязанским и Дмитрием московским установились добрососедские отношения. Во всяком случае, из договора Дмитрия Ивановича с Ольгердом 1371—1372 гг. становится очевидным, что Рязань тогда была сторонницей Москвы [40а, 17; 16, № 6, 22].

Видимо, не случайно Рязань оказалась в 1373 г. объектом нападения татар [42а, 104; 41, XI, 24]. Этот набег, естественно, предполагал осуждение Ордой каких-то политических шагов Рязани и, возможно, содействовал сближению Олега рязанского с Москвой на протяжении ряда последующих лет. Во время тверского похода 1375 г. Рязань выступала в качестве политического сторонника московского князя. Во всяком случае, некоторые близкие территориально и политически к Рязани князья непосредственно участвовали в тверском походе, в частности князья новосильские, оболенские, тарусские [42а, 110—112; 229, V, 21]. На это указывало не только участие Олега в мирном договоре Владимирского княжения с Тверью [16, № 9, 25—28], но и продолжавшаяся неприязнь Орды к Рязани [42а, 110—112].

Таким образом, позиция, занятая тогда рязанскими и нижегородскими князьями в тверском споре, оказалась явно промосковской и, естественно, не устраивала ордынских правителей. Поэтому после тверского похода эти князья должны были столкнуться с открытым проявлением недовольства Орды по данному поводу.

Под тем же, 1375 г. мы читаем в летописи: «Того же лета татарове Мамаевы придоша ратью в Нижний Новгород, глаголюще: „По что естя ходили ратью на великого князя Тверского? И тако всю землю Новгорода Нижнего поплениша и съ многим полоном возвратишася в Орду“» [41, XI, 24].

Почти одновременно с теми же целями татарские войска появились в верховьях Оки на территории Новосильского княжества. Если еще в 1371 г. князь Роман Семенович новосильский ориентировался на Вильно [33, т. VI, 140], то в 1375 г. он, как мы видели, принимал участие в тверском походе, явно выступая против союзника Ольгерда. Задав вопрос: «По что естя воевали Тверь?» — летописец отвечал: «Мамаевы татарове новосильскую землю всю пусту сотвориша» [41, XI, 24].

Все эти действия мамаяевых войск не оставались, естественно, не замеченными главой Владимирского княжения. Уже в начале 1376 г. «князь Великий Дмитрий ходил ратью за Оку реку, стерегася рати татарские от Мамая» [41, XI, 24]. В марте 1376 г. нижегородские и московские войска под командой Дмитрия Михайловича волинского предприняли контрнаступление в среднем Поволжье [42а, 116; 41, XI, 25]. В результате успешных операций на территории волжских булгар русским князьям удалось добиться не только большого выкупа, но и перехода некоторых татарских феодалов на службу к московскому князю [41, XI, 25].

Ответом на эти операции московско-нижегородских войск было появление летом 1377 г. большой армии Араб-Шаха на территории Нижегородского княжества. Прибывшего из Синей Орды «царевича Арапшу» готовились встретить нижегородские полки князя Ивана Дмитриевича суздальского, а также войска московского князя («а с ними фать Володимирскую, Переяславскую, Юрьевскую, Муромскую, Ярославскую»). Как известно, встреча двух армий произошла 2 августа 1377 г. на берегах реки Пьяны и кончилась поражением московско-нижегородских сил, застигнутых противником врасплох. Выиграв битву на Пьяне, Араб-Шах разорил часть нижегородской земли.

И хотя военные достижения пришельца из Синей Орды — Араб-Шаха¹² в Нижегородском и Рязанском княжествах были, по-видимому, довольно значительными, важных политических сдвигов в отношениях между Ордой и Московской Русью тогда не произошло [42а, 118—120]. Нижегородские князья, судя по всему, продолжали все еще сотрудничать с Москвой, предприняв осенью 1377 г. контрнаступление на территорию мордвы [42а, 120]. В контакте с Москвой тогда оставалась и рязанская земля [435, II, 586]. Все это порождало у Мамая неуверенность в достигнутом успехе, неудовлетворенность политическими результатами кампании 1377 г. Не удивительно, что Мамай уже в следующем году предпринял еще одно вторжение на территорию Руси, на этот раз на земли Рязанского княжества. «Того же ле-

¹² Этот факт подчеркивал сотрудничество двух Орд и объяснял «закономерность» появления Тохтамыша в Поволжье после краха Мамая на Куликовом поле.

та, — читаем мы в Рогожском летописце под 1378 г., — ...поганый Мамай... посла Бегича ратию на князя Дмитрия Ивановича, на всю землю Русскую» [42а, 134].

Теперь военное счастье оказалось на стороне войск Владимирского княжения. Несмотря на сравнительно узкий круг участников кампании (в рязанской земле были войска Дмитрия московского, Даниила пронского, а также, возможно, отряды полоцкого князя Андрея Ольгердовича [42, 439—440; 41, XI, 42—43]), битва на реке Воже, происшедшая 11 августа 1378 г., была выиграна. Татарские войска оказались отброшенными [42а, 134—135; 41, XI, 42—43; 416, 593—594].

Этот разгром войск Мамай на реке Воже имел важные политические последствия. Он не только почти совсем аннулировал результаты татарской победы предыдущего года (победы на реке Пьяне 1377 г.), но и, по существу, ослабил общий контроль Орды над русскими землями. Тем самым создавались еще более благоприятные условия для консолидации русских земель вокруг Владимира и Москвы, возникали предпосылки для более активного сопротивления Руси ордынской власти. И хотя Мамай, понимая всю серьезность создавшейся для него ситуации в русских землях, предпринял вскоре после этого поражения еще одну экспедицию на территорию Рязанского княжества [42а, 135; 41, 95], тем не менее сложившееся тогда соотношение сил между Ордой и Владимирским княжением не претерпело значительных изменений. Мамаю не удалось добиться восстановления прежних отношений Орды с Московской Русью, но и Москве не удалось заставить Орду отказаться от борьбы за восстановление этих отношений.

Таким образом, хотя власть Орды над русскими землями была в какой-то мере поколеблена, тем не менее Московская Русь вынуждена была считаться с перспективой нового ордынского натиска в ближайшее время. В создавшихся условиях возникла та ситуация непрекращавшейся перегруппировки сил в Восточной Европе, при которой не только представлялась невозможной какая-либо прочная стабилизация, но и казалась неизбежной серия новых столкновений.

Именно в этой обстановке политической неустойчивости московский князь Дмитрий Иванович, несмотря на одержанную победу на Воже, оказался перед перс-

пективной откола от Москвы не только Рязани и Нижнего Новгорода, но также и Новгорода Великого.

Что касалось Рязани, то в исторической литературе есть попытки изобразить позиции рязанского князя накануне Куликовской битвы то как нейтральную [209, 112—115; 130, 510—511], то чуть ли не как доброжелательную Москве [246, 220—224]; тем не менее мы не можем не считаться с теми свидетельствами источников, которые указывают на политическое сотрудничество Рязани с Ордой и Литвой в 1379—1380 гг. Между тем это сотрудничество подтверждается не только соответствующими документальными данными¹³, но также одновременным ухудшением московско-нижегородских отношений, ослаблением контактов Москвы с Великим Новгородом, а вместе с тем и изменившейся тогда общей расстановкой сил в Восточной Европе.

Если иметь в виду сдвиги в отношениях между Москвой и Нижегородским княжеством, то в данном случае следует учитывать не только широко известный факт политической пассивности суздальских князей на протяжении 1378—1382 гг., но также и некоторые обстоятельства церковно-политической и идеологической жизни Нижегородского княжества. У нас есть некоторые основания предполагать, что в эти годы суздальские князья не без скрытой поддержки Орды стали выступать как претенденты на руководящую роль в тогдашней Руси. Именно в связи с этими «общерусскими» устремлениями суздальско-нижегородских князей и следует рассматривать осуществленную вопреки воле Москвы отправку суздальского епископа Дионисия в Царьград в качестве кандидата на пост митрополита всея Руси по Волге через Сарай [42а, 127, 137].

В этой же связи, возможно, следует рассматривать и предпринятую по указанию суздальского епископа Дионисия в 1377 г. переписку или составление [427, 9—15] монахом Лаврентием так называемой Лаврентьевской летописи. Как известно, данная летопись не только давала общерусскую основу «предыстории» Суздальско-Нижегородского княжества («Повесть временных лет»,

¹³ Только отходом Рязани от Москвы в 1379—1380 гг. можно объяснить факт заключения «докончания» 1381 г., которое возвращало Олега Ивановича в положение вассала московского князя Дмитрия Донского [16, № 10, 53—55; 435, II, 586—587].

свод 1177—1193 годов) [324; 325], но и подчеркивала особо выдающуюся роль Суздальской Руси в истории всех русских земель (свод 1212 г. Юрия Всеволодовича, свод 1239 г. Ярослава Всеволодовича, суздальские обработки Ростовской летописи 1281 г. и Тверского летописца 1305 г. [323, 100—103; 264, 430]). Исследователи справедливо считают, что причиной возникновения данного памятника (как копии великокняжеского свода 1305 г.) явилось намерение нижегородского епископа Дионисия и князя Дмитрия Константиновича создать первый общерусский свод, который должен был стать обоснованием прав Суздальско-Нижегородского княжества на ведущую роль в политической жизни всей русской земли [323, 106—111; 296, 176, 187]. Не касаясь здесь вопроса о том, на каком именно этапе развития нижегородско-московских отношений была предпринята попытка такого рода — в момент ли затухания сотрудничества между Москвой и Нижним Новгородом или в момент начавшихся между ними разногласий, следует подчеркнуть важность возникновения на нижегородской почве самой идеи создания такого общерусского свода, который должен был обосновать приоритет Нижнего Новгорода в системе русских княжеств и который поэтому должен был стать историческим памятником, противопоставленным другим объединительным центрам феодальной Руси, в том числе Москве.

Тогдашнее усиление политической активности суздальско-нижегородских князей отражалось не только в летописях, но и в строительном деле; весьма характерно, что 60—70-е годы XIV в. были ознаменованы в истории Нижнего Новгорода интенсивным строительством церковных и фортификационных сооружений [223, III, 16—18; 303, I, 450].

Менявшееся в пользу то одного, то другого княжения соотношение сил в Восточной Европе подтверждалось и характером отношений Москвы и Литвы с Великим Новгородом. В развитии этих отношений в 1375—1380 гг. не только отражаются все этапы московской и литовской политики данного периода, но и раскрываются основные тенденции международной жизни в этой части Европейского континента. Поэтому политические контакты Москвы и Вильно с Великим Новгородом того периода требуют более подробного рассмотрения.

Великий Новгород, как известно, занимал тогда особое место в политической жизни Восточной Европы [262а, 137, 189, 372, 440]. Сохраняя свою автономию в эпоху феодальной раздробленности, успешно развивая свою экономику, Новгородская «боярская республика» в рассматриваемый период оказалась в весьма сложном политическом положении. Отстаивая свою самостоятельность, правители Великого Новгорода постоянно лавировали между ведущими силами русской земли того времени, между Великим Владимирским княжеством и великим княжеством Литовским и Русским. Поддерживая на рубеже XIV—XV вв. тесные контакты как с Москвой, так и с Вильно, приглашая к себе то литовских князей, то московско-владимирских, Новгород, видимо, стремился тогда избегать такого положения, при котором он оказался бы последовательным союзником одной стороны и непримиримым врагом другой. Отсюда и особая тактика правящих кругов Великого Новгорода: приглашая себе князя из Литвы, они не прерывали связей с Москвой, а призывая к себе князей из Москвы, не сжигали мостов в отношениях с Литовским княжеством. При этом, разумеется, большим влиянием на берегах Волхова в каждый отдельный момент пользовалась та сторона, которая тогда оказывалась способной удержать своего князя в Новгороде.

Так, во время знаменитой тверской кампании 1375 г. Великий Новгород стоял на стороне московского князя. «А Новгородцы стояша под Тферью, — читаем мы в летописи, — и доконцаша мир на всей воли князя великого (Дмитрия Ивановича. — И. Г.) и на новгородской» [30, 373].

Тогда же московский митрополит Алексей поставил в Новгород архиепископом «сына своего владыку Алексея» и «возведоша владыку Алексея в дом святыя Софея и ради быша новгородцы своему владыке» [30, 373].

В 1376 г. Новгород оказался объектом напряженной дипломатической борьбы не только Вильно и Москвы, но также Царьграда и Орды. Предвидя кончину митрополита Алексея (он умер, как известно, 12 февраля 1378 г.), Литва, Москва, Константинополь и Орда старались обеспечить свой контроль над всей русской церковью, в том числе и над церковью Новгорода. Не исключено, что конкурировавшая с Москвой Литва, пы-

таясь осуществить свои планы в отношении Новгорода, действовала тогда в контакте с Ордой и Царьградом. Возможно, что греческая церковь стремилась тогда передать контроль над новгородской епископией болгарскому иерарху Киприану, ставшему к тому времени главой литовско-русской православной церкви. Как бы то ни было, на берегах Волхова появился в 1376 г. митрополит Синайской горы Марк, вскоре за ним появился иерусалимский архимандрит Воиифатий. В августе 1376 г. между представителем византийского патриарха и правящими верхами Новгорода состоялись переговоры, после которых владыка новгородский Алексей направился в Москву. Вернулся он на берега Волхова 17 октября того же года, сохранив полное взаимопонимание с московским князем Дмитрием Ивановичем и с митрополитом Алексеем. Доказательством сохранения тесных контактов с Москвой было резко отрицательное отношение Новгорода к попыткам нового литовско-русского митрополита, Киприана, предложить себя в качестве общерусского митрополита. Новгородцы дали Киприану следующий ответ: «Шли князю Великому (Дмитрию. — И. Г.) аще примет тя князь великий митрополитом всея Русской земли, и нам еси митрополит» [30, 374].

Из сообщений Новгородской летописи за три последующих года ясно, что новгородцы весьма внимательно следили за ходом политической жизни у соседей и чутко реагировали на те или иные сдвиги в развитии международных отношений. Занятые борьбой с Ливонским орденом, новгородцы знали, что делалось в Литве и на землях Великого Владимирского княжения. Летописец сообщил о смерти Ольгерда в 1377 г., о вторжении татар на нижегородские территории в 1377 г., о неудачной для Москвы битве на реке Пьяне в августе 1377 г. [30, 375].

Поступавшая в Новгород информация об антимосковской активности татар, видимо, делала свое дело: прибежавший из Литвы в Псков зимой 1377/78 г. полоцкий князь Андрей Ольгердович сначала был хорошо принят псковичами [50, II, 105—106], но потом отношение к нему изменилось, он вскоре был отправлен через Новгород в Москву. Трудно сказать, что в данном случае сыграло большую роль — стремление московского князя Дмитрия иметь в своем непосредственном распоряжении влиятельного эмигранта из Литовской Руси или не-

желание Пскова и Новгорода портить отношения с новым литовским князем Ягайло, союзником Орды, одержавшей только что победу на реке Пьяне. Как бы то ни было, князь Андрей Ольгердович после «целования креста» в Пскове «поеха на Москву из Новгорода къ князю к великому к Дмитрию, князь же прия его» [30, 375; 553, 16].

Но отъезд полоцкого князя Андрея из Пскова через Новгород в Москву еще не означал, что новгородские феодалы встали на сторону Литвы и прекратили сотрудничество с Москвой. Победа над армией Мамаю на реке Воже в августе 1378 г., которая была одержана не только армией московского князя Дмитрия и Даниила пронского, но также какими-то отрядами Андрея полоцкого¹⁴ [435, I, II, прим. 268], произвела, видимо, соответствующее впечатление на новгородских политиков; на берегах Волхова предпочитали пока занимать выжидательную позицию.

Но она оказалась недолговечной. Уже в 1379 г. на берега Волхова был приглашен литовско-русский князь Юрий Нариманович из Среднего Поднепровья¹⁵.

Таким образом, мы видим, что на протяжении 1375—1378 гг. Москва добилась в упорной борьбе на два фронта важных успехов в военной и политической областях, она отбросила полчища Мамаю, консолидировала вокруг себя многие русские княжества. Вместе с тем на протяжении 1379 и первой половины 1380 г. происходило некоторое ослабление позиций Московской Руси в Восточной Европе, именно в это время сузился круг союзников князя Дмитрия в составе земель Владимирского княжения.

В чем же причина ухудшения отношений Москвы с Нижним Новгородом, Рязанью, Великим Новгородом?

¹⁴ Факт участия Андрея Ольгердовича полоцкого в сражении на реке Воже подтверждается не только Никоновской летописью [41, XI, 42], что подчеркивает А. Г. Кузьмин в своем исследовании о «Рязанском летописании» [246, 218], но и Тверской летописью [42, 439]. Видимо, в это время и был заключен формальный договор между московским князем Дмитрием и полоцким князем Андреем, сведения о котором сохранила опись архива Посольского приказа за 1626 г. [415, I, 50].

¹⁵ Под 6889 (1379) г. мы читаем в Новгородской летописи: «Той же зимы приеха в Новгород князь Литовский Юрьи Нариманович» [30, 375].

Видимо, прежде всего в том, что Орда продолжала оказывать свой военный и политический нажим на Владимирское княжение, но также и в том, что одновременно с нажимом с востока усилилось политическое давление и с запада, со стороны великого княжества Литовского, Русского и Жемайтийского.

Неудачи Орды в борьбе с Владимирским княжением 1375—1378 гг. объяснялись, видимо, не только вспышками феодальной анархии в ордынских улусах [294, 124—127; 417, 227—230], не только ростом сил Московской Руси [416, гл. IV], но еще, видимо, и тем обстоятельством, что ее тогдашний союзник — великое княжество Литовское — не оправдало в полной мере возлагавшихся на него надежд.

Правда, Ольгерд в 1375—1376 гг. еще проявлял какую-то антимосковскую активность, но размах этих операций значительно уступал масштабам военных кампаний 1368 и 1370 гг. [42а, 88, 94].

Так, в 1376 г. в отместку за участие в тверском походе Ольгерд выступил против смоленского князя Святослава Ивановича, в результате чего смоленская земля была разорена [42а, 113].

Однако преемник Ольгерда, пришедший к власти в 1377 г. великий князь Ягайло, оказался на первых порах недостаточно активным. Вынужденная скованность молодого Ягайло имела свои причины. Дело в том, что Ягайло в самом начале своего правления столкнулся не только с усилением экспансии Ордена [587; 672], не только со скрытой оппозицией ряда видных литовско-русских князей (одним из самых могущественных «оппозиционеров» был его дядя Кейстут), но и с фактами прямого сотрудничества отдельных литовско-русских князей с Владимирским княжением [553, 16—19; 646]. Если иметь в виду политическое развитие Литовско-Русского государства в эти годы, то оно действительно характеризовалось напряженной борьбой великого князя Ягайло с троцким князем Кейстутом [90, 604; 44, 72]. Политическая деятельность Ягайло тех лет была направлена на то, чтобы в союзе с Ордой упрочить свои позиции не только в великом княжестве Литовском, но во всей Восточной Европе. Что касалось тогдашнего поведения Кейстута, то оно было подчинено задаче установления верховенства в Литовско-Русском государстве,

задаче, которая должна была быть решена в борьбе с Ягайло и Мамаем при сотрудничестве его, Кейстута, с московским князем Дмитрием Ивановичем [646, 87—92].

Сначала скрытая, а потом все более явная борьба Ягайло с Кейстутом внутри великого княжества Литовского, Русского, Жемайтйского предполагала их соперничество и на международной арене, а также различное отношение с их стороны не только к восточным, но и к западным соседям Литвы. В частности, есть основания считать, что Ягайло и Кейстут по-разному относились к своим западным и северо-западным соседям, именно к Польше, Империи, Ливонскому и Прусскому орденам. Сталкиваясь с фактами усиливавшихся наездов на территорию Жемайтйи, Литвы, Подляшья в 1377—1378 гг. [587; 646, 89—90], оба князя старались ослабить натиск крестоносцев, но шли к этой цели разными путями. Ягайло попытался договориться с Империей и папой Урбаном VII. Эту задачу должен был выполнить весьма близкий ему князь Скиргайло, который осенью 1378 г. был направлен на свадебные торжества в Мазовию, где ему предстояло встретиться с представителями Польши, Империи и Рима [646, 96; 528, I, 436].

Но если Ягайло с помощью своего брата Скиргайло добивался какого-либо сближения с Империей и Римом и тем самым открыл путь к установлению контактов с Ливонским орденом [553, 17], то Кейстут попытался встать на путь прямых переговоров с Орденом. Исследователи политической истории Литвы этого времени считают, что инициатива переговоров принадлежала именно Кейстуту [553, 16—17]. Такое предположение кажется оправданным. Вполне возможно, что группировка Кейстута, готовясь к совместному с Дмитрием Донским выступлению, сочла необходимым именно таким путем гарантировать себе безопасность на северо-западных рубежах Литовско-Русского государства. Известно, что уже летом 1379 г. Кейстут вел переговоры с Орденом, а 29 сентября 1379 г. подписал с ним договор, в силу которого обе стороны отказывались на ближайшие 10 лет от применения вооруженной силы друг против друга, декларировали взаимное прекращение набегов на территории Ливонии и Литовского княжества [82, 53; 628, 495; 646, 101].

Поскольку данный договор гарантировал относительную безопасность со стороны Ордена не столько всему Литовско-Русскому государству, сколько главным образом владениям Кейстута [628, 495—496; 609, 440—442], он был прежде всего выгоден той группировке литовско-русских феодалов, которая была связана с Кейстутом и его союзниками. Теперь Кейстут в борьбе за великокняжеский престол против Ягайло мог использовать не только союз с русскими князьями, но в какой-то мере и нейтралитет Ордена.

Таким образом, оба правителя Литовско-Русского государства к осени 1379 г. добились установления контактов с западными соседями и готовы были к активным действиям на востоке, имея при этом в виду совершенно различные политические цели, совершенно различных политических партнеров. Если Кейстут опирался на обещанный нейтралитет Ордена, на союз с московским князем Дмитрием Ивановичем, то Ягайло вместе с князем Скиргайло рассчитывали на поддержку Империи, с одной стороны, и ордынской державы — с другой.

В этой крайне неустойчивой ситуации как внутри Литовско-Русского государства, так и на международной арене в политическую жизнь великого княжества Литовского, Русского и Жемайтійского активно вмешался московский князь Дмитрий Иванович. Вынужденный считаться с отходом от Москвы в это время Рязани и Нижнего Новгорода, князь Дмитрий особенно дорожил своими союзниками в Литовско-Русском государстве; как только в Москве стало известно о нависшей над Северщиной реальной угрозе со стороны Ягайло, московский князь решил прийти на помощь своему скрытому стороннику брянскому князю Дмитрию Ольгердовичу. Стремясь не допустить чрезмерного усиления Ягайло в Литве, стараясь предотвратить разгром своих союзников на Северщине, Дмитрий Донской зимой 1379/80 г. организовал большой поход в сторону Брянска, Трубчевска, Стародуба. В этой кампании принимали участие князь Владимир Андреевич, князь Андрей Ольгердович полоцкий [45, 129; 40а, VIII, 34; 38, 75], Дмитрий Михайлович волынский [38, 75; 40а, 34; 631, 437]. Она завершилась взятием без боя Трубчевска и Стародуба, а также открытым переходом князя Дмитрия Ольгердовича вместе с большой группой его приверженцев на сто-

рону Владимирского княжения [40а, VIII, 34; 60, 418—419; 553, 16].

Дмитрий Ольгердович был принят в Московской Руси отнюдь не как простой военный перебежчик [553, 161], а как такой удельный русский князь, который обладал не только фактической возможностью, но и формальным правом возглавить любой удел русской земли. Совершенно не случайно московский князь «прия его (трубчевского князя. — *И. Г.*) с честью великою и многю любовью, дасть ему град Переяславль и с всеми его пошлинами» [60, 419; 40а, 34].

Значение этого шага московского князя трудно переоценить. Тогда была не только обеспечена литовско-русскому князю возможность почетного существования на территории Владимирского княжения, но и продемонстрирована готовность московского великого князя принимать у себя и других князей великого княжества Литовского, Русского, Жемайтйского.

Политический резонанс этого факта был, по всей вероятности, весьма значительным в Литовско-Русском государстве. Почетный прием во Владимирском княжении двух виднейших Ольгердовичей, видимо, становился своего рода приманкой и для других видных феодалов Литовско-Русского государства. А если учесть, что в этот период сторонником сотрудничества Литвы с Москвой выступал и сам Кейстут, то станет понятной высокая степень озабоченности великого князя Ягайло по поводу сложившегося тогда внутривосточного и международного положения великого княжества Литовского.

Отдавая отчет в намерении московского князя расширить круг своих союзников путем привлечения литовско-русских феодалов, зная о деятельной подготовке Владимирского княжения к продолжению борьбы с Ордой, глава великого княжества Литовского, разумеется, не сидел сложа руки. Судя по ряду данных, Ягайло действовал тогда весьма активно, пытаясь укрепить свою власть внутри Литовско-Русского государства, а также добиваясь улучшения положения Литвы на международной арене, упрочения позиций Литовско-Русского государства как на востоке, так и на западе.

Мы уже знаем, что Ягайло после «бегства» Андрея Ольгердовича в Псков и Москву направил в Полоцк одного из самых преданных ему князей — князя Скиргай-

ло [553, 15]. Мы знаем, что зимой 1379/80 г. он тщетно пытался предотвратить переход на сторону Москвы и другого Ольгердовича — брянского князя Дмитрия [40а, 34; 65, № 24]. Мы располагаем сведениями о том, что Ягайло не только заключил союз с правителем Орды Мамаем [553, 19], но и, возможно, совместно с ним старался оторвать рязанского князя Олега Ивановича от сотрудничества с Москвой [41, XI, 55]. Наконец, мы располагаем данными об отправке в 1379 г. на берега Волхова литовского князя Юрия Наримановича [30, 375].

Все эти весьма важные мероприятия Ягайло на востоке сопровождалось не менее важными шагами литовского князя на западе. Стремясь аннулировать достигнутое еще в сентябре 1379 г. соглашение Кейстута с Орденом, Ягайло зимой 1379/80 г. стал вести сепаратные переговоры с ливонским магистром Вильгельмом. В результате их уже 27 февраля 1380 г. был подписан в Риге новый договор между великим князем литовским и магистром Ордена [628, 499, 565]. В силу этого нового соглашения Орден гарантировал безопасность лишь той части великого княжества Литовского, Русского и Жемайтійского, которая находилась под непосредственным контролем Ягайло (собственно Литва, Полоцк, где Скиргайло заменил князя Андрея Ольгердовича). Та же часть Литовско-Русского государства, которая находилась в сфере влияния Кейстута (в частности, Жемайтия и другие территории, примыкавшие к Ордену), видимо, не получила гарантий безопасности [646, 81—87].

Вскоре после заключения договора с Ливонским орденом Ягайло попытался установить тесные политические контакты и с Прусским орденом. Уже в мае 1380 г. эти усилия дали свои результаты. Тогда в прусском селении Давыдышки Ягайло заключил соглашение с крепостными, в силу которого земли Кейстута оказывались лишенными гарантии безопасности со стороны этого Ордена [85, III, № 1153; 628, 502; 646, 105—112]. Таким образом, заключенные литовским князем в феврале и мае 1380 г. договоры значительно упрочили его позиции как внутри Литовско-Русского государства, так и на международной арене. Соглашения, достигнутые Ягайло с Ливонским и Прусским орденами в первой половине 1380 г., не только аннулировали договор Кейстута с Орденом 1379 г. (договор этот, как уже отмеча-

лось, был рассчитан на обеспечение нейтралитета Ордена в случае активизации Кейстута), но и явились эффективным средством сковывания сил Кейстута в тот период, когда Ягайло намеревался расправиться со своими восточными противниками, и прежде всего с Москвой.

Но политические действия Ягайло, разумеется, не остались не замеченными Кейстутом. О тайном сговоре Ягайло с Орденом Кейстут получил сведения от комтура Остерроды Гунтера Гогенштейна. Хотя сведения эти не были подтверждены его сыном Витовтом (он присутствовал во время майских переговоров в Давыдышках), тем не менее такая информация не могла не насторожить трокского князя, не могла не заставить его противодействовать натиску Ягайло. Видимо, не без участия Кейстута летом 1380 г. произошло изгнание из Полоцка Скиргайло [104, II, 62; 628, 501], направленного в этот город в качестве наместника Ягайло после удаления отсюда в 1378 г. князя Андрея Ольгердовича. Бегство Скиргайло к магистру Ордена, а затем тщетная попытка князя Ягайло и магистра вернуть этого князя в Полоцк (август — октябрь 1380 г.) [50, I, 24] обнаружили реальных противников Кейстута, окончательно раскрыли сложившуюся тогда расстановку политических сил.

Нам представляется, что поведение Кейстута в эти годы следует еще теснее, чем это принято в историографии, связывать с ходом политической жизни всей Восточной Европы, в частности следует еще теснее связывать политику этого князя с формированием антиордынского фронта княжеств, возглавленного Дмитрием Донским. И здесь нужно признать, что политические контакты Кейстута с Дмитрием Ивановичем устанавливались не только в результате того, что у них были общие союзники — князья Андрей и Дмитрий Ольгердовичи, но и в результате непосредственных переговоров их друг с другом. У нас, правда, нет прямых подтверждений этому, но есть все же ряд фактов, которые могут служить косвенным доказательством данного предположения. Возможно, что какое-то соглашение Дмитрия Донского с Кейстутом было достигнуто еще до Куликовской битвы, соглашение, обеспечившее их скрытое политическое сотрудничество перед решающей схваткой Руси с Ордой. Но заключение договора о границах между

двумя государствами, вероятно, произошло уже тогда, когда Кейстут перебрался из Трок в Вильно, когда он стал реальным и официальным главой всего великого княжества Литовского¹⁶.

Таким образом, на протяжении рассматриваемого времени (1375—1380 гг.) в борьбе Москвы и Вильно за господство на русских землях, в борьбе Орды за сохранение своего контроля над политической жизнью Восточной Европы (осуществлявшейся, как мы знаем, путем поддержания равновесия между Владимирским княжением и Литвой) происходили весьма часто значительные колебания, возникали «непредвиденные» сдвиги в сложившемся ранее соотношении сил, намечались наращивание военно-политического потенциала одной стороны и соответственное ослабление другой стороны.

Так, после тверской кампании 1375 г., после похода на Булгар в 1376 г. и победы на реке Воже в 1378 г. перевес Москвы стал очевидным и настолько значительным, что союз между Ордой и Литвой стал еще более тесным, а военный и политический нажим с их стороны на Владимирское княжение стал еще более интенсивным. В результате совместных усилий Орде и Литве удалось на протяжении 1379—1380 гг. в какой-то мере ослабить Москву, оторвать от нее Рязань, Нижний Новгород, Великий Новгород.

Однако и Дмитрий Донской в это время также не бездействовал, он продолжал наращивать свои военные силы, старался расширять круг своих союзников за счет литовско-русских князей.

Таким образом, ход политических событий накануне Куликовской битвы свидетельствовал о том, что, хотя тогда и наметилась тенденция к восстановлению равновесия между Москвой и Литвой, в общем балансе сил

¹⁶ В более поздних источниках, в частности в договорной грамоте Василия Васильевича и Казимира 1449 г. [16, № 53, 161], а также договорной грамоте Ивана III и Александра Ягеллончика 1494 г. [16, № 83, 330] есть указания на установление четких границ между великим княжеством Литовским и Великим княжеством Владимирским при великом князе Кейстуте. Поскольку установление границ предполагало наличие какого-то договора и поскольку подписание этого договора могло произойти лишь в те месяцы, когда Кейстут был реальным главой всего великого княжества Литовского и Русского, остается предположить, что данный договор был заключен между ноябрем 1381 и июнем 1382 г.

не было какой-либо стабильности. И это отсутствие устойчивости в соотношении сил каждая из боровшихся сторон готова была рассматривать как «доказательство» своего превосходства, как залог своей «неизбежной» победы. Насколько расчеты обеих сторон оказались правильными, показала Куликовская битва.

Русская церковь и Царьград на рубеже 70—80-х годов XIV в.

Изучая ход напряженной политической борьбы восточноевропейских государств в 70—80-е годы XIV в., нельзя игнорировать все те сложные процессы, которые происходили тогда в русской церкви, нельзя также упускать из виду развитие отношений русской митрополии как с Царьградом, так и с Ордой в этот период.

Церковь феодальной Руси XIV в. продолжала сохранять организационную структуру, созданную еще в эпоху древнерусского государства X—XI вв. Русская митрополия, по-прежнему тесно связанная с Константинополем, действовала теперь в составе почти тех же епископий, в рамках почти той же территории, на которой ей приходилось действовать и в XI—XIII вв.¹⁷

Правда, изучение политической истории Восточной Европы XIV в. убеждает нас в том, что в обстановке далеко еще не преодоленной феодальной раздробленности русской земли, в условиях продолжавшегося нажима на нее со стороны ордынского царства и усилившегося натиска со стороны ее западных соседей церковная жизнь Руси претерпевала все же некоторые изменения. На протяжении XIV в. возникло явление, которое можно назвать «полицентризмом» единой русской церкви. Так, хотя в начале этого столетия и произошло перемещение фактического центра русской церкви из Южной в Северо-Восточную Русь, тем не менее в дальнейшем неоднократно предпринимались попытки создать другие общерусские церковные центры как на территории ве-

¹⁷ Еще в конце XIII в. все 19 русских епископий находились в подчинении митрополита киевского и всея Руси, а через него подчинялись константинопольскому патриарху в качестве единой русской митрополии [285, IV, 107—109; 163, II, 89, 95—97, 176; 79а, 36, 21; 197а, 336—338; 303, II, 49—77; 491, 488, 492].

лийского княжества Литовского, Русского, Жемайтійского, так и на землях Великого Владимирского княжения, в частности Суздальско-Нижегородского княжества.

На протяжении XIV в. давала себя знать еще одна тенденция в жизни русской церкви, а именно тенденция организованного обособления отдельных ее частей. Так, если возникшие в определенной политической обстановке начала XIV в. самостоятельные митрополии Галицкой Руси и Литовской Руси были ликвидированы усилиями митрополита Петра (1308—1326) и митрополита Феогноста (1328—1353), то в середине XIV в. попавшие в состав польского государства епархии Галицкой Руси оказались базой для более длительного существования обособленной митрополии [33, № 23; 163, II, 97, 126, 147, 154, 157; 175, 272, 543—544; 489, 379, 304].

Однако все эти новшества (полицентризм, перемещение главного центра, обособление отдельных частей церкви) не меняли того сохранившегося еще положения, при котором митрополия киевская и вся Русь, перенесенная на владимирско-московскую почву, продолжала выступать целостной церковной организацией, представлявшей комплекс русских земель в православном мире [303, II, 56 и сл.; 285, IV; 163, II; 79а, 36, 21].

Таким было состояние русской церкви во второй половине XIV в., которое Константинополь стремился поддерживать и сохранять всеми доступными ему средствами, но которое нарушалось время от времени реальным ходом регулируемого Ордой соперничества «великих княжений», что проявлялось как в политической, так и в церковной жизни тогдашней Руси.

Обращаясь к реальной политической обстановке в русских землях второй половины XIV в., мы убеждаемся в том, что русская церковь, сохранявшая в идее общерусскую структуру, на деле должна была часто допускать какие-то временные ее изменения.

Так, ситуация острой политической борьбы в Восточной Европе второй половины XIV в. часто приводила к тому, что Москва и Вильно стремились иметь своих церковных «пастырей», а иногда этого и добивались. Мы уже видели, что на рубеже 50—60-х годов в Восточной Европе существовали два «общерусских» митрополита: Алексей и Роман [42а, 55; 163, II, 192; 270]. Если митрополит Алексей выражал общерусские претензии фео-

далов Владимирско-Московской Руси [317, 290, 299; 308; 163, II, 193—206], то митрополит Роман старался содействовать осуществлению «общерусской программы» феодалов Литовской Руси, и прежде всего самого Ольгерда как главы Литовско-Русского государства [489, 163, II, 207; 471, 17].

Смерть митрополита Романа, последовавшая в 1361 г., отнюдь не положила конец борьбе Москвы и Вильно за приоритет в русской церкви. Соперничество в этой области продолжалось и позднее.

Характерно, что на протяжении последующих пятнадцати лет этого соперничества Владимирско-Московская Русь оказывалась в более выгодном положении, чем великое княжество Литовское, Русское и Жемайтійское [471, 18—20]. Дело в том, что Царьград по многим соображениям предпочитал иметь дело с одним митрополитом русской церкви, а не со многими. Здесь играли роль и четырехсотлетняя традиция единства русской церкви, и сохранявшаяся еще традиция единства русской земли (получившая отражение хотя бы в таком памятнике XIII в., как «Слово о погибели Русской земли» [131, 86—123]), и, наконец, реалистические расчеты константинопольских правителей, понимавших, что с помощью одного митрополита легче обеспечить устойчивый контроль над всей церковной организацией тогдашней Руси¹⁸, столь необходимый им в условиях крайне

¹⁸ То, что Царьград не игнорировал этих традиций, вытекает из многих грамот патриархата второй половины XIV в. Так, принимая решение о назначении Пимена митрополитом киевским и всея Руси, церковный собор под председательством патриарха Нила сформулировал следующее весьма характерное положение: «Рукоположить Пимена в митрополиты Великой Руси, наименовав его и киевским, по древнему обычаю этой митрополии, так как невозможно быть архиереем Великой Руси, не получив сначала наименования по Киеву, который есть соборная церковь и главный город всея Руси» [33, VI, 180]. Не менее любопытными были формулировки по данному вопросу и соборного определения (патриарха Антония), вынесенного в 1389 г. в связи с назначением Киприана на пост общерусского митрополита. Заметив, что расщепление единой русской митрополии было вынужденной уступкой Царьграда чрезвычайным обстоятельствам, представляло собой временную и исключительную меру, указав на то, что в принципе «должен быть один митрополит Руси — этого требуют и право, и польза, и обычай», патриарх Антоний принял решение сделать таким единственным общерусским митрополитом Киприана, «чтобы древнее устройство Руси сохранялось и на будущее время» [33, VI, 204].

тяжелого международного и внутривосточного положения Империи [313, III, 164—170; 607, 416—430].

Не удивительно, что при ослабевших ордыно-византийских политических контактах 60-х — начала 70-х годов Царьград получил возможность реализовать свои планы в отношении русской церкви, связанные с недопущением «двоевластия» и восстановлением должности литовско-русского митрополита, с сосредоточением власти над русской церковью в руках одного митрополита киевского и всея Руси. Этой стратегии были подчинены и все тогдашние политические мероприятия Константинополя в Восточной Европе, все тактические приемы, используемые им в его отношениях с православной Русью.

Такая политика константинопольского патриархата четко проявилась по отношению к митрополиту всея Руси Алексею [163, II, 206—210; 317, 310—311; 489, 11—20]. Так, осуждая «неканонические» действия Романа [33, № 14, 18; № 30, 168], порицая отдельных русских князей за то, что они «соединились с нечестивым Ольгердом» [33, № 20, 120], Царьград одобрил поведение московского князя Дмитрия, а также митрополита киевского и всея Руси Алексея [33, № 16, 17, 18, 102, 108 и сл.]. В грамоте князю Дмитрию патриарх Филофей высказывал удовлетворение по поводу его успешного «служения митрополиту киевскому и всея Руси», а вместе с тем и Царьграду («Митрополит, мною поставленный, находится у вас вместо меня», «Кого митрополит благословит, того и я, и Бог также», — писал патриарх Филофей), а в грамоте митрополиту Алексею хвалил его за тесное сотрудничество с русскими князьями Владимирского княжения. Не случайно патриарх Филофей давал понять Алексею, что он один является главой всей русской церкви: «Все томошние (христиане) имеют тебя общим отцом, учителем и посредником перед богом»; «этот великий и многочисленный народ требует и великого попечения, он весь зависит от тебя» [33, № 16, 17, 18, 102, 106, 108].

Исходя из этих политических установок, направленных на сохранение единства русской церкви, Константинополь какое-то время тормозил возрождение галицкой митрополии, задерживал назначение в Галицкую Русь предложенной польским королем кандидатуры, а

потом, разрешив восстановление митрополии в Галицкой Руси, рассматривал эту меру как вынужденную и временную [64, I, № 318, 577; 33, № 22, 125—128]. Весьма характерно, что, санкционируя в 1371 г. назначение рекомендованного Польшей Антония на пост митрополита галицкого, Царьград счел нужным дать по этому поводу развернутое объяснение находившемуся в Москве митрополиту киевскому и всея Руси Алексею. Причинами этого назначения, по утверждению грамоты, явились, во-первых, фактическая недоступность для Алексея галицкой епархии, во-вторых, страх перед перспективой торжества в Галицкой Руси «латинства»¹⁹.

Но тенденция сохранения целостности русской церкви проявилась не только в «замедленности» создания галицкой митрополии, но также и в сознательной задержке восстановления поста литовско-русского митрополита. В сущности, царьградский патриарх и не скрывал своей активной роли в намеренном «замораживании» проекта учреждения на литовско-русской территории новой митрополии. Так, в грамоте патриарха митрополиту Алексею подчеркивалось нежелание Царьграда допускать на русских землях «с православными государями» возникновение каких-то параллельных Москве центров русской церкви. Прекрасно зная о претензиях Ольгерда на создание новой русской митрополии в великом княжестве Литовском, патриарх Филофей счел нужным особой грамотой заверить московского митрополита Алексея в том, что данный проект не будет реализован, во всяком случае в ближайшее время.

Отметив, что галицкая митрополия была воссоздана лишь из-за угрозы Польши приобщить Галицкую Русь к «латинству», патриарх Филофей в своей грамоте исключал возможность повторения такого эксперимента на территории остальной Руси. Указывая на политическое давление католической Польши как на основную причину выделения галицкой митрополии, явно оправдываясь перед Алексеем за этот шаг, патриарх Филофей заверял митрополита московского в том, что ничего по-

¹⁹ Согласие на кандидатуру Антония было дано потому, между прочим, что Казимир угрожал «латинством», а Алексей «в продолжении стольких лет не посещал и не обозревал Малой Руси» [33, № 25, 144]. «Малой Русью» тогда называлась чаще всего Галицкая Русь [363, 24—38].

добного он не допустит на тех русских землях, которые контролировались «православными государями»²⁰. Эта тактика игнорирования запросов Ольгерда, тактика поддержки московского митрополита в качестве главы всей русской церкви претворялась Царьградом в жизнь довольно последовательно на протяжении многих лет. Так, когда Ольгерд в 1371 г. обратился в Константинополь с вполне «мотивированной» просьбой создать на территории Восточной Европы еще одну русскую митрополию, параллельную московской митрополии²¹, ему было отказано. Отказ Ольгерду сопровождался рекомендацией митрополиту Алексею усилить свою пастырскую деятельность в литовско-русских епархиях. «Твое святительство хорошо знает, что когда мы рукополагали тебя, то рукополагали в митрополита киевского и всея Руси — не одной какой-нибудь части, но всея Руси» [33, № 28, 158]. Отметив недопустимость игнорирования православного населения, жившего в Литовско-Русском государстве, патриарх писал: «Теперь же слышу, что ты не бываешь ни в Киеве, ни в Литве, но в одной только стране, все же прочие оставил без пастырского руководства» [33, № 28, 166]. Патриарх Филофей напоминал митрополиту Алексею о том, что он должен «обозревать всю русскую землю и иметь отеческую заботу и расположение ко всем князьям». А чтобы у митрополита Але-

²⁰ «Иное было дело, если бы местный государь был православный и нашей веры, — писал патриарх, — тогда мы могли бы затянуть и отсрочить это (создание параллельной митрополии в Галицкой Руси. — *И. Г.*), для тебя мы бы сделали так» [33, № 25, 144].

²¹ Весьма показателен был тот «минимум» русских епархий, на который претендовал первоначально глава Литовско-Русского государства. Сделанный им подбор епархий свидетельствовал о том, что виленский князь опирался не на какие-то процессы этнического обособления отдельных частей восточного славянства, а только на реальную расстановку сил, сложившуюся тогда во всей русской земле, и на согласованные с Ордой планы своего усиления как за счет русских владений Польши («Русь Малая»), так и за счет нижегородских, тверских, смоленских, отчасти рязанских владений Северо-Восточной Руси. Так, совершенно не случайно Ольгерд потребовал у царьградского патриарха включения в состав предполагаемой литовско-русской митрополии не только митрополии Малой Руси, но также Киева, Твери и Нижнего Новгорода. «Дай нам, — писал Ольгерд в 1371 г. патриарху Филофею, — другого митрополита на Киев, Смоленск, Тверь, Малую Русь, Новосиль, Нижний Новгород» [33, № 24, 140].

ксея не оставалось сомнений по поводу тех конкретных русских территорий, к которым он проявлял недостаточное внимание, царьградский патриарх написал в грамоте следующее: «Знай также, что я написал и к великому князю литовскому, чтобы он, по старому обычаю, любил и почитал тебя, как и другие русские князья» [33, № 28, 160].

В сущности, последовательная поддержка Царьградом московского митрополита как главы всей русской церкви проявилась и в отношении патриарха к спору между митрополитом Алексеем и тверским епископом Евфимием. После некоторых колебаний [33, № 26, 27, 28] Константинополь отказался от попыток организовать судебное разбирательство этого спора и пришел к выводу о необходимости подчинения тверской епископии (тесно связанной тогда с Ольгердом) митрополиту киевскому и всея Руси. В послании тверскому князю Михаилу патриарх писал в 1371 г.: «Теперь я признаю за лучшее написать тебе другое: неприлично и не служит на пользу твоей душе, ни к чести твоего рода иметь тяжбы, распри и ссоры со своим митрополитом... Тебе следовало... прити к нему и испросить у него благословения и прощения, а не искать суда (на него)» [33, № 29, 162, 163]. Но, даже допуская возможность судебного рассмотрения этого спора, Константинополь предупреждал тверского князя о том, что результат арбитража будет неблагоприятным для Твери («смотрите, чтобы он (суд.— *И. Г.*) не оказался для вас тяжким») [33, № 29, 163, 140, 155—156]. Естественно, что подобная позиция Константинополя, обусловленная ослаблением Орды 60-х — начала 70-х годов, во многом облегчала политику московского князя Дмитрия Ивановича, направленную на дальнейшую консолидацию русских земель вокруг Владимирского княжения и соответственное ослабление позиций Литовской Руси.

Между тем продолжавшееся в 70-е годы соперничество Владимирского княжения с великим княжеством Литовским вступило в новую фазу в связи с активизацией восточноевропейской политики Мамаея и восстановлением ордыно-византийских политических контактов, допускавших более интенсивное вовлечение Царьграда в регулирование этого соперничества.

Так, в обстановке острой борьбы 1374—1375 гг. за

Тверь и Смоленск великий князь литовский принял все меры к тому, чтобы упрочить свои позиции в русских землях, а вместе с тем и в русской церкви. Именно тогда, в 1374—1375 гг., Ольгерд усиленно старался восстановить литовско-русскую митрополию, которую он теперь передавал иерарху болгарского происхождения Киприану²², рассчитывая с его помощью проникнуть на Волхов, а потом и в другие земли Северо-Восточной Руси.

Ольгерд обратил внимание на Киприана, видимо, тогда, когда последний был направлен в русские земли для разбирательства непрекращавшихся споров между Москвой и Вильно. Деятельность Киприана в качестве «нарочитого апокрисиария» в Московской Руси, как известно, не дала результатов [163, II, 212—213], но само пребывание этого иерарха на Руси не осталось бесследным. Оно было замечено Ольгердом. Возможно, что сам Киприан, со своей стороны, сделал все от себя зависящее, чтобы произвести соответствующее впечатление на главу Литовско-Русского государства. Как бы то ни было, где-то на рубеже 1374—1375 гг. между Ольгердом и Киприаном было достигнуто полное взаимопонимание [471, 20; 646, 113—121]. Видимо, результатом их сближения явилась новая грамота константинопольскому патриарху, в которой высказывалось требование создать особую русскую митрополию в великом княжестве Литовском, а также санкционировать назначение главой этой митрополии самого Киприана. Весьма характерно, что данное требование было подкреплено угрозой приглашения иного митрополита «от латинской церкви»²³. Следует иметь в виду, что данная угроза имела под собой вполне реальные основания: в 1373 г. не только сама папская курия обратилась непосредственно к Ольгерду, Кейстуту и Любарту с предложением принять «латинство» [105, № 934—936], но и правящие верхи Польши и Венгрии стали активно поддерживать этот план «латинизации» Литвы [471a, 296—304]. Разумеется, что информация об этих переговорах, а также сведения об

²² Макарий [285, IV, 98] считал его сербом; Голубинский [163, II, 297], Ходыницкий [471, 20—21], А. И. Яцимирский [443, 19—25] видят в нем болгарина.

²³ Об этой грамоте 1374—1375 гг. упоминает патриаршая грамота 1380 г. [33, 170—172].

ухудшающемся положении галицкой митрополии [489, 24—37] не могли не усилить беспокойства Царьграда по поводу дальнейшей судьбы западнорусской церкви, оставшейся уже длительное время вне контроля митрополита Алексея. В результате Константинополь оказался вынужденным снова пойти на уступки Ольгерду, провозгласив в декабре 1374 г. Киприана литовско-русским митрополитом. «Того же лета, — читаем мы в летописи, — прииде из Царьграда на Русь митрополит Киприан, поставлен на митрополию Филофеем, патриархом Царьграда» [40а, 24—25; 41, XI, 25].

Так началась карьера одного из примечательных митрополитов русской церкви периода феодализма, карьера, которая продолжалась более тридцати лет (он умер в 1406 г.) и была насыщена грандиозными замыслами, а также настойчивыми, но не всегда удачными попытками их осуществления. Если в начале своего пути он опирался лишь на одного Ольгерда, навязывая себя чуть ли не силой епархиям Литовской Руси и самому Царьграду, то дальнейшие этапы деятельности Киприана были связаны с постепенным расширением его влияния в русской церкви, с превращением его в общерусского церковного деятеля, приемлемого не только для Литовской Руси и для Москвы, но также и для Царьграда.

Сложная и многогранная деятельность Киприана неоднократно привлекала внимание исследователей. Разумеется, деятельность Киприана больше всего интересовала историков русской церкви — Макария, Голубинского и других, видевших в нем весьма влиятельного иерарха последней четверти XIV — начала XV в. [285, VI, 5а—62, 69—72, 76—87; 163; II, 211—215, 230—238, 297—356; 249, 253, 257—262]. Вместе с тем Киприан занимал большое место в работах тех русских и болгарских историков, которые изучали как самостоятельное культурное развитие Болгарии и России в XIV—XV вв., так и болгаро-русские культурные связи в данную эпоху. В работах этих исследователей Киприан чаще всего трактовался в качестве одного из видных проводников так называемого второго южнославянского влияния на культуру и литературу Руси [358, 359, 300; 263; 265а, 194; 650; 652; 549; 531], в качестве одного из выдающихся деятелей болгаро-русского сотрудничества в области литературы [166а, 286]. Важное значение придавалось

деятельности Киприана и исследователями русского летописания, считавшими этого митрополита одним из видных идеологов своего времени и даже создателем знаменитой Троицкой летописи [427, 38—43; 429; 323, 60; 264, 296—298, 296, 363, 365—369].

Что касается роли Киприана в политической жизни Восточной Европы конца XIV—начала XV в., то эта сфера его деятельности привлекала меньше внимания историков, хотя и в этой области сделаны интересные наблюдения, высказаны любопытные суждения [317, 359—363]. Между тем более четкое представление о политических устремлениях Киприана, о его конкретной политической деятельности в русских землях позволяет, как нам кажется, более определенно судить о характере его вклада как в жизнь русской церкви, так и в развитие русской литературы, в частности русского летописания.

К сожалению, историческая наука пока еще не может из-за недостатка источников дать развернутую характеристику всей политической биографии Киприана. Мы можем лишь пытаться объяснить сложную линию поведения этого иерарха в феодальной Руси, можем лишь высказывать те или иные гипотезы как по поводу всей его карьеры, так и по поводу отдельных ее этапов.

При этом нельзя упускать из виду и такого обстоятельства, что последний период его пребывания на посту митрополита всея Руси (1389—1406 гг.) выглядит менее загадочным, чем предшествующий (1375—1384 гг.), который представляется действительно весьма сложным и запутанным. Не удивительно, что в исторической науке до сих пор существует больше всего разногласий по поводу трактовки первых лет его деятельности в Литовской Руси, по поводу осмысления причин переезда его из Вильно в Москву в 1381 г., а также по поводу интерпретации его поведения в 1382—1389 гг.

Что касалось расхождений в характеристике первых лет деятельности Киприана в великом княжестве Литовском, то они возникали на почве различий оценки реального объема тогдашних полномочий Киприана. Одни историки были склонны видеть в Киприане только митрополита киевского и литовского [471, 20], другие исследователи считали, что он уже в 1375—1376 гг. об-

ладал властью митрополита киевского и всея Руси [163, II, 214—215]. Нам представляется, однако, что вопрос о действительных масштабах власти как митрополита Киприана, так и жившего еще тогда митрополита Алексея должен решаться не тем или иным толкованием их формальных титулов (титулы у них могли быть идентичными, особенно если допустить, что выдававший их Царьград предвидел надвигающуюся кончину Алексея [33, № 30, 170, 184, 176]), а учетом реального объема власти стоявших за ними политических сил — московского князя Дмитрия и литовского князя Ольгерда. Поэтому можно, по-видимому, утверждать, что зоны церковного влияния Киприана и Алексея совпадали тогда с границами политического влияния великого княжества Литовского и Великого Владимирского княжения, во всяком случае они совпадали до тех пор, пока были живы литовский князь Ольгерд и московский митрополит Алексей [609, 430—431].

Соотношение сил между двумя митрополиями изменилось сразу после смерти митрополита Алексея (12 февраля 1378 г.). Считая, что обстоятельства ему благоприятствовали, Киприан сразу стал добиваться распространения своего влияния на церковь Владимирского княжения. Он предлагал себя в качестве общерусского митрополита Великому Новгороду [30, 374] и Москве²⁴, он также усиленно хлопотал по этому поводу и в Царьграде [33, № 30, 174—176]. Однако глава Владимирского княжения игнорировал его предложение. Зная о политических настроениях Киприана, ставшего после смерти Ольгерда правой рукой нового главы великого княжества Литовского, Ягайло, московский князь Дмитрий Иванович решительно отказывался тогда от сотрудничества с «литовским» митрополитом. Но, отвергая Киприана, князь Дмитрий не мог, разумеется, одобрить и кандидатуру епископа Дионисия, выдвигавшегося суздальско-нижегородскими князьями [42а, 127, 137], не мог уже по одному тому, что в рассматриваемое время (1378—1379 гг.) Нижний Новгород перестал сотрудничать с московским князем (см. стр. 93 данной работы).

²⁴ Приезд Киприана в Москву, по-видимому, произошел в июне 1378 г.

У тогдашнего главы Владимирского княжения был свой надежный кандидат в руководители русской церкви: им был архимандрит Спасского монастыря Михаил-Митяй. Много надежд связывал будущий победитель на Куликовом поле с этой кандидатурой на пост митрополита. Он был не только духовным отцом князя Дмитрия, не только занимал официальную должность «печатника», но и играл весьма видную роль при московском дворе [383, 196—198].

Митяй, по-видимому, еще при жизни ослабевшего Алексея занял ключевые позиции в русской церкви. Если летописи изображают Алексея противником прихода на митрополичью кафедру архимандрита Михаила-Митяя, то послания самого Киприана Сергию Радонежскому и Федору конца 70-х годов говорят о том, что умиравший митрополит по существу провозгласил своим преемником Митяя. В одном из посланий Киприан прямо упрекал Алексея в этом неканоническом поступке: «не умети было ему... наследника оставлять по своей смерти» [49, 75]. Вопрос о Митяе как о преемнике Алексея был, вероятно, согласован заранее и с Царьградом. Один из исследователей этой проблемы предполагает, что московский князь обратился с соответствующей просьбой к патриарху накануне смерти Алексея. Он считает, что предварительным ответом на этот вопрос были присланные в Москву грамоты патриарха Макария, которые одобряли в принципе передачу митрополичьей кафедры Митяю и вместе с тем осуждали претензии Киприана на этот пост [163, II, 235—236].

Таким образом, поставленный Алексеем и московским князем Дмитрием, одобренный патриархом Царьграда Макарием, «нареченный» митрополит Михаил-Митяй на протяжении почти двух лет был весьма влиятельной политической фигурой Великого Владимирского княжения. Как ни негативны летописи к Митяю, но и они вынуждены были признать его важную роль в политической жизни Московской Руси. «Никто же, — писал летописец, — в такой чести и славе бысть, якоже он Митяй... и все чествоваше его, якоже никоего царя» [41, XI, 35—40]. Архимандрит Спасского монастыря Митяй был, по сути дела, вторым человеком в государстве [163, II, 228; 384, 198]. Опираясь на поддержку московского князя и царьградского патриарха, нареченный

митрополит Митяй сравнительно легко расправился с Киприаном, с его претензиями на епархии Владимирского княжения (митрополит «литвин», как известно, был арестован в Москве и выслан в Литву) [163, II, 234; 285, IV, 64—65].

Но если «полемика» Митяя и московского князя с Киприаном носила упрощенный характер, то совершенно в иной форме протекали споры между нареченным митрополитом и суздальским епископом Дионисием, еще одним претендентом на руководство русской церковью, претендентом, выдвинутым суздальско-нижегородскими князьями. Когда московский князь попытался санкционировать пребывание Митяя в должности митрополита на церковном соборе русских епископов, явно стараясь обойти формальную санкцию Царьграда, он натолкнулся на активное сопротивление со стороны суздальского епископа Дионисия [42а, 127], который не только осудил «самозванство» Митяя, но и, поддерживаемый нижегородскими князьями, решил сам хлопотать в Царьграде о предоставлении ему кафедры «митрополита всея Руси» [42а, 127; 46, 123].

Мы в полной мере оценим серьезность намерений Нижнего Новгорода иметь в лице Дионисия «своего» общерусского митрополита, если учтем, что примерно с 1378 г. суздальско-нижегородские князья отошли от московского князя и открыто заняли позицию нейтралитета в происходившей тогда борьбе Москвы с Ордой [317; 294, 125—126], если мы учтем, что суздальский епископ находился в тесной дружбе с Сергием Радонежским, если мы, кроме того, вспомним, что именно Дионисию принадлежала инициатива создания на нижегородско-суздальской почве общерусского летописного свода, получившего наименование Лаврентьевской летописи (по имени переписчика или сводчика) [427, 9—37; 324, 325].

Намерение Дионисия ехать в Царьград за получением титула общерусского митрополита не осталось незамеченным в Москве. Реакция московского правительства на решение Дионисия была двоякой: с одной стороны, были приняты меры для задержания Дионисия, с другой — признано целесообразным форсировать поездку в Константинополь Митяя.

Именно в связи с намерением Дионисия ехать в Царь-

град следует рассматривать решение московского князя направить Митяя к константинопольскому патриарху. Видимо, тогда же начались грандиозные приготовления к его отъезду, формирование свиты и т. д. Одновременно с приготовлениями к путешествию Митяя были приняты меры к тому, чтобы не допустить отъезда Дионисия. Сначала он был арестован («и повеле Дионисия нужею будръжати» [42а, 127; 46, 122]), а потом отпущен на поруки Сергия Радонежского. При этом с него было взято клятвенное обещание не помышлять о визите в Константинополь.

Но, несмотря на все меры предосторожности, Дионисий, оказавшийся по просьбе Сергия Радонежского на свободе [42а, 128], сразу приступил к реализации ранее намеченного плана. «Дионисий же с неделю не помедлив и вскоре беганием побежа к Царьграду, обет свои измени, а поручника свята выдал» [42а, 182], — читаем мы в летописи.

Так возникла ситуация, при которой в Царьград направились два претендента на пост митрополита всея Руси: поехали в Константинополь два иерарха, которые олицетворяли собой две линии политического развития Северо-Восточной Руси того времени, одну — связанную с руководством Москвы, другую — Нижнего Новгорода.

Какова же была в тот момент политическая ориентация этих двух центров феодальной Руси?

Весьма характерным для тогдашней внешнеполитической ориентации суздальско-нижегородских князей был не только упомянутый уже факт охлаждения их к Москве, но также и сам путь следования Дионисия в Царьград — через Суздаль, Нижний Новгород, далее на судах по Волге к Сараю, потом, видимо, Крым, Черное море, Константинополь. Так, получив свободу, «Дионисий иде въ Суждаль и оттуду в Новгород в Нижний... побежа в судах Волгою к Сараю, а оттуда к Царьграду» [41, XI, 38]. Поскольку Орда обеспечила безопасность следования через ее территории именно Дионисию и в то же время не обеспечила ее для других претендентов на руководство русской церковью (например, для Митяя или Киприана), следует думать, что ордынская дипломатия была заинтересована как в поездке Дионисия в Царьград, так и в создании с его помощью

на нижегородской почве нового общерусского церковного центра²⁵.

Что касалось тогдашней позиции Москвы в данном вопросе, то ее характеризовала не только критика Дионисия как ставленника ордынской дипломатии, но также столкновение с Ордой на почве отстаивания московского претендента на пост митрополита. Когда большая делегация московских иерархов во главе с Митяем двигалась на юг по ордынским территориям, она была задержана ханом Мамаем. Говоря о передвижении московских церковников по ордынской земле, летописец отметил: «И проходящим им Орду и ту ять бысть Митяй Мамаем и не много удержан быв и паки отпущен бысть» [42а, 129]. Этого мало. Видимо, Мамай, отпустив Митяя в Кафу, продолжал внимательно следить за московскими иерархами, намереваясь помешать осуществлению их миссии. У нас есть основания подозревать причастность ордынской дипломатии к смерти Митяя, последовавшей, как известно, на борту корабля, шедшего из Кафы в Константинополь [42а, 129—130].

Если мы вспомним о традиционной для Орды практике устранения неугодных ей политических деятелей феодальной Руси, если мы учтем, что ордынские правители тогда готовились к решающей схватке с Московской Русью, то «таинственная» смерть молодого и полного сил «нареченного» Москвой митрополита Митяя перестанет быть слишком таинственной²⁶.

Весьма показательно, что, хотя ордынской дипломатии и удалось устранить главного московского претендента на пост митрополита, делегация московских иерар-

²⁵ Весьма показательно, что в дальнейшем такие открытые противники Орды, как Киприан, ездили в Константинополь из Москвы либо через Тверь, Киев, волошскую землю и далее, либо через Болгарию [41, XI, 101], а такие вынужденные «союзники» Орды, как митрополит Пимен, в сущности, повторили маршрут Дионисия [40а, 50], а в 1389 г. тот же Пимен двигался из Москвы через рязанскую землю, Дон до Азова [41, XI, 95—97].

²⁶ Мы видим, таким образом, что следование по ордынской территории привело Дионисия и Митяя к разным результатам, то же самое можно сказать и об использовании «литовского» «сухопутного» маршрута в Царьград — для Киприана он был вполне безопасным, а для Дионисия оказался роковым (как известно, возвращаясь этим путем из Царьграда в Суздаль, он был захвачен в Киеве, где и погиб в 1384 г.) [40а, 50].

хов, попав в Константинополь, не отказалась от выполнения поставленной перед нею московским правительством задачи. Хотя неожиданная смерть Митяя, видимо, действительно внесла элемент растерянности, «замятни и недоумения» в ряды посланцев московского князя, тем не менее делегация быстро преодолела эти настроения, отдавая, видимо, себе отчет в том, что им надлежит, несмотря на эту потерю, рекомендовать Царьграду другого, «московского» кандидата на пост митрополита всея Руси.

Правда, если верить ряду летописей (восходящих в данной части к Киприану), то выдвижение нового кандидата было не результатом выполнения определенной, политической программы, а следствием незаконного сговора московских церковников, следствием их политического авантюризма. Летопись рисует ход событий таким образом: после бурных споров выбор якобы пал на Пимена (другого иерарха, желавшего быть кандидатом в митрополиты, а Ивана, архимандрита петровского, «посадиша... в железа»); имя Пимена было вставлено в незаполненный экземпляр великокняжеской грамоты, а затем после приезда в Константинополь эта кандидатура была предложена царьградскому патриарху и всему собору в качестве законного претендента на пост митрополита всея Руси.

С такой интерпретацией событий, восходившей к летописной деятельности Киприана, не соглашался уже Голубинский. Он решительно возражал против такой трактовки поведения московских иерархов в той ситуации. Названный историк считает, что московские церковники могли себя вести подобным образом только в том случае, если бы они были «людьми безумными или людьми, что называется, о двух головах» [163, II, 244]. Голубинский предполагает, что на этот «невероятный поступок» московских посланцев подбили сами греки, что «инициатива» невероятного дела принадлежит грекам [163, II, 245—246]. Что же касается летописной тенденции изображать московских иерархов инициаторами «неканонического» выдвижения Пимена, то, по мнению Голубинского, «в наших летописях в данном месте говорит не кто другой, как желавший поправить греков Киприан» [163, II, 246].

Отдавая должное исследовательскому чутью Голу-

бинского в отношении предполагаемой причастности Киприана к созданию данного текста летописи [163, II, 246], мы все же не можем принять все построение данного историка по затронутому вопросу. Если бы дело обстояло таким образом, как предполагает Голубинский, то грекам было бы легче предложить в русские митрополиты греческого иерарха, а московским посланцам было бы проще согласиться с такой кандидатурой, поскольку при этом они не несли бы никакой ответственности или несли бы ответственность не очень значительную.

Если же допустить, что московские иерархи проявили авантюризм, выдвинув самовольно из своих рядов кандидата в митрополиты, не имея и намека на одобрение данного шага со стороны московского князя, то в данном случае они действительно поставили бы себя в очень рискованное положение перед «правительством» Московского государства.

Поэтому нам представляется более правильным допустить, что московские иерархи в данной ситуации выступали не пассивными исполнителями воли греков, не авантюристами и заговорщиками, а проводниками определенной политической линии Москвы. Не исключено, что они действовали в рамках заранее данной инструкции, в силу которой они должны были при любых обстоятельствах, даже в случае гибели Митяя, добиваться осуществления своей главной цели — выдвижения Царьградом такого кандидата в русские митрополиты, который был бы приемлем для московского князя.

Но если даже исключить вероятность существования такой инструкции, то вполне возможно допустить и другое: за то время, которое посланцы Московской Руси провели в Константинополе²⁷, они при большом желании могли установить связь с Москвой и получить оттуда дополнительные указания по данному вопросу. Во всяком случае, дальнейшее развитие событий (пребывание Пимена в течение семи лет на посту митрополита, санкционирование этого факта Царьградом в 1388 г., слишком поздняя критика Константинополем московских иерархов, выдвинувших Пимена еще в

²⁷ С сентября 1378 по 1380 г.

1380 г.²⁸) свидетельствует о том, что посланцы Московской Руси не были тогда авантюристами-самозванцами, не были они и слепыми исполнителями воли греков; но скорее всего они действовали в рамках той программы, которая если и не была согласована в деталях с Москвой, то соответствовала духу политики Дмитрия Донского. Итак, выдвижение Пимена на пост московского митрополита было не результатом подлога или какого-то заговора, а следствием целенаправленной деятельности посланцев Владимирского княжения в Царьграде; оно явилось отражением политических интересов Дмитрия Донского, точно так же как оставление на посту литовско-русского митрополита Киприана соответствовало политическим устремлениям тогдашних правителей Литовско-Русского государства.

Можно, видимо, утверждать, что создание ситуации двух параллельных митрополий в русской церкви было своего рода зеркалом сложившейся тогда расстановки сил в Восточной Европе, было отражением процесса консолидации двух «православных» государств, противопоставленных друг другу накануне 8 сентября 1380 г.

Только в связи с общей политической обстановкой в Восточной Европе того времени следует рассматривать столкновения московских иерархов с литовско-русским митрополитом Киприаном на константинопольской почве, только в связи с развитием международной жизни в целом следует трактовать и тогдашнюю позицию царьградского патриархата.

Совершенно понятно стремление литовско-русской дипломатии накануне Куликовской битвы добиться в Константинополе ликвидации «самозванной» митрополии в Москве и предоставления своему митрополиту «общерусских полномочий», которые в случае военной победы Мамай и Ягайло над Московской Русью могли превратить Киприана в ту политическую фигуру, которая со-

²⁸ Как известно, Царьград несколько лет признавал Пимена митрополитом де-факто, а в 1388 г. признал его главой церкви Московской Руси и формально. Естественно, что в эти годы греческий патриархат был далек от обвинений в подлоге и авантюризме московских иерархов, посетивших в 1379—1380 гг. Константинополь. С такого рода обвинениями патриарх Антоний выступил лишь в 1389 г., когда он решил передать власть над всей русской церковью митрополиту Киприану [33, VI, 207—208].

действовала бы значительному расширению великого княжества Литовского, Русского, Жемайтйского за счет русских земель Владимирского княжения.

Совершенно понятно также стремление московской дипломатии получить от Царьграда санкции на ликвидацию литовско-русской митрополии и создание единой «общерусской митрополии» в Москве: в случае победы над Ордой и Литвой такой митрополит всея Руси в руках московского князя Дмитрия Ивановича мог бы стать важным орудием собирания русских земель вокруг Москвы за счет великого княжества Литовского и Русского.

В сущности, не представляется загадкой и тогдашняя позиция Царьграда в московско-литовском споре по поводу восстановления общерусской митрополии. Мы уже знаем, что Константинополь, какие бы внутривосточные и международные отношения ни возникали в тот период на малоазиатском полуострове [213, III, 162—170; 397, III, 752—755], традиционно придерживался той линии поведения в Восточной Европе, которая должна была приносить ему максимальные политические и материальные выгоды, должна была обеспечить греческому патриарху максимум влияния на землях «православной Руси». Такие стратегические задачи определяли и тактику Царьграда в Восточной Европе. Стремясь любыми средствами упрочить свой контроль над всеми частями русской церкви и русской земли, Царьград не только старался предотвратить появление «латинства» в какой-либо из частей русской земли, но и старался (если этого позволяли обстоятельства) сосредоточить всю власть над русской церковью в руках одного митрополита киевского и всея Руси²⁹.

Но ход борьбы между восточноевропейскими странами, контролируемый часто Ордой, вносил свои коррективы в тактические установки правителей Константинополя. Пока существовала возможность контроля всей русской церкви с помощью одного митрополита, Царьград не создавал двух параллельных митрополий, но как только такая возможность исчезла, как только митрополит киевский и всея Руси становился правителем лишь половины русских епархий, а в другой половине

²⁹ Близко к такой трактовке политического курса Царьграда в Восточной Европе подошел болгарский историк Снегарев [288, 262].

создавался вакуум, Константинополь давал согласие на организацию двух церковных центров русской земли, имея в виду таким путем сохранять свои позиции в обеих половинах русской церкви. Именно таким подходом к делу следует объяснить создание литовско-русской митрополии для Киприана в 1374—1375 гг., а также сохранение этой митрополии и в начале 1380 г. наряду с митрополией Московской Руси.

В сущности, спор между московскими иерархами и митрополитом Киприаном, развернувшийся на константинопольской почве зимой 1379/80 г., проходил под знаком этих политических установок Москвы, Вильно и Царьграда. Наиболее надежные сведения об этом споре мы получили из документов константинопольского патриархата [33, № 30, 32, 33]. Из этих материалов мы узнаем, например, что Киприан, приехав в Константинополь после своей неудачи в Москве, потребовал как низложения «неканонически» поставленного Митяя, так и передачи себе всей власти над русской церковью [33, № 30; 163, II, 244—247]. «Митрополит Киприан... употреблял все усилия, чтобы войти в Великую Русь и овладеть ею» [33, № 30, 173]. «Митрополит Киприан явился с просьбою о предоставлении ему вместе с Киевом и Великой Руси» [33, № 30, 175—176]. В свою очередь, и московские иерархи, несмотря на смерть Митяя, защищая своего главного кандидата на пост митрополита, нападали на Киприана, поставленного якобы «неканоническим» путем еще при жизни митрополита «Алексея, требовали превращения Пимена в главу всей русской церкви» [33, № 30, 175—176, 180]. Нападки на Киприана сопровождались, наверное, и выпадами против Дионисия, находившегося тогда же в Константинополе.

Зная о весьма неустойчивом равновесии сил между Москвой и Вильно, предвидя дальнейшее обострение борьбы между ними, Царьград, верный своим установкам, принял решение сохранить то положение в русской церкви, которое создалось в середине 70-х годов XIV в. во время параллельного существования двух митрополий. Константинополь отклонил максимальные требования обеих сторон и вынес рекомендацию «все оставить в прежнем положении и не делать ничего более» [33, № 30, 176]. Принятие данного решения означало, что Киприан оставался митрополитом Малой Руси и Литов-

ской Руси, как бы повторяя эксперимент Романа [33, № 30, 172]. Пимен стал митрополитом «Киевским и Великой Руси», а претендент нижегородского княжества на руководство русской церковью — Дионисий оставался пока суздальским епископом.

Но хотя Царьград санкционировал сохранение возникшего ранее двоевластия в русских церквях, в соборном положении патриарха Нила, адресованном московскому князю, все же оказалось больше словесных комплиментов Пимену и меньше Киприану.

В этом послании признавалось, например, что Киприан получил свой пост обманом при жизни другого митрополита, что он «должен быть изгнан не только из Киева, но и вообще из пределов Руси» и только в порядке особого снисхождения к нему было принято решение об оставлении его митрополитом Малой Руси и Литвы [33, № 30, 169—170].

Предоставление Пимену московской митрополии было обставлено в этом «соборном определении» более пышно и многословно. «Вследствие того, что... Пимен благодатью всесвятого духа, а через посредство нашей мерности, по суду состоящего при нас священного собора и по благоизволению... моего самодержца, избран и поставлен в настоящего митрополита и Великой Руси, он должен... именоваться по древнему обычаю митрополитом Киевским... и взять в свое владение Владимир и всю Великую Русь»³⁰.

При этом следует иметь в виду, что санкционирование «двоевластия» в русской церкви того времени отнюдь не было фиксацией якобы далеко зашедшего культурно-этнического обособления отдельных частей русской земли, оно не было и запоздалым «исправлением» якобы допущенной Константинополем ошибки при создании единой русской митрополии, которая, по абсурдным утверждениям буржуазного историка Г. Пашкевича, лишь прикрывала и маскировала факт существования будто бы многих, совершенно изолированных друг от друга восточнославянских народностей [611]. Критика

³⁰ Любопытно было и такое утверждение патриаршего послания: «А после него (Пимена. — И. Г.) на все время архиереи вся Русь будут поставляемы не иначе, как только по просьбе из Великой Руси» [33, № 30, 183—184].

этих взглядов Пашкевича дана у Ловмянского, Черепнина, Пашуто и др. [590; 416; 309 и сл.].

О том, что образование двух «русских» митрополий во второй половине XIV в. явилось лишь временной «тактической» уступкой Царьграда определенным политическим обстоятельством, свидетельствуют не только приведенные выше акты греческого патриархата, но и довольно четкие представления некоторых византийских писателей XIV—XV вв. об этнической карте Восточной Европы того времени, которая совершенно не совпадала с политической структурой, сложившейся тогда в этой части Европейского континента. Несмотря на неодинаковый интерес этих писателей к историческим судьбам Восточной Европы³¹ и на значительные различия политических и церковно-политических концепций указанных авторов³², их представления об этническом «облике» восточноевропейского пространства оказывались общими и с течением времени существенно не менялись. Так, один из поздних византийских авторов, писатель XV в. Л. Халкокондил, как бы подводя итог наблюдениям византийской историографии за судьбами восточного славянства, нарисовал довольно четкую картину расселения русских-сарматов в различных политических образованиях Восточной Европы того времени. Он видит русских-сарматов в составе великого княжества Литовского, заселявших территорию от Белгорода и Молдавии до Вильно, он знает русские территории с городами Москва, Киев, Тверь, Ростов (?), называя их Черной Русью, наконец, он хорошо осведомлен и о северной части русской земли (Новгороде), которая фигурирует у него под названием Белой Руси. Эти взгляды Халкокондила о русских-сарматах перекликаются с представлениями о

³¹ Как известно, византийские авторы первой половины XIV в. Г. Пахимер, Н. Григора, И. Кантакузин интересовались прежде всего внутривизантийскими проблемами самой Византии [562, 465] и лишь историки XV в. Дука [78], Халкокондил [67], Сфраидзи [97] и Критовул [73], оказавшиеся свидетелями торжества турок над Константинополем и настойчивых попыток Рима утвердить церковную унию на восточноевропейских землях, стали проявлять больше внимания к тогдашней международной жизни вообще и к историческому развитию восточных славян в частности [562, 465, 227].

³² Так, Дука [78] и Халкокондил [67] выступали сторонниками церковной унии [562, 227, 152], Сфраидзи [97] и Критовул [73] оставались приверженцами ортодоксального православия.

расселении восточных славян и других византийских авторов XV в. (например, Н. Григоры, Дуки и Сфраидзи), как бы вместе с Халкокондилом они называют восточных славян «одним народом», Русью, Россией. Таким образом, не только акты греческого патриархата, но и труды византийских историков XV в. свидетельствовали о том, что допущение «двоевластия» в русской церкви не фиксировало процессов культурно-этнического обособления, а представляло собой лишь тактическое маневрирование Царьграда в сложной политической обстановке, возникшей в Восточной Европе в 70—80-х годах XIV в.

**Политическая жизнь Восточной Европы
в начале 80-х годов XIV в.
(от разгрома Мамая на Куликовом поле
до взятия Тохтамышем Москвы)**

Сражение, происшедшее 8 сентября 1380 г. на Куликовом поле между войсками Мамая и объединенными армиями Дмитрия Донского, было знаменательным событием в политической жизни не только Великого Владимирского княжения, но и великого княжества Литовского, Русского, Жемайтійского, в политической жизни всей Восточной Европы [386; 385, 352—372; 416, 596—622; 130, 477—523].

Для того чтобы иметь о нем правильное представление, достаточно сопоставить расстановку политических сил на востоке Европейского континента накануне сентября 1380 г. и после разгрома армии Мамая.

Перед Куликовской битвой, как мы знаем, наметилось некоторое преобладание Владимирского княжения над великим княжеством Литовским [453, 19], выражением чего и было активное противодействие Москвы ордынскому господству [416, IV; 417, 227—231], с одной стороны, и политическое сотрудничество Мамая с великим князем литовским Ягайло — с другой [453, 19; 609, 428—432]. Однако это преобладание было, видимо, не очень значительным. Все попытки тогдашнего московского правительства увеличить политический потенциал Владимирского княжения по сравнению с политическими возможностями Литвы не давали больших результатов. Нижегородские и рязанские князья в 1379—1380 гг.

не оказывали Москве поддержки, план устранения Киприана и передачи власти над всей русской церковью какому-либо московскому иерарху также не был осуществлен.

Можно сказать, что и глава Литовско-Русского государства Ягайло также не смог добиться заметной перемены в соотношении сил в свою пользу, хотя планы такого рода у него, несомненно, были [41, XI, 47—48]. Скрытая борьба с Кейстутом, а также Андреем полоцким и Дмитрием брянским ослабляла позиции Ягайло как внутри великого княжества Литовского, Русского, Жемайтійского, так и на международной арене [609, 439—443]. Попытка Ягайло превратить Киприана в действительного главу всей русской церкви, как мы знаем, также оказалась безуспешной. Неустойчивость взаимоотношений между Владимирским княжением и великим княжеством Литовским подчеркивалась существовавшими тогда скрытыми политическими контактами между Ягайло и рязанским князем Олегом³³, между московским князем Дмитрием и литовско-русскими князьями Кейстутом, Андреем Ольгердовичем и Дмитрием Ольгердовичем [553, 16—20; 646, 120—151; 619, I, 39—44; 628, 443]. И все же, несмотря на весьма незначительный перевес Владимирского княжения над Литвой (перевес, который был в своей тенденции близок к неустойчивому равновесию), несмотря на все старания противников Москвы создать условия для поражения объединенной армии московского князя Дмитрия, историческое сражение на Куликовом поле было им выиграно.

Победа на Куликовом поле сразу положила конец неустойчивости и создала такую расстановку сил в Восточной Европе, при которой ведущая роль Великого Владимирского княжения в системе восточноевропейских государств оказалась бесспорной.

Как это произошло? В силу каких причин Дмитрию Донскому удалось одержать победу в малоблагоприятных для него политических условиях? К каким политическим результатам привела эта военная победа? Все

³³ «Душегубный же Олег... посылаше к безбожному Мамаю и к нечестивому Ягайлсу своего боярина Епифана... Кореева, веля им быти на тот же срок, оу Оки...» [47, 143]. Инициатива этих переговоров, видимо, исходила не от Олега, но сам факт переговоров представляется бесспорным.

эти вопросы давно интересовали исследователей. Разумеется, ответы на данные вопросы не могут быть исчерпывающими уже в силу того обстоятельства, что историки располагают хотя весьма ценными, но все же очень противоречивыми источниками.

Следует, правда, признать, что в изучении памятников куликовского цикла, а следовательно, и в изучении всей эпохи в целом достигнуты, особенно за последнее время, определенные успехи. Теперь, после работ А. А. Шахматова [427, 430], С. К. Шамбинаго [423, 425], М. Н. Тихомирова [382, 385], Б. А. Рыбакова [303, II, 158—205], Л. В. Черепнина [416, 417], В. Ф. Ржиги [330, 331], Л. А. Дмитриева [192, 193], М. А. Салминой [345, 346], Ю. К. Бегунова [130] и других, мы лучше понимаем содержание каждого памятника в отдельности, еще в большей мере убеждаемся в наличии внутренней взаимосвязи между произведениями данного круга. Однако мы должны все же отметить, что в существующей интерпретации источников, в изображении всей этой эпохи далеко не все одинаково бесспорно, далеко не во всех случаях предложенные гипотезы одинаково хорошо «вписываются» в ход политической жизни того времени, далеко не всегда скепсис в отношении исторической достоверности тех или иных положений рассматриваемых памятников является в полной мере оправданным. Нам представляется в связи с этим, что задача дальнейшего изучения памятников куликовского цикла и исследование эпохи в целом продолжают оставаться актуальными.

Отдавая отчет в сложности и противоречивости произведений куликовского цикла, опираясь на результаты изучения этих памятников историками [385, 416, 616—619; 373, 286—298; 130; 477—523], а также на свои собственные наблюдения в данной области, мы считаем нужным уже здесь подчеркнуть, что сообщения рассматриваемых источников о событиях 1380—1381 гг. в основном являются достоверной информацией³⁴.

³⁴ Присутствие в памятниках куликовского цикла различных политических «акцентов» следует объяснять, по нашему мнению, не литературным «произволом» авторов этих памятников, не их «отрывом» от реальной исторической действительности, а тем, что они, создавая на протяжении ряда лет различные варианты рассказов о Куликовской битве, каждый раз были вынуждены считаться с

Так, сведения памятников куликовского цикла («Задонщина», «Летописная повесть», «Сказание о Мамаевом побоище»), которые характеризуют подготовку Мама и Дмитрия к решающему столкновению, излагают ход сражения на Куликовом поле, показывая непосредственные политические результаты одержанной победы, соответствуют реальному ходу политической жизни 1379—1381 гг.

Видимо, следует считать исторически достоверными и сообщения этих источников о непосредственных приготовлениях Мама к военной кампании 1380 г., приготовлениях политических, идеологических и, разумеется, чисто военных. Основаны на реальных исторических фактах также сведения о широкой политической подготовке Мама к намечавшемуся выступлению, подготовке, которая заключалась, с одной стороны, в стремлении сколотить антимосковскую коалицию в составе Литвы, Рязани и Кафы, сделать ее более боеспособной, а с другой стороны, в желании ослабить изнутри Московскую Русь, обострить внутривнутриполитические противоречия в рамках Великого Владимирского княжения. Вся эта информация, содержащаяся в произведениях куликовского цикла, подтверждается также орденоскими и генуэзскими источниками (в частности, сведения о заключении антимосковского союза между Ордой, Литвой, Рязанью и Кафой [130, 521—522]), а также русскими летописями и актовым материалом, где были записи о попытках противопоставления Москве Рязани, Нижнего Новгорода и других центров русской земли.

Представляется исторически достоверной и идеологическая мотивировка намеченного выступления Мама. Стремясь восстановить ордынскую власть над русскими землями, тогдашний правитель Орды не случайно обра-

возникновением новой политической ситуации в Восточной Европе, каждый раз должны были согласовывать идейный замысел своих новых творений с соответствующим этапом политического развития восточноевропейских стран. Совершенно естественно, что при таком подходе к факту различной политической направленности памятников куликовского цикла приобретает особо важное значение проблема правильной датировки каждого из этих памятников. Нам представляется, что предлагаемые в настоящей работе новые датировки рассматриваемых памятников, с одной стороны, подтверждают достоверность содержащейся в них информации, а с другой — объясняют ту или иную их тенденциозность,

тился к памяти Батая, при котором Русь, как известно, оказалась захваченной татарами, а также к памяти Джанибека, при котором «выход» (поборы) с русских земель в пользу Орды был огромен. Обращение Мамае к памяти этих двух ханов кажется вполне правдоподобным уже по той причине, что оба они часто фигурировали в источниках того времени (не только в русских, но и в восточных) как символы взаимосвязанных явлений: установления ордынской власти над русскими землями в XIII в. и взимания Ордой максимального «выхода» с «русского улуса» в XIV в. [38, 215—223, 275, 406—407; 48, 180; 41, X, 215—229; 35a].

По-видимому, исторически реально изложение в «Задонщине», «Летописной повести», «Сказании» основных этапов политики Дмитрия Донского: осуществление московским князем в те годы «общерусской программы», попытки не только консолидации сил Владимирского княжения, но и установления устойчивого сотрудничества с широкими слоями литовско-русской знати. Не оторван от идеологической жизни конца XIV в. и литературный «аккомпанемент» основных политических положений указанных памятников: настойчивое обращение к «легендарному» прошлому целостной Руси XI—XII вв., к памяти древнерусских князей как к символам единства русской земли (к памяти Владимира, Ярослава, Бориса и Глеба, а также Александра Невского и др.) [35a, 11, 12, 16, 44, 61, 65, 71; 38, 314—319; 423, 66—71].

Отражением реальных исторических событий были рассказы о движении войск к Куликову полю, об отправке разведывательных отрядов — «сторожей», об «уряжении полков», описания самого сражения, перечисления участников и жертв этого сражения [130, 486—506].

Правдоподобность большинства этих сведений подтверждается свидетельствами летописей, синодиков, различных «родословий», а также показаниями ряда иностранных источников.

Одним из важных доказательств достоверности памятников куликовского цикла являются некоторые данные Новгородской IV летописи списка Дубровского. Так, по общему мнению исследователей, помещенное в списке Дубровского «уряжение полков» возникло раньше аналогичного текста, обнаруживаемого в «Сказании

о Мамаевом побоище» [38, 486; 423, 160—161; 130, 500—502]. Между тем именно этот первоначальный текст «уряжения полков» списка Дубровского дает картину максимально широкого круга участников кампании 1380 г., представлявшего чуть ли не всю русскую землю. В этом документе мы видим не только князей Владимирского княжения, но также и феодалов Литовской Руси. Этот же документ подчеркивает активную и важную роль в сражении засадного полка, руководимого князьями Владимиром Андреевичем серпуховским, Дмитрием волыньским, Романом брянским и др.

Зафиксированная здесь реальная политическая обстановка консолидации Руси «с востока на запад» накануне и во время битвы была почти полностью воспроизведена в «Задонщине», «Сказании», «Летописной повести» пространной редакции (в последнем случае была лишь приглушена роль серпуховского князя).

Историческая достоверность основных памятников куликовского цикла подтверждается также частичным совпадением списка убитых на поле сражения с тем перечнем погибших, который мы находим в синодиках [345, 314—372; 130, 495]; кроме того, важным аргументом в пользу достоверности этих памятников является полная «историчность» гостей — сурожан, доказанная М. Н. Тихомировым [384, 375].

Тесная связь произведений куликовского круга с политической жизнью Восточной Европы конца XIV в. подтверждается наличием соответствующих данных в иностранных источниках, в частности в немецких хрониках того времени, а также в переписке литовских князей с Орденом³⁵. Отмеченные в произведениях кули-

³⁵ Сведения о разгроме войск Мамаея армией Дмитрия Донского мы находим в хрониках Посилге, Дитмара, Кранца [95, 114; 71, 90]. Правда, в этих же хрониках мы сталкиваемся с сообщениями о таких фактах, которые не были известны вообще русским, литовским и польским источникам. Немецкие хронисты подтверждают факт неучастия Ягайло в самой Куликовской битве, но пишут о предпринятой якобы литовским князем попытке нанести удар по арьергардным войскам Дмитрия Донского, возвращавшимся с Дона в Москву. Нам кажется данное сообщение довольно сомнительным уже по одному тому, что об этой «атаке» Ягайло ничего не знают Длугош и Ян из Чарнкова. Возможно, что эти утверждения немецких хронистов явились результатом намеренной дезинформации Ордена, предпринятой самим Ягайло в целях поднятия своего полити-

ковского цикла контакты крымской Кафы сначала с Мамаем, потом с Тохтамышем получили подтверждение в генуэзских архивных материалах, как это убедительно показал Ю. К. Бегунов [130, 500].

Таким образом, сведения основных памятников куликовского цикла, в частности сведения «Задонщины», «Летописной повести» пространной редакции, «Сказания о Мамаевом побоище», подтвержденные данными других источников, позволяют дать ответ на вопрос о том, почему Дмитрий Донской, несмотря на мало благоприятные для него условия, все же одержал осенью 1380 г. крупную победу, почему он после Куликовской битвы смог приступить к реализации общерусской программы, к установлению сотрудничества с митрополитом Киприаном.

Нам кажется, что большой военный успех Дмитрия Донского был обусловлен не только его полководческим искусством, не только недостаточной боеспособностью армии Мамая, но и рядом чисто политических факторов. По-видимому, два особых обстоятельства сыграли немаловажную роль в исходе этого сражения. Прежде всего, создание Дмитрием широкого антиордынского фронта русских княжеств, привлечение под свои знамена князей не только из Залесской Руси, но и из Руси Юго-Западной, Руси Литовской. Другим существенным обстоятельством, обусловившим победу Дмитрия над армией Мамая, была вынужденная скованность ордынского правителя, тогдашнего главы Литовско-Русского государства Ягайло, а также рязанского князя Олега.

Существование широкого антиордынского объединения русских княжеств подтверждается многими источниками того времени (в «уряжении полков» списка Дубровского, в «Задонщине», в «Летописной повести» пространной редакции, в «Сказании»). Что же касается второго фактора, обеспечившего победу Донского, то он требует более подробного рассмотрения.

ческого престижа в глазах крестоносцев. Но если эти утверждения немецких хронистов основаны на реальной попытке Ягайло дать бой войскам Дмитрия Донского, то эта попытка была весьма скромной, поскольку она не получила никакого отражения в русских и польских источниках, так как не оказала сколько-нибудь заметного влияния на ход политической жизни стран Восточной Европы в 1380—1381 гг.

Обычно историки говорят о том, что Ягайло не оказал помощи Мамаю на Куликовом поле только по той причине, что он опоздал на сутки со своим войском к месту сражения. Нам представляется, что причины неучастия Ягайло в Куликовской битве были более сложными. Здесь сыграли роль не его медлительность, не факт случайного опоздания. Возможно, что в создавшейся ситуации Ягайло предпочел занять выжидательную позицию. Вполне вероятно, что литовский князь, несмотря на заключение антимосковского союза с Мамаем, не был заинтересован в решительной победе ордынской державы. Ягайло мог знать по опыту Ольгерда, что правителям Золотой Орды нужно было не установление гегемонии великого княжества Литовского и Русского в Восточной Европе, а лишь обуздание с помощью Литвы вышедшей из-под ордынского контроля Московской Руси, нужно было лишь восстановление традиционного равновесия между Вильно и Москвой. Поэтому глава Литовско-Русского государства Ягайло, сам стремившийся к установлению гегемонии в Восточной Европе, не желал, видимо, полного торжества Мамая на Дону в 1380 г.

Разумеется, Ягайло не мог сочувствовать и решительной победе московского князя Дмитрия Ивановича. Судя по всему, его больше устроило бы одновременное ослабление Орды и Москвы, которое могло облегчить реализацию его собственных планов в восточной части Европейского континента.

Но, по-видимому, Ягайло воздержался от активного участия в вооруженном конфликте на Куликовом поле не только потому, что, заботясь о сохранении своего военно-политического потенциала в Восточной Европе, не желал решительного перевеса ни одной из борющихся сторон. Возможно, он уклонился от участия в этом конфликте еще и потому, что не считал собранную им армию вполне благонадежной в сложившейся тогда политической ситуации. На это последнее обстоятельство обратил в свое время внимание польский историк Смолька³⁶.

³⁶ Смолька [646, 98—100] считал, что Ягайло «опоздал» совершенно намеренно. Свою точку зрения он обосновывал следующим образом. Значительную, если не преобладающую часть вооруженных сил Ягайло составляли православные полки русских земель. В рус-

Но как бы мы ни оценивали причины неучастия Ягайло в Куликовской битве, для нас в данном случае представляется наиболее существенным главный итог развернувшейся тогда борьбы между ордынской державой и антиордынской коалицией русских княжеств, в частности решительная победа, одержанная на Дону теми силами русской земли, которые были тогда консолидированы главой Владимирского княжения и оказались вне сферы влияния великого князя Ягайло.

Таким образом, мы видим, что разгром Мамая на Куликовом поле был обеспечен не только полководческим мастерством Дмитрия Донского, но и тщательной политической подготовкой его к решающей схватке, в частности широким использованием тенденции консолидации всей русской земли, умелым сдерживанием политического натиска князя Ягайло.

В сущности, близко к такой оценке политических факторов, определивших исход Куликовской битвы, подошли советские исследователи М. Н. Тихомиров и Л. В. Черепнин. Так, отметив, что «состав русского войска, сражавшегося на Куликовом поле, резко отличался от состава татарских полчищ своей однородностью», М. Н. Тихомиров вместе с тем подчеркнул участие в Куликовской битве отдельных «украинских и белорусских полков» [385, 353, 355]. Что касалось мнения Л. В. Черепнина, то хотя он и признавал, что на основании извлеченных из разных летописей данных «трудно составить вполне достоверный список тех русских областей, население которых действительно сражалось с ордынскими вооруженными силами», тем не менее на-

ской армии Дмитрия присутствовали видные представители литовско-русской знати, а также находились вооруженные отряды из Литовской Руси (брянские полки, в частности). При таком положении Ягайло должен был проявлять максимум осторожности. Разумеется, если бы Мамай победил Дмитрия, то можно было бы не сомневаться в верности русских полков литовскому князю Ягайло. В этом случае Ягайло мог бы приложить руку к полному разгрому Москвы, к разделу ее территории совместно с Мамаем. Но Ягайло допускал, видимо, и другой исход сражения — победу Дмитрия над Мамаем. В этой ситуации выступить против Дмитрия со своими литовско-русскими полками значило рисковать всей своей армией, ибо в ней было много сторонников Андрея и Дмитрия Ольгердовичей, которые могли отказаться воевать на стороне Мамая, а могли уже на поле боя перейти на сторону объединенной русской армии Дмитрия Донского.

званный исследователь должен был отметить весьма широкий круг участников Куликовской битвы на стороне Дмитрия Донского. «Территория, с которой была собрана русская рать, далеко выходила за пределы московского княжества и княжеств, к тому времени уже включенных в его состав и непосредственно подчиненных власти великого князя Дмитрия Ивановича», — писал Л. В. Черепнин. Упомянув о том, что в Куликовском сражении участвовали не только князья Северо-Восточной Руси, но и князья Юго-Западной Руси (Андрей полоцкий, Дмитрий брянский, Дмитрий волынский) [416, 607, 613], Л. В. Черепнин сформулировал весьма важные, на наш взгляд, положения. «На борьбу с татаро-монгольскими захватчиками, — писал он, — выступала рать не просто московская, а общерусская» [416, 608]. Указав на приход в армию Дмитрия Донского литовско-русских князей Ольгердовичей, Л. В. Черепнин подчеркнул, что «в этом эпизоде воплотилась идея о желательности объединения православного населения северо-восточных и юго-западных русских земель» [416, 607—613, 621].

Таким образом, уже частичная консолидация сил феодальной Руси, образование антиордынского фронта в составе ряда князей Северо-Восточной Руси и Руси Юго-Западной создали условия как для блокирования Ягайло, так и для решительного военного разгрома армии Мамая.

Но если упомянутые политические обстоятельства содействовали Куликовской победе, то сама победа на берегах Дона создала весьма благоприятную обстановку для реализации наметившихся ранее тенденций политической жизни Восточной Европы. Торжество Дмитрия Донского на Куликовом поле положило конец неустойчивому равновесию между Москвой и Вильно, сразу привело к такой расстановке сил в Восточной Европе, при которой Владимирское княжение стало доминировать в системе восточноевропейских государств.

* * *

После победы резко улучшилось отношение к великому князю Дмитрию Ивановичу не только тех земель, которые еще недавно тяготели к Владимирскому княжеству, в частности Великий Новгород, Рязань, Тверь, в

какой-то мере Нижний Новгород, но также и тех княжеств, которые входили в состав великого княжества Литовского, Русского, Жемайтйского.

Куликовская битва действительно обусловила важные сдвиги в политической жизни великого княжества Литовского. Если накануне битвы лишь отдельные литовско-русские князья сотрудничали с Москвой, сотрудничали либо тайно, либо «перебегая» непосредственно на территорию Московской Руси, если тогда значительная часть литовско-русских феодалов все еще связывала свои планы дальнейшей консолидации русских земель с именами Ягайло, Киприана, а может быть, и самого Мамаю, сулившего им, судя по некоторым данным, раздел территории Владимирского княжения в случае победы над крамольным «московским улусником»³⁷, то после победы на Куликовом поле заметно сократилось число активных сторонников Ягайло в Литовской Руси³⁸, а вместе с тем резко увеличился круг явных союзников Дмитрия Донского из среды феодалов, православного духовенства и горожан Литовско-Русского государства. Именно теперь Дмитрий Донской стал и для значительной части Литовской Руси олицетворением программы консолидации русских земель, превратился в символ последовательной борьбы с ордынской державой, все еще считавшей себя хозяином русской земли в ее границах XI—XII вв.

Не удивительно поэтому, что Дмитрий Донской, оказавшись после Куликовской битвы наиболее могущественной политической фигурой Восточной Европы, стал

³⁷ Сведения об этой тактике Мамаю сохранились в Никоновской летописи. В письме к Мамаю литовский князь от своего имени и от имени рязанского князя предлагал такой план действий, который, видимо, не расходился и с намерениями самого Мамаю: «Слышах, господине, яко хочещи страшити свой улус, своего служебника московского князя Дмитрия: того ради молю тя царю... да накажиши его... да подвинишися сам царю (на князя Дмитрия. — И. Г.)». Далее Ягайло предлагал разгромить армию московского князя, а землю его разделить между Литвой и Рязанью: «А мы княжение Московское разделим себе царевым велением на двое, ово к Вильне, ово к Рязани, и даст нам царь ярлыка» [41, XI, 48].

³⁸ Совершенно прав был польский историк Л. Колянковский, когда писал, что «победа на Куликовом поле была не только значительным ослаблением внутривосточных позиций Ягайло, но могла стать просто катастрофой для престижа литовского государства на Руси» [553, 20].

желанным партнером и для таких бывших союзников Ягайло, каким был литовско-русский митрополит Киприан. Стремившийся любой ценой стать лидером всей русской церкви, Киприан после Куликовской победы сделал все, чтобы превратиться в союзника Дмитрия.

Мы хорошо знаем о политических устремлениях этого иерарха накануне Куликовской битвы, знаем по документам константинопольского патриарха [33, № 30], а также по его собственному посланию Сергию Радонежскому [33, № 20, 173—186]. Как известно, он уже тогда усиленно добивался получения полномочий общерусского митрополита, предлагал свои услуги московскому князю Дмитрию Ивановичу в качестве «объединителя» русской церкви³⁹. Когда Литва сама претендовала на ведущую роль в Восточной Европе, московский князь не мог согласиться на подобные предложения, он, как известно, сам добивался в Царьграде назначения на пост митрополита всея Руси московской кандидатуры. Теперь, после куликовской победы, когда Литва при Ягайло была не в состоянии играть ведущую роль в делах Восточной Европы и когда Московская Русь фактически стала главенствующей силой в политической жизни этой части Европы, предложения Киприана рассматривались в Москве по-иному. Теперь сам московский князь, почувствовавший возможность перехода к общерусской политике, приветствовал установление сотрудничества с митрополитом Киприаном, сулившим ему активную поддержку в осуществлении его общерусских планов. Не удивительно поэтому, что происходившие зимой 1380/81 г. переговоры между князем Дмитрием Ивановичем и митрополитом Киприаном (в марте 1381 г. из Москвы в Киев был направлен архимандрит Федор Симановский) действительно привели к тому, что в мае 1381 г. Киприан торжественно въехал в Москву, став

³⁹ В послании Сергию Радонежскому 1378 г. Киприан не только сокрушался по поводу изгнания его из пределов Владимирского княжения, не только доказывал каноничность своего поставления и неканоничность пребывания Митяя на посту московского митрополита, но и, по сути дела, предлагал себя московскому князю в качестве «объединителя» русской церкви, критикуя при этом московского князя за попытки «двоить» русскую митрополию и одновременно заявляя о своей любви к нему [33, № 20, 183—185].

митрополитом с широкими общерусскими полномочиями⁴⁰.

Куликовская битва содействовала переориентации на Москву не только видных деятелей литовско-русского духовенства, но и представителей других политических кругов великого княжества Литовского, Русского, Жемайтійского.

Результатом куликовской победы оказалась, видимо, и развернувшаяся летом 1381 г. борьба феодалов и горожан полоцкой земли против ягайловского наместника в Полоцке Скиргайло [94, 607]. Новгородская летопись отмечает факт дипломатической поддержки Полоцка Великим Новгородом. Хотя летописи и не говорят о соответствующей помощи Полоцку со стороны Москвы, тем не менее у нас есть серьезные основания считать, что московская помощь была оказана как Полоцку, так и князю полоцкой земли Андрею Ольгердовичу.

Вполне возможно, что эта поддержка получила даже юридическое оформление в том недатированном договоре Дмитрия Донского и Андрея полоцкого, сведения о котором сохранились в описи Посольского приказа 1626 г. [414а, 248]. В пользу датировки этого договора 1381 г.⁴¹ говорит не только все предшествующее развитие отношений московского князя с Андреем полоцким, не только фиксируемое источниками восстановление в 1381 г. влияния Андрея Ольгердовича в полоцкой земле, вряд ли достижимое в тех условиях без поддержки мо-

⁴⁰ Дмитрий Иванович «посла на Киев, на Киприана митрополита, Федора игумена Симановского, отца своего духовного, и поиде с Москвы на великое заговенье, месяца марта, по Киприана митрополита, зовуще его на Москву от великого князя. Киприан же митрополит приде ис Киева на Москву в шестую неделю по Пасхе, в четверток, на праздник Вознесения, и сrete и весь народ града Москвы, князь же великий Дмитрий Иванович приять его с великой честью и любовью» [38, 485]. Уже весной 1381 г. Киприан вместе с Сергием Радонежским освещал каменный храм Высоцкого монастыря в Серпухове [356].

⁴¹ Попытка Л. В. Черепнина [414а, 250] связать этот недатированный договор не с 1381 г., а с 1374—1375 гг. представляется недостаточно убедительной. В эти годы Андрей полоцкий — «правая рука» Ольгерда [646, 107—108]; тогда он не мог и помышлять о самостоятельных политических соглашениях с соседями Литвы, тем более с московским князем — тогдашним антагонистом Ольгерда. Попытка Ю. К. Бегунова датировать этот договор 1377 г. также не представляется убедительной [130, 514].

сковского князя, но также и развитие последующих событий в великом Литовском княжестве, особенно осенью 1381 и в начале 1382 г.

Не исключено, что политическое соглашение Андрея полоцкого с Дмитрием Донским послужило толчком для активизации и другого видного литовского главы, князя Кейстута, который в октябре 1381 г. перешел к открытым наступательным действиям против Ягайло: захватив Вильно, заставил Ягайло отказаться от великокняжеского престола и сам объявил себя главой Литовско-Русского государства. Когда же Кейстут стал великим князем литовским, русским и жемайтйским, то, по-видимому, Дмитрий Донской с ним также заключил особый договор, который содержал статьи о тогдашних московско-литовских границах [16, № 6; 628, 503]. Упоминание о каком-то пограничном соглашении между Московской Русью и великим Литовским княжеством при Кейстуте имеется в более поздних грамотах, в частности в грамоте 1449 г.

Если таким образом складывались события в великом княжестве Литовском, Русском, Жемайтйском, то промосковские настроения еще более усилились в тех русских княжествах, которые так или иначе были втянуты в орбиту Великого Владимирского княжения. Не удивительно, что в тех условиях стали вновь проявлять тяготение к Москве Великий Новгород, Рязань, Тверь, Смоленск, возможно, в какой-то мере и суздальско-нижегородская земля.

Позиция Великого Новгорода привела к заключению московско-новгородского договора, о котором сообщает Новгородская I летопись под 6888 (1380) г.: владыка новгородский Алексей «по челобитью своих детей, всего Новгорода, поиха на пиз» к великому князю Дмитрию Ивановичу. В результате поездки его и сопровождавших его многих влиятельных бояр был заключен новый договор Москвы с Новгородом Великим: «Князь же прия их в любовь, а к Новгороду крест целовал по всей старине Новгородской и по старых грамотах» [30, 374].

Хотя летопись утверждает, что новгородцы послали своих бояр и епископа Алексея в Москву для подписания договора с князем Дмитрием Ивановичем в «цветную неделю» 1380 г. (т. е. весной 1380 г.), нам кажется,

что это событие на самом деле произошло после куликовской победы, возможно, весной 1381 г. Оно могло произойти в связи с наметившимся тогда сближением московского князя Дмитрия с митрополитом Киприаном. Известно, как реагировал Новгород на первую попытку Киприана распространить свою власть на новгородскую землю в 1376 г., когда московское влияние на берегах Волхова вытеснило литовское влияние (об этом свидетельствовала поездка 1376 г. к московскому митрополиту Алексею епископа Алексея с видными новгородскими боярами). Мы помним и ответ новгородцев на предложение Киприана признать его митрополитом всея Руси: «Аще примет тя князь великий митрополитом всей русской земли, и нам еси митрополит». Весной 1381 г. как раз наступил такой момент, когда Киприан достиг взаимопонимания с московским князем Дмитрием, когда он в результате переговоров зимой 1380/81 г. наметил перевод своей резиденции в Москву.

Утверждению летописи о том, что новгородская делегация отбыла к князю Дмитрию весной 1380 г., противоречит и пребывание в тот период на берегах Волхова литовского князя Юрия Наримановича, представлявшего здесь с 1379 г. интересы литовского князя Ягайло. Разумеется, иными были позиции литовских князей Ягайло и Юрия Наримановича в новгородской земле после Куликовской битвы. В 1381 г. Ягайло должен был заботиться о сохранении своего влияния не столько на берегах Волхова, сколько на берегах Двины, в частности в полоцкой земле, которая тогда вела борьбу против литовского князя Скиргайло. Что же касалось попытки новгородцев оказать Полоцку дипломатическую поддержку с помощью своего посла Юрия Онцифировича ⁴², то она определенно указывала на отсутствие тогда в Новгороде каких-либо представителей литовского князя Ягайло, в частности на отсутствие там Юрия Наримановича ⁴³.

⁴² В Новгородской I летописи под 6889 (1381) г. читаем: «Той же осени стоял князь Литовский Скиргайло под Полотском с Немечьского ратью, и много бысть им тягость и прислаша к Новгороду, просяще помощи...». Тогда новгородцы «посол послаша Юрия Онцифировича къ князю Литовскому Ягъйлу» [30, 378].

⁴³ Об ориентации новгородцев на московского князя Дмитрия свидетельствует постройка в 1381 г. церкви св. Дмитрия в Новгороде [30, 378].

Если, кроме того, учесть, что некоторые списки «Задонщины», восходящие к первоначальному варианту 1381 г., говорят об участии новгородцев в Куликовской битве [21, 540], если иметь в виду факт сооружения на берегах Волхова в 1381 г. храма св. Дмитрия [30, 377], то политическое сотрудничество Великого Новгорода с Владимирским княжеством с весны 1381 до начала 1382 г. представляется вполне реальным.

Хуже обстоит дело с выявлением характера сложившихся тогда отношений между Москвой и Нижним Новгородом. У нас есть лишь косвенные данные о возможно намечавшемся в ту пору сближении суздальских князей с Москвой. Так, некоторые списки «Задонщины» сообщают об участии суздальцев в Куликовском сражении. Хотя эти сведения тенденциозны, тем не менее само подчеркивание в 1381 г. такого участия указывало на существование тогда контактов Москвы с Нижним Новгородом. Показательным был и тот факт, что нашествие Тохтамыша летом 1382 г. на Северо-Восточную Русь началось с угрозы Нижнему Новгороду [317, 274], что как будто предполагало соответствующие связи последнего с Москвой в 1381 — начале 1382 г. Пролитывает какой-то свет на тогдашнюю позицию Нижнего Новгорода и положение суздальского епископа Дионисия в эти годы. Если в период, предшествующий Куликовской битве, Дионисий, поддержанный Ордой и нижегородскими князьями, энергично добивался предоставления ему митрополии «всей Руси» (Царьград тогда отклонил эти претезии, санкционировав «сосуществование» двух других митрополитов — московского Пимена и литовско-русского Киприана), то в послекуликовский период, когда реальным главой всей русской церкви оказался Киприан, Дионисий, находясь в Константинополе, оставался скромным суздальским епископом, поддерживавшим тесные связи с Нижегородским княжеством [60, 422, 426], сохранявшим вполне лояльное отношение к Киприану и подтверждавшим тем самым существование такого же отношения нижегородских князей к Москве (Дионисий стал обладателем титула митрополита «всей Руси» и получил возможность пребывания на берегах Волхова [30, 326; 33, № 24] лишь после утверждения Тохтамыша в Орде и Восточной Европе, после того как Константинополь снова был вынужден следовать ордын-

ской политике поддержания равновесия между Литовской Русью и Владимирским княжением, в рамках которой теперь противовесами князю Ягайло и Киприану оказались не только Дмитрий Донской и Пимен, но также и Дионисий вместе со своим политическим партнером суздальским князем Дмитрием Константиновичем).

Весьма сложной оказалась и политическая линия князей тверских и кашинских в эти годы. Если есть косвенные данные об участии кашинского князя Василия Михайловича (1367—1382) в Куликовской битве [229, V, 39], а также князя Михаила тверского (известные по другим летописям) [41, XI, 76], то об их позиции по отношению к Москве на протяжении 1380—1381 гг. можно только догадываться [140, 165—167; 414, № 40, 48].

Предполагать установление сотрудничества между Москвой и Тверью можно на основании того, что Дмитрий Иванович направил в конце концов неугодного ему тогда митрополита Пимена из Чухломы именно в Тверь [42, 441], а также того, что на тверском столе продолжал оставаться традиционный сторонник Москвы — кашинский князь Василий Михайлович (до своей смерти 6 мая 1382 г.) [60, 422]. Его преемник — микулинский князь Михаил Александрович Ордынец вскоре стал придерживаться уже другой ориентации⁴⁴.

Наиболее подробными сведениями мы располагаем о развитии московско-рязанских отношений в 1380—1382 гг. Сохранившиеся источники дают представление о важных сдвигах в отношениях между московским князем и Рязанью, а на их основании позволяют выявить общие тенденции тогдашней политической жизни Восточной Европы. Из «Летописной повести» о Куликовской битве мы знаем, что тогда против Московской Руси выступали «три земли», три рати: татарская, литовская,

⁴⁴ Судя по тому, что Тохтамыш осенью 1382 г. хотел нанести удар и по Твери, а также по тому, что здесь, в Твери, нашел убежище митрополит Киприан [41, XI, 76], тверской князь Михаил как-то сотрудничал с московским князем в 1381 и первой половине 1382 г. Однако после вторжения Тохтамыша позиция князя Михаила, видимо, резко изменилась: как известно, он встал на путь обособленных от Москвы переговоров с Ордой [41, 76; 60, 425].

рязанская [38, 318; 46, 125—126; 47, 146]. Из этой же «Повести» мы узнаем о том, что после победы на Куликовом поле московский князь оказался свидетелем не только беспорядочного бегства татар в связи с отступлением войск литовского князя Ягайло, но также и паники среди феодалов Рязанского княжества, полной растерянности рязанского князя, его бегства в Литву [38, 324; 46, 125—126; 41, XI, 66]. Летопись сохранила сведения о том, что первым намерением победителя на Куликовом поле было организовать карательный поход на Рязань («хоте послати на Олга рать свою»). Однако позднее он отказался от этого плана, предпочтя мирное урегулирование отношений с Рязанским княжеством и включение Рязани в сферу своего влияния.

Что же предотвратило надвигавшийся новый вооруженный конфликт между Москвой и Рязанью? Разумеется, решающую роль в данном случае сыграли резкое усиление Московской Руси и соответствующее ослабление Рязанского княжества после 8 сентября 1380 г., обусловленное поражением Мамая. Такое нарушение прежней расстановки сил и заставило рязанских феодалов больше думать о сохранении основ своего материального благополучия, чем о защите политического престижа своего князя. Но прежде чем наметился этот исход конфликта, происходили, видимо, напряженные политические переговоры между московским князем, с одной стороны, рязанскими боярами и князем Олегом Ивановичем — с другой. Летопись сохранила сведения о том, что инициаторами мирного урегулирования выступили рязанские бояре, которые тогда же выразили готовность признать приоритет московского князя в русской земле, согласились стать вассалами великого владимирского князя Дмитрия [47, 149]. Результатом этих переговоров явилось соглашение с рязанскими боярами. «Великий же князь, — читаем мы в летописи, — послуша моления и приать челобитье их (рязанских бояр. — *И. Г.*), рати не посла на них, а на княжение Рязанском посажа наместници свои» [47, 149]. Вскоре после этого соглашения с рязанскими боярами была достигнута какая-то договоренность и с самим рязанским князем Олегом Ивановичем, находившимся зимой 1380/81 г. на территории великого княжества Литовского и Русского. Результатом этой договоренности было dokonчание Дмитрия Дон-

ского и Олега рязанского, заключенное, видимо, вскоре после приезда Киприана в Москву (май 1381 г.)⁴⁵.

В силу этого dokonчания, осуществленного с благословения митрополита Киприана, не только провозглашалось прекращение политического соперничества между ними, но и декларировалось установление самого тесного сотрудничества между Москвой и Рязанью, сотрудничества, разумеется, неравноправного. Теперь, видимо, не наместники московского князя должны были осуществлять контроль над политической жизнью Рязанского княжества, а сам рязанский князь Олег Иванович, объявивший себя «младшим братом» Дмитрия Донского. Отныне Олег вынужден был следовать политическому курсу Дмитрия Донского как в системе княжеств Великого Владимирского княжения⁴⁶, так и на международной арене. Особенно существенными были те положения dokonчальной грамоты, которые определяли внешнеполитические позиции рязанского князя. Те-

⁴⁵ Соловьев [359, I, 984], Экземплярский [435, II, 587], Иловайский [209, 112], Пресняков [371, 241] датировали эту dokonчальную грамоту 1381 г.; недавно Л. В. Черепнин предложил датировать ее 1382 г., связывая ее возникновение с вторжением Тохтамыша [416, 649; 415, I, 55—58]. А. А. Зимин и А. Г. Кузьмин высказывались за старую датировку [203, 286—187; 246, 224]. Старая точка зрения представляется еще не опровергнутой; в самом деле, заключенное с благословения Киприана dokonчание Дмитрия Донского с Олегом рязанским могло произойти сразу после его, Киприана, приезда в Москву (май 1381 г.), а требование разрыва отношений Рязани с великим князем Ягайло («сложить целование») могло быть выдвинуто до того момента, когда Ягайло был отстранен от власти Кейстут, т. е. до ноября 1381 г. Позднее этот договор не мог быть заключен по следующим причинам: с ноября 1381 по июнь 1382 г. главой Литовско-Русского княжества был Кейстут, союзник Дмитрия; в июле—августе 1382 г. Рязань уже снова была политически далекой от Москвы, принявшей удар Тохтамыша, осенью 1382 г. Киприан перестал быть фактическим союзником Дмитрия Донского, так как он переехал тогда в Киев и поэтому не мог санкционировать этот договор.

⁴⁶ «А с русских князей, кто князю великому Дмитрию друг и князю Володимеру, то и князю великому Олгу друг». Упоминание рядом с Дмитрием Донским князя Владимира Андреевича серпуховского является, видимо, еще одним аргументом в пользу датировки московско-рязанского договора 1381 г. Дело в том, что «Задонщина», созданная, как доказали Соловьев и Ржига, в 1381 г., с одной стороны, умалчивала о конфликте Рязани с Москвой, а с другой — подчеркивала активную роль серпуховского князя в событиях 1380 г. в отличие от «Летописной повести» [16, № 10, 30].

перь эти позиции целиком зависели от тех или иных зигзагов московской политики.

Данное соглашение определяло позицию Рязанского княжества в отношении Литвы. Прежде всего декларировалась необходимость ликвидации союза Рязани с литовским князем Ягайло: «А к Литве князю великому Олгу целование сложить» [16, № 10, 29]. При этом не исключалось дальнейшее обострение отношений с Литвой. Весьма существенно, однако, что данное соглашение допускало возможность и иных отношений Владимирского княжения с великим княжеством Литовским, Русским, Жемайтйским, в частности предусматривалась возможность московско-литовского сближения: «А будет князь великий Дмитрий Иванович и брат князя Владимир с Литвой в любви, ишо и князь великий Олег с Литвой в любви»⁴⁷. Содержащиеся в данном договоре пункты о московско-литовских отношениях весьма симптоматичны. Они говорили о том, что глава Владимирского княжения отвергал дружбу с великим князем литовским Ягайло, но вместе с тем допускал в принципе установление иных отношений Москвы с Литвой. Московский князь имел, вероятно, в виду появление на виленском престоле другого великого князя. Создается впечатление, что данный договор как бы предвосхищал события октября 1381 г., когда московский союзник Кейстут заменил на престоле в Вильно противника Москвы князя Ягайло, когда действительно создались условия для сближения Московской Руси с Литвой Кейстута.

Итак, на протяжении почти двух лет после Куликовской битвы международная обстановка в Восточной Европе оказывалась весьма благоприятной для русских земель. Искусственно сдерживаемые в предшествующий период объединительные тенденции политической жизни феодальной Руси теперь получили простор для своего развития. Создававшаяся многими десятилетиями восточноевропейская политическая карта претерпевала значительные изменения. Речь в данном случае должна идти не только об усилившейся тяге к Владимирскому

⁴⁷ Тот факт, что в московско-рязанском соглашении фигурировала не только Литва, но и митрополит Киприан, позволяет высказать предположение, что как в самом заключении данного соглашения, так и в предшествовавших этому соглашению переговорах деятельное участие принимал сам митрополит Киприан [16, № 10].

княжению Рязани, Твери, Великого Новгорода, может быть, и Нижнего Новгорода, но и о явном стремлении некоторых литовско-русских земель к политическому сближению с Московской Русью (особенно полоцкая земля и Северщина). Наметившийся процесс консолидации русских земель давал о себе знать прежде всего в сфере политической жизни Восточной Европы, в сфере политического сотрудничества Дмитрия Донского, Владимира серпуховского, женатого на дочери Ольгерда, Дмитрия волынского, женатого на дочери московского князя Дмитрия, Андрея полоцкого, Дмитрия брянского, наконец, и митрополита Киприана, недавно управлявшего епархиями Западной Руси (Литвы и Галицкой Руси), а теперь ставшего общерусским митрополитом. Происходивший тогда процесс консолидации русских земель нашел отражение, как мы увидим, и в сфере духовно-идеологической жизни феодальной Руси.

Однако, говоря о происходившем после Куликовской битвы процессе объединения русских земель, нельзя, разумеется, забывать, что он протекал далеко не равномерно. Сначала в условиях полного ослабления власти Орды над Русью, в обстановке военных поражений Мамай и медленного усиления власти Тохтамыша, данный процесс протекал довольно интенсивно, потом по мере восстановления под эгидой Тохтамыша политической мощи ордынской державы он замедлился, а после вторжения нового ордынского хана на территорию Руси почти совсем приостановился. И тем не менее, несмотря на наблюдаемую неравномерность процесса объединения феодальной Руси после Куликовской битвы, эта консолидация была весьма ощутимым фактором политической жизни Восточной Европы в рассматриваемый период.

Так, весьма показательно, что попытки Тохтамыша изолировать Москву путем двусторонних переговоров с отдельными русскими князьями, по сути дела, больших результатов не дали. Хотя переговоры эти действительно происходили во второй половине 1381 — первой половине 1382 г. и тем самым русские князья как бы признавали законность прихода к власти нового ордынского хана, однако эти князья не обнаруживали большого желания полностью восстанавливать прежний характер отношений между Ордой и Русью.

Об этом свидетельствовали по крайней мере два обстоятельства: съезд русских князей, созванный, видимо, вопреки воле Орды в ноябре 1381 г., а также сама военная кампания Тохтамыша второй половины 1382 г., показавшая, что одной традиционной дипломатией Тохтамышу не удалось заставить феодальную Русь отказаться от консолидации.

Что касается съезда русских князей, то его точная датировка сопряжена с некоторыми трудностями. Дело в том, что об этом съезде Никоновская летопись сообщает под 6888 (1380) г.: «Тое же осени месяца ноября в 1 день вси князи руссии, сослашеся, велию любовью учиниша между собою» [41, XI, 69]. Л. В. Черепнин датирует это событие в соответствии с Никоновской летописью также первым ноября 1380 г. [416, 627]. Нам представляется, однако, что допускать проведение такого съезда «всех русских князей» в ноябре 1380 г. вряд ли возможно, так как к этому времени русские земли еще не были консолидированы в такой мере, какая была необходима для данного общерусского мероприятия. Достаточно указать на невозможность подобной встречи Дмитрия Донского с Олегом рязанским в ноябре 1380 г. (их примирение произошло после переезда Киприана в Москву, т. е. после мая—июня 1381 г.). Если учесть малую вероятность проведения съезда «всех русских князей» до установления мира Дмитрия Ивановича с Киприаном и Олегом рязанским, но оправданность такого важного шага в политической обстановке осени 1381 г. (достигнутая реальная консолидация русских княжеств, усилившийся дипломатический нажим Тохтамыша), а также иметь в виду ненадежность хронологии Никоновской летописи при изложении событий конца 70-х — начала 80-х годов [416, 604], то вполне можно датировать съезд русских князей ноябрем не 1380, а 1381 г. Именно осенью 1381 г., видимо, и была предпринята Донским и его союзниками попытка противопоставить натиску Тохтамыша антиордынскую коалицию ряда ведущих русских княжеств. Возможно, что этой попытке сочувствовали не только многочисленные князья Залесской Руси, но также и некоторые князья Литовской Руси. Здесь нужно иметь в виду не только сыновей Ольгерда — Андрея полоцкого и Дмитрия брянского, но также и великого князя литовского Кейстута

Гедиминовича, заметно активизировавшегося как раз осенью 1381 г.

Политическая деятельность Кейстута 1381—1382 гг. давно уже привлекала внимание историков, особенно польских [628]. Были собраны интересные факты о поведении этого князя в рассматриваемые годы и даны объяснения осуществленных им политических шагов осенью 1381 г. Политика Кейстута 1381—1382 гг. настолько интересна и важна для правильного осмысления общего хода событий того времени в Восточной Европе, что она заслуживает специального рассмотрения.

В течение первой половины 1381 г. политическая активность Кейстута была скована как постоянными вторжениями крестоносцев на подчиненные ему литовские территории [628; 646, 129—135], так и политическими интригами Ягайло, действовавшего тогда совместно с Орденом [628, 502] и Ордой Тохтамыша⁴⁸. В августе 1381 г. Кейстут должен был столкнуться с открытыми военными действиями Ягайло, с военными операциями, направленными на овладение поднявшимся на борьбу Полоцком. Весьма характерно, что рядом с литовско-русскими войсками Скиргайло на берегах Двины у стен Полоцка оказались и полки немецкого Ордена. Мужественно сопротивляясь натиску войск Скиргайло и немецкого Ордена, Полоцк получил политическую поддержку Великого Новгорода и Московской Руси. Это означало, что ожесточенные бои у стен данного города были лишь частью разворачивавшейся тогда серьезной борьбы между Ягайло и его партнерами, с одной стороны, Кейстутом и его союзниками — с другой. Это означало, что оборона Полоцка была не только важным событием внутри политической жизни великого княжества Литовского, Русского, Жемайтийского, но также событием большого международного значения. Обрывочные сведения, дошедшие до нас об этом времени, позволяют думать, что Кейстут отдавал себе полный отчет как в общеполитической важности происходивших событий, так и в серьезности создавшейся тогда для него ситуации (в августе — сентябре 1381 г.). В частности, он, видимо, хорошо понимал, что Ягайло, желая подавить

⁴⁸ Только так и можно трактовать факт предоставления Тохтамышем в 1381 г. литовскому князю Ягайло ярлыка на русские замки [168, 323—324; 298, 21].

«мятеж» в Полоцке, думал не только об ослаблении политических позиций Кейстута в Литовско-Русском государстве, но, возможно, и его последующей физической ликвидации⁴⁹. Не удивительно поэтому, что в ответ на сотрудничество Ягайло с Орденом и Ордой и на организованную им блокаду Полоцка, а также на замыслы Ягайло, направленные против него, Кейстут предпринял тогда же (осенью 1381 г.) ряд весьма решительных шагов, которые и сделали его на несколько месяцев главой Литовско-Русского государства.

Так, в разгар затянувшейся осады Полоцка Кейстут под предлогом подготовки к выступлению против Ордына собрал значительные воинские силы. В конце октября он сделал вид, что направляет собранные им войска к границам Прусского ордена, однако вскоре повернул эти войска в диаметрально противоположном направлении, взяв курс на Вильно. Видно, в самом начале ноября столица великого княжества Литовского, Русского и Жемайтійского оказалась в руках Кейстута⁵⁰. Ягайло вынужден был признать себя его вассалом. Так, в «Хронике о великих князьях литовских» мы читаем: «...князь великий Ягайло даст правду, князю великому Кейстутю, и князю великому Витовту, што николи против им не стояти. А задвжы в их воли бити во всем» [44, 157, 578]. Успех, достигнутый в литовской столице, вскоре отразился на политической обстановке во всем Литовско-Русском государстве. К осажденному Полоцку были посланы от Кейстута два гонца: один — к блокированным полочанам, другой — ко всем силам «литовским и русским», осаждавшим под руководством Скиргайло эту важную крепость на двинских берегах. «Е да же сяде князь великий Кейстутей Гедиминовичъ на великом княжении в Вильне, тогда посла два война к Полоцку, единаго к ратным, а другая ко гражданам. Граждане же возрадовавшася зело, ратнии отступиша от князя Скиргайло, поидоша к Вильне, к великому князю Кейстута Гедиминовичу» [44, 578]. Таким образом, если затянув-

⁴⁹ Позднее, оказавшись временным победителем Ягайло, Кейстут говорил, что «то вчинил есмы для своей головы, остерегаючи себе в том, почуял есми што на мене лихо мыслят» [44, 157, а также 318, 578 и сл.]. ❄

⁵⁰ Возможно, что синхронность этого события со съездом князей в Москве не случайна [646, 139].

шаяся блокада Полоцка помогла Кейстуту овладеть литовской столицей, то само появление Кейстута в Вильно в качестве главы Литовско-Русского государства позволило не только решить судьбу Полоцка, но и определить линию поведения тех литовско-русских войск, которые еще недавно блокировали Полоцк⁵¹. В том, что полочане радовались приходу к власти Кейстута, не было ничего удивительного: они связывали свое освобождение с победой Кейстута и его союзника князя Андрея Ольгердовича, который, кстати сказать, вернулся в Полоцк после снятия осады [646, 140]. Что же касалось перехода на сторону Кейстута литовско-русских войск Ягайло и Скиргайло, то этот факт свидетельствовал о том, что политическая база Кейстута в самом Литовско-Русском государстве оказалась действительно весьма широкой.

Таковы были первые результаты деятельности Кейстута в качестве главы Литовско-Русского государства. Но это было только начало. Превратив Ягайло в своего вассала, добившись снятия блокады Полоцка и бегства Скиргайло в Ливонию, Кейстут стал осуществлять политику, во многом противоположную той, которой придерживался его предшественник Ягайло.

Если Ягайло находился в тесном союзе с Орденом (он, как известно, вел совместно с крестоносцами борьбу против Кейстута и Полоцка), то Кейстут стал на

⁵¹ Представляется очевидной тесная связь между событиями осени 1381 г. в Полоцке и синхронными событиями в Вильно: затянувшаяся блокада «мятежного» Полоцка, несомненно, содействовала успешному захвату Кейстутым литовской столицы. Кажется поэтому неубедительным тезис польского историка Смольки о том, что для Кейстута, «собственно литовского князя», судьба Полоцка якобы была совершенно безразличной [646, 137]. Нам кажется возможным говорить и о существовании какой-то внутренней взаимосвязи между полоцко-виленскими событиями и тогдашней политической жизнью Владимирского княжения, в частности съездом русских князей, созванным московским князем Дмитрием, видимо, в ноябре 1381 г. Мы знаем, что Новгород Великий, сблизившийся тогда с Москвой, попытался оказать дипломатическую поддержку осажденному Полоцку. Естественно, что Москва должна была в данной ситуации также оказывать помощь Кейстуту и по линии сдерживания натиска Ягайло—Скиргайло на Полоцк, и по линии содействия появлению самого Кейстута в Вильно. (Заклученный договор между Дмитрием и Кейстутым свидетельствовал, между прочим, об их политическом сотрудничестве не только после октября—ноября 1381 г., но и накануне осени 1381 г.)

путь активного противодействия Ордену. Если Ягайло был активным противником Дмитрия Донского, то Кейстут, давно находившийся в тайных политических контактах с московским князем, теперь стал его явным союзником. Так, используя политическую поддержку Владимирского княжения, Кейстут уже через два месяца после прихода к власти нанес Прусскому ордену мощный контрудар [72, № 3, 4]. В этом походе зимой 1381/82 г. Кейстут одержал ряд побед над рыцарями, разрушил многие их города-крепости, захватил около 500 пленных.

Попытка Ордена ответить контраступлением была безрезультатна. Опираясь на политическое могущество отца, Витовт умело организовал оборону и заставил крестоносцев отступить.

В апреле 1382 г. Кейстут возобновил военные действия против Ордена, пытаясь овладеть крепостью Юрборг. Крестоносцы активно сопротивлялись: они сожгли посад, но крепость не сдали. В этой обстановке Кейстут попытался начать мирные переговоры с Орденом, но переговоры эти не привели к какому-либо формальному соглашению.

Предпринимая шаги военного характера против Ордена в апреле 1382 г., а потом пытаясь заключить мир с крестоносцами, Кейстут стремился, разумеется, не столько к тому, чтобы положить конец экспансии Ордена (нереальность таких расчетов была очевидна), сколько к тому, чтобы добиться временной передышки на северо-западных рубежах своего государства, необходимой ему для осуществления больших замыслов на юго-востоке. Видимо, по договоренности с Дмитрием Донским, Андреем полоцким, Дмитрием брянским и другими видными политическими деятелями той поры Кейстут намечал совместное выступление против нового золотоордынского хана, Тохтамыша, успевшего уже в 1381 г. выдать Ягайло ярлык на русские земли [168, 324]. Мы можем только догадываться о подлинных причинах принятого Кейстутом в конце мая — начале июня 1382 г. похода на юго-восточные рубежи Литовско-Русского государства. С одной стороны, после Куликовской битвы, после договора Дмитрия Донского с Олегом рязанским, после еще более тесного сближения Кейстута с главой Владимирского княжения ничто как будто не

должно было беспокоить нового виленского князя в этом районе, где сильны были позиции его давних сторонников Дмитрия брянского, князей трубчевского, стародубского, Константина Ольгердовича черниговского, где также могло чувствоваться стабилизирующее влияние Любарта воынского, Владимира Ольгердовича киевского и других князей, тесно связанных с Кейстут-традицией совместной борьбы против общих противников на международной арене. Возможно, что, надеясь на благоприятную для себя политическую конъюнктуру в этом районе, Кейстут и направил сюда князя Корибута Дмитрия, до сих пор выступавшего сторонником Ягайло. С другой стороны, Кейстут не могло не беспокоить воз-раставшее политическое могущество Тохтамыша, проявлявшееся не только в военных приготовлениях, но и во все более бесцеремонном вмешательстве во внутренние дела государств Восточной Европы. Кейстут не мог не знать о продолжавшейся выдаче ярлыков, сепаратных переговорах Тохтамыша с удельными князьями как Владимирского княжения, так и великого княжества Литовского, не мог не замечать фактов поощрения оппозиционных настроений среди некоторых удельных князей по отношению к Вильно и Москве.

Видимо, ордынская держава попыталась и на этот раз использовать «правовую» основу своего пребывания в Восточной Европе (в частности, «право» распоряжаться отдельными русскими землями, «полученное» еще в результате завоеваний XIII в., «право» своеобразного кондоминиума Орды и Литвы над юго-западными русскими землями), а вместе с тем попыталась использовать и свою старую тактику провоцирования внутривполитических конфликтов в крупнейших государственных образованиях Восточной Европы. По всей вероятности, об этой политической линии ордынской дипломатии свидетельствовало и поведение недавно присланного на Северщину князя Корибута Дмитрия Ольгердовича. В самом деле, только получив мощную политическую поддержку извне, в частности от ордынской державы, Корибут мог позволить себе прекращение выплаты дани тогдашнему главе Литовско-Русского государства Кейстуту и мог пойти на такой шаг, как арест присланных им сборщиков этой дани. Не удивительно поэтому, что поход Кейстута на Северщину носил характер каратель-

ной экспедиции против непослушного Корибута, против политического интригана Войдиллы, выступавшего связным между Корибутом и Ягайло, тогдашним союзником Ордена и Тохтамыша [253, 22]. Войдилла, как известно, был схвачен войсками Кейстута и казнен. Хотя наш главный источник об этом походе — информация немецких хронистов — излагает ход кампаний в плане, благоприятном для восставшего Корибута и в неблагоприятном для Кейстута [95, 121—122; 94, 602—619; 583, 183—186], тем не менее объективная сущность событий на Северщине в июне 1382 г. вполне понятна. Ордынско-орденская дипломатия спровоцировала «бунт» Корибута не только для того, чтобы ослабить Кейстута в его борьбе с Орденом и Ордой, но и для того, чтобы создать политические предпосылки для возвращения Ягайло на великокняжеский престол в Вильно. Совершенно не случайно операции Кейстута против «взбунтовавшегося» Корибута совпали по времени с молниеносным походом Ягайло из Витебска в Вильно в середине июня 1382 г. [553, 22; 646, 145—144]; также совершенно не случайно князю Ягайло была оказана политическая поддержка немецкого бюргерства Вильно [646, 145; 553, 22] и военная поддержка войсками маршала Куна фон Хаттенштейна, совершившего глубокий рейд на территорию Литвы [646, 145—147].

Этот глубокий рейд парализовал сторонников Кейстута и создал благоприятные условия для борьбы Ягайло против сына Кейстута — Витовта. Поскольку Витовту была поручена отцом охрана столицы, именно он, Витовт, сразу попытался отобрать у Ягайло Вильно. Однако политическая обстановка (позиция немецкого бюргерства, явное расположение к Ягайло Ордена, готовившегося к новому вторжению в Литву) не позволила населению оказать поддержку Витовту; возможно, что именно по этой причине Витовт потерпел поражение у стен Вильно [553, 22—23]. Если теперь и были намерения у Витовта продолжать борьбу против Ягайло, то они, в сущности, не имели под собой почвы. Огромная армия крестоносцев под командованием Куна фон Хаттенштейна в конце июня вторглась в пределы Литвы, держа курс на Троки. Эта операция была направлена уже не столько против Витовта, который переместился тогда в Гродно, сколько против самого

Кейстута, покинувшего Северщину ради подавлений «бунта» Ягайло.

Военные операции орденских войск, происходившие летом 1382 г. на территории Литвы, имели большое значение для завершения борьбы Ягайло с Кейстутом. Эта кампания орденских сил была оценена уже через год устами великого магистра Цоллнера как важная услуга литовскому князю Ягайло в его борьбе с Витовтом и Кейстутом [85, III, 1184]. Совершенно естественно было и заключение 6 июля 1382 г. формального договора между крестоносцами, вернувшимся в Вильно из Витебска Ягайло и прибывшим из Ордена Скиргайло. Договор этот зафиксировал положение, согласно которому орденские войска оказались нейтральными для армии Ягайло, но враждебными для сил Кейстута и Витовта [528, I, 463].

Не удивительно, что в условиях тайного сотрудничества Корибута с Ордой, явного сотрудничества Ягайло с Орденом положение Кейстута оказалось катастрофическим. 20 июля 1382 г. под нажимом крестоносцев и войск Ягайло капитулировали Троки, давнишняя резиденция Кейстута. Хотя по условиям капитуляции защитники крепости должны были получить свободу, почти все они вскоре после выхода из города были арестованы, частично перебиты. После капитуляции крестоносцы передали вооружение трокского замка Ягайло, имея в виду его дальнейшие схватки с Кейстутом; также не без их содействия правителем Трок стал хорошо знакомый им Скиргайло. Кейстут, спешно возвратившийся из Северщины в Гродно, первоначально думал продолжать борьбу; видимо, он рассчитывал не только на сына Витовта и его войско, но также на Любарта волынского, на Жемайтию. Хотя расчеты его кое в чем и оправдались (он собрал десятитысячную армию жемайтийцев, располагал армией Витовта и некоторыми отрядами Любарта волынского), тем не менее силы оказались неравными. Когда Кейстут собрал литовско-русскую армию для того, чтобы сразиться с войском Ягайло, он встретился у стен чужого ему теперь трокского замка не только с ягайловскими полками, но и с большой армией крестоносцев [44, 63, 63—64; 104, II, 64—65]. В результате он вынужден был отказаться от генерального сражения с Ягайло и принять его «мирные» предложения.

Однако начавшиеся мирные переговоры оказались ловушкой для Кейстута; он был схвачен, отвезен сначала в Вильно, потом в Крево; здесь после пятидневного пребывания в тюрьме он был удушен агентами Ягайло [44, 76, 506; 94, 126, 614, 620, 104, II, 44; 64—65].

Убийство Кейстута и полное торжество Ягайло в великом княжестве Литовском были весьма важными событиями в политической жизни Восточной Европы. Они означали конец литовско-московского сотрудничества, направленного против Орды и Ордена, свидетельствовали о явном ослаблении политических позиций Дмитрия Донского, а вместе с тем указывали на возрастающее влияние Ягайло, с одной стороны, и Тохтамыша — с другой. Эти события, видимо, были взаимообусловлены.

Политическая подготовка Тохтамыша к военному вторжению в русские земли во многом помогла князьям Ягайло, Корибуту, Скиргайло одержать победу над Кейстутот, Витовтом и другими тогдашними сторонниками литовско-московского сближения. Сам приход Ягайло к власти, его расправа со своими политическими противниками значительно облегчили Тохтамышу реализацию его антимосковских планов, поскольку теперь Дмитрий Донской оказался изолированным от своих литовско-русских союзников, а вместе с тем значительно ослабленным и в системе княжеств Владимирского княжения. Не удивительно поэтому, что именно после замены Кейстута князем Ягайло антимосковская активность Тохтамыша стала приобретать еще более конкретные, более осязаемые формы, чем в предшествующий период, именно теперь он приблизил к границам Московской Руси большую армию, именно теперь он стал вести на средней Волге в районе Булгар разведку боем, именно теперь он установил тесные политические контакты с нижегородскими князьями (через сыновей Дмитрия Константиновича — Василия и Семена), а также с рязанским князем Олегом Ивановичем.

Тот факт, что Тохтамышу летом 1382 г. удалось не только содействовать замене Кейстута князем Ягайло, но и перетянуть на свою сторону правящие круги двух крупных русских княжеств, сыграл, видимо, весьма важную роль в отказе Дмитрия Донского от активного противодействия новому ордынскому натиску. Если доверять информации ряда летописей (в частности, Новго-

родской IV, Ермолинской, Типографской, Воскресенской, Никоновской)⁵², то придется фиксировать в политической деятельности Дмитрия Донского, развернувшейся летом 1382 г., два этапа. Первый этап, видимо, был связан с энергичной подготовкой московского князя к решительной схватке с Тохтамышем, с его попыткой создать широкий антиордынский фронт князей, представлявших как Владимирское княжение, так и Литовскую Русь; в последнем случае московский князь рассчитывал, видимо, не только на Андрея полоцкого, Дмитрия брянского, но и на самого Кейстута, который в начале июня 1382 г. появился с войсками на Северщине, возможно имея в виду совместное с Дмитрием Донским сдерживание Тохтамыша. Второй этап деятельности московского князя, развернувшийся летом 1382 г., оказался связанным с быстро наступившим развалом антиордынской коалиции князей, с вынужденным отказом Дмитрия Донского от планов «коллективной» обороны русских земель, с уходом его из Москвы в Кострому.

Эти резкие перемены настроений московского князя, неожиданные «зигзаги» его поведения получили довольно четкое отражение в упомянутых уже летописях. Так, Новгородская IV летопись, имея в виду первую половину лета 1382 г., писала, что Дмитрий Донской «нача сбирати воя и совокупляти полки своа, и выеха из града Москвы, хотя ити против татар» [38, 328]. Почти то же самое утверждали Ермолинская [46, 127—128] и Типографская летописи [47, 150]. Подчеркнув намерение Дмитрия Донского дать бой новому ордынскому хану

⁵² Весь комплекс событий, связанных с вторжением Тохтамыша на территорию Владимирского княжения, а также с организацией обороны Москвы, получил, как известно, отражение в особом литературном памятнике — «Повести о нашествии Тохтамыша», сохранившейся во многих летописях. Данный памятник дошел до нас в трех основных редакциях: краткой редакции, обнаруживаемой в Троицкой, Симеоновской, Рогожской летописях, более обширной редакции Ермолинской летописи, а также пространной редакции, попавшей на страницы Новгородской IV, Типографской, Воскресенской летописей, а потом в еще более развернутом виде на страницы Никоновской летописи. Не касаясь здесь обстоятельств возникновения этих различных редакций, отметим лишь, что изложение событий в пространной редакции Новгородской IV и Ермолинской летописях представляется нам более исторически достоверным, чем рассказ Симеоновской, Троицкой, Рогожской летописей.

с помощью объединенной армии русских князей, создатель «Повести о нашествии Тохтамыша» (пространная редакция) не мог не отметить и последовавшего затем неожиданного отказа его от этих намерений, не мог не сообщить о его вынужденном уходе из Москвы в Кострому. Пространная редакция Новгородской IV, Типографской летописей подтверждала, что решение Донского об отказе от боевых планов и о переезде его в Кострому было принято в результате трезвого анализа создавшегося в июне — августе 1382 г. политического положения в Восточной Европе, в результате трезвой оценки изменившейся общей расстановки сил в системе русских княжеств.

Видимо, перемены в настроениях Дмитрия Донского были связаны с обострением политических противоречий среди князей — участников антиордынской коалиции, обострением, возникшим сразу после неудачного похода Кейстута на Северщину, после захвата виленского престола князем Ягайло, союзником Тохтамыша. На созванной московским князем «думе» князей, воевод, бояр выяснилось, что «обретеса раздно в князях и не хотяху пособляти друг другоу и не изволиша помогати брат брату». В результате Дмитрий Донской «то познав и разумев и рассмотрев... бе в недомышлении велице, оу бояся стати в лице самого царя, и не ста на бои противу него, но поеха в град свои Переяславль, а оттуда мимо Ростов и паки реку вборзе на Кострому» [38, 328].

Таким образом, хотя автор повести не говорил прямо о резком ухудшении отношений между Москвой и Вильно после прихода к власти Ягайло, тем не менее он несомненно имел в виду данное обстоятельство, когда утверждал, что Дмитрий Донской «неожиданно» узнал об отказе многих бывших своих союзников прийти к нему на помощь, о нежелании оказать согласованное противодействие натиску Тохтамыша на русские земли. Та же мотивировка поведения Дмитрия Донского была и в других упоминавшихся уже летописях. Так, в Типографской летописи отмечалось, что князь Дмитрий, начав «с братьею своею и со всеми князьями Роускими о том думати, яко ити противоу безбожного царя Тохтомыша», столкнулся с негативным отношением к антиордынским планам многих своих бывших политических союзников, с развалом антиордынской коалиции, ликви-

дацией того относительного единства русских княжеств, которое сложилось в связи с Куликовской битвой. «Бившоу же промежи ими неодиначству и неимовьрству, — писала Типографская летопись, — и то познав и разоумев великий князь Дмитрий Иванович и бысть в недоумении и в размышлении, и поиде в град свой Ярославль, такоже и на Кострому» [47, 150].

Но уход Дмитрия Донского в Кострому, происшедший накануне появления Тохтамыша на землях Московской Руси, не означал еще, что глава Владимирского княжения полностью отказался от попыток какого-то противодействия ордынским полчищам, что на Руси вообще не оставалось сил, готовых вести борьбу с ними. Сохранившиеся данные источников свидетельствуют об обратном. В сущности, в пространной редакции «Повести» мы имеем прямые указания на то, что Дмитрий Донской, удаляясь в Ростов, Ярославль, Кострому, продолжал думать об организации обороны Московской Руси и ее столицы. Само оставление в Москве митрополита Киприана, возможно, также супруги великого князя Евдокии и многих видных представителей феодальной знати (не только московской, но, видимо, и литовско-русской) позволяет думать, что отъезд главы Владимирского княжения из Москвы был связан с попытками формирования новых воинских контингентов, способных хотя бы в какой-то мере заполнить тот вакуум, который был создан распадом антиордынского фронта русских князей; речь могла идти и о попытках воздействия тем или иным способом на поведение нижегородских князей, сотрудничавших тогда с Ордой, угрожавших с фланга землям собственно Московской Руси. Весьма показательно, что, отправляясь в Кострому, на восточные окраины Московского государства, Дмитрий Донской велел своему двоюродному брату Владимиру Андреевичу находиться с войском на тогдашних западных рубежах этого государства — в районе Волока Ламского.

Но одно дело — первоначальные планы энергичного противодействия Тохтамышу, первоначальные цели поездки Дмитрия Донского в Ярославль и Кострому, другое дело — реальные результаты всех этих мероприятий, которые намечались тогда главой Владимирского княжения. Как мы знаем, планам Дмитрия Донского не

суждено было осуществиться, более того, ему не удалось даже сохранить контроль над положением дел в самой Москве. Дело в том, что в Москве, оставшейся на попечении митрополита Киприана, вскоре возникли беспорядки и волнения. Характер начавшегося движения был весьма сложным, не исключено, что столкновения, происходившие между различными группировками господствующего класса, переплетались с борьбой городских низов против московской феодальной знати [416, 643—647]. Создается впечатление, что первоначально хозяином положения был Киприан и действовавшие совместно с ним «великие бояре» — «лучшие люди» и т. д. Он дал согласие на свое пребывание в Москве, возможно надеясь, с одной стороны, на медлительность приближения Тохтамыша, а с другой — на возможность хотя бы частичного восстановления антиордынской коалиции князей. И действительно, пока Тохтамыш был далеко, хлопоты Дмитрия Донского в Костроме, присутствие Владимира Андреевича с войском на литовско-московской границе, пребывание в непосредственной близости от Москвы литовского князя, внука Ольгерда (возможно, сына Андрея полоцкого), действовали ободряюще на митрополита Киприана. Однако в обстановке приближения Тохтамыша к Москве, в условиях крушения надежд на восстановление московско-литовского сотрудничества и на создание большой и боеспособной армии русских князей построения Киприана стали меняться: теперь он старался во что бы то ни стало покинуть столицу, хотя это его желание явно шло вразрез с предписаниями самого Дмитрия Донского. Ермолинская летопись утверждает, что «разгнева бо ся на него (Киприана. — И. Г.) князь велики, что не сиде в осаде» [46, 129]. Поведение митрополита, а также отдельных «великих бояр», которые «единачо с ним мятахуся», привело к размежеванию сил, оставленных для обороны Москвы. Действуя либо по собственной инициативе, либо по указанию того же Дмитрия Донского, граждане «взяли власть в свои руки, они ввели осадное положение в городе, разместили войска вдоль крепостных стен, обратив особое внимание на охрану всех городских ворот» [46, 129; 38, 329]. Киприан и близкие ему бояре на какое-то время оказались под контролем граждан.

В дальнейшем Киприану разрешили покинуть Мо-

скву, причем защитники Москвы отобрали у него не только материальные ценности, но и важные политические документы. По-видимому, все эти мероприятия городских жителей были направлены прежде всего на приведение столицы в состояние боевой готовности ввиду приближения войск Тохтамыша (попытка пресечь «паникерство» Киприана и его сторонников, в сущности, была подчинена этой же цели) [416, 635].

* * *

Создается впечатление, что находившийся тогда в Костроме Дмитрий Донской хотя и не контролировал полностью положение дел в Москве, тем не менее сохранял какое-то влияние на общий ход событий. Так, мы уже знаем, что стремление задержать Киприана в Москве исходило как от граждан, так и от самого московского князя. Возможно, что пребывание митрополита всея Руси в Москве, находившейся под угрозой вторжения татар, было нужно Дмитрию Донскому в качестве особой политической демонстрации. Дело в том, что, оставаясь в Москве, общерусский митрополит как бы символизировал сохранение широкого антиордынского фронта русских земель, как бы подтверждал факт продолжающегося московско-литовского сотрудничества. Весьма вероятно, что эти же политические соображения — желание подчеркнуть жизненность московско-литовского союза — заставили того же Дмитрия Донского заполнить создавшийся в Москве после ухода Киприана политический вакуум не с помощью князя Северо-Восточной Руси, а с помощью князя литовско-русского происхождения, с помощью одного из внуков Ольгерда — князя Остeya.

Назначение князя Литовской Руси на пост командующего московским гарнизоном действительно должно было иметь определенный политический смысл в тех условиях, когда Тохтамыш, сопровождаемый нижегородскими князьями, двигался к Москве, когда его союзник Ягайло, только что захвативший виленский престол, старался путем ликвидации сторонников Кейстута распространить свою власть на территорию всего Литовско-Русского государства. Видимо, в создавшейся политической обстановке привлечение Остeya к обороне Москвы

должно было продемонстрировать тогдашним противникам Дмитрия Донского живучесть московско-литовского сотрудничества, должно было доказать как Тохтамышу, так и колеблющимся князьям русской земли то положение, что антиордынский фронт княжеств Восточной Европы продолжал функционировать. Видимо, не случайно поведению Остея уделено так много внимания в различных вариантах летописной «Повести о нашествии Тохтамыша», не случайно его роль получила различную трактовку в отдельных редакциях этого памятника.

Поэтому при изложении хода обороны Москвы в 1382 г. мы считаем вправе опереться прежде всего на пространную редакцию «Повести о нашествии Тохтамыша», из которой видно, что Остей не был неопытным дипломатом, как старается изобразить его Троицкая летопись, скорее он был деятельным политиком и военачальником.

Отдав дань деловым качествам Остея как военачальника, отметив воинское мужество граждан, автор «Повести» обрушился на коварство Тохтамыша и его русских союзников — суздальско-нижегородских князей. Коварство это состояло в том, что они заманили к себе Остея и группу граждан под предлогом мирных переговоров, а потом зверски их убили. В «Повести» пространной редакции подчеркивалось, что Остей направился к Тохтамышу на переговоры не один, а совместно с «лучшими людьми» и в сопровождении «священнического чина».

Таким образом, Тохтамыш расправился не только с Остеем (как это вытекает из краткой редакции «Повести» Троицкой летописи), но также с видными представителями московского населения, являвшимися, возможно, политическими и военными лидерами граждан. Так, лишив обороняющуюся Москву ее командиров, притупив бдительность рядовых защитников московского кремля фактом «мирных» переговоров, Тохтамыш с помощью своих войск сравнительно легко овладел столицей Владимирского княжения. Разорив Москву, хан бросил свои «загоны» на другие центры Северо-Восточной Руси. После Серпухова и Москвы под ударом оказались Владимир, Переяславль, Юрьев, Звенигород, Можайск, Волок. Не исключено, что, осуществляя нападения на эти центры, Тохтамыш преследовал не только

военные, но и особые политические цели. В самом деле, нельзя считать случайностью тот факт, что, овладев Серпуховым и Москвой, Тохтамыш направил свои войска против тех городов, которые так или иначе были связаны с московско-литовским сотрудничеством накануне Куликовской битвы и после нее. Переяславль был резиденцией Дмитрия Ольгердовича брянского с зимы 1379/80 г.; Можайск и Волок были теми рубежами, где летом 1382 г. находилась резервная армия Владимира Андреевича серпуховского; город Владимир являлся формальной столицей Владимирского княжения, и поэтому его разорение также должно было содействовать не только военному, но и политическому ослаблению Московской Руси. В сущности, поход Тохтамыша 1382 г. на земли Залесской Руси носил характер возмездия за ту «дерзость», которую допустили по отношению к Орде Дмитрий Донской и его тогдашние союзники на Куликовом поле.

Такой же характер карательной экспедиции носила и рязанская кампания Тохтамыша в том же году. Раздраженный кратковременным сотрудничеством Рязани с Москвой, разгневанный договором рязанского князя с Дмитрием Донским, заключенным в 1381 г., Тохтамыш «възя всю землю Рязанскую, люди же поплени, а иных изсече» [46, 129].

Но если таким образом хан расправлялся с теми русскими князьями, которые осмеливались выступить против Орды, то совершенно иначе он отнесся к правителям тех русских земель, которые продолжали признавать авторитет ордынской власти в Восточной Европе. Политические симпатии Тохтамыша относились прежде всего к новому главе Литовско-Русского государства — Ягайло, а также к его союзникам в южнорусских землях⁵³.

Что же касалось земель Владимирского княжения, то здесь особым расположением Тохтамыша стали пользоваться нижегородские князья. По сути дела, они выступали в роли его союзников. «Поиде же царь от Рязани, — сообщала летопись, — и отпусти князя Семена к

⁵³ Как мы знаем, Ягайло получил от Тохтамыша ярлык на русские земли в 1381 г. [168, 324, 416, 629].

отцю его Дмитрию с послом своим Шихоматом, а другого Василия поведе с собою в Орду».

Так кончился поход Тохтамыша на Московскую Русь 1382 г. Вместе с тем завершился и весьма важный этап политической жизни восточноевропейских государств.

Орде снова удалось предотвратить чрезмерное усиление одного из государств Восточной Европы — Московского государства, вставшего после Куликовской битвы на путь тесного сотрудничества с западнорусскими феодалами великого княжества Литовского, а также не допустить наметившегося сближения Литовской Руси Кейстута с Залесской Русью Дмитрия Донского. В результате оказания Тохтамышем политической помощи Ягайло, а также в результате политического и военного нажима на Московскую Русь были созданы реальные предпосылки для восстановления необходимого Орде равновесия сил между Москвой и Вильно.

Весьма характерно, что, добившись ослабления Северо-Восточной Руси в ходе кампании 1382 г., ордынские политики очень скоро не только прекратили нападки на Москву, но и стали оказывать ей политическую поддержку. Когда тверской князь Михаил с сыном Александром попытались выхлопотать в Орде ярлык на великое княжение, им было отказано. В политическом фокусе ордынских дипломатов оказался не кто иной, как сам московский князь Дмитрий Донской. «Тое же осени прииде на Москву посол Карачь с жалованием к великому князю от царя; он же повелел хрестьяном дворы ставити и город делать» [46, 129].

Важные сдвиги произошли тогда и в жизни русской церкви. Сначала Дмитрий Донской пытался восстановить сотрудничество с Киприаном, уехавшим из Москвы в Тверь. Однако он наткнулся, с одной стороны, на нежелание Киприана оставаться в Москве, а с другой — на активное нежелание Орды допустить возвращение Киприана в Москву. В этот момент Орда, видимо, отказалась и от использования Дионисия, который хотя и проявил во второй половине 1383 г. готовность сотрудничать с Москвой, но не мог ее реализовать, оказавшись пленником киевского князя Владимира. Возможно, не без скрытой санкции Орды главной фигурой московской церкви снова стал Пимен, находившийся до сих пор в заточении. Во всяком случае, так думать позволяет то

обстоятельство, что первым шагом нового митрополита было направление в «крамольный» Переяславль нового епископа — Саввы, прибывшего из Сарая [46, 129].

Литва и Московская Русь в 1382—1385 гг.

После того как в результате известных событий лета 1382 г. попытка создания широкого антиордынского фронта русских княжеств не удалась, в политической жизни Восточной Европы сложилась новая расстановка сил, наступил новый этап политического развития восточноевропейских государств. Москва и Вильно снова оказались противопоставленными друг другу, снова тенденция сохранения равновесия между ними оказалась во многом определяющей ход политических событий в этой части Европейского континента.

Практика московско-литовского сотрудничества не была совершенно забыта; главы Московской Руси и великого княжества Литовского, Русского и Жемайтійского на протяжении первой половины 80-х годов пытались возвратиться к совместной политике в Восточной Европе. В 1384 г., например, попытка такого рода приняла вполне конкретные формы, хотя и не сразу.

Зимой 1382/83 г. Москва и Вильно были действительно противопоставлены друг другу. Во всяком случае, ордынская дипломатия оказывала тогда поддержку встречным политическим устремлениям Дмитрия и Ягайло. Так, московский князь получил ярлык на Великое Владимирское княжение в конце 1382 г. [46, 30; 40а, 48], а Ягайло — еще раньше, кроме того, его возвращение в Вильно летом 1382 г. произошло, в сущности, при активной поддержке ордынской дипломатии.

Таким образом, как у Дмитрия Донского, так и у Ягайло были формальные основания чувствовать себя в относительной безопасности. Тем не менее реальное положение каждого из них не было устойчивым даже в пределах управляемых ими княжений.

Верная своей старой тактике, Орда не только поддерживала широкие политические амбиции как Дмитрия, так и Ягайло, создавая тем самым условия для усиления соперничества между ними, но и одновременно подогревала сепаратистские настроения удельных князей

Владимирского княжения и великого княжества Литовского, ослабляя тем самым внутривнутриполитические позиции великих князей. Таким путем ордынские правители добивались сохранения своей власти над русскими землями и вместе с тем создавали благоприятные условия для перекачки средств из Восточной Европы в Орду. Так, из летописи мы узнаем, что, хотя Дмитрий Донской в конце 1382 г. получил ярлык на Великое Владимирское княжение, нижегородские и тверские князья все же продолжали вести в Орде переговоры о предоставлении им главенства в масштабе Владимирского княжения. Тогда же, в 1383 г., вышел из-под влияния Владимирского княжения Великий Новгород, принявший князем-наместником Патрикея Наримановича литовского. Что касалось рязанского князя, то он был готов к открытому выступлению против Дмитрия Донского. Именно в этих условиях московский великий князь вынужден был 23 апреля 1383 г. направить в Орду своего сына — первенца Василия, подчеркивая тем самым свою слабость перед Ордой. Этот факт свидетельствовал также о недоверии к политике Дмитрия со стороны ордынской державы.

Не менее сложными оказались в это время отношения Ягайло с удельными князьями южнорусских земель (князьями Киевщины, Подолии, Волыни, Северщины), а также его отношения с сыном Кейстута — князем Витовтом. Если Владимир Ольгердович киевский, Любарт волынский, сыновья Нариманта, князя турово-пинского, сыновья Кориата подольского, Корибут северский вынуждены были вступить на путь сотрудничества с Ордой (это сотрудничество доходило даже до совместной ордыно-литовской чеканки монет [208; 185; 176, 67—94]), то другой политический конкурент князя Ягайло, Витовт Кейстутович, находился тогда в самых тесных контактах с Прусским и Ливонским орденами [553, 24—26]. Мы помним, что в начале августа 1382 г. орденская дипломатия сыграла важную роль в торжестве Ягайло над Кейстутом, именно вмешательство Ордена помогло князю Ягайло добиться капитуляции Кейстута, а потом и его ликвидации, последовавшей в Креве во второй половине августа 1382 г. Но, добившись полного торжества Ягайло, правители Ордена стали заботиться о том, чтобы удержать этого нового литовского вождя в фарватере

своей политики. Уже в начале октября 1382 г. они пригласили к себе Витовта Кейстутовича с явным намерением превратить его в орудие «сдерживания» Ягайло. Орденские власти оказывали Витовту соответствующие знаки внимания, обещая ему в случае принятия христианства под эгидой Ордена содействие в получении отцовского наследства в великом княжестве Литовском.

Ягайло не только сразу понял маневр орденской дипломатии, но и вынужден был быстро на него реагировать. 23 октября 1382 г. он и близкие ему политические князья (Скиргайло, Корибут, Лугвень, Коригайло, Вигунт и Свидригайло) встретились на острове Дубиссы с великим маршалом Прусского ордена Конрадом Валленродом и великим магистром Вримерсхеймом. Здесь было заключено несколько соглашений [85, III, 1184—1186], которые ставили Ягайло в зависимое от орденской дипломатии положение.

Хотя Ягайло получал гарантии мира на четыре года, тем не менее он не только уступал своему «союзнику» приморскую часть Жемайтии, служившую мостом между двумя Орденами, но и обязывался согласовать свою линию поведения с орденской политикой, в частности он обязывался не допускать выступлений против мазовецкого князя, родственника Витовта и претендента на тогда уже вакантный польский престол, а также посылать войска Ордену по его требованию и, наконец, принять католичество с помощью правителей Ордена.

Разумеется, эти значительные уступки Ягайло не были, как считают некоторые историки [558; 618; 126], выражением благодарности Ордену за его помощь в борьбе с Кейстутом. Правильнее думать, что эти уступки были обусловлены сложившейся тогда расстановкой сил в Восточной Европе, неустойчивостью политических позиций Ягайло как внутри Литовско-Русского государства, так и на международной арене.

И действительно, хотя Ягайло стал главой этого государства, он вынужден был считаться с существованием скрытой оппозиции его власти, с деятельностью сторонников программы Кейстута, а теперь программы Витовта. То обстоятельство, что Витовт находился тогда на территории Ордена и использовался орденскими правителями в их интересах, пока не ослабляло его политического влияния в великом княжестве Литовском, не

парализовало его скрытых связей с политическими партнерами Кейстута. Таким образом, Ягайло как бы оказывался между двух огней: с одной стороны, требование полного повиновения Ордену, выраженное в условиях дубиссовского соглашения, с другой стороны, активность оппозиционных элементов Литовско-Русского государства, сочувствовавших программе Кейстута—Витовта.

Но выход из создавшейся ситуации был найден. Стремясь избавиться от опеки Ордена, от необходимости выполнять условия дубиссовского договора, Ягайло решил принять меры для ослабления политического влияния Витовта и, как это ни парадоксально, добился данной цели путем «перехвата» той политической программы, автором которой был Кейстут, а тогдашним ее наследником — Витовт.

Так, в течение зимы 1382/83 г. Ягайло неожиданно нашел общий язык с полоцким князем Андреем Ольгердовичем, его открытым противником в 1378—1382 гг. и сторонником Кейстута, а также союзником Дмитрия Донского; Андрей Ольгердович был оставлен на ряд лет в Полоцке [186, 163—166; 435, I, 365; 403, II, 298], а бывший обладатель Полоцка «из Ягайловой руки» Скиргайло был направлен в Троки [646, 64]. В 1383 г. под политическим влиянием великого княжества Литовского оказался и Новгород Великий. «А в Новгород, — читаем мы в Новгородской I летописи под 1383 г., — приехаша князь Патрикей Наримантович и прияша его новгородцы и даша ему кормление» [38, 379].

В то же время (где-то на рубеже 1383—1384 гг.) были заложены основы для установления политических контактов Ягайло и с Дмитрием Донским. Разумеется, намечавшееся тогда сближение Ягайло с московским князем было тщательно замаскировано. Так, Дмитрий Донской, уже тогда находившийся под подозрением у Тохтамыша, был вынужден, как уже отмечалось выше, направить в Орду своего старшего сына-наследника Василия Дмитриевича и тем самым на какое-то время разрядить напряженную обстановку.

В сущности, почти то же самое делал тогда и Ягайло, соглашаясь на торжественную встречу с магистром Ордена Цоллнером весной 1383 г. (встреча эта должна была создать иллюзию верности Ягайло дубиссовскому согла-

шению). Однако свидание Ягайло с магистром Ордена не состоялось, а срыв данного мероприятия явился толчком для начала вооруженной борьбы между ними (война была объявлена 30 июля 1383 г.).

По сути дела, и отправка князя Василия в Орду ненадолго оттянула резкое ухудшение отношений Тохтамыша с Москвой. Уже летом 1383 г. Дмитрий Донской вынужден был пойти на такой шаг, который свидетельствовал о его начавшихся расхождениях с Ордой в церковно-политической сфере.

Дело в том, что еще зимой 1382/83 г. Орда не только приветствовала разрыв Дмитрия Донского с Киприаном, но и одобряла примирение московского князя с митрополитом Пименом. На это указывали по крайней мере два обстоятельства: назначение Пименом сарайского епископа Саввы в Переяславль, а также «предписание» суздальскому архиепископу Дионисию признать приоритет митрополита Пимена.

Но летом 1383 г. положение стало меняться. Дионисий «вдруг» перестал довольствоваться скромным «статусом» архиепископа суздальского и снова стал открыто интересоваться делами «митрополии русской». Видимо, под давлением суздальско-нижегородских князей, а может быть, и просто ордынской дипломатии Дмитрий Донской вынужден был отпустить Дионисия в Константинополь «управления ради митрополия русския» [40а, 48], явно ставя при этом под удар «своего» митрополита Пимена.

Но, несмотря на отставку сына Василия в Орду, несмотря на санкционирование поездки суздальского архиепископа в Царьград, ордынско-московские отношения становились все более напряженными. Продолжая противопоставлять литовскому князю Ягайло Дмитрия Донского (именно поэтому осенью 1383 г. в ярлыке на великое княжение было отказано тверскому князю, а нижегородский князь Борис Константинович получил ярлык только на свое княжество), ордынские правители стали оказывать прямой нажим на Московскую Русь; под 1383 г. в летописи отмечалось: «Осенью быть в Володимире посол лют именем Адаш Тохтамыш» [40а, 48].

Но приезд «лютого посла Адаша» не произвел, видимо, должного впечатления на Дмитрия Донского; во всяком случае, он не побоялся осенью 1383 г. казнить «за

некую кромолу» старого ордынского агента Никомата Сурожанина. Он был тесно связан с Ордой еще в 1375 г., когда, убежав из Москвы, вместе с московским тысяцким Василием Ивановичем ездил к Мамаю за ярлыком для тверского князя Михаила [414а, 233; 294, 133]. Показательным было также и то, что митрополит Пимен, несмотря на козни Дионисия в Царьграде, продолжал активно действовать в качестве политического партнера Дмитрия Донского. Зимой 1383/84 г. он назначил «своих» епископов в Смоленск (Михаила) и в Пермь (Стефана). Видимо, тогда значительным было влияние Пимена и на новгородского владыку Алексея, хотя Новгород и держал у себя литовского князя-«кормленщика» Патрикея Наримановича.

Возможно, что тогда осуществлялась Дмитрием Донским независимая от Орды политика и на берегах Волхова. В этом смысле большой интерес представляют новгородские события 1384 г.

Как известно, еще в 1383 г. в Новгород в качестве князя-«кормленщика» прибыл литовский князь Патрикей Нариманович (получив здесь в качестве кормления «Орехов город Корельский, город и пол Кополья города и Луское село») [38, 339]. Однако уже в 1384 г. поведение князя Патрикея стало вызывать недовольство у определенной части новгородского населения. Против Патрикея выступили жители городов-кормлений («приехаша городцане ореховцы и корельский с жалобой к Новгороду на Патрикея, на князя»). Патрикей решил расправиться с недовольными, обратившись к самому Новгороду. Однако здесь его поддержала только часть новгородцев, в частности район Славны торговой стороны. Большинство новгородского населения выступило против князя, центром антипатрикеевской партии оказалась софийская сторона. Летопись сообщает, что борьба чуть было не приняла форму вооруженного конфликта и что только вмешательство и помощь «Святой Софии» (в лице владыки Алексея) предотвратили кровопролитие и обеспечили мирный исход спора. Патрикей был побежден, но оставлен в новгородской земле на других кормлениях — в Русе и Ладоге [38, 339—340; 30, 379].

Нам представляется, что в этом конфликте на берегах Волхова следует видеть отражение политической борьбы более широкого масштаба. Возможно, что нача-

ло конфликта было обусловлено какими-то локальными противоречиями, но мирное завершение его, сами условия достигнутого тогда компромисса были продиктованы общей расстановкой сил, сложившейся в 1384 г. в Восточной Европе. Тот факт, что Патрикей, несмотря на проигранную схватку с новгородцами, все же был оставлен на берегах Волхова, а не отправлен в Литву, свидетельствует о том, что на тогдашний политический климат новгородской земли оказывало значительное влияние наметившееся сближение между Москвой и Вильно, сближение между Дмитрием Донским и Ягайло литовским.

Включение в сферу московского влияния Великого Новгорода после поражения литовского князя и одновременное оставление Патрикея Наримановича на берегах Волхова (свидетельствовавшее о желании новгородского владыки, а также и самого Дмитрия Донского поддерживать хорошие отношения с Литовской Русью) несомненно вызвали недовольство правителя ордынской державы. Не случайно именно в 1384 г. Орда обложила Московско-Владимирскую Русь вместе с Великим Новгородом особо тяжелой данью. Летопись писала об этом следующее: «Тое же весны бысть дань тяжела по всему княжению, всякому без отдатка, съ всякие деревни по полтине: тогда же и златом давшие в Орду, а с Новгорода с Великого взя князь великий черный бор» [40а, 49].

Масштабы этой дани были настолько необычными, что приходится в этом финансовом шаге Орды видеть мероприятие особого политического значения, возможно, попытку внести разлад в ряды союзников Дмитрия Донского, желание спровоцировать недовольство феодалов отдельных русских земель политикой Москвы, выступавшей тогда в роли главного сборщика дани. Во всяком случае, на Новгород Великий масштабы этой дани произвели столь тягостное впечатление, что вскоре новгородцы отказались выполнять финансовые «обязательства» такого характера (в частности, перестали выплачивать так называемый черный бор). Не исключено, что какое-то влияние перспектива подобной выплаты дани оказала и на другого тогдашнего союзника Москвы — литовского князя Ягайло.

Но этим не исчерпывались мероприятия ордынской

дипломатии, направленные на расшатывание московско-литовского союза, на размывание основ вновь создававшегося антиордынского объединения феодальных сил Восточной Европы. Какую-то роль в выполнении этого замысла Орды должно было играть тогда Рязанское княжество. Не обладая достаточными силами для борьбы против Владимирского княжения, рязанский князь тем не менее проявлял все большую «антимосковскую» активность, явно опираясь при этом на соответствующие рекомендации правителей ордынской державы [40а, 40—50].

Но если Орда стремилась любыми способами парализовать намечавшееся сотрудничество Дмитрия Донского с князем Ягайло, то примерно эту же роль старались выполнить и правители немецких Орденов. Они также пытались не допустить расширения политических контактов Литовской Руси с Владимирским княжением. В июле 1383 г. Ягайло оказался перед фактом вооруженного выступления крестоносцев. 11 августа 1383 г. войска магистра Ордена Цоллнера, а также полки Витовта овладели Троками и предприняли попытку захвата Вильно. Хотя князю Ягайло удалось удержать в своих руках город, а также позднее отвоевать Троки (3 ноября 1383 г.), тем не менее Орден не отказывался от своих наступательных планов в отношении Литвы, от использования в корыстных целях междоусобной борьбы различных феодальных группировок великого княжества Литовского.

Главным их политическим козырем был Витовт. 21 октября 1383 г. в торжественной обстановке он принял христианство с помощью правителей Ордена, потом получил в лен Новый Мальборг. Затем орденские политики вынудили Витовта подписать с Орденом договор (30.I.1384), условия которого были еще более обременительными для Литвы, чем условия дубиссовского соглашения (кроме Жемайтии он «жертвовал» Ордену еще часть Ковенищины). После такой политической подготовки весной 1384 г. крестоносцы начали открытое вторжение в пределы великого княжества Литовского. Теперь они воздвигли рядом с городом Ковно свою крепость, назвав ее Новым Мариенвердером. Отсюда крестоносцы рассчитывали вести свое дальнейшее наступление.

Летом 1384 г. было заключено с Витовтом новое со-

глашение, в силу которого Орден гарантировал себе в дальнейшем приобретение ряда литовских территорий, а Витовт получал право считать себя ленным владельцем этих территорий.

Но в обстановке такой политической активности крестоносцы неожиданно потерпели военное поражение от войск Ягайло и Скиргайло под Вилькишками. Эта неудача заставила крестоносцев завершить кампанию 1384 г. и перенести на следующий год осуществление всех ранее намеченных планов в отношении великого княжества Литовского.

Таким образом, становится очевидным, что как международное, так и внутривосточное положение Литовско-Русского государства оказывалось тогда весьма сложным, что создавшаяся обстановка требовала от Ягайло привлечения новых боеспособных союзников.

Вместе с тем мы видим, что состояние московско-ордынских отношений в этот период было также настолько напряженным, что и глава Владимирского княжения остро ощущал необходимость приобретения новых политических союзников.

Так в политической жизни Восточной Европы 1382—1384 гг. снова создавались условия для сближения Москвы и Вильно, для установления сотрудничества князя Ягайло с Дмитрием Донским. Благодаря работе Л. В. Черепнина мы теперь знаем, что эти условия были действительно использованы обоими дворами, что между Дмитрием Донским и Владимиром Андреевичем, с одной стороны, и князьями Ягайло, Скиргайло и Корибутом — с другой, было заключено особое, едва ли не союзное соглашение. Опись архива Посольского приказа 1626 г. прямо называет документ, который до недавнего времени оставался неизвестным исследователям: «докончальную грамоту великого князя Дмитрия Ивановича и брата его князя Володимера Ондреевича с великим князем Ягайлом и з братьею его, и со князем Скиргайлом, и со князем Карибутом, и против того и другого грамоту великого князя Ягайло и брату его Скиргайла и Карибута, как они докончали и целовали крест великому князю Дмитрию Ивановичу и брату его князю Володимеру Ондреевичу и их детям лета 6992 года» [414а, 249; 415, I, 50—51].

Значение этого договора не приходится недооцени-

вать. Он явно ломал тот порядок отношений, который пытались навязывать восточноевропейским странам ордынская держава, с одной стороны, и Орден — с другой; он устанавливал новый порядок отношений, который выражал устойчивую тенденцию консолидации значительной части русских земель, тенденцию углубления московско-литовского сотрудничества в борьбе с общими врагами на международной арене (устойчивой потому, что договор 1384 г., по существу, возрождал тот антиордынский фронт феодальных сил Восточной Европы, который был создан в 1380—1382 гг. Дмитрием Донским и Кейстутом).

Московско-литовский договор 1384 г. интересен еще и в том плане, что он был заключен на базе признания жизненности общерусской программы, на основе признания ведущей роли в осуществлении этой программы Дмитрия Донского. Не случайно именно литовские князья «докончали и целовали крест великому князю Дмитрию Ивановичу и брату его князю Володимеру и их детям». Не случайно и то, что в особом соглашении, которое было заключено между Дмитрием Донским и вдовой Ольгерда Ульяной по поводу предполагавшейся женитьбы ее сына Ягайло на дочери московского князя, подчеркивалось: «Великому князю Дмитрию Ивановичу дочь свою за него (Ягайло.— *И. Г.*) дати, а ему, великому князю Ягайло, быти вь их воле и креститися в православную веру и христианство свое объявити все люди» [414а, 249]⁵⁴.

О политическом сотрудничестве Владимирского княжения с Литовской Русью в 1383—1384 гг. говорят, возможно, и некоторые тогдашние события в церковной жизни. Весьма показательной в этом отношении является судьба Дионисия. Когда этот ставленник суздальско-

⁵⁴ Существование данного договора лишний раз указывает на отсутствие сколько-нибудь значительных барьеров между Московской Русью и великим княжеством Литовским в XIV в., свидетельствует о том, что Владимирское княжение и Литовско-Русское государство в тот период были значительно ближе друг другу, чем принято было изображать в старой историографии, а также в современной реакционной историографии буржуазного мира (Пашкевич, Галецкий и др.). Реализация данного договора не только предотвратила бы акт польско-литовской унии, но, возможно, явилась бы основой для московско-литовской унии, для сращивания Литовской Руси с Великим Владимирским княжением.

нижегородских князей с титулом «митрополита всея Руси» возвращался из Константинополя⁵⁵ во Владимирско-Московскую Русь, он «неожиданно» в Киеве был задержан местным князем Владимиром Ольгердовичем. Здесь он был сначала арестован, потом, видимо, казнен. «Прииде из Царьграда в Киев Дионисий архиепископ Суздальский в митрополитах, и хотя ити на Москву, хотя быти митрополитом на Руси, изыма его князь Володимер Киевский Ольгердович; глаголя ему: пошел еси на митрополию без нашего повеления и тако пребысть в заточении в натьи и до смерти» [40а, 49].

За спиной Владимира Ольгердовича стоял митрополит Киприан, который находился в тесном политическом контакте с киевским князем (именно к нему приехал Киприан вместе с серпуховским иерархом Афанасием зимой 1382/83 г.) и таким путем, видимо, защищал в какой-то мере себя [60, 426; 356; 128, 67].

Но у Киприана был в Москве другой противник на посту митрополита — Пимен, и, отпустив Дионисия во Владимирскую Русь, Киприан мог рассчитывать если не на уничтожение Пимена, то на взаимное ослабление этих двух «владимирских» митрополитов, являвшихся его конкурентами. Однако Киприан этого не сделал. Изолировав Дионисия, он, в сущности, укрепил на некоторое время позиции митрополита Пимена в русской церкви Владимирского княжения. А это могло произойти только в условиях политического сотрудничества Литовской Руси с Москвой, князя Ягайло с Дмитрием Донским.

Совершенно очевидно, что комплекс соглашений Дмитрия Донского с Ягайло свидетельствовал о крушении политических планов Орды, с одной стороны, и Ордена — с другой. Поэтому ничего не было удивительного в том, что в создавшихся условиях как ордынский хан Тохтамыш, так и правители Ордена пытались ликвидировать московско-литовский союз.

Что касалось Орды, то она кроме финансового нажима на Владимирское княжение встала на путь поощрения антимосковской активности рязанского князя. Под

⁵⁵ Царьград, видимо по рекомендации Тохтамыша, выдвинул Дионисия на пост митрополита всея Руси, рассчитывая использовать его и нижегородского князя Дмитрия в политике выравнивания сил «великих княжений» [30, 378; 335, 640].

1385 г. читаем в Воскресенской летописи: «Князь Олег рязанский взя Коломну изгоном»⁵⁶.

Но ордынская держава оказывала нажим на Владимирское княжение не только с помощью послушного рязанского князя Олега. Она попыталась, видимо, как-то использовать для этой цели и сложные перипетии церковно-политической жизни. Так, когда Орда потеряла надежду на приезд задержанного в Киеве Дионисия, митрополита «просуздальской» ориентации, она попыталась установить контакт с «московским» митрополитом Пименом. Для ордынской дипломатии не оставался незамеченным вызов Пимена в Константинополь, а маршрут его следования в Царьград (май — июнь 1385 г.) был, видимо, согласован с Ордой (как уже говорилось выше, Пимен «изволи плыти по воде Волгою к Сараю») [40а, 50]. Содействуя поездке Пимена в Царьград, ордынская дипломатия, возможно, рассчитывала в дальнейшем с его помощью усилить борьбу против Киприана, а также форсировать размывание основ московско-литовского союза.

Что же касалось Ордена, то он, сталкиваясь с усиливавшимся противодействием его натиску тогдашних московских союзников — князей Ягайло, Скиргайло, Корибута (все они упомянуты в записи о московско-литовском договоре 1384 г.), решил парализовать контакты этих литовско-русских князей с Владимирским княжением. Возможно, что для достижения этой цели было признано целесообразным прекратить практику провоцирования раздоров в правящей среде Литовско-Русского государства и начать содействовать консолидации в правящих верхах великого княжества Литовского. Может быть, следует допустить, что именно этими соображениями руководствовались магистры Ордена, когда они не нашли нужным воспрепятствовать «бегству» Витовта к его двоюродному брату Ягайло, происшедшему в августе 1384 г.

Но какие бы ни были подлинные обстоятельства «бегства» Витовта к Ягайло, сознательное ли попустительство орденских властей или гибкая тактика самого

⁵⁶ Наступление на земли Владимирского княжения шло не только со стороны Рязани, но и со стороны Муром; это видно из направления контрударов, предпринятых Дмитрием Донским [40а, 50].

Ягайло, предложившего Витовту приемлемые условия возвращения его в Литовско-Русское государство⁵⁷, бесспорным результатом этого события была консолидация феодальных верхов великого княжества Литовского, вместе с тем и некоторое усиление политического потенциала главы этого княжества — Ягайло. Может быть, этот изменившийся удельный вес главы Литовско-Русского государства и обусловил большую требовательность в отношениях с Москвой.

Между тем положение Московского государства, оказавшегося перед фактом политического усиления Ягайло, перед фактом вооруженной борьбы с Рязанью и Муромом, действовавших с согласия Орды, явно оставляло желать лучшего. Московский князь все в большей мере должен был считаться с военным и политическим нажимом со стороны Орды, он должен был также считаться и с важными сдвигами в политической жизни великого княжества Литовского, где единому фронту Ягайло — Витовт теперь противостоял едва ли не один Андрей Ольгердович. Хотя Дмитрий Донской и продолжал с ним сотрудничать (его сын Михаил Андреевич участвовал в «рязанской» войне и сложил там свою голову), тем не менее московский князь, видимо, не переоценивал его военно-политических возможностей, так же как и не идеализировал его связей с Орденом того времени.

Таким образом, Орден и Орда многое сделали для расшатывания московско-литовского союза, но не меньше для этого сделали Польша и дальновидные малопольские феодалы, которые в октябре 1384 г. посадили на польский престол юную Ядвигу, а в январе 1385 г. уже вели скрытые переговоры с Литвой о выдаче замуж этой королевы-невесты за литовского князя Ягайло, о принятии Литвой католичества под эгидой Польши и, наконец, о предоставлении самому Ягайло польской короны [75, X, 449—453].

Разумеется, с формально-юридической точки зрения предложения малопольских феодалов выглядели более солидно, чем условия сотрудничества Ягайло с главой

⁵⁷ По соглашению с Ягайло Витовт получил лишь часть наследства Кейстута: Гродненскую область и Подляшье с городами Гродно, Волковыск, Брест, Дрогичин, Мельник, Сураж и Каменец Подляский [622, XXXIII, 233].

Владимирского княжения. В случае реализации программы малопольских феодалов Ягайло становился лидером польско-литовско-русского политического объединения (с титулом короля польского, литовского, русского, а также с сохранением титула великого князя литовского, русского и жемайтйского). Что же касалось союза с Москвой, то здесь он мог претендовать лишь на второе место после Дмитрия Донского. По-видимому, эти формальные обстоятельства также сыграли свою роль в ходе польско-литовских переговоров, склонив литовского князя Ягайло на сторону польских предложений. Но, судя по ряду данных, это решение пришло не сразу. Пока происходили предварительные польско-литовские переговоры, пока литовская делегация ездила в Краков и в Венгрию (она вернулась только летом 1385 г.), пока существовала реальная опасность «бунта» Андрея полоцкого, Ягайло не порывал отношений с Дмитрием Донским. Но летом 1385 г. московско-литовское сотрудничество, видимо, все же прекратилось. 14 августа 1385 г. в Криве подписали важный документ, с одной стороны, литовские князья Ягайло, Скиргайло, Корибут, Витовт, Лугвень, а с другой — представители польских феодалов Влодека из Харбоновиц, Николая Оссолинского и др. [75, X, 450—452]. Правда, формально это событие еще не было официальным актом польско-литовской унии, последний был подписан лишь 11 января 1386 г. в Волковыске, тем не менее именно летом 1385 г. произошел, видимо, решающий перелом в московско-литовских и литовско-польских отношениях. Именно тогда документально было закреплено решение о браке Ягайло и Ядвиги, о принятии Литвой католичества, о превращении литовского князя в польского короля. То, что произошло в начале 1386 г. — провозглашение Ягайло королем на люблинском съезде 2 февраля, а затем крещение в Кракове 15 февраля, бракосочетание 18 февраля, коронация 4 марта [75, X, 459—462; 553, 33—34], было лишь оформлением решений, принятых в Криве летом 1385 г.

Таким образом, кривский договор 14 августа 1385 г. действительно был важной вехой в политической жизни Восточной Европы: он парализовал московско-литовское сотрудничество и открывал эпоху тесных контактов польской короны с великим княжеством Литовским.

Весьма показательно, что на эти сдвиги быстро реагировала и ордынская дипломатия. Мы видели, что Орда многое сделала для расшатывания московско-литовского союза и для предотвращения женитьбы Ягайло на дочери Дмитрия Донского. Теперь, когда разрыв между Москвой и Вильно стал фактом, когда перспектива установления прямых родственных связей между виленским и московским дворами была заменена более реальным планом женитьбы Ягайло на польской королеве Ядвиге, ордынская дипломатия попыталась закрепить наметившуюся тенденцию политической жизни стран Восточной Европы, упрочить результаты ее деятельности в данной области. Так, если в 1384 — начале 1385 г. Орда одобряла антимосковскую воинственность рязанского князя, то теперь, после наметившегося сближения Литвы с Польшей, ордынская держава санкционировала примирение Рязани с Москвой, теперь с ордынской точки зрения следовало не ослаблять Владимирского княжения, а в какой-то мере его усиливать.

Так, видимо, не без участия Орды к осени 1385 г. создались благоприятные политические предпосылки для заключения «вечного мира» между Дмитрием Донским и Олегом рязанским. «То же осени, — читаем мы под 1385 г. в Воскресенской летописи, — преподобный игумен Сергей ездил на Рязань к князю Олгу о миру, мнози бо прежде того к нему ездisha и не возмогоша умирить ихъ, тогда же взя с великим князем Дмитрием мир вечный» [40а, 51]. Весьма характерно, что данное соглашение осенью 1385 г. довольно скоро было подкреплено и заключением брачного союза между рязанским княжеским домом и московским. Так, под 1387 г. в той же летописи мы читаем: «Князь великий Дмитрий Иванович отда дочь свою княжну Софию на Рязань, за князя Федора Олговича» [40а, 51]. Таким путем ордынская дипломатия реагировала на факт польско-литовской унии 1385—1386 гг. [60, 431—432].

Переменой отношения Орды к Владимирскому княжению после 1385—1386 гг. следует также объяснять санкционирование похода Дмитрия Донского на территорию Новгорода Великого (1386 г.), а также отпуск из ордынского плена князей тверского Александра, рязанского Родослава и московского Василия.

Если перспектива польско-литовской унии заставила

Орду менять свое отношение к главе Владимирского княжения, то эта перспектива определенным образом влияла и на политику Прусского и Ливонского орденов. Мы уже видели, что правители Ордена осуждали сближение «далекой» Москвы с литовским князем Ягайло, еще в большей мере их не устраивало распространение влияния территориально близкой им Польши на великое княжество Литовское.

Дело в том, что у правителей Ордена были свои планы христианизации Литвы, и, добиваясь в соперничестве с Польшей этого варианта приобщения Литвы к «латинству», Орден не выступал, разумеется, сторонником полной самостоятельности великого княжества Литовского, полной его независимости от орденской политики. Но когда на глазах у правителей Ордена усиливалось московское влияние в Литве или когда Польша добивалась установления своего контроля над политической жизнью Литовско-Русского государства, тогда они становились последовательными защитниками политической обособленности Литовской Руси, так называемого литовско-русского сепаратизма.

Так, содействуя размыванию московско-литовского альянса в 1384 г., Орден, естественно, не мог спокойно следить за вызревaniem польско-литовского союза, происходившего в ходе интенсивных переговоров правящих кругов Польши с литовским князем Ягайло в 1385 г. А когда в августе 1385 г. наметился решающий сдвиг в этих переговорах, правители Ордена перешли к активной борьбе против реализации польского варианта приобщения Литвы к «латинству». При этом Орден рассчитывал не только на привлечение своих вооруженных сил, но также и на использование антиягайловской оппозиции в Литовско-Русском государстве, а может быть, даже на использование тогдашних противников Ягайло и вне великого княжества Литовского.

Правда, серьезно рассчитывать в этом смысле на Владимирское княжение, скованное военным и политическим нажимом Орды, крестоносцы не могли. Теперь их внимание было обращено прежде всего на полоцкого князя Андрея Ольгердовича и его союзников.

Полоцкий князь, союзник Кейстута и Дмитрия Донского, чувствовал себя в своем уделе довольно спокойно [591a, 5], пока между Москвой и Вильно существо-

вали союзные отношения [415, I, 50]. Но положение его стало меняться, когда литовско-московское сотрудничество прекратилось, когда союзником Ягайло оказался вернувшийся из Ордена Витовт. Теперь он вынужден был бороться за сохранение своих прав на полоцкий удел. Ему удалось установить контакты со смоленскими князьями, недовольными захватом Литвой района города Мстиславля. Сам Андрей Ольгердович также имел свои территориальные претензии к Ягайло. Он хотел получить Витебск и Оршу — наследство, оставшееся от его матери (первой жены Ольгерда) [591a, 4—5].

Этими-то стремлениями Полоцка и Смоленска, видимо, воспользовались правители Ордена. Они установили контакт с полоцким князем Андреем и даже в октябре 1385 г. заключили с ним особый договор о создании «полоцкого королевства», разумеется, под протекторатом Ордена [85, III, № 1226].

Возможно, что антиягайловским настроениям Полоцка и Смоленска сочувствовала тогда и Москва, возможно, что она даже продолжала сотрудничать с Андреем полоцким, так как его сын Михаил Андреевич в первой половине 1385 г. находился в армии Дмитрия Донского, боровшейся с Рязанью. Тем не менее сам Дмитрий Донской в тех условиях не мог вести борьбу большого масштаба на западе: прежде всего, он был скован позицией Орды, а кроме того, возможно, не хотел активно сотрудничать с Орденом в деле превращения полоцкой земли в «полоцкое королевство», зависимое от орденских властей. Возможно, что Дмитрий Донской принял какие-то меры, чтобы парализовать сотрудничество полоцкого князя Андрея с Орденом, и, может быть, он в последний момент добился каких-то результатов. Во всяком случае, по летописным данным, в ходе военных действий 1387 г. немецкие войска сражались не на стороне Андрея, а на стороне Скиргайло [38, 347; 553, 43].

Совершенно очевидно, что план создания «полоцкого королевства» во главе с князем Андреем был каким-то кратковременным эпизодом орденской политики; главной целью политической стратегии руководителей Ордена в это время были ликвидация польского варианта приобщения Литвы к христианству и осуществление своего «орденского» варианта распространения католичества в литовско-русских землях.

**ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ
ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ
в 1385—1400 гг.**

**Польша, Литва и Московская Русь
в 1385—1389 гг.**

Заключение польско-литовской унии 1385—1386 гг. открывало собой следующую страницу в политической истории Восточной Европы. Это событие создавало новую расстановку сил в данной части Европейского континента, меняло существенным образом характер сложившихся здесь ранее внутривосточных международных отношений. Факт польско-литовской династической унии был, бесспорно, сразу замечен в Риме и Константинополе, он сразу обратил на себя внимание магистров немецких Орден и ордынского хана, произвел определенное впечатление и на ближайших восточных соседей польско-литовского объединения — на главу Владимиро-суздальского княжения Дмитрия Донского, на феодалов Великого Новгорода, Смоленска, Рязани.

Весьма симптоматичными были сдвиги во внутривосточной жизни великого княжества Литовского и Русского. Существовавшему ранее сотрудничеству литовских и русских феодалов, основанному на стремлении содействовать упрочению и расширению их общего государства, на поддержании сословного равноправия русской и литовской феодальной знати, теперь был противопоставлен насаждаемый сверху антагонизм католической Литвы и православной Руси. Предоставление в 1387 г. литовским феодалам-католикам больших прав и привилегий по сравнению с феодалами русскими [75, X, 441; 490; 491, 275, 43] привело к тому, что обе группы господствующего класса Литовско-Русского государства действительно оказались противопоставленными друг другу по религиозной и сословно-правовой линиям. Эта такти-

ка искусственного насаждения неравноправия обеих групп феодалов, естественно, приводила к сужению фронта их сотрудничества, к постепенному разобщению этих двух частей Литовско-Русского государства, а в дальнейшем к более легкому их поглощению феодальной Польшей.

В сущности, польские феодалы почти сразу после акта 1385—1386 гг. приступили к осуществлению этой программы освоения двух изолированных частей одного целого. Если собственно Литва осваивалась с помощью предоставления особых привилегий литовским феодалам-католикам, русские удельные княжества Литовско-Русского государства закреплялись за польской короной не только с помощью посылаемых туда польских гарнизонов и верных Ягайло князей [75, X, 449; 510, 21; 511, 121; 128], но и с помощью ряда особых политических мер, в частности присяг.

Так, на протяжении 1387—1389 гг. почти все удельные русские князья великого княжества Литовского были вынуждены присягать Ягайло как главе польского государства. В одних случаях сохранились даже тексты этих присяг, в других имеется указание на их существование в прошлом. Так, известны присяги Скиргайло [65, № 7, 18], Витовта от 1386 г. [65, № 8], Семена Лугвеня от 1388 г. [65, № 19, 25, 26, 27], Владимира Ольгердовича [65, № 23], Дмитрия Ольгердовича от 1388 г. [65, № 24] и др. Наиболее показательными являются тексты присяг Дмитрия Ольгердовича [65, № 26] и Семена Лугвеня [65, № 25—28]. Характерно, что Дмитрий Ольгердович, известный как союзник Дмитрия Донского по событиям 1379—1381 гг., должен был теперь не только присягнуть главе польского королевства, но и торжественно осудить свое прежнее сотрудничество с московским князем [65, № 19, 25, 26, 27].

Не менее показательной для политических установок польской дипломатии той поры была и присяга князя Семена Лугвеня, бывшего князем-наместником в Великом Новгороде. Князь Семен Лугвень подчеркнул, что именно «король польский... поставил его опекальником мужем и людем Великого Новгорода» [65, № 11, 25].

Но польские феодалы стремились удержать свои позиции в русских удельных землях-княжествах не только с помощью подобных деклараций и присяг. Довольно

часто правящие круги феодальной Польши предпочитали просто устранять наиболее «крамольных» князей, зарекомендовавших себя сторонниками сотрудничества с Владимирским княжением. Так сложилась, например, судьба полоцкого князя Андрея Ольгердовича в 1387 г. Еще в 1386 г. Скиргайло во главе большого литовского и орденского войска двинулся на Полоцк, где с 1381 г. находился Андрей Ольгердович со своими сыновьями [553, 40—41]. «А Скиргайло... ходил ратью с литовскою силою и с немецкою под Полтеск и взя город, и Ондраевна сына Субиша, а самого Ондreja, брата своего, изымал и в Литву свел» [38, 347].

Таковы были тенденции внутривосточного развития великого княжества Литовского после кривского акта 1385 г.

Как же реагировали на это важное событие ближайшие соседи польско-литовского объединения, в частности Москва, Великий Новгород, Рязань, Смоленск и т. д.? Как реагировали на этот акт такие важные политические силы того времени, как Орда и Орден? О позиции Орды и Ордена, занятой ими в 1386—1387 гг., мы уже осведомлены. Орда, много сделавшая для реализации кривской унии накануне 1385 г., теперь стала «осуждать» этот акт и встала на путь поддержки главы Владимирского княжения, санкционируя при этом не только мир между Рязанью и Москвой, но также и брачный союз дочери Дмитрия Донского и сына Олега рязанского — Федора.

Правители Ордена также осудили акт польско-литовской унии и стали вести борьбу, хотя не всегда последовательно, против сращивания Литвы с Польшей.

Что же касалось реакции самого Дмитрия Донского, то он, потеряв в лице Ягайло политического союзника, ставшего его серьезным противником, стремился приобрести других союзников в русских землях, старался к тому же получить поддержку как Константинополя, так и Орды. Отстаивая эти цели своей политики, Дмитрий Донской действовал весьма решительно, не останавливаясь ни перед применением вооруженной силы (например, против Великого Новгорода в 1386 г.), ни перед политическим разрывом со своими ближайшими коллегами (например, с Владимиром Андреевичем серпуховским в 1388 г.).

Разрыв Москвы с Литвой зимой 1384/85 г. и заключение польско-литовской унии оказали непосредственное воздействие и на политику Великого Новгорода, Смоленска, Рязани. В этой обстановке возобновившегося соперничества Москвы и Вильно промежуточные землекняжества стали спешно определять свои политические позиции. Рязань и Смоленск попытались перейти на сторону Москвы.

Рязани это удалось. Как уже отмечалось, в 1386 г. «князь великий Дмитрий Иванович отда дочь свою княгиню Софию на Рязань за князя Федора Ольговича» [45, 137].

Попытка смоленских князей при опоре на Владимирское княжение нанести удар Литве и отвоевать город Мстиславль потерпела неудачу [38, 343; 284, 86]. Литовские князья Скиргайло, Корибут, Семен Лугвень и Витовт одержали тогда верх над смоленским князем Святославом [38, 343].

Что касалось Великого Новгорода, то его позиция оказалась уже в 1386 г. открыто антимосковской. Новгородцы помнили тяжелую ордынскую дань 1384 г., которую собирал Дмитрий Донской, а оставшийся на берегах Волхова литовский князь-«кормленщик» Патрикей Нариманович помнил, разумеется, свое политическое поражение, нанесенное новгородцами московской ориентации [38, 341]. Не удивительно поэтому, что, как только польско-литовская уния стала фактом, новгородцы во главе с воспрянувшим духом князем Патрикеем сначала встали на путь политического размежевания с Владимирским княжеством, а потом и на путь вооруженного выступления против Костромы и Нижнего Новгорода [38, 345].

Совершенно естественно, что Дмитрий Донской сразу же ответил на эту антимосковскую акцию широким наступлением на Великий Новгород. Под знаменем Дмитрия Донского оказались почти все князья Залесской Руси, включая и князей нижегородских [38, 345].

Попытка новгородцев отделаться выкупом не дала результатов. Тогда они стали готовить Новгород к обороне, а князь Патрикей Нариманович вывел новгородские полки в поле. Однако эта подготовка к вооруженной борьбе была явно недостаточной. Поэтому они предпочли ценой большого выкупа и некоторых политических

уступок заключить «мир на всей старине с великим князем, по владычню благословению, по новгородскому поклону» [38, 347]. О том, на какие уступки пошел Новгород, свидетельствует следующая фраза летописи: «А князь великий воротился из Ямна к Москве, мир взем с Новым городом, а наместники присла и чернорборчев в Новгород» [38, 347]. Наметившееся тогда на берегах Волхова преобладание московского влияния над литовским, видимо, не случайно сопровождалось важными сдвигами и в церковной жизни Новгорода: так, в 1388 г. пришедший на смену старому владыке, Алексею, [38, 348] новый епископ, Иоанн, должен был поехать в Москву на поставление к митрополиту Пимену. Характерно, что в этом торжественном акте участвовали кроме митрополита и великого князя Дмитрия такие епископы, как Михаил смоленский, Феогност рязанский, Данило звенигородский и Савва сарайский [45, 138], т. е. епископы земель, тесно связанных с политикой Орды в 90-х годах XIV в.

Такой результат новгородско-московского столкновения, разумеется, не удовлетворил польско-литовскую дипломатию, которая хотя и признавала, видимо, Патрикея Наримановича политическим банкротом, но отнюдь не думала отказываться от возможности удержать свое влияние на берегах Волхова. Уже в 1389 г. Краков и Вильно решили предложить Великому Новгороду новую кандидатуру на пост князя-наместника — Семена Лугвеня, недавнего участника смоленской кампании. «Князь Лугвень, — читаем мы в летописи, — присла посла в Новгород Великий... хотя быти у них в Новгороде и сести на городах, чем владел Наримант» [40а, 60].

Такова была реакция различных русских земель (княжеств) — Великого Новгорода, Смоленска, Рязани и, наконец, самой Москвы — на акт польско-литовской унии 1385—1386 гг.

Это событие не осталось также не замеченным как во всей Европе, так и в Риме и Царьграде.

Если римская курия могла торжествовать победу по поводу заключения акта 1385—1386 гг. [312, 23; 665, 123], то Константинополь, естественно, должен был признать свое поражение. Царьград не мог одобрить польско-литовской унии, сопровождавшейся как политическим подчинением Литвы польскому королевству, так в

известной мере и церковным: теперь переходила в «латинство» не только правящая династия, но и значительная часть населения великого княжества Литовского. Вполне понятно, что в числе главных виновников этого провала Константинополь считал митрополита Киприана, который оказался и плохим информатором царьградского патриарха и плохим исполнителем его предначертаний. Естественно, что в этих условиях ослабли симпатии руководителей греческой церкви к митрополиту Киприану, а престиж находившегося тогда в Царьграде митрополита Пимена явно вырос. Возможно, что положение Пимена упрочилось в глазах греческого патриарха не только из-за «нерадивости» Киприана, но также и из-за особой заботы о митрополите Пимене Московской Руси, главным теперь противовесе польско-литовскому объединению. Видимо, уже в первой половине 1386 г. «князь великий Дмитрий Иванович посла отца своего духовного Феодора архимандрита Симановского об управлении митрополии в Царьград» [40а, 50]. Характерно, что тогда же суздальско-нижегородские князья, начавшие снова признавать Пимена митрополитом после гибели Дионисия в Киеве, направили своего кандидата Ефросина для поставления в суздальские епископы [45, 136].

Источники константинопольского патриархата сохранили сведения о том, что Царьград в этих условиях стал проявлять расположение к митрополиту Пимену [33, № 32, 190; 38, 350; 40а, 52]¹ и в то же время начал резко осуждать деятельность его соперника — митрополита Киприана. Как видно из поставления церковного Синода в 1387 г., ему были предъявлены тяжкие обвинения. Киприану, по сути дела, угрожал суд, а в дальнейшем и потеря своего поста литовско-русского митрополита.

Имея в виду такую перспективу, Киприан старался, с одной стороны, оправдаться, а с другой — предпринять нечто такое, что могло бы если не изменить радикально положение, то хотя бы исправить его. Как видно из документа, он просил отложить суд и дать ему разрешение на какие-то важные политические переговоры в Литовской Руси, на что он и получил согласие, правда с

¹ Под 1388 г. читаем в летописи: «Июля в 6 день... в неделю прииде Пимин митрополит на Русь из Царьграда, не на Киевъ, но на Москву» [45, 138; 60, 433].

существенными оговорками². При этом ему было предписано при любом исходе намечавшихся переговоров через год прибыть в Константинополь, чтобы он здесь «без всяких отговорок и предлогов подвергся суду на соборе в том, в чем он обвиняется».

В поставлении Синода 1387 г. было сделано и такое грозное предупреждение: «Если же он не исполнит хотя одного из этих [требований], то пусть будет и без суда осужден и низложен». Так сурово отнесся Царьград к одному из своих русских митрополитов, в то время как другому главе русской церкви, митрополиту Пимену, создавал самые благоприятные условия для церковной деятельности в Московской Руси. Так, в летописи под 1388 г. мы читаем: «Того же лета 6989 (1388) июля, прииде из Царьграда на Москву в другой ряд Пимен митрополит» [40а, 52; 38, 350]. Пимен получил тогда самые широкие полномочия для осуществления определенных мероприятий в жизни русской церкви³.

Но поощрение Пимена и острая критика Киприана в 1386—1388 гг. еще не означали, что Пимен становился общерусским митрополитом [45, 138], а Киприан совсем выходил из игры. Когда в 1387 г. суд над ним был отложен на год, когда ему разрешили вести какие-то очень важные переговоры в Литовской Руси, то, по-видимому, Царьград тем самым давал ему еще шанс реабилитировать себя и как-то улучшить политические позиции константинопольского патриархата в Восточной Европе.

² Киприан просил, «чтобы ему сперва позволено было итти по делу, на которое он посылается приказом (Царьграда. — И. Г.)». В конце концов ему дали разрешение предпринять какие-то политические шаги, отложив суд на год. Но ему категорически запретили вступать в какие-либо контакты с Владимирским княжением, с Великой Русью. Ему было предложено, чтобы он «ником образом не совершал ничего святительского в Великой Руси» и не ходил туда, а оставался бы в епархиях Литовской Руси. Речь шла, видимо, о разрешении вести переговоры с литовско-русской знатью и о запрете вступать в полемику с Пименом, бывшим тогда фаворитом не только Москвы, но в какой-то мере Орды и даже Константинополя, все еще причастного к ордынской политике выравнивания сил «великих княжений».

³ Пимен поставил новых епископов: в Рязань Феогноста 15 августа 1388 г.; в январе 1389 г. на церковном соборе в Москве поставил в Великий Новгород нового епископа, Ивана, предварительно сместив непокладистого новгородского владыку Алексея; в Коломну направил Павла [45, 138; 41, XI, 94].

И надо сказать, он хорошо воспользовался предоставленной ему возможностью.

Опираясь на контакты с Василием Дмитриевичем, которые были установлены еще во время пребывания последнего в Киеве в 1386—1387 гг., Киприан развернул бурную деятельность в великом княжестве Литовском, в частности вел переговоры и с Витовтом. Возможно, именно в это время обсуждалась проблема женитьбы московского наследника престола Василия на дочери Витовта Софии [416, 652]. Во всяком случае, переговоры Киприана с Василием Дмитриевичем, а возможно, одновременно и с Витовтом затянулись настолько, что Дмитрий Донской вынужден был принять меры для того, чтобы ускорить переезд своего сына-наследника из Киева в Москву. «Того же лета, — читаем мы в летописи под 1387 г., — князь великий Дмитрий Иванович отпусти бояр своих старейших противу сыну своему, князю Василию». Но только в январе 1388 г. «прииде на Москву князь Василий к отцу своему великому князю Дмитрию ис Подольские земли» [40а, 52], «а с ним князи лятские и панове и Ляхове» [45, 137].

Кроме переговоров с Василием и Витовтом Киприан, возможно, был занят и другими делами, которые должны были упрочить положение царьградского патриарха во всей русской церкви, во всей русской земле. Не исключено, что, договорившись с Василием и Витовтом о женитьбе наследника московского престола Василия на дочери Витовта Софии [416, 652], Киприан попытался привлечь на свою сторону и серпуховского князя Владимира Андреевича, хорошо ему знакомого по событиям 1380—1382 гг. (известно, что серпуховский иерарх игумен Афанасий уехал в 1383 г. вместе с Киприаном в Киев) [60, 425; 273, 356]. Возможно, что Киприан уже в 1388 г. готовился к созданию широкого фронта русских княжеств, имея в виду наследника московского престола Василия, Витовта, а также серпуховского князя Владимира Андреевича. Но эта попытка не увенчалась успехом.

Дмитрий Донской и митрополит Пимен имели свой план создания союза русских земель и добивались реализации этого плана весьма энергично. Так, еще в 1386 г. московский князь собрал под свои знамена войска многих русских князей [38, 345]. Как мы знаем,

Пимен созвал в 1388 г. церковный собор в Москве, на котором поставил нового владыку в Великий Новгород, а сам Дмитрий Донской позднее нашел в себе силы для того, чтобы подчинить своему влиянию серпуховского князя Владимира Андреевича (изъяв у него при этом старинные его уделы Галич и Дмитров) [414а, 236]. Все это свидетельствовало об усилении тенденции «единодержавия» московского князя, но не исключено, что изъятие у Владимира Андреевича, князя во многом пролитовской ориентации, именно этих городов, расположенных ближе к ордынской сфере влияния, указывало на причастность к данной акции самой Орды. Ничего не было удивительного в том, что в условиях наметившегося срачивания Польши и Литвы, с одной стороны, в обстановке возрождения Киприаном союза русских князей на базе общерусской программы — с другой, политика Дмитрия Донского получила какую-то корректировку со стороны ордынской дипломатии.

О наличии такой тенденции в развитии московско-ордынских отношений 1387—1389 гг. говорит еще один небольшой, но весьма показательный факт: так, последнего сына Дмитрия Донского — Константина, родившегося весной 1389 г., крестили, с одной стороны, старший брат его Василий, а с другой — «Мария Василия Тысяцкого» [60, 434; 45, 138]. Политическое значение этого факта можно правильно понять, если вспомнить, что имя сына Василия Ивановича Тысяцкого, как и имя его коллеги Никомата Сурожанина, было тесно связано с ордынской политикой на Руси (в 1375 г. они бежали из Москвы в Тверь, а потом направились в Орду, чтобы привезти ярлык на великое княжение тверскому князю; в 1383 г., когда во Владимир приехал «посол лют Адаш», Никомат был демонстративно казнен). Возвращение к фамилии Василия Тысяцкого в 1389 г. могло указывать лишь на желание Дмитрия Донского продемонстрировать готовность в какой-то мере сотрудничать с ордынской дипломатией⁴.

⁴ Весьма характерно, что Дмитрий Донской, не питая в этот период доверия к Витовту, в своем духовном завещании распорядился в случае смерти своего старшего сына, Василия, передать московский престол следующему брату Василия — Дмитрию, а не предполагаемой тогда жене Василия Софии Витовтовне или их детям [416, 652].

Таким образом, в политической жизни Восточной Европы продолжали действовать две главные тенденции: тенденция форсирования польско-литовской унии (ее олицетворяли прежде всего Ягайло и Скиргайло) и тенденция противодействия ей. Последняя тенденция проявлялась в двух формах, осуществлялась двумя политическими силами. С одной стороны, выступали Витовт и митрополит Киприан, пытавшиеся противопоставить унии программу консолидации всех русских земель вокруг Руси Литовской (при этом они рассчитывали не только на поддержку определенных феодальных сил юго-западных и северо-восточных русских земель, в частности наследника московского престола князя Василия, но и на помощь Царьграда). С другой стороны, действовали Дмитрий Донской и митрополит Пимен, которые в противовес унии выдвигали также идею объединения русских земель, но объединения вокруг Владимирского княжения (при этом они надеялись на содействие как Царьграда, так и Орды).

Царьград, разумеется, хорошо знал об этих тенденциях политической жизни Восточной Европы, был в курсе политических настроений как Витовта, Киприана, Василия, так и Дмитрия Донского и митрополита Пимена.

Весьма характерно, что в 1387—1388 гг. Константинополь больше сочувствовал Дмитрию Донскому и Пимену, считая, видимо, Витовта и Киприана недостаточно сильными тогда противниками Ягайло и стоявших за ним сил феодальной Польши. Начиная с зимы 1388/89 г. положение стало меняться. Теперь Константинополь в силу неясных еще причин порывает с ордынской политикой выравнивания сил «великих княжений», осуждает допущение двух русских митрополий и возвращается к концепции единой церкви «русской земли», имея в виду превращение в реального главу общерусской церкви митрополита Киприана.

В нашем распоряжении имеется грамота царьградского патриарха Антония от февраля 1389 г., которая, по сути дела, и является теоретическим обоснованием восстановления единоначалия в русской церкви, представляет собой развернутую мотивировку замены Пимена Киприаном.

Признав, что в сложившихся условиях «великая рус-

ская земля разделена на многие и различные мирские княжества», что она «имеет многих князей, которые разделены по своим стремлениям, по делам и местам», которые «восстают и нападают друг на друга и поощряются к раздорам, войнам и к избиению своих единоплеменников» [33, № 33, 194], грамота патриарха Антония осуждала этот порядок. Правда, политический реализм исключал возможность сразу «привести к единству власть мирскую» в русской земле, но тот же политический реализм подсказывал допустимость установления в русской земле «единой власти духовной», оправданность передачи русской церкви одному митрополиту [33, № 33, 196], «чтобы древнее устройство Руси сохранилось и на будущее время» [33, № 33, 204]. Грамота не скрывала, что «главнейшим предметом своих попечений» Царьград считал ликвидацию двоевластия в русских епархиях и восстановление целостности русской церкви.

«Мы опытом удостоверились, — говорилось в грамоте, — какое зло — разделение и раздробление той церкви на части и какое благо — быть одному митрополиту по всей той области» [33, № 33, 226].

Именно в связи с этим грамота подчеркивала, «что опять должен быть один митрополит Руси — этого требуют и право, и польза, и обычай» [33, № 33, 204]. Так, обосновав историческими, правовыми и политическими аргументами необходимость восстановления единого руководства в русской церкви, грамота патриарха Антония изложила ближайшую «предысторию» русской митрополии таким образом, что единственно достойным иерархом для роли лидера русской церкви оказывался Киприан [33, № 33, 224, 226], а тот иерарх, который занимал пост митрополита в Москве, являлся просто самозванцем, незаконно пробравшимся к власти, достигшим высокого поста с помощью подлога, совершенного якобы «сопровождавшими его московскими послами-негодями» [33, № 33, 208].

Так, можно утверждать, что в феврале 1389 г. Царьград предложил в упомянутой грамоте теоретическую программу восстановления целостности русской церкви, план вытеснения Пимена Киприаном. Все последующие события весны, лета и осени 1389 г. были лишь практическим осуществлением этой намеченной уже ранее программы.

Мы знаем, что почти одновременно с изготовлением данной грамоты в Москву последовал трапезундский митрополит Феогност якобы «милостыни ради» [40а, 52], а возможно, именно для того, чтобы предложить Пимену срочно выехать в Царьград. Весьма характерно, что Константинополь действовал в данном случае через голову московского правительства, не информируя даже Дмитрия Донского об этом приглашении митрополита Пимена.

Таким образом, приглашение Пимена в Царьград без одновременного оповещения Дмитрия Донского было ловким политическим маневром константинопольской дипломатии, старавшейся тогда не только лишить московского князя его союзника в лице Пимена, но и расчистить путь для появления в Москве новых лидеров.

Нам представляется отнюдь не случайным то обстоятельство, что все последовавшие затем важные события этого года — смерть Дмитрия Донского (19 мая 1389 г.), приход к власти Василия Дмитриевича (15 августа 1389 г.), загадочная кончина Пимена в «святых местах» (11 сентября 1389 г.), наконец, назначение общерусским митрополитом Киприана (1 октября 1389 г.) — обнаруживают ту или иную степень причастности к ним самой царьградской дипломатии.

На похоронах Дмитрия Донского мы видим митрополита трапезундского Феогноста. Один из основных памятников данной эпохи, «Хождение Пименово в Царьград», не скрывает того, что судьбы Пимена и Киприана, оказавшихся тогда в Царьграде, в сущности, были предопределены. Хотя автор этого памятника Игнатий подчеркивает, что оба церковных лидера прибыли к Антонию-патриарху в Царьград «о исправлении престола русского», тем не менее для него различные судьбы этих иерархов не были неожиданностью: он прямо говорит о том, что Пимена ждала здесь смерть, а Киприана — новое высокое назначение. «Бог же своими судьбами сие устрои: представился Пимен митрополит... сентября в 11 день в Халкидоне»; что же касалось Киприана, то «Антоний патриарх благослови Киприана митрополитом на Киев и на всю Русь и отпусти его с честью» [41, XI, 101].

Ничего не было удивительного и в том, что после всех этих событий в начале 1390 г. появился митрополит

всёя Руси Киприан сначала в Кіеве, а потом и в Москве. «Приде на Москву Киприан митрополит на великое говение, — читаем мы в Воскресенской летописи, — прият его князь великий Василий с великой честью» [38, 368; 40а, 60]. Весьма характерно, что приход Киприана в Москву сопровождался не только появлением двух видных греческих иерархов, митрополита адрианопольского Матвея и митрополита ганньского Никандра⁵, но и приездом многих новых епископов. «Тогда же приидоша с ним епископи Рустии, кийждо на свою епископию: на Ростов прииде Федор архиепископ... на Суздаль Ефросин архиепископ, на Чернигов и на Брянск Исакий епископ, на Рязань Еремея епископ, Феодосий епископ на Туров, ти вси в единое лето кийждо свою епископию прияша» [40а, 60; 41, XI, 122]. Естественно, что все эти мероприятия обеспечили Киприану контроль не только над жизнью восточных и западных епархий русской церкви, но также в известной мере и над деятельностью молодого князя Василия.

В этих условиях вполне правомочным было сближение Москвы с Витовтом, в частности правомочной была реализация соглашения о брачном союзе Василия Дмитриевича и Софьи Витовтовны.

Помня о тайном соглашении зимы 1387/88 г., обе стороны — Витовт и московский князь Василий — стремились реализовать его именно теперь, летом 1390 г.

В этот период Витовт вместе со своим ближайшим окружением находился на территории Ордена, поэтому московский князь Василий, а также митрополит Киприан направили посольство к Витовту в Марьин город. Об этом событии были хорошо осведомлены западно-русские летописи: «Того же лета к великому князю Витовту од Немцы оу Марьин город придоша послы из города Москвы от великого князя Василия Дмитриевича, просячи дщери князя великого Витовтовны за великого князя Василия Дмитровича» [44, 92—93]. Эта просьба, естественно, была удовлетворена. Софья Витовтовна в сопровождении большой свиты была отпущена в Москву. Маршрут ее следования к будущему супругу в какой-то мере раскрывал круг тогдашних

⁵ Один из них, Матвей, был в числе тех, кто подписал патриаршую грамоту от февраля 1389 г. [33, № 33, 228].

союзников Витовта и Василия: сначала Софья Витовтовна двигалась морем из Гданьска к берегам Ливонии, потом она оказалась в Пскове, где ей был оказан хороший прием, затем попала в Новгород. «Новгородцы же паки честь им воздаша и проводиша их и с честью до Москвы» [38, 368].

Характерно, что брак Василия и Софьи был оформлен как событие большого государственного значения: сначала Софья Витовтовна была встречена делегацией видных князей Московской Руси — Владимиром Андреевичем и Андреем Дмитриевичем, потом ее встречал весь «священнический чин» во главе с митрополитом Киприаном: «Тогда бе... митрополит Киприан съ архиепископы и с епископы и с архимандриты игумены... сrete и честне со кресты пред градом пред Москвой». Само венчание было совершено Киприаном, который «сотвори брак честне и венча и великого князя Василия Дмитриевича с великою княжною Софею» [44, 93, 386; 104, II, 94].

Так было оформлено с помощью митрополита Киприана политическое сближение Витовта с великим князем московским Василием Дмитриевичем.

Польша, Литва и Московская Русь в 1390—1398 гг.

Как бы ни интерпретировалось в историографии заключение польско-литовской унии 1385 г., бесспорным остается факт осуждения этого события широкими кругами литовско-русских феодалов уже в конце 80-х — начале 90-х годов XIV в., осуждения тем более энергичного, чем очевиднее для них становился реальный политический смысл кревского соглашения, чем понятнее оказывалось то положение, что уния была отнюдь не только союзом двух государств, способным упрочить их позиции на международной арене, но и средством постепенного поглощения великого княжества Литовского польским королевством.

И действительно, на протяжении нескольких лет, последовавших за заключением унии, литовско-русские феодалы сталкивались с различными формами проникновения и утверждения польского влияния на их территории. Они видели предоставление льгот и привилегий той части местной знати, которая готова была сотруд-

ничать с польским правительством и католической церковью; видели подчинение польскому контролю важнейших функций их государства; они не могли не заметить, что официальная внешняя политика виленского двора целиком «растворялась» в политике Кракова, а внутривполитическая жизнь великого княжества Литовского в основных своих звеньях контролировалась либо князьями Ольгердовичами, особо приближенными к польскому королю (например, Скиргайло, Корибут), либо просто польскими панами-администраторами [75, X, 458, 463, 477, 500]. Литовско-русские феодалы хорошо знали о расправе над «неблагонадежными» элементами, например над Андреем полоцким, брошенным в 1387 г. в тюрьму, а также над его союзниками — князьями смоленскими [44, 90], над князем Товтовиллом, братом Витовта, и другими [667, 450], лишенными своих уделов. К тому же литовско-русские феодалы хорошо знали и о том, что многие удельные князья Литовской Руси оказались вынужденными провозгласить себя вассалами польской короны на «вечные» времена [65, № 1—28; 450, 29—39].

Поэтому нет ничего удивительного в том, что в ответ на все эти мероприятия польского правительства среди феодалов великого княжества Литовского и Русского стали распространяться оппозиционные настроения к Польше. Наиболее активными выразителями этих настроений оказались тогда князь Витовт Кейстутович, а также митрополит Киприан.

Именно Витовт и Киприан в 1387—1388 гг., сохраняя внешне лояльность к польскому правительству, стали собирать вокруг себя силы для отстаивания самостоятельности великого княжества Литовского и Русского. Опираясь прежде всего на поддержку литовско-русских феодалов, не склонных капитулировать перед польским правительством и католичеством, Витовт и Киприан при этом отнюдь не отказывались и от сотрудничества с внешними силами, с Царьградом, Москвой, Орденом и т. д. Но изображать происходившую тогда борьбу внутри польско-литовского объединения только как борьбу династическую (как якобы конфликт между Кейстутовичами и Ольгердовичами) или как борьбу, целиком инспирированную извне [553, 48, 51], вряд ли правильно.

В данном случае речь должна идти о двух тенденциях развития польско-литовского объединения: с одной стороны, о тенденции постепенного поглощения Польшей великого княжества Литовского, а с другой — о тенденции сохранения самостоятельности этого государства. Олицетворяли эту борьбу соперничавшие друг с другом Ягайло и Витовт.

Следует отметить, что ее стремились использовать в своих интересах также и внешние силы (Царьград, Москва, Орден, Золотая Орда). Дело в том, что как сам акт польско-литовской унии 1385 г., так и осуществлявшаяся на его основе внешняя политика Ягайло, в частности политика дальнейшего наступления на восток, настолько нарушали прежнее соотношение сил в этой части Восточной Европы, что так называемому литовско-русскому сепаратизму сочувствовали тогда в Царьграде и в Москве, в ордынской державе и в Ливонском и Прусском орденах. Витовт прекрасно знал об этом «сочувствии» и широко использовал поддержку внешних сил для достижения своих целей, для реализации своей политической программы.

Оставаясь формально вассалом польского короля, продолжая сотрудничать с его представителем в Литве князем Скиргайло, Витовт уже в 1387—1388 гг. стал вести скрытую подготовку к разрыву с Польшей. Он организовывал силы «литовско-русского сепаратизма» на территории самого княжества, опираясь при этом на таких единомышленников, как Товтовилл, Зигмунд, Иван гольшанский и др.

Одновременно Витовт развернул активную дипломатическую деятельность, явно нарушая при этом условия унии 1385 г., запрещавшей ему самостоятельно выступать на международной арене. Так, уже зимой 1387/88 г. Витовт при содействии Киприана заключил тайное соглашение с наследником московского престола Василием, возвращавшимся тогда из ордынского плена в Москву через Молдавию и Литовскую Русь [40а, 51, 52].

Тогда же Витовт установил политические контакты с Орденем, надеясь на возможность повторения событий 1383—1384 гг.⁶ Не исключено, что именно в это время

⁶ Как мы знаем, Витовт в 1383—1384 гг. сотрудничал с Орденем [525, 27—40]. Собрав на ордынской территории большую группу своих сторонников из литовских князей и бояр, Витовт представ-

Витовт вместе с Киприаном завязал связи с Молдавией и Валахией. Хотя в 1388 г. молдавский господарь Петр Мушата объявил себя во Львове вассалом короля Ягайло, тем не менее присягу от Петра принимал сам митрополит Киприан, что указывало, возможно, на установление уже в этот период скрытых контактов тогдашних правителей великого княжества Литовского с придунайскими княжествами. В 1389 г. к этому договору присоединился и волошский господарь Мирчо [26, № 1, 2, 6].

Таким образом, параллельно с приготовлениями польского короля Ягайло и его наместника в Литве князя Скиргайло к широкому наступлению на Псков и Великий Новгород (весной 1389 г. в Полоцке стояли войска Скиргайло и Семена Лугвеня, в мае 1389 г. состоялось формальное примирение в Люблине Скиргайло с Витовтом [553, 49—50]) происходило формирование оппозиционных сил Польши внутри великого княжества Литовского. А осенью 1389 г. Витовт встал на путь открытой борьбы против польского короля [75, X, 451—452]. Уже летом 1389 г. Витовт со своим двором, боярами и войсками ушел в Мазовию к князю Яношу, а потом перебрался на территорию Ордена, тогда же намечалось складывание широкой антиягайловской коалиции, в состав которой входили не только Витовт и Киприан, но также князь Василий, ставший летом 1389 г. главой Московского государства, политические и церковные деятели Царьграда, принимавшие у себя у 1389 г. Пимена и Киприана, а также правители Ордена.

Говоря об образовании антиягайловской коалиции в Восточной Европе в 1389—1391 гг., следует особое внимание обратить на два комплекса событий: с одной стороны, на события, связанные с приходом к власти в Москве князя Василия Дмитриевича и с санкционированной Царьградом заменой Пимена Киприаном на посту митрополита всея Руси, с переездом Киприана в Москву весной 1390 г. и с заключением при участии

для такую значительную политическую силу, что князьям Ягайло и Скиргайло было «невозможно суже стати противу емоу, занеже оубо у него сила великая собралася, приехавша к нему мнози князи и бояре литовские» [44, 89]. Именно тогда Ягайло должен был пойти на значительные политические уступки Витовту, чтобы вернуть его в Литву («Тогда князь великий Ягайло перезвал его из Немец, и дал емоу Лоуческ, со всею Волынскою землею, а в Литовской земли очину его») [44, 89].

Киприана брачного союза Василия Дмитриевича с Софьей Витовтовной в январе 1391 г., который был оформлен как событие большого государственного значения; с другой стороны, на те события, которые привели зимой 1389/90 г. к установлению сотрудничества между Витовтом и правителями Ордена, к заключению в январе 1390 г. договора Витовта с Орденом о совместной вооруженной борьбе против польского короля.

Таким образом, расположение московского князя Василия Дмитриевича, с одной стороны, а также энергичная поддержка Ордена — с другой, помогали Витовту вести борьбу с польским королем, помогали ему играть все более активную роль в политической жизни великого княжества Литовского и Русского.

После договора с Орденом Витовт совместно с крестоносцами попытался даже овладеть столицей Литвы — городом Вильно. Но попытка эта не дала результатов. Город оставался под контролем Ягайло. И хотя осенью 1390 г. осада с Вильно была снята, хотя в военных действиях наметилась какая-то передышка, обе стороны продолжали усиленно готовиться к новому туру вооруженных столкновений. Операции приняли широкий размах уже в 1391 г.: весной Жемайтия оказалась под контролем Ордена, осенью 1391 г. новый магистр, Валленрод, пошел в сторону Трока, а Витовт вместе с маршалом Ордена, видя свою главную цель в овладении Вильно, подготавливал операции в районе Вилкомира, Риттерсвердера, Мериша и Гродно⁷. В результате всех этих военных усилий к концу 1391 г. под контролем Витовта находилась довольно значительная территория от Ковно и Трока до Гродно, а круг сторонников Витовта заметно расширился.

В этих условиях польские позиции на литовско-русской территории оказались настолько ослабленными, а положение Витовта как главы Литовской Руси настолько укрепилось, что правящие круги Польши сочли необходимым радикально изменить свою тактику в борьбе за сохранение унии 1385 г.

Стремясь предотвратить полную потерю великого княжества Литовского, польское правительство решило

⁷ Гродно с апреля 1390 г. находился в руках польского короля, хотя по договору с Орденом он должен был оставаться под контролем крестоносцев [75, X, 456—457, 464—465].

вместо силы применить к этой стране сложное политическое маневрирование.

Зная о том, что Орден с его экспансионистскими планами был слишком «дорогостоящим» для литовско-русского правительства союзником, имея также сведения и о том, что московский князь Василий Дмитриевич из-за нажима ордынской дипломатии все чаще был вынужден воздерживаться от политического сотрудничества с литовским князем, правящие круги Польши предприняли весной 1392 г. попытки вернуть Витовта в лоно польско-литовской унии путем предоставления ему максимально широких прав в великом княжестве Литовском.

Польское правительство направило тогда к Витовту секретного эмиссара (этим эмиссаром был племянник мазовецкого князя Земовита — Генрих, занимавший пост плотского епископа) [75, X, 466, 470]. Летописи сохранили сведения о тайных переговорах посланцев польского короля с Витовтом. Королевские дипломаты говорили Витовту следующее: «Больше того брате не теряй земли литовское, отчины и наше и своя, а поди брате к нам оу мир, и оу великоу любовь братскоую, возми себе великое княжение оу Вильни, стол дяди своего великого князя Олькирда, и отца своего великого князя Кестоутя» [44, 93].

В подкрепление этих предложений польские власти произвели срочные перемещения своих ставленников в великом княжестве Литовском: так, для того чтобы предоставить Витовту не только Вильно, но и такой важный стратегический центр, как Троки, они убрали отсюда Яшко из Олесницы и князя Скиргайло, приняв решение о последующем переводе его на Среднее Поднепровье, а также переместили Корибута и Свидригайло [75, X, 470].

Все эти усилия польской дипломатии сравнительно быстро дали определенные результаты. Обремененный «союзом» с Орденом, лишенный больших перспектив в сотрудничестве с Москвой (из-за позиции Орды), Витовт откликнулся на инициативу польского короля Ягайло. Разумеется, он принимал предложения польской стороны не потому, что хотел увековечить польско-литовскую унию, а потому, что надеялся вести борьбу против нее в более благоприятных условиях, в качестве фактического правителя Литовско-Русского государства.

Что касалось польской дипломатии, то она также, видимо, рассматривала предложение Витовту как чрезвычайную уступку, масштабы которой в дальнейшем должны были значительно сократиться.

Но каковы бы ни были планы обеих сторон на далекое будущее, в начале августа 1392 г. они заключили в Острове такое соглашение [71, № 92, 30; 65, № 29, 26; 75, X, 469], которое хотя формально и сохраняло польско-литовскую унию, но по существу предоставляло литовско-русскому княжеству под управлением Витовта почти полную автономию.

На таких условиях Витовт, покинув пределы Ордена, вернулся летом 1392 г. на территорию великого княжества Литовского и Русского [618, 65—66; 176, 139—141].

Начался новый период в политической деятельности Витовта, а вместе с тем новый этап политической жизни Литовско-Русского государства, новая эпоха в развитии польско-литовских отношений. Формально ликвидации унии не произошло. Польский король Ягайло продолжал юридически оставаться великим князем литовским и русским. Но только юридически. Реальным правителем Литовско-Русского государства становился Витовт [75, X, 470]. Специфика данного периода в истории польско-литовского объединения состояла в том, что польское правительство старалось подчинить юридической форме отношений реальную политическую жизнь великого княжества Литовского, а Витовт и стоявшие за ним литовско-русские феодалы стремились придать реальному политическому развитию великого княжества Литовского соответствующую юридическую форму, предполагавшую ликвидацию унии и утверждение полной независимости Литовско-Русского государства.

В происходившем на протяжении ряда лет соперничестве польского короля Ягайло с литовским князем Витовтом верх брала то тенденция поглощения Литвы Польшей, то тенденция восстановления самостоятельности великого княжества Литовского.

Характерно, что в этой напряженной борьбе оба лидера пытались использовать друг друга в осуществлении тех задач, которые ставили перед ними, с одной стороны, польские, а с другой — литовско-русские феодалы.

Так, Ягайло старался ликвидировать опасных для Польши литовско-русских князей с помощью Витовта, а

также с помощью приставленного к нему в качестве политического противовеса князя Скиргайло⁸.

Тогдашний правитель Литвы Витовт, видимо, охотно выполнял эти задания польского правительства, так как при этом он устранял не только противников Польши, но и одновременно своих собственных противников [76, 160—161, 167], мешавших осуществлению его программы дальнейшего усиления своих позиций в Литовской Руси, программы дальнейшей централизации великого княжества Литовского и Русского.

Так на протяжении 1393—1394 гг. были смещены и политически ослаблены почти все ведущие удельные князья Литовской Руси. Одной из первых жертв этой совместной политики Витовта и Скиргайло оказался волынский князь Федор, сын могущественного Любарта Гедиминовича, правившего Волыню около сорока лет [553, 60; 176, 163].

Сначала у Федора Любартовича был изъят район Луцка и передан в распоряжение Витовта [176, 470]. Затем Федору Любартовичу предложили покинуть Владимир волынский и перебраться в Новгород Северский. Но князь предпочел эмигрировать к венгерскому королю Сигизмунду Люксембургскому [71, № 170; 553, 61; 643].

Почти одновременно в аналогичном положении оказался и витебский князь Свидригайло. Когда Ягайло после смерти княгини Ульяны (вдовы Ольгерда) в 1392 г. передал витебский удел своему наместнику Федору Весне, князь Свидригайло был крайне раздражен этим обстоятельством. Считая Витебск своим наследственным уделом, он решил быстро расправиться с королевским эмиссаром: Федор Весна был убит. В ответ на это «самоуправство» Витовт и Скиргайло организовали карательную экспедицию, сначала они взяли Друцк и Оршу, а потом и сам Витебск⁹. Князь Свидригайло был

⁸ Такой характер отношений Витовта и Скиргайло в середине 90-х годов XIV в. подчеркивается существованием санкционированного польским правительством плана передачи Витовту бывших владений Скиргайло (Трок и Вильно), а также передачи самому Скиргайло пояса южнорусских земель с центром в Киеве. Данное распределение владений Витовта и Скиргайло должно было, по мысли правящих кругов Польши, уравновесить этих двух видных политических деятелей того времени [75, X, 472; 176, 141, 166].

⁹ Характерно, что в схватке с Витовтом, союзником Свидригайло, оказался смоленский князь Юрий Святославич. Видимо, пора-

схващен, а затем перевезен в Краков, откуда он вскоре бежал в Венгрию к королю Сигизмунду [553, 61; 643].

Аналогичная судьба постигла и князя Корибута — Дмитрия Ольгердовича, тестя Олега рязанского, давнишнего партнера князя Ягайло, тогда владевшего некоторыми территориями Северщины [206, 137—146; 252, 157—158].

Попытка Корибута противопоставить себя Витовту кончилась тем, что последний нанес его войскам в 1393 г. поражение, а самого Корибута арестовал. Правда, в дальнейшем Корибут оказался на короткое время у своего родственника Олега рязанского, а потом, политически ослабленный, вернулся на «службу» к Витовту [176, 167—168].

Аналогичным образом сложилась судьба еще одного удельного князя — правителя Подольи Федора Кориатовича. Весной 1393 г. Витовт организовал поход против подольского князя [644, 631], однако последний заручился поддержкой Владимира Ольгердовича киевского и молдавского господаря Романа [631, 632, 644, 474].

Что касалось Владимира киевского, то Витовт, с одной стороны, видимо, не хотел форсировать его ликвидацию (чего требовало декабрьское соглашение 1392 г. с князем Скиргайло о предоставлении ему Киева [176, 141, 172]), а с другой — стремился добиться его нейтрализации на время борьбы с подольским князем Федором Кориатовичем [631, 632, 644]. В соответствии с этими политическими расчетами Витовт весной 1393 г. отобрал у Владимира киевского часть его городов (в частности, Житомир и Овруч), но оставил его управлять Киевом [44, 94], прекрасно понимая, что удаление его из Поднепровья открыло бы путь в Киев князю Скиргайло, а такой оборот событий мог бы помешать осуществлению далеко идущих планов Витовта [176, 173].

Но, обеспечив таким образом нейтралитет Владимира киевского, Витовт, видимо, ничего не мог сделать с

жение Свидригайло подготовило почву для замены в Смоленске «крамольного Юрия Святославовича другим, более благонадежным князем — Глебом». Однако в дальнейшем по мере ослабления позиций удельных князей в великом княжестве Литовском и этот князь Глеб Святославич становился все менее удобным Витовту. По-видимому, в 1395 г. Витовт, овладев хитростью Смоленском, заменил князя Глеба своими наместниками [30; 387; 44, 46; 48, 255; 276 31].

другим союзником Кориатовича, именно с молдавским господарем Романом, который стал оказывать открытую поддержку Подольскому княжеству. В течение лета, а вероятно, и позднее на территории Подолии находились волошские войска. Осенью 1393 г. Витовт решил прибегнуть к силе: он нанес решительное поражение армии подольского князя, а вместе с тем и войскам молдавского господаря. В результате Кориатович вынужден был вскоре эмигрировать, предоставив Витовту возможность занять подольские города своими наместниками [631, 644]; после понесенного поражения недолго оставался на своем престоле и молдавский господарь Роман, в 1394 г. его преемником уже был господарь Стефан, который на первых порах предпочитал ориентироваться на Сигизмунда венгерского и только потом, в 1395 г., сблизился с польским королем Ягайло [643, 631].

Вскоре началась расправа с киевским князем Владимиром Ольгердовичем. Вероятнее всего, что инициатором наступления на него был не Витовт, а тот самый князь Скиргайло, который вскоре сам оказался обладателем киевского престола. Разумеется, влиятельный удельный князь Владимир Ольгердович мешал усилению «единодержавия» Витовта, но еще больше мешал осуществлению этой программы сам Скиргайло, тесно связанный с польским двором [104, 102—103]. Поэтому ситуация продолжавшегося соперничества Владимира и Скиргайло больше устраивала Витовта, чем решительный перевес кого-либо из них. Вполне возможно, что в момент максимального нажима на Владимира со стороны Скиргайло Витовт, а вместе с ним и Киприан допустили поездку киевского князя в Москву.

Таким образом, становится еще более очевидным, что борьба великого князя Витовта с многочисленными удельными князьями была борьбой не только внутриполитической, но и международной. Подольский князь не случайно после поражения оказался при дворе Сигизмунда венгерского [643, 176, 90, 92, 169—174], а Владимир Ольгердович нашел возможным и нужным побывать в Москве [44, 549].

Так, к осени 1394 г. в основном завершилась борьба с ведущими удельными князьями великого княжества Литовского и Русского. Борьба эта формально осуществлялась совместными усилиями Витовта и Скиргайло

от имени польского короля [553, 60; 450, 39, 72—79]. Но это только формально. По сути дела, в эти годы на территории великого княжества Литовского и Русского боролись две тенденции его политического развития, сталкивались две программы: с одной стороны, явственно выступала программа поглощения Литвы Польшей (ее проводниками были Ягайло и Скиргайло), с другой — программа восстановления полной независимости теперь более централизованного, чем раньше, Литовско-Русского государства (сторонником этого последнего варианта политической эволюции Литовской Руси был Витовт).

Если создавшуюся в Литовско-Русском государстве политическую ситуацию формально можно было рассматривать как триумф польской политики (удельные князья-сепаратисты были обезврежены, Скиргайло получил Киев, Витовт продолжал оставаться вассалом польского короля), то реальная политическая жизнь в великом княжестве Литовском шла по иному руслу: добившись усиления своей власти в княжестве, а вместе с тем усиления централизации Литовско-Русского государства, Витовт не столько сблизил Литву с Польшей, сколько отдалил ее от польского королевства.

В сущности, состоявшееся в 1395 г. назначение польского наместника в Подолию Спытко из Мельштина (13 июня 1395 г.) [75, X, 448; 71, № 115, 37—39; 620, 450] свидетельствовало о том, что польское правительство могло тогда реально контролировать политическую жизнь лишь одной Подолии, а жизнь всей остальной Литовской Руси фактически оказывалась под контролем Витовта.

Дальнейшее развитие событий в Литве лишь подтверждало то обстоятельство, что тенденция изоляции великого княжества Литовского брала верх над тенденцией сращивания его с Польшей [126, 74—75, 84, 92—98].

Если в 1392—1395 гг. было еще далеко не всем ясно, что Витовт использовал Скиргайло в сложной политической борьбе того времени больше, чем Скиргайло использовал Витовта, то зимой 1396/97 г. данное обстоятельство стало очевидным для всех. Дело в том, что в январе 1397 г. Скиргайло был отравлен [553, 63; 126, 71], и, по-видимому, отравлен скрытыми сторонниками группировки Витовта и митрополита Киприана.

По поводу причастности к этой смерти находивше-

гося тогда в Киеве митрополита Киприана [46, 135—136] и его наместника в Киевской Софии некоего чернеца Фомы есть прямое указание в литовско-русской летописи [44, 95]. В исторической литературе высказывались предположения о непосредственном участии в ликвидации князя Скиргайло и самого Витовта [126, 71].

Но если это предположение не находит прямых документальных подтверждений, то некоторые косвенные данные все же указывают на причастность Витовта к устранению Скиргайло; об этом говорят и долгие годы то скрытого, то явного соперничества между ними, об этом говорит не только тесная дружба Витовта с Киприаном [44, 95], наставником чернеца Фомы, но также и последующая судьба киевского удела. Видимо, совершенно не случайно вскоре после загадочной смерти Скиргайло Киев и все среднее Поднепровье оказались под управлением ближайшего соратника Витовта — его племянника Ивана гольшанского.

Теперь Витовт был полновластным правителем великого княжества Литовского и Русского; ему не страшны были уже удельные князья Литовской Руси, которых он ослабил в какой-то мере с помощью польского короля Ягайло и князя Скиргайло, в это время ему не могли угрожать ни само польское правительство, ни стоявшие за ним польские феодалы. Устранив удельных князей, а также князя Скиргайло, своего главного политического конкурента из лагеря польского короля Ягайло, Витовт многое сделал не только для дальнейшей централизации Литовско-Русского государства, но и для укрепления его политической самостоятельности, в частности его независимости от польского королевства¹⁰.

Если в 1395—1396 гг. он стал официально титуловать себя «великим князем литовским и русским» [71, № 117, 85, IV, 1422], то позднее его политические амбиции приобрели еще больший размах. Так, в 1398 г. литовско-русские феодалы провозгласили его официальным главой вполне самостоятельного великого княжества Литовского и Русского, а правители Ордена с согласия империи и Сигизмунда венгерского [643, 525] санкционировали превращение Витовта в «короля Литвы и Руси»

¹⁰ На это указывали тщетные попытки королевы Ядвиги получить дань с Литовской Руси [176, IV, 469; 127, 74—75, 84].

[95, 224; 72, VI, 66; 553, 63—66], ордынский хан Тохтамыш выдал Витовту ярлык на обладание русскими землями [624].

Но, отмечая важные итоги государственной деятельности Витовта 90-х годов XIV в., мы не можем не признать, что при всей специфичности конкретных форм борьбы за их достижение они, по сути дела, фиксировали закономерный этап исторического развития великого княжества Литовского и Русского, этап, присущий не только Литовской Руси, но и другим восточноевропейским землям, в частности территориям Великого Владимирского княжения. Речь идет в данном случае о том этапе исторической жизни стран Восточной Европы, который оказался связанным как с утверждением процессов феодальной концентрации, так и с торжеством тенденции объединения древнерусских территорий, с параллельным формированием на общерусской основе двух обширных феодальных государств, пришедших на смену системе полицентризма русской земли. Но для того чтобы лучше понять закономерный характер данного этапа в истории ведущих восточноевропейских государств, чтобы правильнее оценить как степень «продвинуто» указанных процессов, так и степень их заторможенности, а следовательно, и незавершенности, следует учитывать, по нашему мнению, не только параллелизм исторического развития великого княжества Литовского и Великого Владимирского княжения, но и весьма существенную роль международного фактора, в частности воздействие на политическую жизнь восточноевропейского пространства дипломатии ордынской державы, Турции, феодальных государств Западной Европы, а также влияние таких важных церковных центров, как Рим и Константинополь.

* * *

Итак, говоря о заметно активизировавшихся в последние десятилетия XIV в. закономерных процессах феодальной концентрации в Восточной Европе, а вместе с тем и о процессах консолидации восточного славянства, мы не должны забывать о том, что они сопровождались напряженной борьбой мощных политических сил на международной арене, что они протекали в условиях

весьма энергичных попыток ордынской державы сохранить тем или иным способом контроль над русскими землями [294, 168], а также достаточно энергичных попыток ряда католических государств феодальной Европы (Польши, с одной стороны, Империи, Венгрии, Ордена — с другой) распространить так или иначе свое влияние на отдельные районы данной части Европейского континента [608, 643, 468, 154, 603]; мы не можем вместе с тем упускать из виду и то обстоятельство, что указанные процессы происходили в обстановке весьма тесного сотрудничества православного Константинополя с русской православной церковью на базе отстаивания единства русской земли [33, № 33; 163, II, 285], а также в атмосфере все более тесного культурно-политического взаимодействия восточного славянства с южными славянами [265а; 266; 211; 216].

Вполне естественно, что все отмеченные обстоятельства должны учитываться при анализе конкретного хода политической жизни Восточной Европы конца 80-х — 90-х годов XIV в., а среди этих обстоятельств должны привлекать особое внимание ордынская политика, политические действия ордынской державы, которая, несмотря на проявлявшиеся тенденции упадка, все же продолжала тогда играть весьма заметную роль в судьбах Восточной Европы вообще, в исторической жизни Владимирского княжения и великого княжества Литовского в частности.

Но, имея в виду деятельность ордынской дипломатии последнего десятилетия XIV в., мы не можем игнорировать как значительных трудностей внутривосточной жизни самой Золотой Орды, так и серьезных трений, возникших на рубеже 80—90-х годов XIV в. между золотоордынским ханом Тохтамышем и правителем Мавераннахра Тимуром.

Так, если еще в начале 80-х годов Тохтамыш был политическим партнером Тимура, выступал в роли исполнителя его далеко идущих замыслов как в отношении восточноевропейских стран [350, 137], так и в отношении Египта [200, 94—95], то во второй половине данного десятилетия широкие политические амбиции того и другого не только положили конец их «дружбе» и сотрудничеству, но и толкнули на путь открытой вражды. Первые столкновения произошли в 1386 г. на Кавказе:

Тохтамышу удалось тогда захватить на время Тавриз, однако в 1387 г. в Дагестане он потерпел поражение от войск Тимура. Затем борьба между ними разворачивалась в Средней Азии, в частности в Хорезме. Однако, несмотря на временные успехи, Тохтамыш вынужден был под напором войск Тимура оставить Мавераннахр и вернуться на территорию Волжской Орды [168, 653].

Следующим весьма важным этапом затяжного конфликта двух могущественных ордынских правителей было грандиозное сражение, происшедшее 28 апреля 1391 г. на левом берегу Волги в местности Кундузча, сражение, закончившееся поражением войск Тохтамыша [58, 392—394, 453—456, 522; 407a]. Тем не менее золотоордынский хан не думал складывать оружия: на протяжении последующих четырех лет он продолжал оказывать упорное сопротивление натиску Тимура, мобилизуя для этой цели как ресурсы самой Золотой Орды [168, 522], так и оппозиционные Тимуру силы, существовавшие тогда на Кавказе [112a], в Мавераннахре [168, 653], Египте [200, 95—97]. Определенную роль в противодействии наступательным планам Тимура должны были, по расчетам Тохтамыша, играть и восточноевропейские страны, все еще находившиеся тогда в сфере золотоордынского влияния. Так, умело маневрируя, Тохтамыш в течение ряда лет тщательно готовил силы для новой схватки со своим могущественным противником. Наконец, в 1395 г. на берегах Терека произошло сражение, кончившееся полным разгромом войск Тохтамыша армией Тимура [168, 363—366]. Если победа на Тереке открывала Тимуру и его армии путь не только на Волгу, но и на берега Дона, а возможно, и Днепра [168, 368—373; 350, 653], то это же событие для Тохтамыша обернулось потерей престола в Сарай-Берке, сначала вынужденным уходом на два-три года в Крым [294, 139; 168, 362, 377; 200, 95—97], а потом и бегством в великое княжество Литовское (около 1398 г.) [294, 139—140; 553, 624].

Наступил новый этап в развитии взаимоотношений Мавераннахра и Золотой Орды, а также в развитии отношений ордынской державы с восточноевропейскими странами: на протяжении 1396—1398 гг. поставленные Тимуром новые правители Волжской Орды, прежде всего Едигей, а также Тимур-Кутлук, Кайричак, Таштимур, многое сделали для возрождения былого великодержав-

вия Орды, тем не менее незавершенность борьбы с Тохтамышем, остававшимся еще в Крыму, замедляла темп реализации данной задачи. Правители Волжской Орды сделали дальнейшие важные шаги на этом пути в 1398 г., когда Тохтамыш был вынужден перебраться из Крыма в Литву [294, 139—140], и в 1399 г., когда армии Витовта и Тохтамыша были разбиты войсками Едигея на берегах Ворсклы [168, 381—383].

Но сколь ни значительны сами по себе были перипетии многолетней борьбы Тимура и его ставленников с Тохтамышем, наш интерес к этой борьбе обуславливается прежде всего тем, что ее «ритм» оказался связанным в какой-то мере с общим ритмом политической жизни Восточной Европы того времени, а важные вехи этой борьбы — с соответствующими сдвигами в тогдашнем политическом развитии Владимирского княжения и великого княжества Литовского.

И действительно, при изучении взаимоотношений Орды со странами Восточной Европы в последнее десятилетие XIV в. обнаруживается любопытная закономерность: чем слабее становился военно-политический потенциал Тохтамыша в его борьбе с Тимуром, чем уже оказывалась его политическая база в самой Орде, тем в большей мере он отходил от традиционной «великодержавной» политики Орды в отношении восточноевропейского пространства, тем охотнее уклонялся от поощрения «децентрализации» Владимирского княжения и великого княжества Литовского в пользу их «централизации», тем чаще отказывался и от традиционной тактики столкновения ведущих восточноевропейских государств в связи с наметившимся процессом их сближения.

Так, на рубеже 80—90-х годов еще «всесильный» Тохтамыш не только не поддерживал тенденции феодальной концентрации двух ведущих политических организмов Восточной Европы, но и всемерно противодействовал этим закономерным процессам политического развития Великого Владимирского княжения и великого княжества Литовского.

Когда в 1389—1390 гг. происходило при участии митрополита Киприана сближение между московским князем Василием Дмитриевичем и литовским князем Витовтом, Тохтамыш старался активно помешать развитию событий в этом направлении.

Стремясь закрепить подчиненное положение главы Владимирского княжения, золотоордынский правитель хотя и дал ему в 1390 г. ярлык на великое княжение, тем не менее лишил его прав на нижегородско-суздальские земли [40а, 60], предотвратил сближение Москвы с Рязанью, направив тогда же (в 1390 г.) татарские войска на территорию Рязанского княжества [40а, 60; 41, XI, 122], а возможно, помогал ослаблению позиций Василия и Киприана на берегах Волхова [40а, 61—62; 30, 384].

Однако после поражения в 1391 г. в местности Кундузчи Тохтамыш стал, видимо, несколько по-иному относиться к своему восточноевропейскому тылу, имея в виду сохранение своего политического влияния в этой части Европейского континента уже не путем ослабления «централизаторских» тенденций, а путем параллельного содействия этим тенденциям как на русских землях Владимирского княжения, так и на территориях польско-литовского объединения.

Вполне естественным для такой политики Тохтамыша представляется факт приглашения летом 1392 г. в Орду московского князя Василия и передачи под его контроль Суздальско-Нижегородского княжества [42, 164; 46, 133]. Возможно, что такая позиция Тохтамыша содействовала и временному усилению московского влияния на берегах Волхова в 1392 г. [40а, 60; 30, 385].

С точки зрения тогдашней ордынской политики представляется оправданным также и факт прибытия в Краков в 1393 г. татарских послов [653, 131—132], передавших ярлык Тохтамыша на русские земли не правителю великого княжества Литовского Витовту, а польскому королю Ягайло [32а; 553, 67; 176, 460].

Так, содействуя, с одной стороны, усилению Москвы путем распространения ее влияния на суздальско-нижегородские территории, а возможно, и на берега Волхова и форсируя, с другой стороны, процесс «срачивания» Польши с Литовской Русью путем предоставления польскому королю особых прав на русские земли, Тохтамыш старался не только обеспечить бóльшую боеспособность восточноевропейских стран на случай их вынужденного столкновения с Тимуром, но и сохранить при этом равновесие между ними, необходимое ему в качестве традиционного средства удержания ордынского контроля над политической жизнью Восточной Европы [169, 70].

Однако сколь ни деятельной была тогда ордынская дипломатия, стремившаяся поддержать равновесие между Владимирским княжением и польско-литовским объединением, она не могла контролировать все происходившие в то время на восточноевропейских землях спонтанные процессы, в частности не могла (может быть, вследствие постепенного ослабления Тохтамыша) контролировать и тот процесс интеграции древнерусских земель, который протекал тогда все более интенсивно в обстановке тесного сотрудничества Василия, Витовта и Киприана, в условиях активного взаимодействия константинопольского патриарха с общерусской митрополией. Одним из ярких проявлений этого, видимо, вышедшего из-под контроля Орды процесса консолидации русских земель было установление своеобразного московско-литовского кондоминиума на берегах Волхова в 1393—1396 гг. Так, летописи зафиксировали сначала конфликт новгородцев с митрополитом Киприаном, возникший в первой половине 1393 г., видимо, на почве наметившегося сближения Новгородской республики с Орденом [30, 384], а потом заключение в конце 1393 г. трех мирных договоров Новгорода с Витовтом, Василием и Киприаном [30, 386; 38, 373; 40а, 61—62; 41, XI, 155] и одновременное появление на волховских берегах представителей московского и литовского правящих домов (Литву тогда стали представлять князья Роман Юрьевич и Семен Лугвень, кстати, женившийся в 1394 г. на дочери Дмитрия Донского [40а, 64], а Владимирское княжение — Константин Белозерский [38, 373]).

Однако развитие событий в данном направлении, видимо, мало устраивало ордынскую дипломатию. Судя по всему, Тохтамыш тогда же поставил вопрос о новом обособлении нижегородско-суздальской земли от власти московского князя. Но на этот раз Василий Дмитриевич не стал ждать прихода ордынских войск на нижегородские территории, а сам организовал поход на эти земли, в результате чего суздальские князья Василий и Семен «побежаша в Орду к царю Тохтамышу» [40а, 64].

Важным симптомом осуждения Тохтамышем процесса консолидации русских земель, осуществлявшегося тогда при участии «триумвиров» — Василия, Витовта и Киприана, — были весьма натянутые отношения Рязани с великим княжеством Литовским. Так, в летописи под

1393 г. имеется указание на то, что находившийся под контролем Орды рязанский князь Олег выступил против Витовта в районе Любутска, на что сразу же последовал ответный удар со стороны правителя Литвы, «а Литва Рязань воевали» [38, 373].

Если принять во внимание эти военные события на рязанско-литовских рубежах, а также вооруженные столкновения на суздальско-нижегородской земле, если, кроме того, иметь в виду установление литовско-московского кондоминиума на волховских берегах, а также прямые контакты князей Владимирского княжения с князьями Литовской Руси, например пребывание в Москве в 1394 г. киевского князя Владимира Ольгердовича (только позднее осмысленного в качестве акта измены Литве — Хроника Быховца [44а, 522]) или встречи Василия Дмитриевича с Витовтом в Смоленске 1393 г. [38, 373], то придется признать, что в нашем распоряжении не только симптомы серьезного беспокойства Тохтамыша по поводу малой «эффективности» его программы раздельного усиления Владимирского княжения и польско-литовского комплекса, но и явные признаки полной неудачи этой программы.

И действительно, анализ политической жизни восточноевропейских стран 1393—1394 гг. говорит о том, что практика противопоставления двух механически уравновешенных государственных организмов оказалась в резком противоречии с активизировавшимися тогда закономерными процессами интеграции восточного славянства, процессами консолидации русской земли. Вполне возможно, что данное противоречие было очевидно прежде всего Тохтамышу, который пытался помешать указанным процессам как с помощью нового обособления Нижнего Новгорода от Москвы, так и с помощью сталкивания Рязани с Литовской Русью; по всей вероятности, отмеченное противоречие было очевидно и самому правителю Мавераннахра Тимуру, который в 1395 г. признал необходимым бросить свои основные силы не в Египет, чего добивался Тохтамыш [200, 96; 168, 362], а на Северный Кавказ, где должна была решиться не только участь Тохтамыша, но и проблема упрочения ордынской власти над Восточной Европой.

То, что указанная проблема была предметом особых беспокойств Тимура, стало ясным сразу после сражения

на Тереке (1395 г.) во время победоносного похода его армии с Северного Кавказа на нижнюю Волгу, Дон, а возможно, и на среднее Поднепровье.

Несмотря на то что до сих пор из-за недостатка источников не удастся раскрыть все аспекты этой кампании Тимура, исследователи признают ее особую важность в истории взаимоотношений ордынской державы с восточноевропейскими странами [168, 368, 371—373; 294, 139].

Занимавшиеся этой проблемой историки исходят из того факта, что в результате сражения на Тереке 1395 г. Тохтамыш вынужден был не только покинуть пределы Волжской Орды [58, 364; 38, 376], не только оставить золотоордынский престол, но и передать Тимуру значительную часть фактической власти как в ордынской державе, так и в странах Восточной Европы [294, 139]¹¹. Именно этим обстоятельством, видимо, объясняется появление Тимура после победы на берегах Терека в центральных районах восточноевропейского пространства, передвижение его с Северного Кавказа на нижнюю Волгу, Дон, Рязань, а возможно, и среднее Поднепровье [168, 368]. Именно этим обстоятельством объясняется проведение им ряда конкретных мероприятий, нацеленных не только на полное ослабление Тохтамыша и ликвидацию его политических сторонников в районах Волги и Крыма, но и на восстановление ордынского контроля над политической жизнью Восточной Европы в целом.

Особенно важным с точки зрения реализации стратегических задач восточноевропейской политики Орды, видимо, было пребывание Тимура в рязанской земле [168, 369—370].

Остановившись на территории Рязанского княжества, правитель Мавераннахра, естественно, позаботился прежде всего о стабилизации отношений с прежним союзником Тохтамыша — рязанским князем Олегом Ивановичем. Но, находясь в Рязани, Тимур думал и о зна-

¹¹ Этот факт находит косвенное подтверждение в «Истории Стефана Пермского» [35, 159; 294, 140], а также в том тексте летописей, который дает перечень земель, находившихся под контролем Тимура к 1395 г. В этом перечне на последнем месте стоял «Сарай Великий» [46, 134; 48, 222; 41, XI, 153]. Историческая достоверность источников данного типа, как и максимальная приближенность их создания к изучаемой эпохе, получила подтверждение в исследованиях Б. А. Рыбакова [341, 200—202].

чительно более широких планах, в частности об упрочении ордынской власти над всеми русскими землями. И в данном случае он выступал не только как наследник власти Тохтамыша, но и как преемник определенных тактических приемов ордынской дипломатии в Восточной Европе.

Видимо, Тимур, поверивший сразу после разгрома Тохтамыша в возможность установления своего полного контроля над политической жизнью Волжской Орды, не только сохранил на некоторое время экономический и политический потенциал ордынской державы, не только выдвинул в правители Орды одного хана (очевидно, Койричака [59, 178]), но и стал проводить в Восточной Европе «великодержавную» ордынскую политику, направленную на выравнивание сил ведущих государств данного региона. Именно с этой целью он организовал летом 1395 г. поход к среднему Поднепровью, в сторону усилившегося тогда польско-литовского государственного комплекса [59, 121, 179]. Именно по этой причине Тимур проявлял относительное миролюбие по отношению к землям Владимирского княжения, оказавшегося ослабленным на фоне окрепшего польско-литовского объединения. Однако поведение Тимура радикальным образом изменилось осенью 1395 г., когда наметилось реальное противодействие его политике как со стороны нового союзника Тохтамыша — Витовта (уже в сентябре этого года он организовал осаду Смоленска), так и со стороны скрытых сторонников Тохтамыша в самой Орде [59, 184].

Вероятно, под влиянием этих новых обстоятельств в политической жизни Восточной Европы, суливших возвращение Тохтамыша на берега Нижней Волги, Тимур и принял осенью этого года решение как о подрыве ордынской экономики, так и о превращении относительно целостной ордынской державы в комплекс «полусамостоятельных» улусов.

Совершенно естественно, что в обстановке осуществленного Тимуром хозяйственного разорения Орды [59, 184—185] и политического расщепления ордынской державы [38, 385, 350, 174—175] сужались масштабы ее воздействия на политическую жизнь государств Восточной Европы, создавались благоприятные предпосылки для активизации закономерных процессов феодальной

концентрации русских земель. Характерно, однако, что указанные процессы протекали тогда при ведущей роли великого княжества Литовского и Русского, при все более пассивном участии Москвы, скованной позицией соседних ордынских «улусов» и ослабленной выходом из-под ее контроля ряда русских княжеств, при все более энергичном сдерживании их со стороны Рязани и Смоленска, действовавших тогда в рамках политической программы Тимура и его ставленников в Орде. Все эти общие тенденции политической жизни Восточной Европы конца XIV в. должны учитываться при анализе конкретного хода событий этого времени, в частности и таких событий, развернувшихся уже зимой 1395/96 г., как вооруженная борьба смоленско-рязанского «блока» с главой великого княжества Литовского и Русского и его союзниками.

Показательно, что приготовления к походу на Смоленск Витовт проводил под видом подготовки к военной кампании непосредственно против Тимура. «Тое же осени, — читаем мы летопись под 1395 г., — князь великий Витофт Литовский, собрав силу велику около себе, и поиде ратию, творяся на Темир Аксака, и промчеса всюду слово то яко идет Витофт на Темир Аксака» [40а, 68; 41, XI 162]. А в Хронике Быховца речь шла уже не просто о выступлении против Тимура, а о выступлении против Тимура-«узурпатора», который «выгнал с царства до Литвы брата своего царя Тохтамыша и сам сел на царстве» [44, 516].

На самом деле Витовт, приводя свои войска к Смоленску, выступал не против Тимура, а против созданного им антилитовского смоленско-рязанского блока, пытаясь попутно решить и проблему дальнейшей консолидации русских земель вокруг великого княжества Литовского и Русского. Как известно, Витовт, используя внутренние раздоры в среде смоленских князей, сравнительно легко овладел городом 28 сентября 1395 г., отправив непокорных ему князей «в свою литовскую землю» [40а, 68; 284, 188] и оставив в Смоленске своих наместников [40а, 68].

Возмущенный этим захватом, рязанский князь принял к себе своего зятя смоленского князя Юрия Святославича [30, 387] и вскоре сам пошел на Литву. «Тое же зимы князь великий Олег Иванович Рязанский с зятем своим,

с великим князем Юрием Святославичем Смоленским и з братьею своею, с Пронским князи, и с Козельским, и с Муромским, поиде ратью на Литву и много зла сотвориша им» [41, XI, 163]. В ответ на этот поход Витовт предпринял диверсию зимой 1395/96 г. на территорию Рязанского княжества, диверсию, которая заставила Олега Ивановича вернуться из похода домой и вынудить Витовта покинуть пределы рязанской земли [41, XI, 163; 44, 516; 104, II, 111].

Характерно, что во время борьбы Витовта с Рязанью московский князь Василий не только не оказал помощи князю Олегу Ивановичу, но скорее проявил симпатии к своему тестю — князю Витовту, в частности, весной 1396 г., когда рязанский князь организовал наступление на пограничный литовско-русский город Любутск: в этот момент «князь великий (Василий I. — *И. Г.*) посла к нему и отведе его от Любутака» [40а, 70].

Солидарность с Витовтом была продемонстрирована и осенью 1396 г., когда литовский князь предпринял еще одно вторжение на рязанскую землю: в этот период Василий оказал Витовту хороший прием в Коломне [40а, 70]. Еще более ярким проявлением продолжавшегося сотрудничества Витовта с Василием I был приезд московского князя с митрополитом Киприаном в Смоленск весной 1396 г. [46, 135; 44, 516; 60, 447].

Таким образом, как ни продуманы были ордынской дипломатией методы одновременного использования процессов феодальной концентрации и феодальной децентрализации, сотрудничество великого княжества Литовского и Великого Владимирского княжения продолжалось. Направленное на преодоление феодального сепаратизма, а также на активизацию противодействия ордынскому натиску, сотрудничество Витовта, Василия и Киприана оставалось, как мы видим, весьма заметным политическим фактором общественной жизни Восточной Европы и в середине 90-х годов XIV в.

Но сохранение политических контактов Киприана, Витовта и Василия не означало, что между ними не возникало противоречий, что в их совместной политической деятельности не было трудностей. Кроме скрытого пока еще соперничества Василия и Витовта за главенство в намечающемся объединении московско-литовское сотрудничество осложнялось активностью сил феодального

сепаратизма не только в Рязани и Смоленске, но также в суздальско-нижегородской земле и особенно в Великом Новгороде.

Занимая огромную территорию Северо-Восточной Европы, находясь между набиравшими силу Литовской Русью и Владимирским княжеством, Новгород Великий энергично отстаивал свою феодальную автономию как с помощью умелой дипломатии, так и с помощью многочисленного новгородского войска [137, 21—24]. Правителям Новгорода длительное время удавалось лавировать между Литовской Русью и Московским государством, вступая чаще всего в «союз» с той стороной, которая тогда оказывалась сильнейшей.

Однако положение Великого Новгорода, видимо, значительно осложнилось, когда наметилось сближение между Витовтом и Василием I, когда за их спинами действовал опытный политик того времени митрополит Киприан, стремившийся к максимальному расширению сферы своего влияния в Восточной Европе, к установлению своего полного контроля как над новгородской церковью, так и над политической жизнью боярской республики в целом.

Так, в 1393 г. Новгород был вынужден, как уже отмечалось, заключить мирные договоры с Витовтом, Василием и митрополитом Киприаном, а в 1394 г., действуя в рамках политической программы «триумвиров», вел борьбу против Пскова, который в те годы оказался вместе с князем Андреем Ольгердовичем полоцким в фарватере орденовской политики.

На протяжении 1395—1396 гг. Великий Новгород не порывал связей ни с Московской Русью, ни с Литовско-русским государством, попав как бы в двойное подчинение к этим двум ведущим силам Восточной Европы того времени [30, 387; 41, X, 88, 154, 156, 171]. В этих условиях церковная, финансовая и политическая автономия боярской республики оказывалась все чаще под угрозой. Митрополит Киприан то сам приезжал на берега Волхова, требуя от новгородцев еще большего повиновения, то приглашал в Москву новгородского епископа Ивана, настаивая на соответствующих уступках и гарантиях со стороны Новгорода.

Но происходившее тогда дальнейшее усиление власти «триумвиров» как на всем пространстве русской земли,

так и на волховских берегах заставляло правящие круги Новгорода искать новых форм отстаивания своей феодальной автономии, искать новых союзников не только в системе русских княжеств, но и на международной арене. Нет поэтому ничего удивительного в том, что в той обстановке максимальных успехов «триумвиров», когда Василий I успешно отражал атаку нижегородского князя Семена и татарского царевича Ентяка [41, XI, 163], когда Василий I и Витовт старались расстроить наметившееся сотрудничество Рязани и Смоленска, как в форме литовских походов сначала на Смоленск, а потом и на рязанскую землю [246, 241], так и в форме проведения свидания Витовта с Василием московским на территории Смоленска в 1396 г. [41, XI, 166], когда Витовт добивался значительного усиления своей власти в великом княжестве Литовском, а вместе с тем и ослабления польского контроля над политической жизнью этого княжества, ликвидируя с помощью греко-православной церкви королевского эmissара на Литве князя Скиргайло [44, 46], когда митрополит Киприан оказывал особо важные услуги Витовту как по линии физического устранения приближенного к польскому двору князя Скиргайло, так и по линии тактического прикрытия этой своей деятельности переговорами с самим польским королем по поводу перспектив церковной унии, политическая элита Новгорода предприняла решительную попытку выйти из-под опеки «триумвиров». Об этой наметившейся летом 1397 г. переориентации Великого Новгорода свидетельствовали прежде всего такие факты, как заключение ею какого-то весьма важного договора с Псковом [30, 338], а также прибытие на берега Волхова представителя смоленского княжеского дома [30, 389] — князя Василия Ивановича [41, XI, 168].

Если сближение с Псковом означало вместе с тем и сближение с Орденом, то контакты с представителем смоленского правящего дома, возможно, означали установление политического сотрудничества с той группировкой, которая находилась тогда в сфере ордынского влияния, в частности влияния Тимура и его новых ставленников — Тимур-Кутлука и Едигея.

Разумеется, этот вызов новгородских и псковских феодалов, основанный на союзе с Орденом, а возможно, и Ордой (через Смоленск — Рязань), не мог оставаться

без ответа со стороны «триумвиров». Летопись сохранила сведения о совместном демарше Василия московского и Витовта литовского, направленном на волховские берега. «Того же лета, — читаем мы в Никоновской летописи под 1398 г., — князь великий Витовт Кейстутевич литовский посла на Москву к зятю своему великому князю Василию Дмитриевичу, глаголя: „Ты своего посла, а язь своего посла послемъ в Новъгородъ, чтобы новгородцы с немци миръ разв/е/р/ъгли“. И токо по Витофтову слову князь Василей Дмитриевич после своя и Витофтовы в Новгород отпусти, веля имъ миръ разврещи с Немцы» [41, XI, 168; 46, 135].

Однако новгородцы не пожелали выполнить требования послов Витовта и Василия. Они дали понять представителям Москвы и Вильно, что осуществляют независимую от них внешнюю политику. «Они же не послуша, — читаем мы в летописи, — но реша тако: „Нам, господине княже, с тобой мир свой, а с Немцы инъ, а с Витофтом инъ, а ты, княже, в то у нас не вступайся, Новгород держит старину древнюю“. И тако отпустила послы великого князя Василия и Витофта Кейстутевича» [41, XI, 168; 46, 135, 136]. Неудача этих дипломатических переговоров означала войну между «триумвирами» и Великим Новгородом. Начавшиеся вскоре военные действия привели к тому, что московский князь быстро распространил свое влияние на значительную часть двинской земли, занял Волок Ламский, Торжок, Бежецкий Верх. В разгар этих операций активно стал действовать и митрополит всея Руси Киприан. «По сем (после начала военных действий. — *И. Г.*) присла Киприан митрополит в Великий Новъград столника своего... к сыну своему к владыце Ивану, а повествуя тако: „Поеди на Москву, зовет тя отец твой митрополит о святительских делах“» [30, 390]. Но последовавшие затем попытки посланца Киприана заставить новгородцев признать совершившиеся перемены не дали результатов. Новгородские феодалы вместе со своим владыкой Иваном потребовали восстановления «старины», т. е. отказа Василия I от всех территориальных приобретений на новгородской земле. Разумеется, московский князь не пожелал тогда принять это требование новгородцев, не пожелал не только потому, что был заинтересован в увеличении территории своего феодального государства,

но также, видимо, еще и потому, что он, как и его тогдашние политические партнеры Витовт и Киприан, был обеспокоен перспективой дальнейшего сближения Новгорода с Орденом. При таких взаимных претензиях примирение между Новгородом и «триумвирами» оказалось невозможным и борьба продолжалась.

В первые месяцы 1398 г. новгородцы провели успешное контрнаступление на земли великого князя. Сначала они вели военные действия на территориях Белозерских и Кубенских волостей, в районе Вологды только до «Галица не доходиша» [30, 392], потом двинулись к берегам Двины, здесь овладели городом Устюгом, а потом расправились с теми двинскими боярами, которые перешли на сторону московского князя Василия Дмитриевича [30, 392; 41, XI, 170].

Так с явным перевесом новгородцев разворачивались военные действия в первые месяцы 1398 г. Однако летом вооруженная борьба неожиданно прекратилась, а осенью того же года Новгород и Москва заключили между собой мир «по старине» [30, 393; 38, 383]. По-видимому, это быстро наступившее примирение было вызвано не столько чрезмерным истощением борющихся сторон, сколько важными сдвигами в тогдашней политической жизни Восточной Европы в целом.

Мы знаем, что это были годы усилившегося вмешательства в политическую жизнь восточноевропейских стран таких соперничавших друг с другом ордынских правителей, как Едигей и Тохтамыш [294, 139—140; 168, 374—384]; знаем, что это было время возросшей дипломатической активности в восточной части Европейского континента не только Польши, но также Империи и Ордена [643, 603, 154], а вместе с тем и период каких-то серьезных трений Константинополя с русской митрополией [33, № 30] и московским князем Василием [604, 607].

Все эти обстоятельства конца 90-х годов XIV в., видимо, и сыграли важную роль в сложении новой расстановки сил в Восточной Европе, в формировании нового статуса отношений между Москвой и Вильно, а в конце концов и в самом факте примирения Москвы с Великим Новгородом осенью 1398 г.

В самом деле, возникшее тогда тесное сотрудничество Витовта с Тохтамышем, декларирование их взаимо-

поддержки (Тохтамыш обещал сделать Витовта хозяином всей русской земли, включая и Новгород, Витовт заверял Тохтамыша в том, что посадит его на золотоордынский престол) не могли не насторожить усилившегося Едигея, а также Василия I и правящие круги Великого Новгорода.

Не менее отрезвляющим был и факт начавшегося весной 1398 г. сближения Витовта с Орденом [72, VI, 61—66 и сл.], завершившегося заключением 5—12 октября 1398 г. известным Салинским договором. Если мы учтем, что происходившие весной 1398 г. переговоры Витовта с правителями Ордена касались таких проблем, как превращение литовского князя в «короля Литвы и Руси», как передача Ордену Пскова, а будущему королю Витовту — Великого Новгорода [553, 64], если мы допустим, что какая-то информация об этих переговорах доходила как в Москву, так и на берега Волхова (а делать такие допущения позволяют даже материалы летописей), то мы должны будем признать, что и у московского князя Василия, и у новгородских бояр были в 1398 г. все основания, во-первых, для быстрого примирения друг с другом, во-вторых, для решительного размежевания с Витовтом.

Именно учитывая все эти обстоятельства, новгородцы и сочли необходимым в срочном порядке заключить мир с Василием I. «Той же осени по владычню благословению по Иванову, ездиси послы из Новгорода к великому князю Василию Дмитриевичу» [30, 393] «с челобитьем от Новгорода и с многими дары, и князь великий их пожаловал мир взя» [40а, 64]. «И взяша мир с великим князем по старине» [30, 393].

По-видимому, обе стороны, заключившие этот мир, отдавали себе отчет в том, что продолжение борьбы было выгодно только Витовту, они, возможно, сознавали, что московско-новгородская война 1397—1398 гг. была лишь своеобразной подготовкой для решительных шагов Витовта в отношении Новгорода Великого. Весьма показательно, что, как только был заключен мир «по старине» между новгородцами и Московской Русью, «князь Витовт Литовский Кейстутевич прислал в Новгород взметную грамоту, рек токо: «Обеществовале мя есте, что было вам за мене нятися, а мне было вам князем великим бити, а вас мне било боронити...» [30, 393].

В дальнейшем та же летопись раскрывала политические замыслы Витовта в Восточной Европе: Витовт «помыслил тако: хотел пленить Рускую землю и Новгород и Псков» [30, 395]. Из этого сообщения летописи становится понятным, почему новгородцы не только заключили в срочном порядке мир с главой Московской Руси и убили у себя литовского князя Романа Юрьевича [41, XI, 171], но и пригласили на берега Волхова брата Василия I, князя Андрея Дмитриевича [40а, 64, 72], а в Псков приняли другого князя московской ориентации — Ивана Всеволодовича тверского [41, XI, 171—172], женатого на сестре Василия I [40а, 71]¹².

Но обострившиеся противоречия между Владимирским княжением и великим княжеством Литовским тогда давали себя знать не только на берегах Волхова, но и на тверской земле. Так, летописи сообщают под 1397 г. о проявлениях московско-литовского соперничества в Тверском княжестве. Один из тверских князей, Иван Всеволодович, уехал осенью 1397 г. в Москву и здесь женился на княжне Анастасии, сестре Василия Дмитриевича. Другой же тверской князь, Иван Михайлович, женатый на дочери Кейстута, «тое же зимы ездил в Литву к великому князю Витовту, к своему шурину, и с княжнею и с детьми и с боярами своими» [40а, 71].

Так было на некоторое время прервано сотрудничество Великого Владимирского княжения и великого княжества Литовского. Скрытое ранее соперничество Василия и Витовта в достижении главенства в русских землях теперь стало явным. В сложившейся обстановке Витовт и Василий стали открыто осуществлять независимую друг от друга политику, и оказались снова не без участия Орды противопоставленными друг другу претендентами на роль «объединителей русской земли».

Битва на берегах Ворсклы 1399 г. и ее политические результаты

В ходе международной жизни Восточной Европы конца 90-х годов XIV в. наметились, как мы видели, новые тенденции: усилившаяся вновь под эгидой Едигея ордын-

¹² Показательно, что сам Василий в 1398 г. уже не поехал к Витовту, он разрешил такую поездку только своей жене Софье [40а, 71—72].

ская держава стала еще более активно осуществлять политику былого великодержавия, имея в виду всемерное противодействие процессам консолидации русских земель, «расщепление триумvirата», ослабление наиболее могущественного из них — правителя великого княжества Литовского и Русского; Литовско-Русское государство, опираясь на союз с Орденом и Тохтамышем, готовилось не только к присоединению новых русских территорий вопреки воле Орды, но и к созданию самостоятельного «королевства Литовского и Русского», естественно, вопреки желанию Польши; Великое Владимирское княжение вынуждено было в этих условиях занимать выжидательную позицию, исключавшую как активное сотрудничество с Витовтом из-за споров по поводу дальнейшей судьбы Новгорода, Твери, Рязани, так и участие в вооруженном выступлении Орды против Витовта.

Разумеется, центральным событием в политической истории Восточной Европы конца 90-х годов XIV в. была победа армии Едигея над войсками Витовта, одержанная на берегах Ворсклы в 1399 г. Но для исследователя данного периода кроме самой битвы большой интерес представляют, с одной стороны, важные ее политические последствия, а с другой — ее подготовка, сложная по своему политическому содержанию и весьма своеобразная по идеологическому оформлению.

Сохранившиеся в источниках сведения о подготовке битвы на Ворскле действительно раскрывают очень существенные аспекты тогдашней политической и идеологической жизни не только русской земли, но и самой ордынской державы.

Имеющиеся в этих источниках данные прежде всего отражают сложные процессы тогдашнего развития русских земель, в частности закономерные процессы их консолидации.

Кроме того, указанные данные фиксируют традиционные, но не потерявшие, видимо, еще своей политической актуальности представления ордынских правителей как о своих «исторических правах» на восточноевропейское пространство, так и о практических способах использования этих «прав» в государственных интересах Орды.

В данном случае речь должна идти прежде всего о летописных текстах, излагавших ход переговоров Ви-

товта с Тохтамышем, а также о документах собственно ордынского происхождения — о ханских ярлыках на русские земли. Что касалось переговоров Витовта с Тохтамышем 1398 г., то они протекали, как известно, в весьма своеобразной обстановке, в частности в условиях пребывания бывшего ордынского царя на территории Литовской Руси, оказавшегося там после своего изгнания из Крыма, и появления на ордынском престоле ставленника Едигея — Тимур-Кутлука¹³.

Приезд Тохтамыша на Среднее Поднепровье, подготовленный, видимо, скрытыми его контактами с Витовтом еще в 1395—1397 гг., создавал теперь предпосылки для дальнейшего их сближения, для еще более тесного и более откровенного сотрудничества. И не удивительно, что в ходе происходивших в 1398 г. переговоров была выработана широкая программа далеко идущей взаимоподдержки: Витовт с помощью Тохтамыша должен был стать главой полностью консолидированной русской земли, а Тохтамыш при содействии Витовта должен был вернуть себе власть над всей ордынской державой.

Сведения об этих стремлениях Тохтамыша и Витовта в конце 90-х годов сохранились во многих летописях, хотя и изложены они по-разному.

Если в Троицкой и Симеоновской летописях сравнительно кратко излагалась программа Витовта и Тохтамыша («аз тя посажу в Орде на царство, — говорил Витовт ордынскому царю, — а ты мя посадишь на княженье на великом на Москве» [60, 450; 45, 143]), то другие летописи, в частности Ермолинская [46, 137], Типографская [47, 167—168], особенно Воскресенская [40а, 72] и Никоновская [41, XI, 172], дают более подробную информацию о тогдашних политических устремлениях упомянутых правителей. Так, Никоновская летопись утверждала, что Тохтамыш должен был стать царем «на Кафе, и на Озове, и на Крыму, и на Азтаркани, и на Заяицкой Орде, и на всем примории, и на Казани» [41,

¹³ Не исключено, что совпадение этих двух фактов — осуществленное Едигеем изгнание Тохтамыша из Крыма и провозглашение Тимур-Кутлука единственным главой ордынской державы — может объяснить и появление в некоторых русских летописях такой записи: «Того же лета прииде некоторый царь, именем Темир Кутлуй и прочии цари Тохтамыша и сидя в Орде и в Сарай на царстве, а Тохтамыш сослался с Витовтом и бежа из Орды в Киев и с царями да два сына с ним» [40а, 71].

XI, 172], а Витовт кроме территории своего государства должен был владеть «Северщиною, Великим Новым городом и Псковом и Немцы, всеми великими княжениями Русскими» [41, XI, 172].

Текст, помещенный в «Хронографе», оказался еще более четким, еще более развернутым: «Витовт рече: „Я тебя посажу на Орде, и на Сарай, и на Болгарех, и на Азтархан, и на Озове, и на Заятцькой Орде, а ты мене посади на Московском великом княжении и на всей Семенатьцати тем и на Новгороде Великом и на Пскове, а Тверь и Рязань моя и есть, а Немцы и сам возму”» [45а, 423].

Как мы видим, излагавшие ход переговоров 1398 г. летописные тексты дают перечни ордынских и русских территорий с таким знанием дела, с таким приближением к официальной ордынской терминологии (особенно показательны в этом смысле Никоновская летопись и «Хронограф»), что невольно возникает вопрос о наличии в руках летописца каких-то официальных документов не только русского, но и ордынского происхождения; в частности, в данном случае речь может идти как о договорных грамотах, так и просто о традиционных ордынских ярлыках на русские земли. Рассматривая соглашение Витовта с Тохтамышем 1398 г., польский историк А. Прохаска прямо ставил вопрос о выдаче тогда же Тохтамышем литовскому князю ярлыка на обладание русскими землями [424], а следовательно, и вопрос об использовании текста этого ярлыка русскими летописцами.

Если обратиться к сравнительно поздним ярлыкам крымских ханов (конца XV — начала XVI в.), составлявшимся обычно на основе более ранних ярлыков [136а; 355а; 629, № 138; 424; 176, 87, 457—462; 311], то здесь привлекает внимание не только наличие общей с данными летописными текстами терминологии, но и присутствие ряда таких реалий, которые нашли то или иное отражение и в летописях. Так, дошедшие до нас копии ярлыков Хаджи-Гирея 1461 г. и Менгли-Гирея 1507 г. опирались на более ранние ханские ярлыки, в частности на ярлык Тохтамыша [629, № 138; 176, 457—462]. Ярлыки, как правило, повторяли друг друга, часто распоряжались судьбой одних и тех же территорий. Хорошо сохранившийся ярлык Менгли-Гирея дает наиболее об-

ширный перечень русских земель, закрепляемых властью Орды за литовскими князьями: здесь упомянуты многие «тмы» тогдашней Руси (Киевская, Черниговская, Курская и др.), кроме того, сказано о передаче Литве прав на Рязань, Одоев, Новгород, Псков и т. д. Ярлык Хаджи-Гирея содержит более скромный перечень земель, но здесь также упомянут Новгород.

Сохранившиеся упоминания о ярлыке Тохтамыша говорят о закреплении за Витовтом киевской и смоленской земель [629], но, по-видимому, в самом ярлыке перечень русских земель был более обширным.

Так, сопоставление сохранившихся ханских ярлыков с отмеченными выше летописными текстами убеждает нас в том, что летописцы в данном случае шли не по линии литературного вымысла, а по линии использования официальных ордынских документов, причем излагали их содержание более подробно, чем делали это последующие ярлыки — Хаджи-Гирея 1461 г. и Менгли-Гирея 1507 г.

Так, отражая важный этап политической и идеологической подготовки Витовта и Тохтамыша к схватке с Едигеем, эти летописные тексты представляли большой интерес как с точки зрения фиксации важных исторических процессов, происходивших тогда на просторах Восточной Европы, в частности процессов консолидации русской земли, так и с точки зрения раскрытия традиционных тактических приемов ордынской державы, сводившихся к умелому использованию ее «исторических прав» на восточноевропейские территории в форме раздачи ярлыков на русские земли тем или иным ее правителям¹⁴, о чем уже говорилось выше.

Таким образом, сформулированная летописью под 1398 г. общерусская программа Витовта была не данью

¹⁴ То обстоятельство, что в данном случае Тохтамыш «пожаловал» Витовту всю русскую землю, отнюдь не свидетельствовало об отказе Орды от ее традиционной тактики поощрения соперничества между различными русскими князьями, от приемов сталкивания различных правителей русской земли, приемов, нацеленных на поддержание равновесия между ними и создания таким образом условий для сохранения ордынской власти над восточноевропейскими территориями. Максимальные уступки Тохтамыша Витовту в 1398 г. были показателем лишь максимального ослабления бывшего ордынского царя. Мы знаем, что реальный правитель Орды того времени — Едигей строго следовал тогда тактике ордынской дипломатии в Восточной Европе.

далекому историческому прошлому, не литературным вымыслом, а фиксацией реальных политических устремлений «короля Литвы и Руси», одним из проявлений происходившего тогда процесса консолидации русских земель.

Но, говоря о деятельной подготовке Витовта к схватке с усилившейся тогда Ордой Едигея, отмечая наличие у «короля Литвы и Руси» таких союзников, как Тохтамыш и Орден, мы не должны забывать, что великому княжеству Литовскому и Русскому тогда силой обстоятельств было противопоставлено Великое Владимирское княжение, которое хотя и не обнаруживало желания начинать вооруженную борьбу против Витовта, тем не менее явно не одобряло честолюбивых планов литовско-русского князя в отношении Великого Новгорода, Твери, Рязани и других городов Северо-Восточной Руси [30, 395; 42а, 165; 41, XI, 171]. Не удивительно поэтому, что на протяжении 1398—1399 гг. происходило быстрое ухудшение отношений между Москвой и Вильно. Показателями этой тенденции политической жизни Восточной Европы, симптомами начавшегося «размывания триумвирата» следует считать такие события, как неожиданное примирение Москвы с Великим Новгородом осенью 1398 г. и вытеснение с берегов Волхова литовского влияния, заключение мира Василия I с Тверью в 1394 г. [60, 450; 45, 143], а возможно, и такие менее значительные факты, как смерть супруги литовского князя Семена Лугвеня — дочери Дмитрия Донского Марии [45, 143; 60, 449; 41, XI, 172], предварительные переговоры князя Василия I со смоленским князем Юрием Святославичем, находившимся тогда в Рязани, по поводу выдачи замуж его дочери за брата великого князя московского — князя Юрия Дмитриевича (свадьба состоялась, правда, лишь в 1400 г. [60, 453]).

Все это свидетельствовало о том, что в политической жизни Восточной Европы действительно происходили важные сдвиги, что хорошо улавливали летописи промосковской ориентации (Троицкая, Симеоновская).

Так, сказав о заключении мира Москвы с Великим Новгородом и Тверью, Троицкая и Симеоновская летописи сообщают: «Съединишася русские князи все за один и бысть радость велика всему миру» [45, 143; 60, 450].

Но в данных летописях речь шла не только о самом факте консолидации ряда русских князей, но и о том, против кого эта консолидация была направлена. «Того же лета, — читаем мы в Троицкой и Симеоновской летописях под 1399 г., — послаша князи Рустии грамоты разметные к Витовту» [60, 449], правда, намечавшийся разрыв дипломатических отношений между Москвой и Вильно все же не означал, что князь Василий I готов был вместе с Едигеем и Тимур-Кутлуком выступить против Витовта.

Весьма важным симптомом ухудшения московско-литовских отношений был переезд митрополита Киприана из Москвы в Литву, совершенный, видимо, зимой 1398/99 г. [60, 450]. Еще недавно Киприан стремился «равномерно» представлять интересы всех крупных князей русской земли, выступая в роли «отца четырех своих сыновей» — Василия московского, Михаила тверского, Витовта литовского и Олега рязанского [41, XI, 168]. Теперь положение изменилось. В глазах Киприана наиболее «перспективным» главой русской земли становился Витовт с его планами консолидации Руси, с намерениями вести борьбу против Едигея. Не исключено, что митрополит Киприан не только оказался втянутым в эту политику Витовта, но и сам был одним из ее вдохновителей. Не удивительно поэтому, что накануне возможной реализации грандиозной программы Витовта митрополит Киприан счел нужным находиться в непосредственной близости от него. «Тое же зимы, — читаем мы в Троицкой летописи под 1398 г. — был Киприан митрополит в Тфери на сырой недели и отселе поеха в Литву к Витовту» [60, 449]¹⁵.

Так происходило размежевание сил в Восточной Европе накануне исторического сражения на берегах Ворсклы.

Витовт собрал тогда на Среднем Поднепровье огромную армию, состоявшую главным образом из литовско-русских полков под командой Андрея Ольгердовича полоцкого, Дмитрия Ольгердовича брянского, Ивана

¹⁵ [60, 449]. Поездка Киприана в Тверь, возможно, была, с одной стороны, оправданием его ухода из Москвы, а с другой — попыткой перетянуть тверского князя в лагерь Витовта, но попыткой тщетной [42а, 165].

Борисовича киевского, Ивана Ольгемунтовича гольшанского, Глеба Святославича смоленского, князей волинских, князя Федора Патрикеевича рыльского и многих других [41, XI, 174]. Кроме литовско-русских полков здесь находились отряды татар Тохтамыша [75, X, 494, 495], около 100 крестоносцев [95, 250], а также 400 воинов из Польши [126, 96—97]¹⁶.

Одновременно с приготовлениями Витовта и Тохтамыша к решительному столкновению со своими противниками происходила военно-политическая подготовка к борьбе и в лагере Едигея — Тимур-Кутлука.

В течение зимы 1398/99 г. на территории Орды собиралась армия, весной 1399 г. она была переброшена к рубежам великого княжества Литовского. Опираясь на эти вооруженные силы, Тимур-Кутлук тогда же направил в Вильно своих послов с требованием выдать Тохтамыша.

Факт этого посольства известен как восточным авторам [58, 469—470], так и русским летописцам. «Того же лета, — читаем в Никоновской летописи под 1399 г. [41, XI, 172], — царь Темир-Кутлуй присла послы своя к великому князю Литовскому Витофту... глаголя сице: „выдай ми царя беглого Тохтамыша, враг бо ми есть и не могу трпети, слышав его живы суа и у тебя живуца”». Витовт прекрасно понимал, что уход из его лагеря Тохтамыша равносителен краху всех его политических замыслов, ибо ярлык на русские земли ему мог дать не Тимур-Кутлук, а только Тохтамыш. Не удивительно поэтому, что требование ордынских послов было категорически отвергнуто: «Язь царя Тохтамыша не выдамъ, — заявил Витовт, — а со царем Темир-Кутлем хочу ея видети сам» [41, XI, 172].

После неудачи этих переговоров начались непосредственные приготовления к вооруженной борьбе. Обе армии встретились на берегах Ворсклы. Здесь, по-видимо-

¹⁶ Незначительное количество польских воинов на берегах Ворсклы в 1399 г. подтверждало негативное отношение феодальной Польши к тогдашней политике Витовта на востоке Европы, к его планам создания независимого от Кракова «королевства Литовского и Русского».

Не представляются в связи с этим убедительными попытки Коляновского [553, 67, 70—71] трактовать действия Витовта на Ворскле как действия, якобы в полной мере согласованные с польским двором и отвечающие будто бы интересам польской короны.

му, Едигей еще раз попытался дипломатическими средствами подчинить своему влиянию Витовта и Тохтамыша. Никоновская летопись, хорошо информированная о ходе происходивших тогда переговоров, как, впрочем, хорошо осведомленная, по мнению Л. В. Черепнина, и о всем комплексе тогдашних отношений восточноевропейских государств с Тохтамышем, Тимуром, Тимур-Кутлуком, Едигеем и т. д. [417, 244—251], сообщала о том, что сначала Витовт, как бы претворяя в жизнь намеченные им и Тохтамышем планы, потребовал от Тимур-Кутлука полного подчинения себе, а соответственно, видимо, и Тохтамышу. «Бог покори́л мне все земли,— говорил Витовт ордынскому хану,— покори́ся и ты мне и буди мне сын, а яз тебе отец, и давай ми всяко лето дани и оброки».

Тимур-Кутлук и стоявший за его спиной Едигей не только отвергли домогательства Витовта, но и сами предложили ему стать вассалом ордынской державы [41, XI, 173]. Едигей якобы заявил Витовту следующее: «Разумей убо, яко яз есмь стар предъ тобою, а ты млад предо мною, подобает мне над тобою отцом бити, а тебе у меня сыном бити, и дань и оброки на всяко лето мне плати со всего твоею княжения, и во всем твоём княжении на твоих денгах литовских моему ордынскому знамени быти» [41, XI, 173].

Совершенно очевидно, что эти предложения Едигея представляли собой открытое осуждение программы Витовта — Тохтамыша, прямое ее отрицание. Вполне понятно, что Витовт не мог согласиться с предложениями Едигея, а Едигей не мог принять условий Витовта — Тохтамыша.

Исход этого спора решила, как известно, грандиозная битва, происшедшая 12 августа 1399 г. на берегах Ворсклы. Витовт потерпел страшное поражение. Армия литовского князя почти целиком полегла на поле битвы. Погибли многие литовско-русские князья, которые оказывали Витовту поддержку в его борьбе за создание независимого Литовско-Русского государства, а еще раньше боролись под знаменами Дмитрия Донского за освобождение русских земель от ордынской власти [40а, 73; 41, XI, 174; 75, X, 494—497]. Все Поднепровье оказалось лишенным средств обороны, Киевщина и Волынь сразу стали жертвой татарского грабежа и разорения

[631, 431; 503, 100]. «И поиде царь Темир Кутлуй к Киеву, и взя с него окуп 3000 рублей литовским серебром, а силу свою все распусти воевать земли литовские, и ходиша рати татарские, воюючи даже до Великого Лучьского...» [40а, 73].

Но, разгромив армию Витовта, разорив район Киевщины и Волыни, ордынский правитель прекратил борьбу против своего противника. Помня, что решающим условием сохранения власти Орды над русскими землями было искусственное поддержание равновесия между ведущими политическими организмами Восточной Европы, преуспевающий Егидей умело применил и на этот раз традиционный прием ордынской дипломатии: всеми доступными ему средствами он в спешном порядке стал выравнивать силы двух княжений — с одной стороны, восстанавливать ослабленный Ворсклой политический потенциал великого княжества Литовского и Русского, а с другой — ослаблять окрепшее после Ворсклы Великое Владимирское княжение.

Так, Егидей не только сразу отказался от продолжения военных действий на территории Среднего Поднепровья, но тогда же, осенью 1399 г., начал боевые операции против Московской Руси на берегах средней Волги. «Тое же осени, — читаем мы в летописи, — князь Семен Суждальский приде ратью к Новугороду Нижнему, а с ним царевич Ептяк с тысячею татарь... И тако татарове Новгород взята октября в 25 день и пребыша ту со две недели» [40а, 73, 46, 173].

Инициатива этого похода на Нижний Новгород принадлежала Орде, а суздальско-нижегородский князь, как обычно, оказался орудием в руках ордынской дипломатии, что вытекало из заявления самого суздальского князя: «Князь Семен глаголаше: не азъ есмь створивый се, но татарове, а язъ не воленъ в них, а съ нихъ не могу» [40а, 73, 60, 453].

Кроме того, Орда попыталась ослабить контакты московского князя Василия с Тверью и Великим Новгородом, с князьями рязанскими и смоленскими. Так, Егидей сделал все, чтобы изолировать Тверь от московского князя в 1399—1400 гг. Если в 1398 г. Орда, видимо, не возражала против тесного сотрудничества тверского князя с московским правящим домом, сотрудничества, направленного тогда против Витовта [42а, 165],

то теперь, после Ворсклы, ордынская дипломатия явно не одобряла московско-тверских контактов. Воспользовавшись смертью тверского князя Михаила Александровича (1399 г.), Едигей сделал все, чтобы новый тверской князь, Иван Михайлович, был отдален от Москвы и оказался бы послушным орудием в руках ордынской дипломатии. Так, тверской князь Иван Михайлович не только был вызван после смерти отца в Орду, не только получил там ярлык на тверское княжение [41, XI, 183], но и был направлен в Тверь в сопровождении видных ордынских дипломатов. «Тое же осени сентября приде из Орды княж Михайлов, киличей именем Ельча, а с нимъ посоль Тамир-Кутлуев именем Бекшик и Саткинъ... и привезоша ярлыки писаны на его имя» [60, 452].

Показательно, что тогда же, в 1400 г., Орда начала активные боевые действия против Рязани, направив на рязанские земли значительные соединения татарских войск [41, XI, 184]. Эти операции были рассчитаны не только на возвращение Рязани в сферу политического влияния Орды, но также и на пресечение тесных политических контактов рязанского князя Олега Ивановича со смоленским князем Юрием Святославичем, долгое время находившем себе приют на рязанской земле [41, XI, 184].

Проводившаяся тогда Едигеем политика выравнивания сил Москвы и Вильно привела еще и к тому, что Великий Новгород, выступавший в 1398 г. союзником Владимирского княжения против Витовта, теперь, в 1400 г., принял решение о восстановлении своих отношений с великим княжеством Литовским. Под 1400 г. в Новгородской летописи мы читаем: «Той же осени ездisha от Новгорода послом Климентий Васильевич, сын посаднич, в Литву к князю Витовту, и взяша мир по старине» [30, 396]. Но как ни продуманы были все эти шаги ордынской дипломатии в Восточной Европе, Владимирское княжение, видимо, усилилось в эти годы настолько, что оказалось в состоянии успешно противодействовать натиску Орды. Против брошенных на Нижний Новгород войск князя Семена суздальского и татар царевича Ентяка были выставлены силы Московской Руси под командованием князя Юрия Дмитриевича. Проведя три месяца на Средней Волге, московские полки «взяша град Болгары, Жукотин, Казань, Кременьчук и всю зем-

лю их повоева и много бесермен и татар побиша, а землю татарскую плениша» [40а, 73; 60, 453].

Дав отпор ордынским силам, армия московского князя Юрия «возвратися с великою победою и со многою корыстью в землю русскую» [40а, 73; 60, 453]. В 1401 г. Москва организовала еще один поход на Среднюю Волгу, результатом которого было пленение суздальской княгини Александры, жены суздальского князя Семена [60, 455].

Московскому князю удалось тогда не только сохранить в фарватере своей политики Рязань (она вела тогда активную вооруженную борьбу с ордынцами [41, XI, 184]), но и наметить решение смоленской проблемы. Так, при энергичной поддержке Рязани и Москвы¹⁷ смоленский князь Юрий Святославич получил возможность вернуться в Смоленск [41, XI, 184; 30, 397].

«Той же осени прияша Смолняне князя своего Юрия Святославича на княженье, а княжа наместника Витовтова князя Романа Брянского убиша» [30, 397]. Предпринятые тогда же попытки самого Витовта исправить положение не дали результатов. Весьма характерно, что проведенные Витовтом у стен Смоленска военные операции большого масштаба¹⁸ не только не были осуждены Ордой, но, видимо, получили скрытое одобрение.

Таким образом, несмотря на все усилия Орды выравнивать силы великого княжества Литовского и Великого Владимирского княжения, Московская Русь сохраняла свое влияние на средней Волге, Рязани, Смоленске, возможно, что оно полностью не было вытеснено из тверской земли, а также с берегов Волхова. А это означало, что Орда снова теряла свой контроль над процессами консолидации русских земель, на этот раз консолидации уже не вокруг великого княжества Литовского и Русского, а вокруг Владимирского княжения. По сути дела, этот печальный для Орды итог политической жизни Во-

¹⁷ Весьма показательно, что Москва санкционировала женитьбу князя Юрия Дмитриевича, осуществлявшего успешные операции против татар на Средней Волге, на дочери смоленского князя Юрия Святославича Анастасии («В лето 6908 (1400) князь Юрьи Дмитриевич на Москве оженился у князя Юрья Святославича Смоленского, поя за ся дщерь его, именем Настасию») [60, 453].

¹⁸ «И приходи князь Витовт со всею силою литовскою к Смоленску, и стоя под городом 4 недели, и биша пушками город и отъиде от города, с князем Юрьем мир взем по старине» [30, 397].

сточной Европы стал очевиден в 1401 г., когда произошло то, чего больше всего боялась ордынская дипломатия: произошло новое сближение Великого Владимирского княжения с великим княжеством Литовским. «Князь великий Василий Дмитриевич Московский, — читаем мы в летописи под 1401 г., — и князь великий Иван Михайлович Тверской и князь великий Витовт Кейстутевич Литовский сътвориша за един мир и любовь межи собою» [41, XI, 184].

Это означало, что не только не было восстановлено необходимое Орде противопоставление Москвы Литовской Руси, но произошло даже новое сближение Московского государства с Литовско-Русским, возродилась практика московско-литовского сотрудничества, восторжествовала тенденция консолидации русских земель.

Весьма показательной для этих перемен была и новая позиция митрополита всея Руси Киприана: учтя характер происшедших сдвигов в политической жизни Восточной Европы, он снова оказался в Москве. Он снова стал рассматривать Московскую Русь в качестве наиболее реального, наиболее действенного помощника в реализации его политических планов. Только такими политическими расчетами Киприана следует объяснять созванный им в 1401 г. в Москве церковный собор с весьма широким кругом участников. На нем присутствовали как представители епархий Литовской Руси (епископ луцкий Савва, архиепископ черниговский Исакий), так и представители Северо-Восточной Руси (епископы: ростовский Григорий, суздальский Нафанаил, тверской Арсений, рязанский Ефросин, сарский и подольский Феогност, коломенский Григорий, а также архиепископ Великого Новгорода Иван).

Весьма характерно, что на соборе митрополит Киприан не только «возложил брань» на двух вышедших из-под его контроля еще в предшествующий период епископов, но и предложил им оставить свои кафедры. Исходя из того, что «ничтоже тако сети демонские разрушает, якоже покорение и смирение», он рекомендовал уйти на покой новгородскому владыке Ивану, а также луцкому епископу Савве [41, XI, 185]. Показательно, что митрополит Киприан, зная склонности к политиканству того и другого, предписал им «от себе с Москвы не съезжати» [41, XI, 185].

Таким образом, становится очевидным, что Киприан независимо от своего местонахождения продолжал оставаться сторонником единства русской церкви, а вместе с тем и поборником консолидации русских земель, не придавая при этом решающего значения вопросу о том, какой именно город станет в конце концов центром объединенной Руси.

Но если для Киприана проблема объединения русских земель была стержнем его политической программы, а выбор центра этого объединения представлялся вопросом второстепенным, по сути дела вопросом тактики, то для Витовта и Василия, выдвигавших также программу консолидации Руси (именно на этой почве они находили общий язык с Киприаном), вопрос о центре будущего объединения был, естественно, вопросом первостепенной важности: от того или иного расположения этого центра зависело, кто из них будет главой консолидированной Руси, кто из них прежде всего воспользуется результатами ликвидации того акта «расщепления», по существу «раздела» русской земли, который свершился в 1385 г. усилиями ее соседей.

Поэтому не удивительно, что установившееся на короткое время в 1401 г. московско-литовское сотрудничество при ведущей роли Москвы приветствовалось Киприаном, но не вызывало большого энтузиазма у Витовта, а что касалось Золотой Орды, с одной стороны, и Польши — с другой, то они, естественно, осуждали наметившуюся тенденцию сближения двух ведущих восточноевропейских государств и сделали все от них зависящее, чтобы парализовать возникшие тогда контакты между Московской Русью и великим княжеством Литовским.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ПОЛИТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ в 1400—1420 гг.

Политическая жизнь стран Восточной Европы в первом десятилетии XV в.

Ритм политической жизни восточноевропейских государств в первом десятилетии XV в. определялся, как и в предшествующий период, не только их внутренним поступательным развитием, но также значительным воздействием международного фактора, в частности воздействием таких мощных государственных организмов того времени, как ордынская держава, Империя, Орден, а вместе с тем и таких заметных политических сил рассматриваемой эпохи, как Рим и Константинополь.

Если иметь в виду тогдашнюю восточноевропейскую политику ордынского государства, политику последнего ордынского «самодержца», Едигея, то ее действенность во многом зависела, как и раньше, от уровня «централизованности» этого государства, а также от его отношений с Мавераннахром.

Указанная зависимость давала себя знать на всем протяжении политической карьеры Едигея. Но эта зависимость была очевидной и в самом ее начале, когда в результате решительной победы правителя Мавераннахра Тимура над ордынским царем Тохтамышем (15 апреля 1395 г.) не только реально обозначились два варианта дальнейшего развития ордынской державы, но и определились в связи с этим различные политические возможности ордынской дипломатии в Восточной Европе. Так, первый вариант наметился сразу после победы на Тереке, когда Тимур, поверивший в свое полное торжество над Тохтамышем, стремился сохранить полити-

ческий и экономический потенциал Орды¹, а также старался проводить восточноевропейскую политику в рамках традиционного ордынского великодержавия, имея в виду сохранение власти Орды над Восточной Европой методами искусственного поддержания равновесия между ведущими государствами данной части Европейского континента².

Второй вариант политического развития ордынской державы определился после того, как Тимур, оказавшись перед фактом нового «воскрешения» Тохтамыша, встал на путь решительного подрыва ее экономики³, а также превращения относительно «централизованной» Орды в комплекс полусамостоятельных или самостоятельных «улусов», которыми стали теперь управлять соперничавшие друг с другом Койричак, Тимур-Кутлук, Едигей, Таш-Тимур и др. [350, 174—175].

Естественно, что указанные сдвиги в хозяйственном и политическом развитии Золотой Орды не могли не сказаться на характере деятельности ордынской дипломатии в Восточной Европе, не могли не ослабить ее реальных связей со странами данного региона. По всей видимости, одним из прямых результатов продолжавшегося около трех лет ордынского «невмешательства» в дела восточноевропейских стран сказалась явно обозначившаяся в 1395—1398 гг. активизация сдерживаемых до сих пор процессов консолидации русских земель, получивших яркое выражение в сближении Владимирского княжения с Литовской Русью, в фактах тесного сотрудничества в эти годы Витовта, Василия I и Киприана.

¹ Это выразилось в первоначальном намерении Тимура передать всю полноту власти над Ордой одному хану Койричаку [59, 178], а также в том, что правитель Мавераннахра до глубокой осени 1395 г. сознательно воздерживался от разрушений главных политических и хозяйственных центров ордынской державы.

² Об этом свидетельствовал поход Тимура на Среднее Поднепровье, в район Манкermana — Киева [59, 121, 179; 168, 378], имевший, видимо, целью не только преследование Тохтамыша [58, 363; 59, 306], но и ослабление окрепшего тогда польско-литовского объединения; об этом же говорил и его отказ от разорения основных территорий Великого княжения Владимирского во время кампании 1395 г.

³ В ходе осенне-зимней кампании 1395—1396 гг. тимуровские войска разорили и разрушили такие важные центры ордынской державы, как Азак (Азов), Крым, Кафа, Маджар, Хидиш-Тархан (Астрахань), Сарай-Берке и т. д. [59, 184—185; 168, 371—372].

Однако характер взаимоотношений ордынской дипломатии со странами Восточной Европы стал иным, как только Едигею в 1398 г. удалось преодолеть «полицентризм» Золотой Орды и стать фактическим правителем всей ордынской державы при номинальном царе — Тимур-Кутлуке⁴.

С этого момента заметно активизируется ордынская политика как в отношении Мавераннахра, Хорезма, так и в отношении Восточной Европы. Едигей не только вынудил тогда Тохтамыша перебраться из Крыма в Литву к его союзнику Витовту, но и каким-то способом обеспечил нейтралитет Владимирского княжения, что было особенно важно накануне решающей схватки ордынских армий с войсками великого княжества Литовского, происшедшей на берегах Ворсклы.

Одержав победу в 1399 г., Едигей получил еще большую возможность осуществлять традиционную великодержавную политику Орды в Восточной Европе, добиваясь сохранения ордынской власти в данном регионе не только путем искусственного выравнивания сил между ведущими восточноевропейскими государствами, но и путем все более изощренного столкновения их друг с другом. Так, опираясь на возросшую мощь вновь «централизованной» ордынской державы, Едигей не только старался парализовать процессы консолидации русских земель и затруднить сближение Владимирского княжения с великим княжеством Литовским на основе «общерусской программы», но и стремился обострять существовавшие между этими княжествами противоречия до такой степени, при которой вооруженные конфликты на московско-литовских рубежах становились неизбежными. Но, говоря о восточноевропейской политике ордынской державы на рубеже XIV—XV вв. с ее «историческими правами» на древнерусские территории, с ее хорошо разработанной тактикой столкновения русских князей друг с другом, с ее практикой весьма целенаправленной раздачи ярлыков на те или иные княжения, со всем тем, что так умело использовалось и для сохранения ордын-

⁴ Один из персидских авторов «Аноним Искандера» подчеркивал, что только после изгнания Тохтамыша из Северного Причерноморья и Крыма в Литву в 1398 г. «Тимур Кутлуг и Идигу... стали действовать совместно в делах государства и в небольшое время привели в порядок ушедшее из рук царство» [59, 133].

ской власти в данном регионе, и для сдерживания процессов консолидации русской земли, мы должны помнить, что страны Восточной Европы испытывали на себе весьма значительное влияние и других политических сил того времени, в частности влияние таких западных соседей, как Империя и Орден, с одной стороны, феодальная Польша — с другой.

Мы не можем не учитывать, что это была эпоха, когда Империя и Орден [567, 530, 603, 672] в тесном контакте с римской курией [665, 613, 614] выдвигали обширную программу территориальной экспансии как в Юго-Восточной [541, 643], так и в Северо-Восточной Европе [566, 567, 587], эпоха, когда император Сигизмунд, несмотря на свое поражение под Никоподем в 1396 г. [642, 550], продолжал вынашивать планы широкого «европейского универсализма» с целью распространить свое влияние на значительные территории юго-восточной и северо-восточной частей Европейского континента [466, 603].

Вместе с тем мы не можем забывать, что это был тот важный период в истории феодальной Польши, в течение которого она выдвигала свой вариант «универсализма», свой план переустройства Восточной Европы, нацеленный не только на сдерживание Империи [527, 528, 603] и решительное ослабление Ордена [503, 525, 557, 566, 587], но и на упрочение польско-литовской унии [451, 517, 527, 460, 527] и усиление позиций католической церкви [444, 447, 490, 491], а кроме того, и на утверждение польского влияния в придунайских княжествах [623, 643, 447]. Мы не должны также упускать из виду и то обстоятельство, что это был тот этап в истории Византии, когда она, несмотря на усиливающийся турецкий натиск, продолжала поддерживать самые интенсивные связи с православными странами Восточной Европы, осуществлять тесное взаимодействие с православной церковью русской земли, рассчитывая на ее политическую и материальную помощь [213; 607; 604; 480а, 489, 492].

Таким образом, весьма сложной и запутанной была международная обстановка, в которой происходило политическое развитие стран Восточной Европы на протяжении первого десятилетия XV в. Тем не менее учет всего комплекса международных отношений той эпохи

представляется необходимым при изучении конкретного хода тогдашней политической жизни таких восточноевропейских государств, как Великое Владимирское княжение и великое княжество Литовское и Польша.

* * *

Анализ политических событий, происходивших на территории Восточной Европы в конце XIV столетия, уже показал нам, насколько тесно переплеталось тогдашнее развитие великого княжества Литовского и Великого Владимирского княжения с общим ходом международной жизни того времени. Изучение указанных событий убеждает нас в том, что важные изменения в соотношении сил восточноевропейских стран рассматриваемой эпохи действительно происходили при том или ином участии соседних феодальных государств. Однако данное наблюдение отнюдь не равнозначно признанию того положения, что такое участие формировало весь ход исторического развития восточноевропейских стран, определяло магистральные исторические процессы, происходившие тогда в этой части Европейского континента. Речь в данном случае может идти лишь о том, что внешние силы, вмешиваясь в политическую жизнь стран рассматриваемого региона, только использовали в своих интересах протекавшие здесь закономерные исторические процессы.

Об этом свидетельствует, как нам представляется, и анализ политического развития стран Восточной Европы на протяжении первого десятилетия XV в.

Как мы уже видели, победа, одержанная Едигеем на берегах Ворсклы в августе 1399 г., лишила Литовско-Русское княжество той ведущей роли, которую оно играло в политической жизни всех русских земель, всей Восточной Европы конца 90-х годов XIV столетия. Но если великое княжество Литовское не могло теперь претендовать на ведущую роль в реализации программы консолидации Руси, то это, разумеется, не означало, что данная программа вообще перестала существовать.

На протяжении ряда лет после 1399 г. программу восстановления целостности русской земли пытались реализовать Владимирское княжение. Именно Москва при поддержке внутренних сил феодальной Руси, а так-

же при содействии Царьграда стала тогда главным объединительным центром. Именно в Москву вскоре после Ворсклы прибыл митрополит всея Руси Киприан, и здесь в 1401 г. произошел съезд ведущих церковных деятелей Северо-Восточной и Юго-Западной Руси [41, XI, 185]. Именно на сторону Москвы в эти годы перешли такие крупные центры русской земли, как Смоленск [30, 397; 48, 231; 41, XI, 185] и Рязань [16, № 19; 41, XI, 184, 186, 209, 125, 135—136; 246, 243—245]. Сотрудничал тогда с московским князем Василием Дмитриевичем и Великий Новгород [41, XI, 186]; проявляли тяготение к Москве и суздальско-нижегородские князья [435, 430—431]. Разумеется, эта тенденция объединения русских земель вокруг Москвы, тенденция нового сближения Василия I с литовско-русскими феодалами не могла оставаться не замеченной ни в Польше, ни в ордынской державе.

Реакция правящих кругов Польши была негативной. На первых порах осуждение тенденции объединения русской земли было довольно сдержанным и лишь позднее приобрело более энергичный, наступательный характер. Эта медлительность тогдашних политических лидеров польского государства имела свои причины. Хотя поражение Витовта на Ворскле (обусловленное в какой-то мере и пассивностью Польши) и предотвратило рождение самостоятельного «литовско-русского королевства», хотя эта неудача «короля Литвы и Руси» и создала, казалось, весьма выгодную для польских феодалов расстановку сил в Восточной Европе, тем не менее польское государство, скованное как наметившимся резким усилением Едигея, так и возникшими внутривосточными трудностями, не смогло сразу перейти к реализации своих планов на востоке, не смогло сразу сделать решительные шаги на пути дальнейшего сращивания Польши и Литвы. Дело в том, что после смерти королевы Ядвиги польские феодалы не считали уже Ягайло «благонадежным» королем Польши, энергичным и последовательным защитником их интересов в Восточной Европе. В глазах польского магнатства и шляхты Ягайло перестал играть роль связующего звена между Польшей и великим княжеством Литовским; по их мнению, он не выполнил данное в 1385 г. обещание относительно инкорпорации Литвы и тем самым «не оправдал свое

пробывание на краковском престоле» [528, I, 471; 618, 619]. Это новое отношение польской знати к своему королю литовско-русского происхождения было настолько очевидным, что сам Ягайло предпочел покинуть Краков и двинуться сначала на территорию Галицкой Руси, а затем и на земли великого княжества Литовского и Русского.

В октябре 1399 г. он был во Львове, в ноябре — в Корчине, позднее, по утверждению Длугоша, он оказался на территории Литвы [75, X, 511, 518; 553, 79]. В создавшейся тогда в Польше политической обстановке, напоминавшей во многом обычное «бескорольевье», перед польскими феодалами возникла дилемма: либо искать нового короля для Польши, либо путем новой женитьбы Ягайло на княжне польского происхождения сделать его опять таким «благонадежным» правителем польского государства, который был бы способен продолжать форсирование польско-литовской унии. Правящие круги Польши после некоторых колебаний пошли по второму пути. Они стали искать подходящую невесту для овдовевшего короля Ягайло и одновременно готовить почву для оформления нового акта польско-литовской унии.

Невестой Ягайло оказалась внучка короля Казимира — Анна Цилийская (ее матерью была Анна, дочь Казимира, отцом — граф Цилийский Вильгельм) [89, 925; 458, 411—414]. После длительных переговоров зимой 1400/01 г. Анна Цилийская летом 1401 г. прибыла в Краков, а в 1402 г. состоялась ее коронация [75, 508, 517].

Но параллельно с мероприятиями по «восстановлению» позиций Ягайло на польском престоле польское правительство попыталось «восстановить» и польско-литовскую унию. 18 января 1401 г. в Вильно было подписано соглашение между польским королем Ягайло и литовским князем Витовтом [65, № 39], которое в исторической литературе не без оснований рассматривается как новый акт унии Литвы и Польши [126, 105; 176, 127; 511, I, 162]. Формально виленское соглашение 1401 г. не было инкорпорацией Литвы в состав польского государства. Данный акт был лишь обещанием литовско-русских феодалов, а также самого Витовта сохранять вассальную верность польскому королю. Вместе с тем

этот акт утверждал Витовта пожизненным обладателем Литовско-Русского княжества (что, естественно, предполагало сохранение элементов какой-то самостоятельности этого княжества) [511, I, 162]. Кроме того, этот документ декларировал необходимость осуществления общей внешней политики и проведения совместных военных операций Польши и Литвы. Таким образом, с формально-юридической точки зрения виленское соглашение не было актом инкорпорации. Но отсутствие в этом договоре специального пункта об инкорпорации еще не означало, что польские феодалы на самом деле были далеки от подобных политических замыслов в отношении великого княжества Литовского. Сохранение автономии Литвы и предоставление Витовту права пожизненного владения этим княжеством было лишь тактикой правящих кругов польского государства, стремившихся таким путем оторвать Витовта и литовско-русских феодалов от продолжавшегося еще в 1400 г. сотрудничества с Киприаном и Василием I. Не добившись этой цели предоставлением соответствующих льгот как Витовту, так и литовско-русским феодалам, государственные деятели Польши позаботились о том, чтобы политическая самостоятельность Литвы в короткий срок была бы сведена к минимуму. Не случайно уже в соглашении 1401 г. Ягайло трактовался не только как польский король, но и как князь литовский и наследник Руси [65, № 39, 38, 40]. Не случайно правящие круги польского государства заставили присягнуть одновременно с Витовтом и других литовско-русских князей, оставшихся в живых после разгрома на Ворскле: князя друцкого Семена Дмитриевича, князя гольшанского Ивана Ольгимунтовича, князя Юрия Довгарда, князей Юрия и Андрея заславских [65, № 40, 41, 42, 43], наконец, и князя Свидригайло [95, 244]. Не случайно также «польские прелаты и папы довольно быстро лишили Витовта возможности проявлять какую-либо инициативу на международной арене» [65, № 45], заставили его не только осуществлять совместную с Краковом внешнюю политику, но и гарантировать сохранение за Польшей верховных прав на все вновь приобретенные территории [65, № 47, 48]. Таким образом, если по виленскому соглашению Литва формально и не была инкорпорирована Польшей, то по существу данный договор создал все

условия для ее полного подчинения польскому государству⁵.

Итак, мы видим, что Витовт, хотя и сохранил свой великокняжеский титул, хотя и являлся пожизненным владельцем Литовско-Русского княжества, на деле оказался вассалом польского короля, политическим орудием в руках польских феодалов. Уже в начале первого десятилетия XV в. влияние польского короля становилось доминирующим как в отношении поведения Витовта на международной арене, так и в отношении внутриполитической деятельности этого князя в Литовско-Русском государстве. Уже в эти годы Польша и Литва осуществляли совместные наступательные операции в Восточной Европе. Так, если в 1399 г. польское правительство не оказало должной поддержки Витовту на берегах Ворсклы и тем самым косвенно содействовало разгрому его армии и ликвидации политической элиты Литовско-Русского государства [41, XI, 185], то после 1401 г. Польша постоянно держала свои воинские формирования на территории Литвы, ежегодно направляя туда новые соединения [75, X, 514—515, 518, 535, 534—540]. Если в 1401—1406 гг. политические акции Витовта в Смоленске, Новгороде, Пскове и Рязани формально выглядели как мероприятия, продолжавшие политику «собираания» русских земель вокруг великого княжества Литовского и Русского, то по существу эти политические шаги Витовта означали не столько «собираание» русских земель вокруг литовско-русского княжества, сколько подчинение названных территорий польско-литовскому государству и его главе — польскому королю Ягайло. В этом отношении были характерны попытки Ягайло и Витовта укрепить влияние польско-литовского государства в Великом Новгороде (1401, 1405, 1407 гг.), Рязани (1402 г.), Пскове (1406 г.), Смоленске (1405—1406 гг.) [30, 397—400]. Показательно, что Новгородская IV летопись, комментируя захват Смоленска войсками Витовта, прямо подчеркивала под 1405 г., что Витовт «в Смоленске свои наместники посади и ляхи

⁵ Существующие в польской историографии разногласия по поводу трактовки унии 1401 г. являются, по-видимому, результатом того, что одни обращали внимание на юридическую форму этого акта [511, I, 162], другие старались оценить реальное значение этого акта в политической жизни Литвы и Польши [553, 74—76].

посажа и тем ляхам предаст град держати» [38, 397; 126, 112—116; 553, 80—85]. Сообщая об этом событии (ошибочно под 1403 г.) [635, I, 67], Длугош подчеркивал, что Витовт добился успеха главным образом благодаря участию в смоленской кампании значительных польских контингентов, что именно по этой причине Витовт направил основную часть смоленских трофеев польскому королю Ягайло [75, X, 520; 44; 518]. Характеризовали процесс срачивания Польши и Литвы также те грамоты Витовта 1405—1406 гг., в которых он давал гарантию передачи после своей смерти всех земель Литовско-Русского княжества (включая и Смоленск) во владение польской короны [65, № 47, 48].

Характеризовали тенденцию инкорпорации Литвы в состав Польши и те дипломатические переговоры, которые происходили тогда между Польшей и Литвой, с одной стороны, и Орденом — с другой [626, 264—270; 503; 65]. Во время переговоров польскому королю Ягайло удалось добиться такого соглашения с Орденом, которое было достигнуто главным образом за счет Литвы: Польше удалось выкупить за 40 тысяч злотых добжинскую землю (с городами Добжин и Злотарый) [75, X, 525; 102, I, № 23, 32—33], отданную Ордену в заставу еще Владиславом опольским, а Литва была вынуждена «окончательно» уступить Ордену Жемайтию (она была отдана ему еще по салинскому договору 1398 г.). Весьма показательной была также попытка раздела сфер влияния в Восточной Европе: за Орденом «закреплялся» Псков, за польско-литовским государством — Великий Новгород (по салинскому договору 1398 г. Новгород отходил только к Литве) [553, 64, 83; 566, 78, 80, 85].

Таким образом, тенденция поглощения Литовско-Русского княжества польским феодальным государством обнаруживала себя довольно отчетливо уже в начале первого десятилетия XV в. Витовт становился все более последовательным исполнителем воли правящих кругов феодальной Польши, оказывался «правой рукой» польского короля Ягайло [553, 79—86].

Изменившаяся политическая платформа Витовта не оставалась не замеченной среди феодальных верхов великого княжества Литовского и Русского. И чем очевиднее становилась перемена политических установок Ви-

товта в широких кругах литовско-русских феодалов, тем слабее оказывалась политическая опора его в литовско-русских землях, тем легче было его политическим противникам использовать возникшее недовольство части литовско-русской знати для открытого выступления против него.

Весьма характерно, что один из наиболее активных противников Витовта, князь Свидригайло, стал вести борьбу против него в первом десятилетии XV в., используя прежнюю политическую программу того же Витовта. Так, если еще в 1398—1400 гг. Свидригайло выступал против «сепаратиста» Витовта в качестве ставленника Польши (именно польское правительство предоставило ему часть Подолии [75, X, 519, 527; 620, 264; 553, 77]), то после 1401 г., когда Витовт сам оказался «правой рукой» польского князя, Свидригайло стал главой анти-польской оппозиции в Литовской Руси, стал лидером так называемого литовского сепаратизма [553, 80—81, 86]. Если внутренней опорой Свидригайло тогда были феодальные элементы Литовско-Русского государства, недовольные усилившейся тенденцией сращивания с Польшей, то на международной арене он заручился сначала поддержкой Ордена (за это он заплатил 2 марта 1402 г. подтверждением салинского договора [102, I, № 10; 71, № 249]), потом установил политические контакты с Ордой (есть сведения о его переговорах с ханом Шадибеком) [15а, 293], наконец, вступил в переговоры с московским правительством, которые завершились в 1408 г. его переходом на сторону Владимирского княжения [45, 142; 46, 154; 42а, 181].

* * *

Но это, ставшее явным в 1408 г. сближение князя Свидригайло с главой Владимирского княжения было результатом длительного скрытого сотрудничества определенных феодальных группировок московского государства и Литовской Руси, выдвигавших программу широкой консолидации русских земель, оказалось следствием сложной политической борьбы, происходившей в предшествующие годы как внутри этих государственных образований, так и на международной арене.

Для того чтобы лучше понять значение перехода

Свидригайло на сторону Москвы в 1408 г., так же как и характер всей политической борьбы того времени на территории Восточной Европы, следует иметь в виду «предысторию» этих событий, сложные исторические процессы, происходившие внутри этих восточноевропейских государств в предшествующий период, следует учитывать существование хорошо известных нам противоречивых тенденций в политической жизни польско-литовского объединения (тенденцию сращивания Литвы с Польшей и тенденцию отстаивания литовско-русской самостоятельности), следует, кроме того, помнить и о наличии в политических настроениях московских лидеров противоречивых концепций — концепции ускоренного и «экстенсивного» собирания русских земель, предполагавшей широкое использование контактов с феодалами Литовской Руси, и концепции замедленного, но более «интенсивного» собирания русских земель, реализация которой связывалась не столько с расширением московско-литовского сотрудничества, сколько с дальнейшей «внутренней» консолидацией уже объединенных Владимирским княжением территорий (Москва, Рязань, Тверь, Суздальско-Нижегородское княжество и т. д.), а также с попытками более тесного сближения Москвы с Великим Новгородом и Псковом.

Имея в виду существование указанных тенденций в историческом развитии польско-литовского объединения и Московской Руси, мы можем лучше понять и сущность тех сдвигов в политической жизни стран Восточной Европы, которые были связаны с переходом Свидригайло на сторону Москвы в 1408 г.

Мы знаем, что уже в начале первого десятилетия XV в. как польско-литовское объединение, так и Владимирское княжение весьма многого добились на пути наращивания своих сил. Однако при этом «параллельном» наращивании далеко не всегда сохранялось равновесие между ними. Так, если в период между Ворсклой и унией 1401 г. заметно усилилась Северо-Восточная Русь (в тесных контактах с Москвой тогда были Рязань, Смоленск, суздальско-нижегородские земли, Великий Новгород), то в середине первого десятилетия XV в. ощутимый перевес оказался на стороне польско-литовского объединения. Не удивительно, что уже в 1404 г. Польша и Литва, заключив союз с Орденом, начали

открытую вооруженную борьбу против Владимирского княжения, поставив своей задачей овладение Смоленском, а также распространение своего влияния на Великий Новгород.

При сложившейся тогда в Восточной Европе общей расстановке сил (Польша и Литва выступали тогда при поддержке Ордена и Империи) московский князь Василий Дмитриевич не смог, видимо, организовать эффективного противодействия натиску Ягайло и Витовта на смоленской земле, не смог прийти на помощь своему союзнику князю Юрию, в результате чего Смоленск был потерян [38, 396].

Однако эта неудача под Смоленском, по-видимому, многому научила московского князя Василия, раскрыла ему глаза на сложившиеся тогда реальные политические отношения в системе восточноевропейских государств.

Потеря Смоленска показала, в частности, тщетность надежд на Витовта, ставшего орудием политики польских феодалов в Восточной Европе, она сделала очевидной необходимость сотрудничества Василия с другими лидерами Литовско-Русского княжества (ими, как уже говорилось, оказались Александр гольшанский, князь Свидригайло, тогда обладатель чернигово-северской земли), она, кроме того, заставила Василия I быть более активным защитником русских земель, находившихся в сфере его влияния, в отстаивании своей программы.

Это было тем более необходимо, что Ягайло и Витовт, овладев Смоленском, не скрывали своего намерения установить контроль над Новгородом и Псковом (что было предусмотрено договором в Раценже весной 1404 г.) [626, 264—270]. Зимой 1405/06 г. Витовт начал открытую войну против Пскова, захватил Коложе, пытался взять приступом город Воронич [30, 398—399]. Почти одновременно против Пскова выступили и крестоносцы (под 1406 г. в Новгородской I летописи мы читаем: «И пришед местер рискый, именем Корто, со всею силою немецкою ко Пскову, и повоева волости и отъиде») [30, 399; 38, 404].

Ничего не было удивительного в том, что в этих условиях Василий московский пытался организовать противодействие натиску Ягайло, Витовта и Ордена. Он направил в Новгород своего брата Петра на помощь

находившемуся там смоленскому князю Юрию [30, 399], а в Псков — князя Константина для поддержки прибывшего туда наместника князя Данилы Александровича [30, 399; 38, 404—405]. Если, однако, на Волхове московскую дипломатию ждали неудачи (князь Петр был в Новгороде всего лишь 10 дней, Юрия смоленского убрали новгородцы осенью 1406 г., пригласив летом 1407 г. брата польского короля Семена Лугвеня [30, 399—400; 38, 399, 404]), то московско-псковское сотрудничество оказалось более успешным. «Тое зимы, — читаем мы под 1406 г. в Новгородской I летописи, — ходиша псковичи воевати земли Немечкой съ князя великого наместником с князем Даниилом Олександровичем и пособи бог князя Данилю» [30, 399]. Под 1407 г. в той же летописи читаем: «Ходиша псковичи воиною в Немецкую землю с братом князя великого Констянтином и взяши город их Порх и сел их много повоеваша и отъидоша во Псково, а князь Констянтин отъиха в Москву» [30, 400].

Но борьба за Псков и Новгород не была локальным конфликтом. «Князь Василий, — читаем мы в Новгородской IV летописи под 1406 г., — ста за Псковичи и съ своим тестем мир разверже и ходи противоу Витовт и воевашася промежи себе» [38, 399]. В ходе начавшейся войны операции происходили не только на самой псковской земле, но также в районах Козельска, Серпейска, Вязьмы. В этих столкновениях московским войскам, руководимым Юрием смоленским, противостояли литовские, польские и немецкие контингенты, находившиеся под командой Витовта.

К осени, однако, военные действия были приостановлены. Тогда же было заключено перемирие на условии отказа Василия I от поддержки Пскова и Новгорода (возможно, этим договором был решен переезд Юрия смоленского из Новгорода в Москву). Кроме того, московский князь должен был порвать свои связи с «литовскими сепаратистами». Разумеется, это соглашение не было реальным. В создавшейся ситуации глава Владимирского княжения не мог оставаться нейтральным наблюдателем, когда польско-литовская дипломатия настойчиво добивалась полного подчинения себе Новгорода и Пскова; не мог он отказаться и от контактов с литовско-русскими противниками унии, когда они дей-

с^твовали в рамках близкой ему политической программы.

Не удивительно поэтому, что уже весной 1407 г. война возобновилась: происходили операции около Рязани, Одоева, Воротынска, хотя масштаб их был еще невелик. Осенью 1407 г. снова было заключено мирное соглашение между Витовтом и Василием [38, 405; 44, 63; 71, № 368, 369, 358]. Однако и этот мир оказался весьма непрочным. Уже в 1408 г. борьба возобновилась, но при особых обстоятельствах.

В этом году в Литве произошли события, которые, по словам Колянковского, обнаружили «полную ненадежность позиции литовского государства на его русских территориях» [553, 85]. Эти события оказались связанными с широким движением литовско-русских феодалов, направленным против унии с Польшей, против сотрудничества Витовта и Ягайло.

Руководителем этого движения, как мы уже знаем, был князь Свидригайло, младший сын Ольгерда и Ульяны тверской (1370—1452) [668, 485]. Тесно связанный с Литовской Русью, а также со своим братом польским королем Ягайло, Свидригайло к этому времени имел за своими плечами большой опыт политической борьбы. В 1393 г. он был лишен витебского удела и в качестве пленника отвезен в Краков [553, 61]; в 1397 г. его положение изменилось: по воле польского правительства он оказался обладателем части подольской земли, а после гибели Спытко из Мельштина на Ворскле стал князем всей Подолии [620, 264]. Но если в 1397—1400 гг. этот литовско-русский князь сотрудничал с Краковом, ведя борьбу против «сепаратиста» Витовта, то в дальнейшем, когда Витовт становился все в большей мере «правой рукой» польского короля, Свидригайло превратился в лидера антивитовтовской, антипольской оппозиции в великом княжестве Литовском и Русском.

Политическая карьера князя Свидригайло не отличалась прямолинейностью. Так, когда в мае 1404 г. Ягайло и Витовт, следуя его же примеру, подтвердили в переговорах с Орденом салинское соглашение [626; 102, I, № 32; 75, 562], Свидригайло присоединился к ним [553, 83].

Трудно сказать точно, что скрывалось за этим кратковременным примирением Свидригайло, Витовта и

Ягайло. Возможно, что Витовт, недовольный натиском польских феодалов, сознательно уступил Ордену Жемайтию (как и в 1398 г.) ради того, чтобы, укрепив формально польско-литовскую унию, на самом деле создать благоприятные условия для возобновления своей «сепаратистской» деятельности на общерусской основе. И действительно, когда в результате раценжского соглашения «бдительность» Ягайло была притуплена, а «нейтралитет» Ордена обеспечен, Витовт мог вернуться к своей программе консолидации Руси вокруг Литовско-Русского государства, к своей практике сотрудничества с Киприаном и Василием московским. Во всяком случае, вероятность такой тенденции развития событий могла быть подкреплена как фактическим отказом Василия от поддержки осажденного войсками Витовта Смоленска весной 1404 г. [38, 396], так и поездкой летом 1404 г. в Литву митрополита всея Руси Киприана [60, 458].

Нам, однако, представляется, что такая трактовка факта примирения Ягайло, Витовта и Свидригайло в первой половине 1404 г. вряд ли правильна. Вернее будет считать, что в данном случае Витовт продолжал действовать в качестве «правой руки» польского короля и лишь по тактическим соображениям создавал видимость своей готовности сотрудничать с князем Свидригайло, митрополитом Киприаном и главой Владимирского княжения Василием Дмитриевичем.

Такое мнение может быть подкреплено прежде всего учетом последующего хода событий. Мы знаем, что Витовт, захватив Смоленск с помощью политического шантажа и при активном содействии польских войск, сразу передал этот город польским наместникам и польскому гарнизону [38, 397]. Мы знаем также, что в 1405 г. Витовт объявил о неизбежности формальной передачи смоленской земли под контроль польской короны [65, № 47, 48].

Не случайно, видимо, тогда же, в 1404—1405 гг., возникли какие-то разногласия между Витовтом и Киприаном. С одной стороны, мы имеем сведения о том, что Киприан «по повелению Витовтову» в 1405 г. сместил туровского епископа Антония [60, 452], а также встречался с Витовтом и королем Ягайло в городе Милолюбое [60, 459]; с другой стороны, мы знаем, что все эти «на-

чинания» Киприана имели довольно определенное продолжение. Переговоры с Витовтом и Ягайло кончились, по сути дела, безрезультатно: Киприан вернулся из Киева в Москву в январе 1406 г., не добившись, видимо, взаимопонимания с тогдашними лидерами польско-литовского государства. Весьма характерно также, что всех неугодных Витовту церковных деятелей Литовской Руси Киприан отсылал в Москву, не оставляя их на территории, контролируемой Витовтом и Ягайло. Так он поступил с туrowsким епископом Антонием [60, 459], такова была и судьба архимандрита Тимофея, митрополличьего наместника в Киеве. Киприан «наместника своего Тимофея архимандрита и слуг своих тамошних пойма и отосла на Москву» [60, 458].

Показательно, кроме того, что на вакантные места Киприан, как правило, назначал своих ставленников. Так, вместо отправленного в Москву киевского наместника Тимофея был поставлен архимандрит Спасского монастыря Феодосий, видимо иерарх московского происхождения [371, 201]. Киприан, читаем мы в Троицкой летописи, «постави тако [в Киеве] наместника своего Феодосия, архимандрита Спасского, еще же и слуг своих избра, повели им на Киеве бити со архимандритом наместником его» [60, 458; 41, XI, 191], в Луцк был назначен поп Иоанн Гогель, по всей видимости выдвинутый Киприаном на пост владимирско-волинского епископа [60, 459; 41, XI, 191].

Ничего не было поэтому удивительного в том, что тогда наметился также разрыв между Витовтом и Свидригайло. Если Витовт в тех условиях выступал все более последовательным исполнителем воли Кракова, то Свидригайло оказывался выразителем тех кругов литовско-русской знати, которые выступали против унии с Польшей, за восстановление самостоятельности великого княжества Литовского и Русского, за расширение политических контактов с Московской Русью. Возможно, что именно Киприан, находясь в Киеве, вел переговоры с различными представителями литовско-русских феодалов, результатом которых был переход на сторону Москвы в 1406 г. князя гольшанского Александра Ивановича по прозвищу Нелюб [60, 461; 41, XI, 193], а в 1408 г. и самого князя Свидригайло.

Переезд князя Свидригайло вместе с большой груп-

ной литовско-русской знати на территорию Владимирского княжения явился настолько значительным этапом в развитии сотрудничества феодалов Литовской Руси с Московской Русью, что получил довольно подробное освещение в русских летописях, а также в польских и немецких исторических источниках. Наиболее подробные сведения об этом событии сообщают Ермолинская [46, 142] и Типографская летописи [47, 17], «Хронограф» [45а, 429], Московский свод конца XV в. [48, 237]. Воскресенская [40а, 70] и Никоновская летописи [41, XI, 204]. Более скромную информацию о переходе Свидригайло дает Длугош [75, X, 540], подробнее говорят об этом событии Стрыйковский [104, II, 123—124], «Хроника», а также документы Ордена [71, №№ 374—378; 95, 291]. На основании всех этих материалов создается впечатление, что перед нами действительно весьма значительное событие политической жизни Восточной Европы первого десятилетия XV в.

Прежде всего бросается в глаза широкий круг участников этого перехода, их большой удельный вес в политической жизни великого княжества Литовского и Русского, особо торжественный их прием на территории Владимирского княжения [46, 142; 47, 17; 42а, 181; 48]. Все это свидетельствовало о том, что речь шла не о случайном капризе кучки политических авантюристов, а о таком выступлении значительной части западнорусских феодалов, которое было продолжением старой традиции их сотрудничества с феодальной знатью Владимирского княжения и которое было хорошо организовано в Литве и согласовано с Москвой.

По существу переход Свидригайло на сторону Москвы и предоставление ему весьма высокого положения во Владимирском княжении лишний раз указывали на то обстоятельство, что ведущие феодальные группировки Московской Руси и Литовско-Русского княжества руководствовались весьма близкими политическими концепциями, что в основе их деятельности часто сказывалась одна и та же общерусская программа, осуществлять которую они пытались то порознь, то совместно. В данном случае перед московским князем Василием возникла реальная перспектива осуществления этой программы с помощью литовско-русского князя Свидригайло. Это, разумеется, не означало, что сам Свидригайло,

переезжая в город Владимир, не имел своих собственных политических замыслов. Находясь во Владимире, Свидригайло, естественно, не забывал о своей борьбе с Ягайло и Витовтом, о планах ликвидации унии и о превращении себя в лидера если не «всёя Руси», то хотя бы в лидера Руси Литовской. Так, сообщая о переходе Свидригайло на сторону Москвы, автор конца XVI в. Стрыйковский подчеркивал, что этот литовско-русский князь «вступил в братские отношения с московским князем, прося его о том, чтобы он помог ему приобрести „ойчизну“, чтобы Витовт в ней уже больше не мог верховодить» [104, II, 123—124]. Но какие бы ни были субъективные планы Свидригайло, в создавшейся ситуации он должен был выступать важным подспорьем в осуществлении широких политических замыслов Василия I в Восточной Европе, в реализации программы консолидации русских земель. Претворение в жизнь данной программы предполагало активное участие обоих политических лидеров — князя Василия Дмитриевича и князя Свидригайло. Но естественно, что в создавшейся ситуации ведущая роль должна была принадлежать все же главе Московской Руси.

Переход Свидригайло на сторону Москвы произошел в июле 1408 г., но подготовка к этому выступлению осуществлялась заранее. Еще в марте 1408 г. крестоносцы располагали сведениями о тесных контактах Свидригайло с Москвой, о намечавшемся московско-литовском сотрудничестве [71, № 374—375, 153—155]. Большая политическая важность этих приготовлений станет еще более очевидной; если мы учтем, что почти одновременно Василию удалось укрепить свои позиции как на берегах Волхова, так и в Рязанском княжестве.

Что касалось Великого Новгорода, то в нашем распоряжении есть сведения о том, что именно в 1408 г. здесь произошла замена литовского князя Семена Лугвеня московским князем Константином Дмитриевичем [30, 400; 38, 405].

Что касалось тогдашнего положения рязанской земли в системе русских княжеств, то оно оказалось довольно сложным. Дело в том, что после нескольких лет тесного московско-рязанского сотрудничества, намеченного еще dokonчанием 1402 г., на территории Рязанского княжества тогда развернулись события, которые чуть

было радикально не изменили характер отношений между Рязанью и Москвой.

Все началось с того, что, видимо, еще осенью 1407 г. «князь Иван Володимирович пронский прииде из Орды от царя Булата 6 сентября и сяде в Пронске, а с ним посол Царев» [60, 467; 48, 237; 41, XI, 203]⁶. Появление пронского князя Ивана Владимировича на территории Рязанского княжества имело далеко идущие политические цели. Из других летописей мы узнаем, что «пронский князь Володимиричъ Иван, пришед с татары, великого князя Федора Ольговича с Рязани съгнал, он же беже за Оку, а князь Иван седе на обою княжению» [45, 154; 41, XI, 203]. Становится очевидным, что пронский князь попытался подчинить себе с ордынской помощью все Рязанское княжество, а вместе с тем и вывести это княжество из сферы московского влияния. Совершенно не случайно, что этот план Орды и пронского князя вызвал резко негативную реакцию Москвы.

Из Тверского сборника мы узнаем, что весной 1408 г. [42, 483] (по другим сведениям, в июне [45, 154; 48, 237]) рязанский князь Федор во главе рязанских и московских войск перешел в контрнаступление на позиции пронского князя Ивана Владимировича. И хотя это контрнаступление не увенчалось успехом (используя присутствие татар и, видимо, недостаточно мощную поддержку Москвы, князь Иван Владимирович одержал тогда победу над армией Федора Ольговича), общая расстановка сил в Восточной Европе летом 1408 г. оказалась такой, что рязанский и пронский князья должны были заключить компромиссное соглашение, явно не санкционированное Ордой: «Того же лета и помирилася князи рязанстии Феодор с Ываном» [45, 154; 48, 237].

Характер этого соглашения был раскрыт Никонов-

⁶ Попытки Карамзина (229, т. V, прим. 190) и Приселкова (323, 466—467) датировать приход пронского князя в Пронск сентябрем 1408 г. малоубедительны (это верно подчеркнул А. Г. Кузьмин [246, 251, прим. 297]). Правильнее считать, что приход пронского князя в Пронск произошел вскоре после замены Шадибека Булат-Султаном на ордынском престоле (замена совершилась летом 1407 г.), что появление пронского князя в рязанской земле было не конечным, а начальным звеном в цепи бурных событий 1408 г.

ской летописью, которая осудила факт вражды между двумя рязанскими князьями, выгодной якобы только врагам Руси — «неверным языкам», и приветствовала примирение между этими двумя князьями русской земли. «И тако седоша в мире и в любви на своих княжениях и бысть радость велия на Рязани о соединении и любви и мире великих князей рязанских» [41, XI, 204]. Таким образом, компромиссное примирение пронского и рязанского князей произошло в результате их политического сближения, вследствие отхода князя Ивана от Орды и признания обоими князьями авторитета Владимирского княжения⁷.

Возможно, что этот исход борьбы в рязанской земле как раз и совпал по времени с появлением на территории Московской Руси литовско-русского князя Свидригайло [45, 154]. Естественно, что создание столь широкого фронта русских княжеств, подкрепленное союзом Владимирского княжения с князем Свидригайло, не могло самым серьезным образом не беспокоить как лидеров польско-литовского объединения, так и правителей ордынской державы. Ягайло и Витовт, как известно, ответили на это чрезмерное усиление Москвы отправкой на берега реки Угры польско-литовской армии [75, X, 540—541; 71, № 374—384; 580а, 58; 553, 85—87].

Но еще более активно реагировал на усиление Московской Руси глава ордынской державы Едигей. Сначала он сделал все для того, чтобы политические противоречия между Москвой и польско-литовским государством превратить в вооруженный конфликт. Когда же в сентябре 1408 г. конфликт завершился неожиданным для Орды примирением, Едигей организовал непосредственное вторжение ордынских войск на территорию Московской Руси. Для того чтобы убедиться в том, что роль Едигея в политических событиях 1408 г. была именно такой, следует несколько шире взглянуть на тогдашнюю политику ордынской державы в Восточной Европе и более внимательно проследить основные этапы политической деятельности этого правителя Орды в предшествующие годы.

⁷ В дальнейшем московский правящий дом породнился с пронскими князьями [42, 487].

После установления в 1398 г. «единовластия» в Орде Едигей, как мы помним, стал последовательно осуществлять «великодержавную» политику в Восточной Европе, нацеленную сначала на выравнивание сил ведущих государств региона, а в дальнейшем на поощрение политического соперничества между Вильно и Москвой, на провоцирование вооруженных конфликтов между ними.

Однако ход политической жизни восточноевропейских государств на протяжении первого десятилетия XV в. показал, что правитель Орды далеко не сразу получил возможность реализовать всю эту программу.

Так, если в 1399—1401 гг. и была решена задача выравнивания сил в данной части Европейского континента (великое княжество Литовское было, как известно, ослаблено в результате победы на Ворскле, а Московская Русь — в ходе политического «размывания» владимирского комплекса русских земель), то это отнюдь не означало, что уже тогда Москва и Вильно были готовы к полному политическому размежеванию или к вооруженным столкновениям друг с другом.

Дело в том, что политика сохранения равновесия между Москвой и Вильно, осуществлявшаяся тогда Едигеем в условиях «сбалансированной» слабости этих двух центров, оказалась малоэффективной: на протяжении 1399—1401 гг. ни поверженная Литовская Русь, ни политически раздробленное Владимирское княжение не только не обнаруживали склонности к конфликтованию друг с другом, но и проявляли полную готовность к восстановлению былого сотрудничества. Так, из Никоновской летописи мы узнаем, что после появления в Твери нового тверского князя, Ивана Михайловича, с ярлыками от хана Шадибека (середина 1400 г.) состоялось одновременное примирение этого князя с московским князем Василием и великим князем литовским Витовтом [41, XI, 184], а вместе с тем снова наметилось сближение между Москвой и Вильно. Не удивительно поэтому, что Едигей где-то на рубеже 1400—1401 гг. внес существенные коррективы в свою восточноевропейскую политику: с этого времени он стал поддерживать равновесие между ведущими восточноевропейскими государствами не в условиях их одновременного ослабления, а в условиях

постепенного и вместе с тем хорошо скоординированного их усиления.

Весьма вероятно, что уже такое важное событие тогдашней политической жизни Восточной Европы, как подтверждение актов польско-литовской унии (январь—март 1401 г.), произошло при каком-то скрытом участии ордынской дипломатии. В нашем распоряжении нет прямых доказательств этого участия, однако косвенные указания на такую возможность все же имеются. Мы располагаем перепиской Витовта с Орденом, из которой становится очевидным, что уже в начале 1400 г. поверженный Едигеем литовский князь ожидал приезда татарских послов в Вильно, в частности такого приезда, который должен был подтвердить какие-то важные перемены ордынской политики в Восточной Европе [71, № 214, 64, 65].

Но каково бы ни было участие Орды в заключении польско-литовской унии 1401 г. (активная поддержка или молчаливое одобрение со стороны якобы «нейтрального» соседа), бесспорной оказывается решительная перемена ордынской политики в отношении Владимирского княжения сразу после этого события.

Если еще в 1400 г. Едигей стремился различными средствами раздробить силы такого комплекса русских земель, который был объединен Владимирским княжением, в частности отделить от Москвы Тверь, Нижний Новгород, Рязань и т. д., то в 1402—1403 гг. положение радикальным образом изменилось.

Так, ордынский правитель не только признал факт включения Суздальско-Нижегородского княжества в сферу влияния московского правящего дома, но в качестве подтверждения этого признания направил в 1402 г. в Москву того самого суздальского князя Семена Дмитриевича, который давно стал символом сотрудничества с Ордой [60, 455—456; 4, 150]. Если еще в 1400 г. Орда конфликтовала с Рязанью [41, XI, 184], то в 1402 г. Едигей и Шадибек санкционировали союз Рязани с Москвой [16, № 19, 52—55; 209, 136; 246, 217, 243—246]. Если в 1399—1400 гг. Орда охраняла автономию Твери, то в 1403 и 1405 гг., когда возобновился спор между тверским князем Иваном Михайловичем (женатым, кстати говоря, на сестре Витовта Марии) и кашинским князем Василием, арбитром в этом споре выступал уже не

ордынский царь Шадибек (как в 1400—1401 гг.), а великий князь московский Василий Дмитриевич [48, 232—233; 435, II, 498—499].

Ордынская держава оказывала тогда и прямую дипломатическую поддержку Москве, часто направляя к московскому князю послов. Так, в 1403 г. «приходи посол из Орды на Русь, царевич Энтяк и был на Москве» [60, 456] (Едигей, посылая Энтяка, недавнего военачальника, в качестве дипломата, возможно, хотел подчеркнуть наличие мирных намерений Орды в отношении Москвы). Летописи зафиксировали приезд в Москву татарских послов и в 1405 г.: «Приде к великому князю от царя Шадибека посол именем Мирза, иже бе казначей царев» [60, 459].

Мы видим, таким образом, что к середине первого десятилетия не без участия Орды произошло заметное усиление Великого Владимирского княжения [416, 714—718]. В эти же годы наблюдалось, как мы знаем, постепенное наращивание сил и польско-литовской государственной системы. Это явилось результатом не только дальнейшего срачивания Польши и Литвы, но также кратковременного сближения Ягайло и Витовта с Орденом (1404 г.). Не случайно, видимо, в 1405 г. маршал Ордена сообщал магистру о том, что в распоряжении Витовта теперь сил было не меньше, чем перед решительной схваткой с татарами (имея, видимо, в виду битву на Ворскле 1399 г.) [71, № 321, 116].

Таким образом, в политической жизни Восточной Европы опять создалась весьма выгодная для ордынской дипломатии обстановка: снова противостояли друг другу два заметно усилившихся государства, каждое из которых было готово вести борьбу за утверждение своей гегемонии в этой части Европейского континента.

Умело используя данную ситуацию, ордынская держава стала широко практиковать как поощрение соперничества Владимирского княжения с польско-литовским государственным объединением, так и провоцирование прямых вооруженных конфликтов между ними. Если в спорах 1403—1405 гг. московско-рязанского блока за Смоленск ордынская дипломатия еще не выступала в этом качестве достаточно энергично (во всяком случае, мы не располагаем такими сведениями), то в крупных конфликтах Владимирского княжения с польско-литов-

ским государством в 1406—1408 гг. Орда уже играла весьма активную роль, получившую четкое отражение в исторических источниках того времени.

Как позволяют судить сохранившиеся документы той эпохи, Едигей пустил в ход наряду с традиционными методами ордынской политики в Восточной Европе также некоторые модифицированные ее приемы. Он не только попытался тонкой политической игрой столкнуть слишком окрепшие к тому времени восточноевропейские государства, не только принял меры к тому, чтобы приобрести явных и скрытых союзников в этих государствах, но и организовал прямое вторжение своих войск на территорию Великого Владимирского княжения.

Как мы уже знаем, для раскрытия этой тактики правителя Орды важный материал дают такие памятники, как ярлык Едигея [38, 406—407] и «Повесть о нашестве Едигея» [42а, 177—186]. «Повесть» особенно интересна в том отношении, что она не только констатировала существование ордынской тактики сталкивания ведущих государств Восточной Европы, но и раскрывала ее «технику». Так, в «Повести» подробно рассказывается о политических демаршах ордынской дипломатии в Москве. Здесь подчеркивалось, что правитель Орды «многу любовь зло хитрену к Васильеву стяжа и честию высокою облачал его и дары многие почиташе» [42а, 179]. В этом памятнике говорится и о том, что Едигей называл Василия «своим сыном любимым». Подогревая антилитовские настроения в Москве, Едигей в переговорах с князем Василием «силу многу на помощь обещава ему» [42а, 179].

Когда войска Василия и Витовта, наконец, встретились в сентябре 1408 г. на реке Угре, правитель Орды сообщил через своих послов московскому князю весть, которая должна была не только «обрадовать» последнего, но и придать ему больше смелости в борьбе с Витовтом. Речь шла о походе ордынских войск во главе с ханом Булат-Султаном на литовско-русское Поднепровье [675, 556]. «Ведай буди, Василе, — говорили посланцы Едигея, — се идет царь на Витовта, да мстить, колико есть съетворилъ земли твоей, ты же въздай же честь цареви» [45, 157; 41, XI, 208].

Однако поход Булат-Султана на Литву, как и информация об этом походе московского князя, был лишь од-

ной стороной деятельности опытного ордынского политика. Одновременно правитель Орды вел тонкую дипломатическую игру и в великом княжестве Литовском [45, 154—156]. С одной стороны, Едигей устанавливал контакты с оппозиционным правительству Ягайло — Витовта элементами (еще хан Шадибек вел переговоры с князем Свидригайло в 1406—1407 гг. [15а, 293], а также с туровским епископом Антонием по поводу выхода русских земель из состава Литовского княжества [41, XI, 192; 675, 555] и т. д.), а с другой — добивался сближения с Витовтом. «Такоже и къ Витовту кратка и лестна некая посылаше словеса, втай держать повеле, друга его соба именоваше» [45, 156; 42а, 179].

В дальнейшем ханские послы, будучи в Вильно, характеризовали политику московского князя как наступательную по отношению к Литовскому княжеству. Так, они «дружески» предупреждали Витовта об опасности, якобы грозившей Литве со стороны Москвы. «Ты мне буди друг, а я аз тебе буду друг», — декларировал Едигей в своем послании Витовту, предлагая при этом рассматривать Москву в качестве своего противника: «Князя Василия... Московского познавай, яко желателен бе в чужиа пределы вступатися... блюдися убо от него» [45, 155; 41, XI, 208].

Таким образом, «Повесть о нашествии Едигея», сообщая о важных демаршах ордынской дипломатии в Москве и Литовской Руси, показала тактику Едигея тех лет, раскрыла «секреты» провоцирования вооруженных конфликтов между Московской Русью и польско-литовским государством.

Но этим не ограничивается содержание «Повести». Здесь не только разоблачаются тактические приемы ордынской державы, с помощью которых Едигей старался не допустить чрезмерного усиления того или иного восточноевропейского государства, но и осуждается вся концепция ордынской политики, которая исключала в принципе возможность такого усиления, порицала попытки создания слишком широкого фронта русских княжеств.

Так, «Повесть» не просто сообщает о факте вторжения ордынцев на территорию Московской Руси, а подробно рассказывает о маршруте ордынских войск, говорит главным образом о разорении тех городов, кото-

рые были даны в распоряжение Свидригайло и его литовско-русских партнеров, т. е. говорит о ликвидации материальной базы московско-литовского сотрудничества того времени [45, 156]. Нам представляется отнюдь не случайным то обстоятельство, что стратегическое направление ударов Едигея в 1408 г. коснулось именно тех городов и земель, которые были переданы Свидригайло. Мы видим, что войска Едигея, действовавшие на северо-восточных территориях Московской Руси, разорили один из главных городов Свидригайло — Переяславль, а также Юрьев Польский, Ростов, Дмитров [45, 156; 41, XI, 208; 38, 406—407]. Татарские войска, действовавшие на юге, овладели Рязанью [42, 482—484; 38, 405] и Серпуховом [42, 484; 45, 156].

В северо-западном направлении вели сначала операции татарские загоны (они захватили Можайск и Звенигород), но главный удар в данном районе, по замыслам Едигея, должны были нанести войска тверского князя Ивана Михайловича; таким образом они могли разорить Волок и Ржев [46, 143; 48, 238].

В результате нашествия Едигея многие районы Северо-Восточной Руси были разорены, значительное количество материальных ценностей, людей, денег было переправлено в Орду [42а, 183; 41, XI, 208]. Но пострадала от ордынского вторжения не только экономика Владимирского княжения. Значительно был ослаблен и политический потенциал Московской Руси. Князь Василий Дмитриевич лишился тогда своих «внешних» союзников — князь Свидригайло «от Едигеевых татар утомился зело», в результате чего вместе со своими партнерами должен был покинуть пределы Владимирского княжения в начале 1409 г. [45, 159; 41, XI, 211; 104, II, 124, 155]. Кроме того, московский князь в связи с нашествием Едигея лишился еще и некоторых своих «внутренних» союзников, недавно подчинявшихся его контролю. В частности, это относилось к суздальско-нижегородским князьям — Даниилу и Ивану Борисовичам, которые получили, видимо, в 1408 г. ярлыки от Булат-Султана на самостоятельное управление нижегородскими землями [294, 143].

Таковы были результаты событий, происходивших на территории Северо-Восточной Руси в 1408 г. Владимирское княжение оказалось ослабленным и изолированным

настолько, что должно было отказаться от политики в масштабах всей Восточной Европы, отказаться на какое-то время от борьбы за осуществление программы консолидации русских земель. В политической жизни польско-литовского государственного комплекса также произошли важные сдвиги: после того как князю Свидригайло, а вместе с ним и всем литовско-русским сторонникам сотрудничества с Великим Владимирским княжеством был нанесен чувствительный удар, в великом княжестве Литовском усилились позиции Витовта, являвшегося тогда проводником политики польского двора в Восточной Европе, а вместе с тем укрепились и тенденции сращивания Литвы с Польшей.

Но сколь ни значительны были политические достижения Едигея в 1408 г., они все же уступали по своим масштабам успехам предшествующих ордынских правителей, в частности успехам хана Тохтамыша в 1382 г.

Едигей смог, как мы видим, столкнуть Москву и Вильно, смог поломать намечавшееся сотрудничество феодалов Литовской Руси с феодалами Владимирского княжения и тем самым получил возможность на какое-то время изолировать друг от друга два указанных политических организма. Однако он оказался не в состоянии подчинить полностью своему контролю политическую жизнь Северо-Восточной Руси, нарушить союзные отношения Москвы с Рязанью [42, 482—484, 487], Великим Новгородом [38, 405], спровоцировать конфликт Москвы с Тверью [48, 238]⁸.

Но еще более важным показателем изменившегося соотношения сил между Ордой и Московской Русью в 1408 г. по сравнению с предшествующим периодом была организация московским правительством смелой диверсии в самом ордынском царстве, имевшей, видимо, целью низвержение тогдашнего ордынского хана Булат-Султана и возведение на ханский престол одного из сыновей Тохтамыша.

⁸ «Князь же Иван не хоте сего сотворити, по сие умысли: с Твери поиде без рати, но во мнозе дружине и не доехав Москвы возвратился паки и с Клина на Тферь» [48, 238]. Автор Московского свода конца XV в. заметил по этому поводу следующее: «Сие же сотвори, да бы ни Едигей разгневати ни же великому князю погрубиты и обоим обоего избежа, премудре бы сиа сътвори» [48, 238; 416, 717].

Летописи сохранили сведения о том, что в конце 1408 г. в момент максимальных ордынских успехов на территории Владимирского княжения Едигей получил неожиданное известие о политических беспорядках в своей столице. Речь шла о том, что «некий царевич», воспользовавшись отсутствием значительных воинских контингентов в столице, попытался захватить хана Булат-Султана [60, 469; 46, 142]. Не исключено, что этот царевич после устранения Булат-Султана рассчитывал занять его место. У нас нет прямых свидетельств о том, что этим царевичем был якобы один из сыновей Тохтамыша — Джелаль-Еддин, также о том, что он действовал при какой-то скрытой поддержке московского правительства. Тем не менее ряд косвенных данных заставляет нас думать подобным образом.

Так, Едигей, выдавая свой ярлык Василию I в 1408 г., явно упрекал московского князя в том, что он укрывал у себя детей Тохтамыша («Тохтамышевы дети у тебя, — писал Едигей, — и того ради пришли есмы ратию» [38, 406]). Эти сведения находят подтверждение и у восточных авторов. Арабский историк ибн Арабшах сообщал, что «сыновья Тохтамыша разбрелись в (разные) страны: Джелаль-Еддин и Керим-берды ушли в Россию, а Кубаль и остальные братья в Саганак» [58, 471—472]. Сафаргалиев доказал, что еще летом 1407 г. Джелаль-Еддин пытался овладеть ханским престолом, устранив Шадибека. Однако Едигей не позволил осуществить ему тогда этот план: на ханский престол был возведен Булат-Султан, ставленник Едигея, а сыновья Тохтамыша вынуждены были тогда эмигрировать в русские земли [350, 183—185]. Следует думать, что они попали на территорию Владимирского княжения. Такой вывод напрашивается не только потому, что его подтверждает упоминавшийся уже ярлык Едигея 1408 г. [38, 406], но также и потому, что пребывание их на территории Литовской Руси было маловероятно: в этом случае диверсия в ордынской столице была бы произведена с одобрения Ягайло и Витовта в интересах Москвы, что тогда вряд ли было возможно.

То обстоятельство, что летописец, говоря о диверсии «некоего царевича», не назвал имени Джелаль-Еддина,

объяснялось, видимо, тем, что в дальнейшем этот же хан выступал в роли «злого недруга» Москвы, что, разумеется, исключало прямое упоминание о Джелаль-Еддине как политическом партнере Москвы. Задача летописца была бы более простой, если бы «царевичем», совершившим диверсию в Орде, был Керим-берды, так как он оставался союзником Москвы до своей смерти в 1414 г.

Таким образом, вся совокупность обстоятельств позволяет думать, что тем «царевичем», который выступил против Булат-Султана с одобрения Москвы, был именно старший сын Тохтамыша — Джелаль-Еддин⁹. Разумеется, он действовал в своих интересах, мстя за отца и рассчитывая таким путем обеспечить свою собственную политическую карьеру. Тем не менее объективно своей своевременной диверсией в Орде он сыграл существенную роль в ходе весьма важной для Москвы военной кампании 1408 г.¹⁰.

Политическое развитие стран Восточной Европы во втором десятилетии XV в.

Таким образом, становится очевидным, что, несмотря на достигнутый в 1408 г. успех в политике сталкивания, а вместе с тем и «уравнивания» ведущих восточноевропейских государств, Едигей должен был все в большей мере считаться как с фактами постепенного, но в то же время не всегда «обратимого» усиления этих государств, так и с явлениями все более активного противодействия с их стороны натиску Орды, противодействия, носившего часто характер военного или политического контрнаступления.

⁹ Джелаль-Еддина в эти годы хорошо знали и правители Ордына [71, № 393, 170].

¹⁰ Несмотря на свою неудачу, эта диверсия была важным и весьма показательным эпизодом в истории политических взаимоотношений между Ордой и восточноевропейскими государствами того времени, эпизодом, который оказался дальнейшим развитием выдвинутого еще в 1399 г. Витовтом и Тохтамышем проекта овладения ордынской державой и вместе с тем отправным пунктом для последующей успешной реализации этого проекта тем же Витовтом, когда он возводил на ордынский престол различных ханов — своих ставленников (например, того же Джелаль-Еддина в 1411—1412 гг., Улуг-Мухаммеда в 1421 и 1425 гг.).

В этом ничего не было удивительного: как ни оперативен был в то время Едигей, он не мог, разумеется, радикальным образом изменить ход всей международной жизни, не мог парализовать закономерно возникших тенденций в историческом развитии Московской Руси, польско-литовского государства, наконец, и самой Орды. Очень скоро Едигей столкнулся не только с фактами нового нарушения равновесия сил в Восточной Европе, но и с явлениями политической анархии в своей собственной державе.

Показательно, что уже в начале 1411 г. ставленник Едигея на золотоордынском престоле Булат-Султан был убит в схватке с Желал-Еддином, укрепившимся зимой 1410/11 г. в Крыму, а преемник Булат-Султана Тимур-хан, получивший тогда же власть из рук Едигея, очень скоро объявил войну своему покровителю [350, 186] и вынудил его в конце 1411 г. бежать в Хорезм. Продолжая борьбу против Едигея, спрятавшегося за стенами Ургенча, Тимур-хан недооценил, однако, опасности, грозившей ему со стороны другого своего противника, а именно Желал-Еддина. В начале 1412 г. Желал-Еддин, поддержанный войсками Витовта, оказался на престоле Золотой Орды [58, 473; 59, 193; 675, 564, 566]. Находясь у власти всего лишь несколько месяцев, Желал-Еддин хотя и декларировал свою поддержку королю Ягайло [75, XI, 141], тем не менее должен был прежде всего думать о борьбе с Едигеем, об упрочении своей власти в Поволжье. И действительно, к тому были основания. Едигей, оказавшись в изгнании, не потерял полностью своего влияния в Золотой Орде. Не без его участия в конце лета 1412 г. в Поволжье вспыхнула новая междоусобица, в результате которой Желал-Еддин был убит, а его место занял Керим-берды [41, XI, 221; 63, 37; 522, 376], ставший осуществлять политику, выгодную Едигею.

В исторической науке вопрос о сроках правления Керим-берды¹¹ остается все еще открытым. По одним сведениям, он процарствовал несколько лет, вплоть до

¹¹ Хаммер-Пургшталь [522, 377], М. Ждан [675, 569], Б. Шпулер [653, 153] считают, что Керим-берды царствовал с 1413 по 1417 г. Эти историки склонны думать, что он расправился в начале 1414 г. со своим братом, ставленником Витовта Бетсабулой [75, XI, 221; 675, 566].

начала 1417 г., когда он якобы был устранен ханом литовской ориентации Иерем-ферденом [75, XI, 195; 104, II, 158; 522, 377; 675, 569; 653, 153]. По другим данным, как нам представляется, более верным, Керим-берды просидел на золотоордынском троне всего лишь около года, а затем где-то на стыке 1413—1414 гг. был убит одним из своих братьев, являвшимся тогда союзником Витовта (Кепеком или тем же Иерем-ферденом).

Освободившийся таким образом золотоордынский престол был на некоторое время занят сторонником Литвы Кепеком [63, 337]¹², а затем после возвращения Едигея из Хорезма на Волгу в 1414 г. главой ордынской державы оказался его ставленник Чекры-оглан, продержавшийся у власти до конца 1416 г. [350, 190—191]¹³.

Но кто бы конкретно в эти годы ни занимал ордынский престол, весьма существенным для понимания всего хода международной борьбы в Восточной Европе было то обстоятельство, что внешняя политика Орды в эти годы отнюдь не постоянно находилась под контролем Едигея, а оказывалась в отдельных случаях подчиненной дипломатии Литвы.

Такое положение вещей отражало, с одной стороны, ослабление Орды под влиянием процессов феодальной децентрализации ордынской державы, а с другой — наметившееся в это время усиление польско-литовского и московского государств.

¹² Шильтбергер утверждает, что «Керим-берды после пятимесячного царствования уступил место своему брату Кепеку» [63, 337]. В «Сборнике летописей» Рашид-ад-дина мы читаем: «Он, Кеpek-хан, сын Тохтамыш-хана, воцарился после Керим-берды, он также не дошел до одного года [царствования], после чего под нажимом Едигея или его ставленников Кеpek, видимо, вернулся в Литву» [59, 62].

¹³ Такая точка зрения была развита в недавно вышедшей работе М. Г. Сафаргалиева. Она подкреплена не только анализом таких письменных источников, как Шильтбергер, Рашид-ад-дин и др., но также и использованием данных нумизматики. Автор указывает, что монеты Керим-берды, выходявшие в Крыму, Сарае, Астрахани, не имели даты, зато монеты Кепека (Булгар, Астрахань) относятся к 1414 г., а монеты Чекры-оглана (Булгар, Астрахань) были выбиты в 1414—1416 гг. [350, 190—191]. О кратковременности правления Керим-берды писал и Колянковский [553, 126].

Эта проблема представляется все же настолько сложной, что невольно возникает предположение о возможности кратковременного «сосуществования» уже в этот период двух-трех ханов в различных частях Орды, ханов, которые придерживались при этом и различной внешнеполитической ориентации.

И действительно, Едигей, несмотря на всю свою политическую активность (в июле 1416 г. ордынские войска вели операции большого масштаба на территории Литовской Руси), все же не смог удержать у власти близкого ему Чекры-оглана. Как уже отмечалось, в конце 1416 г. Витовту удалось возвести на ордынский престол нового хана пролитовской ориентации — Иерем-фердена [59, 195]. Однако и литовскому князю не хватало пока сил длительное время удерживать своих ставленников на ордынском престоле.

В 1417 г. Едигей получил возможность посадить на царство еще одного поддерживавшего его хана — Дервиш-хана [350, 192—193, 197, 202], который пробыл на престоле около двух лет. Однако в 1419 г. на политическом горизонте появился новый претендент пролитовской ориентации — Кадыр-берды [58, 532]¹⁴, который, опираясь на поддержку Литвы и крымских феодалов [250а, 124], начал вести вооруженную борьбу против самого Едигея [675, 569; 350, 194, 202].

Эти вооруженные столкновения оказались последними как для Кадыр-берды, так и для старого правителя Орды. В 1419—1420 гг. где-то на территории Крыма был убит Едигей [168, 410], а Кадыр-берды погиб на берегах Яика; в 1421 г. номинальным преемником их оказался Улуг-Мухаммед [350, 195, 197].

Таковы были основные политические события, происходившие в Золотой Орде в течение второго десятилетия XV в., за которыми скрывались весьма сложные и важные исторические процессы, отражавшие значительные сдвиги в политической жизни как самой Золотой Орды, так и всей Восточной Европы.

Мы видим, что если Едигей до 1410 г. был еще в состоянии осуществлять «великодержавную» политику как в самой Орде, так и на международной арене (в частности, в отношении к Московской Руси и к польско-литовскому государству), то в последние десять лет своей жизни этот ордынский правитель уже не обладал такими возможностями. Завершающий этап его жизни протекал, с одной стороны, в условиях закономерно наступившей децентрализации ордынской державы, а с

¹⁴ Перечисление ордынских и крымских ханов имеется в «писме» Менгли-Гирея в 1506 г. к великому князю литовскому и королю Александру [629, № 76, 290].

другой — в обстановке все более заметного усиления восточноевропейских государств.

Но, признавая несомненное ослабление позиций Орды на международной арене в те годы, мы все же не можем полностью игнорировать роль ордынской дипломатии в тогдашней политической жизни Восточной Европы. Только учитывая продолжавшиеся попытки Орды воздействовать на ход международных событий, мы получаем возможность более глубоко понять политическое развитие как Московской Руси, так и польско-литовского государства.

* * *

Если иметь в виду состояние Северо-Восточной Руси в первые годы после нашествия Едигея (1408 г.), то оно характеризовалось определенным хозяйственным упадком, некоторым ослаблением власти московского князя и активизацией сепаратистских сил в рамках Великого Владимирского княжения. Однако все эти явления, видимо, были лишь зигзагом в «кривой» роста Москвы, временным спадом в поступательном развитии Московской Руси.

Как ни тяжелы были последствия татарского вторжения 1408 г., как ни трудна была политическая обстановка в землях Великого Владимирского княжения после попытки Едигея противопоставить Москве Нижний Новгород и Тверь, правительство великого князя Василия Дмитриевича старалось найти выход из создавшегося положения, и надо сказать, что старания эти не оставались безрезультатными.

Имея перед собой большое поле деятельности, московский правящий дом широко использовал все находившиеся в его распоряжении средства политической борьбы — не только армию, административный и дипломатический аппараты, но также и православную церковь, деятельности которой он придавал большое значение, в частности кафедре митрополита всея Руси, остававшейся вакантной после смерти Киприана (1406 г.).

Мы знаем, что митрополичья кафедра в тот период была центром церковной жизни «всея Руси», а за возможность контролировать ее деятельность происходила постоянная борьба между Москвой и Вильно. Вполне

естественно, что в те годы для московского и виленского дворов было отнюдь не безразличным, кто станет новым митрополитом и где будет находиться его постоянная резиденция. Поэтому приезд в Москву 22 марта 1410 г. нового митрополита всея Руси, Фотия (грека по происхождению), следовало рассматривать как большое достижение московской дипломатии.

Фотий, направляясь из Царьграда в Восточную Европу на пост митрополита всея Руси, представлял здесь не только церковные интересы константинопольского патриарха, но и политические интересы византийской империи, переставшей с конца XIV в. следовать ордынской политике в Восточной Европе, но вынужденной все в большей мере считаться с политикой султанской Турции. Вполне понятно, что Царьград, испытывая значительные внутривластные и международные трудности, многого ожидал от деятельности Фотия в русской церкви, в частности получения при его содействии финансовой и политической поддержки из Восточной Европы. Характерно, что первые шаги Фотия носили характер политической разведки и свидетельствовали о его стремлении найти наиболее эффективный путь реализации политических инструкций Царьграда. Известно, что перед своим появлением в Москве Фотий находился в течение шести месяцев в Киеве (сентябрь 1409 — февраль 1410 г.) [42, 485; 41, XI, 213—214; 163, II, 361].

Видимо, только ознакомление с реальной политической обстановкой в Литовской Руси (это было время, когда Поднепровье после инцидента с князем Свидригайло в 1408 г. даже формально находилось под контролем старост польского короля [553, 109]) убедило его в том, что он не может рассчитывать на сколько-нибудь значительную финансовую и политическую поддержку великого княжества Литовского и Русского. Между тем из переговоров с московским князем Василием Фотий знал, что Московская Русь готова пойти на значительно более широкое сотрудничество с митрополитом всея Руси.

Таким образом, решение Фотия последовать из Киева в Москву и Владимир было вызвано не столько церковными, сколько политическими интересами этого представителя Царьграда в русских землях.

Тем не менее и в таком своем качестве Фотий ока-

зался отнюдь не бесполезной для московского правящего дома политической фигурой. Это было особенно заметно в первые годы пребывания митрополита всея Руси в Москве (во всяком случае, в 1410—1418 гг.).

Видимо, московский великий князь совершенно сознательно допускал энергичные действия Фотия, направленные на пополнение митрополичьей казны, на увеличение митрополичьего земельного фонда [41, XI, 214; 163, II, 363, 365]. Очевидно, князь Василий санкционировал также оказание прямой финансовой и политической поддержки Царьграда со стороны Московской Руси¹⁵. Но, предоставляя столь широкие возможности Фотию, московское правительство вместе с тем последовательно использовало нового митрополита всея Руси в интересах своей «централизаторской» политики, политики собирания русских земель вокруг Москвы [42а, 186; 46, 143].

Сотрудничая с московским правящим домом в 1410—1418 гг., Фотий выступал на самых различных поприщах: он много занимался политикой, которая часто только по форме была церковной¹⁶, много уделял внимания идеологическому обоснованию приоритета Московской Руси в русских землях, руководя созданием специального летописного свода, известного как «Полихрон» Фотия 1418 г. [323, 142—146].

Если иметь в виду сотрудничество Фотия с московским правительством в церковно-политической области, то можно указать на целый ряд соответствующих мероприятий митрополита, осуществленных уже в первые годы его пребывания в Северо-Восточной Руси. По-видимому, первым таким мероприятием было посещение тогдашней церковной столицы «всей Руси» Владимира [163, II, 365]¹⁷, откуда Фотий, вероятно, и хотел управ-

¹⁵ Без этой поддержки вряд ли Константинополь форсировал бы женитьбу наследника византийского престола будущего Иоанна VIII Палеолога на дочери московского князя Василия Анне. Этот брак состоялся, как известно, в 1411 г. при содействии того же митрополита Фотия [46, 143—144; 48, 240; 163, II, 365; 213, III, 293].

¹⁶ Пресняков [317, 375] вряд ли был прав, когда утверждал, что Фотий стоял «в стороне от политической борьбы».

¹⁷ Мы помним, что еще в 1408 г. наиболее важные здания города Владимира были отремонтированы, кафедральный собор Богородицы (позднее Успенский собор) был украшен живописью Андрея Рублева [223, III, 132; 190, 31—36; 248, 223, 160].

лять если не всей православной церковью русской земли, то хотя бы всеми епископиями Северо-Восточной Руси.

Об этом его намерении говорили произведенные в том же году назначения новых епископов (в Рязань, Коломну, Тверь [45, 159; 44, 54; 41, XI, 215]), а также приглашение в Москву для важных переговоров тех епископов, которые были поставлены еще до прихода Фотия (например, проезд новгородского владыки Иоанна) [38, 411; 30, 403; 41, XI, 215].

Характерно, что уже первые шаги Фотия на московской почве привлекли внимание тогдашних противников Великого Владимирского княжения. Мы видим, что уже тогда наметившееся сотрудничество митрополита и великого князя пытались сорвать не только «сепаратисты» Нижнего Новгорода [46, 143], Твери [41, XI, 215; 435, I, 372], но также и правители ордынской державы. Показательно, что проезд Фотия во Владимир весной 1410 г. активизировал антимосковскую деятельность Едигея и его нижегородской креатуры.

Появление митрополита всея Руси в его владимирской резиденции толкнуло ордынских политиков и их нижегородских партнеров на путь организации похода нижегородско-татарских войск в район самого города Владимира. Одной из главных целей задуманной операции было, видимо, пленение митрополита всея Руси, что несомненно предполагало его последующее использование в интересах антимосковской политики [163, II, 365]¹⁸. Однако план этот не удался: Фотий покинул Владимир, скрывшись в одном из митрополичьих имений, окруженном труднопроходимыми болотами.

Когда предводители нижегородско-татарского войска князь Даниил и царевич Талыча [45, 160; 41, XI, 215] обнаружили отсутствие Фотия во Владимире, столкнувшись, таким образом, с невозможностью выполнить свою главную задачу — превратить митрополита в пленника Орды, в орудие ее дипломатии, они решили сделать все от себя зависящее, чтобы затруднить дальнейшее использование этого центра московской митрополии, чтобы помешать сотрудничеству митрополита всея Руси с великим князем владимирским и московским [48, 240].

¹⁸ Трудно согласиться с утверждением Голубинского о том, что целью захвата Фотия был только денежный выкуп [163, II, 365].

Имея в виду эту цель, они разрушили и разграбили во Владимире прежде всего то, что делало этот город в глазах современников сосредоточением главных «святынь» православия, что превращало этот город в идеологический центр всей русской державы. Показательно, что нижегородско-татарские части разорили кафедральный собор (позднее Успенский собор), где и находилась тогда знаменитая икона Богородицы [48, 240; 90, 36]¹⁹.

Сообщая подробности о действиях нижегородско-татарских войск в начале июля 1410 г. на территории Владимира, автор Симеоновской летописи писал: «...они же окаяннии... на посад пришедше, начаша люди сечи и грабити, потом же пригониша к церкви святыа Богородица соборныа... высекоша двери святыа Богородица и вшедшие в ню икону, святыа Богородица одраша, тако же и прочая иконы и всю церковь разграбиша... Тогда же в том пожаре и колоколы разлишася» [45, 160].

В этих внешне беспорядочных, а по существу весьма целенаправленных операциях нижегородско-татарского отряда²⁰ нельзя не видеть попытку ордынской дипломатии помешать сотрудничеству нового митрополита всея Руси с московским княжеским домом, а вместе с тем нельзя и не усмотреть попытку Едигея предотвратить возможность преобладания Московской Руси в религиозно-политической жизни Восточной Европы²¹.

Хотя в данном случае ордынская дипломатия совместно со своими нижегородскими вассалами вынудила

¹⁹ Насколько важное значение придавали этим владимирским «святыням» современники той эпохи, видно, между прочим, из «Повести о нашествии Едигея», в которой говорится: «Многославный Владимир... есть „стол земли русския и градъ Пречистые Богоматери... въ нем же и чудна великая православная съборная церкви Пречистыа Богоматери, еже есть похвала и слава по всей вселенной живущим христианом, источник и корень нашего благочестия... в ней же чудотворная икона Пречистыа» [45, 157].

²⁰ Как бы ни скромны были масштабы данных операций начала июля 1410 г. во Владимире, они все же сыграли, видимо, свою роль и в развитии международных событий того времени, явившись, в частности, своего рода политическим фоном для того сражения, которое произошло 15 июля 1410 г. под Грюнвальдом.

²¹ Эта попытка ослабления Московской Руси, осуществленная по указанию Едигея, видимо, была последней в те годы «антимосковской» акцией этого правителя Орды; уже в августе 1410 г. в Москву прибыло ордынское посольство, которое чрезвычайно напугало Витовта [127, 101, прим. 42].

митрополита всея Руси занять оборонительную позицию, в дальнейшем Фотий чаще выступал в роли активного церковно-политического деятеля, осуществлявшего общую с московским князем наступательную политику.

Уже зимой 1410 г. мы сталкиваемся с весьма активным поведением Фотия в Тверском княжестве. «На тоу зимоу месяца ген[варя] поеха митрополит Фотеи на Тферь, — читаем мы в Супральском списке западнорусской летописи под 1411 г., — а бывша во жреби Парфени Шедаровский игоумень, Антоний игоумень Илинский Москвитин... и служил владыка Митрофан Суздальский на митрополичью слову...» [44, 54—55].

Далее автор летописи сообщает, что, когда в присутствии митрополита Фотия, тверского князя Ивана Михайловича и всех тверских князей и бояр «конверт» с жребием был распечатан, судьба тверской епископии определилась в пользу Антония. При этом летописец счел нужным подчеркнуть, что хотя появление «москвитина» на тверской кафедре оказалось нежелательным для какой-то части тверичан [44, 55; 41, XI, 215; 45, 159], тем не менее утверждение этого епископа произошло при поддержке митрополита Фотия.

Так выглядело на практике сотрудничество митрополита всея Руси Фотия с правительством князя Василия. Оно проявлялось, как мы теперь знаем, в осуществлении совместных внутривосточных мероприятий (расширение митрополичьего земельного фонда, назначение промосковски настроенных епископов в различных центрах Северо-Восточной Руси, составление летописного свода и т. д.), а также в общих акциях на международной арене (совместная борьба с Ордой и ее нижегородскими ставленниками, содействие митрополита выходу замуж московской княжны Анны за наследника византийского престола Иоанна Палеолога, поддержка московским правительством устремлений Фотия установить контроль над православной церковью великого княжества Литовского и Русского и т. д.).

* * *

Останавливаясь на основных фактах политической жизни Северо-Восточной Руси в 1408—1411 гг., мы, разумеется, не можем игнорировать и хода синхронных

политических событий как в польско-литовском государстве, так и в Золотой Орде, если хотим глубже понять весь комплекс международных отношений того времени в Восточной Европе.

Чем же характеризовалась политическая жизнь польско-литовского государства в эти годы? Закрепив осенью 1408 г. (14 сентября) свои границы с Московской Русью на реке Угре [42, 482; 48, 237, 416, 714; 123; 113; 566, 80], упрочив свое влияние в Великом Новгороде (здесь, видимо, в 1409 г. снова появился князь Семен Лугвень, вытеснивший московского наместника князя Константина Дмитриевича [38, 405; 435, II, 372, 409]), а также в Пскове (в этом городе в 1409 г. оказался наместником пинский князь Юрий Нос [553, 87]), польско-литовское государство стало готовиться к решительной схватке с Орденом, стремившемся, как известно, подчинить себе Жмудь, а также расширить свои владения за счет других территорий Литвы, Польши и Северо-Западной Руси.

Практическая подготовка к столкновению с Орденом осуществлялась в сложной международной обстановке, в условиях напряженной дипломатической борьбы с венгерским королем и императором Сигизмундом, чешским королем Вацлавом и другими западноевропейскими монархами [553, 87—97; 566; 603].

Следует вместе с тем подчеркнуть, что данная подготовка была облегчена позицией Московской Руси, в целом в тот момент миролюбивой по отношению к своему западному соседу [127, 113; 553; 87, 566, 79—80]²².

Мобилизовав к весне 1410 г. значительные силы, Ягайло и Витовт имели в составе своих армий не только войска Польши и Литвы, но также полки Смоленска и, возможно, отряды Великого Новгорода [416, 714; 566, 95, 98, 127, 112, 180]. Союзниками Ягайло и Витовта выступали тогда и сравнительно немногочисленные татарские отряды, прибывшие на территорию великого княжества Литовского вместе с детьми Тохтамыша еще в первые месяцы 1409 г. Возглавлял эти отряды хорошо известный нам Джелаль-Еддин [71, № 388, 391, 393, 417, 437, 440, 447].

²² Орденские дипломаты сообщали в конце 1409 г. о намечавшемся политическом сотрудничестве Витовта с Москвой, Псковом и Великим Новгородом [71, № 437, 205].

Общеизвестно огромное историческое значение Грюнвальдской битвы, подорвавшей силы Ордена и приостановившей тем самым экспансию германских феодалов на восток [214, 122—123, 527, 573—580; 566, 411—415].

Следует, однако, признать, что происшедшее в результате достигнутой победы усиление польско-литовского государства было использовано в дальнейшем польским королем и литовским князем не только для развертывания борьбы против германской феодальной агрессии, но также для осуществления каждым из них своей собственной наступательной программы в Восточной Европе.

Но для того чтобы правильно понять характер внешнеполитической деятельности Ягайло и Витовта в годы, последовавшие после Грюнвальда, нельзя игнорировать и тогдашнее внутривполитическое состояние данного государственного объединения, нельзя забывать, в частности, о наступившем в то время обострении противоречий между польскими, литовскими и русскими феодалами.

Противоречия эти проявлялись в различных формах: Мы видим их, с одной стороны, в фактах борьбы литовских и русских феодалов за ослабление их зависимости от польского королевства, а с другой — в настоящих попытках польских феодалов удержать литовские и русские земли под контролем польской короны. В этих условиях польский король Ягайло, естественно, оставался орудием польских феодалов, а лидером феодалов Литовской Руси после изоляции Свидригайло (1409 г.) [553, 87] снова становился Витовт. Анализируя развитие отношений Ягайло и Витовта в эти годы, мы убеждаемся в том, что между ними действительно происходила напряженная борьба, иногда скрытая, иногда явная.

Но весьма характерным обстоятельством в тогдашней борьбе этих двух феодальных лидеров было то, что, несмотря на наличие глубоких расхождений между ними, они все же не решались пока идти на полный разрыв друг с другом.

Причины данного обстоятельства крылись, как нам представляется, и в особой сложности внутривполитического положения польско-литовского государственного объединения, и в той расстановке сил, которая создавалась тогда в Восточной Европе.

По-видимому, политическая обстановка в великом княжестве Литовском и Русском после Грюнвальда действительно сложилась таким образом, что Витовт почувствовал возможность вернуться к своей общерусской программе, которую он пытался осуществлять еще накануне сражения на Ворскле. Опираясь на соответствующие настроения феодалов Литовской Руси, Витовт стал предъявлять ряд территориально-политических требований Ягайло [553, 109—110], стал выступать с определенными политическими концепциями и на международной арене, устанавливая контакты с венгерским королем и императором Сигизмундом Люксембургским [127, 55, 104, 105]²³, с Великим Новгородом и Псковом [38, 229; 719, № 484, 485], также пытаясь с помощью Джелаль-Еддина реализовать планы, выработанные литовским князем с ханом Тохтамышем еще в 1397—1399 гг. [см. стр. 219—222 данной работы].

Сталкиваясь с симптомами подобного рода, правящие круги Польши стали действовать теперь более гибко и вместе с тем более решительно, чем в предшествующие годы. Так, с согласия польских «баронов и прелатов» южнорусские земли, находившиеся после событий 1408 г. под контролем королевских старост, в марте 1411 г. были переданы Витовту в качестве «наследства» Свидригайло [553, 109]. Что касалось внешнеполитической деятельности Витовта, то польские феодалы стремились поставить его под контроль польского короля. Так, весной и летом 1411 г. Ягайло и Витовт совершили совместную поездку по территории всего великого княжества Литовского (от Жемайтии до Киева) [71, № 482, 483]. Во время этой поездки польский король вел переговоры с представителями Рязани, Пскова и Новгорода (после чего на Волхов был направлен в качестве наместника брат короля Семен Лугвень Ольгердович), тогда же Ягайло вступил в переговоры с сыном Джелаль-Еддина [553, 110, 142; 675, 565].

Важные политические акции предпринимала польская дипломатия и при дворе императора Сигизмунда, в результате которых в марте 1412 г. был заключен особый договор между императором и польским королем [553,

²³ Уже в эти годы Сигизмунд пытался предлагать Витовту «корону».

111; 675, 564]. Договор касался не только политического сотрудничества обоих монархов, но и будущей судьбы таких «спорных» территорий, как Галиция и Подолия, на которые венгерское королевство продолжало претендовать еще с 70—80-х годов XIV в. [127, 108—109; 553, 112].

Добившись «временного» отказа Сигизмунда от этих территорий в пользу польско-литовского государства, Ягайло тем самым выступил в роли «защитника» прав Витовта на южнорусские земли, вынудив таким образом литовского князя остаться еще несколько лет в роли «благодарного» вассала польского короля.

Таким образом, если непосредственные отношения Витовта с польским королем и польским государством не позволяли рассчитывать на возможность расторжения унии в ближайшем будущем, то весьма сложные контакты литовского князя с ордынской державой в те годы пока, в сущности, также не оправдывали его надежд, хотя следует признать, что в течение второго десятилетия XV в. Витовту в ряде случаев все же удавалось оказывать сильное воздействие на политическую обстановку в самой Орде.

Так, сразу после Грюнвальда Витовт предпринял решительную попытку с помощью Джелаль-Еддина установить контроль над политической жизнью Орды. Осуществляя намеченный план, Джелаль-Еддин осенью 1410 г. овладел Крымом, а в самом начале 1411 г. в столкновениях с ордынскими войсками добился ликвидации и самого Булат-хана. Однако Джелаль-Еддину не удалось тогда долго пользоваться результатами своей победы [41, XI, 215; 675, 564—565].

Дело в том, что, хотя к этому времени позиции Едигея оказались заметно ослабленными (в связи с процессами внутренней децентрализации Орды, а также в связи с нарушением известного нам равновесия сил в Восточной Европе после Грюнвальда), правитель ордынской державы все же сумел вытеснить Джелаль-Еддина в Литву (источники говорят о пребывании этого хана в Литве осенью 1411 г.), а на золотоордынский престол посадить своего ставленника Тимур-хана [350, 186—187].

Однако если Булат-хан был действительно, как мы знаем, послушным орудием Едигея, то новый хан Орды,

Тимур-хан, очень скоро оказался в оппозиции к своему ослабевшему покровителю. В результате Едигею пришлось в середине или во второй половине 1411 г. покинуть берега Волги, переправиться в Хорезм и здесь за высокими стенами Ургенча искать защиты от преследований Тимур-хана.

Но царствование самого Тимура оказалось весьма кратковременным: ведя активную борьбу с Едигеем и не имея достаточно прочной опоры внутри Орды, он сравнительно легко был устранен от власти в результате новой атаки Джелал-Еддина, предпринятой при активной поддержке Витовта в самом начале 1412 г. На этот раз Джелал-Еддин задержался на золотоордынском престоле на несколько месяцев, в течение которых он осуществлял политику, видимо в полной мере согласованную с правительством великого княжества Литовского [41, XI, 218—219; 675, 566, 574].

Если в создавшейся после Грюнвальда международной обстановке Едигей выступал противником польско-литовского государства и в то же время отказывался от ослабления Московской Руси (мы знаем, что уже в августе 1410 г. в Москву прибыло ордынское посольство, обеспокоившее Витовта [127, 101]), если Едигей в течение зимы 1410/11 г., видимо, прекратил всякое сотрудничество с польско-литовским государством, а возможно, и содействовал упрочению московского влияния в Твери и Нижнем Новгороде в эти месяцы, то Джелал-Еддин занял, естественно, позицию прямо противоположную — доброжелательную по отношению к великому княжеству Литовскому и враждебную по отношению к Великому Владимирскому княжению.

Многие летописи сохранили сведения о том, что «злой недруг» Московской Руси [41, XI, 219] Джелал-Еддин, став правителем Орды, вызвал к себе почти всех князей Северо-Восточной Руси: московского князя Василия Дмитриевича, тверского Ивана Михайловича, кашинского Василия Михайловича, а также князей нижегородских, ярославских и др. [40а, 91; 41, XI, 219].

По-видимому, в противовес недавней политике Едигея (зима 1410/11 г.) Джелал-Еддин приблизил к себе нижегородских князей, наделив их новыми ярлыками (эти князья тогда были «пожалованы от царя... своею их отчиной» [41, XI, 219]), и добился сближения твер-

ского княжеского дома с Витовтом [41, XI, 219; 127, 181]²⁴.

Однако Джелаль-Еддин не успел установить выгодную ему и Витовту расстановку сил в системе княжеств Великого Владимирского княжения, не успел он расправиться и с Едигеем, находившимся в это время все еще в Хорезме, но продолжавшим как-то влиять на ход политической жизни Золотой Орды.

Во всяком случае, не без участия Едигея (а возможно, не без участия и московской дипломатии) в августе 1412 г. на золотоордынском престоле произошла очередная смена ханов [522, 376]: хан пролитовской ориентации Джелаль-Еддин был убит, а новый хан, Керим-берды, находившийся в московской эмиграции еще с 1408 г., оказался не только сторонником Едигея, но и в какой-то мере союзником московского правящего дома и противником Витовта [104, II, 158; 675, 566].

В результате смены ханов расстановка сил в Восточной Европе стала несколько иной, положение Московской Руси в скрытом соревновании с великим княжеством Литовским стало более благоприятным.

Видимо, в прямой связи с воцарением Керим-берды московский князь не только получил возможность вернуться домой (под 1412 г. в Симеоновской летописи мы читаем о том, что поехавший в Сарай в августе 1412 г. «князь великий Василей тое осени выеде из Орды» [45, 161; 435, I, 144; 435, II, 503]), но и оказался в состоянии подчинить своему влиянию целый ряд русских княжеств.

Так, получив заверения от Керим-берды в недействительности ярлыков Джелаль-Еддина, данных братьям Борисовичам, московский князь быстро вытеснил с

²⁴ Если в 1411 г. Джелаль-Еддин, Витовт и Ягайло вели важные переговоры в Киеве с представителем тверского дома молодым князем Александром Ивановичем [41, XI, 215, 218], прямым родственником литовского князя (его мать была сестрой Витовта) и участником смоленской кампании 1404 г. на стороне польско-литовских войск [435, II, 503—506], то уже в 1412 г. тот же Джелаль-Еддин, оказавшийся временным правителем Орды, пригласил к себе в Сарай его отца — тверского великого князя Ивана Михайловича [45, 161; 127, 181] и здесь, видимо, рекомендовал ему форсировать установление мирных отношений с виленским двором. «Того же лета, — читаем мы в Никоновской летописи под 1412 г., — взяша велици и князи единачество межи собою, князь великий Витофть Кейстутьевчъ Литовский и князь велики Иван Михайлович Тверский, быти имъ всюде заединъ» [41, XI, 219].

территории Нижегородского княжества князей Даниила, Ивана, а также их многочисленное потомство [42, 487].

Не менее последовательно действовал московский князь и в Твери. Характерно, что князь Василий вернулся из Орды не с великим тверским князем Иваном Михайловичем (последний после договора 1412 г. с Желал-Еддином [45, 161; 127, 181] намеренно был тогда задержан в Орде, откуда его отпустили только в апреле 1413 г.), а с князем кашинским Василием Михайловичем, оставшимся тверским удельным князем промосковской ориентации. Показательно, что кашинского князя сопровождали татарские войска [40а, 86; 435, II, 503, 535].

Судя по всему, московский князь с помощью близкого ему кашинского князя должен был распространить свое влияние на все Тверское княжество. Хотя план этот тогда осуществить не удалось, тем не менее он несомненно существовал [435, II, 503; 140, 187—189].

Изменилось, видимо, в этот период отношение к Москве и в Великом Новгороде. Мы знаем, что в дни Грюнвальда, а также непосредственно после него (15 июля 1410 г.) и Торуньского мира (1 февраля 1411 г.), в период двукратного пребывания Желал-Еддина на золотоордынском престоле (в начале 1411 и в первой половине 1412 г.) Великий Новгород установил тесные контакты с польско-литовским государством, пригласив к себе снова князя Семена Лугвеня [14, № 52, 90; 127, 180; 553, 110; 71, № 205, 226]. Новгородцы прямо заявляли в своей грамоте к князю Семену (5 декабря 1411 г.), что они хотят сотрудничать с ним и «действовать, советуясь с великим князем» Витовтом [14, № 52, 91]. В этих условиях Витовт направил на берега Волхова Семена Лугвеня [71, № 245] и заключил договор с Новгородом и Псковом, в силу которого обе эти боярские республики обязались выступить против Ливонии, если бы Орден попытался нарушить мирное соглашение, заключенное в Торунь [71, № 484, 485]. Еще в марте 1411 г. Семен Лугвень возглавлял экспедицию новгородского войска против шведов, попытавшихся захватить один из новгородских пригородов [38, 411; 41, XI, 218].

Однако отношение новгородцев к польско-литовскому государству радикальным образом изменилось именно осенью 1412 г., после того как в Сарае произошла

смена ханов и когда в Москву вернулся из Орды великий князь Василий Дмитриевич.

Нам представляется, что возникшее в результате установления союза Орды с Москвой новое соотношение сил в Восточной Европе не только было быстро замечено в Великом Новгороде, но и эффективно использовано новгородцами. Получив возможность в этих новых условиях опереться на Великое Владимирское княжение, новгородские бояре позволили себе занять более независимую позицию по отношению к польскому королю, к тесно связанному с ним тогда литовскому князю Витовту, а также находившемуся в то время на новгородской земле брату короля — князю Семену Ольгердовичу.

Поэтому ничего не было удивительного в том, что, как только в Восточной Европе возник равный польско-литовскому государству противовес в виде вновь консолидированного Владимирского княжения, поддержанного тогда правителями Орды Керим-берды и Едигеем, новгородские бояре встали на путь расторжения договоров с Ягайло и Витовтом, на путь сближения с Москвой. Об этом свидетельствовал тот факт, что глубокой осенью 1412 г. Семен Лугвень вынужден был покинуть Новгород [38, 412; 41, XI, 219], а его место в начале 1413 г. занял брат московского князя Василия — Константин Дмитриевич [435, II, 138]. Об этой же тенденции политической жизни Новгорода в зимние месяцы 1412/13 г. говорила и поездка владыки Иоанна в Москву к митрополиту Фотию [38, 403].

Совершенно естественной была и предпринятая Ягайло, Витовтом и Лугвением в январе 1413 г. попытка дипломатическим путем восстановить утраченные ими позиции в Новгороде или во всяком случае попытка осудить сам факт расторжения этого договора.

Из дошедшего до нас летописного рассказа об этом демарше польско-литовской дипломатии можно создать представление не только о причинах разрыва, но и о мотивировании обеими сторонами данного события. Судя по сохранившемуся пересказу грамоты Ягайло и Витовта, суть дела состояла в следующем: по договору, заключенному еще, видимо, в 1411 г., Новгород обязался начать войну против Ливонии в случае возобновления борьбы польско-литовского государства с Ливонским орденом [71, № 484; 38, 412; 127, 180]. Новгород согла-

сил на этот союз, рассчитывая на реальное военное сотрудничество прежде всего с Литвой, а также с Польшей. Однако когда в марте—апреле 1412 г. Ягайло и Витовт заключили мирный договор с венгерским королем и императором Сигизмундом [127, 107, 111; 527, 578], верховным протектором Ордена (в грамоте Ягайло и Витовта подчеркивалось, что «с немцы вемя мир вечный взяли и съ Оугры и с всеми нашими граничники мирны есмя» [38, 412]; в последнем случае речь шла, видимо, и о самом Ордене), Великий Новгород оказался перед перспективой изолированной борьбы с немецкими крестоносцами. Вполне естественно, что в этих условиях новгородцы решили не выступать в роли ландскнехтов Ягайло и Витовта, а предпочли провозгласить программу сохранения мира в Прибалтике, программу добрососедских отношений как с польско-литовским государством, так и с Орденом (в грамоте она зафиксирована в виде ответа новгородских бояр литовским послам: «Не может Новгород того учинить (начать войну. — *И. Г.*): как есмя с Литовским мирны, такожде есмя и с немцы мирны» [38, 412]).

Меняющаяся таким образом политическая обстановка в Центральной и Северо-Восточной Европе ухудшала отношения Великого Новгорода с польско-литовским государственным объединением, делала все более затруднительным положение князя Лугвеня на берегах Волхова²⁵. Однако его удаление из Новгорода произошло, видимо, в результате изменения общего соотношения сил в этой части Европейского континента, вследствие перемены внешнеполитического курса ордынской державы, обусловленной, как мы знаем, сменой ханов на престоле в Сарай-берке, в частности гибелью литовского союзника Джелаль-Еддина, и утверждением на ордынском столе Керим-берды, ознаменовавшим, как уже выше отмечалось, свой приход к власти не только

²⁵ Сущность возникавших противоречий состояла, видимо, в том, что Лугвень в создавшихся условиях выступал не столько в роли новгородского князя, сколько в роли наместника польского короля на новгородской почве, что, разумеется, не могло не вызвать недовольства новгородского боярства. Пожалуй, сам Лугвень лишь повторил обвинения новгородцев в его адрес, когда сформулировал положение, что он, Лугвень, составлял с Ягайло и Витовтом одно целое, «занеже есмь с ними (королем и Витовтом. — *И. Г.*) один человек» [38, 413].

быстрой переправкой московского князя Василия из Орды в Москву [38, 412; 41, XI, 219], но и оказанием ему соответствующей политической поддержки.

* * *

Мы видим, таким образом, что к концу 1412 г. произошли определенные сдвиги как в политической жизни Северо-Восточной Руси, так и в расстановке сил всех восточноевропейских государств. Но если эта расстановка сил на короткое время оказалась благоприятной для Великого Владимирского княжения, то этого нельзя было сказать о великом княжестве Литовском и Русском. Сложившаяся к этому времени международная обстановка создавала весьма трудные условия для Витовта и для его «сепаратистской» программы.

После договора, заключенного Сигизмундом и Ягайло в Любавли (март 1412 г.), была очевидна невозможность использования Империи для осуществления этой программы. После гибели Джелаль-Еддина и прихода к власти Керим-берды была ясна нереальность расчетов в этом смысле и на Золотую Орду.

Наконец, после расторжения договора Литвы с новгородцами стал неизбежным провал расчетов на использование Новгорода и как противовеса Ордену, и как базы расширения влияния Витовта в русских землях.

Между тем ход политической жизни в самом польско-литовском объединении также складывался не в пользу литовского князя. Преобладание польского короля и стоявших за ним польских феодалов становилось все более заметным. Гибкая тактика, применявшаяся польской администрацией в отношении определенных кругов литовской и русской знати, давала свои результаты. Не имея опоры своей программе на международной арене, а также сталкиваясь со значительными препятствиями при попытках ее реализации со стороны внутренних сил польско-литовского государства, Витовт вынужден был все еще отказываться от своей программы-максимум, должен был мириться со скромным положением вассала польского короля.

В такой обстановке правящим кругам феодальной Польши сравнительно легко удалось не только предотвратить разрыв между Краковом и Вильно, но и форси-

ровать заключение еще одного акта польско-литовской унии.

Для осуществления этого мероприятия в сентябре 1413 г. в Городло прибыли Ягайло вместе с представителями польской феодальной знати, а также Витовт, сопровождаемый представителями литовских феодалов. 2 октября 1413 г. были подписаны три документа. Первым была грамота Ягайло и Витовта, фиксирующая главные положения унии, вторым документом была грамота польских панов, третьим — соответствующая грамота панов литовских [65, № 49, 50, 51]. В этих документах подтверждалось объединение обоих государств, предполагавшее как проведение ими общей внешней политики, так и дальнейшую «унификацию» их внутривнутриполитической жизни, а вместе с тем и дальнейшее подчинение великого княжества Литовского феодальной Польше.

Речь шла не только об установлении контроля польского правительства над политической деятельностью Витовта и его будущих преемников (само «избрание» нового литовского князя объявлялось невозможным без санкции польского короля), но также и о проведении целой системы мероприятий, имевших целью сначала «расщепление» феодалов великого княжества Литовского на католиков и православных, а потом превращение окатоличенного литовско-русского боярства в полонизированную часть господствующего класса польско-литовского государства.

Городельские грамоты не только заменили старый термин «литовские бояре» новым термином «бароны и нобили», но и декларировали порядок назначения на государственные должности, распоряжения земельными владениями, заключения браков и т. д. Согласно этим грамотам, лишь те литовские феодалы могли занимать должности и прочно удерживать в своих руках владения в княжестве, которые являлись католиками, имели отношение к польским гербам и находились в браке с католичками (браки с православными запрещались) [109, 29—32; 65, 49, 50, 51; 586а, 106].

Все эти положения делали очевидными как ближайшие цели правящих кругов Польши в великом княжестве Литовском, так и более отдаленные: вставая на путь сращивания Польши с католической Литвой, поль-

ские феодалы сначала добивались только столкновения литовских феодалов с русскими, их изоляции друг от друга. Позднее эта тактика должна была обеспечить поглощение феодальной Польшей как литовской, так и русской части великого княжества Литовского, а вместе с тем и содействовать постепенной полонизации обеих группировок феодальной знати этого княжества.

При оценке городельской унии нам представляется необходимым учитывать именно данный аспект этого сложного исторического явления, хотя следует вместе с тем иметь в виду и то, что в исторической науке по поводу рассматриваемой проблемы существуют самые различные мнения, выдвигаются самые разнообразные трактовки [586а, 106; 460, 40—42].

Но как бы мы ни трактовали цели правящих кругов Польши, преследовавшиеся ими во время заключения городельской унии, мы должны отдавать себе отчет в том, что реальное значение этого исторического события оказалось отнюдь не таким, каким его представляли себе в Кракове.

Городельская уния была, по-видимому, действительно каким-то временным компромиссным соглашением, зафиксировавшим тогдашнее соотношение сил Польши и Литвы, соглашением, которое показало, что, с одной стороны, феодальная Польша еще была не в состоянии поглотить полностью Литву, а с другой — великое княжество Литовское и Русское не могло в этот момент встать на путь решительного разрыва с Польшей.

Мы видим, таким образом, что в результате городельской унии правящие круги Польши все же добились какого-то подчинения Литовско-Русского княжества, во всяком случае создали видимость этого подчинения.

* * *

Но какое бы значение ни имела городельская уния для внутрисполитического развития Польши и великого княжества Литовского в тот период, следует все же признать, что данный акт привел к временному усилению позиции польско-литовского государства на международной арене, создал, в частности, условия для активизации внешнеполитической деятельности Ягайло и Витовта в Восточной Европе.

Мы видим, что уже в 1413—1414 гг. Витовт пытался восстановить свое влияние не только в Орде, но и в нейтральных русских землях, в частности в Великом Новгороде; мы видим, что Витовт в эти годы встал на путь смелых экспериментов и в церковной области.

Стараясь любыми средствами парализовать деятельность антилитовски настроенного хана Керим-берды, Витовт в течение зимы 1413/14 г. попытался выдвинуть своих кандидатов на ордынский престол. Источники знают о появлении на рубеже 1413—1414 гг. хана Бетсабулы [75, XI, 203—204; 553, 126], который как будто участвовал в военных операциях против Ордена летом 1414 г. [71, № 547, 245], а потом погиб в схватках с ордынскими войсками Едигея (или даже с Керим-берды) [675, 566—569]. Источники знают также и о каком-то эпизодическом выступлении в этот период и хана Иеремфердена (более широкий размах его деятельность приобрела лишь в 1417 г. [653, 153]), имеются еще более определенные сведения о хане Кепеке, который сумел с помощью Витовта в 1414 г. утвердиться на золотоордынском престоле [63, 37; 59, 62; 350, 190—191]. Возможно, что Кепек подчинил своему контролю всю Орду; а может быть, только какую-то ее часть.

Тем не менее пребывание в Орде этого хана пролитовской ориентации отразилось на ходе всей международной жизни Восточной Европы, во всяком случае, имело определенное влияние на развитие политических событий в Северо-Восточной Руси.

Сепаратистские элементы Нижнего Новгорода, недавно еще сдерживаемые политическими контактами Керим-берды с московским князем, теперь, после прихода к власти Кепека, вновь встали на путь противодействия централизаторским устремлениям обладателя Великого Владимирского княжения. Так, нижегородские князья братья Борисовичи, получившие ярлык на свою «отчину» еще из рук Джелаль-Еддина в начале 1412 г. и вынужденные отказаться от реализации этого ярлыка при Керим-берды, теперь, в 1414 г., вновь решили силой оружия вернуться в Нижний Новгород. Эта угроза была настолько серьезной, что московский князь Василий вынужден был послать на среднюю Волгу своего брата Юрия Дмитриевича галицкого, который и отогнал силы этих ставленников Кепека за реку Суру [42, 487].

Весьма симптоматичными в этом смысле были и события 1414 г. в Пскове и Великом Новгороде.

Опираясь на тесный союз с новым золотоордынским ханом, Кепеком, Ягайло и Витовт встали на путь расширения сферы своего влияния в Восточной Европе. Но если их военные операции против Ордена не дали значительных результатов (начавшись в июле, эти операции были приостановлены в октябре 1414 г. из-за вмешательства папы, императора Сигизмунда, Констанцского собора [75, XI, 151—158; 96, № 1062, 1067, 1072, 1074, 1075; 71, № 557, 517, 600; 553, 124—125]), то военнополитическая активность польско-литовского государства в нейтральном «поясе» русских земель, в частности в Пскове и Новгороде, оказалась для них весьма эффективной. Так, видимо, уже в начале 1414 г. Витовт попытался военной демонстрацией оказать соответствующее воздействие на Псков и Новгород. По сведениям Стрыйковского, он сжег Себеж и блокировал город Порхов [104, II, 151].

Данные мероприятия Витовта сделали свое дело. Оставшись изолированными (московский князь, видимо, не мог прийти на помощь из-за возникшей угрозы со стороны нижегородских князей Борисовичей и стоявшей за ним Орды Кепека), Псков и Новгород вынуждены были проявить уступчивость требованиям Витовта.

Весной 1414 г. в Литву направились новгородские послы и там вновь заключили какой-то договор. Летопись сообщает, что этот договор не был союзом против Ордена («Тое весны, — читаем мы в Новгородской IV летописи под 6922/1414 г., — ездил от Новгорода в Литву послом посадникъ Юрьи Онцифорович и взя съ князем Витовтом миръ по старине, а к Немцем не нялся...») [30, 404—405; 38, 413].

Псковичи, возможно, пошли еще дальше по пути уступок Витовту. Если Новгород воздержался от выполнения каких-либо военных мероприятий против Ордена, то Псков в 1414 г. завязал бои с немецкими рыцарями.

Однако не военные статьи определяли основное содержание этих договоров. Речь шла, по существу, о вытеснении московского влияния из этих районов и об упрочении позиций Витовта на Волхове [137, 209].

Видимо, с этим договором следует связывать уход из Новгорода летом 1414 г. московского князя Констан-

тина Дмитриевича [435, I, 411], удаление с епископской кафедры новгородского владыки Иоанна [30, 405], поддерживавшего тогда тесные контакты с Москвой и с митрополитом Фотием [38, 413; 45, 162], а также противодействовавшим распространению литовского влияния в Пскове (в августе 1413 г. Иоанн был в Пскове) [38, 411].

Более конкретные сведения о содержании договоров Витовта с Псковом и Новгородом в 1414 г. сообщает Стрыйковский. Оказывается, что псковичи не только признали подчинение политической власти Витовта и его наместника Юрия Носа, но и взяли на себя обязательства финансового порядка. Псков обязался платить Витовту и его потомкам ежегодно до 5 тыс. злотых, кроме того, посылать большие партии самых разнообразных мехов [104, II, 151].

Что касалось Великого Новгорода, то он также должен был принять литовского наместника Семена Ольгемунтовича ольшанского (племянника Витовта), посылать в литовскую казну 10 тыс. злотых вместе с огромным количеством мехов [104, II, 151]. К таким результатам привело вмешательство Витовта в политическую жизнь Новгорода и Пскова, вмешательство, которое оказалось возможным благодаря кратковременному союзу Витовта с золотоордынским ханом Кепеком.

Говоря о действиях Витовта в Пскове и Новгороде, следует иметь в виду, что они были лишь одним звеном в цепи тех мероприятий, с помощью которых литовский князь добивался расширения и упрочения своего влияния в русских землях. Особое внимание Витовт уделял положению дел в русской церкви; фигура митрополита всея Руси Фотия, тесно связанного тогда с московским правящим домом, все меньше устраивала главу великого княжества Литовского и Русского.

Если в 1411—1412 гг. Фотий был еще допущен на территорию Литовской Руси [44, 56]²⁶, то более поздние его попытки проезда через Литву в Царьград, визита-

²⁶ «Того же лета поеха, — записано под 1411 г. [44, 55], — Фотей митрополит во Литву и тамо на Кieve постави Савостяна владку ко Смоленску». Причиной признания Витовтом Фотия в качестве митрополита всея Руси в 1410—1412 гг. было, видимо, данное самим митрополитом обещание сделать своим постоянным местожительством город Киев [443, 165, 175].

ция южнорусской церкви митрополитом всея Руси, принятые в 1414 г., были в грубой форме отклонены правительством Витовта [163, II, 363, 372—373; 471, 37]²⁷.

Отдавая себе отчет в том, что митрополит вместе с князем Василием энергично противодействовали распространению литовского влияния в «нейтральном» поясе русских земель, Витовт все чаще склонялся к мысли о необходимости разрыва с Фотием.

Именно теперь, в 1414 г., у Витовта, видимо, окончательно созрел план создания независимой от Фотия митрополичьей кафедры, создания такой митрополии русской церкви, с помощью которой можно было бы вести борьбу против влияния Фотия и стоявшего за ним московского правящего дома на всем пространстве русских земель. Уже в 1414 г. литовский князь наметил в качестве кандидата на этот пост весьма колоритную для своего времени фигуру племянника Киприана, иерарха болгарского происхождения Григория Цамблака [443, 157—158, 164—174; 638a]²⁸.

В начале 1414 г. Витовт созвал собор иерархов Литовской Руси, на котором предъявил ряд обвинений в адрес Фотия (пренебрежение к Киеву как подлинной столице русской церкви, взимание слишком большой дани, изъятие из киевских церквей каких-то сосудов). В связи с данным собором и следует, видимо, рассматривать изгнание Фотия из Киева, происшедшее летом 1414 г. [362a, 52—72].

На этом соборе имя Цамблака в качестве кандидата на пост митрополита названо еще не было, и поэтому известие Супрасльской летописи о поездке Цамблака в Москву [44, 55], совершенной якобы после неудачного визита Фотия в Поднепровье, нам представляется довольно достоверным. Это была, видимо, попытка полу-

²⁷ «В лето 6922 (1414), — читаем мы в Симеоновской летописи, — Фотей митрополит въсхоте итти к Царьграду и яко доиде до Литвы, Витовт же не пусти его, но пограбивъ, его возврати к Москву» [45, 161; 38, 413].

²⁸ Есть основание предполагать, что сам Киприан хотел сделать Цамблака своим преемником на посту митрополита всея Руси. Известно, что Киприан вызвал его в 1406 г. из Молдавии к себе, но смерть самого Киприана спутала все эти планы и расчеты. С 1406 по 1414 г. Григорий Цамблак находился, видимо, то в Сербии, то в Константинополе, то в Литве.

чить у самого митрополита Фотия согласие на создание автономной западнорусской церкви [443, 176]. Однако после того как эта попытка не дала никаких результатов, Григорий Цамблак вернулся в Литву, где осенью 1414 г. на вновь созванном церковном соборе был выдвинут в качестве кандидата на пост киевского митрополита [471, 37—38; 443, 177]. Затем последовала поездка в Константинополь с целью получить благословение патриарха [434, 178; 471, 38]. Однако Царьград решительно отклонил эти домогательства. И дело здесь заключалось, видимо, не в «происках» Фотия [443, 177] (хотя и они могли иметь место), а в том, что Царьград, находясь в крайне тяжелых из-за турецкого окружения условиях [607, 433—435; 213, III, 173—174], очень дорожил своими позициями в русской церкви. Именно поэтому Византия стремилась обеспечить сохранение своего влияния на Руси с помощью такого митрополита, который был бы не способен «раздваиваться» между Царьградом и Римом. Между тем, если Фотий соответствовал этим требованиям, то Григорий Цамблак, за спиной которого стояли не очень «устойчивый» в церковно-религиозном отношении Витовт и активный католик Ягайло, внушал, видимо, царьградскому патриарху самые серьезные опасения [443, 178; 665, 127].

В результате Григорий Цамблак не только не получил благословения в Константинополе, но тогда же, в 1414 г., «был извержен синодом из сана и отлучен» [443, 178].

Таким образом, попытки Витовта создать самостоятельную митрополию в Киеве наталкивались на решительные возражения Царьграда, что, разумеется, осложняло его наступательную политику в русских землях.

* * *

Между тем в политической жизни Восточной Европы наметились новые сдвиги, сложилось новое соотношение сил. Происшедшие в 1414 г. возвращение Едигея в Орду, изгнание Кепека и воцарение Чекри-оглана (Чингис-оглана) [350, 191] воздействовали определенным образом на развитие международных отношений в Восточной Европе, во всяком случае, играли такую роль в международной жизни того времени, какую нельзя было не заметить.

Орда снова стала противником польско-литовского государства и в то же время оказалась по логике борьбы на стороне Великого Владимирского княжения. Возможно, что первым симптомом изменившейся политики Орды было совершенное в 1415 г. нападение татар на город Елец, находившийся на территории Рязанского княжества, которое тогда, как и другие «нейтральные» русские земли, постоянно колебалось между ориентацией на Москву и ориентацией на Вильно²⁹.

Не исключено, что Елец действительно выполнял роль какого-то опорного пункта в наступательной политике Витовта в русских землях. В этом случае его разрушение татарами в 1415 г. могло быть показателем изменившегося политического курса ордынской дипломатии. Однако о новых веяниях в политике Едигея говорил отнюдь не только этот один эпизод. Мы располагаем точными сведениями о том, что правитель Орды в первой половине 1416 г. организовал грандиозный поход на Киев [75, XI, 178—180; 71, № 682; 45, 163, 163; 44, 57; 46, 145]³⁰. Есть такие данные о боевых операциях татарских войск 1417 г. в Подолии [85, V, № 2150].

²⁹ История Рязанского княжества этих лет из-за недостатка источников трудно реконструируется [209, 135—139; 435, II, 593—595; 246, 255—256]. Известно лишь, что на протяжении первого десятилетия XV в. Рязань находилась в союзе с Москвой [16, № 19, 20, 52—57; 246, 245—255], что в 1408 и 1410 гг. она была разорена Едигеем [42, 482—483; 41, XI, 204, 215], а в 1411 г. рязанский князь сделал попытку восстановить дружбу с Витовтом, в конце же 20-х годов рязанский князь Иван Федорович оказался на службе Витовта [16, № 25, 67—68]. Весьма вероятно, однако, что линия поведения рязанских князей во втором десятилетии XV в. мало чем отличалась от линии поведения князей нижегородских, тверских, да и самого Великого Новгорода. Вполне возможно, что Елец в 1412—1414 гг. стал одним из форпостов Витовта. Он мог оказаться в этой роли как составная часть рязанской земли (так считал А. Н. Насонов [295, 210]), но он мог оказаться и в зависимости от Витовта в качестве центра небольшого «самостоятельного» княжества пограничной зоны. Наличие таких центров в сфере политического влияния Витовта зафиксировали более поздние источники. Так, в докончании 1427—1430 гг. Витовт, декларируя свое «невмешательство» во внутриполитическую жизнь рязанской земли, все же выделял из ее состава ряд особо близких ему центров, примыкавших к зоне верховских княжеств: Тулу, Берестень, Ретань, Доужен (около Елифани), Заколотен [16, № 25, 68; 209, 139].

³⁰ Возможно, что этот поход был в какой-то мере спровоцирован попыткой Витовта возвести в начале 1416 г. на ордынский престол своего ставленника Иерем-фердена, который, устранив

Таким образом, в течение ряда лет (с конца 1414 до начала 1418 г.) политика Орды в Восточной Европе характеризовалась враждой Едигея к польско-литовскому государству³¹ [675, 567—569; 350, 191—192] и относительно его миролюбием к Великому Владимирскому княжению.

Этот новый курс Орды, несомненно, оказывал влияние как на состояние отношений Польши и Литвы, объективно помогая польскому королю удерживать в подчинении литовского князя Витовта, так и на развитие событий в Северо-Восточной Руси, воздействуя так или иначе на связи Москвы с удельными князьями.

Восстановление политических контактов Сарая и Москвы сказалось, между прочим, и в том, что хорошо известные нам нижегородские князья братья Борисовичи, использовавшиеся до сих пор ордынской дипломатией в качестве противовеса московскому князю, теперь оказались в Орде «безработными» и были вынуждены вернуться в Москву, но уже не в качестве независимых нижегородских князей, а в качестве вассалов великого князя Василия Дмитриевича. Основная масса этих князей (братья Борисовичи с сыновьями) перебралась на территорию Великого Владимирского княжения в течение 1416—1417 гг. [45, 163; 41, XI, 231—232; 435, II, 433, 435, 438]. Но «первой ласточкой» оказался князь Александр, сын Ивана Борисовича, который появился в Москве еще в 1414 г. [435, II, 442].

Влияние Великого Владимирского княжения в эти годы также восстанавливалось и в Великом Новгороде и в Пскове. В марте 1415 г. в Псков прибыл ростовский князь Андрей Александрович, рекомендованный, видимо, великим князем московским [50, II, 36; 33, № 44, 385—388; 435, II, 55]. Новгород также встал на путь сближения с Москвой в эти годы. Хотя в августе 1415 г. новгородским епископом стал чернец Спасо-Хутынского

Чекри-оглана, просидел на царстве очень недолго: он не успел даже организовать чеканку своей монеты. Следующим ставленником Едигея на ордынский престол был Дервиш-хан (1417—1419) [350, 191—192].

³¹ Во время заседаний Констанцкого собора в 1416 г. послы Ягайло осуждали татар и «схизматиков» за их нападения на земли польского короля, указывали на взаимосвязанность этих нападений [127, 129].

монастыря Самсон в результате традиционной жеребьевки (из трех кандидатов) [30, 405], тем не менее его последующее поставление в Москве произошло в подчеркнуто торжественной обстановке, свидетельствовавшей о желании Фотия и князя Василия I придать этому акту особо важное политическое значение. На поставлении, состоявшемся в марте 1416 г., присутствовали не только великий князь Василий, его братья Юрий и Константин (недавний наместник в Новгороде), но также почти все епископы Северо-Восточной Руси [30, 406; 38, 415].

Но если московский князь Василий вместе с Фотием, установившие снова контакты с Ордой, усиленно добивались упрочения своего влияния в поясе нейтральных русских княжеств, то великий князь литовский Витовт вместе с Григорием Цамблаком действовали в этом направлении не менее энергично. Правда, разрыв с Ордой Едигея и Чекри-оглана затруднял их деятельность в данной области, тем не менее Витовт продолжал весьма настойчиво осуществлять свою политическую программу в Восточной Европе.

Мы видим, что в течение 1415 г. он вел интенсивные переговоры с Царьградом по поводу создания киевской митрополии и возведения на этот пост Григория Цамблака [443, 178; 471, 38]. Однако когда окончательно выяснилась непримиримость константинопольского патриарха Евфимия, Витовт созвал осенью 1415 г. церковный собор в Новгороде, на котором Григорий Цамблак и был провозглашен киевским митрополитом [33, № 38; 38, 414; 44, 56—57; 163, II, 377]. Характерно, что ни Витовт, ни Цамблак не думали тогда ограничивать сферу влияния новой митрополии границами великого княжества Литовского³².

Уже в первом митрополичьем послании Цамблак не только допускал прямые нападки на Фотия, но и подчеркнуто называл его «бывшим» митрополитом [443,

³² Уже 1 января 1416 г. ливонский магистр писал великому магистру в Мальбург: «Витовт выдвинул и избрал русского папу или, как его называют, патриарха в Литве и рассчитывает привести к послушанию этому патриарху москвитин, новгородцев, псковичей — словом, все русские земли» [71, № 657]. Позднее, в 1418 г., польский король в грамоте папе Мартину V прямо называл Цамблака «митрополитом всея Руси» [88а, 98—100].

180]. Естественно, что в этих условиях сам Фотий, а также поддерживавшие его, с одной стороны, московский князь, а с другой — царьградский патриарх встали на путь дискредитации Цамблака, а также всех участников церковного собора в Новгороде [33, № 39, 315—356; 46, 145—146]. Фотий предал Цамблака проклятию в начале 1416 г., разоблачал этого иерарха в специальных посланиях псковичам, киевлянам [33, № 41]. Цамблак обвинялся в попытках подкупить патриархию, а также в симпатии к латинству. В этом же духе действовали царьградские патриархи Евфимий (он умер в марте 1416 г.), а также его преемник Иосиф II: оба они отлучили Цамблака от церкви и предали проклятию [33, № 40; 38, 419; 163, II, 370—377; 443, 181].

Естественно, что все эти действия Царьграда, Фотия и московского правящего дома вызывали соответствующую реакцию самого Цамблака, а также Витовта и Ягайло. Очень скоро резиденция Цамблака была перенесена из Киева в Вильно³³, одновременно появились симптомы сближения нового митрополита с «латинством» [443, 181; 471, 45].

Показательно, что в мае 1417 г. римский папа Мартин утвердил Ягайло и Витовта в звании викариев римской церкви в Жмуди, Пскове, Новгороде и других русских землях [105, II, № 25, 26, 20—22; 77, № 62, 107]. Дальнейшим шагом на этом пути была поездка Григория Цамблака на Констанцкий собор, совершенная в начале 1418 г., но задуманная, вероятно, значительно раньше. Эта миссия Цамблака представляется весьма сложным и вместе с тем заметным событием данной эпохи. Нам кажется, что в рассматриваемом эпизоде отразился в какой-то мере весь тот комплекс политических противоречий, который был присущ тогдашней международной жизни Восточной Европы.

Если само создание киевской митрополии было связано, как мы видели, с ходом борьбы Витовта против Василия и Фотия, то поездка нового митрополита на Констанцкий собор свидетельствовала уже о стремле-

³³ Яцимирский связывает перемещение резиденции Григория Цамблака из Киева в Вильно с 1418 г. [443, 212]; нам представляется более оправданным связывать это событие с походом на Киев 1416 г.

нии польско-литовского государства, с одной стороны, и римско-католической церкви — с другой, использовать вновь созданную киевскую (виленскую) митрополию кафедру в более широком плане. Речь шла, по существу, о попытке форсировать с помощью митрополита Цамблака унию православной церкви с католической [127, 128; 665, 127—128].

О желании найти такое применение Цамблаку говорила переписка Ягайло с папой Мартином V (1417—1431); в частности, в своем письме от 1 января 1418 г. польский король не только информировал папу о посольстве «митрополита всея Руси» Цамблака и о целях этого посольства, но также выражал радость по поводу «окончания схизмы» [88а, 98—100].

Характерно, что эту линию Ягайло в отношении Цамблака как будто поддерживал Витовт, однако он поддерживал ее лишь в той мере, в какой сам чувствовал себя тогда «вассалом» польского короля³⁴. На примере отношения к Цамблаку мы видим, что Витовт только формально был солидарен с Ягайло, а по существу преследовал уже в данном случае свои конкретные политические цели, те самые цели, которые были связаны с его возвратом к старой программе создания независимого «литовско-русского королевства», а может быть, и более обширного государства в Юго-Восточной Европе (см. стр. 223—236, 374—380 данной работы).

О таком сложном подходе Витовта к миссии Цамблака свидетельствовали, с одной стороны, совместная с Ягайло отправка нового митрополита на Константинопольский собор, выразившаяся в факте написания близких по содержанию писем от короля и литовского князя к папе Мартину V [443, 189—195, 202; 618, 347—349], в подборе сопровождавших Цамблака лиц (в его многочисленной свите были гнезненский архиепископ Николай Тромба, а также представители западнорусской церкви — из Полоцка, Киева, Львова, Перемышля и т. д. [443, 191—192; 471, 45—47]), в составлении официальной речи Цамблака, которую от его имени прочел магистр из Че-

³⁴ Мы знаем, что сразу после городельской унии зависимость Витовта от Ягайло была довольно значительной, однако в дальнейшем она уменьшилась, а в конце 20-х годов XV в. дело дошло до открытого конфликта между ними.

хии Маврикий и т. д. [471, 46], а с другой стороны, реальное поведение на соборе киевского митрополита, который, действуя, несомненно, по тайной инструкции литовского князя, отказался участвовать в осуществлении церковной унии [127, 135—137; 95, 376], предложив лишь провести диспут на данную тему [443, 199, 202, 206].

Таким образом, становится очевидным, что для Витовта тогда было важно в Польше поддерживать иллюзию своей вассальной зависимости от польского короля, а также видимость максимальной приверженности к католической церкви (для этого, в сущности, Витовт и согласился послать Цамблака на Констанцкий собор)³⁵, а в великом княжестве Литовском и Русском было важно создавать не только впечатление своего политического могущества, но и впечатление такого правителя, который если и не был защитником православия, то, во всяком случае, был холоден к католицизму и вообще равнодушен к противоречиям церковно-религиозного порядка.

Но визит Григория Цамблака интересовал не только Витовта и Ягайло. К этой поздке было тогда приковано внимание Царьграда, Орды, Великого Новгорода, а вероятно, и Москвы. Не случайно в состав свиты Цамблака, разумеется не без ведома Витовта, были включены как новгородские представители, так и посланцы каких-то ордынских улусов и волошских воевод [553, 134; 73а, 47]. Возможно, что Григорий Цамблук, находясь в Констанце, вел переговоры и с дипломатами византийского императора Иоанна [443, 204, 205].

Все эти обстоятельства (включение в свиту Цамблака новгородцев, валахов, ордынцев, установление контактов с царьградскими дипломатами), разумеется, были хорошо известны Витовту.

Судя по всему, они были результатом не каприза литовского князя, а признаком «вызревания» каких-то новых политических замыслов главы великого княжества Литовского и Русского. Данные обстоятельства говорили о том, что литовский князь не только хотел в

³⁵ Цамблук в своей речи на Констанцком соборе специально отметил католическую «набожность» Витовта [443, 192]. Об этом, в сущности, писал и сам Ягайло римскому папе Мартину V [88а, 98—100].

лице этих представителей иметь тогда свидетелей сдержанности митрополита всея Руси к римско-католической церкви, но и стремился обеспечить в дальнейшем поддержку планам превращения Литовско-Русского княжества в независимое государство именно со стороны Новгорода, Валахии, Орды, а также Царьграда.

Совершенно естественно, что чрезмерная политическая активность Витовта и его митрополита Цамблака не могла оставаться не замеченной в Москве. Мы помним, что митрополит Фотий самым энергичным образом изобличал «мятежного» Цамблака, противодействовал его акциям в Пскове, Великом Новгороде [33, № 40, 41, 43, 44, 45, 48]. Но было бы ошибкой считать, что этим ограничивалась сфера борьбы митрополита всея Руси Фотия со своими противниками.

В его распоряжении тогда находилось еще одно, весьма важное по тем временам средство политической борьбы, которым он широко и, можно сказать, умело пользовался. Речь идет об участии митрополита в создании особого летописного свода, получившего наименование «Полихрона» Фотия [427, 133—135; 323, 142—147, 264, 306, 313].

Хотя «Полихрон» как отдельный памятник до нас не дошел, тем не менее его существование после трудов А. А. Шахматова, М. Д. Приселкова, Д. С. Лихачева представляется вполне реальным.

Завершение Фотием к 1418 г. особого летописного свода было доказано, между прочим, тем обстоятельством, что хорошо известные нам летописи (Новгородская IV, Софийская I, Ермолинская, отчасти «Хронограф») в изложении исторического развития Руси до 1418 г. исходили из единой общерусской фактологической основы, развивали одни и те же идеологические взгляды, выдвигали одни и те же политические концепции единства русской земли.

* * *

Но сколь бы ни очевидны были главные политические тенденции всей летописной деятельности Фотия в эти годы, в ней оставалось все же много неясного. Прежде всего были непонятны причины, обусловившие «завершение» работы над «Полихроном» именно в 1418 г.

М. Д. Приселков прямо указывал на «невозможность приурочения этой работы по времени ее появления к какому-либо политическому моменту жизни русской земли или митрополии всея Руси» [323, 146].

Между тем, оставляя этот вопрос открытым, мы, в сущности, лишаем себя возможности использовать еще один аргумент в пользу наших предшествующих наблюдений, лучше понять не только последующую судьбу «Полихрона», но и многие стороны политической жизни Московской Руси, Великого Новгорода, великого княжества Литовского в 20-е годы XV в.

Нам представляется, что решение этого сложного и по-своему важного вопроса следует искать в причинах более широкого плана. Прекращение работы над «Полихроном» следует связывать с наступлением в те годы какого-то важного перелома во всей международной жизни Восточной Европы, с возникновением нового соотношения сил на этой части Европейского континента, подготовленного, с одной стороны, торжеством тенденции феодального распада ордынской державы, а с другой — не только соответствующим усилением Московской Руси и польско-литовского государства, но и осложнением отношений между ними.

Политическое развитие восточноевропейских стран в 1414—1417 гг., происходившее в условиях борьбы Едигея с Витовтом и Ягайло, в обстановке сотрудничества правителя Орды с Великим Владимирским княжением, привело, как мы видели, к преобладанию московского влияния в Нижнем Новгороде, в Пскове и Великом Новгороде, а также, возможно, в Твери и Рязани. Не исключено, что политические успехи, достигнутые в это время Северо-Восточной Русью, оказали какое-то воздействие и на поведение сепаратистских элементов Литовской Руси³⁶.

³⁶ Возможно, что усилением московского влияния в Поднепровье следует объяснять факт женитьбы киевского князя Александра (Олелько) Владимировича на дочери московского князя Анастасии (свадьба произошла 22 августа 1417 г.) [435, I, 147]. Характерно, что с этим браком примирился и Витовт. Правда, в данном случае, может быть, проявилась не столько «уступчивость» литовского князя, сколько его «расчетливость». Дело в том, что дочь московского князя Анастасия была одновременно и внучкой Витовта, поэтому данный брачный союз мог в дальнейшем принести определенные политические выгоды и самому главе Литовско-Русского княжества [127, 188].

Нам представляется, что наиболее крупным политическим событием, свидетельствовавшим об активизации русских феодалов великого княжества Литовского в то время, было освобождение Свидригайло, совершенное ранней весной 1418 г.

Являясь знаменем определенных кругов западнорусской знати, оставаясь после 1408 г. символом их союза с Великим Владимирским княжением, князь Свидригайло в течение своего десятилетнего заточения представлял для Ягайло и Витовта серьезную политическую опасность. Весьма характерно, что польский король и литовский князь постоянно боялись, как утверждал Длугош, использования Свидригайло «князьями и папами Руси, которые были к нему расположены за то, что он благоприятствовал их порядкам и обычаям» (75, XI, 200]. Длугош подчеркивал, что боязнь такого оборота дела заставляла Ягайло и Витовта держать своего пленника под особо бдительным наблюдением [75, XI, 200—201].

Однако эта бдительность все же себя не оправдала. При прямом содействии западнорусских феодалов, «князей Дашко, Александра, Носа и других в середине апреля Свидригайло был освобожден из кременецкого замка» [618, 192—193]. Это событие было настолько значительным, что оно сразу оказалось в фокусе международной политики. Весьма показательно, что подробными сведениями об этом факте располагало не только польско-литовское государство, но также Орден и Империя [71, № 768]. Интерпретация этого события польско-литовской стороной, как мы знаем, была сделана позднее Длугошом [75, XI, 200], а потом Стрыйковским [104, II, 109].

В курсе дела оказалось и московское правительство; подробными сведениями об этом событии располагал, во всяком случае, «Полихрон», которых мы не находим ни в польско-литовских, ни в орденских документах той эпохи.

Это событие сразу привлекло внимание и Ордена; от различных комтуров последовали ливонскому магистру донесения об этом факте, донесения, которые не только подтверждали сведения, содержащиеся в «Полихроне» Фотия, но и кое в чем их дополняли. Так, комтур из Динабурга писал уже 10 апреля 1418 г. о бегстве Свид-

ригайло, подчёркивая, что этот князь получил энергичную поддержку со стороны местной знати, что он имел на своей стороне сильное войско и много народа [71, № 766, 768]. Он сообщал также о том, что бегство произвело очень сильное впечатление на Витовта, который предпочел после этого события в течение нескольких недель скрываться в Троках [71, № 766, 405]. Более того, как сообщал 11 апреля 1418 г. один из комтуров Ордена, освобождение Свидригайло привело к потере Витовтом контроля над большей частью территории своего княжества [71, № 767, 406]. Комтур Рагнеты сообщал о том, что Свидригайло стал, по одним утверждениям, обладателем Влахии, по другим — Подолии [71, № 768, 406].

Хотя Свидригайло вскоре после своего освобождения направился к императору Сигизмунду [618, 192—193] (кстати, часто использовавшему сепаратистские антипольские настроения феодалов Литовской Руси), тем не менее возвращение к политической деятельности этого «героя» 1408 г., выступавшего тогда союзником московского правящего дома, могло и теперь при определенных обстоятельствах содействовать дальнейшему усилению Северо-Восточной Руси, выдвигавшей с помощью Фотия широкую общерусскую программу³⁷.

Поэтому ничего не было удивительного в том, что в данных условиях Едигей, несмотря на все более заметные симптомы распада своего «улуса», стал самым энергичным образом добиваться ослабления Московской Руси. В его распоряжении находились традиционные приемы ордынской тактики, основанной на поддержании хорошо известного нам равновесия между конкурировавшими друг с другом странами Восточной Европы.

Оставаясь верным этой тактике, Едигей в 1418—1419 гг. попытался ослабить Великое Владимирское княжение как с помощью поощрения внутренних сепаратистских сил в рамках Северо-Восточной Руси, так и с

³⁷ Характерно, что после бегства Свидригайло польский король признал необходимым принять меры предосторожности в отношении южнорусских земель, в частности Подолии, рекомендовав подольской шляхте еще раз присягнуть Витовту [71, 427—428]. Значение этой «рекомендации» мы поймем, если учтем, что «дедичем» этой территории до 1408 г. был Свидригайло [553, 77, 81], что в 1408—1411 гг. она находилась под контролем королевских старост и только в 1411 г. была передана Витовту [553, 109].

помощью создания антимосковской коалиции в виде ордынско-литовского союза.

Весьма характерно, что Едигей стремился ослабить Московскую Русь не противопоставлением последней всего польско-литовского государства, а лишь противопоставлением Москве великого княжества Литовского и Русского. В этом была своя логика. В Орде, судя по ряду данных, прекрасно понимали, что столкновение Великого Владимирского княжения с Польшей и Литвой как целым могло привести в тот период к размежеванию борющихся сил не по государственно-политическим, а по национально-религиозным признакам, могло привести, в частности, к восстановлению союза московского князя Василия с князем Свидригайло или к чему-либо подобному. Разумеется, что такой исход дела не устраивал ордынскую дипломатию.

Орда стремилась столкнуть восточноевропейские государства таким образом, чтобы исключить возможность соглашения между ними, чтобы сделать абсолютно нереальным объединение всех русских земель или большей их части вокруг одного какого-либо центра. Как это ни парадоксально, но условием столь эффективного с точки зрения Орды столкновения было наличие у двух борющихся сторон близких, если не адекватных внешнеполитических программ, в частности наличие как при московском, так и при виленском дворах хорошо известной нам общерусской программы. Поэтому не приходится удивляться тому, что Едигей в 1418—1419 гг. стал сочувствовать возвращению Витовта к его широким политическим планам 1398 г., когда литовский князь совместно с Тохтамышем попытался, как мы помним, осуществить свою общерусскую программу путем подчинения великому княжеству Литовскому и Русскому не только Великого Новгорода, Пскова, Рязани, но и самой Москвы [45а, I, 423].

Интерес Едигея к возвращению Витовта на позиции «православной» общерусской программы в данное время проявился, как нам представляется, не только в том, что на рубеже 1417—1418 гг. были установлены какие-то контакты между Ордой и Витовтом [71, 307, 401], но и в том, что ордынский правитель счел нужным направить вместе с Цамблаком, ехавшим на Константинопольский собор, своих наблюдателей [553, 134; 665, 128]. Эти та-

тарские спутники киевского митрополита должны были составить себе четкое представление о реальном значении политических демаршей Цамблака на соборе католической церкви, должны были получить точные сведения о практических результатах этой миссии.

Между тем само поведение Витовта в это время свидетельствовало о том, что литовский князь, почувствовав возможность нового сближения с Ордой, решил встать на путь возрождения программы 1398 г., на путь более последовательного осуществления своей общерусской программы.

На тесную связь наметившегося ордынско-литовского сближения с появлением этих новых веяний в политике Витовта указывало не только предоставление ордынским дипломатам возможности сопровождать Цамблака в Констанцу, но и сама позиция киевского митрополита на соборе, которая формально укладывалась в рамки пожеланий польского короля Ягайло, а по существу совпадала с тогдашними замыслами Едигея. По-видимому, реальная позиция Цамблака на соборе, сделавшая очевидным отказ литовского князя от форсирования церковной унии, в полной мере устраивала тогдашнего правителя Орды, содействовала установлению более глубокого взаимопонимания между Егидеем и Витовтом.

Появление весной 1418 г. на политической арене Свидригайло, того самого князя, который еще в 1408 г. пытался вести борьбу против Витовта и Едигея в тесном союзе с Великим Владимирским княжеством, теперь послужило толчком к еще большему сближению правителя Орды с главой великого княжества Литовского и Русского, оказалось тем фактором, который заставил Витовта и Едигея еще более последовательно придерживаться рамок «православной», общерусской программы.

Результаты происшедших сдвигов в политических взаимоотношениях Литвы с Ордой не замедлили сказаться. Тогда же, в 1418 г., Едигей попытался с помощью хорошо известных ему приемов начать новое «распыление» сил Великого Владимирского княжества.

По всей вероятности, именно его инициативе следует приписать еще одно бегство из Москвы нижегородских князей Борисовичей, происшедшее в том же, 1418 г. «В лето 6926 князь Данило Борисович съ братомъ Иваномъ Новгородские, — читаем мы в Симеоновской ле-

топйси, — бежаша съ Москвы от великого князя Василия Дмитриевича» [45, 164—165].

Хотя летописец не говорит об уходе князей Борисовичей именно в Орду, тем не менее вся их предшествующая деятельность является как бы доказательством того, что они и на этот раз направились в Сарай, надеясь здесь получить поддержку своим притязаниям на нижегородскую «отчину»³⁸.

У нас нет доказательств прямого участия ордынской дипломатии в ослаблении позиций Владимирского княжения на Волхове в 1418—1420 гг., тем не менее происходившие тогда перемены всей восточноевропейской политики Едигея не могли не оказать влияния на общую расстановку сил в Восточной Европе, а вместе с тем и на развитие отношений Новгорода с Москвой.

Если крупное антифеодальное движение, развернувшееся в 1418 г. на новгородской земле, было важным событием внутренней жизни боярской республики [38, 421—424; 302, 180; 137, 178—182], то прием новгородцами в начале 1419 г. опального в Москве князя Константина [38, 427; 30, 404, 412] свидетельствовал о новых внешнеполитических установках Великого Новгорода, о его стремлении ослабить связи с Владимирским княжением. Такие изменения московско-новгородских отношений могли быть результатом возникновения новой расстановки сил в Восточной Европе, в частности следствием перемен ордынской политики 1418—1419 гг.

Весьма показательным в этом смысле политическим шагом Едигея 1419 г. было прямое обращение к Витовту, содержавшее предложение сотрудничества между Ордой и великим княжеством Литовским, направленным против Северо-Восточной Руси.

Об этой акции Едигея подробно сообщает Длугош. Он указывает на то, что в 1419 г. Едигей направил в Литву послов, которые вручили Витовту специальное послание ордынского правителя, а также передали ему традиционные на востоке подарки: трех верблюдов и несколько десятков отборных коней.

Пересказывая обращение Едигея к литовскому князю, польский хронист сохранил все своеобразие восточ-

³⁸ Пребывание князей Борисовичей в Орде подтверждается двукратным получением князем Даниилом ярлыка от Улуг-Мухаммеда, занявшего ханский престол в 1421 г. [170а, 141—144].

ной дипломатической переписки, подчеркнув тем самым, что им был использован текст ордынского оригинала [71, 443, прим. 3].

«Не могу скрыть от внимания пресветлейшего князя, — так передавал Длугош слова Едигея, адресованные к Витовту, — что оба мы с тобой приближаемся к закату жизни. Не пристойней ли нам провести конец жизни в согласии и мире, чтобы кровь, пролитая в войнах между нами, впиталась в землю, чтобы ветер развеял взаимные упреки и проклятия, чтобы огонь уничтожил гнев и ожесточение между нами, чтобы пожары, все еще пылающие в наших странах, были погашены водой» [75, XI, 220].

Хотя некоторые историки относятся к данной информации польского хрониста с определенным скептицизмом [350, 193], нам представляется, что она заслуживает доверия. Достоверность этого сообщения Длугоша подтверждается не только тем обстоятельством, что сближение Едигея с Витовтом в 1418—1419 гг. хорошо вписывается в сложившуюся к тому времени политическую обстановку в Восточной Европе, но и самим характером данной информации польского хрониста, носившей явные следы использования текста послания Едигея. Следует также иметь в виду, что факт прибытия посольства Едигея к Витовту в 1419 г. находит себе подтверждение и в орденских документах [71, № 828, 443; 85, V, № 2208].

Правда, все эти сведения как бы вступают в противоречие с фактом скоро наступившего разрыва между Витовтом и Едигеем, фактом, который, видимо, и породил известный скептицизм историков в отношении информации Длугоша.

Действительно, в конце 1419 г. еще один случайно уцелевший сын Тохтамыша, Кадыр-берды, при поддержке крымских феодалов (ширинских мурз), а также самого Витовта выступил против Едигея. В завязавшейся борьбе оба они погибли, сначала Кадыр-берды где-то на Яике, потом Едигей в Крыму, очистив тем самым путь к золотоордынскому трону Улуг-Мухаммеду, непосредственному ставленнику литовского князя.

Однако все эти перемены на ордынском престоле, как и факт разрыва Витовта с Едигеем, последовавший на стыке 1419—1420 гг., отнюдь не опровергают, по на-

шему мнению, происшедшего в 1418—начале 1419 г. сближения между Сарай-Берке и Вильно. Мы не должны забывать, что Витовта в те годы интересовала не персональная дружба с Едигеем, а установление максимально прочного союза с ордынской державой. Совершенно очевидно, что достижение этой цели лучше могло быть обеспечено не с помощью столь ненадежного союзника, каким был Едигей, а с помощью таких прямых литовских ставленников, какими были Кадыр-берды и Улуг-Мухаммед. Поэтому разрыв Витовта с Едигеем, появление в Орде сначала Кадыр-берды, а потом Улуг-Мухаммеда [350, 194, 195, 202] следует рассматривать не в качестве событий, которые якобы ставят под сомнение происшедшее в 1418—начале 1419 г. сближение Литвы с Ордой, а в качестве подтверждения этого сближения, которое указывает на известную устойчивость наметившейся тенденции в развитии ордынско-литовских отношений³⁹.

Весьма характерно, что наличие этой новой тенденции в развитии отношений Витовта и Орды очень скоро сказалось на ходе всей международной жизни Восточной Европы, проявилось в тогдашнем политическом развитии как Московской Руси, так и великого княжества Литовского.

Так, почувствовав возможность опереться на Орду, глава великого княжества Литовского и Русского Витовт решил приступить к осуществлению своей общерусской программы. Именно в связи с этими новыми устремлениями Витовта и следует, по нашему мнению, рассматривать его неожиданный разрыв с Цамблаком и столь же неожиданное сближение с митрополитом Фотием [33, № 49, 419—422].

Несмотря на то что осуществленная Витовтом замена Цамблака Фотием уже давно привлекала внимание историков, в данной проблеме все же остается много неясного и спорного.

Остается, в частности, нерешенным вопрос о том, умер ли в действительности Григорий Цамблак в 1419 г. или он продолжал жить и после этого года, но уже не в качестве митрополита киевского и всея Руси, а в ка-

³⁹ Показательно, что один из сыновей Едигея, Навруз, оставался позднее, при Улуг-Мухаммеде, вплоть до середины 30-х годов XV в. [11а, 14].

честве скромного монаха одного из монастырей Молдавии.

В Новгородской IV летописи сказано, что Цамблак действительно умер в 1419 или в самом начале 1420 г. [45, 165; 38, 426]. Вместе с тем существует недатированное письмо польского короля к римскому папе Мартину V, в котором Ягайло также говорит о смерти Григория Цамблака (папа направил ответ на это письмо в 1422 г.) [443, 215 и сл.]. Таким образом, историк имеет как будто формальные основания признавать датой смерти Г. Цамблака 1419 г.

Однако нам представляются эти основания недостаточными. В самом деле, если учесть, что летописи, сообщая о смерти Цамблака, опираются прежде всего на «Полихрон» Фотия, т. е. на информацию лица, больше всего заинтересованного в естественной кончине своего конкурента и предшественника по киевской митрополии («живой» Цамблак, силой устраненный со своего поста, порождал бы опасную для Фотия раздвоенность в западнорусской церкви, а «мертвый» создавал видимость законной преемственности и обеспечивал тем самым нужную ему политическую стабильность на данных территориях), если учесть, кроме того, что для польского короля смерть Григория Цамблака была также выгодна (признать в письме к папе этого митрополита «живым» означало бы признать ошибочность данной им в 1418 г. рекомендации Цамблака как иерарха, якобы способного осуществить церковную унию, значило бы продемонстрировать свою терпимость к сотрудничеству Витовта с царьградским митрополитом всея Руси Фотием), придется согласиться, во-первых, с тем, что показания источников о смерти этого загадочного иерарха в 1419 г. весьма ненадежны, а во-вторых, что точка зрения Мелхиседека и Яцимирского, отрицавших смерть Цамблака в этом году и отстаивавших факт вынужденного его ухода из Киева в Молдавию, заслуживает самого серьезного внимания.

И действительно, в данном случае речь должна идти не о естественной замене умершего митрополита новым митрополитом, а о такой замене одного иерарха другим на этом высоком посту, которая была обусловлена обстоятельствами сугубо политического порядка, в частности была связана с возникновением новой расстановки

сил в Восточной Европе, продиктована появлением новых общеполитических установок главы великого княжества Литовского и Русского. Нам представляется, что именно наметившееся тогда сближение Литвы с Ордой не только содействовало возрождению той политической программы, которая была сформулирована еще в 1398 г. Витовтом и Тохтамышем, но и повлияло определенным образом на дальнейшую судьбу двух митрополитов. Так, в этих новых политических условиях Григорий Цамблак действительно уже не мог быть эффективным орудием в руках Витовта. Хотя Цамблак, как мы помним, на Констанцском соборе не форсировал церковной унии, тем не менее сам факт его поездки к римскому папе делал этого митрополита малопопулярной фигурой среди православного населения как Северо-Восточной, так и Западной Руси. Данное обстоятельство, естественно, затрудняло дальнейшее участие митрополита Цамблака в осуществлении «православной» общерусской программы Витовта и практически ставило вопрос об уходе этого иерарха из активной политической жизни.

В ином положении оказался другой митрополит всея Руси — Фотий. Защищая интересы Константинополя на посту русского митрополита, Фотий, разумеется, не мог сохранять пассивность и спокойствие, когда в результате литовско-ордынского сближения наметилась перспектива политического преобладания Витовта в Восточной Европе. Стремясь любой ценой сохранить свое положение в русской церкви, Фотий, возможно, сам взял на себя инициативу сближения с главой великого княжества Литовского и Русского. Но если даже инициатива в этом деле принадлежала не Фотию, а самому Витовту, то это обстоятельство, пожалуй, уже не является столь существенным по сравнению с самим фактом длительного их сотрудничества, начавшегося в 1419—1420 гг. и завершившегося только в 1430 г.

Но, отмечая факт сближения митрополита Фотия с Витовтом, мы не должны забывать того обстоятельства, что этот представитель Царьграда на Руси отнюдь не разрывал своих отношений и с московским великим князем. Хотя Фотий прервал в 1419 г. свою работу над составлением промосковской летописи (так называемого «Полихрона»), тем не менее он, как и его предшественник Киприан, стремился сохранять видимость одинаково

лояльных отношений как с Вильно, так и с Москвой. Но хотя внешне митрополит выступал теперь в роли своеобразного арбитра между Василием и Витовтом, на самом деле он в большинстве случаев оказывался на стороне чрезмерно усилившегося тогда главы великого княжества Литовского и Русского. Весьма характерным в этом отношении был тот факт, что Фотий обязал великого князя московского в его духовной грамоте 1423 г. «приказать» «сына своего князя Василия и свою княгиню (Софью Витовтовну. — *И. Г.*) и свои дети своему брату и тестю, великому князю Витовту» [16, № 22, 62].

**ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ
В ИСТОРИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКАХ ФЕОДАЛЬНОЙ РУСИ
КОНЦА XIV — НАЧАЛА XV В.**

Изучая сложный ход политической жизни Восточной Европы на рубеже XIV—XV вв., прослеживая процессы преодоления феодальной раздробленности и создания обширных государственных объединений на территории данного региона, выявляя при этом «сосуществование» двух главных тенденций исторического развития восточноевропейских стран (тенденции формирования новых многонациональных государственных комплексов и тенденции воссоздания этнически однородных «национальных» государств), мы имели возможность убедиться в том, что темп, масштабы, а иногда и сам характер указанных процессов во многом зависели от той или иной расстановки сил на международной арене, и прежде всего от той или иной активности в данной части Европейского континента ордынской державы, с одной стороны, «западной» дипломатии — с другой.

Но, фиксируя разные формы воздействия международных сил на тогдашнее закономерное развитие восточноевропейских государств, мы не можем не отметить и другое весьма важное явление изучаемой эпохи — самое тесное взаимодействие политических и идеологических факторов в историческом развитии этих государств, не можем, в частности, не констатировать отражение упомянутых выше сложных политических процессов в синхронно создаваемой идеологической литературе. По сути дела, речь должна идти о существовании в данный период единого ритма политической и идеологической жизни восточноевропейских государств, о сложении своеобразной традиции ознаменовывать важнейшие события политического развития этих государств созданием специальных историко-литературных произведений, в которых содержались не только ценные сведения об этих событиях, но и определенная их концепционно-идеоло-

гическая интерпретация. Тогда же сложилась традиция создавать несколько памятников на одну и ту же тему, как правило политически весьма актуальную, например цикл произведений о Куликовской битве, различные варианты повествования о нашествии Тохтамыша, Едигея и т. д.

Объединенные общностью темы, эти памятники единого цикла все же отличались друг от друга не только некоторыми формальными показателями (разные жанры, иногда неодинаковый объем информации), но и более существенными (различные концепции, ориентация, трактовка «исторических заслуг» тех или иных феодальных группировок русской земли и т. д.). Присутствие в указанных памятниках значительных концепционных различий подтверждало не только факт конфронтации ряда тенденций в политической жизни того времени, но и существование скрытой полемики между авторами различных вариантов идеологического осмысления этих тенденций.

Такая роль историко-литературных памятников данного периода, естественно, выдвигает задачу их специального рассмотрения, предполагает изучение их идейно-политической направленности, выявление их хронологии, авторства, связей с другими «родственными» документальными материалами той эпохи и т. д.

Но, приступая к реализации этой задачи, мы должны отдавать себе отчет в том, что данный комплекс историко-литературных документов создавался в действительно сложный, во многом противоречивый период исторического развития Восточной Европы, когда в условиях торжества сил феодальной концентрации, в обстановке напряженных политических конфликтов на международной арене происходило становление многонациональных государств, обуславливавшее постепенное обособление механически разъединенных частей русской земли, а вместе с тем шла борьба за преодоление полицентризма Руси, за консолидацию всех этнически однородных восточнославянских территорий, когда соответствующими феодальными силами отстаивалась программа воссоздания единого восточнославянского государственного организма.

Такой диалектический характер восточноевропейского исторического процесса на рубеже XIV—XV вв. сви-

детельствовал о том, что восточное славянство переживало переходный период своей истории, когда древнерусская народность еще отнюдь себя полностью не изжила, а в становлении трех братских народностей были сделаны только самые первые шаги, когда в языковом, культурном, социально-экономическом развитии различных частей русской земли было все еще значительно больше общности, чем различий, когда вполне естественным поэтому было выдвижение феодалами Владимирского и Литовско-Русского княжений весьма близких политических и идеологических программ — программ, основанных на встречных устремлениях тех и других объединить все древнерусские земли вокруг «своих» государств.

Но само наличие этих противоречивых тенденций в историческом развитии восточного славянства на рубеже XIV—XV вв. обязывает современного историка вести изучение указанных процессов во всей их диалектической сложности, а не в той механической усеченности, которую навязывал долгое время нашей историографии «метод» М. С. Грушевского и его последователей при изучении исторического прошлого Восточной Европы¹.

Именно с учетом этой диалектической сложности, а также с учетом органической целостности восточноевропейского исторического процесса и должна подходить современная историческая наука к анализу серии дошедших до нас историко-литературных памятников, порожд-

¹ Это был тот метод, тот «рациональный подход» к восточноевропейскому историческому процессу, который помог Грушевскому в 90-е — начале 900-х годов искусственно обособить историю «Украины-Руси» от исторического развития всего восточного славянства, который в дальнейшем помог осуществить нужные ему сдвиги в исторической этнотерминологии: где-то накануне войны 1914 г. Грушевский призвал к отказу от использования таких терминов, как «Украина-Русь», «Русь», применительно к историческому прошлому Среднего Поднепровья, считая их «предательскими» [181, 13], вредными для намеченного им разобщения восточнославянских народов и в связи с этим непригодными «как для современной жизни (Украины.— И. Г.), так и для прежних ее фазисов» [180, 3—5]. Наконец, это был тот «рациональный подход» к историческим судьбам Восточной Европы, который позволил Грушевскому совершить в 1918 г. весьма «плавный» переход от замаскированной поддержки определенной политической программы к открытой ее апологетике, к практическому ее осуществлению — программы превращения украинских земель в колонию австро-германского империализма [182].

данных рассматриваемой эпохой, к основным этапам идеологической жизни феодальной Руси на рубеже XIV—XV вв.

В этом направлении уже многое сделано трудами А. А. Шахматова, С. К. Шамбинаго, М. Д. Приселкова, М. Н. Тихомирова, Б. А. Рыбакова, Д. С. Лихачева, Л. В. Черепнина, А. П. Насонова, Л. А. Дмитриева, В. В. Мавродина, К. Н. Сербиной, А. А. Зимина и др.

Автор видит свою задачу в том, чтобы, опираясь на работы вышеназванных ученых, на опыт выявления тех или иных идеологических тенденций указанных памятников, углубить наши представления об отдельных этапах взаимодействия политической и духовной жизни русских земель в конце XIV—начале XV в.

Несколько соображений по поводу идеологических настроений на Руси 1381 г.

Весьма важным и интересным этапом взаимодействия политической и идеологической жизни феодальной Руси оказался период, последовавший сразу после Куликовской битвы.

Как мы уже знаем, искусственно сдерживавшиеся Ордой в предшествующий период объединительные тенденции политической жизни русской земли после Куликовской победы и резкого ослабления ордынской власти над Восточной Европой получили простор для своего развития. Интенсивность объединительного процесса выразилась во многих фактах: в наметившемся сближении Москвы с Великим Новгородом, Рязанью, Нижним Новгородом, в установлении еще более тесных контактов Дмитрия Донского с Андреем полоцким, Дмитрием брянским, самим Кейстут, в приезде весной 1381 г. в Москву в качестве общерусского митрополита Киприана, весьма активного и влиятельного церковно-политического деятеля того времени.

Данный этап в идейно-политической жизни феодальной Руси уже привлекал внимание многих исследователей: еще в дореволюционную эпоху им интересовались С. К. Шамбинаго, А. А. Шахматов, в последнее время к изучению его обратились М. Н. Тихомиров, Д. С. Лихачев, Л. В. Черепнин, В. Ф. Ржига, А. В. Соловьев, Л. А. Дмитриев и др.

Справедливо считая послекуликовский период в истории русской земли временем интенсификации идеологической жизни, А. А. Шахматов говорил о создании именно в 1381 г. специальной московской летописи, а также о появлении тогда двух внелетописных памятников на тему о Куликовском сражении. «Вскоре после Куликовской битвы, — писал А. А. Шахматов, — возникла в Москве повесть, посвященная прославлению великого князя и доблестной русской рати» [430, 121]. Источниками этой московской повести о Куликовской битве А. А. Шахматов считал Псалтырь, «Чтение о Борисе и Глебе», «Житие Александра Невского», Синодик и некоторые другие литературные тексты. Кроме того, Шахматов склонялся к мысли о почти синхронном составлении еще одного памятника, посвященного схватке русских войск с Мамаем, а именно о создании тогда же при дворе серпуховского князя Владимира Андреевича «Слова о Мамаевом побоище», целью которого, по его мнению, была апологетика князя Владимира Андреевича, а также тесно с ним связанных еще по событиям 1379 г. братьев Андрея и Дмитрия Ольгердовичей [430, 180—181].

Однако изолированная жизнь этих концепционно различных произведений, по мнению автора, оказалась непродолжительной: по его утверждению, оба памятника, добавленные официальными реляциями о Куликовском сражении^{1а}, были тогда же соединены на страницах Московской летописи 1381 г.

Итогом такого синтеза Шахматов считал рождение обширной летописной повести о Куликовской битве, в которой, по его мнению, кроме изложения основных фактов кампании, основанных на официальной реляции, присутствовало восхваление «решающих» заслуг Дмитрия Донского, а также апологетика не менее «решающей» роли его политических партнеров — князя Владимира Андреевича, Дмитрия волинского, братьев Ольгердовичей, что проявилось во вставных текстах о засадном полке, а также о поисках раненого Дмитрия Донского.

Но, вполне обоснованно выделив 1381 год как год активизации идеологической жизни русской земли, чутко уловив наличие уже в первоначальных вариантах пове-

^{1а} Следы этой официальной реляции А. А. Шахматов видел в Новгородской IV летописи по списку Дубровского, особенно в тексте об «уряжении полков» [38, 486; 430, 121, 180].

ствования о Куликовской битве двух встречных концепционных тенденций (одной тенденции, связанной с прославлением московского князя Дмитрия Донского, другой — с апологетикой серпуховского князя Владимира Андреевича, братьев Ольгердовичей, Дмитрия волинского), А. А. Шахматов все же предложил не вполне исчерпывающее, по нашему мнению, объяснение указанных явлений. Так, связав возникновение упомянутых памятников с идеологической деятельностью двух самостоятельных княжеских группировок, объяснив соединение этих памятников на страницах Московской летописи 1381 г. не усилившимся после Куликовской битвы процессом сращивания русских земель, не установившимся на основе этого процесса сотрудничеством Дмитрия Донского с митрополитом Киприаном, а просто фактом «дружбы» различных князей того времени [430, 180—181], А. А. Шахматов поставил себя в трудное положение: он оказался вынужденным придерживаться выдвинутой им концепции «раздельно-совмещенного» существования московской «Повести» и серпуховского «Слова» не только в момент их зарождения в 1381 г., но и на всех этапах развития памятников куликовского цикла.

«Куликовская битва, — писал А. А. Шахматов, — вызвала появление нескольких произведений: мы указывали на „Летописную повесть“ (1381 г.), официальную реляцию и „Слово о Мамаевом побоище“. Дальнейшая история сюжета состояла не в эволюции одного какого-либо из этих произведений, а во взаимном их влиянии, с одной стороны, и в самостоятельном развитии „Летописной повести“ и „Слова“, с другой». Если тезис А. А. Шахматова о сложении в 1381 г. двух концепционных тенденций, точнее, двух концепционно различных рассказов о Мамаевом побоище как основы всей последующей литературы о Куликовской битве имеет определенные исторические и текстологические обоснования (список Дубровского сохраняет следы особого рассказа о Мамаевом побоище 1381 г., кроме того, имеются текстуальные совпадения соответствующих мест списка Дубровского с таким памятником 1393 г., как «Слово о житии и преставлении великого князя Дмитрия Ивановича, царя русского» [38, 354, 487; 430, 123, 180]), то утверждение данного исследователя о последующем самостоятельном развитии «Повести» московского произ-

хождения и серпуховского «Слова о Мамаевом побоище» не получает необходимого подтверждения. Поэтому, приняв положение А. А. Шахматова об усилении идеологической работы на Руси в 1381 г., а также его тезис о возникновении на основе двух рассказов о кампании 1380 г. сводного памятника о Мамаевом побоище с широкой общерусской программой, мы склонны думать, что указанные рассказы о Куликовской битве, если и существовали короткое время независимо друг от друга в 1381 г., то в дальнейшем продолжали свою жизнь в составе известных памятников куликовского цикла, давая лишь материал для подчеркивания то одних, то других идейно неконцепционных акцентов этих памятников.

Разумеется, учет того обстоятельства, что в основе первоначальной повести о Мамаевом побоище 1381 г. и всех последующих памятников этого цикла лежала порожденная самой политической жизнью после куликовского периода широкая общерусская программа, а вместе с тем и скрытая конфронтация различных вариантов ее реализации, возможно позволили бы А. А. Шахматову не только развить свои наблюдения над сосуществованием различных концепций в памятниках куликовского цикла, но и выявить внутреннюю логику взаимодействия этих тенденций в указанных памятниках, установить более тесную связь усиления той или иной тенденции в сочинениях о Куликовской битве с соответствующими этапами политической жизни Восточной Европы в последние десятилетия XIV — начале XV в.

И хотя А. А. Шахматов, как мы видели, не все успел сделать в этом направлении, тем не менее он оказался, по нашему мнению, на верном пути. Его гипотезы об активизации в 1381 г. идеологической жизни феодальной Руси, о возникновении двух тенденций в освещении кампании 1380 г., выразившихся, по его утверждению, в создании двух рассказов о Куликовской битве (московской «Повести» и серпуховского «Слова»), его предположения о синтезировании их в Московском летописном своде 1381 г. представляются не только очень интересными, но и во многом убедительными.

В сущности, эти положения А. А. Шахматова нашли косвенное подтверждение в трудах тех современных исследователей, которые доказали возникновение в 1381 г.

ряда памятников, концепционно весьма близких к гипотетическому сводному памятнику о Мамаевом побоище.

В данном случае речь должна идти прежде всего о работах Л. А. Дмитриева, обосновавшего появление в 1381 г. второй редакции «Жития митрополита Петра» [194, 251]², а также об исследованиях А. В. Соловьева [365, 368] и В. Ф. Ржиги [331], доказавших создание одного из вариантов широко известной «Задонщины» примерно в этот же отрезок времени.

Вписанный в идейно-политическую жизнь феодальной Руси 1381 г. такой памятник, как «Житие митрополита Петра», приобретает особо важное значение и поэтому требует специального рассмотрения.

Написанное рукой самого Киприана «Житие св. Петра» являлось, как известно, переделкой созданного еще в конце 20-х годов XIV в. в Москве первоначального варианта «Жития» этого святого [237; 82, 88; 247, 57—79; 194, 236—238].

Политическая тенденциозность вышедшего из-под пера Киприана «Жития св. Петра» выделяется особенно отчетливо при сопоставлении его с ранним вариантом этого произведения. Если в первоначальной редакции этого памятника сфера политического влияния самого Петра ограничивается Москвой и суздальской землей, если здесь Петр в своей церковно-политической полемике не идет дальше споров с Тверью и вообще далек от широких общерусских масштабов [285, IV, 308—312; 247, 57—79], то в киприанской редакции этого произведения политические горизонты митрополита Петра оказываются значительно более широкими: здесь отчетливо выступает тема единства всей русской земли, тема объединения разобщенных ее частей и, наконец, тема сохранения единой общерусской церковной организации.

Если в первой редакции «Жития» и сам Петр и его предшественник Максим фигурируют просто в качестве «митрополитов» [285, IV, 308—312], то во второй редакции они выступают в качестве обладателей «престола всея Руския земля» [45а, 321—332; 454а].

Сообщая о западнорусском, волынском происхожде-

² Предположения о создании второй редакции «Жития св. Петра» в 1381 г. высказывались и ранее, в частности С. Шевириным [432а, III, 88] и В. Киселковым [549, 228], однако аргументация в пользу этого тезиса была разработана Л. А. Дмитриевым [194, 251].

нии Петра, о его тесных контактах с волынскими князьями, об инициативе Волыни в самой отправке Петра на поставление в Царьград, Киприан вместе с тем уделял большое внимание деятельности Петра на московской почве в качестве главы всей русской церкви, в качестве «защитника всей русской земли», призванного молиться «о сохранении и о соблюдении русской земли» [45а, 321—332; 194, 245]. Тем самым Киприан хотел не только провести параллель между своим перемещением из Киева в Москву и переездом Петра из Южной Руси во Владимир [194, 243, 251], но и подчеркнуть важную роль Москвы в политической жизни всей русской земли в послекуликовский период, отметить большое значение резиденции Дмитрия Донского в активизировавшемся тогда процессе консолидации всех русских княжеств.

Имеющаяся в историографии тенденция видеть в Петре киприановского «Жития» лишь патрона одной Москвы [194, 242—243] вряд ли правильна. Этому противоречат не только сам факт появления нового варианта «Жития» (если бы Киприан хотел изобразить Петра только московским святым, он мог удовлетвориться существовавшей уже первоначальной редакцией «Жития» 1327 г., в которой Петр выступал в этой роли [247, 57—79]) и констатация тесных связей Петра с Волынью, с западнорусскими землями, не только подчеркивание пребывания Петра на «престоле всея Русския земли», но и то обстоятельство, что по инициативе Киприана имя Петра не как московского, а как общерусского святого было внесено в киприановскую псалтырь. Под 21 декабря здесь была такая запись: «В тѣи же день преставися всесвященный архиепископ богоспасенного града Киева и всея Руси Петр митрополит в лето 6834 (1326)» [194, 242; 286, 66—100].

Стремление «Жития» придать деятельности Петра общерусский характер проявлялось не только в установлении тех или иных связей этого святого с различными центрами русской земли, но и в осуждении попыток волынских князей выделить из состава общерусской митрополии галицко-волынскую церковь в виде самостоятельной митрополии [45а, 321—322].

Подчеркнуто общерусский характер носило и другое произведение, созданное в первоначальном варианте, как показали исследования А. В. Соловьева и В. Ф. Ржиги,

в 1381 г., — широко известная «Задонщина». Этот памятник имел совершенно четкие представления как о всей русской земле, так и об отдельных ее составных частях, почти такие же четкие, как и возникший несколько позднее «Список русских городов», на что обратил в свое время внимание Л. В. Черепнин [416, 442—443].

Последние исследования «Задонщины», предпринятые В. П. Адриановой-Перетц [113; 114, 197], Р. Якобсоном [538а], Д. С. Лихачевым [269а, 84—107], Р. П. Дмитриевой [195, 199—263; 196, 264—291], О. В. Твороговым [378а, 292—343], Л. А. Дмитриевым [193, 385—439], Н. С. Деминой [190, 440—476] и другими, позволяют говорить о существовании двух изводов в комплексе дошедших до нас списков рассматриваемого памятника, в частности позволяют выделить один извод — более ранний и, видимо, более близкий к оригиналу, представленный списками Ундольского (У) [21, 535—540], Исторического музея (И-1, И-2) [321, 541—546; 546—547], списком БАН Ждановский (Ж) [21, 547—548], а также другой извод — более поздний и, следовательно, более удаленный от первоначального варианта, извод, представленный списком Кирилло-Белозерского монастыря (К-Б) [21, 548—550] и списком Синодального собрания (С) [21, 550—556]³.

Признавая вполне обоснованными эти общие выводы названных исследователей, мы считаем, что имеющиеся значительные расхождения между двумя группами списков «Задонщины» (расхождения художественно-стилевые и идейно-концепционные) позволяют говорить не только о реальном существовании двух различных изво-

³ Существующие в историографии другие попытки решения данной проблемы, в частности попытки выделения группы списков (У, И-1, И-2, С) в пространную редакцию и списка К-Б в краткую редакцию [596а, 491а, 204б и сл.], представляются менее убедительными. Предложенная дифференцировка исходит прежде всего из учета внешних признаков данного комплекса документов — их объема, а не их идейно-концепционных особенностей, которые, как теперь очевидно, позволяют видеть общее в списках отнюдь не «равновеликих» и устанавливать существенные различия между списками примерно одинаковых размеров.

Кроме того, сам тезис о якобы «первозданной» краткости списка К-Б, как и его архетипа, не кажется бесспорным: анализ всего комплекса памятников куликовского цикла говорит о том, что данный тезис все еще является по меньшей мере дискуссионным [193, 385—439; 195, 249—250, 261—263].

дов-редакций нашего памятника, но и о различном времени их возникновения; есть основания связывать извод-редакцию Унд., весьма близкую по идейной направленности к политической конъюнктуре феодальной Руси этого времени, с 1381 г., а извод Син., по некоторым идейно-политическим акцентам — с более поздней эпохой.

Исходя из такого понимания исторической роли двух указанных изводов — редакций нашего памятника, мы склонны думать, что усилившийся в послекуликовский период процесс объединения русских земель вокруг Москвы отражался прежде всего в первой редакции, представленной списками У, И-1, И-2, Ж.

В самом деле, именно в данном комплексе списков «Задонщины» мы видим самое широкое объединение русских княжеств под эгидой Москвы, видим тесный союз князей Северо-Восточной Руси (князей Залесской земли, Белозерско-Ярославского края) с князьями Западной Руси — полоцкими, северскими, волынскими, видим и символ связи этих двух княжеских группировок в лице князя серпуховского — Владимира Андреевича. Мы сталкиваемся также с фактами некоторой переоценки политической активности Великого Новгорода в 1380 г. и вместе с тем с фактом замалчивания конфликта Москвы с Рязанью, даже видим рязанцев, как и суздальцев, участниками битвы [21, 540].

Весьма показательно, что и сам поход Мамай в сторону одной Залесской Руси объясняется в «Задонщине» не политической разобщенностью, расчлененностью русских земель, а лишь слабостью самого Мамай.

Автор «Задонщины» напоминал, что могущественный ордынский царь Батый, «воевал всю русскую землю от востока и до запада» [21, 540], а вот Мамай, владевший лишь Залесской Ордой, мог угрожать только отдельным частям русской земли, и прежде всего Залесской Руси. Но это объяснение вынужденно-ограниченной стратегии Мамай отнюдь не означало признания «Задонщиной» ограниченности стратегических планов самой Руси в борьбе с ордынской опасностью. Одной из центральных тем «Задонщины», как мы знаем, была идея консолидации всех русских земель во имя противодействия ордынскому натиску, при этом залесская земля и выступила в «Задонщине» в качестве форпоста

всей русской земли, в качестве ее объединяющего центра.

В этом смысле весьма характерным было то обстоятельство, что все консолидировавшиеся вокруг Москвы русские князья были, с одной стороны, названы в «Задонщине» выходцами из «гнезда князя Владимира Киевского», «внуками» князя Владимира, наследниками князей Игоря и Ярослава [21, 536], сродниками Бориса и Глеба [21, 537], а с другой — представлены как вассалы великого князя московского Дмитрия [21, 537], как его политические сателлиты. «К славному граду Москве съехались все князи русские» [21, 536], «На Москве кони ржут, звенит слава по всей земли Русской...» — читаем мы в списках «Задонщины» первой редакции.

Не удивительно, что решающей силой в самом сражении на Куликовом поле оказались князья Северо-Восточной Руси, и прежде всего Дмитрий Донской — «Князь Дмитрий наступает на рать силу татарскую» и от него «стези ревут, а поганые бежат» [21, 53а].

Видимо, не случайно, по утверждению списков извода Унд., Пересвет и Яков Ослебятин должны были погибнуть «за землю русскую, за великого князя Дмитрия Ивановича» [21, 538, 543]; в списке С речь идет об их гибели за обиды не только Дмитрия Донского, но и князя Владимира Андреевича [21, 554], а в списке К-Б — за общую победу, как бы за обиды всех князей [21, 550].

Весьма характерным для первой редакции «Задонщины» было раскрытие широкого международного фона событий 1380 г., подчеркивание того обстоятельства, что перед русской землей тогда стояла задача борьбы не только с Ордой на Дону, на Волге и Оке [21, 537, 540], но и с турецкой опасностью на Дунае, между прочим, и во имя спасения Тырнова [21, 538].

Мы имеем основания считать автором первоначального варианта «Задонщины» брянского боярина Софония Рязанца. Однако данный литературный памятник, особенно в его первой редакции, настолько идеологически близок ко второй редакции «Жития митрополита Петра», а вместе с тем и всей литературно-публицистической и церковно-политической деятельности Киприана 1381 — начала 1382 г., что возникает предположение о каком-то участии в создании «Задонщины» и самого митрополита Киприана. Он мог выступить и в роли за-

казчика этого произведения, оказавшегося необходимым в момент переезда Киприана из Киева в Москву и примирения Рязани с великим князем московским, в период создания широкого антиордынского фронта русских княжеств, а также первых попыток противодействия турецкому натиску на Дунае. Киприан мог быть и редактором этого сочинения.

Однако при каких бы обстоятельствах ни возникла «Задонщина» в 1381 г., для нас важно подчеркнуть, что она имела общую идейно-политическую основу со второй редакцией «Жития митрополита Петра», а также с другими памятниками, связанными так или иначе с этой эпохой и с деятельностью Киприана в начале 80-х годов XIV в. Если учесть, что создание «Задонщины» и «Жития Петра» перекликалось с происшедшей тогда же, в 1381 г., канонизацией Александра Невского [352, 333], а также с широким использованием «Жития» Александра Невского в литературных памятниках того периода [430, 183—190], если учесть, что тогда же была сооружена церковь св. Дмитрия в Великом Новгороде и предпринята попытка создания московского летописного свода [430, 90—94], то картина резкой активизации духовной жизни феодальной Руси на общерусской основе при ведущей роли Москвы станет еще более полной.

Несколько соображений по поводу общерусского летописного свода 1392 г.

Другой весьма важный этап взаимодействия политической и идеологической жизни феодальной Руси оказался связанным с началом 90-х годов XIV в., когда вопреки совершившейся уже кривской унии, провозглашавшей программу создания многонационального государства, в полной мере сохранила свою жизнь и программа восстановления этнически однородного восточнославянского государственного организма; когда совместными усилиями Киприана, Василия I и Витовта была предпринята еще одна попытка установления тесного сотрудничества между Владимирским княжением и Литовской Русью, а также попытка мобилизации сил различных частей русской земли, нацеленной как на противодействие унии, так и на борьбу с ордынским господством в Восточной Европе.

Представляется вполне закономерным, что именно данный период политического развития Восточной Европы был ознаменован заметной активизацией идеологической жизни, созданием ряда историко-литературных памятников общерусского плана.

И действительно, пребывание Киприана в Москве в начале 90-х годов XIV в. оказалось связанным не только с его бурной церковно-политической деятельностью (поставление шести новых епископов, оформление брака Василия I с дочерью Витовта Софьей, примирение Витовта и Василия с Новгородом Великим и т. д. [48, 218—219; 38, 367—368, 373]), но также и с его важными мероприятиями в области идеологии. По-видимому, тогдашняя общерусская политика Киприана и породила общерусский летописный свод, который в Троицкой летописи назван «Летописцем великим русским».

Если верить Татищеву, то одним из составителей этого свода мог быть русский иерарх Игнатий, возможно, тот самый Игнатий, который еще в 1389 г. сопровождал Пимена в Царьград [41, XI, 95—104] и который, по утверждению Татищева, стал близким сотрудником митрополита Киприана и архимандритом Спас-Андрониева монастыря [57, V, 204—205, 300]⁴. Не исключено, что в работе над сводом участвовал и Епифаний Премудрый, создавший, как доказал А. В. Соловьев [366, 85—106], в 1393 г. широко известный памятник «Слово о житие и преставлении великого князя Дмитрия, царя русского», который, видимо, и завершал собою общерусский летописный свод начала 90-х годов XIV в.

Но кто бы ни был реальным составителем этого свода, политическая его концепция была предложена самим митрополитом Киприаном.

Видимо, у Татищева были основания считать Киприана одним из ведущих идеологов того времени. Татищев не только констатировал большую эрудицию Киприана («вельми книжен и духовен»), но и раскрывал различ-

⁴ Если понимать Татищева буквально, то следует признать, что Игнатий сотрудничал с Киприаном лишь в конце жизни последнего, а после его смерти завершил начатый митрополитом летописный свод — свод 1409 г. Последнее весьма вероятно, но причастность Игнатия к составлению Троицкой летописи отнюдь не исключала его участия в создании свода 1392 г. Может быть, именно этим обстоятельством и объясняется наличие в Троицкой летописи столь подробной ссылки на летописный свод 1392 г. [60, 439].

ные стороны его идеологической деятельности. «Яко в наставление душевное, переписа соборы, бывшие на Руси, многи жития святых русских и степени великих князей русских, и ни же в наставление плотское, яко правды и суды и летопись русскую от начала земли Руския вся по ряду» [57, V, 205]. Охарактеризовав таким образом широкий размах деятельности Киприана, Татищев не только прямо указал на Игнатия как исполнителя его предначертаний («И многи книги к тому собрав, не веле архимандриту Игнатию спаскому докончати, яже соблюдох» [57, V, 205]), но как бы обосновал участие Киприана и, возможно, Игнатия в создании общерусского свода 1392 г.

Анализом содержания этого предполагаемого свода занимались в свое время М. Д. Приселков [323, 121] и В. Л. Комарович [224, II, ч. 2, 194—195].

Выводы М. Д. Приселкова, касавшиеся свода 1389—1392 гг., очень важны, интересны, но не всегда в равной мере убедительны. В частности, трудно согласиться с его утверждением о том, что Троицкая летопись якобы только копировала текст «Летописца великого русского», ничего не прибавляя к нему и ничего не убавляя [323, 121—122, 126—128]. Однако данному тезису противоречит сам факт отсылки составителя свода 1409 г. к «Летописцу великому русскому» как к источнику значительно более обширной информации по истории Руси, чем Троицкая летопись [323, 122].

В сущности тезис о тождестве «Летописца великого русского» и Троицкой летописи в какой-то мере опровергает и сам М. Д. Приселков, когда утверждает, что великокняжеский свод 1389 (1392) г. был собственно московской летописью, а Троицкая летопись представляла собой митрополичий общерусский свод [323, 128—130].

Но положение Приселкова о близости двух сводов не находит подтверждения при анализе политических обстоятельств их возникновения. Летопись 1392 г. была создана в условиях тесного московско-литовского сотрудничества и утверждения общерусской программы на базе возрождения политических и культурных традиций целостной Руси XI—XII вв.; летопись 1409 г. появилась в период разрыва отношений Москвы с Литвой, начавшегося интенсивного поглощения Польшей великого

княжества Литовского, временного забвения общерусской программы и сосредоточения интересов московских идеологов лишь на политических судьбах главным образом Великого Владимирского княжения.

Значительно более правильную позицию в трактовке свода 1392 г., с нашей точки зрения, занял В. Л. Комарович, автор разделов по истории русского летописания в «Истории русской литературы». Он считал, что свод 1392 г. был составлен «в духе русско-литовской неделимости митрополии и московско-тверского политического равновесия» [224, II, ч. 2, 194—195] и что в основе этого свода лежала программа политического сближения большинства русских княжеств. В. Л. Комарович даже утверждал, что «точка зрения, избранная в нем за истинную (точка зрения Киприана)⁵, менее всего могла быть популярна как раз в Москве» [224, 195]. Хотя в трактовке В. Л. Комаровича не все оказывается приемлемым, тем не менее его оценка свода 1392 г. представляется более правильной, чем оценка М. Д. Приселкова.

Что же можно сказать о конкретном содержании свода 1392 г.?

Весьма вероятно, что эта летопись завершалась памятником, который формально был некрологом Дмитрию Донскому («Слово о житии и о преставлении великого князя Дмитрия Ивановича, царя русского» [38, 351—366; 39, VI, 104—111; 40а, 53—60; 41, XI, 108—121; 42, 215—218; 114а, 366, 346]), а фактически был тогдашней программой политической деятельности Киприана и Василия I, их идейно-политическим кредо начала 90-х годов XIV в. Специально занимавшийся этим памятником Л. В. Черепнин пришел к выводу, что «по своему идейному содержанию „Слово“ может быть отнесено ко времени вскоре после смерти великого московского князя Дмитрия Ивановича» [416, 659], а А. В. Соловьев утверждал, что «Слово» было написано Епифанием Премудрым около 1393 г. [366, 85—106]. Попытки М. А. Салминой [346, 81—104] связывать этот памятник с серединой XV в. не представляются нам убедительными.

По-видимому, идеологическим стержнем этого произ-

⁵ «Вся совокупность входивших в этот свод (1392 г.) статей, — писал В. Л. Комарович, — показывает его зависимость от редакторской инициативы митрополита Киприана» [224, 194].

ведения были программа восстановления целостности русской земли под руководством Владимирского княжения и в какой-то мере под эгидой Царьграда, доктрина создания широкой антиордынской коалиции русских княжеств, концепция осуждения князей-раскольников, «князей-мятежников царства».

Поэтому нет ничего удивительного в том, что составитель рассматриваемого памятника часто обращается к эпохе целостной Руси X—XI вв., тепло вспоминает князей Владимира [38, 352] и Ярослава [38, 354], отрицательно говорит о Святополке Окаянном.

Нет ничего удивительного и в том, что «Слово о житии и о преставлении великого князя Дмитрия Ивановича, царя русского» часто перекликалось с памятниками древнерусской литературы XI—XIII вв.

Подобно тому как «Задонщина» (Кирилло-Белозерский список) явно использовала «Слово о гибели Русской земли» [354, 550; 259, 286, 302] и «Слово о полку Игореве» [354, 263, 291, 342—343], «Слово о житии Дмитрия Ивановича» включило элементы таких памятников древнерусской литературы, как «Слово о законе и благодати» Иллариона, повести об Александре Невском, о разорении Рязани войсками Батия и др. [224, 209].

Но автор «Слова о житии Дмитрия Ивановича» не ограничивается использованием готовых литературных форм, он широко использует живую историю русской земли, биографии Владимира, Ярослава, Ивана Калиты, наконец, биографию самого Дмитрия Донского. Рисуя его их преемником, автор «Слова» стремится всеми доступными ему средствами прославить деятельность князя Дмитрия в качестве «царя всей русской земли» и главы «русского царства», старается подчеркнуть его заслуги в борьбе с ордынской державой и «нечестивым» царем Мамаем, а также в борьбе с внутренними «раскольниками и мятежниками царства» [38, 355].

Рассказ о столкновении Дмитрия Донского с Мамаем сравнительно краток, но весьма характерен. В нем законный глава «русского царства» Дмитрий Донской противопоставлен Мамаю, правителю ордынской державы и «русского улуса». Авторитет главы «русского царства» Дмитрия подкрепляется ссылками не только на Владимира, Ярослава, Ивана Калиту, но также и на

«святителя Петра нового чудотворца и заступника русские земля». Автор «Слова» подчеркивает то обстоятельство, что программа создания «русского царства» вызвала негативную реакцию не только самого «нечестивого царя Мамаю», но и каких-то князей, «живущих окрест его». Имея в виду рязанского князя Олега, а может быть, и Ягайло, автор «Слова» утверждал, что именно «живущие окрест» Дмитрия политические недруги спровоцировали конфликт «русского царства» с ордынским царством, во всяком случае, ускорили его, и возможно, значительно осложнили ход борьбы Донского с Мамаем. Так, автор «Слова» писал о том, что князя, «живущие окрест его (Дмитрия. — И. Г.) навадиша на нь нечестивому Мамаю, тако глаголюще: „князь великий Дмитрий Иванович себе именует русской земли царя и паче честнейша тебе славою, супротивно стоит твоему царствию“». Весьма характерной оказывается в изложении данного памятника и реакция Мамаю на этот сигнал, исходивший от каких-то скрытых русских или литовских противников Дмитрия. Мамаю якобы заявлял о своей готовности «перенять» у Дмитрия всю землю русскую, ликвидировать всех верных ему князей-союзников, разорить все церкви, христианство заменить мусульманской верой, посадить по всем городам русским своих баскаков [38, 353].

Характеризуя таким образом две противостоящие друг другу политические доктрины, созидательную, князя Дмитрия, и разрушительную, Мамаю, автор «Слова» как бы раскрывал перед современниками два возможных пути дальнейшего развития русской земли, симпатизируя пути, по которому якобы шел Дмитрий и по которому теперь решили идти Василий I и Киприан.

Не удивительно поэтому, что автор «Слова» идеализирует международное положение Руси в годы правления князя Дмитрия («вскипи земля русская в дне княжения его... страхом господства своего огради всю землю, от восток и до запад хвалю имя его, от моря и до моря») [98, 354]. Не удивительно также, что автор «Слова» идеализировал и тот внутриполитический порядок, который установился после одержанной победы на Куликовом поле. По утверждению автора «Слова», после Куликовской битвы установилась «тишина велика в рус-

ской земли» [38, 354], политическая оппозиция оказалась сломленной («раскольники же и мятежники царства его погибоша» [38, 355]), положение князей — союзников Дмитрия стало более стабильным («князя руския в области своей крепляше») [38, 355].

Хорошо понятным оказывается и то обстоятельство, что автор «Слова» счел нужным подчеркнуть существование прямой преемственной связи между политической программой Дмитрия Донского и правительственной деятельностью Василия I, а также Киприана; совершенно не случайно автор «Слова» остановился на самом акте передачи власти князем Дмитрием своему старшему сыну Василию. В изложении автора данный акт был не просто передачей княжеского стола законному наследнику, но и передачей всего политического наследства главы «русского царства» своему преемнику. «Слово» подчеркивало, что Дмитрий Донской призвал к себе своего старшего сына Василия и передал «в руце его великое княжение, еже есть стол отца своего и деда и прадеда...»; «дал есть отчину свою землю русскую» [38, 357; 40а, 56]. Таким представляется идейное содержание «Слова о житии и о преставлении Великого князя Дмитрия Ивановича, царя русского», памятника, которым, возможно, завершался летописный свод 1392 г.⁶

* * *

Но не только «Слово о житии и о преставлении великого князя Дмитрия Ивановича, царя русского» было результатом литературной деятельности окружавших Киприана идеологов в тот период, не только это произведение «украшало» общерусский летописный свод 1392 г., который мы вслед за Троицкой летописью называем «Летописец великий русский». По-видимому, тогда же, после возвращения Киприана в Москву в 1390—1392 гг., на базе уже существовавших рассказов о Мамаевом побоище была создана или воссоздана летописная повесть о схватке русских войск с Мамаем на Кули-

⁶ Весьма характерным, как мы увидим в дальнейшем, было то обстоятельство, что этот памятник не попал в Троицкую летопись, а оказался «воскрешенным» в Новгородской IV, Софийской I, Воскресенской летописях и др. [38, 351—366; 39, VI, 104—111; 40а, 53—60; 41, XI, 108—121; 45б, 206—209; 48, 215—218].

ковом поле. Вероятнее всего, это была та пространная редакция повести о Куликовской битве, которую мы теперь читаем в Софийской I, Новгородской IV, Типографской, Воскресенской и других летописных сводах.

Возможно, что это была особая повесть, которую А. А. Шахматов называл «Словом о Мамаевом побоище» [430, 90—94, 183—190]. Вероятнее всего, это была та редакция «Повести», которую мы теперь читаем в только что названных летописных сводах.

По поводу датировки пространной редакции «Повести» существует ряд точек зрения. Так, С. К. Шамбинаго считал, что данная редакция возникла в конце XIV—начале XV в. [423, 75, 78, 190]. Против такой датировки не возражал и А. А. Шахматов, считая, что краткая редакция «Повести» Симеоновской летописи, а также редакция Ермолинской летописи являются извлечениями из более ранней пространной редакции «Повести», возникшей вскоре после Куликовской битвы [430, 104, 119—122; 137, 203]. Однако М. Д. Приселков не признал аргументы Шахматова убедительными и выдвинул тезис о первичности краткой редакции Симеоновской и соответственно вторичности пространной редакции [60, 419—421]. М. Н. Тихомиров также считал текст Симеоновской летописи наиболее ранней редакцией летописной повести о Куликовской битве [385, 345]⁷.

Эти положения М. Д. Приселкова и М. Н. Тихомирова недавно были поддержаны и развиты М. А. Салминой. «Повествование Троицкой летописи, — подчеркивает М. А. Салмина, — мы признаем старейшей записью рассказа о побоище на Дону» [345, 364]. «Рассказ Симеоновской летописи мы признаем рассказом Троицкой летописи и включаем в число исторических источников летописной повести (пространной редакции. — И. Г.)» [345, 360]. «На основе рассказа Троицкой летописи, т. е. свода 1409 г., и возникла так называемая летописная повесть» [345, 364].

Естественно, что подобная оценка рассказа «О побоище на Дону» Троицкой и Симеоновской летописей пред-

⁷ М. А. Салмина почему-то отождествляет взгляды М. Н. Тихомирова и Л. В. Черепнина по данному вопросу, утверждая, что оба они считали древнейшей редакцией «Повести» ту, которая помещена в Ермолинской летописи [345, 344], хотя эта последняя точка зрения принадлежала только Л. В. Черепнину [416, 619—620].

определила в построениях автора трактовку пространной редакции «Повести о Куликовской битве» и ее сравнительно позднюю датировку. Хотя для подтверждения ее автор привел много различных доводов, мы считаем, что предположение Шахматова по поводу возникновения в 90-е годы XIV в. подробного рассказа о Куликовской битве М. А. Салминой поколеблено не было.

В сущности, этот предполагаемый рассказ и был, видимо, если не тождественным тексту «Летописной повести» пространной редакции, то, во всяком случае, весьма близким тому варианту «Повести», который мы теперь находим в Новгородской IV, Софийской I, Воскресенской и других летописных сводах XV — первой половины XVI в. и который тогда, в начале 90-х годов XIV в., занял соответствующее место в общерусском летописном своде 1392 г.

Присутствие в своде 1392 г. пространного рассказа о Куликовской битве, весьма близкого по своей общерусской направленности «Летописной повести», с концепцией общерусского единства и московско-литовского сотрудничества; рассказа, противопоставляющего русскую землю ордынскому царю Тохтамышу, с одной стороны, и польскому королю Ягайло — с другой; рассказа с критикой поведения крамольного князя рязанского Олега объясняется прежде всего наличием соответствующего литературного наследия, в частности таких, как «Задонщина», «Слово о житии и о преставлении великого князя Дмитрия Ивановича, царя русского», «Повести о московском взятии от Тохтамыша», в 1382 г., «Список русских городов» и др., возникших в 80—90-х годах XIX в. К тому же такая повесть о Куликовской битве вполне соответствовала той политической обстановке, которая сложилась в Восточной Европе в начале 90-х годов XIV в. В этом смысле особенно любопытно сопоставление «Летописной повести» с «Задонщиной». Эти памятники в основе своей оказываются весьма близкими, оба они имеют общерусскую платформу, подчеркивают участие в битве как князей Залесской Руси, так и князей Литовской Руси — братьев Ольгердовичей, Дмитрия волынского, Пересвета. Все это свидетельствует о том, что оба памятника возникли тогда, когда силы консолидации Руси брали верх над силами децен-

трализации русской земли. Таким благоприятным моментом для возникновения «Задонщины» оказался, как известно, 1381 год, ознаменованный установлением сотрудничества Дмитрия и митрополита Киприана.

Что же касается «Летописной повести» или произведения очень близкого к этой повести, то оно возникло в такой же благоприятный момент, вероятнее всего, сразу после того, как в 1390—1392 гг. снова установилось сотрудничество великого князя Василия I, митрополита Киприана и Витовта, когда снова стала актуальной широкая общерусская программа.

Но не только сходство «Задонщины» с «Повестью» свидетельствует о возникновении первого произведения в 1381 г. и второго — в 1390—1391 гг., но, как это ни парадоксально, и существующие между ними расхождения. Мы знаем, что в «Задонщине» весьма активную роль после Дмитрия Донского играет Владимир Андреевич и совсем был забыт конфликт с Рязанью. В «Летописной повести» пространной редакции по-прежнему центральной фигурой остается Дмитрий Донской, зато серпуховский князь Владимир Андреевич изображен второстепенным участником Куликовской битвы, а конфликт с Рязанью не только забыт, но и весьма заострен (рязанский князь Олег изображен в качестве «раскольника и мятежника царства», в качестве прямого пособника Мамаея и Ягайло)⁸.

Чем объяснить эти различия? Если признать, что «Задонщина» была создана в 1381 г. в связи с переездом Киприана в Москву, если учесть, что тогда же было достигнуто примирение Москвы с Рязанью (возможно, даже при содействии Киприана), если иметь в виду, что Владимир Андреевич действительно сыграл важную роль в кампании 1380 г. в качестве командира запасных войск и в качестве своеобразного «моста» между Москвой и литовско-русскими князьями (он был женат, как известно, на дочери Ольгерда), то станет понятным как замалчивание рязано-московских споров в «Задон-

⁸ Весьма характерно, что терминологическое оформление критики рязанского князя в «Повести» пространной редакции совпадает с соответствующей терминологией «Слова о житии и о преставлении князя Дмитрия» [38, 355], направленной в адрес окрестных раскольников.

щине», так и подчеркивание особых заслуг серпуховского князя Владимира Андреевича.

Но для того чтобы объяснить нарочитое разоблачение «Летописной повестью» неблагоприятной роли рязанского князя Олега, выступавшего связующим звеном между золотоордынским ханом и Ягайло, следует допустить, что «Летописная повесть» о Куликовской битве возникла в такой момент политической жизни Восточной Европы, когда, с одной стороны, сложились благоприятные условия для возрождения общерусской программы, для восстановления московско-литовского сотрудничества (точнее, для сотрудничества Киприана, Василия и Витовта), а с другой — наметилась перспектива политического сближения Орды, Рязани и Польши, точнее, Тохтамыша, Олега и Ягайло.

Мы считаем, что в Восточной Европе подобная ситуация сложилась именно с начала 90-х годов XIV в. Приезд Киприана в Москву, форсирование им женитьбы Василия I на дочери Витовта действительно создавали предпосылки для политики общерусского масштаба, а вместе с тем и для возрождения той идеологической программы, которая была сформулирована в «Задонщине», а также для забвения того периода правления Дмитрия Донского, который был по своему характеру сугубо «московским» периодом (1385—1389 гг.). О возникновении «Летописной повести» в начале 90-х годов свидетельствуют и тенденции международной жизни, в частности усиление натиска Тохтамыша на русские земли, сближение его с Рязанью и королем Ягайло.

На начало 90-х годов падает активная деятельность Тохтамыша в Восточной Европе. Проигрывая одну позицию за другой в борьбе с Тимуром, Тохтамыш стремился организовать такую расстановку сил на территории этой части Европейского континента, которая могла бы как-то компенсировать ослабление его влияния в Средней Азии, на Кавказе и в Поволжье.

Так, уже в 1390 г. он организовал поход ордынских войск против Рязани и тем самым, видимо, добился установления частичного контроля за действиями рязанского князя Олега [40а, 60; 41, XI, 122]. Одновременно он предотвратил сближение нижегородских князей с Москвой, а в 1391 г. организовал поход царевича Бектута на Вятку [60, 438].

Параллельно вырисовывались перспективы установления политических контактов Тохтамыша с польским королем Ягайло. Именно ему, а не Витовту в 1392—1393 гг. Тохтамыш выдал ярлык на русские земли [653, 131—132].

Таким образом, если учесть, с одной стороны, появление в начале 90-х годов условий для возрождения общерусской программы, а с другой — происходившее тогда политическое сближение Тохтамыша с рязанским князем Олегом и польским королем Ягайло, если, кроме того, иметь в виду конфликт между Василием I и Владимиром Андреевичем серпуховским, возникший в 1390 г. [40а, 60], то окажется вполне правдоподобным предположение о создании пространной редакции летописной «Повести о Куликовской битве» (с ее апологетикой общерусской программы Дмитрия Донского — Киприана, критикой Рязани и затушевыванием роли Владимира Андреевича) именно в начале 90-х годов XIV в. Нам представляется поэтому, что включение такого рассказа о Куликовской битве в общерусский свод 1392 г. было явлением естественным и вполне понятным.

Что касалось других редакций «Повести о Куликовской битве», в частности редакции Симеоновской и Троицкой летописей, которую М. Д. Приселков, М. Н. Тихомиров и М. А. Салмина [60, 419; 385, 345; 345, 344] считали древнейшей, а также редакции Ермолинской летописи, которую Л. В. Черепнин считал древнейшей, то они возникли, по ряду данных, позднее, в совершенно иных внутривосточных и международных условиях.

* * *

В общерусском своде 1392 г. нашла свое место и «Повесть о нашествии Тохтамыша». Этот памятник, так же как и «Повесть о Куликовской битве», сохранился во многих вариантах⁹. Сопоставление различных редакций данного произведения обнаруживает наличие значительных противоречий, свидетельствует о напряженной идеологической борьбе за то или иное освещение данного события.

⁹ Краткий вариант «Повести о нашествии Тохтамыша» мы находим в Симеоновской летописи (следовательно, в Троицкой, Рогож-

Подробный анализ различных вариантов этого памятника произвел в своей монографии Л. В. Черепнин. Хотя в своем исследовании он не делает попыток дать точную датировку появления того или иного варианта данной повести, по все же устанавливает определенную хронологическую последовательность возникновения различных редакций. Так, он считает, что сначала возникла редакция Троицкой, Симеоновской летописей, Рогожского летописца и Тверского сборника, потом появилась редакция Ермолинской летописи и в конце концов сложилась пространная редакция «Повести о нашествии Тохтамыша», которую мы находим в Новгородской IV, Типографской, Воскресенской летописях, Московском своде конца XV в. и, наконец, в Никоновском своде [416, 631—647] ¹⁰.

Нельзя не отметить, что предложенный Л. В. Черепниным порядок возникновения различных редакций «Повести о нашествии Тохтамыша» находится в противоречии с его же гипотезой последовательности появления различных вариантов «Повести о Куликовской битве» (как известно, Л. В. Черепнин считает первичной редакцию Ермолинской, вторичной редакцию Симеоновской и других близких летописей) [416, 596, 619—620].

Нам представляется, что «Повесть о Куликовской битве» и «Повесть о нашествии Тохтамыша» настолько тесно связаны друг с другом одним идеологическим замыслом, что появление в различных летописных сводах тех или иных модификаций этих произведений должно было быть подчинено одним политическим тенденциям и одной хронологической последовательности.

Признавая весьма интересными и важными многие наблюдения Л. В. Черепнина по поводу различных редакций «Повести о нашествии Тохтамыша», в частности его наблюдения, касавшиеся обострения классовой борьбы в осажденной Москве, мы все же склонны ду-

ской летописях, Тверском сборнике) [45, 131—132; 42; 143; 42а, 441—442]. Более расширенный вариант «Повести» обнаруживается на страницах Ермолинской летописи [46, 127]; пространная редакция — в летописях Новгородской IV, Типографской, Московском своде конца XV в., Воскресенской [38, 327—328]; 40а, 43; 47, 150; 48, 206].

¹⁰ Весьма ценными являются наблюдения Л. В. Черепнина над проявлением классовой борьбы в Московской Руси летом 1382 г.

мать, что еще далеко не все проблемы, связанные с этим памятником, рассмотрены и решены.

Так, нам представляется, что вопрос о времени появления тех или иных редакций данного произведения, а также вопрос о политической платформе этих редакций, остается все еще открытым. Мы считаем, что первоначальным вариантом «Повести о нашествии Тохтамыша» была пространная редакция этой повести, обнаруживаемая теперь на страницах Новгородской IV, Типографской, Воскресенской и других летописей. Вполне вероятно, что данная редакция нашла свое место в рассматриваемом нами летописном своде 1392 г.

Именно пространная редакция больше других вариантов данной повести (в частности, варианта Симеоновской и Троицкой летописей) подходила к идеологической направленности свода 1392 г., а также к той политической обстановке, которая сложилась на территории Восточной Европы в начале 90-х годов. Для Киприана, Василия и Витовта, провозгласивших тогда идею тесного московско-литовского сотрудничества, программу консолидации русской земли, противопоставленную Орде и Польше, было важно дать такое освещение неудачной кампании 1382 г., которое, с одной стороны, подчеркнуло бы патриотизм и тесное сотрудничество в 1382 г. Дмитрия Донского, Киприана, литовского князя Остeya в организации обороны Москвы и, с другой стороны, показало бы захватнические замыслы Тохтамыша в отношении Руси, его сговор с Рязанью и Нижним Новгородом. Тогдашним идеологам русской земли было нужно такое произведение, которое объяснило бы причины неудачи кампании 1382 г. и показало бы, что причиной сдачи Москвы было не отсутствие боеспособности у Дмитрия Донского или Киприана, а чрезмерное коварство их противников — Тохтамыша, Олега рязанского, князей нижегородских — и вместе с тем отсутствие единства среди русских князей.

Именно этим задачам и отвечала пространная редакция «Повести о нашествии Тохтамыша». Данный вариант «Повести» подробно рассказывал о воинственных замыслах Тохтамыша, направленных против Руси, сообщал о коварном сговоре с ним нижегородских и рязанских князей и о фактах их тесного военно-политического сотрудничества с Тохтамышем [38, 327, 332]. Именно из

пространной редакции «Повести» ясно, что в ходе кампании 1382 г. Дмитрий, Киприан, литовский князь Остей и видные граждане Москвы были союзниками, выступали сторонниками одной политической программы¹¹. Так, «Повесть» подчеркивала, что уже в начале кампании у Дмитрия Донского и Киприана существовало общее намерение активно противодействовать натиску Тохтамыша, что с этой целью была созвана дума [38, 328]. В «Повести» было признано, что обнаружившиеся разногласия среди русских князей были не виной, а бедой Дмитрия и Киприана, что оба политических руководителя в обстановке этих неожиданно возникших разногласий вынуждены были на ходу менять стратегические и тактические планы обороны русской земли. Так, вместо задуманной вначале встречи противника за Окой Дмитрий и Киприан должны были ограничиться пассивной обороной Москвы. Князь Дмитрий отправился в Кострому, вероятнее всего, для формирования дополнительных воинских контингентов [38, 328; 416, 643], Киприан же был оставлен в Москве, видимо, для организации защиты самого города.

Весьма своеобразное освещение в пространной редакции «Повести» получил тот этап в ходе кампании 1382 г., который был связан с попытками Киприана покинуть Москву, а также с ухудшением его отношений с Дмитрием Донским. Если редакция Ермолинской летописи не скрывала ни разногласий Дмитрия с Киприаном в тот момент, ни протеста князя Дмитрия против отъезда Киприана из Москвы [46, 129, 416, 63а], то пространный вариант «Повести» изображал дело таким образом, что против ухода митрополита были лишь крамольные граждане, поднявшие мятеж в Москве.

Из пространной редакции «Повести» становится ясным, что на первом этапе «мятежа» происходила борьба между двумя группировками господствующего класса, между сторонниками Дмитрия и приверженцами Киприана (только в этом случае можно объяснить введение осадного положения в городе [38, 329; 416, 635—636] и одновременное подчинение контролю граждан деятельно-

¹¹ Хотя в редакции «Повести», помещенной в Ермолинской летописи, например, не скрывался факт резких разногласий между Дмитрием и Киприаном в 1382 г. [46, 128—129].

сти митрополита Киприана, наиболее влиятельного после Дмитрия человека в государстве).

Но в пространной редакции присутствует также материал, который позволяет рассматривать второй этап «мятежа» (от момента ухода Киприана из Москвы и до появления здесь литовского князя Остeya) как вспышку антифеодального движения, как борьбу низов города против феодальных верхов Московской Руси [38, 329, 384; 47, 195—196; 416, 639—642]¹². «Повесть» этой редакции отмечала, что после отъезда Киприана «граду... в мятеже смоущающесе, аки морю мутящюся в бури велице, и не откудоу же оутешения обретающе, но паче больших и поушщих золь ожидаху» [38, 329; 47, 150—151].

По-видимому, движение приняло такой размах, что Дмитрий и Киприан были вынуждены забыть свои недавние разногласия, восстановить взаимопонимание и принять совместное решение об отправке в Москву литовского князя Остeya. Приглашением этого князя в находившуюся под угрозой осады столицу достигались, видимо, подавление здесь антифеодального движения, усиление обороноспособности города, демонстрация сохранившегося московско-литовского союза.

Автор «Повести» данной редакции стремился показать, что все три задачи, поставленные перед Остеем, по существу, были выполнены. Попав в Москву, Остей, «окрепив город и мятеж гродный оукрепив», установил тесное сотрудничество с широкими слоями населения города, прежде всего с боярами, купцами (гости-сурожане), духовенством [38, 329; 47, 150—151].

Когда Тохтамыш подошел к Москве, все граждане под руководством Остeya активно обороняли город. В «Повести» Остей был охарактеризован не только как военачальник, сумевший навести порядок в мятежном городе и хорошо организовать оборону Москвы, но также как политический деятель, установивший тесный контакт с гражданами и готовый вести честные дипломатические переговоры с Тохтамышем. Но какие бы меры ни предпринимали Остей, Киприан, Дмитрий и граждане для обороны Москвы, все это оказалось безрезультат-

¹² Антифеодальный характер движения 1382 г. был раскрыт в исследовании Л. В. Черепнина.

ным перед коварством и бессмысленной жестокостью Тохтамыша, а также его союзников — рязанских и нижегородских князей. В данной редакции «Повести» подчеркивалось, таким образом, что не трусость или недалекость Остея, Киприана, Дмитрия и граждан стали причиной сдачи Москвы, а коварство и жестокость противника. Не случайно «Повесть» указывала на такие факты, как сожжение книг и поджог Москвы татарами (антиордынская тенденция данного утверждения становится очевидной при сопоставлении с заявлением «Повести» Троицкой и Симеоновской летописей о том, что подожгли Москву якобы сами русские). Не случайно «Повесть» приветствовала как отпор татарам, организованный у Волока серпуховским князем Владимиром Андреевичем¹³, так и карательную экспедицию, осуществленную Дмитрием в Рязанском княжестве.

Так, говоря о своде 1392 г., уже теперь можно утверждать, что по своей идейной направленности, по своему реальному историческому содержанию этот свод был общерусской летописью. Если освещение фактов из истории русской земли до XIV в. в этой летописи мало отличалось от интерпретации соответствующих исторических фактов Лаврентьевской и Троицкой летописей, то трактовка событий середины и конца XIV в. отличалась, видимо, довольно значительно от той информации, которая попала в Троицкую летопись.

Мы считаем, что в состав «Летописца великого русского» были в той или иной форме включены такие памятники, как «Слово о житии и о преставлении великого князя Дмитрия Ивановича, царя русского», пространные редакции «Повести о Куликовской битве» и «Повести о нашествии Тохтамыша». В дальнейшем при составлении Московского свода 1409 г. они были либо устранены совсем, либо сокращены и отредактированы.

¹³ В данной редакции «Повести о нашествии Тохтамыша» оценка деятельности Владимира Андреевича была более положительной, чем в пространной редакции «Повести о Куликовской битве». Если учесть, что конфликт Василия I с Владимиром Андреевичем был ликвидирован в 1390 г., то придется признать, что «Повесть о нашествии Тохтамыша» была создана несколько позднее «Повести о Куликовской битве», но не позднее 1392 г., поскольку она вошла, как нам представляется, в тот свод, который был назван в Троицкой летописи «Летописцем великим русским» и который уже существовал в 1393 г.

Хотя «Летописец великий русский», как известно, не сохранился, тем не менее о его существовании говорит не только прямая отсылка Троицкой летописи, но и большое количество литературного материала, отброшенного Троицкой летописью, но воскрешенного последующим летописанием (начал эту работу, по-видимому, уже Рогожский летописец, а значительно продвинул ее вперед так называемый «Полихрон» Фотия). Среди летописных памятников, связанных, как нам кажется, со сводом 1390—1392 гг. и могущих поэтому пролить дополнительный свет на идейное содержание «Летописца великого русского», может быть, по нашему мнению, и такой памятник, как Суздальская летопись по академическому списку, особенно ее третья часть, вышедшая из канцелярии ростовского епископа Григория [427, 221—228], известного сподвижника Киприана.

В этой последней части Суздальской летописи (с 1237 по 1418 г.) весьма отчетливо прослеживаются симпатии ее составителя к митрополиту Киприану и к той общерусской программе, которую он выдвигал и которую пытался осуществлять на протяжении 80—90-х годов XIV и в начале XV в. Так, Суздальская летопись неоднократно называет Киприана «преосвященным» в отличие от всех других упомянутых митрополитов [36, вып. 3, 536, 538]. Его появление в 1381 г. трактуется здесь как самостоятельный приход «в свою митрополию на Москву», где «князь великий Дмитрий прия его с великой честью» [36, вып. 3, 537] (в Троицкой летописи Киприана пригласил в Москву князь Дмитрий [60, 421]). Его бегство из осажденной Тохтамышем Москвы в 1382 г. трактуется как незаконное изгнание, как причина мятежа в митрополии («князь Дмитрий выгна Киприана митрополита и бысть мятеж в митрополии») [36, вып. 3, 537]. Возвращение в 1389 г. Киприана из Царьграда в Москву отмечено как важнейшее событие в жизни всей русской церкви (его сопровождали два греческих митрополита, три русских иерарха), как событие, не только положившее конец мятежу в русской церкви, но и создавшее якобы расширенную русскую митрополию, в состав которой будто бы была включена и митрополия Галицкой Руси (под 1389 г. в этой летописи читаем: «выиде из Царяграда преосвященный Киприан митрополит всея Руси... и преста мятеж в митрополии и бысть едина митро-

полия Киев и Галич и вся Руси») [36, вып. 3, 537]. Не случайным представляется и повышенный интерес данной летописи и серпуховскому князю Владимиру Андреевичу (рассказы о его женитьбе в 1371 г. на дочери Ольгерда Елене, о его походе на Рязань вместе с Дмитрием Донским и Дмитрием волынским). Весьма любопытным представляется сообщение о рождении у Дмитрия Донского в 1382 г. сына Андрея, будущего можайского князя, сотрудничавшего с Киприаном и ростовским епископом Григорием [36, вып. 3, 537; 170, 30].

Может быть, не случайной в Суздальской летописи оказалась попытка подчеркнуть ведущую роль Северо-Восточной Руси в системе всех русских земель. Так, под 1216 г. при изложении междоусобной борьбы князей дается такая формула: «...не было того... оже бы кто вшел ратью в сильную землю в Суздальскую, оже вышел цел, хотя бы и вся Русская земля и Галичская и Киевская и Смоленская и Черниговская и Новгородская и Рязанская...» [36, вып. 3, 495]. Характерно также, что в Суздальской летописи весьма спокойно излагаются литовско-московские конфликты — 1368, 1370, 1372 гг. [36, вып. 3, 533—534].

Все эти положения Суздальской летописи позволяют, как нам кажется, видеть в ней отражение общерусского свода 1390—1392 гг., какие-то краткие «тезисы» «Летописца великого русского», сделанные, видимо, при участии ростовского епископа Григория (1396—1416)¹⁴.

«Список русских городов дальних и ближних» — важный документ политической истории Восточной и Юго-Восточной Европы 90-х годов XIV в.

«Список русских городов», дошедший до нас в ряде летописей¹⁵, по-видимому, также является одним из тех памятников, которые были порождены бурным полити-

¹⁴ Нам представляется, что вполне оправданным было мнение А. А. Шахматова о том, что именно обильные летописные фонды ростовской епископии, сохраненные и в какой-то мере обработанные епископом Григорием, явились важным источником исторических сведений не только для «Полихрона» Фотия, но также и для «Хронографа» Пахомия Лагофета [427, 135—146; 323, 148].

¹⁵ Как известно, «Список русских городов» помещен в летописях Новгородской I [30, 475—477] и Новгородской IV [38, 623—624], в Ермолинской [46, 163—164] и Воскресенской [40а, 240—241].

ческим развитием феодальных стран Восточной и Юго-Восточной Европы конца XIV в. Хотя этот документ давно привлекал внимание историков, он лишь в последние годы, главным образом благодаря усилиям М. Н. Тихомирова, Б. А. Рыбакова, Л. В. Черепнина, стал предметом глубокого и всестороннего изучения.

Специальную работу этому источнику посвятил М. Н. Тихомиров [382, 214—259]. Исследовав различные варианты дошедшего до нас памятника, проверив историческую достоверность сообщаемых им сведений, М. Н. Тихомиров предложил вниманию читателей текст «Списка» в исправленном виде и серию карт, на которых были нанесены локализованные им географические названия «Списка» (автору удалось установить размещение 85% упомянутых в «Списке» названий городов) [382, 214—259]. Дав уточненную карту русской земли, а также карты отдельных ее областей, М. Н. Тихомиров особо остановился на факте включения в «Список русских городов» волошских и болгарских городов, подчеркнув при этом, что в основу составления такого широкого списка был положен принцип языковой близости упомянутых народов [382, 216]. Автор указал, что «Список» интересен как памятник, доказывающий существование на рубеже XIV—XV вв. не только представлений о единстве «русской земли, но и сознания связи русских с балканскими славянами и с молдаванами, употреблявшими в это время в письменности славянский язык» [382, 218].

На основании изучения фактических сведений, сообщаемых «Списком», М. Н. Тихомиров выдвинул предположение о том, что данный памятник возник между 1387 и 1392 гг.

Вместе с тем М. Н. Тихомиров пришел к выводу, что «Список русских городов» сложился «в Новгороде, возможно, в торговых кругах, близко связанных постоянными торговыми поездками с различными городами в русских княжествах и Литовском великом княжестве» [382, 219].

Параллельно с М. Н. Тихомировым исследованием

«Список» оказался также в сборнике Новгородского Софийского собора 1602 г. (отрывки опубликованы в 1867 г. И. И. Срезневским [370а, 95—100]).

данного памятника занимался и Б. А. Рыбаков. Еще в 1947 г. он предложил основанную на новом истолковании «Списка городов» карту русской земли. В 1953 г. он опубликовал работу «Древние русы», в которой была воспроизведена вышеупомянутая карта, дающая основания утверждать, что в конце XIV в. существовало все еще устойчивое представление о границах русской земли, почти полностью совпадавших с границами Руси XI—XII вв.

В названной работе Б. А. Рыбаков высказал ряд важных соображений как по поводу датировки, так и по поводу авторства данного памятника [337а, 31—32]. Развивая высказанные ранее положения, Б. А. Рыбаков дал более полную характеристику «Списку городов» в своей новой работе, исследующей состояние просвещения в русских землях XIII—XV вв. [303, II, 202—205].

В этом исследовании Б. А. Рыбаков отмечает большие заслуги М. Н. Тихомирова в изучении «Списка русских городов», но вместе с тем указывает и на свои разногласия с ним в трактовке ряда важных вопросов, касающихся данного памятника.

Если Б. А. Рыбаков согласен с М. Н. Тихомировым в общей оценке идеологического значения рассматриваемого документа (он также видит в этом источнике апологетику единства русской земли, выдвижение концепции особой близости Руси к придунайским странам), то при рассмотрении таких проблем, как целевое назначение данного документа, датировка и авторство этого памятника, он решительно с ним расходится.

Так, Б. А. Рыбаков не считает возможным видеть в «Списке» подорожный справочник, созданный в торговых кругах Новгорода для удобства передвижения купцов по русским городам. Он склонен рассматривать «Список русских городов» в качестве документа, составленного в канцелярии митрополита Киприана, возможно, в древнем Киеве. Б. А. Рыбаков считает, что «Список» был создан не только в целях обеспечения сбора какой-то дани с перечисленных городов, но и в целях систематизации географических сведений о русской земле. Не соглашается Б. А. Рыбаков и с предложенной М. Н. Тихомировым датировкой данного памятника. Если М. Н. Тихомиров считал, что «Список» возник между

1387—1392 гг., то Б. А. Рыбаков сдвигает время возникновения рассматриваемого документа на 1395—1396 гг. Правда, при этом он не исключает возникновения областных перечней городов до окончательного составления общерусского «Списка городов»¹⁶. Тем не менее, по его мнению, оформление списка всех русских городов произошло тогда, когда появились и другие памятники «политической географии», вошедшие в Никоновскую летопись («Имена тем землям и царствам, еже попленил Темир-Аксак», а также «Имена живущим около Перми землям и странам и местом иноязычным») [41, XI, 158, 165].

В дальнейшем «Список городов» привлек внимание и Л. В. Черепнина, который посвятил разбору данного памятника несколько страниц своего исследования о русском централизованном государстве XIV—XV вв. Отдельные выводы своих предшественников Л. В. Черепнин принимает, с другими выводами не соглашается, одновременно выдвигая ряд новых соображений по поводу «Списка русских городов». Он полностью принимает тезисы М. Н. Тихомирова и Б. А. Рыбакова об общерусской основе рассматриваемого памятника, их положение о том, что данный документ подтверждает существование в конце XIV в. стабильных представлений как о традиционных границах русской земли, восходящих к территории Руси XI—XII вв., так и о сохранявшемся тогда единстве различных ее частей. Именно эти выводы М. Н. Тихомирова и Б. А. Рыбакова получили дальнейшее развитие в работе Л. В. Черепнина, показавшего тесную связь «Списка городов» с таким памятником общерусского значения, как «Задонщина» [416, 439—443]. Л. В. Черепнин усматривает в «сухом перечне населенных и укрепленных пунктов те же большие идеи этнической общности различных ветвей теперь разобщенной, но некогда единой, древнерусской народности» — идеи, которые в художественной форме нашли воплощение в «Задонщине» [416, 442—443].

¹⁶ Так, он считает, что перечень залесских городов был создан после 1387 г., а список городов смоленской земли был изготовлен до 1385 г., список киевских городов оказался составленным после 1394 г. «Областные списки, по всей вероятности, были составлены в разное, но близкое время — в 1380 и 1390 годы», — подчеркивает Б. А. Рыбаков [300, II, 202—204].

Л. В. Черепнин принимает предложенную М. Н. Тихомировым датировку «Списка русских городов», а также соглашается с трактовкой этого памятника как документа, возникшего в городской среде [416, 439]. Правда, солидаризируясь с данным тезисом М. Н. Тихомирова, Л. В. Черепнин считает создателями этого памятника не новгородцев, а горожан Северо-Восточной Руси, в частности «гостей-сурожан» [416, 442, 437]. Приняв выводы М. Н. Тихомирова о возникновении «Списка» в городской среде на рубеже 80—90-х годов, Л. В. Черепнин не согласился с предложенной Б. А. Рыбаковым датировкой «Списка», а также с его трактовкой «Списка» как документа, созданного в канцелярии митрополита Киприана [416, 439].

Таким образом, М. Н. Тихомиров, Б. А. Рыбаков, Л. В. Черепнин многое сделали для раскрытия историко-географического содержания «Списка городов», для выявления его политической направленности, а также для решения вопроса о времени и месте составления памятника.

Не исключая возможности раннего появления «областных» списков городов, в том числе появления таких перечней в Новгороде, Москве, Киеве, Смоленске или Рязани, мы все же склонны вслед за Б. А. Рыбаковым считать, что дошедший до нас «Список русских городов дальних и ближних» представляет собой либо документ, заново изготовленный в канцелярии митрополита всей Руси Киприана, либо такой документ, который возник под руководством того же митрополита Киприана в ходе тщательной редакторской обработки имевшихся в митрополичьей канцелярии материалов справочного характера и в результате соединения ранее сложившихся областных списков городов в один общий перечень русских городов дальних и ближних.

Такое решение этого вопроса находит, на наш взгляд, подтверждение еще и в более широком сопоставлении «Списка русских городов» с другими литературными памятниками последней четверти XIV в., так или иначе связанными с литературно-идеологической деятельностью Киприана, и в более полном привлечении фактов, освещающих политическую и церковно-политическую жизнь Восточной и Юго-Восточной Европы того времени.

Говоря об идеологическом стержне «Списка», о его политической основе, следует еще раз подчеркнуть, что в нем границы русской земли пролегали почти в тех же пределах, в каких мы ее себе представляем по древнерусским памятникам XI—XIII вв. («Повесть временных лет», «Слово о полку Игореве», «Слово о погибели Русской земли» и др.). Отклонение имеющейся в «Списке русских городов» географии русской земли от географической карты Руси более раннего времени заключалось, по мнению Б. А. Рыбакова, лишь в том, что в „Списке“ не были упомянуты города тверской земли, а также города закарпатской территории „белых хорватов“» [337, 337а].

Следует, кроме того, еще раз отметить ту особенность «Списка городов», что он включает в свой состав города Болгарии и Молдавии.

Нужно также помнить, что этот памятник содержит явные элементы церковности, что он отражает внимание своего составителя к церковным «святыням» как русской земли, так и Болгарии.

В сущности, уже это последнее обстоятельство дает основание считать Киприана если не создателем «Списка русских городов», то тем церковным идеологом своего времени, который санкционировал создание данного документа. В самом деле, подчеркивание грандиозности кафедральных соборов св. Софии в Новгороде, Полоцке и Киеве, упоминание о нахождении мощей св. Параскевы-Пятницы в Тырнове, св. Онуфрия в Самборе нужны были не столько купцам и горожанам Новгорода или Москвы, сколько церковно-политическому деятелю такого масштаба, каким был Киприан, «русский — по должности, болгарин — по происхождению» [194, 215—217 и сл.].

Но не только обнаруживаемый в «Списке городов» одновременный интерес к болгарским и русским «святыням» ведет нас к Киприану и его соратникам.

Об этом же свидетельствуют и другие места «Списка русских городов», в чем мы убеждаемся при сравнении их с основными тезисами тех произведений конца XIV в., создание которых можно более уверенно связывать с именем митрополита Киприана. Здесь на первом месте должны быть поставлены такие памятники, которые бесспорно принадлежали перу Киприана (например, посла-

ния Сергию Радонежскому и Федору Симановскому, «Житие митрополита Петра»), а также должны быть учтены и те литературные сочинения, которые лишь предположительно могут быть связаны с именем этого митрополита («Задонщина», пространные редакции летописной «Повести о Куликовской битве», летописной «Повести о нашествии Тохтамыша» и т. д.).

Из посланий Киприана 1378 г. Сергию Радонежскому и Федору Симановскому ясно, что тогдашний литовско-русский митрополит выступал последовательным сторонником восстановления единой общерусской митрополии; мы видим, что Киприан открыто осуждал попытки Дмитрия Донского «двоить» митрополию русской земли и прежнюю практику литовских князей, не допуская митрополита Алексея в православные епархии воынской земли и Литовской Руси [49, 2, 75—106; 33, № 20, 183].

Не менее характерно в этом отношении и едва ли не главное произведение Киприана — «Житие св. Петра», политическая платформа которого была уже предметом нашего рассмотрения (см. стр. 314—315).

Весь круг идей, изложенных в «Житии св. Петра», представляется весьма близким идейной платформе другого литературного произведения, созданного, как убедительно доказывают исследователи, в том же, 1381 г.

При каких бы обстоятельствах ни возникла «Задонщина» в 1381 г., для нас важно подчеркнуть, что это произведение имело общую со «Списком русских городов дальних и ближних» идейно-политическую основу. На внутреннюю связь этих двух памятников уже обратил внимание Л. В. Черепнин. Зафиксировав совпадение политико-географических представлений в «Задонщине» и в «Списке», он пришел к выводу, что «Список русских городов» создавался не без воздействия «Задонщины», что «в сухом перечне населенных пунктов... и в яркой поэтике „Задонщины“ отразились одни и те же идеи» [416, 441, 442].

И действительно, «Задонщина» не только дает общие границы русской земли, совпадающие с соответствующими представлениями «Списка русских городов», но и выделяет такие территориальные комплексы внутри русской земли, которые почти полностью совпадают с районированием в «Списке городов».

В «Задонщине» мы имели частые ссылки на Русь Южную (пространство между Доном и Днепром), Русь Юго-Восточную (Рязань), Русь Западную (территория братьев Ольгердовичей и Дмитрия волынского — Полоцк, Северщина, Волынь), Русь Северо-Западную (Великий Новгород), а также на Русь Северо-Восточную (земля залесская с городами Москвой, Коломной, Серпуховом, Белоозером и др.). Почти все эти выделенные «Задонщиной» территориальные комплексы известны «Списку городов». В нем, как мы знаем, перечислены города киевские, волынские, города, входившие в состав Литовской Руси, города смоленские, рязанские, наконец, города залесские и Великого Новгорода.

Весьма характерно также, что оба рассматриваемых памятника уделяют большое внимание придунайским территориям. Широко известно, что Тырново фигурирует в «Задонщине» [35а, 13; 354, 538, 543]. В «Списке городов» также есть перечень «болгарских и волошских городов», в котором упомянута столица Болгарии Тырново [30, 475].

Может быть, «Задонщина», говоря о распространении славы о Куликовской победе к «Железным вратам» [354, 538, 543, 549, 553; 350, 13; 224, прим. 33], имела в виду ту теснину среднего течения Дуная, рядом с которой располагался город Видин с окрестностями, хорошо известный «Списку русских городов».

«Задонщина» не только излагает ход борьбы объединенных сил русской земли с Мамаем в 1380 г., но и дает ряд экскурсов в историческое прошлое древней Руси, восхваляя таких древнерусских князей, как Игорь, Владимир, Ярослав.

«Список городов» в силу своего описательно-географического характера, разумеется, не мог раскрывать далекую историю древней Руси, не мог называть имена древнерусских князей, тем не менее пристальное внимание «Списка» к трем главным городам древнерусского государства, Киеву, Полоцку и Новгороду, и к их церковным «святыням» все же свидетельствовало о том, что составитель перечня городов конца XIV в. прекрасно понимал значение киевского периода в истории Руси.

Таким образом, и политико-географические и исторические представления обоих памятников свидетельствуют об их близости, об общности их идеологической базы.

Но сопоставление этой общей платформы с идейной основой писем Киприана к Сергию Радонежскому, «Жития св. Петра», учет того обстоятельства, что «Задонщина» и «Список городов» проявляют большой интерес к городу Тырново и к болгарской святой Параскеве-Пятнице (мощи которой находились в Тырново до 1393 г., и ее имя оказалось внесенным Киприаном в его псалтырь наряду с именем митрополита Петра [650, 454; 194, 224]), заставляют нас прийти к выводу, что как произведение Сафония Рязанца, так и перечень русских городов оказались в той или иной мере связанными с литературно-политической деятельностью Киприана.

Есть еще комплекс памятников древнерусской литературы, который перекликается с «Житием св. Петра», «Задонщиной» и, как нам представляется, со «Списком русских городов» и обнаруживает следы сильного влияния идеологической деятельности Киприана. Мы имеем в виду памятники так называемого куликовского цикла, многочисленные варианты «Летописной повести о Куликовской битве», а также «Сказание о Мамаевом побоище». Нам представляется, что идеологическая взаимосвязанность комплекса названных памятников дает основание считать, что «Список русских городов» действительно возник в кругах, близких канцелярии митрополита всея Руси Киприана.

* * *

Но не только идеологическая близость ряда литературных произведений конца XIV в. к «Списку русских городов» заставляет нас видеть в тогдашнем митрополите одного из создателей этого документа.

В сущности, предположение о составлении Киприаном «Списка городов» может быть подкреплено еще и тем обстоятельством, что как само создание, так и последующая жизнь данного документа хорошо вписываются в практическую деятельность митрополита, осуществлявшуюся им в Восточной и Юго-Восточной Европе на протяжении 80—90-х годов XIV в., хорошо увязываются как с планами упрочения его власти в епархиях Литовской Руси и Владимирского княжения, так и с программой распространения его влияния на епархии Галицкой Руси, Молдавии и Болгарии.

Для того чтобы признать обоснованными эти положения, следует обратиться к реальным фактам политической жизни Восточной и Юго-Восточной Европы того времени.

Тогдашняя международная обстановка в этой части Европейского континента отличалась, как известно, крайней сложностью. Это были годы весьма напряженных отношений восточноевропейских стран с ордынскими правителями — Тохтамышем, Тимуром и Едигеем, годы, когда ход политических событий в самой Орде воздействовал определенным образом и на ритм политической жизни Восточной Европы, в частности создавал дважды на протяжении 90-х годов XIV в. благоприятные моменты для активизации процесса воссоединения русских земель: во-первых, в начале 90-х годов, когда Тимур в напряженной борьбе с Тохтамышем добился если не полной ликвидации последнего, то хотя бы ослабления его власти над Ордой, во-вторых, в 1395—1396 гг., когда Тимур, одержав решительную победу, не только заставил Тохтамыша покинуть пределы Волжской Орды, но и, разорив основные ордынские центры, в сущности, исключил возможность быстрого восстановления прежней роли ордынской державы как системы государства данной части Европейского континента.

Вместе с тем это был период быстро меняющейся политической обстановки на Балканах, которая определялась, с одной стороны, усилением турецкой экспансии на территории стран дунайского бассейна, а с другой — противодействием ей, осуществлявшимся как Царьградом, Болгарией и Сербией, так и северными их соседями (Венгрией и другими восточноевропейскими государствами). Но это была эпоха не только борьбы против наступления султанской Турции на земли Балканского полуострова, но и напряженного соперничества Чехии, Венгрии и Польши за гегемонию в Центральной и Юго-Восточной Европе, эпоха борьбы между Польшей, великим княжеством Литовским и Московской Русью за руководящую роль в Восточной Европе.

Это был период, когда Константинополь, стремясь спасти себя, пытался консолидировать «силы православия» на международной арене, старался вместе с тем упрочить свое влияние как в русских землях (с помощью митрополита Киприана), так и в «православных» стра-

пах дунайско-карпатского района с помощью других, верных патриархату церковных деятелей [652, 578]. Это было время, когда правители Болгарии и Сербии, Валахии и Молдавии, отстаивая существование своих стран, постоянно лавировали между различными «покровителями» на международной арене и нередко меняли свои внешнеполитические ориентиры.

Переплетение всех этих обстоятельств создавало действительно весьма запутанную политическую ситуацию.

Изучая обстоятельства возникновения «Списка», мы должны, как нам кажется, обратить особое внимание на те события в политической жизни Юго-Восточной и Восточной Европы, которые происходили в конце 80-х и в 90-х годах XIV в. не только на Волге, но и на Балканах, в частности на усиление турецкого натиска на Царьград, Сербию и болгарские княжества [607, 424—430; 600, 66—69; 397, 740, 752; 532а, 311—326], а также на постепенное изменение соотношения сил между Венгрией и Польшей.

Если Венгрия в результате феодальной анархии (1382—1387 гг.) оказалась ослабленной, если вступивший в 1387 г. на венгерский престол Сигизмунд Люксембургский весьма медленно восстанавливал военно-политический потенциал своего государства [595; 212, 191], то Польша, осуществившая в 1385—1386 гг. унию с великим княжеством Литовским, быстро наращивала политическую мощь, расширяя сферу своего влияния в Юго-Восточной Европе [528, 466; 527, 643].

В этих условиях форсированного турецкого натиска на земли Балканского полуострова, в условиях меняющегося соотношения сил между Венгрией и польско-литовским государством политика правящих верхов Болгарии и Сербии, Молдавии и Валахии становилась еще менее устойчивой, еще большим оказывался разрыв между формой существовавших тогда политических отношений в придунайских странах и их реальным содержанием.

Так, если лидеры болгарских княжеств Иван Шишман тырновский и Страшимир видинский и правитель Добруджи Иванко в середине 80-х годов выдавали себя за вассалов турецкого султана Мурада [534, 236—237; 600, 66—67], то на самом деле они придерживались тогда иной линии поведения. Зная о военных приготовлениях

ниях сербского князя Лазаря, имея сведения об анти-турецкой настроенности своих северных соседей, и прежде всего нового венгерского короля, Сигизмунда, Иван Шишман, Страшимир и Иванко готовились к борьбе с Турцией. Первый успех князя Лазаря (битва у Плочника 1387 г.) развязал руки Ивану Шишману, Страшимиру, Иванко — они открыто объявили себя союзниками сербского князя и противниками султана Мурада [564, 39—40].

Однако после того, как турецкие войска Али-паши в 1388 г. прошли победным маршем по Болгарии [600, 66], после того, как армия Мурада нанесла поражение Сербии на Косовом поле в 1389 г. [532а, 324—226], болгарский князь Иван Шишман вынужден был снова объявить себя вассалом султанской Турции, его примеру должен был последовать и правитель «Видинского царства» Страшимир (что касалось Иванко из Добруджи, то он после 1388 г. совсем исчез с политической арены) [564, 39, 43, 47] ¹⁷.

Та же неустойчивость политического курса, тот же разрыв между формой дипломатических отношений и ее реальным содержанием были характерны для тогдашнего поведения правителя Валахии Мирчо и молдавского господаря Петра Мушата.

Так, мы знаем, что Петр Мушат уже в 1387 г. присягал польскому королю и литовскому князю Ягайло, становясь тем самым союзником и вассалом правителя Польши [26, № 1, 2]. Нам известно также, что в 1388 г. Петр Мушат заключил особый договор с королем Ягайло о предоставлении ему в долг крупной денежной суммы [26, № 3, 13; 9, 23]. Мы знаем, кроме того, что в 1390 г. Петр Мушат заключил еще один союзный договор с Ягайло [26, № 3, 5]. Но, учитывая все это, мы не должны забывать, что правитель Молдавии — «Русовлахии» Петр Мушат совсем недавно, в период оформления польско-литовской унии, принимал у себя наслед-

¹⁷ Правда, установившиеся тогда отношения Болгарии с султанской Турцией, видимо, оказались недостаточно прочными. Если мы вспомним, что турецкий султан в 1393 г. вынужден был еще раз завоевать Болгарию, разрушать ее города, в том числе и столицу Тырново, то станет очевидным, что болгарские феодалы на протяжении 1389—1392 гг. пытались вести такую политику, которая шла вразрез с политическими устремлениями правителей Османской империи [660, 70—71; 607, 429].

ника московского престола князя Василия, возвращавшегося из ордынского плена в Москву [41, XI, 90], что здесь при участии Киприана, а может быть, и самого молдавского господаря была достигнута договоренность о женитьбе князя Василия Дмитриевича на дочери Витовта Софии [416, 652]. Мы не должны игнорировать того факта, что присягу у Петра Мушата принимал в 1387 г. сам митрополит всея Руси Киприан [26, № 1, 2], тогда еще лидер литовско-русской церкви, но в 1390 г. ставший общерусским митрополитом. Мы не должны упускать из виду и того обстоятельства, что, предоставляя польскому королю в 1388 г. большую сумму денег, Петр Мушат настоял на передаче ему Галицкой Руси в случае невозвращения этого долга в назначенный срок [26, № 3, 13]. Если учесть, что в эти годы поддерживались самые тесные церковные связи между Молдавией и Галицкой Русью, что тогда существовала единая галицко-молдовахйская митрополия [165, 374; 578, 158—170], интерес Петра Мушата к Галицкой Руси, проявленный в договоре 1388 г., мог иметь весьма важные последствия.

Когда же произошел разрыв Ягайло с Витовтом, ослабивший Польшу на международной арене, когда союзник Витовта Киприан переехал весной 1390 г. в Москву и стал реальным общерусским митрополитом, претензии Петра Мушата на Галицкую Русь, его тесные политические контакты с Киприаном, Витовтом и Василием московским могли сослужить молдавскому господарю плохую службу. Возможно, что внезапное исчезновение Петра Мушата с политической арены в 1390 г. [542, 1, 275; 221, 87, 115] было связано с тем, что он показался польским правителям в новых условиях слишком ненадежным союзником. Такое предположение тем более вероятно, что именно в этот период польское правительство стало сотрудничать с угровлахийским правителем Мирчо [26, № 6, 7; 528, 466; 542, 1, 282, 287], который, видимо, представлялся тогда Польше в силу ряда особых обстоятельств более надежным, более перспективным политическим партнером, чем Петр Мушат.

На рубеже 80—90-х годов Мирчо оказался в не менее двойственном положении, чем правители болгарских «царств» или господарь «Руссолахии» Петр Мушат. Изменившаяся в результате турецких походов 1388—

1389 г. расстановка сил на Балканах (усиление турок, ослабление Венгрии [542, 1, 272—276]) повлияла на политическую карьеру угровлахийского воеводы. Дело в том, что турецкие правители не только заставили видинского царя Страшимира стать их вассалом [532; 600a], но и потребовали передать под их контроль само угровлахийское княжество: в этих условиях Мирчо фактически был убран из Угровлахии, на его месте оказался в 1389 г. турецкий ставленник Влад [542, 1, 236—237]. Сам же Мирчо в конце 1389 или в самом начале 1390 г. был переброшен в Добруджу [564, 52], лишившуюся недавно своего прежнего правителя князя Иванко.

Вероятно, перемещение Мирчо из Угровлахии в это расположенное между Дунаем и Черным морем автономное болгарское княжество было как-то санкционировано турецкими властями¹⁸. Во всяком случае, турецкой дипломатии было, видимо, выгодно держать опального Мирчо в относительном удалении от Угровлахии, на чужой ему болгарской территории. Выгодно не только потому, что в результате «поселения» Мирчо в Добрудже Сигизмунд венгерский лишался союзника, способного вытеснить из Угровлахии турецкого ставленника Влада, но еще и потому, что пребывание «угровлахийца» Мирчо в болгарской Добрудже предотвращало возможность сближения болгарских княжеств друг с другом, затрудняло практику политического сотрудничества Болгарии с Молдавией, а также с той Русью, которую представлял митрополит Киприан¹⁹.

Но угровлахийский господарь оказался тогда выгодной политической фигурой не только для турецкой дипломатии. Он оказался весьма нужным политическим деятелем и для польского правительства. Ведя борьбу с Сигизмундом венгерским и Витовтом литовским, польский король стремился к тому, чтобы с помощью Мирчо расширить свое влияние в придунайских княжествах.

¹⁸ Болгарский историк Д. Кронджалов [564, 45—46] считает, что появление Мирчо в Добрудже было результатом его сотрудничества не с султаном Баязидом, а с турками-сельджуками Малой Азии, которые тогда находились в оппозиции к этому султану.

¹⁹ Нам кажется, что Мирчо мог пользоваться скрытой поддержкой султана Баязида, заинтересованного в том, чтобы Мирчо не мешал Владу в Угровлахии, а в Добрудже выполнял роль протурецкого буфера между Болгарией, с одной стороны, Молдавией и Русью — с другой.

Не удивительно поэтому, что уже в конце 1389 г. Ягайло заключил союзный договор с Мирчо, к этому договору присоединился, как известно, и остававшийся еще у власти Петр Мушат [26, № 4, 5]. Но в создавшейся ситуации именно Мирчо был той основной политической фигурой, с помощью которой Краков думал тогда закрепить свои позиции в нижнем течении Дуная [26, № 6, 7; 104, II, 153]. Дни Петра Мушата, как мы знаем, были сочтены, а Мирчо оставался союзником польского короля еще полтора года (договор Ягайло с Мирчо был подтвержден дважды на протяжении 1390—1391 гг.).

Однако не одна Польша активно участвовала в политической борьбе на Дунае. Одновременно с нею большой интерес к странам нижнего течения Дуная проявляла как Венгрия, так и феодальная Русь, от имени которой в тот период выступал на международной арене митрополит Киприан²⁰.

Именно активностью этих двух политических сил Восточной и Центральной Европы следует, видимо, объяснить усиление противодействия турецкому натиску со стороны Болгарии, наметившееся в начале 90-х годов XIV в., как внезапное возвращение Мирчо из Добруджи на территорию Угровлахии в распоряжение Сигизмунда венгерского (происшедшее после лета 1391 г.)²¹.

Все эти события были явными симптомами ослабления политического потенциала Польши на международной арене, а вместе с тем и соответствующего усиления Сигизмунда венгерского, а также таких лидеров Восточной Европы, как Киприан, Витовт и московский князь Василий Дмитриевич.

Понимание быстро меняющейся расстановки сил, видимо, и заставило польское правительство пойти в 1392 г. на компромиссное соглашение с Витовтом, в результате которого Витовт признал формальное существование

²⁰ К. Иречек [210, 265], П. Ников [600, 70—72] и некоторые другие болгарские историки считают, что антитурецкая активность Шишмана в начале 90-х годов опиралась только на скрытую поддержку Сигизмунда венгерского. Нам представляется возможным говорить также о поддержке Болгарии со стороны тех сил феодальной Руси, которые находились тогда под влиянием митрополита Киприана.

²¹ Грамота 29 июня 1391 г. называет Мирчо владельцем Добруджи, грамота 27 декабря 1391 г. не упоминает об этом обстоятельстве, но подчеркивает его реальное пребывание в Угровлахии.

польско-литовской унии, но получил за это возможность стать реальным правителем великого княжества Литовского.

Соглашение Ягайло с Витовтом 1392 г. приостановило, видимо, процесс ослабления позиций Польши на международной арене, позволило ей выдвинуть на пост правителя Молдавии своего ставленника, который уже 5 января 1393 г. заключил с польским королем союзный договор [26, № 8].

Весьма характерно также, что польская сторона, игнорируя мнение Царьграда, назначила после смерти галицкого митрополита Антония на этот пост своего ставленника — луцкого епископа Иоанна [33, № 39, 261—264].

Показательно, что почти одновременно, также вопреки воле Константинополя, у кормила молдовлахийской церкви оказался иерарх галицкого происхождения Иосиф [578, 163—167].

Сосуществование двух «неканонических» иерархов в фактически целостной церковной организации (об этом говорило не только тесное взаимодействие молдовлахийской церкви с церковью Галицкой Руси, но и практика назначения Царьградом в данный регион православия одного иерарха [33, № 44, 45; 165, 374]) означало не только их оппозицию к Царьграду, но и соперничество друг с другом. Имея за собой мощные политические силы (луцкий епископ Иоанн — польского короля Ягайло [176, 395], иерарх Иосиф — видимо, Киприана, Витовта и Василия), они ставили перед собой весьма близкие цели — распространение своего влияния на всю церковную организацию данного региона, а вместе с тем распространение влияния в Юго-Восточной Европе своих мощных северных союзников [643, 631].

При такой крайне сложной и запутанной политической обстановке султанская Турция совершила новое вторжение на территорию Болгарии, в результате которого Болгария была подчинена турецкому контролю. «Того же лета, — читаем мы в Троицкой летописи, — Амуратов сын... поиде ратию на Болгарского царя и взя стольный град Тырнов и царя их пленника створи и патриарха и мощи святых огнем пожже и церковь сборную, идеже есть патриархии, в мезгит преврати» [60, 442; 41, XI, 154].

Таким образом, на болгарской территории восторжествовало турецкое влияние [600, 70—71], а на территории Молдавии и Подолии, как отмечалось, влияние Польши [474].

Но с таким оборотом дела, видимо, не хотели мириться те феодальные силы Восточной Европы, которые представляли тогда Киприан, Витовт и Василий Дмитриевич.

Уже весной 1393 г. Витовт решил подчинить себе пограничные с Молдавией земли Подолии, находившиеся тогда под управлением одного из князей Кориатовичей [176, 170]. Весьма характерно, что как только Витовт начал активно выступать против подольского князя Кориатовича, на стороне последнего оказался молдавский господарь Роман Мушат, недавно только выдвинутый польской дипломатией на этот пост. Хотя подольский князь и молдавский господарь усиленно готовились к вооруженной борьбе с армией Витовта, в ходе военной кампании лета и осени 1393 г. их силы были полностью разгромлены и Витовт объявил себя хозяином подольской земли [176, 170].

В непосредственной связи с этой победой, видимо, следует рассматривать и уход с политической арены молдавского господаря Романа [542, 288—289]. Вступивший на этот пост новый господарь, Стефан Мушат, не только отказался от продолжения открытой борьбы с Витовтом, но и стал сотрудничать с венгерским королем Сигизмундом (осень 1394 г.) [26, № 2]. Так, зимой 1394/95 г. международные позиции Польши снова оказались ослабленными, а политический потенциал Сигизмунда, сколачивавшего антитурецкую коалицию, продолжал расти.

Правда, в 1395 г. польский король Ягайло попытался восстановить свои позиции в Молдавии: он заставил Стефана Мушата порвать с Сигизмундом и заключить с Польшей новый союзный договор, направленный против Венгрии, ее тогдашнего партнера Валахии, против турок и татар [528, 643].

Одновременно польский король добился вытеснения наместников Витовта из Подолии и замены их польским наместником малопольским магнатом Снытко из Мельштина [553, 62].

Таким образом, мы видим, что территория Подолии

и Молдавии продолжала оставаться одним из тех районов Юго-Восточной Европы, где давала себя знать скрытая борьба Польши и Венгрии, Польши и Руси.

Грандиозный поход Тимура 1395 г. на территорию Восточной Европы, одержанная им 15 апреля этого же года решительная победа над Тохтамышем и осуществленный им осенью того же года комплекс мероприятий по экономическому и политическому ослаблению ордынской державы создали, как мы уже отмечали (см. стр. 214 данной работы), благоприятные условия не только для форсирования «триумвирами» объединительных процессов на русских землях, но и для активизации их политики на международной арене, между прочим, и для включения их в борьбу за сферы влияния на Балканах.

Однако дальнейшие события, в частности последовавший 28 сентября 1396 г. разгром сотысячной армии Сигизмунда венгерского у стен придунайского города Никополя [75, X, 492; 95, III, 207—208; 643, 79—81], внесли существенные коррективы в развитие международных отношений. Одержанная Турцией победа создала новую расстановку сил в Восточной и Юго-Восточной Европе, поставила перед феодальными странами этой части Европейского континента новые задачи.

В этих условиях весь ход международной жизни выдвигал программу более тесного политического сотрудничества Польши и Венгрии, Польши и Руси, ставил задачу преодоления разделявших их противоречий и создания единого фронта против общих противников на международной арене.

Вполне возможно, что возникновением подобной тенденции в политическом развитии этой части Европы и следует объяснять такие факты, как пребывание венгерского короля в Царьграде после никопольского поражения, встреча осенью 1396 г. в Киеве польского короля Ягайло с Витовтом и Киприаном [553, 133; 33, № 44, 45].

Во время этой встречи происходили, как известно, важные политические переговоры, которые завершились обращением к Царьграду с предложением форсировать унию православной церкви с церковью римско-католической.

Однако все эти усилия Ягайло, Витовта и Киприана не дали сколько-нибудь значительных результатов. Вы-

двинутая самой жизнью программа политического сближения и равноправного сотрудничества Польши и Венгрии, Польши, великого княжества Литовского и Великого Владимирского княжения не была реализована. Тенденция к объединению, видимо, оказалась слабее тенденции соперничества между этими феодальными государствами. В создавшихся условиях было трудно совместить интересы венгерских, польских, русских и литовских феодалов, трудно было найти и компромисс для осуществления церковной унии.

Все это получило отражение в документах царьградского патриархата.

Мы видим в этих материалах программу создания антитурецкой коалиции, во всяком случае программу скоординированного противодействия ряду стран Центральной и Восточной Европы турецкому натиску, мы сталкиваемся даже с проявлением формально терпимого отношения к церковной унии. Вместе с тем, обращаясь к этим материалам, мы убеждаемся в том, что Царьград, все еще не оставлявший своих «великодержавных» амбиций, думал не только о получении помощи против турок от каждого из своих северных соседей, но и о создании выгодной для себя общей политической обстановки в Центральной и Восточной Европе, о поддержании нужного ему соотношения сил между державами этого региона.

Ничего не было поэтому удивительного в том, что патриарх Антоний в послании королю Ягайло призвал к созданию антитурецкого союза в составе Польши и Венгрии [33, № 45, 306], но в то же время счел несвоевременным форсирование церковной унии, т. е. высказался тем самым против усиления католической Польши за счет православной Руси [33, № 44, 45]. Но, поддержав церковно-политическую самостоятельность русской земли, патриарх Антоний не пожелал содействовать чрезмерному разрастанию сферы влияния митрополита Киприана: константинопольский патриарх не только осудил предпринятую Киприаном в 1396 г. попытку закрепить за собой церковь Галицкой Руси и придунайских княжеств, не только отверг предложенную тем же Киприаном идею созыва церковного собора на территории русской земли, но и высказался за создание особой галицко-молдовлахийской митрополии, которая должна

была оказаться в подчинении не митрополита киевского и всея Руси, а самого константинопольского патриарха и которая в этом своем качестве могла бы стать удобной промежуточной инстанцией в политических контактах Царьграда с Польшей, а может быть, и с Венгрией.

Конкретизируя свои пожелания, константинопольский патриарх предложил Киприану иметь в виду следующее: во-первых, церковный собор, если он хочет рассматривать проблему церковной унии, а не какую-нибудь иную проблему, должен быть не «поместным», а вселенским; во-вторых, если такой вселенский собор и должен состояться, то не там, где предлагал Киприан, ибо Русь — неудобное место для вселенского собора как в мирное, так и тем более в военное время; в-третьих, дальнейшая судьба епархий Галицкой Руси и Молдавии должна решаться не Киприаном («то, что он рукоположил одного епископа в Галицкую Русь, — это не хорошо»), а только самим Константинополем. Патриарх предупреждал Киприана, что «сделать что-либо иное значило бы прийти в столкновение со священными канонами» [33, № 45, 308].

Однако осуждение Константинополем целого ряда важных церковно-политических мероприятий Киприана не прошло, видимо, бесследно: отношения между Византией и феодальной Русью где-то в 1396—1397 гг. ухудшились настолько, что русская церковь убрала из своих мемориальных триптихов имя самого византийского императора. Данное обстоятельство свидетельствовало, видимо, о том, что феодальные силы русской земли, возглавляемые Киприаном, Василием и Витовтом, встали на путь отказа от политического сотрудничества с Византией.

Именно в это время Василий I выдвинул формулу (если верить грамоте патриарха Антония, она гласила: «У нас есть церковь, но нет императора» [33, № 45, 309]), из которой становилось очевидным нежелание московского князя подчиняться политическому контролю Византии, нежелание отождествлять церковную и политическую сферы отношений с Царьградом.

Таким образом, документы царьградского патриархата свидетельствовали о том, что выдвинутая ходом политической жизни Восточной и Юго-Восточной Европы

программа политического сближения Руси, Польши и Венгрии на деле оказалась весьма далекой от осуществления.

Раздираемые противоречиями Русь, Польша и Венгрия оказались в конце XIV в. обреченными на изолированные усилия в борьбе с грозными противниками. В сущности, Витовт встретил армию Едигея на берегах Ворсклы в 1399 г. без сколько-нибудь значительной поддержки со стороны Польши. Что же касалось борьбы Польши и Венгрии против турецкой угрозы, то она велась также изолированно, и только конфликт Тимура с Баязидом, завершившийся разгромом последнего в 1402 г., избавил Польшу и Венгрию от новых поражений на Дунае.

В этой обстановке фактической разобщенности стран Центральной и Восточной Европы оказались отодвинутыми на второй план и возникшие в 1396 г. разногласия между Царьградом и феодальной Русью.

Если упадок Орды после похода Тимура 1395 г. позволял Киприану рассчитывать на реализацию программы-максимум в Восточной и Юго-Восточной Европе (он претендовал, как известно, не только на русские земли Литвы и Владимирского княжения, но также на Галицкую Русь и придунайские княжества), то сложившиеся тогда отношения с Царьградом, а также с Польшей вынуждали его довольствоваться более скромными результатами — церковно-политическим объединением только тех русских земель, которые входили в состав великого княжества Литовского и Владимирского княжения.

Ничего не было удивительного в том, что после безрезультатного завершения переговоров с польским королем по поводу церковной унии, а также после довольно серьезного конфликта с Царьградом, осудившего как проект церковной унии, так и проникновение ставленника Киприана в Галицкую Русь и в Молдавию, митрополит всея Руси не только стал усиленно подчеркивать свою верность ортодоксальному православию, но и направил на берега Босфора в 1397 г. специальную миссию примирения, возглавленную митрополичьим боярином Андреем Ослебя [47, 166; 48, 228; 40а, 71]. Под 1398 г. летописи сообщают об отправке Киприаном в Царьград большой суммы денег [47, 166; 41, XI, 168].

Таковы были главные линии политического развития стран Восточной и Юго-Восточной Европы на протяжении 90-х годов, таковы были основные тенденции международной жизни того времени, учет которых представляется нам необходимым при анализе «Списка русских городов дальних и ближних». Только имея в виду все эти события, можно понять назначение нашего памятника, его место в дипломатической истории данной части Европейского континента.

С какой же целью был создан «Список русских городов»? Что связывало этот документ с международной политикой 90-х годов XIV в.?

В поисках ответа на эти вопросы мы должны сказать, что этот памятник не был создан в один день и для какого-то единственного случая. Он, несомненно, прошел сложный путь развития, постепенно меняя свой объем и политические функции.

Мы видим, что дошедшая до нас основная редакция «Списка русских городов» является одним вариантом (редакция Новгородской I, Ермолинской, Воскресенской летописей), а редакция Софийского сборника 1602 г., включившая в свой состав перечень тверских городов, — уже другим, более поздним вариантом этого памятника. Наличие двух этапов в жизни «Списка русских городов» позволяет ставить вопрос о существовании еще одной стадии развития документа — его становления.

Мы уже высказывали предположение, что перечни городов отдельных земель феодальной Руси могли возникнуть еще до приезда Киприана в Москву в 1390 г. Тем не менее создание первого сводного списка русских городов все же следует, видимо, приписать именно инициативе митрополита.

Очень возможно, что какая-то первоначальная редакция сводного «Списка» нашла свое место в качестве своеобразной политико-географической карты русской земли в обширном общерусском своде Киприана начала 90-х годов XIV в., в так называемом «Летописце великом русском».

Весьма вероятно, что «Список русских городов» имел определенное значение и для тогдашнего развития самой русской церкви — для упорядочения церковных налогов, как считает Б. А. Рыбаков [237а, 31—32], для подчеркивания особой значимости ведущих церковных

центров — Киева, Новгорода, Полоцка, Самбора [30, 473—475], возможно, и для обоснования некоторых частичных изменений в административной структуре русской церкви.

Но, допуская использование «Списка» русской церковью, мы не можем не отметить вслед за Б. А. Рыбаковым и ограниченность сферы этого использования, в частности указать на полное игнорирование «Списком» городов-монастырей [341, 204].

Но какова бы ни была «предыстория» памятника, сохранившаяся в ряде летописей, основная редакция фиксирует ту стадию его развития, когда он был документом широкого политического и международного значения. Нам представляется, что «Список русских городов дальних и ближних» был тем документом, который митрополит Киприан готовил для представления Царьграду в качестве обоснования его претензии на приобщение к русской митрополии епархий Галицкой Руси, а также епархий Молдовлахии и Болгарии. Естественно, что в случае одобрения Царьградом этого документа Киприан имел бы юридическое оправдание для утверждения своей власти над церковью Галицкой Руси, Молдавии и родной ему Болгарии.

На это указывает не только то обстоятельство, что сам «Список русских городов» в летописи помещен после перечня всех русских митрополитов, епископов, архиепископов, архимандритов [30, 473—475], не только наличие в документе бросающихся в глаза элементов церковности, упоминание «святынь» Тырнова, Самбора, Киева, Полоцка, Новгорода, но также и сам порядок перечисления городов с юга на север, порядок, который, по нашему мнению, явно указывал на Царьград как на инстанцию, ради которой если не составлялся, то «пересоставлялся» перечень городов русских, болгарских и молдавских. В самом деле, только приравливаясь к географическим представлениям Константинополя, можно было начать «Список русских городов» с городов Болгарии (Видин, Тырново, Дрестер) и Молдавии; только учитывая последовательность удаления от Константинополя русских городов, можно было расположить комплексы городских центров русской земли в таком порядке: города подольские, киевские, волынские и галицкие, города литовско-русские, города смоленские, рязан-

ские, наконец, города самые дальние от Царьграда — залесские и новгородские.

Какие же конкретные факты международной жизни того времени позволяют считать митрополита всея Руси одним из создателей «Списка»?

Нам представляется, что в политическом развитии Юго-Восточной Европы 90-х годов XIV в. было два момента, когда митрополит Киприан мог выступить со «Списком русских городов дальних и ближних» как со своеобразным обоснованием своих претензий на расширение митрополии всея Руси за счет включения в ее состав епархий Галицкой Руси, Молдавии и даже Болгарии.

Одним таким благоприятным моментом для использования Киприаном «Списка русских городов» в переговорах с Царьградом могли быть 1390—1391 годы. Это были годы, когда Польша вела успешную борьбу с Сигизмундом венгерским в придунайских странах (Ягайло находился в союзных отношениях с угровлахийским правителем Добруджи Мирчей на протяжении почти двух лет: с конца 1389 до первой половины 1391 г.). Вместе с тем эта была эпоха, когда постепенно восстанавливалось сотрудничество Москвы с правителем Литвы Витовтом, когда Киприан, переехав в Москву, стал общерусским митрополитом. Именно в это время Киприан, видимо, и попытался распространить свое влияние не только на церковь Галицкой Руси, но одновременно и на епархии Молдавии и Болгарии. Не исключено, что он действовал в Молдавии через господаря Петра Мушата.

Вполне возможно, что Киприан установил тогда связи и с родной ему тырновской Болгарией, с царем Иваном Шишманом, который в 1390—1391 гг. стал проявлять явную антитурецкую активность. Поскольку интенсивные связи Шишмана с Польшей и Венгрией тогда исключались из-за пребывания угровлахийского господаря и союзника Кракова Мирчо в болгарской Добрудже, остается предположить, что основой антитурецкой активности болгарских феодалов было их сотрудничество с теми силами Восточной Европы, которые возглавлялись Киприаном, Витовтом и Василием Дмитриевичем.

Таким образом, у нас есть основания считать, что в

1390—1391 гг. сложилась весьма благоприятная обстановка для обращения Киприана в Царьград с программой не только консолидации всех епархий русской земли, включая епархии галицкой и подольской земель, но и объединения русской митрополии с православной церковью Молдавии и Болгарии. Хотя мы и не располагаем прямыми документальными подтверждениями такого шага митрополита всея Руси в 1390—1391 гг., тем не менее благоприятная для него политическая конъюнктура в Восточной и Юго-Восточной Европе в начале 90-х годов XIV в., а также засвидетельствованный источниками факт такого выступления Киприана в 1396 г. позволяют думать, что такая акция была предпринята главой русской церкви в Царьграде именно в эти годы.

«Список городов», видимо, не случайно обнаруживает прекрасную осведомленность не только о расположении основных городских центров Болгарии, но и об их состоянии. «Список» говорит о еще не разрушенном городе Тырнове, о болгарских городах Добрудже, Дрестре, Каварне и др. «Список» сообщает и о главном городе видинского царства Видине (Видичен-Видин-Бдин-Мдин), окруженном семью каменными стенами [30, 475; 382, 227]. Но, по-видимому, упоминание Тырнова было особенно дорого составителю «Списка городов» Киприану: это был город, где он родился, вырос и стал учеником Евфимия тырновского. Не случайно, видимо, его интересует не только город сам по себе, но и его церковные святыни — как сама церковь Святой Параскевы-Пятницы, так и наличие здесь мощей этой святой [650, 545а]. Если мы учтем, с одной стороны, утверждение «Списка» о том, что в «Тырнове лежит святая Пятница» [30, 475], а с другой стороны, будем иметь в виду, что в 1393 г. мощи этой «святой» были вывезены в город Видин и в 1396 г. из Видина переправлены в Белград, то придется признать, что «Список русских городов», во всяком случае его ранний вариант, возник действительно до 1393 г., а вернее, в 1390—1391 гг. Таким образом, у нас есть основания считать, что первый вариант сводного «Списка русских городов» с его подчеркнутым интересом к городам болгарским и молдово-влахийским, с его широкой программой единства русской земли, совпадавшей с общерусской концепцией «Задон-

щины», «Жития митрополита Петра», пространными редакциями «Летописной повести о Куликовской битве», а также перекликавшейся с прямым утверждением Суздальской летописи о включении в 1391 г. церкви Галицкой Руси в состав общерусской митрополии, свидетельствует о том, что рассматриваемый вариант «Списка городов» был составлен при участии Киприана в 1390—1391 гг. и тогда же мог быть использован в переговорах с Царьградом.

В сущности, такое решение проблемы датировки, а также вопроса о роли данного документа в политических взаимоотношениях с Константинополем получает, как нам представляется, подтверждение в предпринятой в 1393 г. греческим патриархатом попытке устранить митрополита Киприана из церковно-политической жизни Восточной Европы, в попытке заменить его греческим иерархом Фотием [285, IV, 335—336].

Вторым благоприятным для использования «Списка городов» моментом в политической жизни Восточной и Юго-Восточной Европы мог быть 1396 год, когда, по свидетельству документов царьградского патриархата, Киприан самовольно назначил близкого себе иерарха церковным главой Галицкой Руси [33, № 45, 308; 285, IV, 80—84; 379, 132].

Для того чтобы убедиться в тесной связи нашего памятника с этим весьма важным этапом политической жизни данной части Европейского континента, следует иметь в виду, что именно тогда, в середине 90-х годов XIV в., возникла особо благоприятная международная обстановка для реализации уже известных нам широких общерусских и придунайских планов Киприана.

Именно тогда, в условиях резкого спада ордынского влияния в Восточной Европе (после похода Тимура в 1395 г.), произошло, как мы знаем, заметное усиление феодальной Руси, руководимой Киприаном, Витовтом и Василием I, выявились возможности дальнейшей ее интеграции, а также активизации ее политики на международной арене, в частности в Северном Причерноморье [см. 214 стр. данной работы; 604, 260]. Именно по этой причине в обстановке нараставшего турецкого натиска на придунайские земли (это был период между захватом Болгарии в 1393 г. и разгромом армии Сигизмунда венгерского у дунайского города Никополя осенью

1396 г. [643, 69—81]) феодальная Русь Киприана, Василия и Витовта оказалась также вовлеченной в борьбу против турецкой экспансии.

Разумеется, «триумвиры» вели эту борьбу не изолированно от других антитурецких сил феодальной Европы, в частности от Венгрии, Польши и Константинополя. Правда, если намечавшееся сотрудничество Руси с Венгрией базировалось только на частичном совпадении их внешнеполитических интересов в данной области [643, 74—79, 82; 564, 80; 471, 31—32], то отношения с Польшей и Константинополем обуславливались тогда и другими весьма существенными обстоятельствами: Польша, как мы знаем, была связана с великим княжеством Литовским и Русским политической унией, а также попытками навязать русским епархиям этого княжества и церковную унию [580а, 628а; 177, 504—512; 553, 133; 520а], а Константинополь, подчинявший себе все православное население Восточной и Юго-Восточной Европы, рассматривал русскую митрополию как составную часть православной церкви вообще, а русскую землю — в качестве своего естественного политического союзника [604, 260, 665]. Но сколь ни тесными казались внешне контакты феодальной Руси с Польшей и Царьградом, реальные отношения между ними в середине 90-х годов отнюдь не были союзническими.

Поскольку у каждой из названных политических сил — Царьграда, Венгрии, Польши и Руси — существовала своя программа политической «реорганизации» данной части Европейского континента, свои планы отстаивания тех или иных государственных границ и даже свои расчеты на те или иные нововведения в структуру православной церкви, на те или иные персональные перемещения в этой церкви и т. д., взаимоотношения между ними были весьма натянутыми, по существу, они определялись то скрытой, то явной борьбой их друг с другом, обуславливались то ослабевавшим, то усиливавшимся их соперничеством.

Так, в частности, нас не должно удивлять то обстоятельство, что Царьград, Польша и Русь в соответствии со своими тогдашними политическими планами имели свои собственные представления о будущем епархии Галицкой Руси и Молдовлахии, что у каждого из них были свои кандидаты на управление данными регионами пра-

вославной церкви. Мы знаем, что Царьград предлагал для управления этими епархиями как целостной организацией то экзарха Симеона [33, № 35, 230] с перспективой превращения его в местного епископа [471, 28], то экзарха Михаила [33, № 43, 292; № 45, 310], Польша выдвигала после смерти Антония [471, 28, 34] кандидатуру луцкого епископа Ивана Боби [33, № 39, 262; № 44, 300; № 45, 308; 285, IV, 80, 177, 396], а феодальная Русь с помощью митрополита Киприана просто назначила в 1396 г. какого-то своего кандидата [33, № 45, 308] правителем данной церковной области как составной части общерусской церкви (весьма возможно, что этим кандидатом был тот самый «ненавистный» Царьграду иерарх Иосиф, который был поставлен на рубеже 80—90-х годов епископом Молдавии без санкции греческого патриархата) [578, 151; 426, 311].

Очень похоже на то, что у Царьграда, Польши и Руси в это время были не только свои избранники в кандидаты на данный пост, но и свои особые центры управления указанной церковной областью. Так, если польское правительство готово было пока признать в силу сложившейся традиции Галич в качестве резиденции своего кандидата — луцкого епископа Ивана [9, I, № 12; 33, № 39, 262; 177, 396; 471, 33], если Царьград, направляя своих иерархов в Галич, Молдавию или Болгарию, допускал при этом не только их «взаимозаменяемость», но и одновременное управление всеми частями данной церковной организации²², то Киприан, судя по ряду данных, решил направить верного себе кандидата не в Галич, а в город Самбор.

По-видимому, Самбор стал играть весьма важную роль в политических и церковно-политических планах Киприана середины 90-х годов XIV в. Если в начале 90-х годов Киприан рассчитывал присоединить галицкую церковь к общерусской митрополии, игнорируя существование Самбора (об этом свидетельствует Суздальская летопись по академическому списку [36, 537]), то теперь в новой политической обстановке, когда Галич контролировался иерархами польской и константи-

²² Например, посланный в Молдавию иерарх Иеремия осел в Болгарии на рубеже 80—90-х годов [33, № 45, 308; 578, 155], иерархи Симеон [33, № 35, 230] и Михаил [33, № 43, 45] должны были управлять церковью Галицкой Руси и Молдавии.

нопольской ориентации, митрополит всея Руси предпринял, видимо, попытку создать именно в Самборе свой центр управления данной церковной областью. В пользу такого предположения говорит создание особой самборской епископии. Источники хорошо знают о кратковременном существовании епископии с центром в городе Самборе, однако в историографии не связывается обычно возникновение данной церковной ячейки с политической деятельностью митрополита Киприана. Между тем нам представляется, что рождение этой новой епископии следует связывать с именем Киприана, со стремлением этого русского митрополита создать благоприятные политические условия для деятельности его представителя в данной церковной организации.

Выдвигая далеко на запад постоянную резиденцию своего церковного эмиссара, располагая ее в непосредственной близости от польских границ, Киприан, видимо, рассчитывал тем самым изолировать Галич от Польши, намеревался оставить его как бы зажатым между Самбором и теми центрами русской церкви, которые бесспорно подчинялись ему как митрополиту киевскому и всея Руси.

Предположение о создании Киприаном самборской епископии именно в эти годы подтверждается не только ходом скрытого соперничества между церковно-политическими инстанциями Польши, Венгрии, Руси и Царьграда, но и переменами исторической судьбы самого Самбора на протяжении XIV—XV вв., переменами, получившими отражение в соответствующих источниках.

Так, в церковных документах середины XIV в. нет никаких намеков на существование самборской епископии, хотя, например, грамота 1347 г. дает самый подробный и, видимо, исчерпывающий перечень епископий «незаконно» возникшей тогда галицкой митрополии: в грамоте были упомянуты епископии галицкая, владимирская, холмская, луцкая, перемышльская и туровская [285, 315, 317].

Нет сведений о самборской епископии и в период появления митрополита Романа (1354—1361), в подчинении которого находились епархии Литовской Руси, а также Малой (Галицкой) Руси [426, 208; 270]. Не шла речь о самборской епископии и в начале 70-х годов XIV в., в период переговоров польского короля Казими-

ра с константинопольским патриархом по поводу восстановления галицкой митрополии [89, II, 626—628].

Называя себя «королем Ляхии, Малой Руси и Валахии», Казимир одновременно требовал от Царьграда признания обособленной галицкой митрополии в таких границах, которые далеко выходили за тогдашние пределы государственной территории Польши. Из переговоров Казимира с патриархом Филофеем становится очевидным, что Краков, выдвигая программу дальнейшего территориального роста польского государства как за счет Валахии, так и за счет ряда центров Литовской Руси (Холм, Владимир, Туров), отнюдь не ставил тогда вопроса о Самборе как центре новой епископии [89, II, 626—628; 33, № 25, 142—148].

Видимо, не шла речь о Самборе как важном церковном центре и на протяжении 70-х годов XIV в., когда в Галиче продолжал оставаться православный митрополит пропольской ориентации Антоний [489, 491; 471, 27, 32—33]. Об этом не было речи и в тот период, когда главой русских епархий великого княжества Литовского стал Киприан (1376—1380) [33, № 25, 142—148].

Самбор не фигурировал в качестве видного церковного центра и в 1381 г., когда Киприан, оказавшись общерусским митрополитом, все же не смог распространить своего влияния на церковь Галицкой Руси, где по-прежнему сидел митрополит Антоний [285, IV, 84; 163, II, 342; 471, 27, 32]. Не существовало, видимо, особой самборской епископии и в начале 90-х годов — источники знают лишь о попытке Киприана соединить в 1390—1391 гг. общерусскую митрополию с Галичем, но отнюдь не с Самбором [36, 537].

Но если все приведенные данные еще ничего не сообщают о самборской епископии, то документация эпохи Григория Цамблака, в частности материалы церковных соборов в Новгороде 1414 и 1416 гг., уже не имеют сведений о Самборе в качестве центра действующей епископии [33, № 38, 350; 443; 471, 40—41].

Остается, таким образом, предположить, что та информация о самборской епископии, которая имеется во многих русских летописях, восходящих к летописанию Киприана и Фотия [46, 19; 39, 41; 47, 233; 41, XI, стр. XIII], относится к эпохе 90-х годов XIV в., к периоду скрытого соперничества общерусского митрополита с

польским посланцем Ягайло, ко времени явного конфликта этого митрополита с Константинополем.

Весьма характерно, что в ряде летописей упоминание о самборской епископии очень часто сопровождается упоминаниями о подольской и пермской епископиях, возникших, бесспорно, в 90-е годы XIV столетия [46, 19; 39, 91; 47, 233; 41, XI, стр. XIII].

Весьма существенным нам представляется и то, что интерес Киприана к Самбору оказался связанным не просто с его намерением создать новый центр данной епископии, но и с его желанием придать этому новому центру особую «духовную» значимость, сделать этот город символом нужной ему идеологической концепции, как бы олицетворением определенной церковно-политической программы. Поэтому кажется отнюдь не случайным то обстоятельство, что «Список русских городов» не только упоминает город Самбор, но и фиксирует особую «святость» этого центра указанием на присутствие здесь мощей Онуфрия: «А ту лежит святось Ануфрию» [30, 473].

Подобно тому как обращение Киприана к имени святого Петра в 1381 г. было связано не с его стремлением восхвалять раннехристианского апостола Петра, а с его желанием прославить русского митрополита Петра начала XIV в. в качестве своего идейного предшественника в деле консолидации русской церкви, так и теперь, в середине 90-х годов XIV в., внимание Киприана к святому Онуфрию обуславливалось не реминисценциями раннего христианства, а конкретными задачами церковно-политической и идеологической борьбы, в частности задачами борьбы с константинопольским патриархатом. Нам представляется поэтому, что упоминание имени святого Онуфрия в «Списке русских городов» [30, 473] ведет нас не к временам раннего христианства, а к политической жизни русской земли XII в., в частности к важным политическим событиям, происходившим тогда в Черниговском княжестве. Мы считаем, что из всех известных святых с этим именем наиболее подходящим, если не единственно возможным, является тот Онуфрий, который занимал черниговскую кафедру в 40—50-х годах XII в. [371, I, 90]. Именно этот епископ Онуфрий известен как политический сторонник тогдашнего киевского князя Изяслава Мстиславича, а также как едва

ли не самый активный участник поставления Климента Смолятича на пост русского митрополита без санкций Царьграда. Именно под руководством Онуфрия собор шести епископов вопреки воле Константинополя поставил Климента митрополитом в 1146 г. [37, 320—338; 336, 314; 265, 245—249].

Чем же объяснить интерес составителя «Списка городов» к находившимся в Самборе мощам давно умершего черниговского епископа Онуфрия? Ответ на этот вопрос может быть дан только в том случае, если мы признаем создателем «Списка русских городов» Киприана, если мы вспомним о скрытом конфликте между русским митрополитом и Константинополем, возникшем в 1396 г. в связи с самовольным присоединением Киприаном церкви Галицкой Руси к митрополии киевской и всея Руси, если вспомним, кроме того, о конфликте не только церковном, но и чисто политическом, который возник между Царьградом и светскими властями феодальной Руси, в частности московским князем Василием Дмитриевичем [163, 607, 604].

Совершенно естественно, что, пытаясь в 1396 г. создать обширную церковную организацию в Восточной и Юго-Восточной Европе, Киприан старался действовать не только более решительно, но и более изощренно, чем в 1390—1391 гг. На этот раз важные мероприятия Киприана, в частности самовольное овладение им галицкой митрополией, сопровождались, видимо, соответствующими чисто политическими акциями. Так, вспоминая в «Списке русских городов» святого Онуфрия, являвшегося героем поставления в митрополиты Климента Смолятича в 1146 г., Киприан, в сущности, давал понять лидерам греческой церкви, что его проект создания новой обширной церковной организации в Восточной и Юго-Восточной Европе может быть реализован вопреки воле константинопольского патриархата, без соответствующей санкции Царьграда. Такой характер данного политического шага станет еще более очевидным, если мы вспомним, что в 1396 г. митрополит всея Руси выдвигал идею созыва большого церковного собора именно на территории Руси [33, № 45, 305—306].

Весьма характерно, что тактическая «находка» Киприана, связанная с подчеркиванием особых заслуг Онуфрия перед русской церковью, была открыто исполь-

зована тем же Витовтом в 1415 г., когда он вопреки воле Царьграда поставил в митрополиты на соборе епископов племянника Киприана — Григория Цамблака. Так, обосновывая законность выдвижения Цамблака на пост митрополита собором епископов, соборная грамота 1415 г. прямо ссылалась на прецедент 1146 г.: «Якоже и прежде нас сътвориша епископи, при великом князе Изяславе Киевском поставиша митрополита по правилом» [9, № 24, 33—35; № 25, 35—36; 443, 177—179].

Мы видим, таким образом, что тактические приемы, использованные Киприаном в его отношениях с Константинополем, не только не были забыты, но и получили дальнейшее развитие на церковном соборе в Новгороде 1415 г. [443, 177—179]. Вряд ли, однако, будет правильно думать, что рассказ соборной грамоты 1415 г. о поставлении епископами митрополита Климента при князе Изяславе был основан только на глухом упоминании имени Онуфрия в «Списке русских городов». Пожалуй, вернее будет допустить, что грамота 1415 г. имела возможность опереться на более глубокую разработку данной проблемы, осуществленную, видимо, самим Киприаном в середине 90-х годов XIV в.

О том, что митрополит Киприан примерно в это время интенсивно занимался поисками аргументов в пользу задуманной им тогда реорганизации православной церкви Восточной и Юго-Восточной Европы, свидетельствует, как нам кажется, еще один весьма любопытный документ того времени — «Сказание о болгарской и сербской патриархиях».

Этот документ совсем недавно привлек внимание болгарского историка Б. С. Ангелова и советского исследователя Я. Н. Щапова. Б. С. Ангелов впервые полностью опубликовал этот памятник, снабдил его важными комментариями [454а, 259—269]. Я. Н. Щапов всесторонне изучил данный документ; он не только рассмотрел судьбу этого памятника в русских источниках XV—XVII вв., но и проанализировал его содержание, связав его с церковным собором 1415 г., наметил решение вопроса как о времени, так и о месте возникновения рассматриваемого произведения [434, 199—214].

Документ интересен тем, что дает под определенным углом зрения историю образования болгарской и сербской патриархий. Автор данного памятника подчерки-

вает тот факт, что эти патриархии возникли в результате решения поместных церковных соборов без санкции Царьграда и даже вопреки его воле²³.

Но этим не исчерпывается, по нашему мнению, содержание рассматриваемого документа. Нам представляется, что в этом памятнике нужно видеть не одну лишь историческую справку, а фиксацию тогдашнего положения в православном мире (положения, с точки зрения автора, довольно тревожного), как программу важных нововведений в будущую структуру православной церкви вообще и церкви Юго-Восточной Европы в частности.

Если иметь в виду данную этим памятником характеристику сложившегося тогда положения в православной церкви, то она не скрывала по крайней мере двух обстоятельств: во-первых, явного несовершенства структуры православной церкви, в частности нехватки четвер-

²³ Утверждения «Сказания» о том, что патриархии Сербии и Болгарии возникли независимо от Константинополя и даже в борьбе с ним, соответствуют исторической действительности. Так, созданная в 1346 г. вопреки воле Царьграда сербскую патриархию в Пече, назначая главой этой патриархии своего бывшего лагофета Иоанника, Стефан Душан имел в виду совершенно определенную политическую программу, направленную против Константинополя: провозглашение себя с помощью нового патриарха сначала «царем Сербии и Романии», а потом и «царем всей Романии» [540а, 221—222; 604, 254]. Не удивительно, что созданная в 1346 г. патриархия в Пече была признана Константинополем только в 1375 г. [607, 418, 425; 651, 11, 46, 331—336].

Аналогичным образом сложилась и судьба болгарской патриархии. Так, возникнув еще в 1235 г. в ходе борьбы царя Ивана Асеня и никейского императора И. Д. Ватца против латинского Константинополя, тырновская патриархия в дальнейшем оказалась важным церковно-политическим противовесом Царьграду; в середине XIV в. при царе Иване Александре (1331—1371) Тырново не только достигло положения столицы «царства болгар и греков», но и претендовало на роль «нового Константинополя» [604, 247]. И хотя план превращения Тырнова в новый ведущий центр православия реализован, как известно, не был, тем не менее сама идея перемещения главного центра православного мира из Константинополя в славянские страны продолжала, как считают некоторые исследователи, существовать, возродившись, в частности, в известной доктрине «Москва — третий Рим» [604, 247]. Нам представляется, что эта «тырновская» идея создания нового центра православия дала себя знать значительно раньше — она проявилась в церковно-политической и идеологической деятельности митрополита Киприана, в его попытках образовать новую обширную церковную организацию на базе русской земли, придунайских княжеств и Болгарии.

той ведущей патриархии (даже в «падшем», «греховном» Риме существовали четыре патриарха, выбиравших своего первосвященника, а в православной церкви были только три таких патриарха: в Антиохии, Александрии и Иерусалиме); во-вторых, фактической разобщенности существовавших центров православия, разобщенности, обусловленной удаленностью друг от друга Александрии, Антиохии, Иерусалима и Царьграда, растущей активностью султанской Турции, «сребролюбием» и «лукавством» самого константинопольского патриарха. Эти два обстоятельства — несовершенство структуры и разобщенность различных центров православия — создавали, по мнению автора «Сказания», действительно трудные условия для существования православной церкви. Если в свое время эти трудные условия вполне оправдывали создание «автокефальных» патриархий Болгарии и Сербии, то теперь, когда из-за усилившегося натиска турок и продолжавшихся злоупотреблений Царьграда положение стало еще более тяжелым, реорганизация православной церкви, во всяком случае церкви Юго-Восточной Европы, становилась, по его мнению, совершенно необходимой.

Автор «Сказания», видимо, считал, что именно теперь оказалось целесообразным создание такой церковной организации, которая была бы в состоянии справиться со всеми возникавшими перед ней трудностями, которая могла бы преодолевать разобщенность отдельных частей православной церкви, а вместе с тем могла бы сдерживать корыстолюбие Царьграда и политический произвол турецких властей.

В сущности, автор памятника исходил из того, что такая церковная организация уже реально существовала, что она уже фактически функционировала, хотя создатель документа и подчеркивал, что в судьбе болгарской патриархии произошли кое-какие важные перемены (он указывал на уход из жизни последнего тырновского патриарха, Евфимия, на присутствие его мощей в Тырнове), тем не менее он делал вид, что в жизни болгарской и сербской церквей ничего не изменилось, что «патриарха тырновского благословением» продолжали жить охридская архиепископия и печская патриархия. «И тако бывает даже и доньне», — многозначительно добавлял автор этого «Сказания» [454а, 267].

Но, признавая продолжавшееся существование тырновской патриархии, создатель «Сказания», видимо, считал необходимым найти этому реальному положению вещей соответствующую юридическую форму. Кое-что в этом направлении он уже сделал, сославшись на присутствие мощей Евфимия в Тырнове и тем самым объявив вакантным патриарший престол. Но этого было явно недостаточно.

Для осуществления цели нужен был церковный собор местных епископов и митрополитов, собор, который не был бы скован страхом перед Царьградом и который видел бы в намечающейся реорганизации церкви гарантию улучшения своего положения.

Возникновение «Сказания», видимо, и следует связывать с подготовкой такого собора, с попыткой автора документа расширить круг реальных сторонников намечавшейся реформы среди духовенства Юго-Восточной Европы. «Сказание» довольно откровенно давало понять церковным деятелям придунайских стран, что создание новой патриархии, независимой от капризного и «сребролюбивого» Царьграда, не только не будет противоречить «правилам» церкви, но и гарантирует им еще бóльшую стабильность их служебного положения, еще бóльшую устойчивость их доходов.

Так, обосновав необходимость создания новой патриархии («нужды ради яко же рехом своими митрополиты патриарх поставляется, комуждо патриарху свою область управляючи» [454а, 266]), «Сказание» подчеркивало, что новый патриарх будет, в свою очередь, ставить митрополитов, если они будут угодны епископам, что он будет внимателен к просьбам всего местного духовенства («просяще же многи от тех патриарх») [454а, 266]. Обрисовав в столь радужных тонах будущее иерархов придунайских стран, автор «Сказания» подчеркнул то обстоятельство, что многое уже сделано в этом направлении: «тако бывает даже и до сего дне. И не токмо сии, но и многим местом и землям» [454а, 267].

Где и когда могло возникнуть произведение с такой концепцией? В своем весьма ценном исследовании Я. Н. Щапов высказал предположение о том, что рассматриваемый памятник был создан по заказу Витовта на Афоне монахами болгарского, сербского и грузинского монастырей, причем создан накануне открытия цер-

ковного собора в Новгородке 1415 г. [434, 205—209] ²⁴. Не исключая того, что монахи названных монастырей могли ознакомиться с текстом «Сказания», принять участие в его редактировании (хотя в этом случае можно было бы ждать больше исторической точности, которой нет на самом деле в «Сказании»), мы все же склонны думать, что основа рассматриваемого нами памятника была создана не на Афоне в 1414—1415 гг., а на Руси, скорее всего в 1395—1396 гг., когда тырновская патриархия только сходила со сцены и казалось возможным ее восстановление, когда митрополит Киприан вместе с Витовтом был занят планами создания обширного «православного» государства в Восточной Европе и распространения своего влияния в Юго-Восточной Европе. Мы считаем, таким образом, что создание основы «Сказания» следует связывать с деятельностью канцелярии митрополита Киприана, с деятельностью той инстанции, которая создала и «Список русских городов дальних и ближних».

Такое предположение может быть подкреплено рядом соображений. Прежде всего нужно указать на наличие общей терминологии. Так, утверждение «Сказания» о том, что «по всем городам и местам» были поставлены в свое время епископы и священники, не только перекликается с общим и частным заголовками «Списка», но и делает еще более очевидным целевое назначение этого документа. Обращает на себя внимание общая для обоих документов манера в определенных политических целях упоминать о мощах тех или иных «нужных» им святых («Список городов» «обыгрывает» мощи св. Пятницы в Тырнове, мощи св. Онуфрия в Самборе, «Сказание» — мощи св. Евфимия, помещая их в поверженном турками Тырнове) [30, 473; 454а, 267] ²⁵.

Но главный аргумент в пользу такого предположения состоит в том, что «Сказание» хорошо вписывается

²⁴ Тезис автора об афонском происхождении данного памятника представляется нам недостаточно убедительным.

²⁵ Показательно, что создателей этих памятников в данном случае интересует не столько достоверность сообщаемых ими известий, сколько их политическое звучание. Так, Киприан мог знать в 1396 г., что мощей св. Пятницы в Тырнове уже не было (с 1392 г.), а мощей святого Евфимия в Тырнове, возможно, вообще никогда не существовало. Что касалось мощей св. Онуфрия, то реальность их нахождения в Самборе весьма сомнительна.

в практическую политику Киприана 90-х годов XIV в., перекликается со многими его политическими шагами и идеологическими начинаниями. Так, упомянутый в «Списке городов» святой Онуфрий, символизировавший собой программу поставления русских митрополитов без санкции Царьграда, в сущности является лишь прообразом к «Сказанию о патриархиях». Попытка Киприана в 1396 г. распространить свое влияние на церковь Галицкой Руси, а также созвать в этом же году церковный собор где-то на территории Восточной Европы, по сути дела, говорит о том, что именно в этот период и могло быть создано «Сказание о болгарской и сербской патриархиях».

Таким образом, можно утверждать, что оба памятника — «Сказание» и «Список городов» — при внимательном рассмотрении оказываются документами идеологически весьма близкими, направленными к одной политической цели. Оба памятника имеют в виду реорганизацию церковно-политической жизни Восточной и Юго-Восточной Европы, исходят из проекта создания новой церковной организации в этой части Европейского континента — расширенной митрополии или патриархии, но при этом они предполагают различные этапы борьбы за осуществление такого проекта, различные формы и методы этой борьбы.

Если «Список русских городов» должен был быть использован в переговорах с Царьградом в 1396 г. в качестве территориально-географического обоснования проекта реорганизации православной церкви Восточной и Юго-Восточной Европы²⁶, то «Сказание» предназначалось, видимо, для духовенства придунайских стран в качестве историко-политического обоснования этого же проекта.

В дальнейшем, однако, при изменившейся международной и внутривосточной конъюнктуре этот доку-

²⁶ О том, что «Список русских городов» был создан в дошедшем до нас виде именно в 1395—1396 гг., свидетельствует и упоминание в нем города Романов торг. Созданный в честь молдавского господаря Романа (1392—1394) [171, 122], этот город не мог возникнуть или, во всяком случае, получить такое название до 1393—1394 гг. Включение Романова торгового в «Список городов», видимо, говорит о том, что рассматриваемый памятник уточнялся после 1394—1395 гг. в связи с перспективой использования его в политическом диалоге Киприана с константинопольским патриархом Антонием [33, № 44, 45, 297—302, 303—310].

мент превратился в памятник чисто познавательного значения, и в качестве такового он должен быть поставлен рядом с такими документами политико-географического характера, как перечень владений Тимура [41, XI, 158—159], перечень земель и стран «около Перми» [41, XI, 165], а также с такими текстами всемирно-исторического плана, как рассказ об осаде Царьграда [60, 448; 41, XI, 168], информация о покорении турками Болгарии (Троицкая летопись) [60, 442; 41, XI, 154], сообщение о конфликте Тимура с Баязидом в 1402 г. [60, 454; 41, XI, 152—153] и т. д.²⁷

* * *

Таким образом, «Список русских городов» принадлежит к числу весьма интересных и значительных документов политической истории Восточной и Юго-Восточной Европы.

Возникнув в канцелярии митрополита Киприана, этот памятник оказался связанным со сложным комплексом политических отношений того времени. Созданный в период усиления турецкого натиска на Балканы, в эпоху непрекращающихся попыток ордынской державы упрочить свою власть над русскими землями, «Список русских городов» отражал важные сдвиги в политической жизни стран Восточной и Юго-Восточной Европы, в жизни феодальной Руси, а также придунайских княжеств.

Фиксируя усиление «центростремительной» тенденции развития русских земель, он обнаруживает при этом значительную идеологическую близость к ряду произведений русской литературы этого периода. Проявляя интерес к политической судьбе Болгарии и Молдавии, наш памятник вместе с тем оказался внутренне связанным с таким произведением, как «Сказание о болгарской и сербской патриархиях».

Таким образом, создание «Списка русских городов» знаменовало собой важный этап в политическом разви-

²⁷ Близость «Списка русских городов» к данным памятников Никоновской летописи обосновал Б. А. Рыбаков [337а, 31—32], хорошую информированность Никоновской летописи о тогдашней политической борьбе на международной арене подчеркивал Л. В. Черепнин [416, 417].

тии стран Восточной и Юго-Восточной Европы, в эволюции международных отношений этой части Европейского континента. Документ, в частности, свидетельствовал о том, что перед Киприаном и стоявшими за ним социальными силами открывалась тогда перспектива не только срачивания основной части русских земель с Галицкой Русью, но и сближения всей русской земли с Молдавией и Болгарией. Если тенденция срачивания русских земель была прежде всего связана с попытками усилить борьбу против экспансии ордынской державы, то симптомы сближения Руси с Молдавией и Болгарией были обусловлены планами более активного противодействия турецкому натиску.

Все это убеждает в том, что «Список русских городов» был действительно важным документом политической истории Восточной и Юго-Восточной Европы.

Новые веяния в идеологической жизни Руси второй половины 90-х годов XIV в.

Происшедшие в конце 90-х годов XIV в. важные сдвиги в политической жизни Восточной Европы, в частности возникшие в тот период осложнения московско-литовских отношений, обнаружившиеся перерывы в сотрудничестве Василия I, Киприана и Витовта, наметившееся перемещение центра консолидации антиордынских сил из Москвы в Литовскую Русь, получили, как нам представляется, соответствующее отражение в создавшейся синхронно идеологической литературе.

Здесь прежде всего следует иметь в виду те памятники исторической литературы, которые бесспорно были порождены этим этапом политической жизни феодальной Руси и Восточной Европы в целом. Так, с данным периодом четко были связаны такие памятники, как «Житие Стефана Пермского» (его создание Епифанием Премудрым в 1396 г. зафиксировано документально), «Повесть о Владимирской иконе», прежде всего той ее части, которая перечисляет «земли и царства, еже не пленил Темир-Аксак» [41, XI, 158—159], «Се имена живущим около Перми землям и странам и местом иноязычным» [41, XI, 165].

Привязанность названных памятников к данной эпо-

хе, наличие в них обширной и вполне достоверной исторической информации были доказаны исследованиями Б. А. Рыбакова [341, 202] и Л. В. Черепнина [417, 225—256]. Но к указанной эпохе могут быть отнесены и другие памятники, не сохранившие прямых и точных данных о времени своего возникновения. К историческим документам этого типа следует отнести уже рассмотренный нами «Список городов дальних и ближних», а вместе с тем и такое широко известное историко-литературное произведение, как «Сказание о Мамаевом побоище».

* * *

Итак, созданное в 1396 г. Епифанием Премудрым «Житие Стефана Пермского» (в связи со смертью Стефана, последовавшей в том же году [41, XI, 164]) представляло собой весьма любопытное явление идеологической жизни рассматриваемого времени. Исследователи давно обращали внимание на якобы парадоксальную внутреннюю противоречивость этого памятника: с одной стороны, здесь были довольно резкие выпады против Москвы [35, 138, 160], а с другой — присутствовала широкая общерусская платформа, в которой подчеркивалось высокое значение Киева как центра русской земли, отмеченное еще Андреем Первозванным, а также роль Киева как звена, связывавшего греческое православие с народом Перми, Русь Южную с Русью Северо-Восточной. Здесь же имели место не только вполне понятное восхваление самого Стефана Пермского, но и апологетика митрополита Киприана, который, несмотря на близость и симпатии к Стефану, умершему в Москве, оплакивал его смерть не в главном городе Владимирского княжения, а все в той же столице древней Руси — Киеве.

Нам представляется, что в этой «противоречивости» нет ничего парадоксального. «Житие Стефана Пермского» отражало, как и другие русские памятники этого момента, сложившуюся тогда определенную расстановку сил в Восточной Европе, в частности фиксировало перемещение главного центра борьбы за восстановление целостности русской земли из Владимирского княжения в великое княжество Литовское и Русское: отсюда и упреки «Жития» в адрес Москвы, и похвалы в адрес Ли-

товской Руси, отсюда и призывы к единению русской земли с пермской землей.

Синтезированная Никоновской летописью «Повесть о Владимирской иконе» также содержала (в большей мере, чем другие ее варианты) «прокиприановские» элементы конца XIV в., на что указывали фиксация участия Киприана в сооружении Сретенского монастыря, обычное для Киприана привлечение сюжетов XII—XIII вв., подчеркивание пассивности московского князя Василия (он был лишь свидетелем событий: судьба Москвы решалась «в дни княжения великого князя Василия») и вместе с тем возвеличивание заслуг митрополита Киприана (дело происходило при начальстве и пастырстве преосвященного Киприана, митрополита киевского и всея Руси [41, XI, 158]), а также серпуховского князя Владимира Андреевича, оказавшегося тогда чуть ли не военным комендантом Москвы («Тогда бо сущу во граде Москве во осаде и князю Володимеру Андреевичу, внуку Иванову, правнуку Данилову, праправнуку Александра Невского, прапраправнуку Ярослава, прашуру Всеволоду, прапрашуру Юрия Долгорукого» [41, XI, 160]). Хотя памятник и признает, что идея спасения Москвы с помощью Владимирской иконы первому пришла в голову московскому князю [41, XI, 159], тем не менее реализация всего этого плана связывалась «Повестью» с тогдашней активной деятельностью «главного начальника и пастыря» Киприана, который не только взял на себя в качестве духовного лица Василия I претворение в жизнь этого плана, но и обеспечил соответствующее его идеологическое оформление.

«Повесть» рассказывает о встрече иконы митрополитом Киприаном со всем священническим чином, «со множеством мирских, князей и бояр» [41, XI, 160], сообщает о том, что Киприан поместил эту икону в московском митрополичьем храме Богородицы, где находился «гроб Петра митрополита великого чудотворца» и «заступника русской земли» [41, XI, 160]. Этим шагом Киприан как бы соединил в одно целое два крупнейших идеологических авторитета того времени: Владимирскую икону, олицетворявшую преемственную связь Царьграда, Киева и Владимира [160, 223], и гробницу митрополита Петра, символизировавшего единство русской земли и целостность русской церкви (что подчеркивал сам Ки-

приан, как мы знаем, в своей редакции «Жития Петра» 1381 г.).

Выдвигая на первый план спасительную роль таких важнейших идеологических факторов, как Владимирская икона и гробница митрополита Петра, автор «Повести» одновременно указывал на важные практические заслуги тех деятелей 1395 г., которые действовали тогда в рамках церковно-политических концепций, олицетворяемых «заступником русской земли» митрополитом Петром, а также самой Владимирской иконой. Речь, разумеется, шла о заслугах Киприана, а также серпуховского князя Владимира Андреевича, женатого на дочери Ольгерда и поэтому олицетворявшего связи Северо-Восточной Руси с Юго-Западной Русью.

Но характеристика идеологической направленности данного памятника будет неполной, если мы не отметим также ее широкого международного аспекта, в частности не зафиксируем самого пристального внимания автора нашего памятника к политическим судьбам ордынской державы.

Бросается в глаза не только подчеркивание «Повестью» особо важной роли ордынского государства в развитии международных отношений того времени, но и проявление дифференцированного подхода к различным ордынским правителям той поры. Так, даже при беглом ознакомлении с «Повестью» обнаруживается весьма терпимое отношение к ордынскому царю Тохтамышу и резко отрицательное отношение к тогдашнему правителю Мавераннахра и новому хозяину Орды — Тимуру. Если Тохтамыш трактовался теперь как законный ордынский царь (в пространной редакции «Летописной повести» начала 90-х годов XIV в. он рассматривался в качестве главного врага русской земли и узурпатора законной власти Мамаея), то Тимур оказывался в «Повести» почти преступником как по своему происхождению, так и по своей «разбойной» биографии: он был простолюдином, чуть ли не чьим-то рабом, потом ремесленником, в дальнейшем стал вором, старейшиной разбойников, наконец, стал приобретать власть и влияние в Мавераннахре, подчиняя себе все новые города, страны и земли [41, XI, 159]. Желая придать более законченный вид рассказу о биографии Тимура, составитель летописной редакции «Повести» привлек для характеристики деятельности

этого ордынского правителя такие сведения, которые, возможно, в первой летописной редакции этого памятника и не существовали: так, он упомянул о факте торжества Тимура над турецким султаном Баязидом (это произошло, как известно, уже в 1402 г.), а кроме того, воспроизвел текст другого памятника, а именно Списка «землям и царствам, еже не пленил Темир-Аксак» [41, XI, 158—159]. Перечислив многие подвластные Тимуру земли и страны, автор или редактор «Повести» заметил: «И со всех тех земель и царств дани и оброки даяху ему, и во всем повиновахуся ему, и на воинства хожаху с ним» [41, XI, 159].

Такое дифференцированное отношение нашего памятника к различным ордынским правителям несомненно объясняется тем, что основа «Повести о Владимирской иконе» была порождена той расстановкой политических сил в Восточной Европе, которая существовала в данном регионе между 1396 и 1399 гг., когда тогдашний правитель Мавераннахра Тимур вместе со своими ставленниками Едигеем, Темир-Кутлуком, Каерчаком и другими оказались хозяевами Волжской Орды, а переместившийся с берегов Волги сначала в Крым, а потом в Литву Тохтамыш становился все более откровенным политическим союзником Витовта и Киприана.

Итак «Повесть о Владимирской иконе» это не столько предпринятая Киприаном попытка объяснить уход Тимура из рязанской земли осенью 1395 г. вмешательством «божественных сил», поддержкой «заступника русской земли» митрополита Петра, помощью Владимирской иконы, символизовавшей связь между Царьградом, Киевом и Владимиром, сколько программа дальнейшей консолидации антитимуровских сил русской земли при ведущей роли Литовской Руси, Киприана, Витовта, при скрытом сотрудничестве если не с Москвой, то с Владимиром и другими центрами Северо-Восточной Руси, а также при политическом союзе с бывшим ордынским правителем Тохтамышем.

* * *

В том комплексе исторических источников, который имел отношение к идейно-политической жизни стран Восточной Европы 90-х годов XIV в., должен, по нашему

мнению, находиться и такой широко известный памятник, как «Сказание о Мамаевом побоище», разумеется, его первоначальный вариант, явившийся протографом для последующих редакций данного произведения.

Трудами С. К. Шамбинаго [423], А. А. Шахматова [430], А. Маркова [287], М. Н. Тихомирова [384], Л. А. Дмитриева [192, 193, 194], Ю. К. Бегунова [130] и других уже очень многое сделано для изучения многочисленных вариантов «Сказания» как по линии источниковедческого анализа, так и по линии широкого литературно-политического его осмысления. Теперь можно считать установленным существование четырех редакций этого памятника²⁸, можно говорить с определенной долей вероятности о времени возникновения той или иной редакции «Сказания о Мамаевом побоище»²⁹.

Разумеется, нас в данном случае должна больше всего интересовать основная редакция, поскольку именно она была ближе других к тому варианту «Сказания», который оказался основой для всех последующих редакций и дал главный повод для полемики в историографии по вопросу о значении данного произведения как исторического источника³⁰.

В последнее время данной редакцией «Сказания» особенно интенсивно занимались Л. А. Дмитриев и Ю. К. Бегунов, продолжая еще ранее наметившуюся полемику как по поводу ее датирования, так и по поводу исторической ее достоверности.

²⁸ Текст «Сказания» в Никоновской летописи — «Киприановская редакция»; «Сказание», обнаруженное в Вологодско-Пермской летописи, — «Летописная редакция»; внелетописные варианты «Сказания»: «Основная редакция» и «Распространенная редакция» (названия даны Л. А. Дмитриевым [192, 409, 449—470]).

²⁹ Так, если «Киприановская редакция», по мнению Л. А. Дмитриева, возникла в 1539—1542 гг. [192, 411], «Летописная редакция» — в самом начале XVI в. [192, 415], «Распространенная редакция» появилась, по предположению того же автора, в последней трети XV в. [192, 414], то «Основная редакция» была создана, по его утверждению, в первой четверти XV в. [192, 423].

³⁰ Одни историки склонны видеть в «Сказании» такое литературное произведение, которое не только было «громоздким и неясным», но и имело, как отмечал М. Н. Тихомиров, много прямых искажений и даже элементов «живучей и ядовитой клеветы» [384, 203; 385, 372]. Другие историки были более «терпимы» к «Сказанию» как историческому источнику, усматривая в нем наличие реальной исторической основы. Таким образом оценивали данный памятник А. Ю. Якубовский [168, 290] и Л. В. Черепнин [416, 621].

В своих исследованиях «Сказания» Л. А. Дмитриев высказал предположение, что основная редакция этого памятника не могла возникнуть позже первой четверти XV в. [192а, 194; 192, 406—448]. Для обоснования данного тезиса Дмитриев привел ряд аргументов. Так, он справедливо заметил, что вряд ли имело смысл подчеркивать «равноправную дружбу» Дмитрия Донского с серпуховским князем Владимиром Андреевичем после того, как была ликвидирована самостоятельность Серпуховского княжества в 1456 г. Обоснованным представляется указание Дмитриева на то обстоятельство, что в «Сказании» упомянут лишь митрополит Петр, а митрополит Алексей, канонизированный в 1431 г., оказался «забытым». Подобный факт можно объяснить тем, что «Сказание» возникло до 1431 г. Весьма убедительными кажутся ссылки Дмитриева на присутствие в «Сказании» имен «гостей-сурожан», историческое существование которых в 90-х годах XIV в. подтверждается исследователем [384, 107, 118, 206; 375; 91], а также ссылки на упоминание нашим памятником мелких княжеств белозерской и ярославской земель, существовавших, как считает Л. А. Дмитриев, уже на рубеже XIV—XV вв. и прекративших это существование в конце XV в. [192, 423].

Фиксируя в «Сказании» большое количество исторических «реалий» конца XIV — начала XV в., считая это произведение не столько литературно-публицистическим, сколько историко-политическим сочинением, Л. А. Дмитриев выдвинул предположение о том, что первоначальный вариант этого памятника возник вскоре после нашествия Едигея на Москву, примерно в 1409—1410 гг. [192, 423; 192а, 198—199].

Не касаясь пока этой конкретной датировки, мы считаем нужным подчеркнуть, что Л. А. Дмитриев убедительно обосновал малую вероятность появления основной редакции «Сказания» в середине или во второй половине XV в., поскольку как фактологическая основа, так и идеологическая платформа рассматриваемого памятника не находят соответствующих параллелей в политической жизни Восточной Европы того времени.

Однако точка зрения Л. А. Дмитриева не встретила поддержки со стороны другого исследователя данного источника — Ю. К. Бегунова, который придерживается в этом вопросе иных взглядов. По его мнению, основной

вариант «Сказания о Мамаевом побоище» возник не ранее середины XV в., точнее, не ранее 1455 г. и не позднее конца XV в. [130, 485—486, 505—506].

Хотя статья Ю. К. Бегунова «Об исторической основе „Сказания“» написана с большим охватом исторических событий того времени, со значительной глубиной источниковедческого анализа, с явным намерением дать широкий «фронт» сопоставлений отдельных сюжетов памятника с реальной политической жизнью Восточной Европы периода Куликовской битвы, тем не менее эта работа в некоторых своих общих оценках, а также частных решениях не кажется нам вполне убедительной. Так, нам не кажется убедительным представление автора о «Сказании» как памятнике литературно-публицистического плана, весьма далеком от реальной исторической действительности конца XIV в. В соответствии с этой общей трактовкой памятника Ю. К. Бегунов утверждает, что имеющаяся в «Сказании» оценка роли литовско-русских князей Ольгердовичей, а также оценка поведения Олега рязанского якобы не имеют под собой реальной «исторической» почвы и являются, по его мнению, лишь выдумкой создателя «Сказания» [130, 511, 513—516]. Литературным «произволом» автора данного памятника Ю. К. Бегунов считает и характеристику деятельности Тохтамыша, не совпадавшую с той, которую мы находим в «Летописной повести о Куликовской битве» [130, 518—523] (в «Сказании» критика Тохтамыша была в значительной мере смягчена по сравнению с критикой в «Летописной повести»).

Что касается упоминавшихся в «Сказании» «гостей-сурожан» [52а, 55], реальное существование которых в конце XIV в. было доказано трудами М. Н. Тихомирова [384, 353—354], Е. Сыроечковского [375, 91], то в данном случае Ю. К. Бегунов склонен объяснить их появление в рассматриваемом памятнике уже не как результат авторского вымысла, а как результат использования создателем «Сказания» во второй половине XV в. списка «гостей-сурожан», созданного еще на рубеже XIV—XV вв. [130, 523]. К этим выводам исследователь пришел не на основе анализа идейно-политического содержания «Сказания» в целом, а на основе изучения одного частного сюжета памятника — упоминания о мелких князьях Белозерско-Ярославского края, князьях Курбских, Про-

зоровских, Кемских, Карголомских и Андомских. Хотя такое сужение фронта исследования, естественно, не могло усилить общую «фундированность» концепции Ю. К. Бегунова, тем не менее именно рассмотрение этого отнюдь не центрального для «Сказания» сюжета и оказалось в споре с Л. А. Дмитриевым главным аргументом в пользу датировки этого произведения второй половиной XV в.

Как мы уже знаем, Ю. К. Бегунов отверг предложение Л. А. Дмитриева о том, что в «Сказании» упоминались те князья Белозерско-Ярославского края, которые реально существовали на рубеже XIV—XV вв. Этот тезис Дмитриева [192, 423] Ю. К. Бегунов объявил не подкрепленным ни источниковедческими, ни общеполитическими аргументами [130, 506]. Одновременно Ю. К. Бегунов выдвинул свои доводы как источниковедческого, так и общеисторического характера в пользу обоснования той точки зрения, что перечисленные в «Сказании» белозерско-ярославские княжеские роды существовали только во второй половине XV в. и не могли якобы существовать в конце XIV — начале XV в. Он формулирует свой основной вывод по этому вопросу таким образом: «Проверка имен, названных в „Сказании“, приводит нас к убеждению, что „Сказание“ не могло возникнуть ранее середины XV в. (1455 г.), так как в нем названы Курбские, Прозоровские, Кемские, Карголомские, Андомские князья, которых не существовало в эпоху, современную Куликовской битве» [130, 505—506]. Итак, поскольку в 1380 г. перечисленные «Сказанием» княжеские роды не существовали, данное произведение не могло возникнуть... ранее 1455 г.

Данное утверждение Ю. К. Бегунова нам не представляется бесспорным. Во-первых, потому, что отсутствие упомянутых княжеских родов в 1380 г. отнюдь не является доказательством появления этих родов, а вместе с ним и возникновения самого «Сказания» лишь после 1455 г.³¹, во-вторых, потому, что осуществленная Бегуновым «проверка» отдельных имен и фамилий, фигурировавших в «Сказании», оказалась далеко не во

³¹ Автор при этом словно не замечает 75-летнего периода (1380—1455), когда могли оформиться эти княжеские роды и когда могло появиться данное произведение.

всех случаях идеально точной. Нам представляется, что эта проверка не учла в должной мере сложности политической жизни Белозерско-Ярославского края на рубеже XIV—XV вв., а также специфики таких исторических источников, как родословные записи.

Между тем выявленный исследованиями А. Б. Экземплярского [435, II, 161—163], М. К. Любавского [277, 76—79], А. И. Кононова [238а, 36—41] процесс интенсивного дробления Белозерского и Ярославского княжеств во второй половине XIV в. дает основания считать многих упомянутых «Сказанием» князей данных территорий вполне реальными персонажами если не для 1380 г., то для 90-х годов XIV в. На «историчность» многих удельных князей этих княжеств указывает и то обстоятельство, что интерес «Сказания» к ним, в сущности, не был случайным. Так, в сложившихся на протяжении 90-х годов XIV в. весьма натянутых отношениях «триумвиров» с Великим Новгородом белозерско-ярославские князья вместе со своим патроном можайским князем Андреем Дмитриевичем очень часто выступали орудием сдерживания антикиприановских сил, проникавших на Волхов, в частности князей смоленско-рязанского блока.

В 1393—1395 гг. интерес всех «триумвиров» на берегах Волхова представлял один из белозерских князей — Константин [30, 386, 387], затем в 1397 г. ту же роль играл уже выходец из Литовской Руси — стародубский князь Патрикей Нариманович, очень тесно связанный как с Москвой (в 1396 г. его сын Александр Патрикеевич вел какие-то важные переговоры в Москве [60, 447]), так и с можайским князем Андреем, правителем Белозерско-Ярославского края (внучка князя Патрикея Аграфена Александровна в дальнейшем вышла замуж за князя Андрея Дмитриевича). Наконец, и сам можайский князь после победоносного похода новгородцев на волости Белозерья, Кубеглы и Вологды [30, 392] оказался в 1398 г. на короткое время в Новгороде Великом [30, 394], представляя формально интересы своего брата московского князя Василия, а по существу, в какой-то мере и интересы митрополита Киприана. Но заинтересованность Киприана в контактах с белозерско-ярославскими князьями определялась не только общими задачами новгородской политики; Киприан очень высоко ценил

поддержку белозерско-ярославских князей, и прежде всего их патрона князя Андрея Дмитриевича, в деле укрепления позиций православной церкви на окраинах Северо-Восточной Руси, в деле расширения сети монастырей, распространения православия среди нерусского населения и т. д. [238а, 41]. Поэтому нет ничего удивительного, что по инициативе Киприана создается Епифанием Премудрым в 1396 г. такое яркое и целенаправленное произведение, как «Житие Стефана Пермского» [35. 119—171]. Нет ничего удивительного и в том, что Киприан поставил в 1396 г. своего единомышленника иерарха Григория «епископом Ростову и Ярославлю и Белозеру и Угличю полю и Устюгу и Молозе» [48, 226], того самого Григория, близость которого к митрополиту проявилась как в активной роли на похоронах последнего (ростовский владыка зачитывал знаменитую прощальную грамоту Киприана [47, 155; 48, 226]), так и в летописной его деятельности: епископская кафедра Григория была, по-видимому, одной из передаточных инстанций литературного наследия Киприана митрополиту Фотию, отразившегося в его «Полихроне» [427, 225—228; 323, 133—135, 144—146; 264, 329, 450, 458].

Рассматривая умолчание княжескими родословиями XVI в.³² имен и фамилий белозерско-ярославских князей конца XIV в. в качестве едва ли не главного доказательства «мифичности» упоминавшихся «Сказанием» княжеских родов этого края, Ю. К. Бегунов не учитывает в полной мере того обстоятельства, что в период интенсивного дробления Ярославского и Белозерского княжеств (вторая половина XIV — начало XV в.) устойчивого наследственного закрепления тех или иных земель за отдельными ветвями рода еще не было, в связи с чем отдельные князья, меняя владения, могли менять и поземельные именованья.

Следует, кроме того, иметь в виду, что родословия, как правило, забывали тех членов рода, которые не имели потомков в пору составления данных документов. Не удивительно, что при таком положении дела многие представители реально формировавшихся на рубеже XIV—XV вв. княжеских родов не попадали в возникшие значительно позднее княжеские родословия. Тот же

³² Нам известны лишь княжеские родословия, записанные в первой половине XVI в. [145а, 13—14].

факт, что в княжеских родословиях фактически не упомянуты в качестве участников Куликовской битвы представители не только белозерско-ярославских, но и других родов, делает еще более сомнительным использование генеалогических легенд в качестве источника «Сказания», не подкрепляет, в частности, и попытки Ю. К. Бегунова объяснить появление в этом памятнике перечня белозерско-ярославских князей стремлением его автора прославить с помощью искусственно создаваемых генеалогических легенд соответствующие княжеские фамилии второй половины XV в. Таким образом, тезис Ю. К. Бегунова о позднем возникновении «Сказания» оказывается не вполне мотивированным.

Мы считаем, что в данном вопросе более верную позицию занял Л. А. Дмитриев, исключавший, как известно, возможность возникновения «Сказания» в середине или второй половине XV в. Но если наблюдения Л. А. Дмитриева по поводу верхней границы предложенной им датировки основной редакции представляются нам вполне убедительными, то его попытка определить нижнюю границу, в частности связать появление рассматриваемого памятника с 1409—1410 гг., не кажется нам исчерпывающим решением данной проблемы. Конкретные доводы Л. А. Дмитриева в пользу такой датировки оказываются с нашей точки зрения далеко не всегда весомыми.

Так, не является убедительным утверждение Дмитриева о том, что имеющееся в «Сказании» подчеркивание активной роли Киприана в ходе военной кампании 1380 г. якобы исключает возможность составления данного памятника при его жизни. По нашему мнению, выдвигание на первый план Киприана в событиях 1380 г. скорее указывает на то обстоятельство, что «Сказание» было создано именно при жизни Киприана, а может быть, даже при непосредственном его участии.

Подобное предположение может быть подтверждено как раскрытием идеологической основы данного варианта «Сказания», так и выявлением некоторых литературных особенностей рассматриваемой редакции. Что касается идеологической платформы основной редакции, то она заключается в активном отстаивании православной общерусской программы, подчеркивании ведущей роли Киприана [35а, 48, 52, 60], фиксации того обстоя-

тельства, что Мамаю противостояла вся русская земля, что ее защищали как силы Северо-Восточной Руси (кроме Дмитрия Донского здесь были названы, как мы знаем, многие князья белозерской и ярославской земель, Сергей Радонежский [35а, 46—50, 51, 54, 56]), так и феодалы Литовской Руси (Андрей и Дмитрий Ольгердовичи, Дмитрий волынский, Ослебя и Пересвет — из рода брянских бояр и т. д. [35а, 52, 56, 58—60, 62, 64—65, 72]).

Таким образом, «Сказание» по своему направлению (защите общерусской программы) было памятником весьма близким «Задонщине», а также летописным повестям о битве на Дону, которые мы находим в Ермолинской, Львовской, а также в Новгородской IV, Типографской, Воскресенской летописях. Разница состояла, видимо, в том, что «Задонщина», а также летописные «Повести», выдвигая идею объединения всех русских земель, исходили из ведущей роли Москвы и самого Дмитрия Донского, а «Сказание» данной редакции, отстаивая концепцию восстановления общерусского единства, признавало ведущей силой этого процесса кафедру митрополита киевского и всея Руси, а также князей Литовской Руси. Именно по этим причинам мы видим Киприана в роли фактического организатора победы на Куликовом поле, а князей Дмитрия волынского, Андрея и Дмитрия Ольгердовичей, Владимира Андреевича серпуховского, женатого на дочери Ольгерда, — такими военачальниками, которые обеспечили победу на Куликовом поле [35а, 48, 52, 60, 64, 66, 70—72]. Именно по этой причине Дмитрий Донской хотя и показан участником Куликовской битвы, но участником довольно пассивным. Его роль в «Сказании» оказывалась весьма скромной: он не только не был политическим руководителем всей кампании, но, по сути дела, не принимал участия в наиболее ответственных этапах сражения [35а, 48, 66, 72—73, 75]. Таким образом, автор «Сказания» выступает за союз Литовской Руси с Москвой, но за такой союз, в котором ведущей силой оказывались митрополит Киприан и князья Литовской Руси.

Такова политическая сторона «Сказания» данной редакции, ведущая нас к митрополиту Киприану. Не менее характерно в этом смысле и идеологическое оформление этого произведения, поэтому автор «Сказания»

подробно говорил как о тех лицах, которые мешали объединению русских земель и созданию широкого антиордынского фронта, так и о тех силах, которые содействовали объединению Руси и сыграли важную роль в разгроме ордынской армии на Дону. В числе последних он ставит рядом только «Бога небесного отца» [35а, 59] и митрополита Киприана как главного консультанта непосредственных участников битвы [35а, 48, 52, 60, 248, 249, 253, 254, 261], а также Сергия Радонежского, приславшего благословение на Куликово поле и находившегося в тесном контакте с Киприаном [35а, 51, 60, 62, 69].

Характерно, что в роли активной силы, консолидирующей Русь перед лицом грозной Орды, выступали икона Владимирской богородицы (которая почему-то оказалась в Москве еще в 1380 г., хотя она была перенесена сюда Киприаном лишь в 1395 г. [35а, 53, 253, 281, прим. 32]), гробница митрополита Петра, «светившая» всей земле русской, того самого Петра, «Житие» которого было написано Киприаном [35а, 53, 253—254]; такой консолидирующей силой оказывалась и память об Александре Невском, о «сродниках» Дмитрия Донского древнерусских князьях Борисе и Глебе [35а, 57, 65, 71, 72].

Что касалось элементов, противодействовавших объединению русских княжеств, пытавшихся помешать разгрому ордынцев на Дону в 1380 г., то ими оказались прежде всего рязанский князь Олег, а также литовский князь Ольгерд. Правитель рязанской земли изображался князем, лишенным элементарного политического чутья, наделенным качествами Святополка Окаянного [35а, 47, 58]. Именно Олег, по утверждению «Сказания», выступил инициатором похода Мамай на Русь, именно он ввел в заблуждение литовского князя Ольгерда [35а, 57, 58, 259].

Таким образом, как политический лейтмотив «Сказания», так и его идеологический аккомпанемент ведут нас к политической программе митрополита Киприана и стоявших за ним соответствующих группировок феодальной Руси³³. В этом убеждает нас также выявление не-

³³ Нам представляется поэтому правильным мнение тех историков (С. К. Шамбинаго, А. А. Шахматов и др.), которые считали пространную редакцию «Летописной повести» основой «Сказания» [423, 142—151; 430, 170—177].

которых других тенденций «Сказания». Если имеющаяся здесь характеристика Олега рязанского как едва ли не главного союзника Мама в походе на Русь была довольно близка к реальной политической конъюнктуре 1380 г. и поэтому не испытала на себе большого влияния идеологических установок автора «Сказания», то оценка деятельности литовского князя Ольгерда оказалась совершенно оторванной от реальной исторической обстановки 1380 г. и поэтому должна квалифицироваться как результат сознательного вымысла, допущенного создателем рассматриваемого нами памятника.

Автор «Сказания», разумеется, не мог не знать, что Ольгерд, умерший в 1377 г., не имел к Куликовской битве никакого отношения. Такой сознательный отход от реальной исторической действительности проявился у автора памятника не только в этом. Так, в «Сказании» Ольгерд представлен католиком, когда на самом деле он им не был; он изображен как предводитель Литвы, варягов и Жемайтии, когда в действительности Ольгерд был великим князем Литовско-Русского княжества, в котором едва ли не основную массу господствующего класса составляли не упомянутые здесь русские феодалы, а сам Ольгерд был тесно связан с русскими княжескими домами (его первой женой была витебская княжна, второй — тверская княжна).

Использование имени князя Ольгерда в связи с событиями 1380 г., приписывание ему тех качеств, которыми он на самом деле не обладал, — все это, несомненно, результат какого-то целенаправленного вымысла. Какова была политическая основа этого вымысла? Так, Л. А. Дмитриев считает, что замена имени Ягайло именем Ольгерда произошла из-за опасения автора «Сказания» открыто критиковать живого Ягайло за его сотрудничество с Мамаем и «варягами», а может быть, даже из-за страха вызвать какие-либо политические осложнения. Естественно, что замаскированная критика Ягайло, под видом критики Ольгерда, давно ушедшего из политической жизни, была более безопасной. Поэтому объяснение замены одного имени другим в такой общей форме представляется вполне приемлемым. Что же касается попытки Л. А. Дмитриева на базе такой трактовки обосновать время создания памятника, который, по его мнению, возник вскоре после нашествия

Едигея на Московскую Русь в 1408 г., то она недостаточно убедительна.

Подобной гипотезе противоречит прежде всего политическая обстановка, сложившаяся к 1408—1409 гг. в Восточной и Центральной Европе. Тогдашний характер литовско-польских и литовско-московских, а также рязанско-московских отношений исключал, как нам представляется, появление произведения с такой политической направленностью. После 1399—1401 гг. тенденция инкорпорации великого княжества Литовского в состав польского королевства значительно усилилась. Витовт действительно тогда стал «правой рукой» польского короля Ягайло, исполнителем политических предначертаний Кракова.

Что же касалось Владимирского княжения, то хотя оно и попыталось установить сотрудничество с одним из видных князей Литовской Руси, Свидригайло (как известно, Свидригайло с большой группой литовско-русских феодалов перешел на сторону Москвы в 1408 г.), тем не менее это сотрудничество, во-первых, не распространялось на всю Литовскую Русь, а во-вторых, оказалось весьма кратковременным. После нашествия Едигея в 1408 г. на земли Владимирского княжения Свидригайло вынужден был бежать в Литву, а московский князь Василий Дмитриевич занять позицию, отнюдь не дружественную польско-литовскому государству. Что же касалось рязанско-московских отношений, то они в 1408—1410 гг. оставались дружественными, что исключало нападки в это время на Рязань вообще и на рязанского князя Олега в частности.

Таким образом, тогдашняя расстановка политических сил в Восточной Европе исключала, как нам представляется, появление произведения с отстаиванием общерусской политической программы, с апологетикой московско-литовского сотрудничества, с острой критикой Рязани³⁴.

В таком случае когда же мог появиться первоначаль-

³⁴ Как мы увидим в дальнейшем, сложившаяся тогда политическая обстановка оказалась благоприятной для создания произведений иной идеологической направленности. Это было время возникновения «Повести о нашествии Едигея», время завершения работы над Троицкой летописью, осудившей московско-литовское сотрудничество, убравшей острую критику в адрес Рязани и т. д.

ный вариант этого памятника с его киприановской программой объединения русских земель и создания широкого антиордынского фронта, с его апологетикой литовско-московского сотрудничества и с осуждением «коварства» Рязани? Нам представляется, что подобное произведение могло возникнуть в те годы бурной деятельности Киприана, когда он вместе с Витовтом и Василием I пытался создать обширное политическое объединение в Восточной Европе, когда великое княжество Литовское фактически добилось почти полного обособления от польской короны, когда московский князь Василий, женатый на дочери Витовта, поддерживал союзные отношения с Литовско-Русским княжеством, когда, наконец, литовско-московскому сотрудничеству открыто угрожали, с одной стороны, ордынская держава, а с другой — альянс смоленских князей с Рязанью. Подобная ситуация в Восточной Европе могла сложиться в 1396—1399 гг., после вторжения Тимура и до битвы на берегах Ворсклы. Есть основания считать, что особо благоприятная обстановка для написания первого варианта «Сказания» существовала в 1396—1397 гг.

Предлагаемая датировка первого варианта «Сказания» подкрепляется рядом утверждений основной редакции рассматриваемого памятника. В «Сказании» главными противниками единства русской земли после правителя Орды выступали рязанский князь Олег и введенный им в заблуждение литовский князь Ольгерд, а ведущими сторонниками объединения Руси и создания широкого антиордынского фронта кроме Киприана, серпуховского князя Владимира Андреевича, Дмитрия Донского (роль последнего, как мы знаем, представлена значительно более пассивной, чем роль князя Владимира) оказались многочисленные литовско-русские князья, в частности Дмитрий и Андрей Ольгердовичи. Из других вполне достоверных исторических источников мы получаем сведения о том, что именно в середине 90-х годов XIV в. реальными политическими партнерами правителя Литвы были северский князь Дмитрий Ольгердович, а также выпущенный в 1394 г. на свободу полоцкий князь Андрей; оба этих князя вместе с другими князьями Литовской Руси как активные союзники Витовта и митрополита Киприана погибли в 1399 г. во время битвы на берегах Ворсклы.

Как это ни парадоксально, но датирующим наш памятник моментом является также отсутствие в нем упоминаний о Великом Новгороде, с которым «триумвиры», и прежде всего митрополит Киприан, были в весьма натянутых отношениях на протяжении 1394—1398 гг. Но если игнорирование Великого Новгорода связывает «Сказание» с серединой и концом 90-х годов XIV в. как с периодом резкой конфронтации «триумвиров», и прежде всего Киприана, с новгородцами, то раздувание заслуг князей Белозерско-Ярославского края, предпринятое нашим памятником, ведет, в сущности, к той же цели — к датированию его второй половиной 90-х годов XIV в., когда существовали тесные деловые контакты Киприана с церковно-политической элитой Белозерско-Ярославского княжества.

Весьма важной для уточнения датировки «Сказания» является также содержащаяся в этом памятнике информация об усилившейся турецкой опасности, о готовности противодействия этому натиску отдельных князей Литовской Руси (речь шла о появлении «дунайских татар» — так в документе назывались турки) [35а, 59, 260, 285, прим. 59]. Естественно, что этот сюжет мог появиться в «Сказании» лишь после того, как турки овладели Болгарией и вплотную подошли к границам великого княжества Литовского, в частности к подольской земле. А все это произошло, как известно, в середине 90-х годов XIV в.

Предлагаемая датировка основной редакции «Сказания» может быть подкреплена, как нам представляется, еще одной характерной особенностью рассматриваемого памятника, а именно изменившимся по сравнению с «Летописной повестью» отношением к двум внутренне связанным сюжетам: к деятельности Тохтамыша в 1381 г. и к поведению крымских «фрязов» в 1380—1381 гг.

«Летописная повесть» пространной редакции, как мы знаем, обрушивалась на «фрязов» как союзников ордынской державы в 1380 г., изображала Тохтамыша узурпатором ханской власти в Золотой Орде, подчеркивала то обстоятельство, что Тохтамыш, преследуя побежденного хана до стен Кафы, вынудил лидеров генуэзской колонии игнорировать прежние их докончания с Мамаем, заставил кафинцев выполнять его волю в отношении поверженного правителя Орды. «Мамай же... — читаем

мы в „Летописной повести“, — бегаа пред Тахтамышевыма гонители, прибежа близ града Кафы и сопався с Кафинцы по докончанию и по опасу дабы его приняли на избавление, дондеже избудеть от всех гонящих его...» [38, 325].

«Летописная повесть» подчеркнула при этом, что кафинцы разрешили ему войти в город, санкционировали также привоз в Кафу его казны и драгоценностей. Однако, заманив Мамаю в город, исходя якобы из старых с ним договоров, правители генуэзской колонии в дальнейшем резко изменили свое отношение к поверженному правителю Орды: теперь, видимо, они стали действовать в соответствии с другим соглашением, заключенным уже с новым ханом — Тохтамышем [130, 521—522]. «Кафинцы же, — читаем мы далее в „Летописной повести“, — исвещавшемя с сътвориша над ними облесть и ту от них убиен бысть и тако бысть конец Мамаю» [38, 325].

Так, отметив факт скрытого сотрудничества Тохтамыша с правителями Кафы, направленного против свергнутого правителя ордынской державы Мамаю, автор «Летописной повести» показал активную роль Тохтамыша в овладении ордынским престолом: «А сам Тахтамыш, шед, взя орду Мамаеву, и царицу его, и казны его и удусь весь пейма и богатство Мамаево рездели дружаше своей» [38, 325].

Сопоставляя эту трактовку событий 1380—1381 гг. с интерпретацией их в «Сказании о Мамаевом побоище», мы убеждаемся в том, что здесь оценка деятельности Тохтамыша, а также поведение кафинцев оказались иными. В «Сказании» «фрязы» как союзники ордынской державы уже не выступают. Мамай изображен как главный противник русской земли, который и после куликовского поражения готовил новый поход на Русь. Что же касалось Тохтамыша, то он якобы, во-первых, содействовал предотвращению нового вторжения Мамаю в русские земли, а во-вторых, выступал не как узурпатор ордынского престола, а как «добровольно» признанный местными феодалами правитель Золотой Орды.

Иной оказалась и оценка политики Кафы. Автор «Сказания» подчеркивал, что Тохтамыш не оказывал нажима на Кафу в смысле расправы над Мамаем, что Мамай погиб в этом городе в силу случайного стечения

обстоятельств. Он якобы не заключал с Кафой никаких докончаний, не вел с правителями генуэзской колонии никаких официальных переговоров накануне своего появления в этом городе, а сам взял на себя риск тайного проникновения в Кафу («потаив свое имя»), за что, в сущности, и поплатился жизнью. Здесь Мамай был опознан каким-то купцом, затем при загадочных обстоятельствах оказался убитым.

Таким образом, «Сказание» связывает трагическую кончину Мамаю не с вероломством «кафинцев», не с политическим нажимом Тохтамыша на правителей генуэзской колонии, как это делала «Летописная повесть», а с «несчастливым случаем», с политической наивностью самого свергнутого правителя Орды. Мы видим, что Кафа, как и Тохтамыш в «Сказании о Мамаевом побоище», оказались в какой-то мере «реабилитированными» по сравнению с «Летописной повестью».

Но чем же были обусловлены такие различные политические акценты «Сказания» и «Летописной повести»? Чем было вызвано имевшееся в «Сказании» смягчение критики Тохтамыша и кафинских «фрязов»?

Нам представляется, что отмеченные разночтения получают более убедительное объяснение в том случае, если мы свяжем появление «Летописной повести» с началом 90-х годов XIV в., а возникновение «Сказания о Мамаевом побоище» — со второй половиной 90-х годов XIV в. Если идеологическая основа «Летописной повести», заключавшаяся в отстаивании общерусской программы при ведущей роли Московской Руси, хорошо вписывалась в политическую обстановку Восточной Европы начала 90-х годов, когда опиравшемуся на Москву «триумvirату» — Киприан, Василий I, Витовт — противостояла сильная коалиция Тохтамыша, Ягайло, Олега рязанского и кафинских «фрязов» (Тохтамыш еще в 1387 г. заключил специальное соглашение с Кафой, а в 1392 г. выдал ярлык на русские земли именно Ягайло, а не Витовту), то идеологическая платформа «Сказания», призывавшая осуществлять общерусскую программу с опорой на Литовскую Русь, резко ослабившая критику Тохтамыша и кафинских «фрязов», хорошо перекликалась с политической конъюнктурой второй половины 90-х годов XIV в., когда после решительного разгрома Тохтамыша армиями Тимура в 1395 г., после

происшедшего в 1395—1396 гг. перемещения главной политической опоры «триумvirата» из Москвы в Литовскую Русь создавалась новая расстановка сил. Киприан, Витовт и Василий встали на путь сближения с Тохтамышем, находившимся после 1395 г. то в Литве, то в Крыму, в частности в Кафе. Этой политической группировке тогда в Восточной Европе противостояли рязанские и смоленские князья, находившие поддержку сначала у Тимура, а потом у его ставленника Едигея. Именно при такой политической конъюнктуре было вполне естественным для «Сказания» как явное и скрытое осуждение противников «триумvirата» (явное осуждение Рязани, ордынской державы, скрытое — польского короля Ягайло), так явное и скрытое одобрение политики его союзников (явная апологетика литовско-русских князей Ольгердовичей; положительная, но более сдержанная оценка поведения московского князя, замаскированная реабилитация Тохтамыша и Кафы).

Довольно существенным как для датировки «Сказания», так и для уточнения ее идеологической направленности представляется также сообщение ряда летописей под 1397 г. о поездке Андрея Ослебя в Царьград к императору и патриарху [46, 136; 47, 166; 48, 228]. С. К. Шамбинаго, кроме того, установил, что А. Ослебя упоминался как боярин Киприана в 1390—1393 гг. в Лаврском обиходнике [423, 177]. Эти данные подтверждают не только полную историчность упомянутого иерарха, по происхождению западнорусского феодала, потом, возможно, участника Куликовской битвы и митрополического боярина, теперь же — видного дипломата киприановской школы, но, по нашему мнению, и «историчность» самого «Сказания» относительно данного этапа политической жизни Восточной Европы.

Намеченная нами датировка первого варианта «Сказания» может быть подкреплена также и сопоставлением конкретного содержания этого памятника с рассмотренной уже выше «Повестью о Владимирской иконе» [41, XI, 158—161]. Весьма любопытно, что в «Сказании» политическая роль этой иконы в событиях 1380 г. оказывается аналогичной той, какую она сыграла в 1395 г. Едва ли не центральными политическими фигурами в обоих памятниках оказываются митрополит Киприан, а также серпуховский князь Владимир Андре-

евич (в 1395 г. серпуховский князь возглавлял оборону Москвы, а в 1380 г. он командовал засадным полком, решившим исход Куликовской битвы). Весьма характерно, что роль великого московского князя и в «Сказании» и в «Повести» выглядит довольно пассивной.

Весьма показательным для характеристики сдвигов в идейно-политической жизни феодальной Руси конца 90-х годов XIV в. является допущенное «Повестью о Владимирской иконе» переосмысление роли хана Тохтамыша. Если в «Летописной повести о Куликовской битве», а также в «Повести о нашествии Тохтамыша на Москву» этот правитель Орды выглядит как узурпатор ордынского престола и главный враг русской земли, то в «Повести о Владимирской иконе», так же как и в «Сказании о Мамаевом побоище», Тохтамыш представлен в качестве законного правителя ордынской державы, правителя, оказавшегося жертвой узурпатора Тимура [41, XI, 159].

Характерным для внутренней связи обоих произведений — «Повести о Владимирской иконе» и «Сказания» — является внимание к одному и тому же елецкому князю Федору: в «Повести о Владимирской иконе» сообщается о пленении Тимуром в 1395 г. князя Федора [41, XI, 159], в «Сказании о Мамаевом побоище» елецкий князь Федор выступает в роли воеводы серпуховского князя Владимира Андреевича [35а, 56].

Таким образом, присутствие общих исторических реалий в обоих памятниках, как и наличие в них общих идейно-политических тенденций, позволяет говорить если не о синхронности создания двух рассматриваемых произведений, то о написании их в течение какого-то одного определенного этапа политической жизни Восточной Европы.

Мы считаем, что это могло произойти на протяжении 1396—1398 гг.

* * *

Идеологическая жизнь феодальной Руси конца 90-х годов была ознаменована, как нам представляется, еще одним важным литературным событием, в частности попыткой переделки созданного ранее литературного произведения, посвященного Куликовской битве. Речь в

данном случае должна идти, по нашему мнению, о попытках переработки хорошо известной «Задонщины», в частности той ее редакции, архетип которой возник, как обоснованно считают А. В. Соловьев и В. Ф. Ржига, в 1381 г. [365, 368, 331] и варианты которой представлены теперь в сохранившихся списках извода Унд. (см. стр. 320 данной работы).

Мы уже отмечали, что данная редакция «Задонщины» характеризовалась апологетикой великого князя московского как ведущего князя русской земли, как главного преемника всего древнерусского наследства, а соответственно и подчеркиванием вассальной зависимости от Дмитрия Донского всех остальных русских князей, включая Владимира Андреевича серпуховского, князей Андрея и Дмитрия Ольгердовичей, Дмитрия волынского, ярославско-белозерских князей и т. д. Мы уже фиксировали и то обстоятельство, что данный вариант «Задонщины» выдвигал весьма широкую внешнеполитическую программу для консолидируемой русской земли — программу сдерживания ордынского натиска на Дону, а также программу противодействия турецкой активности на Дунае.

Эта идеологическая концепция первоначальной редакции «Задонщины» оказалась во многом приемлемой для той политической конъюнктуры, которая создалась в Восточной Европе в начале 90-х годов XIV в., когда «триумвиры» — Василий, Киприан и Витовт, воспользовавшись конфликтом Тохтамыша с Тимуром, выдвинули снова доктрину консолидации русских земель под эгидой Владимирского княжения и московского княжеского дома.

Не удивительно поэтому, что созданная тогда общерусская летопись («Летописец великий русский»), и в частности входившая в ее состав пространная редакция «Летописной повести о Куликовской битве», широко использовала как художественно-стилистические находки первоначальной редакции «Задонщины», так и некоторые ее идейно-политические акценты.

Существование общих сюжетов в «Задонщине» и «Летописной повести» было очевидно для многих исследователей, в частности об этом писали С. К. Шамбинаго, А. А. Шахматов, В. П. Адрианова-Перетц, А. Фрчек, А. Ваян, Р. Якобсон, М. А. Салмина, Р. П. Дмитриева

и др. Однако само наличие общих сюжетов в обоих памятниках объяснялось по-разному указанными исследователями. Одни считали первичным памятником «Летописную повесть о Куликовской битве» и, следовательно, вторичным — «Задонщину» (Шамбинаго, Ваян, Салмина), другие утверждали, что «Задонщина» возникла раньше «Летописной повести» и поэтому оказала литературное влияние на летописный рассказ о Куликовской битве (А. А. Шахматов, А. В. Соловьев, В. Ф. Ржиг, Р. Якобсон и др.).

Признавая бесспорным факт литературного взаимодействия указанных памятников, мы считаем, что оно первоначально осуществлялось по линии «Задонщина» (извода Унд.) — «Летописная повесть». Мы склонны думать, что указанное взаимодействие происходило уже на протяжении 1381—1391 гг., а не в XV—XVI вв., как считают некоторые исследователи. В частности, мы исходили из того, что «Задонщина» (архетип извода Унд.) возникла в 1381 г., а «Летописная повесть» — в начале 90-х годов XIV в.³⁵

К числу общих для этих памятников сюжетов следует отнести подчеркивание ведущей роли Москвы и самого московского князя Дмитрия Донского в событиях 1380 г., фиксацию вассальной зависимости от московского князя других русских князей, включая Владимира Андреевича, Андрея и Дмитрия Ольгердовичей; весьма близкими в обоих памятниках оказались также сюжеты стояния на костях, возвращения с победой в Москву, аналогичными представляются рассказы о трофеях, перечни воевод, списки убитых и т. д. [195, 260; 345, 376—383; 378а, 310—311].

Однако анализ этих двух памятников устанавливает

³⁵ Показательно, что один из списков извода Унд. (список И-1) сохранился в летописи, близкой к Новгородской IV, и был там помещен под 1380 г., как справедливо считает Р. П. Дмитриева, вместо «Летописной повести о Куликовской битве» [195, 207]. Нам представляется, что сама возможность «взаимозаменяемости» «Летописной повести» и «Задонщины» извода Унд. в летописи, близкой к Новгородской IV (для которой характерна общерусская платформа при ведущей роли Москвы — см. стр. 319—337 данной работы), является не только доказательством идейно-концепционной близости данных памятников [195, 207; 345, 376—383], но и признаком того, что оба памятника находились в определенном литературном взаимодействии.

не только сходство между ними, но и различия (например, разная трактовка роли серпуховского князя Владимира Андреевича, далеко не одинаковая оценка поведения рязанского князя Олега). Эти различия были обусловлены спецификой политической конъюнктуры начала 90-х годов XIV в., в частности возникшим тогда конфликтом между московским правящим домом и серпуховским князем Владимиром, а также ухудшением московско-рязанских отношений по сравнению с 1381 г. и т. д. (см. стр. 185—186 данной работы).

Устанавливая черты сходства и различия между более ранним изводом «Задонщины» и «Летописной повестью», мы тем самым не только отмечаем наличие общей канвы и единой фактологической и концепционной основы этих памятников, но и фиксируем факт определенных сдвигов в идеологической жизни русской земли того времени, выявляем в какой-то мере характер и направление этих сдвигов. В частности, мы можем заметить, что «Летописная повесть» шире, чем первоначальная редакция «Задонщины», осветила роль князя Андрея полоцкого и Дмитрия брянского, дала более развернутый рассказ как о самой военной кампании, так и о ее политических результатах, предложила более полный и более точный перечень воевод и убитых и т. д. Очень похоже на то, что уже эти фактические и концепционные «накопления» «Летописной повести» явились одним из этапов дальнейшей эволюции памятников куликовского цикла [195, 260; 378а, 311; 382], как мы знаем, подчиненной ритму всей политической жизни феодальной Руси и Восточной Европы в тот период.

И действительно, если политическая обстановка в системе русских земель начала 90-х годов, кстати сказать весьма близкая к политической ситуации 1381 г., не только позволила автору «Летописной повести» использовать первоначальный вариант «Задонщины», но и вынудила его пойти на некоторые фактические и даже концепционные нововведения, то последующее развитие политических событий в Восточной Европе, в частности наметившееся в конце 90-х годов XIV в. превращение Литовской Руси в ведущую консолидирующую силу русской земли, в главного организатора антиордынского фронта, поставило вопрос о более решительном идеологическом переосмыслении всей кампании 1380 г., сде-

лало актуальным не только создание новых более масштабных художественно-публицистических произведений по данному поводу (таким произведением, как мы уже видели, был первоначальный вариант «Сказания о Мамаевом побоище»), но и соответствующую корректировку уже сложившихся ранее памятников на эту тему.

Такой корректировке, по нашему мнению, и был подвергнут в конце 90-х годов тот вариант «Задонщины», который возник еще в 1381 г. Мы считаем, таким образом, что в результате происшедшего в конце 90-х годов XIV в. редактирования извода Унд., вследствие привлечения некоторых фактов и формулировок из «Слова о погибели Русской земли», из «Летописной повести», из «Слова о житии и о преставлении великого князя Дмитрия Ивановича, царя русского» и других памятников возникла новая редакция «Задонщины», которая представлена теперь списками кирилло-белозерским и синодальным (извод Син.).

Что же может подтвердить такое предположение?

Прежде всего некоторые идейно-концепционные черты этой редакции, которые, с нашей точки зрения, могли быть порождены только политической конъюнктурой конца 90-х годов XIV в.

Обращаясь к спискам «Задонщины», восходящим к изводу Син., мы сталкиваемся здесь прежде всего с той же апологетикой единства русской земли, которая была характерна и для извода Унд.; видим здесь то же восхваление союза русских князей Дмитрия Ивановича московского, Владимира Андреевича серпуховского, Андрея Ольгердовича полоцкого, Дмитрия Ольгердовича брянского, многочисленных великих князей Белозерско-Ярославского края. Границы русской земли очерчены, во-первых, прямой отсылкой к пределам древнерусской державы эпохи «Владимира Киевского царя русского» [21, 548]³⁶, а во-вторых, откровенным использованием «Слова о погибели Русской земли», которое, как известно, четко определяло эти границы.

³⁶ Фраза «Владимира Киевского царя русского» была неизвестна ранней редакции «Задонщины» (извода Унд.). Возможно, что данная форма заимствована изводом Син. из «Слова о житии и о преставлении великого князя Дмитрия Ивановича, царя русского», памятника, как доказал А. В. Соловьев, созданного в 1393 г.

Однако присутствующий в этой второй редакции «Задонщины» комплекс похвал единству русской земли был лишен по сравнению с первой редакцией (извода Унд.) одного весьма важного положения: так, в частности, в списке К-Б не подчеркивалась ведущая роль Москвы и залесской земли в политической жизни всей Руси того времени (термин «залесская земля» вообще здесь отсутствовал [21, 548—550; 195, 259], а Москва выступала в роли одного из многих центров русской земли), в указанном списке не фиксировалась вассальная зависимость русских князей от московского великого князя, не подтверждался и ранее высказанный (в изводе Унд.) тезис о том, что московский правящий дом был главным преемником политического наследства древней Руси, что московский князь являлся центральной фигурой в «гнезде Владимира Киевского» [21, 536]. Здесь было другое: русские князья, в том числе и белозерско-ярославские, выступали не в качестве вассалов московского великого князя (как в Унд.), а в качестве самостоятельных «великих князей» [21, 550], московский же князь оказывался теперь не «царем русским (как в «Слове о житии... кн. Дмитрия»», не выходцем из «гнезда князя Киевского Владимира» (так было в изводе Унд.), а всего лишь преемником одного из рядовых русских великих князей — Ивана Калиты [21, 549].

Москва, таким образом, становилась не ведущим общерусским центром, а только резиденцией одной из ветвей дома Рюриковичей, рядом с Москвой оказывались другие города — претенденты на политическое влияние в русской земле: Киев [21, 548], Брянск, Полоцк [195, 216], а возможно, и города Белозерско-Ярославского края [21, 548—550; 195, 227].

Весьма характерной для подчеркивания тенденции ослабления власти великого князя московского была фиксация нейтралитета Великого Новгорода (если в изводе Унд. новгородцы — активные участники Куликовской битвы [21, 536], то в списке К-Б Новгород «не успел» послать своих воинов на поле боя [21, 548]).

Весьма показательным было и то обстоятельство, что роль Дмитрия Донского как полководца отнюдь не была гиперболизирована, а участие князей Ольгердовичей в Куликовской битве оказывалось более активным, чем в

изводе Унд.: здесь говорилось о том, что Ольгердовичи были во главе сторожевых полков [21, 549].

Тенденция некоторого ущемления престижа московского правящего дома, а вместе с тем и тенденция раздувания роли других русских князей прослеживается также в попытке извода Син. отредактировать предсказания Андрея Ослебя о гибели своего сына Якова и «брата» Пересвета таким образом, что их смерть оказывается жертвой не одному московскому великому князю Дмитрию (как в изводе Унд. [21, 538, 543]), а жертвой, имевшей более широкий адрес: в списке С Яков и Пересвет должны погибнуть «за обиды» как московского князя Дмитрия Ивановича, так и серпуховского князя Владимира Андреевича [21, 554], а в списке К-Б они просто погибают во имя общей победы над врагом [21, 550].

Не случайно, видимо, в списке К-Б оказался точнее и подробнее освещен вклад великих князей белозерских в дело общей победы, чем в изводе Унд. [195, 260]. Не случайно объем информации списка К-Б об убитых весьма близок к объему сведений, содержащихся в «Летописной повести» [195, 260, 345, 382—383].

Очень показательными представляются и коррективы международного фона Куликовской битвы: если первая редакция говорила о двух фронтах русской земли — антиордынском и антитурецком («у Дунаю стоят татарове поганые» [21, 536, 538], если она подчеркивала, что слава о победе на Куликовом поле распространялась к Железным воротам, к Караначи (Орначу), Риму, Кафе, Тырнову и к Царьграду [21, 538, 543], то в изводе редакции Син. говорилось только об одном антиордынском фронте; видимо, антитурецкий фронт после установления власти султана над Болгарией (1393 г.), после никопольского поражения 1396 г. и сближения Польши с турками стал для Киприана и Витовта «малоактуальным» (в результате списки К-Б и С даже не упоминали ни Дуная, ни Тырнова [21, 549, 553]); весьма характерно, что если сфера интересов создателя списка Син. была сужена на юге, то его территориальные интересы на северных окраинах русской земли получили максимально широкие очертания с помощью «карты» «Слова о гибели Русской земли» [21, 556].

Весьма существенным как для понимания концеп-

ционной сущности извода Син., так и для установления времени создания архетипа этого извода оказывается факт совпадения целого ряда положений «Задонщины» извода Син. с аналогичными утверждениями одного из списков первоначального варианта «Сказания о Мамаевом побоище» (речь идет прежде всего о так называемом Печатном варианте основной редакции, опубликованном еще в 1838 г.) [526, 1—68].

Исследованиями Р. П. Дмитриевой [195], М. А. Салминой [345], Л. А. Дмитриева [193], А. А. Зимина [204] и других историков выявлены многие заимствования основного варианта «Сказания» из «Задонщины»³⁷. Создается впечатление, что в руках составителя «Сказания» было два извода «Задонщины», причем если ранний извод Унд. использовался «Сказанием» главным образом по линии привлечения художественно-стилистических находок [193, 408—415; 204; 58], то более поздний извод Син. использовался не только в качестве источника чисто литературных заимствований [195; 204; 45—48; 227—229; 260; 58], но, как нам представляется, и в качестве своеобразного ориентира для утверждения идейно-концепционной основы вновь создаваемого памятника.

Мы знаем, что первоначальный вариант «Сказания» (О) характеризовался, так же как и предшественники этого произведения — «Задонщина» извода Унд., пространная «Летописная повесть», — присутствием широкой общерусской программы, однако если «предшественники» («Задонщина» извода Унд., «Летописная повесть»), выдвигая идею объединения всех русских земель, исходили из ведущей роли Москвы и самого Дмитрия Донского, то первоначальный вариант «Сказания» (редакция О, особенно Печатный список), отстаивая

³⁷ Признавая в целом правильными наблюдения указанных исследований по поводу присутствия в «Задонщине» (особенно в изводе Син., списке К-Б) и в «Сказании» (редакция О) многих параллельных сюжетов, общих литературных образов, штампов и т. д., признавая верным тезис о том, что архетип «Задонщины» (по списку К-Б) явился одним из источников основной редакции «Сказания» [204, 58], мы все же не можем принять другие их положения и выводы, в частности о конкретных сроках первоначального появления тех или иных памятников куликовского цикла о последовательности возникновения этих произведений, а также о характере их взаимодействия и взаимовлияния.

концепцию восстановления общерусского единства, признавал ведущей силой этого процесса Литовскую Русь, а главными реализаторами этой программы — митрополита киевского и всея Руси Киприана, тогдашних правителей великого княжества Литовского и Русского, а также князей Белозерского края [526, 10, 68].

Именно такие стратегические установки «Сказания» (редакция О) привели к тому, что Киприан выступал в роли фактического организатора победы на Куликовом поле, а князья Андрей Ольгердович полоцкий, Дмитрий Ольгердович брянский, Дмитрий волинский, а вместе с ними и серпуховский князь Владимир Андреевич, женатый на Елене Ольгердовне, оказывались теми военачальниками, которые обеспечили победу на Куликовом поле.

Именно эти стратегические установки «Сказания» (ред. О) привели к тому, что сам Дмитрий Донской хотя и показан участником Куликовской битвы, но участником довольно пассивным, якобы не сыгравшим сколько-нибудь значительной роли в исходе сражения.

Мы видим, таким образом, что составитель «Сказания» не исключал союза великого княжества Литовского и Русского с Владимирским княжением, городами Владимиром, Ростовом [526, 68] и даже с Москвой, но имел в виду такой союз, в котором ведущей силой оказывались князья Литовской Руси, Белозерского края, а также глава русской церкви Киприан. Совершенно очевидно, что данная концепция «Сказания» не только перекликается с главными идейными акцентами «Задонщины» извода Син., но и, по существу, совпадает с ними.

Так, весьма характерным с этой точки зрения является отношение «Задонщины» и «Сказания» к «предыстории» Куликовского сражения³⁸, к историческим предшественникам русских князей — участников Куликовской битвы 1380 г. Если «Задонщина» извода Унд. выдвигала идею прямой преемственной связи великого князя московского с киевским князем Владимиром [21, 536] («гнездо есмя били великого князя Владимира

³⁸ Так, весьма показательно, что содержащаяся в изводе Унд. подробная информация о 160-летнем интервале между битвой на Калке и сражением на Куликовом поле [21, 535; 193, 401] в дальнейшем была явно сокращена: в изводе Син. («от тоя рати и до Мамаева побоища» [21, 548]) и в «Сказании» («от тоя до Галадцкыя беды и великого побоища татарского» [35а, 80]).

Киевского»), то в «Задонщине» списка К-Б речь шла уже о том, что московский князь, хотя и оставался «правнуком Владимира Киевского», тем не менее выступал выходцем не из «гнезда Владимира Киевского», а всего лишь из «гнезда единого князя Ивана Даниловича» [21, 549], тем самым как бы признавал сужение сферы своего политического влияния в русской земле и вместе с тем значительное расширение политических возможностей остальных русских князей. Не исключено, что именно с этим сюжетом «Задонщины» списка К-Б оказалась связанной важная идея «Сказания» о наличии у многих русских великих князей едва ли не равных прав на древнерусское наследство и соответственно об отсутствии каких-либо особых монопольных прав на это наследство у московского князя [526, 26—27].

Весьма характерной является еще одна параллель между «Задонщиной» списка К-Б и печатным вариантом «Сказания». Если список К-Б в отличие от извода Унд. не знает «вассалов» великого князя (здесь многие князья оказываются «великими»), то Печатный вариант «Сказания» прямо называет князей — соратников Дмитрия Донского «государями» [526, 26], выдвигает идею равномерного распределения похвал как Дмитрию, так и другим русским князьям-«государям» [21, 405].

Некоторые исследователи видят в использовании данного термина («государь») применительно к «бывшим» вассалам Дмитрия Донского нечто «удивительное и странное» [193, 405]. Нам представляется употребление в данном случае указанного термина вполне оправданным: дело в том, что Печатный вариант «Сказания» просто развивал и углублял ту тенденцию, которая была намечена списком К-Б, тенденцию, связанную с сознательным принижением авторитета московского великого князя и соответственным «раздуванием» престижа всех остальных князей русской земли.

О стремлении ослабить политическую роль московского князя и вместе с тем поднять значение других князей (Владимира Андреевича, братьев Ольгердовичей, белозерско-ярославских князей) свидетельствовали и другие параллели наших памятников: так, если в списках Унд. Дмитрий Донской обращался к русским князьям-вассалам выступить на Дон против Мамаю, то в списке К-Б сами русские князья обращаются к мос-

ковскому князю с аналогичным предложением. (на это обратил внимание Л. А. Дмитриев [193, 405]), в Печатном варианте «Сказания» роль этих русских князей-«государей» становится еще более заметной, а деятельность Дмитрия оказывается затушеванной и приглушенной.

Дальнейшее развитие в Печатном варианте «Сказания» получает и чисто военная тематика: если в списке К-Б только упоминалось о том, что князь Владимир Андреевич и князья Ольгердовичи возглавляют «сторожевые» полки [21, 549—550], то в «Сказании» они активно действуют в этом качестве, заслоняя собой самого князя Дмитрия как полководца.

Особенно важной для подтверждения идейно-концепционной близости списка К-Б и Печатного варианта «Сказания» является общая для двух памятников фиксация фактического нейтралитета Великого Новгорода в 1380 г., как бы согласованное признание отказа новгородцев от сотрудничества с великим князем московским и владимирским накануне и во время Куликовской битвы [526, 26—27; 195, 227, 249—251, 261; 46].

Но присутствовавшая в указанных вариантах «Задонщины» и «Сказания» параллельная информация о нейтральной позиции Новгорода была весьма существенна не только для установления идейной близости двух указанных памятников. Если учесть, что характер отношений Новгорода с великими князьями был всегда очень важен для понимания общей расстановки сил в русской земле (нарушение связей Новгорода с тем или иным обладателем великокняжеского стола, как правило, свидетельствовало о политическом ослаблении этого великого князя), если, кроме того, иметь в виду, что упомянутую информацию о позиции Новгорода содержат лишь указанные варианты наших памятников (другие варианты ее не знали), то придется говорить не только об идейно-концепционной близости списка К-Б «Задонщины» и одного из вариантов основной редакции «Сказания», но и о тесной связи обоих памятников с тем этапом политической жизни Восточной Европы, когда наметилось резкое нарушение контактов Великого Новгорода с Владимирским княжеством. А этим этапом, как мы знаем, оказались последние годы последнего десятилетия XIV в.

В пользу предположения о почти одновременном возникновении двух рассматриваемых памятников («Задонщины» извода Син. и основной редакции «Сказания») в конце 90-х годов XIV в. говорят не только их параллельные попытки утвердить сложившееся тогда новое соотношение сил в системе княжеств русской земли (ослабление Москвы, усиление других объединительных центров)³⁹, но также и общие для них попытки подвергнуть открытой критике тех князей или их советников, которые отказывались принимать это новое соотношение сил.

Так, в изводе Син. была критика (правда, еще весьма робкая) каких-то московских противников нового политического курса: видимо, не случайно в уста серпуховского князя Владимира Андреевича была вложена такая фраза, адресованная московскому князю Дмитрию и каким-то его советникам: «Не слухай изменников сромотников» [21, 555].

В одном из вариантов основной редакции «Сказания» эта критика стала значительно более острой, приобретая откровенно антимосковский характер: в своем обращении к Дмитрию Донскому серпуховский князь не только фиксировал наличие «крамолы» в Москве, но и прямо осуждал ее: «Не слушай, княже великий, крамольников московских» [35а, 186].

Для идеологической жизни феодальной Руси конца 90-х годов XIV в., когда главным ядром объединения русских земель считала себя Литовская Русь, такая заостренная против Москвы критика была, видимо, правомерна, во всяком случае, столь же правомерна, как для идеологической литературы русской земли начала 90-х годов XIV в. было правомерным отстаивание ведущей роли Москвы в реализации общерусской программы, а также осуждение противников этой программы как «раскольников и мятежников царства» («Летописная повесть», «Слово о житии и о преставлении великого князя Дмитрия Ивановича, царя русского» [38, 314, 324; 38, 355] (см. стр. 323—329 данной работы).

³⁹ Может быть, формой утверждения этого нового соотношения сил явился также и окончательный вариант «Списка русских городов дальних и ближних» (1396 г.), в котором Москва, как мы знаем, выступала одним из многих центров русской земли.

Таким образом, если предложенный выше анализ основной редакции «Сказания о Мамаевом побоище» позволяет связывать ее появление с концом 90-х годов XIV в., в частности с бурной церковно-политической и идеологической деятельностью Киприана в это время (о чем было сказано выше)⁴⁰, то установление многих идейно-концепционных параллелей между данной редакцией «Сказания» и вторичной редакцией «Задонщины» (извода Син.) дает основание как для датирования этого памятника тем же периодом, так и для фиксации причастности того же Киприана к созданию данного произведения именно в этот период.

Нам представляется, что в пользу этого последнего предположения говорит наличие в списке К-Б «Задонщины» особой приписки, которая представляет собой если не панегирик Киприану, то во всяком случае весьма положительную характеристику основных этапов его деятельности в качестве митрополита киевского и всея Руси.

На существование данной приписки уже давно обращали внимание исследователи. Историки обычно фиксировали ее связь с «Кратким летописцем» Кирилло-Белозерского монастыря середины XV в. [202а, 22—27] как с прямым ее источником [195а, 251; 280а, 130—168, 267, 264—266]; высказывалась мысль о том, что указанная приписка была сделана рукой книгописца Кирилло-Белозерского монастыря Ефросина с целью придать более заверченный вид списку К-Б, лишенному, как известно, той концовки, которая присутствовала в другом списке этого извода — списке С [195а, 251; 196, 265].

При этом исследователи не касались таких проблем, как наличие общих концепционных тенденций в «Кратком летописце», в приписке к кирилло-белозерскому варианту «Задонщины» и в самом тексте указанного списка «Задонщины», а следовательно, не ставили вопроса об общих идейных корнях для всех этих памятников, не ставили вопроса и о единой идеологической традиции, их породившей.

Между тем более внимательный анализ этих памят-

⁴⁰ Может быть, в связи с такой трактовкой данного «Сказания» было бы правильнее назвать ее не только Основной, но и Киприановской, а редакцию Никоновской летописи называть не Киприановской, а просто Никоновской.

ников позволяет об этом говорить. Так, обращаясь к «Краткому летописцу» Кирилло-Белозерского монастыря, мы обнаруживаем здесь, по существу, две ведущие темы: первой была история ростовской архиепископии, поставленной рядом с архиепископиями Белгорода киевского, Чернигова и Волыни, прошлое церкви ростовской земли с исторически достоверным перечнем ростовских епископов (сведения эти особенно точны с конца XIV в., как справедливо заметил А. А. Зимин [202а, 7]), но в то же время с исторически недостоверным тезисом о большей древности ростовской архиепископии по сравнению с архиепископией Великого Новгорода; второй темой оказалась церковно-политическая деятельность митрополита Киприана в качестве митрополита киевского и всея Руси.

Если первая тема вполне естественна для летописца Кирилло-Белозерского монастыря, находившегося в ведении ростовского епископа [169, 213], то вторая тема, если подходить к делу формально, не должна была иметь прямого отношения к идеологической жизни этого монастыря. Между тем она заняла в «Кратком летописце» Кирилло-Белозерского монастыря весьма видное место, и это, видимо, неспроста. Наличие интереса к Киприану в этом памятнике середины XV в. свидетельствовало о живучести в духовной жизни данного монастыря, как и в ростовской епископии вообще, определенной прокиприановской традиции, связанной, видимо, с церковно-литературной деятельностью не только самого Киприана, но и его единомышленника ростовского епископа Григория (1396—1417).

Видимо, не случайно мы обнаруживаем в «Кратком летописце» фиксацию заслуг епископа Григория (здесь он упомянут дважды [202а, 25—26]), а также подчеркивание весьма активной и вполне самостоятельной роли Киприана в жизни русской церкви на протяжении последних двух десятилетий XIV—начала XV в.

«Краткий летописец», например, сообщает, что в 1381 г. «прииде из Царьграда на Русь Киприан митрополит», что в 1382 г. он не бежал из Москвы, а вынужден был ее покинуть по предписанию московского князя Дмитрия, в связи с чем в русской церкви возникли осложнения и беспорядки («бысть оттоле мятеж в митрополии» [202а, 25]), далее «Краткий летописец» отме-

чает, что вторичный приезд Киприана в Москву произошел в 1390 г., сразу после смерти Дмитрия Донского, и якобы до возвращения из Орды князя Василия (об этом летописец говорит под 1392 г.).

Если мы учтем, что летописи собственно московской ориентации (например, Троицкая) говорят о приглашении Киприана в 1381 г. в Москву самим московским князем [60, 421], сообщают о его позорном бегстве из Москвы осенью 1382 г., а не о его высылке [60, 425], отмечают факт прихода на митрополию Пимена (1382—1389) и ничего не знают о тогдашнем «мятеже» в русской церкви [60, 425], если мы будем также иметь в виду, что, по утверждению Троицкой летописи (как, впрочем, и некоторых других), Киприан приехал в Москву в 1390 г. не до возвращения из орды московского князя, а после этого события [60, 435—436], то будет очевидной прокиприановская направленность «Краткого летописца», а вместе с тем и живучесть этой прокиприановской традиции в идеологической жизни Кирилло-Белозерского монастыря середины XV столетия.

Учитывая наличие подобных настроений в этом монастыре, с одной стороны, и зная об идейной платформе самого кирилло-белозерского списка «Задонщины» — с другой, мы не должны удивляться тому обстоятельству, что монастырский летописец Ефросин в середине XV в. счел нужным создать такую приписку к этому памятнику, которая фиксировала в соответствии с представлениями идеологов этого монастыря тесную связь данного варианта «Задонщины» с литературной и церковно-политической деятельностью Киприана, причем с тем периодом этой деятельности, когда митрополит был в довольно натянутых отношениях с Москвой и когда он энергично сотрудничал как с князьями Литовской Руси, так и с феодалами Белозерско-Ярославского края.

Обоснованность этого наблюдения подтверждается, как нам кажется, анализом содержания самой приписки к кирилло-белозерскому варианту «Задонщины».

Так, повторяя, а иногда и развивая некоторые положения «Краткого летописца», приписка Ефросина к «Задонщине» подчеркивала факт монопольного управления Киприаном всей русской церковью на протяжении тридцати лет, тем самым полностью игнорируя существование в этот период других русских митрополитов, в

частности митрополитов московской ориентации. Митяя и Пимена; кроме того, эта приписка фиксировала совершенно самостоятельную, независимую от Москвы церковно-политическую деятельность Киприана, отмечая самостоятельные его приезды в Москву в 1381 и 1390 гг., причем если первый приезд был якобы оборван злой волей московского князя, то второй приезд произошел в период возникшего в столице московского государства политического вакуума — князь Дмитрий был уже мертв, а князь Василий будто бы еще не вернулся из ордынской державы.

Характерно, что само слово «Москва» упоминалось в приписке всего один раз, да и то в связи с взятием ее войсками Тохтамыша.

Все это позволяет видеть в указанном документе все симптомы осуждения московской политики, а вместе с тем признаки утверждения того политического курса, который осуществлял Киприан в конце 90-х годов XIV в.

В сущности, об этом же говорил и факт совпадения концепции данной приписки с некоторыми идейными акцентами Суздальской летописи по академическому списку, представляющей собой, как мы считаем, сколок летописания Киприана и ростовского епископа Григория.

Таким образом, обращаясь к приписке кирилло-белозерского варианта «Задонщины», а также к первоисточнику этой приписки — «Краткому летописцу», мы обнаруживаем в них не абстрактную апологетику всей церковно-политической деятельности митрополита Киприана, а восхваление этой деятельности с позиций определенного ее этапа, в частности того этапа, который характеризовался, с одной стороны, ухудшением его отношений с Москвой, а с другой — установлением его тесных политических контактов с другими князьями русской земли, в частности с князьями Белозерско-Ярославского края, с западнорусскими землями и т. д., т. е. обнаруживаем ту трактовку основных вех биографии Киприана, которая могла быть порождена только политической обстановкой конца 90-х годов XIV в.

Существенным для предлагаемой трактовки роли извода Син. в комплексе памятников куликовского цикла является, по нашему мнению, не только судьба списка К-Б, но также историческая жизнь другого списка этого извода — списка С. Известно, что данный список со-

хранился в документах, отражавших идеологическую жизнь западнорусских феодалов XV—XVI вв. В частности, список С дошел до нас в составе рукописного сборника XVII в., в котором кроме интересующего нас памятника находились отрывок из деяний Брестского собора 1591 г., хроника о великих князьях литовских до 1475 г., выписки из западнорусских (литовских) летописей [423, 85, 98]. Кроме того, лингвистами установлено, что список С испытал на себе влияние белорусского языка [243].

Учитывая это довольно четкое в идеологическом плане литературное окружение списка С и имея в виду вместе с тем концепционную основу самого этого списка (подчеркивание особо активной роли братьев Ольгердовичей, Владимира Андреевича, выявление особых заслуг общерусских святых Владимира киевского, Петра, Сергия, «смазывание» ведущей роли Москвы, князя Дмитрия Донского и т. д.), мы можем считать, что сам факт сохранения данного варианта «Задонщины» в идеологической среде западнорусских феодалов отнюдь не был случайным.

Если рассмотренная выше судьба списка К-Б хорошо вписывалась в идеологическую жизнь феодального класса Белозерского края XV в., если судьба списка К-Б подтверждала живучесть прокиприановских идеологических традиций в одном из духовных центров белозерско-ярославской земли того времени, то присутствие списка С в сборнике материалов, отражавших идеологические настроения каких-то западнорусских феодальных группировок XV в., представляется также явлением естественным и правомерным: оно подтверждало не только тезис о том, что извод Син. в целом своим возникновением обязан определенному этапу политической и идеологической жизни русской земли, когда при активном участии Киприана западнорусские феодалы вместе с белозерско-ярославскими князьями выступали застрельщиками консолидации Руси, но также и то обстоятельство, что список С оказался близким некоторым идейно-политическим веяниям Западной Руси XV в., что этот вариант «Задонщины» оказался в русле все той же прокиприановской идеологической традиции, сохранявшей и здесь свою устойчивость и живучесть на протяжении XV—XVI вв.

Итак, анализируя идейное содержание таких памятников, как «Житие Стефана Пермского», «Повесть о Владимирской иконе», «Сказание о Мамаевом побоище» (основная редакция) и, наконец, вторичная редакция «Задонщины» (извод Син.), мы убеждаемся в том, что в основе их лежала одна концепция — концепция консолидации русской земли и создания антиордынского фронта при ведущей роли не Москвы, а других центров тогдашней Руси, в частности центров, расположенных как на землях великого княжества Литовского и Русского, так и на территориях Владимирского княжения, Белозерско-Ярославского края (в этом плане следует говорить не только о Киеве, Полоцке и Брянске, но также и о Владимире, Ростове, а возможно, и о каких-то центрах Белозерско-Ярославского края).

* * *

Рассмотрев определенный этап взаимодействия идеологической и политической жизни феодальной Руси, связанный с концом 90-х годов XIV столетия, мы, разумеется, должны помнить о том, что данный этап был лишь одним из многих этапов такого взаимодействия, характеризовавших собой весьма сложную и, можно сказать, переломную эпоху восточноевропейского исторического процесса — эпоху последнего десятилетия XIV в.

Исходя из существования закономерной зависимости между масштабами политических сдвигов на Руси того времени и публицистическим накалом синхронно возникшей идеологической литературы, изучив несколько этапов взаимодействия политической и идеологической жизни Восточной Европы в течение указанных десятилетий, мы считаем возможным не только связывать весь комплекс памятников куликовского цикла (в их первоизданном виде) с данным периодом, но и предложить определенный порядок возникновения этих памятников на протяжении указанного десятилетия.

Нам представляется наиболее вероятной такая последовательность появления произведений, посвященных Куликовской битве:

1. «Задонщина» извода Унд., написанная вскоре после куликовской победы и восходящая, возможно, к гипотетическому «Слову о Мамаевом побоище», созданному, по предположению А. А. Шахматова, в 1381 г.

2. «Летописная повесть о Куликовской битве» (пространная редакция), возникшая в начале 90-х годов в связи с созданием «Летописца великого русского».

3. «Задонщина» извода Син., возникшая, по нашему мнению, в конце 90-х годов XIV в.

4. «Сказание о Мамаевом побоище» (основная редакция), созданное тогда же, в конце 90-х годов XIV в.

Приняв указанный порядок появления памятников куликовского цикла, мы убеждаемся в том, что они представляли собой не произвольные опыты интерпретации кампании 1380 г., обусловленные будто бы теми или иными литературно-стилистическими вкусами их «создателей» XV—XVII вв., а являлись такими вариантами интерпретации Куликовского сражения, которые были продиктованы соответствующим ритмом политической и публицистической жизни Восточной Европы последнего двадцатилетия XIV в.

Расположенные в указанном порядке памятники куликовского цикла, освещая каждый раз по-новому события 1380 г., по нашему мнению, не только хорошо фиксируют последовательную смену определенных этапов политического развития Восточной Европы на протяжении последнего двадцатилетия XIV в., но и отражают ту или иную расстановку сил в системе княжеств русской земли данного периода.

Нам представляется также, что указанный комплекс памятников устанавливает и факт скрытой конфронтации в сфере идеологии различных тенденций политической жизни русских земель рассматриваемого времени, констатирует наличие завуалированной полемики в решении вопросов идеологического осмысления не только самой кампании 1380 г., но и каждого крупного этапа политической жизни Восточной Европы в последующее двадцатилетие.

По этой причине нам кажется отнюдь не случайным то обстоятельство, что в памятниках куликовского цикла, с одной стороны, устойчиво выступает единство темы, оказывается стабильным круг основных участников кампании 1380 г., а с другой — обнаруживаются весьма значительные расхождения в интерпретации отдельных событий этой кампании, в трактовке поведения одних и тех же действующих лиц, в признании их заслуг (в частности, заслуг в борьбе с ордынской державой, в со-

действии политическому объединению русских земель и т. д.).

Если единство темы памятников куликовского цикла, а также устойчивый состав основных героев этих литературно-публицистических произведений можно связывать не только с исторической значимостью самого Куликовского сражения, но и с причастностью к созданию этих памятников митрополита Киприана (тема Куликовской битвы была особенно близка Киприану как своей антиордынской и вместе с тем общерусской направленностью, так и составом основных ее участников, являвшихся его реальными политическими партнерами в 1381, а также в 1390—1399 гг.), то наличие в указанных памятниках значительных расхождений в трактовке отдельных эпизодов кампании 1380 г. и в оценке поведения отдельных лиц следует объяснять переменами политической конъюнктуры в Восточной Европе на протяжении 80—90-х годов XIV в., утверждением той или иной расстановки политических сил в системе княжеств русской земли, наконец, меняющейся ориентацией самого митрополита Киприана (если в 1381 г. и в начале 90-х годов он, как мы знаем, сотрудничал прежде всего с Владимирским княжением и московским правящим домом, то в конце 90-х годов XIV в. он поддерживал самые тесные контакты с феодальными группировками великого княжества Литовского и Русского, а также с князьями Белозерского-Ярославского края).

Но, отмечая факт тесного взаимодействия памятников куликовского цикла с ходом политической жизни Восточной Европы 80—90-х годов XIV в., настаивая на предложенном порядке появления первоначальных вариантов (архетипов) этих произведений в указанное время, подчеркивая вместе с тем наличие в этих первоначальных вариантах значительного публицистического накала, мы отнюдь не ставим под сомнение факты продолжавшегося «скрещивания» этих памятников на протяжении XV—XVII вв., не отрицаем фактов так называемого вторичного взаимодействия указанных произведений [345, 376—383; 195, 199—263; 195а, 264—291; 378а, 310—311; 193, 385—439; 204, 43—44, 57—58].

Однако, признавая продолжавшееся в XV—XVII вв. «скрещивание» рассматриваемых памятников, мы должны иметь в виду, что оно происходило далеко не в тех

исторических условиях, в каких совершалось зарождение этих произведений в последнее двадцатилетие XIV в.: оно происходило прежде всего в атмосфере постепенного затухания интереса к данной тематике, во всяком случае затухания интереса к той антимосковской трактовке этой темы, которая присутствовала в списке К-Б «Задонщины» и в основной редакции «Сказания», происходило в обстановке консервации идейно-концепционных основ уже сложившихся в конце XIV в. произведений, в условиях их превращения из памятников историко-публицистических в литературу историко-повествовательную.

Наличие отмеченных тенденций в развитии памятников куликовского цикла XV—XVII вв. означало, что происходившее тогда между ними взаимодействие, а вместе с тем и их «взаимообогащение» имело свои пределы: с одной стороны, оно шло только по линии литературно-стилистического влияния «Задонщины» на «Сказание», и то с тенденцией затухания этого влияния (если оно было заметно в основной и летописной редакциях «Сказания», то в пространной редакции «Сказания» оно оказалось менее заметным [423, 307], а в так называемой киприановской редакции «Сказания» оно едва ощутимо [423, 141, 182]), с другой — по линии преодоления антимосковской направленности как основной редакции «Сказания», так и связанного с ней кирилло-белозерского варианта «Задонщины», шло по пути отказа от апологетики антимосковских сил (в частности, апологетики князей Белозерско-Ярославского края, западнорусских князей, что было характерно уже для пространной редакции «Сказания» [1906, 440—476]), а также по пути подчеркивания ведущей роли Москвы и московского правящего дома (не случайно киприановская редакция «Сказания» явилась просто компилятивным синтезом «Сказания» и «Летописной повести о Куликовской битве» — памятника явно промосковской ориентации начала 90-х годов XIV в.) [287, 433—446].

Троицкая летопись — важный документ идеологической борьбы конца первого десятилетия XV в.

Основными источниками по политической истории феодальной Руси второй половины XIV — начала XV в. после актового материала являются, как мы знаем, рус-

ские летописи, в частности Троицкая, Симеоновская, Рогожский летописец, Новгородские I и IV летописи, Московский свод конца XV в., Ермолинская, Типографская, Воскресенская и Никоновская.

Всех их объединяло стремление отобразить один и тот же исторический процесс — процесс становления и развития русской земли с древнейших времен до момента составления данных памятников; их объединяло использование примерно одних и тех же исторических фактов, которые и создавали картину основных этапов развития феодальной Руси.

Но, говоря о названных летописях, следует иметь в виду не только то, что их объединяло, но и то, что их разъединяло. Хорошо известно, что упомянутые летописные своды отличались друг от друга своей политической направленностью, различной трактовкой отдельных периодов в истории Руси, различной позицией в процессе преодоления полицентризма русской земли.

В историографии уже очень многое сделано для выявления истории русского летописания, для понимания характера политической тенденциозности упомянутых летописных сводов. Многое сделано и для изучения отдельных памятников древнерусской литературы конца XIV — начала XV в., вошедших в состав названных летописей и претерпевших в связи с этим те или иные изменения.

И тем не менее еще не всегда появление того или иного свода, возникновение той или иной редакции отдельных летописных памятников находят исчерпывающее объяснение, еще не всегда жизнь литературного источника тесно увязывается с политической жизнью тех государственных организмов, о которых идет речь в данных источниках.

Между тем, идя по пути углубления наших представлений о взаимодействии политической и идеологической жизни восточноевропейских государств на рубеже XIV—XV вв., мы получили возможность уточнить характер идейной тенденциозности отдельных летописных и нелетописных памятников той поры, вместе с тем мы получаем данные и для более четкой характеристики политической направленности так называемой Троицкой летописи, а одновременно и других летописей, тесно с ней связанных.

Хотя та Троицкая летопись, которой в свое время пользовался Карамзин, погибла в пожаре Москвы 1812 г., она постоянно привлекала внимание исследователей как один из важнейших литературных памятников конца XIV — начала XV в. Очень многое для ее изучения и восстановления сделали труды А. А. Шахматова [427, 38—43; 429], М. Д. Приселкова [323, 128—140; 60], В. Л. Комаревича [224, 194], Д. С. Лихачева [264, 296—297].

В результате проведенных исследований сложилось такое мнение, что Троицкая летопись есть результат литературного труда самого Киприана или итог деятельности каких-то московских летописцев, работавших под его непосредственным руководством. Историки довольно единодушно считают, что Троицкая летопись представляла собой общерусский свод, являвшийся своеобразным синтезом истории Московской Руси и Руси Литовской [264, 296—297; 354, 355—364; 372—383]. Все эти выводы опирались как на изучение самого текста Троицкой летописи, особенно некоторых ее составных частей (некоторые известия об Ольгерде и самом Киприане, повести о Куликовской битве и нашествии Тохтамыша 1382 г., ее сообщения о взаимоотношении восточноевропейских стран с Тохтамышем, Тимуром, Баязидом и др.), так и на прямое утверждение Татищева об интенсивной летописной работе Киприана [57, V, 204—205]⁴¹. Недоверие, высказанное в адрес этого утверждения Татищева некоторыми старыми историками, в частности Н. Голубовским [166а, 358—386], в последнее время было признано необоснованным. Работами М. Д. Приселкова [323, 128—140], Б. А. Рыбакова [342, 343], С. Л. Пештича [311а, 247], Л. А. Дмитриева [194, 222] доказана достоверность информации Татищева об активном участии Киприана в литературной работе, в составлении летописей и других литературных произведений.

⁴¹ «Книги своею рукою писаша, яко в наставление душевное переписа соборы бывшие в Руси, много житий святых русских и степени великих князей русских, иные же в поставление плотское, яко правды и суды и летопись русскую от начала земли руския вся по ряду и многи книги к тому собрав, повелел архимандриту Игнатию Спасскому докончить яко же и соблюдох» [57, V, 204—205].

Таким образом, большая и разносторонняя литературная деятельность Киприана на русской почве представляется фактом бесспорным. Мы можем не сомневаться в том, что Киприан оставил после себя значительное литературное наследство; часть этого наследства нам хорошо известна, а о другой его части мы можем лишь догадываться. Представляется весьма правдоподобным, что отдельные литературные произведения конца XIV — начала XV в., остававшиеся до сих пор анонимными, на самом деле принадлежат перу Киприана, во всяком случае были созданы при том или ином его участии.

Но одно дело — признавать Киприана крупным литератором своей эпохи или, может быть, выдающимся организатором литературной работы, вдохновителем многих литературных начинаний того времени, другое дело — видеть в нем автора и последнего редактора той летописи, которая носит название Троицкой и которая была завершена, как известно, уже после его смерти.

Мы считаем, что тот летописный свод, который был известен Карамзину под именем Троицкой летописи, который недавно попытался реконструировать М. Д. Приселков и который считается чуть ли не произведением самого Киприана или памятником, изготовленным под его непосредственным руководством, на самом деле является лишь переделкой киприановского общерусского свода начала 90-х годов XIV в. или его продолжением, переделкой, осуществленной в спешном порядке после его смерти какими-то московскими идеологами. В этой переделке многое сохранилось из того, что уже включил или собирался включить Киприан в свой общерусский свод (важным этапом летописной работы Киприана был, видимо, 1391/92 год, когда был создан «Летописец великий русский») ⁴².

Сохранился, видимо, почти полностью тот текст летописной работы Киприана, который не давал повода

⁴² Эта мысль правильно была подчеркнута Комаровичем в «Истории русской литературы» [224, 194] («Старший московский свод 1392 года» восстанавливается по статье Троицкой летописи 1393 г. «Разогни книгу летописец великий Русский» — этот прямой источник Троицкой летописи заканчивался 1392 годом и вся совокупность входивших в этот свод статей показывает его зависимость от редакторской инициативы митрополита Киприана).

для больших дискуссий в начале XV в. — текст летописи до начала XIV в. (до 1305 г.), а может быть, и в середине этого столетия [60, 18; 323, 134]; сохранились также собранные Киприаном сведения о развитии отношений восточноевропейских стран с Царьградом и с мусульманским Востоком (данные о политике Тохтамыша, Тимура, Баязида и т. д.). Это, видимо, и дало основание исследователям говорить об обширности и достоверности имевшейся в летописях информации о политической жизни Восточной Европы на рубеже XIV—XV вв. [417, 225—256; 341, 202]. Однако в литературном наследии Киприана оставалось далеко не все при дальнейшей его обработке; те тексты, которые фиксировали наиболее острые моменты политической и идеологической жизни русской земли, видимо, и оказались предметом тщательного редактирования. Не удивительно поэтому, что многое из «заготовки» общерусского свода Киприана было либо устранено совсем, либо заново пересмотрено и подано в новом идейном и литературном оформлении.

Очень похоже на то, что заготавливавшиеся Киприаном на протяжении многих лет литературно-информационные материалы после его смерти были внимательно просмотрены, тщательно профильтрованы с точки зрения их соответствия требованиям новой политической обстановки. Напряженные отношения Москвы с Литовской Русью 1406—1409 гг. превращали все тексты о московско-литовском сотрудничестве предшествующих годов, тексты, раскрывающие общерусские замыслы Киприана, в материалы «малоактуальные». Так, в ходе радикального редактирования общерусского свода 1392 г. были переделаны повести о Куликовской битве и нашествии Тохтамыша; более поздние записи этого свода были заменены другими, например запись о битве на Ворскле 1399 г. и др. Вместе с тем в своде 1409 г. появились новые памятники и новые заметки, которые осуждали все формы сотрудничества Московской Руси с великим княжеством Литовским. Такими вставками были тексты, осуждавшие набеги Ольгерда на Москву; переход Свидригайло на сторону Василия Дмитриевича в 1408 г. и т. д.

Однако в политической обстановке 1409 г., когда лидеры Московской Руси ждали приезда нового митропо-

лита из Константинополя (как известно, Ягайло выдвигал преемником Киприана полоцкого епископа, а Василий I просил тогда Царьград направить в русскую церковь митрополита-грека), все созданные ранее летописные тексты по поводу контактов Руси с Царьградом, в том числе и те тексты, которые фиксировали развитие отношений митрополита Киприана с царьградским патриархом, оказались под защитой московских идеологов. Они, видимо, не считали тогда возможным допустить переделку или даже критику тех концепций церковно-политической жизни Руси, которые были выработаны в ходе сотрудничества Киприана с Царьградом.

Весьма характерно, что в 1409 г. в Киприановском летописном своде были более радикально переделаны те тексты, которые раскрывали историю литовско-московских отношений за последние годы, а также и роль в развитии этих отношений самого Киприана. Но значительно в меньшей степени были изменены те статьи этого свода, которые характеризовали отношения русской церкви с Царьградом.

Эти тексты Киприана остались, видимо, почти не отредактированными, поэтому и сохранилась киприановская тенденциозность в повестях об Алексее, Митяе и Пимене [60, 404—418, 425, 433, 435, 450, 461—464], а также весьма осторожное и внимательное отношение к Царьграду и другим центрам православия (начиная от Иерусалима и Антиохии под 1366 г. и кончая Тырновом под 1393 г.) [60, 382—383; 397, 426—429, 433, 442, 448, 454].

Само собой разумеется, что все эти утверждения требуют развернутых обоснований, анализа как всего памятника в целом, так и особенно тех его разделов, которые представляются наиболее ответственными, наиболее показательными для выявления его политической направленности.

Таковыми разделами Троицкой летописи, по нашему мнению, являлись прежде всего те тексты, которые излагали события последней трети XIV — первых лет XV в. Весьма показательными для идеологического профиля Троицкой летописи представляются заметки о переходе Свидригайло на сторону Москвы в 1408 г.; о битве на Ворскле 1399 г.; о походе Ольгерда на Москву 1368 г., когда литовский князь причинил «толь велико зло

Москве», какого «не бывало в Руси, аще от татар бывало».

Но едва ли не самым ярким показателем идеологических сдвигов Троицкой летописи были присутствующие здесь тексты повестей о Куликовской битве и о нашествии Тохтамыша, тексты, явившиеся, с нашей точки зрения, результатом четко осмысленного сокращения пространных редакций этих памятников.

В этом нас убеждает сопоставление отдельных текстов Троицкой, Симеоновской летописей с соответствующими текстами других летописных сводов, в частности Новгородской IV, Софийской I, Ермолинской, Типографской, Воскресенской и др. Характерные идеологические сдвиги прослеживаются как в помещенных на страницах Троицкой летописи повестях о Куликовской битве и о нашествии Тохтамыша, так и в ряде отдельных статей, получивших в Троицкой и Симеоновской летописях такую трактовку, которая отличалась от трактовки других летописных сводов.

Так, Троицкая летопись весьма скупо изложила факт перехода на сторону Москвы группы литовско-русских феодалов во главе с князем Свидригайло. Под 1408 г. в Троицкой летописи была такая запись: «Июля в 8 день выеха из града Брянска Швитригайло, а на Москву приеха июля в 26 день» [467] ⁴³. Несколько подробнее освещает это событие «Повесть о нашествии Едигея», но и здесь это делается, как мы видели, не ради информации, а ради осуждения самого факта сотрудничества Василия I с «гордым ляхом» Свидригайло.

Более подробную информацию об этом событии помещает на своих страницах Симеоновская летопись [45, 154—155], использовавшая для изложения политических событий 1390—1413 гг., как известно, Тверское летописание [323, 115; 264, 440]. Перечислив перешедших вместе с князем Свидригайло литовско-русских князей и бояр, автор текста Симеоновской летописи отметил и

⁴³ Именно этот текст, бесспорно, присутствовал в Троицкой летописи (он зафиксирован Карамзиным в комментариях к «Истории государства российского» [229, V, прим. 200]). Восстанавливаемый Приселковым по Воскресенской летописи текст Троицкой летописи с 1390 по 1408 г. отнюдь не всегда может считаться действительным эквивалентом Троицкой летописи, а в данном случае реконструкция не дает никаких дополнений к вышеприведенной фразе.

факт передачи Василием I в управление князю Свидригайло значительных территорий с городами Владимиром, Переяславлем, Юрьевом, Волоком, Ржевом и Коломной [45, 155], но дав протокольную запись этого события, составитель данной части Симеоновской летописи поместил рядом текст «Повести о нашествии Едигея», в котором данное событие получило развернутую политическую «корректировку». В этой редакции «Повести» было еще более четко подчеркнуто то обстоятельство, что Свидригайло был приглашен в Москву лишь в качестве военного специалиста («устроен к брани муж храбр, добр сын на ополчение, того ради и призваша его на Москву и вдаша ему гради мнози, мало не половину великого княжения Московского» [45, 157]). Вместе с тем «Повесть» давала понять, что приглашение это ни в какой мере себя не оправдало: репутация полководца оказалась ложной («на бег токмо силу показаша»), и поэтому передача «в одержание ляхов» половины московского княжества была большой ошибкой («сего же старца не похваляша»). Иначе оценивали факт перехода на сторону Москвы литовско-русской знати во главе с князем Свидригайло Ермолинская [46, 142], Типографская летописи [47, 174]⁴⁴, Московский свод конца XV в. [48, 237], «Хронограф» [45б; 229], Воскресенская [40а, 82] и Никоновская летописи [41, XI, 204]. Так, в Ермолинской летописи подробно сообщалось об этом событии, давалась информация о составе перешедшей на сторону Владимирского княжения большой партии литовско-русских феодалов, подчеркивалось их православие (здесь отсутствовали утверждения о том, что Свидригайло был католиком, «гордым ляхом» и т. д.), указывалось на тесную связь этих феодалов с определенными землями Литовской Руси.

Если перенести на карту те центры западнорусских земель, откуда прибыли светские и духовные феодалы

⁴⁴ «Июля 26 преиде великому князю служити из Литвы князь Шитригайло Ольгердович из Добрянска, с ним и же владыка Исакей, да с ним князь Патрикей Звенигородскы и князь Александр Звенигородский, из Путывля и князь Федор Александрович и князь Семен Перемышльскый и князь Михайло Хотетовскы и князь Урастай Меньскый, бояря Черниговские, Дбрянские и Стародубьские, Любутьские и Ярославские (Рославльские)». Близкие к этой информации сведения дают Типографская [47, 174], Воскресенская [40а, 82] и Никоновская летописи [41, XI, 204].

вместе с князем Свидригайло, мы будем иметь весьма значительную территорию великого княжества Литовского и Русского, на которой до недавнего времени действовали активные сторонники сотрудничества с Владимирским княжением, прежде всего комплекс брянско-черниговских земель: Брянск, Стародуб, Чернигов, Путивль, Хотень, расположенный между реками Сейм и Псел, или Хотмышль на Ворскле, кроме того, такие города, как Перемышль, Минск, Лобутин, Рославль литовский.

Весьма внушительной была эта группа по своему социальному составу: здесь были епископ брянский Исакий, многочисленные князья во главе с Свидригайло, большое количество бояр. Широкий охват литовско-русской территории, представленной данной группой феодалов, их высокое социальное и политическое положение в Литовско-Русском государстве, явные признаки их хорошей политической спаянности — все это свидетельствовало о том, что перед нами не случайный каприз политических авантюристов, а такое выступление значительной части западнорусских феодалов, которое было продолжением старой традиции их сотрудничества с феодалами Владимирского княжения⁴⁵, выступление, которое было тщательно организовано в Литве и согласовано с Москвой.

Таким образом, содержащаяся в поздних летописях информация о переходе Свидригайло на сторону Москвы в 1408 г. представляется более подробной, более объективной; очень похоже на то, что данная информация возникла вскоре после описываемого события, однако она все же не попала в Троицкую летопись, осуждавшую, как известно, московско-литовское сотрудничество,

⁴⁵ Не исключено, что переход на сторону Владимирского княжения князей Патрикеев Наримановича и Александра Патрикеевича был как бы продолжением их давних связей с Северо-Восточной Русью (Патрикеев был в Новгороде в 1397 г., Александр вел какие-то важные переговоры в Москве в 1396 г., а в 1402 г. выдал свою дочь Аграфену замуж за сына Дмитрия Донского — князя Можайского Андрея, являвшегося с 1389 г. патроном Белозерско-Ярославского края). Может быть, летописец, называя Патрикеев и Александра звенигородскими князьями, во-первых, фиксировал факт конфискации их стародубских владений [668, 179; 71; 179; 229, V, прим. 254], а во-вторых, сообщал о факте кратковременного владения этими князьями Звенигородом Московским, а стало быть, и о сохранении за ними соответствующего титула [176, 70, 179, 455].

а была воскрешена в более поздних сводах, как и другие летописные тексты, составленные на рубеже XIV—XV вв.

Различное освещение в разных летописях получило и такое важное событие, как битва на Ворскле (1399 г.), точнее, политическая подготовка к этой битве.

Так, в Троицкой летописи был текст, излагавший политические приготовления Витовта к схватке с «Тимур Кутлум», в частности, была фраза о том, что Витовт обещал Тохтамышу сделать его ордынским царем, а Тохтамыш обязывался передать Витовту московское княжение («Аз тя посажу в Орде на царство, а ты мя посадишь на княженьи на великое в Москве» [60, 450; 229, V, прим. 177])⁴⁶.

Весьма своеобразную трактовку этого этапа политической жизни Восточной Европы дала Симеоновская летопись. Из ее текста вытекало, что программу объединения всех русских земель выдвигал тогда не Витовт (поздние летописи приписывали ему эту заслугу), а Великое Владимирское княжение. Под 6907 (1399) г. Симеоновская летопись (воспроизводившая во многом Тверское летописание за эти годы) писала о том, что после заключенного в 1398 г. мира Москвы с Новгородом, а также достигнутого тогда же мира Москвы с Тверью «съединилася Рустии князи вси за един и бисть радость велика всему миру» [45, 143]. Именно эта консолидация русских князей позволила им противопоставить себя и свои политические планы Витовту и его широким политическим замыслам [45, 143; 42а, 165]. «Того же лета послаша князи Рустии грамоты разметные к Витовту» [45, 143]. Не удивительно поэтому, что изложение самой битвы было весьма кратким. Здесь подчеркивался факт военного поражения Витовта, упоминались убитые, говорилось о движении татар от Ворсклы к Днепру, но ни слова не было сказано о широкой обще-

⁴⁶ Приселков значительно расширяет эту информацию за счет использования Воскресенской летописи [60, 450]; однако полной уверенности в том, что текст Воскресенской летописи за 1399 г. повторял текст Троицкой, все же быть не может. Если бы текст Троицкой летописи за этот год был таким же, как текст Воскресенской, Карамзин привлек бы его, поскольку, излагая «Историю государства российского» данного периода, он опирался главным образом на Троицкую летопись.

русской программе Витовта, о его намерении вместе с Тохтамышем подчинить себе все русские земли.

Но если Симеоновская летопись молчала об этом, если очень глухо о политической подготовке битвы на Ворскле говорили Троицкая летопись и Рогожский летописец [60, 450; 42а, 165], то другие, более поздние летописи давали совершенно иную интерпретацию данному событию. Так, Новгородская IV летопись помещает на своих страницах «Слово о том, како бился Витовт с Ордою, с царем Темир-Кутлуем» [38, 384—386]. Рассказывая о военной подготовке Витовта к сражению на Ворскле, автор «Слова» не скрыл и тогдашних политических замыслов главы великого княжества Литовского и Русского (как мы знаем, тогда он уже был фактически провозглашен «королем Литвы и Руси»): «И похвалялся на Орду Витовт, глаголаше: „пойдем, пленим землю Татарскую, победим царя Темир-Коутлюя, возьмем царство его, и разделим корысть его, и посадим во Орде на царстве его царя Тахтамыша, а сам сяду на Москве, на великом княжении на всей Руской земли, а Великий Новгород и Псков мои будут“» [38, 385]. Оформлению предшествовали длительные дипломатические переговоры Витовта с Тохтамышем [38, 385]. Примерно такую же версию события дают Ермолинская летопись, правда, в несколько более сокращенном виде [46, 137], Типографская [47, 167—168], Воскресенская [40а, 72], «Хронограф» [45б, 423]. Наконец, почти целый трактат о битве на Ворскле 1399 г., о ее политической подготовке и результатах посвящает создатель Никоновской летописи [41, XI, 172—174]. Здесь также подчеркивалось, что Витовт имел самые широкие планы в вопросе подчинения себе всей русской земли. Составитель Никоновской летописи вложил в уста Витовта следующие слова: «Пойдем пленити землю татарскую, победим царя Темир-Кулюя, возьмем царство его и разделим богатство и имение его, и посадим во Орде на царстве его царя Тахтамыша, и на Кафе и на Озове, и на Крыму и на Азтаракани, и на Заяницкой Орде, и на всем примории и на Казани, и то будет все наше и царь наш, а мы не точию литовскою землею и польскою владети имамы, и Северою, и Великим Новым городом, и Псковом и Немцы, но и всеми великими княжениями русскими и со всех великих князей русских учнем дани и оброки имати, а

они нам покорятся и служат и волю нашу творять, якоже мы хотим и повеливаем им» [41, XI, 172]. Разумеется, многое в этих фразах Витовта было навеяно ходом идеологической борьбы середины XIV в., и тем не менее основа этих его высказываний, видимо, была исторически достоверна.

Но если мы данную трактовку политики Витовта 1399 г. (как политики объединения русской земли под эгидой главы Литовско-Русского государства) сопоставим с трактовкой данного политического момента, присутствовавшей в Троицкой, Симеоновской летописях и в Рогожском летописце, то увидим, что разница окажется довольно существенной.

Если в Троицкой и Симеоновской летописях Витовт как союзник «ляхов» и Тохтамыша противостоит единому фронту русских земель, во всяком случае Москве, Твери и Великому Новгороду, то в Новгородской IV, Ермолинской, Типографской, Воскресенской, Никоновской летописях Витовт выступает в роли сокрушителя Орды и объединителя русской земли, включая Москву, Новгород и Псков.

Разумеется, эти различия в трактовке событий 1399 г. не были простой случайностью. Они свидетельствовали о том, что Троицкая и Симеоновская летописи, осуждавшие московско-литовское сотрудничество, тем более ведущую роль Литвы в этом сотрудничестве, решили придать кампании 1399 г. значительно более скромный характер, чем она имела на самом деле.

Более поздние летописи, излагая ход событий 1398—1399 гг., сочли возможным воскресить то, что писалось об этом этапе политической жизни Восточной Европы в самом начале XV в., и писалось, вероятнее всего, под руководством митрополита Киприана. Витовт в качестве главы всех русских земель хорошо вписывался не только в политическую жизнь восточноевропейских государств 90-х годов, но, как мы видели ранее, и в литературно-идеологическую деятельность Киприана.

Уже из этих примеров становится очевидным, что Троицкая и Симеоновская летописи выдвигали свои трактовки важных этапов в политической истории Восточной Европы, в развитии московско-литовского сотрудничества, трактовку, отличавшуюся от той, которую мы находим в других летописных сводах, в частности

в Новгородской, Ермолинской, Типографской, Воскресенской, Никоновской летописях и др.

Но это далеко не единственные, далеко не самые характерные проявления идейных расхождений рассматриваемых летописных сводов. Весьма показательной в этом смысле является судьба в различных летописях таких памятников, как «Повесть о Куликовской битве» и «Повесть о нашествии Тохтамыша».

* * *

Все редакции летописной повести о Куликовской битве уже неоднократно оказывались предметом внимательного изучения исследователей. Ученых интересовала не только проблема конкретно-исторического содержания, не только проблема политической направленности данных литературных произведений, но и вопрос о тех или иных обстоятельствах возникновения этих памятников, вопрос об их возможных авторах.

Признавая вполне оправданным столь широкий, многосторонний подход к изучению данного цикла литературных произведений, мы считаем, что при рассмотрении всех упомянутых проблем особенно желательной оказывается определенная последовательность, в частности такая последовательность, при которой анализ идейно-политической направленности того или иного варианта нашего памятника предшествовал бы выявлению их автора, установлению времени их возникновения и т. д. Нам представляется, что такой порядок рассмотрения проблем обеспечивает более надежное решение вопроса о месте того или иного варианта «Повести» в тогдашней идеологической борьбе, а следовательно, и решение вопроса о конкретно-исторических обстоятельствах «рождения» той или иной редакции, вопроса о возможных авторах или редакторах различных вариантов интересующего нас литературного произведения.

Разумеется, это не значит, что определение времени возникновения той или иной редакции памятника, установление автора той или иной редакции не помогает лучше понять идеологическую направленность того или иного варианта «Повести», полнее раскрыть политическую платформу каждого варианта интересующего нас памятника.

И тем не менее начинать исследование цикла летописных повестей о Куликовской битве, видимо, более целесообразно с выявления идеологического стержня той или иной редакции, с определения политических установок каждой редакции «Повести». И если подходить к данному кругу этих произведений таким образом, то можно будет установить определенную линию «идеологического» родства рассматриваемых памятников.

Мы уже говорили о том, что «Задонщина» в ее ранней редакции была, видимо, исторически первым литературным произведением, отобразившим и прославившим Куликовскую битву. То обстоятельство, что «Задонщина» была создана сразу после этого знаменательного события, не только исключает, как нам кажется, возможность значительных искажений этим памятником реальной политической деятельности тех лет, но и позволяет считать, что данное литературное произведение довольно точно зафиксировало основные факты тогдашней политической жизни русских земель, в частности отметило участие в Куликовской битве князей как Залесской Руси, так и Руси Литовской, и вместе с тем подняло тему сотрудничества феодалов «запада» и «востока» русской земли на уровень последовательно разработанной политической программы.

И если, имея в виду этот тезис, говорить о линии «идеологического» родства «Задонщины» с последующими многочисленными летописными повестями о Куликовской битве, то более близкими ей окажутся те летописные редакции «Повести», которые так или иначе отстаивали необходимость общерусского единства в борьбе с Ордой, подчеркивали оправданность сотрудничества Залесской Руси с Русью Литовской (тексты редакций повести Ермолинской и Львовской летописей, тексты пространной редакции Новгородской IV, Софийской I, Типографской, Воскресенской и других летописей), а более далекими от «Задонщины» окажутся рассказы о Куликовской битве Симеоновской летописи, следовательно, и Троицкой летописи, в которых круг участников данного исторического сражения ограничен князьями одной Северо-Восточной Руси.

Попытаемся выяснить более подробно политические тенденции основных вариантов летописных повестей о Куликовской битве.

О политической платформе и вероятном времени возникновения пространной редакции мы уже говорили в других частях работы. Здесь можно лишь повторить наши общие выводы по данному вопросу. Мы считаем вслед за Шахматовым, что какой-то вариант пространной редакции «Повести о Куликовской битве» возник вскоре после этого события. А. А. Шахматов [430, 90—94, 183—190] думал, что он сложился в начале 80-х годов⁴⁷; нам представляется, что он был воспроизведен и расширен в начале 90-х годов XIV в. в связи с составлением «Летописца великого русского» (см. стр. 329—334 данной работы). В пользу такого предположения говорит не только значительная подробность этого рассказа о Куликовской битве, естественная для памятника, созданного вскоре после самой кампании 1380 г., но и политические акценты рассматриваемой редакции. Именно в обстановке политического сотрудничества Киприана, Василия и Витовта начала 90-х годов XIV в., взявших на вооружение общерусскую программу, именно в условиях сближения Тохтамыша, Ягайло и рязанского князя, в момент возникновения конфликта между Василием и Владимиром Андреевичем серпуховским могла возникнуть пространная редакция «Повести о Куликовской битве», в которой выдвигались концепция единства русских земель и доктрина тесного сотрудничества русских княжеств, осуждались контакты Тохтамыша, Ягайло и Рязани, но затушевывалась важная роль серпуховского князя Владимира Андреевича.

Что можно сказать о конкретном содержании пространной редакции «Повести», которую мы находим в Новгородской IV [38, 310—325], Софийской [39, 100], Типографской [47, 143—149] и Воскресенской [40а, 34—40] летописях. Разумеется, она отличалась от других редакций более полным раскрытием ряда важных сторон тогдашней политической жизни, ряда важных моментов в ходе кампании 1380 г. Здесь более подробно, чем в других редакциях, была охарактеризована политическая обстановка в Восточной Европе накануне Куликовской битвы, более детально раскрыта дипломати-

⁴⁷ А. А. Шахматов считал, что не только «Слово о Мамаевом побоище» возникло в начале 80-х годов, но что в это время была предпринята попытка создания особого летописного свода [430, 90—94, 183—190]. Ср. стр. 315—317 данной работы.

ческая подготовка к этому сражению как со стороны Мамай, так и со стороны Дмитрия Донского, полнее изложен ход военных действий, дан более глубокий анализ политических результатов достигнутой победы.

Весьма характерно, что здесь многочисленной и пестрой по этническому составу армии Мамай, «силам литовским и лятским», язычникам Ягайло, и полкам «поборника бессерменского» [38, 312] Олега рязанского противопоставлена этнически однородная армия консолидированной «православной Руси».

В данной повести речь шла не только о мобилизации воинов Московской Руси, о привлечении Владимира Андреевича и других князей Владимирского княжения, но и о широком использовании полков Андрея полоцкого и Дмитрия брянского. Здесь определенно подчеркивался общерусский характер той армии, которую Дмитрий Донской выставил против Мамай. «Князь же исполни свои полки великие и вся князи русския» [38, 318]. «И от начала миру, — читаем мы в другом месте „Повести“, — не бывала такова сила Русских князей и воевод местных, яко же при сем князи...» [38, 314].

Если учесть, что автор «Повести» уже рассказал о прибытии к верховью Дона литовско-русских князей («прибыли издалеча велиции князи Ольгердовичи... послужити, князи Андрея Полочкой и с Плесковици, брата его князь Дмитрий Брянский со всеми своими моужи» [38, 314]), то станет более понятным его утверждение о том, что под знаменами князя Дмитрия были собраны «чада издалеча от восток и запад». Смысл этой последней фразы может быть лучше понят, если рассматривать ее как своеобразный ответ князя Дмитрия на тогдашние политические претензии Мамай.

Данная редакция повести не скрывала того, что инициатором создания коалиции, направленной против консолидированной Руси, выступал сам Мамай, не скрывала и того, что Мамай, стремясь восстановить свою власть над всей Русью, ссылался на масштабы завоеваний Батыя («Пойдем на русского князя, на всю силу русскую, якоже при Батые было») [38, 314].

Если же мы вспомним, что «Задонщина», рассказывая о завоевательных планах Мамай, также указывала на Батыя как олицетворение успешного овладения всей русской землей (Батый «всю русскую землю... пленил

от востока и до запада» [17а, 540]), то мы получим основания для того, чтобы рассматривать утверждение данной редакции повести о мобилизации русских воинов на борьбу с Ордой («от востока и запада русской земли») как одно из проявлений полемики между Дмитрием и Мамаем по поводу дальнейших судеб всей русской земли [38, 311, 318].

Но, судя по данной редакции «Повести», Дмитрий Донской полемизировал не только с Мамаем, но также с его союзниками, с литовским князем Ягайло и рязанским князем Олегом.

Автор повести признает право Дмитрия Донского выступить лидером консолидации восточных и западных земель Руси в борьбе с Ордой, называет его «великим князем всея Руси» [38, 319], в то же время создатель пространной редакции делает все, чтобы лишить этого права Ягайло (хотя в тот период сам Ягайло вместе с Олегом рязанским, видимо, претендовал на раздел русских земель в свою пользу — об этом говорит Никоновская летопись) [41, XI, 48].

Не случайно поэтому в «Повести» Ягайло трактуется то как пособник татар и противник христианства («И Ягайло князь Литовский прежде со всею силою литовскою Мамаю пособляти, татаром поганым на помощь, а крестьяном на пакость» [38, 332]), то как лидер языческой Литвы [38, 312], то как глава «сил литовских и лятских» [38, 311]. Не случайно суровой критике подвергался и «поборник бессермен», «новый Иуда» и «ехидна» Олег рязанский [38, 314, 318, 323—324] — «кровопивца крестьянский» [38, 314].

Развенчав, таким образом, Мамаю, Ягайло и Олега рязанского, вскрыв их захватнические планы в отношении русской земли, автор «Повести» показал реальные силы, оказавшиеся способными отстаивать русские княжества; ими оказались Владимирское княжение во главе с Дмитрием Донским, князя Литовской Руси Андрей и Дмитрий Ольгердовичи, а также представители русской церкви.

Весьма близкую к данной концепции хода кампании 1380 г. дает и менее пространная редакция «Повести», которую мы находим в Ермолинской и Львовской летописях. Данная редакция, по-видимому, действительно являлась извлечением, как утверждал Шахматов, из

пространной редакции «Повести»⁴⁸: она не содержала сколько-нибудь значительных положений, отличавших ее от пространной редакции. Здесь была дана та же оценка событий 1380 г., в том же плане раскрывалась подготовка к Куликовской битве как со стороны Орды, Ягайло, — лидера литовских и лятских сил, и Олега рязанского («врази наша: татарове, рязани и Литва») [45а, 202—203; 46, 126], так и со стороны Дмитрия Донского (были названы его литовско-русские союзники — Андрей Ольгердович полоцкий, Дмитрий брянский, Дмитрий во-лынский, Александр Пересвет «бысть прежде боярин брянский»).

Причиной надвигавшегося сражения оказывалась не просто месть Мамай московскому князю за проигранную битву на реке Воже, а желание восстановить былую власть Орды над Русью, обеспечить регулярное наступление «выхода» в размерах, существовавших еще при Джанибеке [45а, 202, 46, 126; 38, 314].

Сама битва была изложена довольно схематично, о жертвах говорилось кратко. Подробно было рассказано об активном участии в сражении Дмитрия Донского, названо имя Владимира Андреевича, хотя фланговый удар, осуществленный им в ходе сражения, упомянут не был. Сообщалось о попытке московского князя Дмитрия отомстить рязанскому князю Олегу Ивановичу за то, что «силу свою посылал Мамаю на помощь» и «мосты на реках переметывал» (говорилось о последующем примирении князя Дмитрия с Рязанью в связи с челобитием рязанцев) [45а, 201].

Здесь сказалась отраженная роль церкви. Хотя в этом памятнике о самом Киприане в связи с Куликовской битвой речи не было, участие отдельных московских иерархов в политической подготовке битвы все же было отмечено; так, епископ Герасим благославлял Дмитрия и его войско при их следовании в район Куликова поля. Сергей Радонежский прислал грамоту, «веля ему (князю Дмитрию. — И. Г.) битися с татары» [45а, 201].

⁴⁸ А. А. Шахматов [430, 137—138] считал, что «Повесть» Ермолинской летописи была сокращением «Летописной повести», находившейся в летописном своде 1479 г., а этот рассказ о Куликовской битве в своде 1479 г. был сокращением «Повести», помещенной в Софийской I и Новгородской IV летописях.

В самой краткой редакции «Летописной повести», которую мы находим в Симеоновской летописи (следовательно, и в Троицкой [45, 129—130; 60, 419—421]), дана, в сущности, протокольная запись самых главных событий, сделанная рукой летописца явно промосковской ориентации. Хотя в редакции Симеоновской летописи противопоставлена «вся земля Русская» «всей земле Половецкой и Татарской» (такое противопоставление характерно для всех редакций и, видимо, восходит к «Задонщине»), тем не менее рассказ ведется от имени летописца, политический кругозор которого не выходит за рамки собственно Московской Руси. Это видно из характеристики стратегии Мамае, который просто мстит московскому князю за поражение на реке Воже. Это видно из умолчания факта участия в Куликовской битве литовско-русских князей Андрея и Дмитрия Ольгердовичей и даже князя Владимира Андреевича, связанного с Литовско-Русским государством. В этой редакции «Летописной повести» были опущены сведения об активной деятельности серпуховского князя Владимира Андреевича, хорошо известные как «Задонщине», так и другим редакциям данной «Повести» (в частности, не был упомянут фланговый удар по армии Мамае, нанесенный им в решающий момент боя). Промосковская ориентация данного летописного памятника видна также из тенденциозно отредактированного списка убитых на Куликовом поле. В этом «просеянном» списке жертвами оказываются главным образом князья и бояре Северо-Восточной Руси, а упомянутый здесь Михаил Бренков не был назван родственником волынских князей, в отношении обозначенного в списке чернеца Троицкого монастыря Александра Пересвета не было сказано, что по своему происхождению он являлся брянским боярином [45, 129—130; 60, 419—421].

В рассматриваемом кратком варианте «Летописной повести» о Куликовской битве был затронут и сюжет о Рязани. Сопоставление информации о поведении рязанского князя во всех трех редакциях «Повести» убеждает в том, что рассказ Симеоновской (Троицкой) летописи изложен в более миролюбивых тонах, чем рассказы о том же рязанском сюжете в двух других распространенных редакциях «Повести» (Новгородской IV, Софийской I, Типографской, Воскресенской,

Ермолинской, Львовской летописей). Если в распространенных вариантах «Повести» активными противниками Дмитрия Донского, Андрея и Дмитрия Ольгердовичей выступают не только Мамай, Ягайло, но и «изменник», «ехидна», «пособник бессерменский» Олег рязанский [38, 311—312, 316; 46, 126], то в кратком варианте Симеоновской (Троицкой) летописи роль Олега рязанского в борьбе с Дмитрием московским оказывается более пассивной.

Внимание составителя данной редакции сосредоточено не столько на «посредничестве» Олега рязанского в установлении антимосковского союза Мамай и Ягайло, не столько на его участии в самой борьбе против Дмитрия Донского (так, здесь отсутствовала информация о посольстве Епифана Кореева к Мамаю и Ягайло [38, 312], о попытках участия Олега рязанского в разделе земель Владимирского княжения [41, XI, 48]), сколько на урегулировании рязанско-московских отношений, происшедшем вскоре после Куликовской битвы. Создатель краткого варианта «Повести» сохранил только сведения о примирении Москвы с Рязанью, достигнутом якобы по инициативе самих рязанских феодалов [45, 130].

Миролюбивый по отношению к Рязани тон краткой редакции «Повести» объясняется не близостью ее к «Задонщине» (которая, как мы знаем, замалчивает конфликт Рязани с Москвой), а той совершенно определенной политической обстановкой, в которой происходило редактирование пространной «Повести о Куликовской битве» и создание на ее основе краткого варианта, обнаруживаемого теперь в Троицкой и Симеоновской летописях ⁴⁹.

⁴⁹ Дело в том, что в период обострения московско-литовских и московско-ордынских отношений [1406—1408 гг.], в момент создания Троицкой летописи связи Москвы с Рязанью были вполне добрососедскими, можно сказать больше: Москва и Рязань выступали тогда единым фронтом как против Витовта и Ягайло, так и против Орды. Под 1408 г. в Симеоновской летописи [45, 154] мы читаем: «Пронский князь Владимирич Иван, пришед с Татары, великого князя Федора Олговича с Рязани сыгнал, он же беже за Оку, а князь Иван себе на обою княжению. Потом же прииде на него князь великий Федор Олгович ратью и быть им бои на реце на Снядве июня в I, и поможе Бог князю Ивану Пронскому... Того же лета помиришася князи Рязанские: Федор с Иваном» [45, 154, 150 и сл.]. В Новгородской IV летописи под 1408 г. находим сведения о том, что рязанский князь вел тогда вооруженную

В кратком варианте «Повести» о Киприане в связи с Куликовской битвой, естественно, не было сказано ни слова. Об этом иерархе в Троицкой летописи сообщалось лишь то, что он через несколько месяцев после Куликовской битвы был приглашен Дмитрием Донским из Киева в Москву «на митрополию» [60, 421; 45, 120—130]⁵⁰. Таким образом, текст «Повести», находившийся в Симеоновской (Троицкой) летописи, свидетельствовал о том, что ее автор или редактор стремился трактовать куликовскую победу как успех только Московской Руси, как событие, имевшее значение главным образом для русских земель Владимирского княжения. Русские земли великого княжества Литовского, Русского, Жемайтского в данной «Повести» оказались в стороне от борьбы с Ордой.

Выявленные идейные расхождения различных редакций «Повести» должны быть использованы как при решении вопроса о времени возникновения каждой редакции, так и при рассмотрении проблемы авторства той или иной редакции.

Если попытаться определить время создания упомянутых редакций «Повести о Куликовской битве» в зависимости от их идеологической направленности, то можно прийти к нижеследующим выводам.

Так, пространная редакция «Летописной повести» с апологетикой сотрудничества князей Владимирского княжения и Литовской Руси, с отстаиванием единства русской земли, а также резкой критикой Мамаея, Ягайло и Олега рязанского, редакция «Повести» с замалчиванием выдающихся заслуг Владимира Андреевича была

борьбу против ордынцев — противников Москвы и московско-рязанского сотрудничества: «И татарове бидася с князем Рязанским Федором Ольговичем» [38, 405—406].

⁵⁰ Карамзин [229, V, прим. 60] подчеркивал, что, по сведениям Троицкой и всех других летописей, кроме Никоновской, московский князь Дмитрий пригласил Киприана в Москву, послав за ним игумена Федора. На самом деле эти сведения сообщали не все летописи, не все известные нам источники. Так, например, Суздальская летопись по академическому списку утверждала, что Киприан приехал сам в Москву на свою митрополию: «Прииде из Царьграда на Русь преосвященный Киприан митрополит на свою митрополию на Москву, князь же великий Дмитрий Иванович прия его с великой честью» [36, 536]. Об этом же сообщала приписка к кирилло-белозерскому списку «Задонщины»: «В лето 6889 (1381)... прииде из Царьграда на Русь Киприан митрополит, год спустя по Задонщине...» [17а, 550].

создана тогда, когда Киприан находился в тесных контактах с московским князем Василием и его тестем Витовтом, когда отношения с рязанским князем были враждебными, а с серпуховским князем — натянутыми. Поскольку такая ситуация в политической жизни Восточной Европы существовала в начале 90-х годов XIV в., мы считаем, что основа пространной редакции «Летописной повести», как уже подчеркивалось, возникла именно в это время.

Что касалось краткой редакции «Повести», для которой были характерны, как мы знаем, отход от общерусской программы, осуждение московско-литовских контактов и одновременное сглаживание московско-рязанского конфликта и в которой Куликовское сражение рассматривалось как повторение битвы на Воже и в связи с этим провозглашалось не столько успехом прежде всего Московской Руси, то данный вариант «Повести» возник, видимо, в ту пору, когда в отношениях между Василием Дмитриевичем московским, с одной стороны, и литовско-русскими князьями — с другой, существовала крайняя холодность и даже враждебность, когда эпоха московско-рязанских споров уступила место периоду тесного сотрудничества между Москвой и Рязанью. Такая политическая конъюнктура сложилась в Восточной Европе после смерти митрополита Киприана, точнее, после поспешного ухода Свидригайло с московской территории осенью 1408 г.

Нам представляется, что краткая редакция «Повести о Куликовской битве» возникла в 1409 г. в связи с подготовкой Троицкой летописи, возникла как результат радикальной переделки пространной редакции «Повести», осуществленной в соответствии с существовавшими тогда в Москве политическими настроениями.

Если иметь в виду ту редакцию «Повести о Куликовской битве», которую мы находим в Ермолинской и Львовской летописях, то она является, как верно считал А. А. Шахматов, извлечением из пространной редакции (именно извлечением, а не радикальной переделкой, какой была редакция Троицкой и Симеоновской летописей), поскольку текст «Повести» Ермолинской и Львовской летописей сохранил весь комплекс фактов пространной редакции, а также всю ее политическую концепцию.

Мы уже отмечали, что подобная трактовка главных этапов становления памятников куликовского цикла не является общепринятой в исторической науке. Известно, что М. Д. Приселков [354, 357; 113, 110], М. Н. Тихомиров [385, 345—346] и некоторые другие историки иначе смотрели на эволюцию произведений данного комплекса. Развивая их взгляды, совсем недавно выступила со специальной работой на эту тему М. А. Салмина, предложившая много новых и весьма интересных аргументов в пользу такой трактовки этой проблемы [354, 344—384]. Поскольку данная работа представляет собой попытку дать наиболее развернутое обоснование взглядов, не совпадающих с нашими, мы считаем необходимым остановиться на исследовании М. А. Салминой более подробно.

Каковы главные положения статьи М. А. Салминой? Каковы главные доводы ее концепции? Как мы уже знаем, она считает краткую редакцию Троицкой и Симеоновской летописей первичным памятником куликовского цикла. Что касалось пространной редакции, присутствующей теперь в Новгородской IV и других летописях, то М. А. Салмина склонна признавать временем ее создания конец 30-х — начало 40-х годов XV в. [354, 371, 382]⁵¹.

Что касается «Задонщины», то хотя автор прямо не отрицает предложенной А. В. Соловьевым и В. Ф. Ржигой датировки первоначального варианта этого памятника, тем не менее он выдвигает такую гипотезу, которая превращает это произведение (как его отдельные изводы, так и архетипы изводов) в своеобразный придаток летописных повестей о Куликовской битве [354, 383]. Отстаивая свои положения, автор выдвинула, естественно, ряд аргументов и доводов. Так, М. А. Салмина провозгласила существование тесной связи между идейным содержанием «Повести» и политической обстановкой в русских землях на рубеже 30—40-х годов XV в. [354, 371, 382]. Она утверждает, что имевшиеся в «Повести» выпады против Орды Мамай, литовского князя Ягайло

⁵¹ Данную точку зрения поддерживает, видимо, и Ю. Н. Бегунов [354, 503].

и рязанского князя Олега якобы перекликались с той скрытой полемикой, которую вели силы феодальной концентрации Руси как против своих внешних противников (Орды Улуг Мухаммеда, Литвы Сигизмунда и Казимира), так и против своих внутренних недругов — сторонников сохранения феодальной раздробленности в русских землях. Кроме того, М. А. Салмина обнаружила в самой пространной редакции «Повести» также конкретно-исторические подробности, которые, по ее мнению, давали все основания для датировки данного памятника рубежом 30—40-х годов XV в.

Настаивая на данной датировке, автор ссылаясь на то обстоятельство, что названный «Повестью» в числе убитых на Куликовом поле Федор тарусский на самом деле, как сообщала Симеоновская летопись, был убит татарами у Белева в 1437 году [354, 371, 382]. Но, несмотря на правильность выдвинутого общего принципа датировки тех или иных памятников древнерусской литературы, несмотря на попытку увязать летописную «Повесть» о Куликовской битве с фактами ордынской и польско-литовской интервенции 30—40-х годов XV в., а также на довольно четкую информацию Симеоновской летописи об убийстве в 1437 г. тарусского князя Федора, мы считаем выдвинутые М. А. Салминой аргументы недостаточно убедительными. Прежде всего о тарусском князе Федоре, поскольку упоминание Симеоновской летописью гибели этого князя в 1437 г. [45, 190] является едва ли не основным аргументом в пользу датировки «Летописной повести» концом 30-х — началом 40-х годов.

Из информации Симеоновской летописи не вытекает, что погибший в 1437 г. князь Федор был единственным тарусским князем, носившим это имя. Политическая жизнь Москвы, Твери, Рязани второй половины XIV—XV в. свидетельствует о том, что в каждом княжеском доме существовали излюбленные имена, которые переходили от отца к сыну или от деда к внуку и т. д. (так, в Москве, как известно, существовал не один князь Иван и не один князь Василий, в Твери не один Александр и Михаил, в Рязани не один Иван и т. д.). Видимо, Тарусское княжество в этом смысле не отличалось от других русских княжеств. Существование в Тарусе князя Федора в 30-е годы XV в. отнюдь не исключало существования там князя с таким же именем в 70-е годы XIV в.

Разумеется, что подобное предположение требует подтверждений.

Такие подтверждения мы находим в актовом материале феодальной Руси конца XIV—XV в., который почему-то оказался вне поля зрения М. А. Салминой. Мы прежде всего имеем в виду хорошо известное нам окончание рязанского и московского князей 1381 г. [16, № 10], а также рязанско-московский договор 1402 г. [16, № 19] и ряд других документов XV в.

На основании изучения текстов этих dokonчальных грамот мы можем говорить не только о существовании тарусского князя Федора накануне Куликовской битвы, но и о линии поведения тарусских князей на протяжении 70—90-х годов XIV в. Зафиксированный актовым материалом факт тогдашних колебаний тарусских князей между Рязанью и Москвой является, по сути дела, косвенным подтверждением сотрудничества Тарусского княжества с Дмитрием Донским, сотрудничества накануне и во время Куликовского сражения.

Обратимся к имеющейся в нашем распоряжении достоверной информации. Мы точно знаем, что тарусские князья участвовали вместе с Дмитрием Донским и другими русскими князьями в знаменитом тверском походе 1375 г. [42а, 110—112; 40а, 22; 229, V, 21]⁵². Мы знаем также, что в 1392 г. Тарусское княжество было «возвращено» Великому Владимирскому княжению в результате переговоров Василия I с Тохтамышем⁵³. Санкционирование в 1392 г. передачи московскому великому князю Тарусского княжества, союзника Москвы в 1375 г., свидетельствовало о том, что в политической жизни этого княжества на протяжении 15—17 лет (1375—1392) действительно происходили какие-то важные перемены. Особенно значительными эти перемены оказались в годы размолок Рязани с Москвой.

⁵² В числе участников тверского похода источники называют князя Ивана тарусского [42а, 110—112; 40а, 22, V, 21]. Известно, однако, что Иван Константинович тарусский имел брата Семена Константиновича Оболенского [42, III]. Не исключено поэтому, что грамота 1381 г., говоря о князьях тарусских, имела в виду как Ивана тарусского, так и Федора тарусского (Семена Константиновича она назвала бы князем Оболенским).

⁵³ Судя по dokonчальной грамоте Василия I и князя Владимира Андреевича, Таруса в 1390 г. все еще оставалась вне сферы московского влияния [16, № IX, 38; 277, 88—89].

Так, если во время тверского похода рязанский князь Олег выступал еще политическим сторонником Москвы (он участвовал в заключении договора 1375 г.), то в дальнейшем, по мере приближения к Куликовской битве, он все больше отдалялся от Дмитрия Донского, оказавшись в лагере его врагов — Мамае и Ягайло⁵⁴. Но если таким был политический курс Рязани, то линия поведения тарусских князей, насколько она поддается выявлению, оказалась несколько иной. Видимо, несмотря на наметившееся в конце 70-х годов XIV в. сближение рязанского лидера с Ордой и Литвой, тарусские князья продолжали ориентироваться в период кануна Куликовской битвы больше на Москву, чем на Рязань. Данное обстоятельство становится очевидным из московско-рязанского договора 1381 г., заключенного, как мы знаем, вскоре после Куликовской битвы в обстановке торжества Дмитрия Донского и создания им широкого антиордынского фронта русских княжеств. Именно тогда Дмитрий Донской счел нужным купить мир и союз с Рязанью путем уступки князю Олегу некоторых территорий правого берега Оки, в частности земель, примыкавших к Тарусе. В этом договоре 1381 г. фиксировались, как известно, новые границы между Рязанским и Московским княжествами по реке Оке, вместе с тем здесь отмечалось, что до недавнего времени граница между Рязанью и Москвой имела иные очертания. В докончальной грамоте 1381 г. говорилось по этому поводу следующее: «А что на Рязанской стороне за Окою, что доселе потягло к Москве, поче Лопасна, уезд Мьстиславль, Жадене, городище, Жадемль, Дубок, Броднич с месты как ся отступил князи торусские Федору Святославич, та места к Рязани» [16, № 10; 209, 163—164].

Мы видим, таким образом, что до недавнего времени часть приокских территорий находилась фактически в распоряжении Дмитрия Донского. Эта ситуация возникла, возможно, еще тогда, когда рязанский и тарусский князья выступали союзниками московского князя (во время тверского похода), а вероятнее, несколько позднее, когда рязанский князь, сдерживаемый Ордой, стал

⁵⁴ В отходе Олега рязанского от Москвы, видимо, сыграло роль происшедшее осенью 1378 г. вторжение Мамае на территорию Рязанского княжества [41, XI, 43].

проявлять все бóльшую холодность к Москве, а тарусский князь Федор вместе с новосильским князем Романом продолжал сохранять верность Москве⁵⁵. При этом, видимо, сложилась обстановка, при которой наиболее эффективной формой защиты Тарусского княжества от территориальных притязаний рязанского князя Олега оказалась передача ряда земель, примыкавших к Тарусе, в верховное владение Дмитрия Донского. В момент заключения рязанско-московского договора 1381 г. положение изменилось. Теперь глава Владимирского княжения, добиваясь мира и союза с Рязанью, возвращали или передавал рязанскому князю ряд приокских территорий, примыкавших к Тарусскому княжеству. Акт передачи этих земель Москве, осуществленной ранее тарусским князем Федором, в этих условиях был аннулирован [16, № 10]. Судя по тексту докончальной грамоты 1381 г., это произошло тогда, когда самого Федора тарусского уже не было в живых (только так можно понимать утверждение грамоты о том, что территориальная уступка Москве произошла при тарусском князе Федоре; если бы последний в 1381 г. был жив, составитель грамоты нашел бы другой способ датировать данное событие).

Таким образом, если передача тарусских земель произошла при жизни тарусского князя Федора, где-то накануне Куликовского сражения, если в 1381 г. князя Федора уже не было в живых, то информация «Летописной повести» о гибели Федора тарусского на Куликовом поле оказывается далеко не такой мифической, какой ее хотела бы видеть М. А. Салмина. О том, что Федор тарусский был реальной исторической личностью 70-х годов XIV в., что именно при нем незадолго до Куликовской битвы совершилась передача ряда приокских территорий Москве, свидетельствует неоднократное возвращение московских актов XV в. к данному событию. Так, подробно вспоминало об этом факте докончание рязанского князя с московским в 1402 г. [16, № 19, 53].

⁵⁵ Сотрудничество Москвы с тарусскими и новосильскими князьями накануне и во время Куликовской битвы подтверждается их участием в тверском походе 1375 г. (участниками кампании были Иван тарусский, Роман новосильский [229, V, 21; 40а, 22], в сражении на Куликовом поле [38, 486], а также соответствующими указаниями докончальной грамоты 1402 г. [16, № 19, 53]).

Весьма показательно, что составители договорных грамот 1434, 1447 гг., которые должны были хорошо знать современного им Федора тарусского, убитого в соответствии с сообщением Симеоновской летописью под Белевом в 1437 г. [45, 190], все же настойчиво вспоминали того прежнего Федора тарусского, который выступал в dokonчальной грамоте 1381 г. в качестве инициатора территориальной уступки в пользу Москвы.

Так, мы видим, что в 1434 г. воскрешал давнего Федора тарусского галицкий князь Юрий Дмитриевич, являвшийся тогда обладателем Великого Владимирского княжения [16, № 33, 84—85], видим также, что в 1447 г. возвращался к памяти Федора тарусского 70-х годов XIV в. и московский князь Василий Васильевич, заключая dokonчание с рязанским князем Иваном Федоровичем [16, № 47, 143].

Весьма характерно, что договорная грамота Ивана III, государя всея Руси, и литовского князя Александра проявляла одновременный интерес к двум историческим деятелям рубежа 70—80-х годов XIV в., с именами которых было так или иначе связано установление определенных политических границ. Речь шла уже не только о Федоре тарусском, но и о его современнике — князе Кейстуте, тогдашнем лидере великого княжества Литовского [16, № 83, 330]. Если учесть, что грамота упоминала параллельно и других удельных князей, современников Федора и Кейстута, то реальность существования тарусского князя Федора в 70-е годы XIV в. окажется еще более очевидной.

Сосредоточив все внимание на гибели Федора тарусского в 1437 г., Салмина не объяснила того обстоятельства, почему «Летописная повесть», возникшая якобы на рубеже 30—40-х годов XV в., упомянула в перечне жертв Куликовской битвы не только «недавно» погибшего Федора тарусского, но и таких «покойников» 90-летней давности, как Дмитрий Монастырев (ум. в 1378) и Дмитрий Минич (ум. в 1368 г.). Между тем тот факт, что все эти деятели, умершие якобы в разное время, все же были включены в один список убитых на Куликовом поле, должен был найти в исследовании М. А. Салминой какое-то истолкование. При рассмотрении этого вопроса она ограничивается признанием лишь того обстоятельства, что имя Федора тарусского попало

в «Летописную повесть» одновременно с именами Дмитрия Минича и Дмитрия Монастырева, что все «эти имена попали в Летописную повесть при ее сложении» [354, 372]. Но если с этим положением, видимо, следует согласиться, то с выдвинутой ею конкретной датировкой возникновения «Повести» согласиться нельзя. Утверждение М. А. Салминой о том, что «Летописная повесть» возникла после 1437 г., не находит, как мы видим, подкрепления в других источниках того времени.

Таким образом, попытка М. А. Салминой использовать информацию Симеоновской летописи о гибели Федора тарусского в 1437 г. в качестве едва ли не главного аргумента для датировки «Летописной повести», а вместе с тем и общей концепции развития памятников куликовского цикла [354, 351, 371—372, 382—383] оказалась недостаточно обоснованной.

Малоубедительны и другие доводы автора уже по той причине, что почти все они так или иначе были связаны с использованием информации о гибели Федора тарусского в 1437 г. и полным игнорированием сведений актового материала конца XIV в.

Следует признать, правда, что автор выдвинул в своей работе ряд верных общих положений, однако далеко не всегда эти положения были использованы им с должной последовательностью.

Так, принятый автором критерий для датирования того или иного памятника древнерусской литературы представляется правильным: действительно, установление своего рода «параллелизма» между идейной направленностью рассматриваемого произведения и ходом политической жизни стран Восточной Европы в момент предполагаемого возникновения данного памятника кажется весьма серьезным аргументом в пользу той или иной его датировки.

Более того, подчеркивание автором того обстоятельства, что «Летописная повесть» отражала якобы не столько феодальную войну в русских землях 30—40-х годов XV в., сколько скрытую интервенцию Орды и польско-литовского государства на территорию феодальной Руси, могло бы показаться нам особенно убедительным аргументом, поскольку такая постановка вопроса перекликается с нашими собственными выводами [169, 129—135]. И тем не менее вопреки мнению Салминой мы

должны признать, что идеологическая концепция «Летописной повести», конкретно-историческая канва этого памятника плохо вписывались в политическую обстановку 30—40-х годов XV в.

Автор пытался увидеть в острой критике рязанского князя Олега скрытую полемику между враждовавшими княжескими группировками, между «партией» Василия II и группировкой галицких князей [354, 374]. Но такая трактовка показалась самому автору малоубедительной, поскольку обе конкурировавшие группировки олицетворяли, в сущности, два варианта «централизации» феодальной Руси [169, 133—136]. Салмина правильно подчеркнула, что «Дмитрий Шемяка также мог претендовать на роль объединителя русской земли» [354, 376]. Но если это так, если попеременно с Рязанью заключали союз то галицкие князья (например, в 1434 г. [16, № 33, 84—85]), то московские князья (например, в 1447 г. [16, № 47, 143]) и заключали этот союз во имя консолидации русской земли, какой смысл могла иметь открытая критика союзного им Рязанского княжества или завуалированное обвинение в сепаратизме тех сил, которые на самом деле выступали за единство Руси?

М. А. Салмина выдвинула в рассматриваемой работе и другие, в достаточной мере дискуссионные положения. Так, отнюдь не бесспорными кажутся ее утверждения о том, что не «Задонщина» оказала влияние на «Летописную повесть», а, наоборот, «Летописная повесть», возникшая после 1437 г., определила якобы архетип различных вариантов «Задонщины» [354, 376—383, прим. 162]. Кажется сомнительным также тезис автора о том, что «Летописная повесть», созданная якобы на рубеже 30—40-х годов XV в., оказала значительное воздействие и на «Сказание о Мамаевом побоище».

Создается впечатление, что автор, создав свою концепцию возникновения «Летописной повести» и развития памятников всего куликовского цикла на весьма узкой источниковедческой базе (в сущности, на основе одной информации Симеоновской летописи о гибели Федора тарусского в 1437 г.), в дальнейшем вынужден был ради спасения своей концепции прибегать к «насилию» над другими памятниками той эпохи. В частности, М. А. Салмина вынуждена была объяснять факты идейной и литературной близости «Задонщины», «Сказания» и «Лето-

писной повести» тем, что возникающая, по ее мнению, в 30—40-х годах XV в. «Летописная повесть» оказала якобы решающее воздействие на «Задонщину» и «Сказание», а отнюдь не тем, что все эти памятники имели одну историческую основу, что сближение между ними или удаление их друг от друга объяснялось не столько заимствованием различных литературных форм и штампов, сколько реальным ходом политической жизни в момент создания того или иного произведения этого цикла, повторением уже существовавшей ранее политической ситуации или созданием новой политической обстановки в Восточной Европе.

Так, говоря об исторических источниках «Летописной повести», автор называет прежде всего краткую редакцию Троицкой повести, не отрицая, впрочем, использования и таких памятников, как «Повесть об Александре Невском», «Чтение о Борисе и Глебе», «Слово на Рождество Христово», «О пришествии волхвов» и др. [354, 365—369].

Что касается первого и основного для Салминой источника, именно краткой редакции «Повести» Троицкой летописи, то здесь ей пришлось столкнуться со значительными разногласиями в исторической литературе по данному вопросу. Если Приселков и Тихомиров оказывались ее союзниками, то Шамбинаго и Шахматов — противниками. Но поскольку первоначально Шахматов (в 1901 г.) считал первичным памятником о Куликовской битве краткую редакцию, а вторичным — пространную редакцию и лишь позднее под влиянием трудов Шамбинаго отказался от прежней своей точки зрения, высказавшись в 1910 г. за первичность пространного варианта рассказа о Куликовской битве (им он считал «Слово о Мамаевом побоище» [430, 183—184]) и вторичность краткого варианта Троицкой и Симеоновской летописей, то Салмина приняла в число своих союзников и раннего Шахматова, сосредоточив весь огонь критики на взглядах Шамбинаго, а вместе с тем и на взглядах зрелого Шахматова — Шахматова 1910 г.

В обоснование своего тезиса о первичности пространной редакции и вторичности краткой С. К. Шамбинаго выдвинул шесть аргументов [423, 81—83].

В первом обосновании своего тезиса он противопоставлял краткую редакцию Симеоновской летописи про-

странной редакции Троицкой (на основании неверного истолкования фразы Карамзина Шамбинаго допускал, что в Троицкой летописи находилась пространная редакция). М. А. Салмина обоснованно критикует С. К. Шамбинаго за это допущение, хотя доказанное другими источниками и подчеркнутое ею тождество Симеоновской и Троицкой летописей на протяжении 1177—1390 гг. еще не означало, что краткая редакция Троицкой — Симеоновской являлась древнейшей.

Второй пункт доказательств Шамбинаго касался списка убитых. Хотя Шамбинаго признавал, что краткая редакция давала «имена убитых... с пропусками против летописной повести, но давала эти имена таким образом, что они по порядку и по количеству вполне соответствуют указанным выше — Троицкой (напечатанной) летописи, где Повесть безусловно сокращена» [423, 82]. Помня о Федоре тарусском, вставленном в «Повесть» значительно позднее, М. А. Салмина решительно возражает против этого аргумента С. К. Шамбинаго. Во-первых, Шамбинаго спутал действительную Троицкую летопись с той напечатанной Суздальской летописью [36, 489—540], которая Троицкой летописью не являлась. Во-вторых, текст Троицкой и Симеоновской летописей действительно отличался большой краткостью по сравнению с пространной редакцией, но Шамбинаго это «ошибочно» считал признаком сокращения, сохранившим «порядок и количество имен», а следует видеть в этом тексте первичный список, созданный на основе Синодика XV в. [354, 362].

Что касалось Суздальской летописи, и в частности ее статьи 1380 г., то она действительно является сокращением, но, судя по тексту, сокращением не краткого варианта повести, а пространного. Как ни мала оказалась статья 1380 г. в указанной летописи, она обнаруживала следы общерусской программы, характерной для пространной редакции. Кроме того, именно в этой летописи мы находим информацию о том, что Киприан в 1390 г. стал митрополитом в Москве и Галиче (общая характеристика данной летописи дана на стр. 340—341 данной работы).

Что касалось Синодика, в частности двух его вариантов (раннего Синодика и Синодика XV в. [15, ч. VI]), то это, разумеется, важный исторический источник, хотя

и он в смысле достоверности несколько сомнителен; он также был подвержен воздействию тех или иных политических сил, тех или иных «случайных» факторов, и поэтому мы не можем видеть в нем эталон достоверности для других исторических источников. Если иметь в виду список убитых в Синодике за 1380 г. и перечень павших в краткой редакции Троицкой и Симеоновской летописей, то никакого тождества здесь не обнаруживается. Так, хотя Синодик сообщает о гибели на Куликовом поле Семена Михайловича [423, 72—73; 354, 371], на самом деле он погиб в битве на реке Пьяне еще в 1377 г. В то же время Синодик не знает того, что знают другие источники: в Синодике, например, нет в числе погибших Александра Пересвета, хотя он упомянут в списке Троицкой и Симеоновской летописей [60, 420; 45, 130]⁵⁶. Таким образом, Синодик не может рассматриваться в качестве документа, подтверждающего или опровергающего с абсолютной достоверностью сведения других источников по соответствующим вопросам. Поэтому отсутствие в краткой редакции «Повести» Троицкой и Симеоновской летописей имени Федора тарусского объясняется не тем, что это имя отсутствовало также в Синодике, а тем, что в 1409 г., когда Москва и Рязань, став союзниками, противостояли вместе Орде и Литве, не только было нецелесообразно раздувать московско-рязанский конфликт 1380 г., но и вспоминать все его детали, в частности передачу Федором тарусским Москве каких-то территорий, примыкавших к Рязанскому княжеству.

Таким образом, хотя М. А. Салмина и обнаружила во втором пункте аргументов Шамбинаго кое-какие погрешности, в целом его тезис о том, что список убитых в краткой редакции «Повести» является сокращением перечня погибших пространной редакции, остался непоколебленным.

Пункты третий и пятый в обоснованиях Шамбинаго

⁵⁶ Что касалось Синодика XV в. Троицко-Сергиевской лавры, то он по предложению Салминой, знал имя Федора тарусского [354, 382], а также знал его кирилло-белозерский список «Задонщины» [17а, 550]. Ю. К. Бегунов [130, 494] готов видеть ошибку Синодика в том, что князь Семен Михайлович погиб на Куликовом поле (он считает, что князь Семен погиб в битве на реке Пьяне в 1378 г.).

смыкаются: «Изложение Симеоновской летописи представляет сокращенный пересказ Летописной повести, выпущены все молитвы, упоминания об Олеге» (§ 3). «При полном отсутствии упоминания об Олеге рязанском, об его неприязненных действиях против великого князя неожиданно в конце Повести находится рассказ о решении Дмитрия послать войско против Олега, о бегстве последнего и коварстве рязанских бояр — вполне соответствующий по тексту летописной повести» (§ 5).

Салмина отводит и эти аргументы Шамбинаго, подчеркивая, что в краткой и пространной редакциях заключительная часть рязанско-московского конфликта дана в одинаково спокойных тонах, что в изложении рязанско-московского примирения 1380—1381 гг. обе редакции, в сущности, почти повторяют друг друга. Поскольку Салмина краткую редакцию «Повести о Куликовской битве» считает первичной, а кроме того, утверждает, что она копирует рассказ о битве на Воже, то естественно, что все литературные «излишки» пространной редакции о конфликте с Рязанью являлись «чужеродными» по отношению к умиротворительной части краткого варианта «Повести». Такая трактовка вопроса представляется нам больше филологической, чем исторической.

Если бы автор считал, что пространная редакция «Повести» возникла в годы затяжного московско-рязанского конфликта, а краткая редакция — в годы московско-рязанского сотрудничества, то ему не пришлось бы удивляться присутствию в пространной редакции изложения спора Москвы с Рязанью, а в краткой редакции — приглушению этого спора и подчеркиванию факта примирения. Таким образом, в краткой редакции «Повести» отсутствовало начало рассказа о московско-рязанском конфликте не потому, что таким якобы был первоначальный текст «Повести», а потому, что в момент создания краткой редакции на базе сокращения пространной политическая конъюнктура в Восточной Европе требовала такого освещения рязанско-московских отношений.

Что касалось литературной близости краткой редакции «Повести о Куликовской битве» к рассказу о битве на Воже, то в этом, в сущности, нет ничего удивительного. Поставив перед собой задачу превращения широкого рассказа о Куликовской битве, в котором подчер-

кивалось участие князей всей русской земли, в рассказ о той же битве, но только с участием князей Московской Руси, московский идеолог 1409 г. должен был взять за образец ход битвы на Воже, которая осуществлялась действительно силами одной Залесской Руси.

Таким образом, предпринятая М. А. Салминой критика вышеупомянутых положений Шамбинаго не достигает, как нам представляется, цели. В основном эти его тезисы остаются в силе⁵⁷.

Четвертым аргументом Шамбинаго было указание на то обстоятельство, что краткая редакция «Повести» явно сокращала изложение хода военной кампании, присутствовавшее в пространной редакции. Не желая считаться и с этим доводом, М. А. Салмина предпочитает в краткой редакции видеть не итог сокращения, а результат использования якобы широко распространенного тогда штампа для рассказов о любых военных операциях.

Шестой аргумент Шамбинаго был основан, как показал еще Шахматов, на недоразумении. Наличие одинаковых ошибок в Новгородской IV и Симеоновской летописях («исполнишася» вместо «исполчишася») не давало еще оснований для установления преемственности между этими текстами: в Рогожском летописце, основанном на Троицкой летописи, значилось «исполчишася».

Таким образом, хотя М. А. Салмина в своей поистине ювелирной работе многое сделала и для критического разбора трудов своих противников — Шамбинаго и Шахматова, хотя она многое сделала для утверждения своей концепции возникновения «Летописной повести», ей все же не удалось, как нам представляется, сделать в полной мере убедительными свои выводы относительно датировки различных редакций этого памятника (представляются также неубедительными основанные на той же аргументации выводы автора о датировке «Слова о житии и о преставлении великого князя Дмитрия Ивановича, царя русского» [346, 81—104]).

⁵⁷ Таким образом, основным литературным источником пространной редакции «Повести» оказывается не краткая редакция «Повести» Троицкой и Симеоновской летописей, а такие памятники, как «Житие Александра Невского», «Чтение о Борисе и Глебе», «Слово на Рождество Христово», «О пришествии волхвов» и т. д. [286а, 218—225; 423, 66—71].

Выявив расхождения с М. А. Салминой в подходе к такому важному памятнику, как «Летописная повесть о Куликовской битве», высказав свои соображения по поводу ряда произведений куликовского цикла, мы сделали, как нам представляется, еще один шаг к раскрытию всей концепции Троицкой летописи.

Но прежде чем говорить об общей концепции Троицкой летописи, следует рассмотреть судьбу еще одного весьма важного памятника того времени, а именно судьбу «Повести о нашествии Тохтамыша на Москву в 1382 г.».

Не исключено, что под влиянием московских идеологов 1409 г. произошла еще одна замена в общерусской летописной «заготовке» Киприана — замена одного рассказа об осаде Москвы армиями Тохтамыша другим рассказом. Дело в том, что в нашем распоряжении имеется несколько вариантов «Повести о нашествии Тохтамыша»: краткая редакция, помещенная в Троицкой [60, 422—425], Симеоновской летописях [45, 132—134], в Рогожском летописце [42а, 143—146], и пространная редакция «Повести» — в Новгородской IV [38, 326—339], Типографской [47, 149—154], Воскресенской [40а, 147] и Никоновской летописях [41, XI, 71—81], сокращенным вариантом данной редакции является текст «Повести», присутствующий в Ермолинской летописи [46, 127]. Обе эти редакции отличаются друг от друга прежде всего объемом сведений о нашествии Тохтамыша, о поведении защитников Москвы и т. д., но не только различная степень подробности в изложении событий разделяет краткую и пространную редакции «Повести». Внимательный анализ этих памятников убеждает в том, что между ними существовали различия и идеологического порядка.

«Повесть о нашествии Тохтамыша» 1382 г. не раз была предметом исследования историков. К этому памятнику было привлечено внимание таких исследователей, как Приселков, Тихомиров, Комарович, Лихачев, Черепнин и др. Историков интересовали многие аспекты данного памятника, интересовал вопрос о происхождении двух редакций «Повести», вопрос о различной социальной и политической направленности редакций и т. д. Одно из любопытных решений этих вопросов было в свое время предложено В. Л. Комаровичем [224, II, ч. I,

196]. Так, в частности, он считал, что Троицкая летопись под влиянием Киприана идеализировала поведение литовского князя Остeya.

Работа Комаровича несомненно явилась важным шагом в исследовании данного памятника. Однако, рассматривая «Повесть» лишь как рассказ о собственно московских событиях, не увязывая «Повесть о нашествии Тохтамыша» с общим ходом политической жизни Восточной Европы, с развитием литовско-московских отношений, Комарович, как нам представляется, сузил рамки исследования и тем самым несколько обеднил общие выводы своей работы.

Мы уже видели, как интерпретировала ход событий, связанных с нашествием Тохтамыша, пространная редакция «Повести», которая присутствует в Ермолинской, Новгородской IV, Типографской и других летописях.

Подобно пространной редакции «Повести о Куликовской битве», находящаяся в этих же летописях пространная редакция рассказа о нашествии Тохтамыша дает не только бóльшую информацию о нем по сравнению с краткой редакцией этого же памятника, но и характеризует это событие с позиций идеолога общерусского плана, а не с позиций собственно московского идеолога. Так, именно пространная редакция сообщает сведения о политическом сотрудничестве Дмитрия Донского и Киприана, сведения о первоначальном намерении московского князя дать бой Тохтамышу и о первоначальном намерении Киприана выступить в роли организатора обороны Москвы (только желанием играть эту роль и продолжать сотрудничество с Дмитрием Донским можно объяснить согласие Киприана на свое оставление в Москве в июле — августе 1382 г.)⁵⁸. Именно пространная редакция дает материал о причинах вынужденного отступления Дмитрия Донского в Кострому — этой причиной, судя по данной редакции «Повести», были какие-то важные события в политической жизни Восточной Европы. Уход Дмитрия в Кострому, видимо, был связан

⁵⁸ По сведениям пространной редакции, Киприан оставался некоторое время в Москве [38, 328]. Тверской сборник [42, 441] утверждает, что в Москве оставалась и жена Дмитрия Донского Евлокия; пространная редакция подчеркивает, что только накануне появления Тохтамыша Киприан уехал из Москвы (Устюжский свод утверждает, что он уехал в Волоколамск) [62, 161].

с ликвидацией того относительного единства русских княжеств, которое сложилось после Куликовской битвы.

Хотя автор пространной редакции «Повести» не говорит о возвращении в Вильно Ягайло, не сообщает об аресте Кейстута, тем не менее указывает на факт перехода на сторону Тохтамыша нижегородских князей (князя Дмитрия Константиновича и его сыновей Василия и Семена), указывает на весьма неустойчивую позицию рязанского князя Олега Ивановича, а в дальнейшем прямо констатирует отсутствие политического соглашения среди князей русской земли в следующих выражениях: «Быть розне в князях русских: одни хотяху, а иные не хотяху... воевать с Ордой» [46, 128], «Не хотяху пособляти друг другу» [38, 328]. При этом автор подчеркивает, что удаление Дмитрия Донского из Москвы в Кострому не было капитуляцией или просто бегством московского князя: в пространной редакции рассказывалось о том, что Дмитрий Донской, находясь в Костроме, думал об активной обороне Московской Руси, поэтому оборону Москвы он поручил сначала Киприану, потом гражданам и литовскому князю Остею⁵⁹, оборону московско-литовских рубежей (с середины июня 1382 г. в Вильно сидел его противник Ягайло) — Владимиру Андреевичу серпуховскому, а защиту московского удела со стороны тогдашнего союзника Тохтамыша — нижегородского князя взял, видимо, на себя [416, 634]⁶⁰.

Едва ли не центральной темой «Повести о нашествии Тохтамыша» является тема сотрудничества литовско-русского князя Остея с гражданами-москвичами. Автор пространной редакции подчеркивает большие заслуги Остея как организатора обороны города: «А се прииде к ним град некий князь Литовский Остей, внук Ольгердов... и тот окрепи град и затворыся в нем со множеством народ». Но, отдавая должное Остею, автор данной редакции «Повести» отнюдь не умалял важной роли самих граждан в обороне Москвы. Так, сообщив о полном окружении Москвы татарами, «Повесть» подчеркивала,

⁵⁹ Возможно, именно поэтому в летописных рассказах о поведении граждан накануне появления Тохтамыша, об охране ими городских ворот, как отмечал Л. В. Черепнин, «не чувствуется, что... речь идет о действиях разнузданной толпы...» [416, 635].

⁶⁰ Л. В. Черепнин допускает, что московский князь «уехал в Кострому за военными подкреплениями» [416, 634].

что «граждане против их стреляху и камением шибяху... и возвраща воду в котлах льюху на (ордынцев, пытавшихся штурмом взять город, „тогда сушу“), а иные стреляху». «Повесть» сообщала и о важном выстреле московского суконника Адама, которым был убит какой-то видный татарский князь. Отдав дань воинскому мужеству как Остея, так и граждан, автор «Повести» обрушился на коварство Тохтамыша и его русских союзников — суздальско-нижегородских князей, которые под предлогом мирных переговоров заманили к себе Остея и потом зверски его убили. Пространная редакция «Повести» рассматривала гибель Остея не как результат его личной недалёковидности (в «Повести» подчеркивалось, что вместе с ним в переговорах с ордынцами участвовали «лучшие люди» Москвы, а также «чин священнический») ⁶¹, а как результат чудовищного коварства Тохтамыша и его нижегородских приспешников. Таким образом, Москва оказалась жертвой ордынцев не из-за политической близорукости Остея, а из-за вероломства противника. В интерпретации данной редакции Остей и граждане действовали согласованно, в духе московско-литовского боевого содружества. Такова одна из главных идей пространной редакции «Повести о нашествии Тохтамыша».

Но подчеркивание плодотворности московско-литовского сотрудничества в «Повести» не ограничивается рассказом о совместных усилиях Остея и граждан в обороне Москвы. Излагая весь ход военной кампании августа—сентября 1382 г., автор пространной редакции дает понять читателю, что речь шла не только о желании Орды ослабить военный потенциал Московской Руси, но и о намерении Тохтамыша парализовать московско-литовское сотрудничество; не случайно автор останавливает свое внимание на операциях ордынского хана против тех городов, которые так или иначе были связаны с

⁶¹ Как показал Л. В. Черепнин в своей работе, факт сотрудничества Остея с гражданами в обстановке обороны Москвы от Тохтамыша не исключал возможности антифеодальных выступлений «низов» московского населения против Киприана и «великих бояр» [416, 635, 662]. При этом, однако, не следует забывать, что один из вероятных составителей пространной редакции «Повести» — Киприан, мог намеренно представить попытки его задержания в Москве гражданами как выступления «низов» против митрополита и «великих бояр».

литовско-русскими участниками Куликовской битвы, с литовскими и русскими партнерами Дмитрия Донского в послекуликовский период. Видимо, не случайно в «Повести» подчеркивался определенный маршрут Тохтамыша: сначала Серпухов, являвшийся резиденцией князя Владимира Андреевича, женатого на дочери Ольгерда, а также ареной церковной деятельности игумена Афанасия, тесно связанного с Киприаном [60, 425]⁶², потом Москва, где Тохтамышу пришлось столкнуться с взаимодействием литовского князя Остия с московским населением, а после Москвы — разорение Переяславля, резиденции Дмитрия Ольгердовича брянского с первых месяцев 1380 г., и неудачная попытка нанести военное поражение войскам серпуховского князя Владимира Андреевича, находившимся тогда около Волоколамска.

Хотя во время военных операций августа — сентября 1382 г. пострадали и другие города Московской Руси (Владимир, Юрьев, Звенигород, Можайск), тем не менее пространная редакция «Повести» подчеркивает, что Тохтамыш преследовал в ходе кампании не только военные, но и определенные политические цели, направленные на парализацию московско-литовского сотрудничества.

В сущности, не случайно пространная редакция «Повести» особенно подробно останавливалась на операциях Тохтамыша в рязанской земле, явно изображая их в качестве карательной меры за какие-то большие провинности Олега рязанского перед Ордой. Хотя автор «Повести» сообщает об услуге Олега, оказанной Тохтамышу в самом ходе кампании августа 1382 г. (Олег указал ордынцам броды на р. Оке), тем не менее, по его мнению, эта услуга не компенсировала предшествовавших крупных политических «промахов» рязанского князя (этим «промахом», с точки зрения Тохтамыша, был, видимо, договор Рязани с Москвой, заключенный летом 1381 г.); во всяком случае, осуществленное ордынским ханом разорение рязанской земли изображено в данной редакции «Повести» как естественное следствие антиордынских «зигзагов» в политике рязанского князя. Но если для составителя пространной редакции «Повести»

⁶² Афанасий зимой 1382/83 г. уехал из Серпухова в Киев к Киприану [60, 425].

предпринятая Тохтамышем в отношении рязанской земли карательная экспедиция была «закономерным» актом (Рязань, как мы знаем, по «Задонщине», была особенно близка Киприану), то столь же «закономерным» для создателя этой редакции была реакция Тохтамыша на поведение суздальско-нижегородских князей. Отпустив суздальского князя Семена к его отцу Дмитрию вместе со своим послом Шихоматом и взяв с собой в Орду другого сына, Василия, Тохтамыш продемонстрировал не только одобрение прошлой деятельности правителей Нижегородского княжества, но и наметил программу своего сотрудничества с ними в будущем [38, 332]. Таковы главные положения пространной редакции «Повести о нашествии Тохтамыша», попавшей на страницы Новгородской IV, Типографской летописей, Московского свода конца XV в., Воскресенской и Никоновской летописей.

Но таким образом характеризуют ход кампании Тохтамыша в Восточной Европе осенью 1382 г. далеко не все летописи. Краткая редакция «Повести», помещенная в Симеоновской, Троицкой летописях, а также в Рогожском летописце, дает несколько иную трактовку тем событиям, которые происходили в августе — сентябре 1382 г. на территории Владимирского княжения. Как мы уже знаем, В. Л. Комарович считал, что в противоположность пространной редакции, якобы затушевавшей роль Остeya и выдвигавшей на первый план граждан, краткая редакция идеализировала поведение Остeya и совершенно замалчивала участие граждан в обороне Москвы [224, II, ч. 1, 196].

Но такая интерпретация основного содержания краткой редакции «Повести» не кажется нам в полной мере убедительной. На наш взгляд, едва ли не главная идея ее состояла в том, чтобы все тяжелые для Москвы этапы военной кампании осени 1382 г. либо замалчивать вообще, либо связывать их, во-первых, с многочисленностью, жестокостью и коварством ордынцев, а во-вторых, с политической наивностью литовского князя Остeya. Что же касалось удачных для Москвы моментов этой кампании (в частности, сравнительно быстрого ухода Тохтамыша с территории Владимирского княжения), то авторы краткой редакции старались объяснить их военно-политической активностью самого Дмитрия Донского и его брата Владимира Андреевича серпуховского. Так,

при упоминании факта сдачи Москвы Тохтамышу ничего не говорилось о гражданах как активных защитниках Москвы вообще, но зато много говорилось о литовском князе Остее как едва ли не главном виновнике капитуляции города: «И прииде (царь Тохтамыш. — *И. Г.*) к граду Москве месяца августа в 23 день в понедельник и в городе Москве тогда затворился князь Остей внук Ольгердов с множеством народа. Царь же стоял у города 3 дня, а на 4 день оболга Остея лживыми речами и миром лживым и вызва его из города, и уби его пред сны (стены. — *И. Г.*) града, а ратем своими всем повеле оступити град весь с все страны, и по лествицамъ възлезшемъ им на город на заборолы и тако взяша градъ, месяца августа 26 день» [60, 423; 45, 132; 42а, 144]. Таким образом, хотя судьба поставила внука Ольгерда в положение организатора обороны Москвы, ход событий показал, что этот «недальновидный» литовский князь оказался чуть ли не главным виновником сдачи города жестоким ордынцам.

О гражданах как активных защитниках города здесь нет ни слова. Оказавшись во власти захватчика, они выступают в краткой редакции не в качестве активной боевой силы, а скорее в качестве жертвы политической близорукости Остея, с одной стороны, жестокости и коварства ордынцев — с другой⁶³. Что же касалось поспешного ухода Тохтамыша из-под стен Москвы, то, по мнению создателей краткой редакции «Повести», главная заслуга в этом принадлежала Дмитрию Донскому и Владимиру Андреевичу. «Царь же слышав, что князь великий на Костроме, а князь Владимир у Волока, поблюдашеса, чяя на себе наезда, того ради не много дни стояше у Москвы, но возьмъ Москву, скоро отъиде» [45, 133; 42а, 146; 60, 424].

Так, если Остей «содействовал», по сути дела, капитуляции Москвы, то Дмитрий Донской и Владимир Андреевич, готовившие контрнаступление на Тохтамыша, оказываются в роли подлинных спасителей Владимирского княжения от вторжения воинственных и коварных ордынцев.

Но не повезло в краткой редакции «Повести» не

⁶³ В пространной редакции «Повести» жертвой ордынского обмана выступали Остей и граждане [38, 332]. «Такова же область Остею и всем гражданам, сушим в осаде».

только литовскому князю, внуку Ольгерда, не повезло также и самому митрополиту Киприану, имя которого вообще здесь не было упомянуто в связи с нашествием Тохтамыша и обороной Москвы.

Таким образом, в краткой редакции «Повести» нет широкого, общерусского подхода к проблеме обороны русской земли, к проблеме консолидации русских княжеств в единый общеордынский фронт, нет апологетики московско-литовского союза; в то же время здесь, по сути дела, осуждается московско-литовское сотрудничество, отстаивается то положение, что решающей силой в борьбе с Ордой оказалась только Московская Русь во главе с ее лидером — Дмитрием Донским.

Совершенно очевидно, что рассмотренная только что идеологическая платформа краткой редакции «Повести» существенным образом отличалась от политической концепции пространной редакции, для которой были характерны как апологетика единства русской земли, подчеркивание плодотворности московско-литовского сотрудничества, фиксация деловых контактов Дмитрия Донского с митрополитом Киприаном, так и осуждение жестокости и коварства ордынских правителей, разоблачение ордынской тактики «сталкивания» различных центров русской земли и т. д.

Таким образом, перед нами две редакции «Повести», две различные концепции. Характер их различий таков, что он заставляет видеть в создателе пространной редакции идеолога, близкого митрополиту Киприану (если не самого Киприана), а в составителе краткой редакции — какого-то собственно московского идеолога, действовавшего по заданию своего правительства в обстановке резкого ухудшения московско-литовских отношений.

Если мы вспомним, что «Повесть о Куликовской битве» дошла до нас также в кратком и пространном вариантах, если мы будем иметь в виду то обстоятельство, что краткая редакция «Повести о Куликовской битве», находящаяся в Троицкой, Симеоновской летописях, а также в Рогожском летописце, имела явно промосковскую направленность, а пространная редакция — общерусскую ориентацию, то литературная судьба этого памятника окажется близкой судьбе другого произведения, именно «Повести о нашествии Тохтамыша».

Результаты разбора различных редакций указанных «Повестей» позволяют, как нам кажется, поставить вопрос о той или иной политической платформе самих летописей, предоставивших свои страницы для тех или иных вариантов данных памятников, позволяют поставить вопрос о существовании определенной взаимосвязи между идеологической направленностью той или иной редакции указанных памятников и политической направленностью использовавших их летописных сводов.

В самом деле, только приверженностью к определенным политическим концепциям можно объяснить тот факт, что одни летописцы включили в текст своих сводов краткую «промосковскую» редакцию рассмотренных памятников, а другие составители летописей предпочли использовать пространную «общерусскую» редакцию этих произведений.

Разумеется, что прежде всего сам ход сложной политической борьбы, происходившей между различными центрами русской земли, между различными странами Восточной Европы на рубеже XIV—XV вв., обуславливал появление новых летописных сводов с определенной идеологической направленностью, а вместе с тем определял и тот или иной крен рассмотренных нами отдельных литературных произведений, вошедших в состав соответствующих летописей.

Так, изучение хода политической жизни стран Восточной Европы конца XIV—начала XV в., анализ эволюции отдельных литературных произведений, а также развития самого летописания убеждает в том, что возникновение пространных редакций повестей о Куликовской битве и нашествии Тохтамыша следует связывать с составлением общерусского свода 1392 г. и одновременно с широкими политическими замыслами Киприана, Василия и Витовта начала 90-х годов XIV в. Что же касается кратких редакций тех же памятников, то их появление, так же как и появление самой Троицкой летописи в 1409 г., было результатом переработки пространных редакций разных произведений, результатом переделки «Летописца великого русского», осуществленной в духе тех политических задач, которые возникли перед московским правительством Василия I после разрыва с Литвой и вторжения полчищ Едигея на территорию Владимирского княжения в 1408 г.

Восстановление общерусских тенденций в идеологической жизни феодальной Руси второго и третьего десятилетий XV в.

Утвердившаяся в Троицкой летописи концепция обособления земель Владимирского княжения под эгидой Москвы оказалась неприемлемой для идеологов других центров «русской земли». Ей не сочувствовали сотрудничавшие с Киприаном «общерусские» идеологи Западной Руси, ее не приняли и во многих городах Северо-Восточной Руси, прежде всего в Ростове, Великом Новгороде, Твери.

Мы знаем, что ростовская кафедра, возглавлявшаяся в 1396—1416 гг. единомышленником Киприана епископом Григорием, оказалась центром пассивного сопротивления идейной платформе Троицкой летописи: в Ростове, как справедливо считал А. А. Шахматов, не только сохранялась основная часть литературного наследия Киприана, но и велась летописная работа в прежнем общерусском «киприановском» направлении [427, 225—228]. Мы знаем также, что и тверское летописание не только осудило идейную платформу Троицкой летописи, но и попыталось противопоставить ей свой конструктивный вклад в понимание прошлого русской земли вообще и Владимирского княжения, в частности. Следы этой интенсивной работы тверских летописцев той поры мы находим теперь в Симеоновской летописи за 1390—1412 гг., в Рогожском летописце, а также известном Тверском сборнике.

Не принятой оказалась концепция Троицкой летописи и летописцами Великого Новгорода. Это видно как из упреков самой Троицкой летописи в адрес новгородцев [60, 438—439], так и из общерусской платформы новгородского летописания первой половины XV в. [427, 154—155, 157; 323, 143—144; 264, 447—450].

Однако генеральное переосмысление концепции Троицкой летописи следует связывать с литературно-идеологической деятельностью митрополита Фотия (1410—1418 гг.), когда был создан общерусский летописный свод — так называемый Полихрон Фотия (1418 г.). Разумеется, его создание не было заслугой одного митрополита. Следуя запросам политической жизни Руси второго десятилетия XV в., Фотий строил свою работу на

использовании литературных «заготовок» как своих предшественников, так и современников. В частности, он многое восстановил из того, что было сделано летописцами еще при Киприане и отброшено Троицкой летописью; он многое взял и из того, что создавалось при нем в таких идеологических центрах Владимирского княжения, как Тверь, Ростов, Великий Новгород и, наконец, Москва.

Так, говоря о преодолении концепции Троицкой летописи и утверждении общерусской платформы Полихрона Фотия, нельзя не отметить в этом процессе роли тверского летописания и, в частности, особого значения такого интересного и важного памятника, по-видимому, тверского происхождения, каким была пространная «Повесть о нашествии Едигея»⁶⁴.

Хотя этот памятник давно привлекал внимание исследователей, тем не менее до сих пор остается дискуссионным вопрос о месте и времени создания его первоначального варианта. Повод для полемики по этому вопросу дал еще Н. М. Карамзин, в руках которого, как известно, была Троицкая летопись, сгоревшая во время московского пожара 1812 г. В примечаниях к пятому тому своей «Истории Государства Российского» он заметил, что «описанием Эдигеева нашествия заключается хартейный Троицкий летописец» [229, V, прим. 207].

Одни исследователи, в частности, А. А. Шахматов, Д. С. Лихачев, считают, что Карамзин этой фразой прямо указал на присутствие в Троицкой летописи «Повести о нашествии Едигея», другие историки, прежде всего М. Д. Приселков и Л. В. Черепнин исходят из того, что Троицкая летопись завершалась сравнительно кратким изложением военной кампании Едигея конца 1408 г., но не содержала самой пространной «Повести».

⁶⁴ Сохранилось несколько вариантов «Повести о нашествии Едигея»:

1. Вариант Рогожского летописца [42а, 177—186] и Симеоновской летописи [45, 155—159], а также вариант особого типа Тверского сборника [42, 482—484].

2. Вариант Ермолинской [46, 142—143], Львовской [45а, 225—226], Софийской II [39, 136—137] и отчасти Типографской [47, 174] летописей.

3. Вариант Московского свода 1479 г. [48, 238—239] и Воскресенской летописи [40, 82—84]; Никоновская летопись [41, XI, 205—209].

Если вторая группа историков признавала, что эта «Повесть» возникла несколько позднее Троицкой летописи и не в Москве, а в Тверском летописании [323, 115—116, 128—141; 416, 728—729], то первая группа ученых считала, что наш памятник, присутствовавший в Троицкой летописи, был создан в Москве, а в Тверском летописании лишь подвергся сравнительно небольшой переделке [429а, № 9, 10, 11; 264, 297—305, 440].

Но каковы бы ни были конкретные датировки сохранившихся вариантов «Повести о нашествии Едигея», мы считаем возможным говорить о том, что в основе всех разновидностей этого памятника было два почти одновременно сложившихся первоначальных варианта, которые были объединены общностью темы, но разъединены различным идейно-политическим подходом к ней, различным ее концепционным решением.

Так, возникнув в условиях усилившегося на рубеже первого и второго десятилетий XV в. политического соперничества между Москвой и Тверью, эти два первоначальных варианта рассказа о нашествии Едигея, по сути дела, были, видимо, выражением развернувшейся тогда идеологической полемики между двумя феодальными городами — претендентами на ведущую роль в системе княжеств Владимирского княжения.

Мы считаем поэтому возможным утверждать, что один первоначальный вариант этого рассказа был московского происхождения, другой — тверского. Так, мы склонны думать, что краткий вариант «Повести о нашествии Едигея» в Ермолинской, Львовской, Софийской II, получивший дальнейшее развитие в Московском своде 1479 г. и Воскресенской летописи, следует связывать с собственно московским летописанием, с деятельностью московских идеологов. Об этом в сущности говорят те конкретные сюжеты, которые использованы в данном варианте и создают его идейно-концепционную основу, а именно: 1) перечисление татарских царевичей, участвовавших в нашествии Едигея — 1408 г., 2) краткий обзор маршрутов татарских войск на территории Владимирского княжения (упомянуты города Переяславль, Ростов, Дмитров, Серпухов, Нижний Новгород, Городец), 3) констатация ухода Василия I в Кострому и пребывания в осажденной Москве четырех князей — Владимира серпуховского, Андрея можайского, Петра

дмитриевского и московского воеводы князя Ивана, 4) сведения о «приказе» Едигея тверскому князю Ивану выступить с войском против Москвы, 5) сообщение о диверсии в Сарае против хана Булата, 6) информация о выплате Москвой выкупа татарам и 7) подчеркивание важной роли в спасении Москвы Владимирской иконы и гробницы митрополита Петра (так, в тексте Ермолинской летописи Петр спасал Москву как «город свой» [46, 143], а в тексте Московского свода 1479 г. говорилось, что Петр молитвой спас Москву, которую «превозможи паче всех град» [48, 239]).

Если учесть, что все эти сведения дают в целом благоприятную оценку поведения Москвы во время вторжения Едигея, то следует признать, что рассматриваемый вариант «Повести» действительно связан с деятельностью московских идеологов и, возможно, восходит к тому краткому рассказу Троицкой летописи, о которой упоминал Н. М. Карамзин в своей «Истории Государства Российского» [229, V, прим. 207].

В пользу такого предположения говорит тот факт, что часть сюжетов краткого варианта «Повести», представленного Ермолинской, Львовской, Воскресенской и др. летописями, совпала с теми выпусками из Троицкой летописи, которые были приведены в пятом томе «Истории Государства Российского». Так, Н. М. Карамзин дал перечень татарских царевичей — участников кампании 1408 г., воспроизвел критику коварства тверского князя, сообщил о диверсии в Сарае, отметил проявление жестокости татар (в частности сообщил о том, что один татарин «ведяще с нужею повязавше» 40 христиан) [60, 468—470], эта информация была воспроизведена Московским сводом 1479 г. [48, 239].

Промосковский характер краткого варианта нашего памятника становится более наглядным при сопоставлении его с вариантом повести тверского происхождения, который мы находим в Тверском сборнике [42, 482—484]. Так, если для «промосковской» редакции памятника было характерно стремление преуменьшить размах военных операций Едигея 1408 г. и масштабы тогдашних бедствий русского населения, но вместе с тем желание смазать промахи московской дипломатии, подчеркнуть ее заслуги в борьбе с Ордой (организация обороны самой Москвы, диверсии в ордынской столице,

выплата татарам выкупа и т. д.), и одновременно разоблачить коварство тверского князя Ивана Михайловича, то в редакции «Повести» Тверского сборника мы видим диаметрально противоположные тенденции: явное намерение раздуть масштабы военной кампании осени 1408 г., раздвинуть рамки татарской экспансии, увеличить число разоренных городов. Л. В. Черепнин верно замечает, что Тверской сборник дает максимально широкую картину разрушений на русской земле, представляет вторжение как «общерусское бедствие» [416, 720].

Вместе с тем, в данном варианте «Повести» мы обнаруживаем, с одной стороны, настойчивые попытки преуменьшить роль самой Москвы в обороне Руси от татар (не упоминается московская диверсия в ордынской столице, не фиксируется факт выплаты татарам большого выкупа), а с другой — попытки подчеркнуть важные заслуги Твери в тогдашней политической жизни Руси, в частности, замалчивание ее сговора с Едигеем.

Таким образом совершенно очевидно, что по основным вопросам политического развития русских земель того времени промосковские варианты «Повести» и «Повесть» Тверского сборника имели разные точки зрения. Но еще более четкими становятся различия между ними при сопоставлении промосковских вариантов с пространным вариантом «Повести», помещенным в Рогожском летописце и Симеоновской летописи [42а, 177—186; 56, 155—159].

Мы считаем, что первоначальный вариант пространной «Повести о нашествии Едигея» был создан через несколько лет после событий 1408 г. (именно в этом случае пространная «Повесть» и могла быть развернутым ответом, как считает Л. В. Черепнин [416, 731] на известный ярлык Едигея [38, 406—407], предполагаем, что он был создан на тверской земле в условиях возобновившегося соперничества Москвы и Твери за лидерство в системе княжеств Владимирского княжения, правда, соперничества в какой-то мере скрытого и поэтому завуалированного в нашем памятнике. Мы склонны думать, что пространная «Повесть» представляла собой, с одной стороны, своеобразное оправдание тверского нейтралитета в момент вторжения Едигея на земли Владимирского княжения, может быть, даже завуалированный ответ тверского идеолога на московскую критику

этого нейтралитета, кстати сказать, содержавшуюся уже в Троицкой летописи, а, с другой стороны, была обоснованием претензий Твери на ведущую роль в системе княжеств Владимирского княжения и, может быть, даже претензий на лидерство в общерусских масштабах.

Обращение к реальному содержанию данного варианта «Повести» подтверждает, как нам представляется, такую оценку ее идейно-концепционного замысла.

Знакомясь с «Повестью о нашествии Едигея» мы прежде всего сталкиваемся с широким кругозором ее автора, видим здесь хорошее знание тогдашней политической и этнической карты Восточной Европы, замечаем правильное осмысление реальной расстановки сил в этой части европейского континента (Орда, Польша, «русская земля» в ее разделенном состоянии), обнаруживаем и тонкое понимание механизма взаимодействия этих сил друг с другом [416, 722—726]. Вместе с тем мы выявляем хорошую осведомленность о «предыстории» восточноевропейского пространства, верные представления об основных этапах исторического развития «русской земли», фиксируем и строгое соблюдение определений иерархии понятий в употребляемой «Повестью» историко-политической и этнической терминологии («русская земля», то с центром в Киеве, то во Владимире [42а, 180, 181, 185]; Владимирское княжение, при ведущей роли то Москвы, то Твери [42а, 184, 185], «вся земля Киевская и Литовская» под властью Витовта [42а, 179].

«Повесть о нашествии Едигея» хорошо знакома с широким понятием «русская земля» [42а, 178, 181], в границах которой помещены такие города, как Киев, Чернигов, Владимир, Москва, Тверь, Кострома, Ростов, Новгород Нижний, Городец и др.

Автор фиксирует нужные ему факты из истории древней Руси: он сообщает о том, что при Владимире Мономахе игумен Выдубецкого монастыря Сильвестр создал летопись, в которой не боялся рассказывать как об успехах, так и о поражениях отдельных князей [42а, 185]; кроме того он говорит об ошибочной политике Киева и Чернигова по отношению к половцам [42а, 180], явно имея в виду аналогичные ошибки Владимира и Москвы по отношению к татарам. И действительно, все эти факты из древнейшей истории Руси свидетельство-

вали о том, что для создателя данного памятника была совершенно очевидной прямая преемственная связь между киевским периодом истории «русской земли» и тем ее периодом, когда ее ядром оказалось Великое Владимирское княжение.

Вполне понятным поэтому представляется стремление автора «Повести» подчеркнуть то обстоятельство, что в исторических судьбах русской земли XIV — начала XV в. город Владимир стал играть ту же роль, какую в истории Руси X—XII вв. играл Киев. Автор не случайно, видимо, фиксировал эту преемственную связь двух городов русской земли, прибегая для характеристики значения Владимира к тем же выражениям, которые в древнейшей летописи характеризовали ведущее положение Киева.

Так, если в «Повести временных лет» Киев выступал в роли «матери городов русских», то в «Повести о нашествии Едигея» оказывался в положении «матери градом» [42а, 181] «многосильный Владимир». Именно этот город в условиях разделения русской земли стал общерусской столицей («стол земля русская» [42а, 181]), а великий князь Владимирский именовался «великим князем всея Руси» [42а, 181].

Но если представления автора «Повести» о политическом положении русской земли в начале XV в., о ее тогдашней структуре приходится воссоздавать по отдельным, как бы случайно оброненным выражениям и фразам нашего памятника, то тема ордынской политики в Восточной Европе разработана здесь весьма подробно; можно даже говорить о том, что данная тема была одной из основных и определяющих тем рассматриваемого произведения.

Прежде всего следует отметить, что «Повесть» делает очевидными весьма широкие, можно сказать «общерусские» масштабы ордынской стратегии в Восточной Европе, стратегии, молчаливо исходящей из факта существования целостной «русской земли» в прошлом и ставящей своей целью не допустить восстановления ее единства в настоящем и будущем.

Кроме того следует зафиксировать и то обстоятельство, что «Повесть» дает довольно вдумчивый [416, 723] и вместе с тем весьма глубокий для своего времени анализ изощренных приемов ордынской тактики, при-

званных содействовать осуществлению стратегических планов Орды в Восточной Европе; так, «Повесть» раскрывает приемы сознательного сталкивания Владимирского княжения с великим княжеством Литовским, показывает методы провоцирования конфликтов между ними, как путем одновременного поощрения их параллельных устремлений стать консолидирующим ядром всей «русской земли», так и путем подогревания их широких политических претензий на гегемонию в Восточной Европе.

Так в «Повести» подробно рассказывалось о том, как Едигей, хорошо знавший о противоречиях между великим князем владимирским Василием и правителем Великого княжеского Литовского Витовтом, делал все от себя зависящее, чтобы существовавшие между ними споры превращались в вооруженные конфликты. Одним из путей, обеспечивавших решение данной задачи, оказался путь одновременных переговоров Едигея как с Василием Московским, так и с Витовтом Литовским. Ведя эти переговоры, Едигей обещал каждому из этих князей свою вооруженную поддержку в случае начала военных действий между ними. «Повесть» сообщала, что Едигей «посылаша к Василиеву, силу многу на помощь обещава ему (против Витовта. — И. Г.) и рече: „да и прочии уведять любовь нашу с тобою и кротци ти будут, яко мне царствола помагающе тебе, и того ради убоятся тя“» [42а, 179]. С аналогичным предложением Едигей обращался, судя по «Повести», и к Витовту: «Также и к Витовту кратка и лестна некая посылаша словеса, втай держати повеле, друга его именоваше си» [42а, 179].

Но сообщив об этих фактах политического коварства Едигея, зафиксировав при этом важную роль Орды в провоцировании Московско-литовского конфликта, автор «Повести» счел нужным подчеркнуть традиционность такой политики ордынских правителей. «Никогда же бо истинно глаголют к христианам... лестно и злоковарно честьми окладают князии наших и дары украшают, и тем злохитрство свое питають и мир глубок обещають имети со князьями нашими, и таковыми проницствы ближняя от любви разлучают и усобную рать межи нас съставляють и в той разности нашей сами в тайне покрадают нас» [42а, 178].

Так, разоблачив коварную политику ордынской державы, спровоцировавшую трехлетний конфликт Северо-Восточной Руси с великим княжеством Литовским, и облегчившую вторжение Едигея на территорию Владимирского княжения в октябре — декабре 1408 г., автор «Повести» одновременно осудил и попытки сотрудничества московского князя Василия I с теми группировками литовско-русской знати, которые оказались тесно связанными, по его мнению, с Польшей.

«Повесть» не ограничилась декларативным обвинением Василия I в сотрудничестве с князем Свидригайло и попыталась мотивировать свое отношение к этому важному эпизоду московско-литовско-польских отношений.

Так, автор «Повести» признавал, что Свидригайло действительно пользовался репутацией опытного военачальника, что Москва, рассчитывая на его военную и политическую поддержку, передала ему в управление «чуть ли не половину Руси», тем не менее, по мнению создателя «Повести», все это себя ни в какой мере не оправдало. Тщетными оказались расчеты на полководческое искусство князя Свидригайло («на бег токомо силу показаша»), не обоснованы были, по мнению «Повести», и чрезмерные политические уступки литовскому князю, который был «лях верою», и ему как «гордому ляху» не следовало давать половину «православного царства» и «многосильный Владимир, еже есть стол земля русская» [42а, 181].

Но указав на пассивность и бездеятельность Свидригайло, отметив коварство и жестокость ордынской державы, «Повесть» как бы вскрыла международные причины бедственного положения Руси 1408 г., как бы установила «внешних» виновников создавшейся обстановки. Однако этим наш памятник не ограничился. Одновременно создатель «Повести» поставил, может быть, самый главный для него вопрос о виновниках «внутренних», в частности, вопрос об ошибочном политическом курсе московского правящего дома накануне и во время нашествия Едигея.

Правда, вопрос этот был поставлен в весьма своеобразной форме. Отражая, с одной стороны, широкие политические амбиции тверского князя Ивана Михайловича в отношении Владимирского княжения и, — с

другой, нежелание этого же князя выступать открыто против своего сильного все еще соперника — московского князя Василия, тогдашнего обладателя Владимирского стола, автор «Повести» критиковал московскую политику 1407—1408 гг. весьма сдержанно и осторожно [416, 728—729].

Так, он критиковал не главу Владимирского княжения, не московского князя Василия, а только тех анонимных, лишенных государственной мудрости «юных бояр», которые оказались накануне 1408 г. у штурвала московской политики. Считая их ответственными за сам факт вторжения Едигея, автор «Повести» ставил им в вину чрезмерную доверчивость ордынским правителям, неспособность своевременно распознать коварные замыслы ордынской дипломатии по сталкиванию русских князей друг с другом, а также излишний оптимизм по поводу эффективности сотрудничества Москвы с князем Свидригайло.

В «Повести» прямо подчеркивалось, что Владимирское княжение оказалось жертвой политических интриг со стороны Орды, а также со стороны «гордого ляха» Свидригайло только по той причине, что «не бяшеть бо в то время на Москве бояр старых, юнии свещевахуть о всемь, тем и многа в них не в чинь строима бывахоуть» [42а, 180].

Но сосредоточив огонь на ошибочной политике «юных бояр», а точнее на политике самого московского князя, прямо указав на многие промахи этой политики, тверской автор в то же время сознательно умолчал о тех мероприятиях Василия I, которые московский вариант «Повести» рассматривал в качестве достижений дипломатии Москвы. В частности, тверской автор явно сократил масштабы мероприятий на обороне самой Москвы, упомянув о присутствии князей Владимира серпуховского и Андрея можайского, но забыв сказать при этом о присутствии здесь собственно московских князей — Петра Дмитриевича, Ивана Юрьевича, не вспомнил о московской политической диверсии в ордынской столице, о выплате татарам большого выкупа, спасшего город и т. д.

Так, замалчивая достижения «юных бояр» и раздувая их промахи, автор пространной «Повести» осудил политический курс Москвы 1407—1408 гг. Но этим он,

разумеется, не ограничился. Одновременно он попытался утвердить свою политическую программу — программу «старых бояр», т. е. ту концепцию политической жизни Восточной Европы вообще и Владимирского княжения, в частности, которая явно была инспирирована Тверским правящим домом.

Эта программа «старых бояр» имела в виду способы более эффективного противодействия воинственным соседям и пути форсированного развития земель Владимирского княжения [416, 722—726]. «Повесть» рекомендовала избегать контактов с соседями, иногда весьма опасных (это должны помнить те «юные бояре», которые до сих пор хотят «любовь имети с иноплеменники» [42а, 182]; кроме того «Повесть» предлагала не допускать в дальнейшем попыток вмешательства внешних сил во внутривосточную жизнь «русской земли», исключать возможность «раскола» между крупными княжениями, которым так коварно воспользовался Едигей, призывала добиваться единства русской земли и сохранять мир между князьями: «Русь нежелательна суть на кровопролитие, но суть миролюбцы, ожидающие правды» [42а, 180], «Русская земля миром украшаема» — провозглашала «Повесть» [42а, 178].

Охарактеризовав таким образом программу «старых бояр», автор «Повести» не только противопоставил ее ошибочной программе «юных бояр», но и провозгласил необходимость подчинить поведение молодых политической линии старых бояр: «юным старцев да почитают и сами едины без искуснейших старцев всякого земьского правления да не самочиннують, ибо красота граду есть старчество» [42а, 185].

Совершенно очевидно, что в этом призыве подчинить младших «недалновидных» бояр старшим «многоопытным» скрывалось не только осуждение политического курса Москвы 1407—1408 гг., получившего отражение в Троицкой летописи, но и утверждение новой более «правильной» политики, которая предполагала мирное и независимое от соседей развитие русских земель Владимирского княжения при ведущей роли Тверского княжеского дома.

Однако программа «старых бояр» ведет нас не только к политическим концепциям еще одного центра Владимирского княжения, в частности, к установкам Твери

и тверского князя Ивана Михайловича в отношении Владимирского стола, но также, как нам представляется, к той концепции общерусского единства, которую отстаивал митрополит Киприан на рубеже XIV—XV вв., которую «забыли юные бояре» Москвы накануне вторжения Едигея, и которая после 1410 г. стала возрождаться при митрополите Фотии. Видимо именно поэтому «Повесть» идеализирует тот период правления московского князя Василия, который был ознаменован его сотрудничеством с митрополитом Киприаном, и который характеризовался не «расколом» между Владимирским княжением и великим княжеством Литовским, а их совместным противодействием ордынскому натиску. Именно этот период в истории русской земли и Владимирского княжения, по всей вероятности, имел в виду автор «Повести», когда писал, что «самодержец» Василий I еще задолго до нашествия Едигея добился такого положения, при котором «христиане благоденствовали во державе его и земля русская миром украшаема всех добрых исполнився благоцветяше» [42а, 178].

К концепции Киприана ведет нас не только определенный налет церковности нашего памятника, не только обнаруживаемая здесь терпимость к полицентрализму «русской земли» (Москва — не единственный претендент на роль центра), но также признание, с одной стороны, Владимирского княжения ведущей силой «русской земли», а с другой, того обстоятельства, что Москву спасли в 1408 г., как и прежде, Владимирская икона, гробница митрополита Петра [42а, 184], а вместе с тем и те русские князья, которые были связаны с Литовской Русью — Владимир серпуховский и Андрей Можайский [42а, 182].

Анализ двух вариантов рассказа о нашествии Едигея (одного — промосковского, другого — явно протверского) может быть дополнен наблюдениями над тем вариантом «Повести о нашествии Едигея», который оказался в Никоновской летописи.

Созданная в тот период идеологической жизни феодальной Руси, когда московско-тверское соперничество, а соответственно и идеологическая полемика между Москвой и Тверью, потеряли всякий политический смысл, редакция «Повести» Никоновской летописи оказалась простым механическим соединением двух вариантов это-

го памятника. Здесь был полностью воспроизведен тот «промосковский» вариант (возможно вариант летописей Ермолинской, Львовской, Московской 1479 г., Воскресенской), который характеризовался тенденцией самоутверждения Москвы как центра Владимирского княжения, подчеркиванием заслуг московской дипломатии (упоминались мероприятия по организации обороны города, диверсия в ордынской столице, выплата Москвой большой суммы денег татарам и т. д.), а вместе с тем и критикой Тверского правящего дома за сотрудничество с Едигеем [41, XI, 209].

В тоже время в редакции «Повести» Никоновской летописи мы сталкиваемся с полным арсеналом средств тверского самоутверждения, глубоко эшелонированной критикой политики Москвы и московских «юных бояр», с апологетикой Твери как центра Владимирского княжения, а вместе с тем и с отстаиванием «общерусской» программы.

Таким образом, рассмотренные нами варианты «Повести о нашествии Едигея» отражали различные этапы идеологической жизни феодальной Руси, и прежде всего тот первоначальный этап, который был связан с усилением московско-тверского соперничества начала XV в.

Что касалось оригинала пространной «Повести о нашествии Едигея» Рогожского летописца, то он фиксировал не только определенный момент полемики Твери с Москвой по поводу первенства в системе княжеств Владимирского княжения, но и являл собой первую попытку восстановления «общерусской программы» — программы весьма актуальной в эпоху Киприана, потом оттесненной на второй план, как мы знаем, московскими составителями Троицкой летописи.

Но главные сдвиги в сфере идеологии феодальной Руси второго десятилетия XV в. были связаны с деятельностью нового митрополита, Фотия. Хотя митрополит Фотий находился на протяжении 1410—1418 гг. почти постоянно на территории Владимирского княжения, хотя он сотрудничал с Василием московским и вел энергичную борьбу против Витовта и «его» церковного лидера Григория Цамблака, тем не менее этот новый митрополит действовал тогда в рамках той политической программы, которая бесспорно носила общерусский характер.

Подготовленная всем ходом внутреннего развития феодальной Руси, оправданная определенными тенденциями политической борьбы на международной арене, эта программа Фотия ставила перед собой задачи восстановления единства русской церкви, а вместе с тем и задачи консолидации всех княжеств русской земли перед лицом общих противников как на востоке, так и на западе.

Особенностью общерусской программы Фотия тех лет было то, что главной опорой объединения русских земель она признавала Владимиро-Московскую Русь (в третьем десятилетии XV в. Фотий считал центром консолидации русской земли Литовскую Русь).

Не удивительно поэтому, что идеологическая деятельность Фотия 1410—1418 гг. оказалась связанной с попытками реализации общерусской программы на базе признания лидерства Владимирского княжения, с почти полным игнорированием Троицкой летописи, созданной, как мы знаем, в годы искусственной самоизоляции Московской Руси, а также с интенсивным использованием киприановской летописной работы конца XIV — начала XV в., осуществлявшейся, как известно, в рамках широкой концепции общерусского плана.

Разумеется, Фотий не пренебрегал теми сюжетами Троицкой летописи, которые фиксировали отдельные моменты из истории отношений Царьграда с русской церковью⁶⁵, сюжетами, которые сообщали о борьбе стран Восточной Европы с Тохтамышем, Тамерланом и т. д. (не пренебрегал по той простой причине, что эти сюжеты сам создатель Троицкой летописи «некритически» воспринял у своего предшественника Киприана). Что же касалось тех текстов «Полихрона», которые фиксировали основные этапы развития московско-литовских отношений, отражали попытки создания широкого антиордынского фронта русских княжеств на базе общерусской программы, то в этих случаях Фотий действительно игнорировал Троицкую летопись и восстанавливал все то, что было создано в последнем десятилетии XIV — начале XV в. под руководством Киприана.

Мы видим, что Фотий в своем «Полихроне» воссоздал многое из того, что было в «Летописце великом рус-

⁶⁵ Этим объясняется сохранение повестей о Митяе и Пимене.

ском» 1392 г. и его продолжении. В «Полихроне» прежде всего сохранялась тенденция утверждения общерусской программы путем возрождения политических и культурных традиций целостной Руси XI—XII вв. «Полихрон» обнаруживал не только большой интерес к эпохе Киевской Руси (отсюда использование древнейшей части русской летописи, устава князя Владимира, Русской правды, устава о мостах и т. д.), но и желание подчеркнуть прямую преемственную связь между столицей древнерусского государства Киевом и новой столицей русской земли — Владимиром (отсюда легенда об основании Владимиром киевским города Владимира на Клязьме) [264, 306]. Совершенно естественным для «Полихрона» Фотия было использование древнерусских былин [264, 306], воскрешение «Жития Дмитрия Донского», которое, как мы помним, изображало князя Дмитрия прямым продолжателем дела древнерусских князей Владимира и Ярослава (Троицкая летопись, как известно, не знала «Жития Дмитрия Донского»). Не случайным было и восстановление пространных редакций «Повести о Куликовской битве», а также «Повести о нашествии Тохтамыша 1382 г.» (именно через «Полихрон» эти пространные редакции данных повестей попали, видимо, в Новгородскую IV, Софийскую I, Ермолинскую летописи).

Вполне естественным для «Полихрона» Фотия было не только подчеркивание важности общерусской программы, ее обоснованности политическими и культурными традициями целостной Руси XI—XII вв., но и осуждение всего того, что мешало восстановлению единства русской земли, затрудняло «воскрешение» границ древнерусского государства. Не удивительно, что «Полихрон» резко осуждает практику княжеских междоусобиц и распрей, не удивительно, что Фотий сетует по поводу «раскола» и в русской церкви.

Вполне понятен поэтому и тот факт, что Фотий предоставил страницы своего «Полихрона» житию тверского князя Михаила (1399 г.) и подробному изложению битвы на Ворскле (1399 г.) [38, 386—389; 385—386]. Весьма показательным для идеологической платформы Фотия было использование так называемой «духовной Киприана 1406 г.» (М. Д. Приселков помещает ее в реконструкцию Троицкой летописи, однако без разверну-

тых обоснований [60, 462—464]), а также послание самого Фотия 1417 г., направленное против Григория Цамблака [38, 418—420]. Именно из «Полихрона» Фотия попала в «Хронограф» под 1386 г. фраза о том, что тогда «два митрополита поставили на Русь и от того мятеж бысть матери церкви русской [45а, I, 416]. Не случайно создатель «Полихрона», переходя к изложению конкретной политической истории русской земли, старался сгладить противоречия между Москвой, Нижним Новгородом, Тверью, Псковом и Великим Новгородом. Фотий, видимо, совершенно сознательно устранял факты раздоров между московскими, нижегородскими, тверскими и другими князьями русской земли, он же убрал и оскорбления в адрес Великого Новгорода [323, 145—146].

Действуя в течение второго десятилетия XV в. на территории Московской Руси, ведя борьбу с литовско-русским митрополитом Цамблаком, Фотий развернул работу по созданию такого летописного свода, который должен был отстаивать программу сближения Северо-Восточной Руси с Русью Литовской при фиксации в данном случае ведущей роли Владимирского княжения. Во имя этой цели Фотий и встал на путь восстановления той части литературно-публицистического наследия Киприана, которая была связана еще с началом 90-х годов XIV в., т. е. тем периодом, когда был составлен «Летописец великий русский». Воскрешая данный этап идеологической жизни феодальной Руси, Фотий восстановил в своем «Полихроне» то, что «забыла» или «полузабыла» Троицкая летопись, и тем самым передал последующему русскому летописанию обильный фактологический материал общерусского характера, передал, в частности, такие памятники, как пространные редакции «Повести о Куликовской битве» и «Повести о нашествии Тохтамыша», «Слово о житии Дмитрия Ивановича», «Список... городов» (что подтверждает трактовку Сперанского [370а, 413], а не его оппонентов [166а; 359а]). В этот же период интенсивной работы над «Полихроном», по всей видимости, было создано упомянутым уже Епифанием Премудрым еще одно произведение — «Житие Сергия Радонежского». Показательным было уже само обращение в 1417 г. к памяти этого иерарха, не выступавшего в конце 70-х годов XIV в. сторонником поставления в митрополиты всея Руси Кип-

риана, являвшегося в 1380—1381 и 1389—1391 гг. активным помощником и сотрудником того Сергия Радонежского, который, действуя в рамках так называемой общерусской программы, выступал как в роли арбитра при замирении различных княжеств, так и в роли «начальника и учителя всем монастырям, иже на Руси»; того Сергия Радонежского, который был удостоен особых почестей при похоронах с санкции того же Киприана.

Весьма характерно, что в изданном в 1417 г. «Житии Сергия Радонежского» совершенно не было антимосковских выпадов, которые присутствовали в другом произведении того же Епифания конца 90-х годов — «Житии Стефания Пермского». Зато в «Житии Сергия Радонежского» присутствовала та общерусская идеологическая основа, которая характеризовала еще более ранние сочинения того же Епифания — именно «Слово о житии и о преставлении великого князя Дмитрия Ивановича, царя русского» (до 1393 г.), а также весь общерусский летописный свод начала 90-х годов XIV в. («Летописец великий русский»).

Весьма важным этапом политической и идеологической жизни Восточной Европы было также третье десятилетие XV в., когда Витовт, снова олицетворявший тенденцию противодействия унии, счел возможным не только выдвинуть программу создания независимого от Польши «королевства Литвы и Руси», но и предложить план объединения этим королевством всех русских земель, включая земли Великого Владимирского княжения. Видимо, именно в этот период начал свою литературно-публицистическую деятельность смоленский епископ Герасим, который на основе «Полихрона» Фотия приступил к составлению новой общерусской летописи с задачей доказать ведущую роль в исторической жизни русской земли великого княжества Литовского и Русского, т. е. приступил к созданию основы западнорусских или белорусско-литовских летописей.

Так, изучая отдельные этапы взаимодействия политической и идеологической жизни восточнославянских земель в период торжества сил феодальной концентрации над силами феодальной раздробленности, мы сталкиваемся со стабильным фактором исторической жизни Восточной Европы того времени — с реальным сущест-

вованием программы консолидации этнически однородных восточнославянских территорий, в то же время сталкиваемся с нестабильным фактором тогдашнего политического развития, фактором, которым являлся блуждающий центр борьбы за реализацию этой программы.

И хотя тенденция создания многонациональных государств в результате краха планов Витовта восторжествовала на рубеже 20—30-х годов XV в., тем не менее нельзя не видеть живучесть противоположной тенденции — тенденции формирования этнически однородных восточноевропейских государств. Этот факт свидетельствовал о том, что восточноевропейский исторический процесс развивался не только по линии создания многонациональных государств и обособления различных частей русской земли, но и по линии сохранения и поддержания единства этих частей. Такой диалектический характер восточноевропейского исторического процесса на рубеже XIV—XV вв. позволял говорить как о возникновении в этот период предпосылок для дальнейшего формирования трех братских народностей — украинской, русской и белорусской, так и о сохранении общей основы их родственной близости; позволял говорить о сложившихся уже условиях для образования исторически устойчивой семьи восточнославянских народов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изучение исторического развития восточноевропейских стран во второй половине XIV — начале XV в. свидетельствует о закономерном процессе преодоления феодальной раздробленности и утверждении сил феодальной концентрации, происходивших в условиях борьбы двух тенденций: сохранения этнически однородных государств (на базе возрождения этнического и политического облика восточноевропейского пространства X—XII вв.) или сложения новых многонациональных государств, тенденций, предполагавших формирование новой политической карты этой части Европейского континента.

Примером утверждения этнически однородного феодального государства на основе консолидации земель с ранее сложившейся устойчивой этнической общностью может служить феодальная Польша, сумевшая на рубеже XIII—XIV вв. объединить большую часть древнепольских земель в рамках единой государственности. Тенденция к созданию национальных государств сыграла прогрессивную роль как в историческом развитии Польши и польской народности, так и в исторической жизни других стран средневековой Европы.

В исторических судьбах русской земли XIV в. эта прогрессивная тенденция прослеживается в развитии двух параллельно вызревавших тогда на древнерусских территориях феодальных государств — Великого Владимирского княжения и великого княжества Литовского и Русского. Эта тенденция обнаруживалась как в сфере конкретной политики, так и в области идеологии, о чем свидетельствовали не только общность и взаимосвязь их политического, социального и культурного развития, но и параллельная борьба за древнерусское наследство, устойчивые претензии Москвы и Вильно на роль объеди-

нителей всех русских земель, постоянные попытки этих двух центров тем или иным путем восстановить общерусское единство. Все это проходило красной нитью и в идеологической жизни русской земли XIV — начала XV в.: развитие общерусского летописания (особенно своды 1390—1392, 1418 г.), создание комплекса произведений куликовского цикла, появление «Списка русских городов дальних и ближних» и т. д.

Постоянные попытки Великого Владимирского княжения, а также великого княжества Литовского восстановить как-то единство русской земли не были проявлением политического авантюризма или исторического «романтизма» той или иной феодальной группировки этих княжений, а представляли собой, как и в феодальной Польше, выражение процессов, закономерно возникавших в социально-политической жизни различных частей феодальной Руси. Можно сказать больше: эти попытки представляли собой выражение оптимального варианта исторического развития феодальной Руси, варианта, который предполагал достижение максимальных результатов с точки зрения территориальных и социальных интересов феодальных кругов обоих княжений при незначительных политических усилиях с их стороны, минимальных ввиду подготовленности такого варианта всей предшествующей историей русской земли, ввиду живучести в тот период традиций общерусского единства.

Следует учитывать, что именно такой вариант исторического развития русской земли должен был резко улучшить международные позиции обеих ее составных частей, создать наиболее благоприятные условия для противодействия политическому и военному натиску соседей, в чем, естественно, были заинтересованы широкие круги феодалов как Великого Владимирского княжения, так и великого княжества Литовского. Кроме того, указанный вариант развития Руси предполагал и значительное расширение сферы феодальной эксплуатации для правящих верхов каждого из этих княжений. Оно определялось границами древнерусской народности, рубежами древнерусского государства, рамками понятия «русская земля», все еще сохранявшего в XIV в свое реальное значение.

Но, признавая наличие общерусской тенденции в

политической и идеологической жизни двух феодальных государств Восточной Европы. XIV—начала XV в., мы должны констатировать, что эта закономерная и прогрессивная тенденция в историческом развитии русской земли не привела к тем результатам, к каким она привела феодальную Польшу на рубеже XIII—XIV вв. Здесь на обширных русских землях эти объединительные процессы были блокированы сложными международными обстоятельствами, в частности активным противодействием, с одной стороны, ордынской державы, с другой — позицией Ордена, Царьграда, а также Польши.

Как это ни парадоксально, но стремление ордынской дипломатии помешать осуществлению общерусской программы путем умелого сталкивания двух возможных претендентов на роль объединителя Руси — Москвы и Вильно — объективно отвечало интересам их западных соседей. Если феодальная Польша выступала против сближения Вильно с Москвой не только потому, что не желала допускать усиления Руси, но и по той простой причине, что сама претендовала на объединение с Литвой, как известно происшедшего в 1385 г., то Орден и Царьград осуждали попытки сращивания Владимирского княжения с великим княжеством Литовским и Русским потому, что опасались возникновения в Восточной Европе слишком обширного, этнически однородного государственного образования. По весьма похожим причинам их мало устраивало и утверждение польско-литовской унии, против которой они вели борьбу, предпочитая иметь дело с разобщенными соседями — Польшей, Литовской Русью и Владимирским княжеством.

Таким образом, изучение политической жизни Восточной Европы в XIV—начале XV в. убеждает нас в том, что если сам факт создания больших государственных образований в данном районе был обусловлен прежде всего определенным этапом развития феодальной формации, торжеством сил феодальной концентрации, выдвигавших обычно программу объединения этнически однородных территорий, то темп, масштабы, в какой-то мере характер процессов, приведших к формированию этих государств, во многом зависели от конкретного хода политической борьбы, происходившей между всеми восточноевропейскими странами, от того или иного соотношения сил на международной арене.

Анализ политической жизни восточноевропейских стран на рубеже XIV—XV вв. показывает, что, несмотря на предпринимавшиеся тогда серьезные попытки к сближению Владимирского княжения с великим княжеством Литовским сначала в виде прямых контактов (1381, 1384 гг.), а потом в форме того или иного противодействия польско-литовской унии (1390—1392, 1398, 1408 гг.), возможности реализации этих попыток были крайне ограничены определенной расстановкой сил на международной арене, в частности негативной позицией ордынской державы, с одной стороны, и отрицательным отношением к ним Ордена, Царьграда и Польши — с другой.

Именно в обстановке искусственного сдерживания внешними силами процессов феодальной концентрации и консолидации русской земли, в условиях незавершенности этих процессов тенденция формирования политических организмов с единой этнической основой стала уступать место тенденции создания обширных многонациональных государств, а вместе с тем и тенденции формирования новой политической карты Восточной Европы.

Так, в условиях сдерживания закономерного развития русской земли, в результате присоединения Галицкой Руси к польской короне феодальная Польша из «национального» государства стала превращаться в середине XIV в. в многонациональное. Великое княжество Литовское из самостоятельного феодального государства, претендовавшего на роль объединителя всей русской земли, в результате польско-литовской унии 1385 г. превратилось если еще не в окраину, то, во всяком случае, в подчиненную часть польско-литовской государственной системы, парализовав тенденцию создания этнически однородного государства на общерусской основе и закрепив тем самым тенденцию сложения польско-литовского многонационального государства.

В этих условиях Великое Владимирское княжение было поставлено перед необходимостью отказа от активных попыток консолидации всей Руси, перед необходимостью развития этнически однородного государственного организма лишь на той части русской земли, которая не вошла в состав польско-литовского многонационального государства. Так складывались исторические предпосылки создания русского централизованного государства на основе объединения только земель Влади-

мирского княжения. Но, возникнув как этнически однородное политическое образование, это русское централизованное государство позднее также превратилось в многонациональное.

Таким образом, наметившееся в первой половине XV в. торжество тенденции сложения многонациональных государств обусловило возникновение новой политической карты Восточной Европы, а также создало важные предпосылки для дальнейшего формирования трёх восточнославянских народностей: белорусской, украинской и русской. Братская близость этих народностей определялась не только широко известным фактом общности их происхождения из единого корня древнерусской народности, но и наличием в исторической жизни Руси XIII—XIV вв. устойчивой тенденции к образованию этнически однородного государства на основе восстановления целостности русской земли, сохранения общерусского единства.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Труды основоположников марксизма-ленинизма

1. Marx Karl, Secret Diplomatic History of Eighteenth Century, London, 1899.
2. Энгельс Ф., О разложении феодализма и возникновении национальных государств, — К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, изд. 2, т. 21, М., 1961.
3. Ленин В. И. О государстве, — Полное собрание сочинений, т. 39.
4. Ленин В. И., Ленинский сборник, т. XXX. Национальный вопрос (тезисы по памяти).
5. Ленин В. И., Украина, — Полное собрание сочинений, т. 32.

Источники

6. Акты исторические, относящиеся к России, извлеченные из иностранных архивов А. И. Тургеневым, т. I, II, СПб., 1841—1842.
7. Акты Литовской метрики, т. I, вып. 1 (1413—1498), Варшава, 1896.
8. Акты Литовско-русского государства, вып. 1, М., 1890.
9. Акты, относящиеся к истории Западной России (1340—1506), т. I, под ред. И. Григоровича, СПб., 1846.
10. Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России (1361—1598), т. I, под ред. Н. Костомарова, СПб., 1863.
11. Белоруссия в эпоху феодализма, т. I, Минск, 1959.
- 11а. Барбаро и Контарини о России, пер. и коммент. Е. Ч. Скржинской, Л., 1971.
12. Гисторыя Беларусі у дакументах I матэрыялах, т. I, 1936.
- 12а. Грамоты болгарских царей, М., 1911.
13. Грамоты великих князей литовских (1390—1569), под ред. В. Антоновича и К. Козловского, Киев, 1868.
14. Грамоты Великого Новгорода и Пскова, под ред. С. Н. Валка, М.—Л., 1949.
15. Древняя Российская вифлиотика, М., 1788.
16. Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV—XVI вв., подготовил к печати Л. В. Черепнин, М.—Л., 1950.
17. Древнейшие грамоты по истории карпато-русской церкви и иерархии [А. Петров], Прага, 1930.

18. Житие князя Александра Невского, — в кн.: Н. Серебрянский, Древнерусские княжеские жития, Пг., 1915.
19. Житие митрополита Петра. Краткая редакция, — в кн.: Макарий, История русской церкви, т. V, прил. III.
- 19а. Житие Митрополита Петра. Пространная редакция, ПСРЛ, т. XXI. Степенная книга, ч. I, СПб., 1908; см. также Б. С. Ангелов, Из старата българска, русска и сербска литература, София, 1958.
20. Житие князя Довмонта, — в кн.: Н. Серебрянский, Древнерусские княжеские жития, Пг., 1915.
21. Задонщина. Тексты, — в кн.: «Слово о полку Игореве и памятники куликовского цикла», М.—Л., 1966.
22. Законодательные акты великого княжества Литовского, XV—XVI вв., под ред. И. И. Яковкина, Л., 1936.
- 22а. Исторический архив, т. V, М., 1950. Краткие летописцы XV—XVI вв.
23. Исторические связи народов СССР и Румынии в XV—XVIII в., т. I (1408—1632), М., 1968.
- 23а. Клавихо Гонзалес, Дневник путешествия ко двору Тимура в Самарканд в 1403—1406 гг., СПб., 1881.
24. Ланноа Гильберт, Путешествие в восточные земли Европы в 1403—1414 гг., — «Университетские известия», Киев, 1873, № 8.
25. Литовская метрика, 1, 3. Книги публичных дел, переписка войска, — Риб, т. 33, II, 1914.
26. Материалы для истории взаимных отношений России, Польши, Молдавии, Валахии и Турции в XIV—XVI вв., М., 1887.
27. Материалы, относящиеся к истории Южной Руси, вып. 1, XVI в., Киев, 1890.
28. Материалы по истории Западной Украины, — НЗТШ, т. 63, 1905.
29. Мемуары к истории Южной Руси, вып. 1 (Сочинение Михилона Литвина), пер. К. Мельник, ред. В. Б. Антонович, Киев, 1890.
30. Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов, М.—Л., 1950.
31. Новгородские летописи (так называемые Новгородская вторая и Новгородская третья летописи), СПб., 1879.
32. Описание книг и актов Литовской метрики, сост. Пташицкий, СПб., 1887.
33. Памятники древнерусского канонического права, — РИБ, т. VI, СПб., 1880.
- 33а. Памятники древней письменности, М., 1885.
34. Памятники русского права, вып. 1, М., 1952; вып. 2, М., 1953; вып. 3, М., 1955.
35. Памятники старинной русской литературы, вып. IV, Слово о житии и учении Стефана, бывшего в Перми епископа, СПб., 1862.
- 35а. Повести о Куликовской битве, ред. М. Н. Тихомирова, В. Ф. Ржига, Л. А. Дмитриева, М., 1959.
36. Полное собрание русских летописей (далее ПСРЛ): т. I, Лаврентьевская летопись, вып. 1 — Повесть временных лет, Л., 1926; вып. 2 — Суздальская летопись, Л., 1927; вып. 3 —

- Продолжение Суздальской летописи по Академическому списку, Л., 1928. Переиздание, М., 1962.
37. ПСРЛ, т. II. Ипатьевская летопись, СПб., 1908. Переиздание, М., 1962.
 38. ПСРЛ, т. IV. Новгородская четвертая летопись, вып. 1, Пг., 1915; вып. 2, Л., 1925.
 39. ПСРЛ, т. V. Софийская первая летопись, вып. 1 (до 1255 г.), Л., 1925; ПСРЛ, т. V (до 1471 г.), СПб., 1851; т. VI (до 1509 г.), СПб., 1853.
 - 39а. ПСРЛ, т. VI. Софийская вторая летопись, СПб., 1853.
 40. ПСРЛ, т. VII. Летопись по Воскресенскому списку, СПб., 1856.
 - 40а. ПСРЛ, т. VIII. Продолжение летописи по Воскресенскому списку, СПб., 1859.
 41. ПСРЛ, т. IX—XIV. Никоновская летопись, СПб., 1861.
 42. ПСРЛ, т. XV. Летописный сборник, именуемый Тверской летописью, СПб., 1863.
 - 42а. ПСРЛ, т. XV, вып. 1. Рогожский летописец, Пг., 1922.
 43. ПСРЛ, т. XVI. Летописный сборник, именуемый летописью Авраамки, СПб., 1889.
 44. ПСРЛ, т. XVII. Западнорусские летописи, СПб., 1907.
 45. ПСРЛ, т. XVIII. Симеоновская летопись, СПб., 1913.
 - 45а. ПСРЛ, т. XX. Львовская летопись, ч. I, СПб., 1910; ч. II, 1914.
 - 45б. ПСРЛ, т. XXI. Степенная книга, СПб., 1909.
 - 45в. ПСРЛ, т. XXII. Хронограф, ч. I, 1911; ч. II, 1914.
 46. ПСРЛ, т. XXIII. Ермолинская летопись, СПб., 1910.
 47. ПСРЛ, т. XXIV. Типографская летопись, Пг., 1921.
 48. ПСРЛ, т. XXV. Московский летописный свод конца XV в., М.—Л., 1949.
 - 48а. ПСРЛ, т. XXVI. Вологодско-Пермская летопись, М., 1959.
 49. Послания митрополита Киприана, — «Православный собеседник», Казань, 1860.
 50. Псковские летописи, М.—Л., вып. I, 1941; вып. II, 1955.
 51. Сборник М. А. Оболенского. Акты Великого княжества Литовского. Книга Посольская 1506 г., М., 1860.
 - 51а. Сборник памятников по истории церковного права, ч. I, II, Пг., 1915.
 52. «Сказание о Мамаевом побоище». Тексты, — в кн.: Шамбинаго, Повести о Мамаевом побоище, СПб., 1906.
 - 52а. «Сказание о Мамаевом побоище». Тексты, — в кн.: «Повесть о Куликовской битве», М., 1959.
 - 52б. «Сказание о Мамаевом побоище», — «Русский исторический сборник», т. III, М., 1838.
 53. Смоленские грамоты XIII—XV вв., М., 1963.
 54. Собрание государственных грамот и договоров, М., т. I, 1813; т. II, 1819; т. III, 1822.
 55. Собрание государственных и частных актов, касающихся истории Литвы и соединенных с нею владений (1387—1710), ч. I, Вильно, 1858.
 56. Собрание древних грамот и актов городов — Вильны, Ковна, Трокай, ч. I, Вильно, 1843.
 57. Татищев В. Н., История Российская, т. I—VII, Л., 1962—1968.

58. Тизенгаузен В. Г., Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды, т. I (извлечения из сочинений арабских), СПб., 1884.
59. Тизенгаузен В. Г., Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды, т. II (извлечения из персидских сочинений обработаны А. А. Ромаскевичем и С. Л. Волиным), М.—Л., 1941.
60. Троицкая летопись, реконструкция М. Д. Приселкова, под ред. К. Н. Сербиной, М.—Л., 1950.
61. Украинские грамоты, т. I (XIV — пол. XV вв.), Киев, 1928.
62. Устюжский летописный свод, М.—Л., 1950.
- 62a. Хроника Быховца, М., 1966.
63. Шильтбергер И., Путешествие по Европе, Азии и Африке с 1394 по 1427 г., пер. Ф. Бруна, — «Записки Новороссийского университета», т. I, Одесса, 1869.
- 63a. Ярлыки ханские, Н. И. Березин, Казань, 1851.
- 63б. Ярлыки Тохтамыша и Темир-Кутлуга, В. Радлов, — «Записки Восточного отдела Русского археологического общества», т. III, 1889.
64. *Acta Patriarchatus Constantinopolitani (1315—1402)* Miklosich — Müller, t. I—II, Wien, 1860—1862.
65. *Akta unii Polski z Litwa (1385-1791)*, Krakow, 1932.
- 65a. *Akta grodzkie i ziemskie z czasow Rzeczypospolitej Polskiej, t. I—XXV*, Lwow, 1868—1935.
66. *Archiwum książąt Lubartowiczów-Sanguszków w Sławucie*, Lwow, t. I, 1887, t. II, 1888.
67. *Chalcocondylas Laonicus, De origine ac rebus gestis Turcorum*, — CSHB, Bonnae, 1843, "Byzantinische Geschichtschreiber", Bd II, Graz, 1954.
68. *Codex diplomaticus ecclesiae cathedralis, Vilmensis, t. I, z. I (1387—1468)*, Kraków, 1932.
69. *Codex diplomaticus Mazowiae*, W., 1919.
70. *Codex epistolaris saeculi XV, t. I—III, 1875—1894.*
71. *Codex epistolaris Vitoldi (1376—1430)*, Kraków, 1882.
- 71a. *Codex diplomaticus Regni Poloniae et Magni Ducatus Lithuahiae*, Bd I, IV—V, Wilno, 1758—1764.
72. *Codex diplomaticus Prussicus*, Bd II, IV—VI, 1358—1366, Königsberg, 1853—1861.
73. *Critobulus, De rebus gestis Mechemetis*, *Fragmente historiarum*, V, 1883; *Kritovoulos, History of Mehmed the Conqueror*, Princeton, 1954.
74. *Długosz Jan, Banderia Prutenorum*, Warszawa, 1958.
75. *Długossii J., Historiae Poloniae, t. III, IV*, Kraków, 1873; *Jana Długosza, Dziełow Polskich ksiąg dwanasce, t. III, IV*, Kraków, 1868.
76. *Dokumenta moldawskie i multianskie z archivum Lwowa*, Lwów, 1901.
77. *Dokumenta pontificum romanorum historiam ucrainae illustrantia, t. I (1075—1700)*, Romae, 1953.
78. *Ducas, Istoria turco-bizantina*, Bucuresti, 1958.
79. *Giese F., Die altosmanishen anonymen Chroniken*, Leipzig, 1925.
- 79a. *Gregoras Nic., Bizantina historia, t. I—III*, Bonnae, 1829.
80. *Hurmuzaki E., Dokumente privitore la istoria Romanilor, vol. I, pt. 2 (1346—1450)*, Bucuresti, 1890.

81. Kodeks dyplomatyczny Księstwa Mazowieckiego, Warszawa, 1863.
82. Kodeks dyplomatyczny Litwy, Wrocław, 1845.
83. Kodeks dyplomatyczny Małopolski, t. IV (1386—1450), Kraków, 1905.
84. Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski, t. III (1350—1399), t. IV (supl.), t. V (1400—1444), Poznań, 1879, 1881, 1908.
85. Liv-Est- und Kurländisches Urkundenbuch, Bd II—VI, Riga, Reval, 1853—1881.
86. Materiały archiwalne wyjęte glównie z Metryki Litewskiej od 1348 do 1607 roku, Lwów, 1890.
87. Materiały do historii Jagiellonów z archiwów weneckich, cz. I i II, — RTN, t. XV—XVI, Poznań, 1887, 1889.
88. Monumenta iuris. Księgi polskiej korony metryki XV st., Warszawa, 1914.
- 88a. Monumenta mediaevi historica — XII, Kraków, 1897.
89. Monumenta poloniae historica. Pomniki dziejowe Polski, t. II, 1872; t. III, 1878.
90. Pomniki do dziejów Litewskich pod względem historycznym, zebrano przez T. Narbutta, Wilno, 1846.
91. Pomniki Litewskiego, Kraków, 1900.
- 91a. Pułaski K., Stosunki Polski z Tatarszczyną, od połowy XV wieku, t. I, Stosunki z Mendli — Girejem (1469—1515), t. I, Kraków, Warszawa, 1881; Machmet Girej, Kraków, 1898.
92. Rachunek dworu króla Władysława Jagielly i królowej Jadwigi z lat 1388—1420, t. XV, Kraków, 1896.
93. Regesta historico-diplomatica Ordinis s. Mariae Theutonicarum 1198—1525, R. I, Halbb. I (1198—1454); R. I, Halbb. 2 (1433—1454).
94. Scriptores rerum prussicarum, t. II, Leipzig, 1863.
95. Scriptores rerum prussicarum, Jochan Posilge Chronik des Landes Preussen (1360—1409), t. III, Leipzig, 1866.
96. Skarbiec dyplomatów papieżskich, cesarskich, królewskich do krytycznego wyjaśnienia dziejów Litwy, Rusi Litewskiej, zebrano I. Daniłowicz, t. I—II, Wilno, 1860—1862.
97. Sphrantzes G., Memorii, Bucuresti, 1966.
98. Sprawozdanie z poszukiwań na Węgrzech, Kraków, 1919.
99. Sprawy wołoskie za Jagiellonów, — Akta i Listy wyd. A. Jabłonowski Zródła dziejowe, t. X, 1878.
100. Średniowieczne prawa mazowieckiego pomniki (z lat 1377—1472), Kraków, 1897.
101. Schiltberger H., Reisebuch, CLXXII, Stuttgart, 1885.
102. Die Staatsverträge des deutschen Ordens in Preussen im XV Jahrhundert, Bd I (1398—1437), Königsberg, 1939; Bd III (1437—1467), Marburg, 1955.
103. Statuta synodalia episcoporum Cracoviensium XIV et XV saecul, t. IV, Kraków, 1875.
104. Strykowski M., Kronika polska, litewska, zmułka i wszystkich Rusi, Warszawa, 1846.
105. Vetera Monumenta poloniae et lithuaniae, t. I (1217—1409) Romae, 1860; t. II (1410), Romae, 1861.
106. Vitodurani J., Chronicon, — "Archiv für Schweizerische Geschichte", Bd XI.
107. Volumina legum, t. I, Petersburg, 1859.
108. Zapiski historyczne z lat 1410—1530, "Studia Źródłoznawcze", t. III, Poznań, 1958.

109. Zbiór praw Litewskich (1486—1529), Poznań, 1841.
110. Zbiór dyplomatów rządowych i aktów prywatnych do dziejów Litwy (1387—1710). red. M. Krupowicz, Wilno, 1858.

Литература

111. Абецедарский Л. С., У святле неабвержных фактаў, Минск, 1969.
112. Азбелев С. Н., Две редакции Новгородской летописи Дубровского, — «Новгородский исторический сборник», вып. 9, Новгород, 1959.
113. Адрианова-Перетц В. П., Задонщина, — ТОДРЛ, т. V, 1947; т. VI, 1948.
114. Адрианова-Перетц В. П., Слово о житии и преставлении в. кн. Дмитрия, — ТОДРЛ, т. V, 1947.
115. Адрианова-Перетц В. П., Историческая литература XI—начала XV в. и народная поэзия, — ТОДРЛ, т. VIII, 1951.
116. Алексеев Л. В., Полоцкая земля в IX—XIII вв., М., 1966.
- 116а. Аляшиц Д., Роль Куликовской битвы в определении национального сознания русского народа, — «Ученые записки ЛГУ», № 36, сер. истор. наук, вып. 3, Л., 1939.
117. Андриашев А. М., Очерки истории Волинской земли до конца XIV в., Киев, 1887.
118. Андрияшев Александр, Нарис Истории колонизації сіверської землі до початку XVI віку, Киев, 1926.
119. Аннинский С. А., Известия венгерских миссионеров в XIII—XIV вв. о татарах в Восточной Европе, — «Исторический архив», т. III, 1940.
120. Антонова М. Ф., Слово о житии и о преставлении великого князя Дмитрия Ивановича, царя русского, — ТОДРЛ, т. 28, 1974.
121. Антонович В. Б., Монография по истории Западной и Юго-Западной России, т. I, Киев, 1885.
122. Арбузов Л., Очерк истории Лифляндии, Эстляндии, Курляндии, СПб., 1912.
123. Арциховский А. В., Древнерусские миниатюры как исторический источник, М., 1944.
124. Багалея Д., История Северской земли до половины XIV в., Киев, 1882.
125. Багалея Д., Нарис украинской историографии, т. I. Летописи, Киев, 1923.
126. Барбашев А., Витовт и его политика до Грюнвальдской битвы 1410 г., СПб., 1885.
127. Барбашев А., Витовт и последние двадцать лет княжения (1410—1430), СПб., 1892.
- 127а. Барсов Т., Константинопольский патриарх и его власть над русской церковью, СПб., 1878.
128. Барсуков И., Источники русской агиографии, СПб., 1882.
129. Бегунов Ю. К., Житие А. Невского в составе Новгородской I и Софийской I летописей, — «Новгородский исторический сборник», вып. 9, Новгород, 1959.
130. Бегунов Ю. К., Об исторической основе сказания о Мамае-

- вом побоище, — в кн.: «Слово о полку Игореве» и памятники Куликовского цикла», М.—Л., 1966.
131. Бегунов Ю. К. Памятник русской литературы XIII в. «Слово о погибели Русской земли», М.—Л., 1965.
 132. Белоброва О. А., О некоторых изображениях Епифания Премудрого и их литературные источники, — ТОДРЛ, XXII, 1966.
 133. Белоруссия и Литва, СПб., 1890.
 134. Беляев И. Л., История Полоцка или Северо-Западной Руси с древних времен до Люблин, М., 1872.
 135. Бережков Н. Г., Литовская матрица, ч. I, М.—Л., 1946.
 136. Березин Н. И., Очерк внутреннего устройства Улуса Джучи, — ТВОАО, т. VIII, 1864.
 137. Бернадский В. Н., Новгород и Новгородская земля в XV в., Л., 1961.
 138. Бернштейн С. Б., Разыскания в области болгарской исторической диалектологии, М., 1951.
 139. Борзиковский В. С., История Тверского княжества, СПб., 1876.
 140. Брянцев П. Д., История литовского государства с древнейших времен, Вильно, 1890.
 141. Брянцев П. Д., Очерк древней Литвы и Западной России, Вильно, 1891.
 142. Брун Ф., Черноморье. Догадки относительно участия русских в делах Болгарии в XIII—XIV вв., т. I, II, Одесса, 1880.
 143. Будовниц И. У., Общественно-политическая мысль древней Руси, М., 1960.
 144. Будовниц И. У., Отражение политической борьбы Москвы и Твери в московском летописании XIV в., — ТОДРЛ, т. XII, 1956.
 145. Будовниц И. У., Монастыри на Руси и борьба с ними крестьян в XIV—XVI вв., М., 1966.
 - 145а. Бычкова М. Е., Родословные книги XVI—XVII вв. как исторический источник, М., 1968.
 146. Васенко П. Г., «Книга степенная царского родословия» и ее значение в древнерусской письменности, СПб., 1904.
 147. Васильев А. А., Падение Византии, Л., 1925.
 148. Васильев В., История канонизации русских святых, М., 1893.
 149. Васильевский В. Г., История города Вильны, — в кн.: «Памятники русской старины в западных губерниях Империи», Вильно, 1876.
 150. Васильевский В. Г., Записи о поставлении русских епископов, — ЖМНП. 1888
 151. Вахевич Б. А., Западнорусская летопись по списку Румянцевского музея, Одесса, 1903.
 152. Вельяминов-Зернов В. В., Исследование о Касимовских царях и царевичах, т. I, СПб., 1863.
 - 152а. Вельяминов-Зернов В. В., Материалы для истории Крымского ханства, СПб., 1864.
 153. Веселаго Е. Б., К вопросу о взглядах Л. Халкокондила, — «Вестник МГУ», сер. истор., 1960, № 1.
 153. Веселовский Н. И., Заметки по истории Золотой Орды, Пг., 1916.

154. Винтер Э., Папство и царизм, М., 1964.
155. Винтер Э., Россия в политике римской курии в XIV в., — «Вопросы истории религии и атеизма», вып. VI, М., 1958.
156. Владимирский-Буданов М. Ф., Население юго-западной Руси от половины XIII в. до половины XVII в. — «Архив юго-западной России», т. I, ч. VII, Киев, 1886.
157. Владимирский-Буданов М. Ф., Очерки по истории литовско-русского права, т. I, Киев, 1889.
158. Владимирский-Буданов М. Ф., Обзор истории русского права, Киев, 1905.
159. Вольдемар, Национальная борьба в Великом княжестве литовском в XV—XVI вв., — ИОРЯС, т. XIV, СПб., 1909.
160. Воронин Н. Н., Зодчество северо-восточной Руси XII—XV вв., М., 1967.
161. Воронин Н. Н., Андрей Рублев и его время, — «История СССР», 1960, № 4.
162. Вопросы формирования русской народности и нации, М., 1958.
- 162а. Голейзовский Н. К., Психоз и русская живопись XIV—XV вв., — ВВр. 1969.
163. Голубинский Е., История русской церкви, т. II, кн. 1, М., 1901; т. II, кн. 2, М., 1911.
164. Голубинский Е., История канонизации святых в русской церкви, М., 1903.
165. Голубинский Е., Краткий очерк истории православных церквей: болгарской, сербской и румынской или молдаво-валахской, М., 1871.
166. Голубовский П. В., История смоленской земли до начала XV столетия, Киев, 1895.
- 166а. Глубоковский Н., Киприан — митрополит всея Руси (1374—1406) как писатель, — ЧОЛДР, М., 1892.
167. Горяинов Б. Т., Поздневизантийский феодализм, М., 1962.
168. Греков Б. Д., Якубовский А. Ю., Золотая Орда и ее падение, М.—Л., 1950.
169. Греков И. Б., Очерки по истории международных отношений Восточной Европы XIV—XVI вв., М., 1963.
170. Греков И. Б., О первоначальном варианте «Сказания о Мамаевом побоище», — «Советское славяноведение», 1970, № 6.
- 170а. Греков И. Б., К вопросу о датировке так называемой второй духовной грамоты Московского князя Василия. Сб. статей к 70-летию акад. М. Н. Тихомирова, М. 1963.
171. Грекул Ф. А., Молдавский город второй половины XV в., — ВИ, 1949.
172. Григорович В., Что значит Руссолахия в греческих документах, — «Труды III археологического съезда», Киев, 1878.
173. Грушевский М. С., История Украины — Руси, т. I (1898), Львов, 1904.
174. Грушевский М. С., История Украины — Руси, т. II, Львов, 1905.
175. Грушевский М. С., История Украины — Руси, т. III (по року 1340), Львів, 1905.
176. Грушевский М. С., История Украины — Руси, т. IV (XIV—XVI вв.). Відносини політичні, Київ — Львів, 1907.
177. Грушевский М. С., История Украины — Руси, т. V. Сус-

пильно-політичн. І церковний устрій і відносини в укр.-руських землях XIV—XVII вв., Львів, 1905.

178. Грушевский М. С., История Украины — Руси, т. VI, Київ — Львів, 1907.
179. Грушевский М. С., Звичайна схема «руської» исторії і справа раціонального укладу исторії східного словянства, — кн.: «Статьи по славяноведению», т. I, СПб., 1904.
180. Грушевский М. С., Иллюстрированная история украинского народа, СПб., 1913.
181. Грушевский М. С., Украинский народ в его прошлом и настоящем, СПб., 1914.
182. Грушевский М. С., На порозі нове України, Киев, 1918.
183. Гудзий Н. К., История древней русской литературы, 1956.
184. Гуслистый К. Г., Нариси з історії України, вып. II, Україна під литовським пануванням і захоплення її Польшею, Киев, 1939.
185. Гуттен-Чапский, Удельные, великокняжеские и царские деньги древней Руси, СПб., 1875.
186. Данилевич В. Е., Очерк истории Полеской земли до конца XIV в., Киев, 1896.
187. Данилова Л. В., Очерки по истории землевладения и хозяйства в Новгородской земле XIV—XV вв., М., 1955.
188. Дашкевич Н. П., Заметки по истории литовско-русского государства, Киев, 1885.
189. Дашкевич Н. П., О времени присоединения Волыни и Киева к Литве, — «Чтения ОЛДР им. Нестора», 1888.
190. Демина Н., Черты героической действительности XIV—XV вв. в образах людей Андрея Рублева, — ТОДРЛ, т. XII, 1956.
- 190а. Демина, Андрей Рублев и художники его круга, М., 1972.
191. Диттен Г., Известия Л. Холкокоидша о России, — ВВр., XXI, 1962.
192. Дмитриев Л. А., К литературной истории «Сказания о Мамаевом побоище», — в кн.: «Повести о Куликовской битве», М., 1959.
- 192а. Дмитриев Л. А., О датировке «Сказания о Мамаевом побоище», — ТОДРЛ, IX, 1954.
193. Дмитриев Л. А., Вставки из «Задонщины» в «Сказание о Мамаевом побоище» как показатель по истории текста этих произведений, — в кн.: «„Слово о полку Игореве“ и памятники Куликовского цикла», М.—Л., 1966.
194. Дмитриев Л. А., Роль и значение митрополита Киприана в истории древнерусской литературы, — ТОДРЛ, т. XIX, 1966.
195. Дмитриева Р. П., Сказание о князьях владимирских, М.—Л., 1955.
196. Довнар-Запольский, Государственное хозяйство в к. Литовского при Ягеллонах, т. I, Киев, 1901.
197. Довнар-Запольский, Русская история в очерках и статьях, т. I, М., 1909; т. II, М., 1910; т. III, М., 1912.
- 197а. Древнерусское государство и его международное значение, М., 1965.
198. Дундулис Б. И., Дипломатическая и вооруженная борьба

- Литвы против Тевтонского Ордена и ее союз с гуситами в 1410—1422 гг., Вильнюс, 1955.
199. Дундулис Б. И., Борьба Литвы за свою независимость в XV в., Вильнюс, 1967.
 200. Закиров С., Дипломатические отношения Золотой Орды с Египтом (III—XIV вв.), М., 1966.
 - 200а. Жюгда Ю. И., Фальсификация истории литовского народа буржуазной националистической историографией, — «Коммунист», Вильнюс, 1946.
 201. Зверинский В. В., Материалы для историко-топографического исследования православных монастырей, ч. I, 1890; ч. II, 1892.
 202. Зимин А. А., О хронологии договорных грамот Великого Новгорода с князьями XIII—XIV вв., — «Проблемы источниковедения», т. V, 1956.
 203. Зимин А. А., О хронологии духовных и договорных грамот, — «Проблемы источниковедения», т. VI, 1958.
 204. Зимин А. А., «Сказание о Мамаевом побоище» и «Задонщина», — АЕ, М., 1969.
 205. Зимин А. А., Краткое и пространное собрание ханских ярлыков, выданных русским митрополитам, — АЕ, М., 1961.
 206. Зотов Р. О., О Черниговских князьях по Любецкому синодику и Черниговском княжестве в татарские времена, СПб., 1892.
 207. Зубов В. П., Епифаний Премудрый и Пахомий серб., — ТОДРЛ, т. IX, 1953.
 - 207а. Иконников В. С., Опыт исследования о культурном значении Византии в русской истории, Киев, 1869.
 208. Ильин А. А., Классификация русских удельных монет, Л., 1940.
 209. Иловайский Д., История Рязанского княжества, М., 1884.
 210. Иречек, История болгар, Одесса, 1878.
 211. История Болгарии, т. I, М., 1955.
 212. История Венгрии, т. I, М., 1972.
 213. История Византии, т. III, М., 1967.
 214. История Польши, т. I, М., 1955.
 215. История Чехословакии, т. I, М., 1955.
 216. История Югославии, т. I, М., 1963.
 217. История дипломатии, т. I, М., 1959.
 218. История Белорусской ССР, т. I, Минск, 1961.
 219. История Украинской ССР, Киев, 1955.
 220. История Литовской ССР, Вильнюс, 1954.
 221. История Молдавской ССР, Кишинев, 1965.
 222. История исторической науки, т. I—III, М., 1963.
 223. История русского искусства, т. I—III, М., 1955.
 224. История русской литературы, т. II, М.—Л., 1946.
 225. История культуры древней Руси, т. I—II, М.—Л., 1951.
 226. Казакова Н. А., Лурье Я. С., Антифеодальные еретические движения на Руси XIV—начала XVI вв., М.—Л., 1955.
 227. Каждан, Источники, — в кн.: «История Византии», т. III, М., 1967.
 228. Каждан, Завоевание турками морей, островов Эгейского моря и Трапезундской империи, — в кн.: «История Византии», т. III, М., 1967.

- 228а. Каптерев Н. Ф., Характер отношений России к православному Востоку в XVI—XVII вв., М., 1914.
229. Карамзин Н. М., История государства Российского, М., 1962.
230. Каргалов, Татаро-монгольское нашествие на Русь, СПб., 1842.
231. Карский Е. Ф., Белорусы, т. I, Вильна, 1904.
232. Карский Е. Ф., К вопросу о влиянии литовского и латышского языков на белорусское наречие. Сб. статей, посвященных Фортунатову, Варшава, 1902.
233. Карский Е. Ф., Культурное завоевание русского языка в старину на западной окраине его области, — ИОРЯС, 1924.
234. Карташев А. В., Очерки по истории русской церкви, т. I и II, Париж, 1959.
235. Клепатский П. Г., Очерки по истории Киевской земли, т. I, литовский период, Одесса, 1912.
236. Клибанов А. И., Реформационное движение в России в XIV в. — первой половине XVI в., М., 1960.
237. Ключевский В. О., Древнерусские жития как исторический источник, М., 1871.
238. Ключевский В. О., Сочинения. Курс русской истории, т. I, М., 1956; т. II, М., 1957.
- 238а. Копанев А. И., История землевладения Белозерского края в XV—XVII вв., Л., 1951.
239. Королюк В. Д., Западные славяне и Киевская Русь, М., 1964.
240. Копистяньский А., Исторія Руси, ч. I—II, Львів, 1931—1932.
241. Корд В., Чужеземні подорожжі по Східній Європі до 1700 р., Киев, 1926.
242. Котляр М. Ф., Галицкая Русь у другій половині XIV—перш. четверти XV ст., Киев, 1968.
243. Котляренко А. Н., «Задонщина» как памятник русского языка конца XIV в., — «Ученые записки ЛГПИ», т. XV, Л., 1956.
244. Крюкович М., Литовская церковная уния, СПб., 1859.
245. Крипьякевич И., История украинской колонизации. География українських и сумежных земель, Львів, 1938.
246. Кузьмин А. Г., Рязанское летописание, М., 1965.
247. Кучкин В. А., Сказание о смерти митрополита Петра, — ТОДРЛ, т. XVIII, 1962.
248. Лазарев В. Н., Андрей Рублев и его школа, М., 1966.
249. Лазарев В. Н., Искусство Новгорода, М., 1947.
250. Лаппо И., Западная Россия и ее соединение с Польшей в их историческом прошлом, Прага, 1924.
251. Лебедев Н., Византия и монголы в XIII в. (по известиям Г. Пахимера), — ИЖ, 1944.
- 251а. Левченко М. В., Очерки по истории русско-византийских отношений, М.—Л., 1956.
252. Леонтович Ф., Очерки по истории литовско-русского права. Образование территории Литовского государства, СПб., 1844.
253. Леонтович Ф., Сословный тип территориально-административного состава Литовского государства, — ЖМНП, 1895, № 6.

254. Леонтович Ф., Правоспособность литовско-русской шляхты, — ЖМНП, 1908, № 7; 1910, № 9.
255. Линниченко И. А., Взаимные отношения Руси и Польши до половины XIV ст., ч. I, Киев, 1884.
256. Линниченко И. А., Критический обзор новой литературы по истории Галицкой Руси, — ЖМНП, 1891.
257. Линниченко И. А., Черты из истории сословий в Юго-Западной (Галицкой) Руси XIV—XV вв., М., 1894.
258. Линниченко И. А., Юридические формы шляхетского землевладения и судьба древнерусского боярства в Юго-Западной Руси XIV—XV вв., — «Юридический вестник», 1892, т. XI, кн. 3—4.
259. Лимонов Ю. А., Летописание Северо-Восточной Руси, Л., 1967.
260. Литаврин Г. Г., Междоусобная борьба в Византии и соседи Империи, — в кн.: «История Византии», т. III, М., 1967.
261. Литаврин Г. Г., Византия в период гражданской войны и движения зилотов, — в кн.: «История Византии», т. III, 1967.
- 261а. Литаврин Г. Г., Янин В. А., Некоторые проблемы русско-византийских отношений в IX—XV вв., — «История СССР», 1970, № 4.
262. Лихачев Д. С., Идеологическая борьба Москвы и Новгорода в XIV—XV вв., — ИЖ, 1941, № 6.
263. Лихачев Д. С., Культура Руси эпохи образования Русского национального государства, М.—Л., 1946.
264. Лихачев Д. С., Русские летописи и их культурно-историческое значение, М.—Л., 1947.
265. Лихачев Д. С., Софийский временник и новгородский политический переворот 1136 г., — ИЗ, 1948.
- 265а. Лихачев Д. С., Некоторые задачи изучения второго южно-славянского влияния в России, — «Доклады на IV съезде славистов», 1958.
266. Лихачев Д. С., Культура Руси времени Андрея Рублева и Епифания Премудрого (конец XIV — начало XV в.), М.—Л., 1962.
267. Лихачев Д. С., Текстология, М.—Л., 1962.
268. Лихачев Д. С., Культура русского народа, М.—Л., 1961.
269. Лихачев Д. С., Галицкая литературная традиция в житии Александра Невского, — ТОДРЛ, Л., 1947.
- 269а. Лихачев Д. С., Черты подражательности в «Задонщине», — «Русская литература», Л., 1964, № 3.
270. Лихачев П. Н. Два митрополита, — в сб. статей в честь Д. Ф. Кобеко, СПб., 1913.
271. Ловмянский Г., Взаимные отношения Польши и Руси в средние века, — «Советское славяноведение», 1967, № 3.
272. Любавский М. К., Областное деление и местное управление Литовско-русского государства ко времени издания первого Литовского статута, М., 1892.
273. Любавский М. К., О распределении владений и об отношениях между великими и другими князьями Гедиминова рода в XIV в. и в XV в., — в кн.: «Издания Исторического общества при Московском университете». Рефераты, М., 1896.
274. Любавский М. К., Литовско-русский сейм. Опыт по исто-

- рии учреждения в связи с внутренним строем и внешней жизнью государства, М., 1900.
275. Любавский М. К., Очерк истории Литовско-русского государства до Люблинской унии включительно, М., 1910.
 276. Любавский М. К., История западных славян, М., 1918.
 277. Любавский М. К., Образование основной государственной территории великорусской народности, Л., 1929.
 278. Лурье Я. С., Идеологическая борьба в русской публицистике конца XV — начала XVI вв., М.—Л., 1960.
 279. Лурье Я. С., Роль Твери в создании русского централизованного государства, — «Ученые записки ЛГУ», Л., 1939, № 4.
 280. Лурье Я. С., Из истории русского летописания конца XV в., — ТОДРЛ, т. XI, 1955.
 281. Мавродин В. В., Очерки истории Левобережной Украины (с древнейших времен до второй половины XIV в.), Л., 1940.
 282. Мавродин В. В., Образование единого русского государства, М.—Л., 1951.
 283. Мавродин В. В., Основные этапы этнического развития русского народа, — ВИ, 1950.
 - 283а. Мавродин В. В., Древнерусское государство, М., 1956.
 284. Маковский Д. П., Смоленское княжество, Смоленск, 1948.
 285. Макарий (Булгаков), История русской церкви, т. III, IV, СПб., 1866.
 286. Мансветов И., Митрополит Киприан в его литургической деятельности, М., 1882.
 - 286а. Мансикка, Житие Александра Невского, СПб., 1915.
 287. Марков А., Рецензия на книгу Шамбинаго С. К. «Повести о Мамаевом побоище». — ЖМНП, 1909.
 - 287а. Марков А. К., Инвентарный каталог мусульманских монет Эрмитажа, СПб., 1896.
 288. Международные связи России до XVII в., М., 1961.
 289. Молчановский Н., Очерки известий о Подольской земле до 1434 г., Киев, 1885.
 290. Мохов Н. А., Очерки истории молдавско-русско-украинских связей, Кишинев, 1961.
 291. Н. Д., Иерархия Всероссийской церкви от начала христианства в России до настоящего времени, ч. I, 1892; ч. II, 1894.
 292. Насонов А. Н., Летописные своды Тверского княжества, — «Доклады АН СССР», сер. В, ноябрь—декабрь, Л., 1926.
 293. Насонов А. Н., Летописные памятники Тверского княжества (опыт реконструкции тверского летописания от XIV до конца XV в.), — «Известия АН СССР», отделение гуманитарных наук, 1930, № 9, 10.
 294. Насонов А. Н., Монголы и Русь, М.—Л., 1940.
 295. Насонов А. Н., «Русская земля» и образование территории древне-русского государства, М., 1951.
 296. Насонов А. Н., История русского летописания XI — начала XVII в., М., 1969.
 297. Нечкина М. В., О восходящей и нисходящей стадиях феодальной формации, — ВИ, 1958, № 7.
 - 297а. Новосельцев А. П., Об исторической оценке Тимура, — ВИ, 1973, № 2.
 298. Оболенский М. А., Григорьев, Ярлык хана Золотой

- Орды Тохтамыша к польскому королю Ягайлу 1392—1393 гг., Казань, 1850.
299. Оболенский Д., Связи между Византией и Русью в XI—XV вв., М., 1970.
 300. Орлов А. С., Древняя русская литература XI—XVIII вв., Л., 1945.
 301. Очерки истории СССР периода феодализма IX—XIII вв., М., 1953.
 302. Очерки истории СССР периода феодализма XIV—XV вв., М., 1953.
 303. Очерки русской культуры XII—XV вв., ч. I, 2, М., 1970.
 304. Павлов А. С., О начале галицкой и литовской митрополий и о первых тамошних митрополитах по византийским документам и источникам XIV в., М., 1894.
 305. Пальмов М., К вопросу о сношениях чехов-гуситов с восточной церковью в половине XV в., 1889.
 306. Пашуто В. Т., Очерки по истории Галицко-Волинской Руси, М., 1950.
 307. Пашуто В. Т., Героическая борьба русского народа за независимость (XIII век), М., 1956.
 308. Пашуто В. Т., Образование Литовского государства, М., 1959.
 309. Пашуто В. Т., Внешняя политика Древней Руси, М., 1968.
 310. Перцов В. И., Гистарычная думка у Беларусі у XIX—початку XX ст., — «Весті АН БССР», 1957, № 2.
 311. Петрунь Ф., Ханські ярлики на українські землі, — «Східний світ», Харьков, 1928, № 2.
 312. Пирлинг О., Россия и папский престол, т. I, М., 1912.
 313. Пичета В. И., Белоруссия и Литва в XIV—XVI вв., Вильнюс, 1961.
 314. Пичета В. И., Образование белорусского народа, — ВИ, 1946, № 5—6.
 315. Пичета В. И., Великое княжество Литовское в XIII—XVI вв., — в кн.: «История СССР» т. I, М., 1947.
 316. Попов А. Н., Историко-литературный обзор древнерусских полемических сочинений против латинян (XI—XV вв.), М., 1875.
 317. Пресняков А. Е., Образование великорусского государства. Очерки по истории XIII—XV столетий, Пг., 1918.
 318. Пресняков А. Е., Лекции по русской истории (читанные автором в 1908—1910 гг.), т. III, вып. 1. Западная Русь и Литовско-русское государство, М., 1939.
 319. Приселков М. Д., Очерки по церковно-политической истории Киевской Руси X—XIII вв., СПб., 1913.
 320. Приселков М. Д., Ханские ярлики русским митрополитам, СПб., 1916.
 321. Приселков М. Д. и Фасмер М. Р., Отрывки В. И. Бенешевича по истории русской церкви XIV в., — ИОРЯС, т. XXI, 1916.
 322. Приселков М. Д., летописание XIV в., — в кн.: «Сборник статей по русской истории, посвященных С. Ф. Платонову», Петербург, 1922.
 323. Приселков М. Д., История русского летописания XI—XV вв., Л., 1940.

324. Приселков М. Д., История рукописи Лаврентьевской летописи и ее изданий, — «Ученые записки ЛГПИ им. Герцена», т. 19, Л., 1939.
325. Приселков М. Д., Лаврентьевская летопись, — «Ученые записки ЛГУ», № 32, сер. историч. наук, вып. 2, Л., 1939.
326. Приселков М. Д., Летописание Западной Украины и Белоруссии, — «Ученые записки ЛГУ», № 67, сер. историч. наук, вып. 7, Л., 1941.
- 326а. Прохоров Г. М., Исихазм и общественная мысль в Восточной Европе XIV в., — ТОДРЛ, т. XXII, 1968.
327. Путилов В. Н., Русские исторические песни XIII—XIV вв., — в кн.: «Исторические песни XIII—XIV вв.», М.—Л., 1960.
328. Путилов В. Н. Куликовская битва в фольклоре, — ТОДРЛ, т. XVIII, М.—Л., 1961.
329. Рамм Б. Я., Паństwo и Русь в X—XI вв., М.—Л., 1967.
- 329а. Рамм Б. Я., Папско-русские отношения в средние века в освещении современной буржуазной историографии, — «Средние века», 1965, № 28.
330. Ржига В. Ф., Слово Софония Рязанца о Куликовской битве («Задонщина»), — «Ученые записки МГПИ», т. XIII, 1947.
331. Ржига В. Ф., О Софонии Рязанце. Слово Софония Рязанца о Куликовской битве («Задонщина») как литературный памятник 80-х годов XIV в., — в кн. «Повести о Куликовской битве», М., 1959.
332. Рогов А. И., Русско-польские культурные связи в эпоху Возрождения (Стрыйковский и его хроника), М., 1966.
333. Рогов А. И., Житие Александра Невского, М., 1968.
334. Романов Б. А., Родина Афанасия Никитина, — в кн.: «Хождение за три моря Афанасия Никитина», М., 1948.
335. Рыбаков Б. А., Ремесло древней Руси, М., 1948.
336. Рыбаков Б. А., Древняя Русь. Сказания. Былины. Летописи, М., 1963.
337. Рыбаков Б. А., Проблема образования древнерусской народности, — ВИ, 1952, № 9.
- 337а. Рыбаков Б. А., Древние русы, — «Советская археология», 1953, № 17.
338. Рыбаков Б. А., Схематическая карта населенных пунктов домонгольской Руси, упоминаемых в русских письменных источниках, — в кн.: «История культуры древней Руси», т. I, М.—Л., 1951.
339. Рыбаков Б. А., Борьба Руси с Батыем, — в кн.: «Народ-богатырь (IX—XIII)», М., 1948.
340. Рыбаков Б. А., Раскопки в Звенигороде (1943—1945). Из истории московско-нижегородских отношений в начале XV в., — в кн.: «Материалы и исследования по археологии Москвы», т. II, под ред. А. В. Арциховского, М.—Л., 1949.
341. Рыбаков Б. А., Просвещение на Руси в XIII—XIV вв., — в кн.: «Очерки русской культуры XIII—XV вв.», М., ч. 2, 1960.
342. Рыбаков Б. А., «Слово о полку Игореве» и его современники, М., 1971.
343. Рыбаков Б. А., Русские летописцы и автор «Слова о полку Игореве», М., 1972.
- 343а. Саблуков Г., Очерк внутреннего состояния Кипчакского царства, — ИОАИЭ, т. XIII, Казань, 1896.

- 343б. Саблуков Г., Монеты Золотой Орды, — ИОАИЭ, т. XIII, Казань, 1896.
344. Савельев П. С., Монеты Джучидов, Джагатайдов и др., обрацавших в Золотой Орде в эпоху Тохтамыша, т. I—II, СПб., 1858.
345. Салмина М. А., «Летописная повесть» о Куликовской битве и «Задонщина», — в кн.: «Слово о полку Игореве» и памятники куликовского цикла, М.—Л., 1966.
346. Салмина М. А., «Слово о житии кн. Дмитрия Ивановича, царя Русского», — ТОДРЛ, т. XXV, М.—Л., 1970.
347. Самойлович А. Н., Несколько поправок к переводам ярлыков Тохтамыша, — ИТО, т. 3, Симферополь, 1927.
348. Сахаров А. М., Города Северо-Восточной Руси XIV—XV вв., М., 1959.
349. Сахаров А. М., Русь и ее культура в XIII—XV вв., — в кн.: «Очерки русской культуры XIII—XV вв.», ч. I, М., 1970.
350. Сафаргалиев М. Г., Распад Золотой Орды, Саранск, 1960.
351. Седелъников А. Д., Где была написана «Задонщина»? , Прага, 1930.
352. Серебрянский Н., Древнерусские княжеские жития, М., 1915.
353. Сестренцевич Б., История Херсонеса Таврического, 1806.
- 353а. Симсон П., История Серпухова, М., 1880.
354. «Слово о полку Игореве» и памятники куликовского цикла, под ред. Д. С. Лихачева, Л. А. Дмитриева, М.—Л., 1966.
355. Смирнов В. Д., Крымское ханство под верховенством оттоманской Порты до начала XVII в., СПб., 1887.
356. Смирнов С., Преподобный Афанасий Высоцкий, М., 1872.
357. Снегарев Ин., К истории культурных связей между Болгарией и Россией в конце XIV — начале XV в., — в кн.: «Международные связи России до XVII в.», М., 1966.
358. Соболевский А. Н., Южнославянское влияние на русскую письменность в XIV—XV вв., СПб., 1894.
359. Соболевский А. Н., Переводная литература Московской Руси XIV—XV вв., СПб., 1903.
- 359а. Соболевский А. Н., Древняя церковно-славянская литература и ее значение, Харьков, 1908.
360. Сокольский В., Участие русского духовенства и монашества в развитии единодержавия и самодержавия в Московском государстве в конце XV и первой половине XVI в., Киев, 1902.
361. Соколов Н. П., Образование Венецианской колониальной империи, Саратов, 1963.
- 361а. Соколов П. П., Подложный ярлык хана Узбека митрополиту Петру, — РИЖ, 1918, кн. 5.
362. Соколов П. П., Русский архиерей из Византии и право его назначения, Киев, 1913.
363. Соловьев А. В., Великая, Малая и Белая Русь, — ВИ, 1947, № 7.
364. Соловьев А. В., Белая и Черная Русь, — «Сборник Русского археологического общества», т. III, Белград, 1940.
365. Соловьев А. В., Автор «Задонщины» и его политические идеи, — ТОДРЛ, т. XIV, 1958.
366. Соловьев А. В., Епифаний Премудрый как автор «Слова о

- житии и о преставлении великого князя Дмитрия Ивановича царя русского», — ТОДРЛ, т. XVIII, 1961.
367. Соловьев А. В., Восемь заметок к «Слову о полку Игореве», — ТОДРЛ, т. XX, стр. 365—385.
 368. Соловьев А. В., К вопросу о взаимоотношениях произведений куликовского цикла (Задонщина, Летописная повесть, Сказание о Мамаевом побоище), — «Русская литература», Л., 1965.
 369. Соловьев С. М., История России с древнейших времен, т. I, М., 1959.
 370. Спасский И. Т., Русская монетная система, Л., 1962.
 - 370а. Сперанский М. Н., История древнерусской литературы. М., 1914.
 371. Строев П. М., Списки иерархов и настоятелей монастырей Российской церкви, СПб, 1877.
 372. Строков А. А. и Богусевич. Новгород Великий, М., 1939.
 373. Строков А. А., Общий курс истории военного искусства, М., 1952.
 374. Сузюмов М. Я., Борьба за пути развития феодальных отношений в Византии, — «Византийские очерки», М., 1961.
 375. Сушицкий Ф., Из лекций по литературе Южной и Западной Руси XV—XVIII вв. О западно-русских летописях, Киев, 1915.
 376. Сушицкий Т., Західноруські Лїтописи як пам'ятки літератури, ч. I, Київ, 1921; ч. II 1929.
 377. Сырку П. А., Время и жизнь патриарха Евфимия, СПб, 1901.
 378. Сырку П. А., К истории исправления книг в Болгарии в XIV в., СПб., т. I, 1890; т. II, 1898.
 - 378а. Сыроечковский Е., Гости-сурожане, М., 1935.
 379. Тихомиров И. А., Галицкая митрополия, М., 1895.
 380. Тихомиров И. А., О составе западно-русских т. н. литовских летописей, — ЖМНП, 1901, март, май.
 381. Тихомиров М. Н., Источниковедение СССР, М., 1962.
 382. Тихомиров М. Н., «Списки русских городов дальних и ближних», — «Исторические записки», 1952.
 383. Тихомиров М. А., Древняя Москва, М., 1947.
 384. Тихомиров М. Н., Исторические связи русского народа с южными славянами, — в кн.: «Славянский сборник», 1947.
 385. Тихомиров М. Н., Куликовская битва 1380 г., — в кн.: «Повести о Куликовской битве», М., 1959.
 386. Тихомиров М. Н., Куликовская битва, — ВИ, 1955, № 9.
 387. Толстой, Древнейшие монеты вел. княжества Киевского, М., 1901.
 388. Томашевский С., До исторіі Перемышля І Ієго катедры, — «Записки чина св. Василия Великого», т. III, Львів, 1928.
 389. Удальцова З. В., Византийская империя в последние столетия своей истории. Завоевания турок на Балканском полуострове. Византия и Запад, — в кн.: «История Византии», т. III.
 390. Удальцова З. В., Завоевание турками Византии и падение Константинополя, — в кн.: «История Византии», т. III.
 - 390а. Удальцова З. В., Византийский историк Критовул о южных славянах и других народах Балканского полуострова в XV в., — ВВр., 1951.

391. Удальцова З. В., Основные причины падения Византии и последствия турецкого завоевания, — в кн.: «История Византии», т. III.
392. Удальцова З. В., Предательская политика феодальной знати Византии в период турецкого завоевания, — ВВр, т. VII, 1953.
393. Удальцова З. В., Борьба партий в Византии в XV в., — «Вестник МГУ», 1947, № 1.
394. Удальцова З. В., Советское византиноведение за 50 лет, М., 1969.
395. Ульяницкий В. А., Монеты, чеканенные польскими королями для Галицкой Руси в XIV—XV вв., — «Труды Московского нумизматического общества», ч. I, М., 1898.
396. Успенский П., История Афона, т. III, СПб., 1892.
397. Успенский Ф., История Византийской империи, т. III, М.—Л., 1948.
398. Успенский Ф., Очерки по истории византийской образованности, СПб., 1891.
- 398а. Успенский Ф., Византийские историки о монголах и египетских мамлюках, — ВВр, XXIV, 1926.
399. Успенский Ф., Очерк истории Трапезунтской империи, Л., 1929.
400. Федоров Г., Материалы и исследования, т. II, под ред. А. В. Арциховского, М., 1949.
401. Федоров Г., Топография кладов с литовскими монетами, — КСИИМК, вып. 49, 1949.
402. Федоров С., Борьба за межи в степовой епархии XIII—XIV ст., — «Записки чина св. Василия Великого», т. IV, Львів, 1935.
403. Федоров-Давыдов Г. А., Кочевники Восточной Европы под властью золотоордынских ханов, М., 1966.
404. Филевич И. П., Борьба Польши и Литовской Руси за Галицко-Владимирское наследие, СПб., 1890.
- 404а. Филевич И. П., Вопрос о двух русских народностях и «Киевская старина», — «Варшавские университетские известия», 1905, № 5.
405. Филевич И. П., К вопросу о борьбе Польши и Литовской Руси за галицко-владимирские наследия, — ЖМНП, 1891.
406. Флоринский, Политическая и культурная борьба на ближнем Востоке в первой половине XIII в., — «Университетские известия», Киев, 1883.
407. Флоровский, Чехи и восточные славяне, т. I, Прага, 1935.
408. Франчес Э., Классовая позиция византийских феодалов в период турецкого завоевания, — ВВр, т. XV, 1959.
409. Хорошкевич А. Л., Торговля Великого Новгорода в XIV—XV вв., М., 1963.
410. Хрущев И. П., О памятниках, прославивших Куликовскую битву, — «Труды Третьего археологического съезда в России», т. II, Киев, 1878.
411. Церковь в истории России, под. ред. Н. А. Смирнова, М., 1967.
412. Чамярыцкі В. А., Беларускай летапісы як помнікі літаратуры, Мінск, 1968.
413. Черноусов Е., Дука один из историков конца Византии, — ВВр, т. XXI, СПб., 1914 (1915).

414. Черепнин Л. В., Летописец Даниила Галицкого, — ИЗ, т. 12, 1941.
- 414а. Черепнин Л. В., Духовные и договорные грамоты Дмитрия Донского как источник, — ИЗ, № 24, 1947.
415. Черепнин Л. В., Русские феодальные архивы XIV—XV вв., ч. I, 1948; ч. II, 1951, М.—Л.
416. Черепнин Л. В., Образование Русского централизованного государства, М., 1960.
417. Черепнин Л. В., Отражение международной жизни XIV—начала XV в. в московском летописании, — в кн.: «Международные связи России до XVIII в.», М., 1961.
418. Черепнин Л. В., Исторические условия формирования русской народности, М., 1958.
419. Черепнин Л. В., К вопросу о характере и форме древнерусского государства X—начала XIII вв., — «Исторические записки», № 89, 1972 (издание Института истории СССР Академии наук СССР).
420. Чистович И., Очерки истории западно-русской церкви, ч. I, СПб., 1882.
421. Чичерин Б. Н., Опыты по истории русского права, СПб., 1860.
422. Чубатий М., Державно-правне становище українських земель литовської держави під кінець XIV в., — НЗТШ, т. 134—135, Львів, 1924; т. 144—145, 1929.
423. Шамбинаго С. К., Повести о Мамаевом побоище, СПб., 1906.
424. Шамбинаго С. К., Статьи по истории русского летописания, — в кн.: «История русской литературы», т. II.
425. Шамбинаго С. К., Летописные редакции повести о Мамаевом побоище. Древности, — «Труды Славянской комиссии Московского археологического общества», т. 4, вып. 1, М., 1970. Протоколы.
426. Шараневич И., История Галицко-Владимирской Руси от найдавніших времен до роки 1453, Львов, 1853.
427. Шахматов А. А., Обозрение русских летописных сводов XIV—XVI вв., М.—Л., 1938.
428. Шахматов А. А., О супрасльском списке Западно-русской летописи, — «Летопись занятий Археологической комиссии за 1900 г.», т. 13, 1901.
429. Шахматов А. А., Симеоновская летопись XVI в. и Троицкая летопись начала XV в., — ИОРЯС, 1900.
- 429а. Шахматов А. А., Общерусские летописные своды XIV—XV вв., — ЖМНП, 1900—1901.
430. Шахматов А. А., Отзыв на сочинение С. К. Шамбинаго, — «Отчет о 12-м присуждении премии Макария», 1910.
431. Шахматов А. А., Сборник статей и материалов (1864—1920), М.—Л., 1947.
432. Шахматов А. А., О так называемой Ростовской летописи, — ЧОЛДР, т. I (208), 1904.
- 432а. Шевырев С., История русской словесности, т. III, СПб., 1887.
433. Щапов Я. Н., Княжеские уставы и церковь в древней Руси, М., 1972.

434. Щапов Я. Н., Южнославянский политический опыт на службе у русских идеологов XV в., — ВВр., т. II, София, 1966.
435. Экземплярский А. В., Великие и удельные князья Северной Руси в татарский период (1238—1505), т. I, СПб., 1889; т. II, СПб., 1891.
436. Ючас М. А., Литовское великое княжество во второй половине XIV — начале XV в. и борьба литовского народа за независимость (автореферат канд. дисс.), М., 1956.
437. Ючас М. А., Русские летописи XIV—XV вв. как источник по истории Литвы, — «Труды АН Литовской ССР», сер. А, т. 2 (5), 1958.
438. Ючас М. А., Летопись великих князей литовских, — «Труды АН Литовской ССР», сер. А, № 2 (3), Вильнюс, 1957.
- 438a. Якубовский А. Ю., Тимур, — ВИ, 1946, № 8—9.
439. Янин В. Л., Денежно-весовые системы русского средневековья, М., 1956.
440. Янин В. Л., Печати Великого Новгорода, М., 1970.
441. Яцимирский А. И., «Сказание вкратце о молдавских господарях» в Воскресенской летописи, — ИОРЯС, т. VI, кн. I, СПб., 1900.
442. Яцимирский А. И., Из истории славянской письменности в Молдавии и Валахии XV—XVIII вв., — «Памятники древней письменности», вып. LXII (162), 1906.
443. Яцимирский А. И., Григорий Цамблак. Очерк жизни и деятельности, СПб., 1904.
444. Abraham Wł., Powstanie organizacyi kościoła łacinskiego na Rusi, t. I, Lwów, 1904.
445. Abraham Wł., Biskupstwa łacinskie w Moldawii w XIV i XV w., — KH, R. XVI, 1902.
446. Abraham Wł., Sprawozdanie z poszukiwan w archiwach i bibliotekach rzymskich do dziejow Polskich w wiekach srednich za lata 1899—1913, — AKHAU, t. XIII, 1923.
447. Abraham Wł., Polska a chrzest Litwy, "Polska i Litwa w dziejowym stosunku", Warszawa, 1914.
448. Abraham Wł., Jakub Strepa Halicki 1391—1400, Kraków, 1908.
449. Adamus J., O tytule panujacego i państwa litewskiego pare spostrzezen, KH, R. XLIII, 1930.
450. Adamus J., Państwo litewskie w latach 1386—1398, Księga Pamiątkowa ku uczczeniu 400-letniej rocznicy wydania I statutu litewskiego, Wilno, 1935.
451. Adamus J., O prawno-państwowym stosunku Litwy do Polski, 1935, Lwow.
- 451a. Adamus J., Najnowsza literatura o akcie Krewskim, Wiadomosci Studium prawa Litewskiego, t. I, 1938.
452. Amman M., Abriß der ostslavischen Kirchengeschichte, Wien, 1950.
453. Andreewa, Zur Reise Manuels II Palaiologos nach Westen Europa, — BZ, Bd 34, 1892.
454. [Angelov B.] Ангелов Б., Из старата българска, руска и сръбска литература, София, 1958.
- 454a. [Angelov D.] Ангелов Д., Турското завоевание и борбата на балканските народы против нашествениците, София, 1953.
455. Arndt R., Die Beziehungen K. Sigismunds zu Polen (dis 1912), Halle, 1897.

- 455a. Arion D. C., *Din hrisoareli lui Mircea cel Batran (1386—1418)*, Bukareszt, 1930.
456. Avizonis K., *Die Entstehung und Entwicklung des litauischen Adels im 13 und 14 J. bis zur litauisch-polnischen Union 1385*, — "Historische Studien", H. 223, Halle, 1932.
457. Babinger F., *Die Geschichtsschreiber der Osmanen und ihre Werke*, Leipzig, 1927.
458. Bachus O., *Motives of West Russian nobles in deserting Lithuania from Moscow, 1377—1514*, Lawrence, 1957.
- 458a. Bachus O., *Die Rechtstellung der Litauischen Bojaren*, — "Jahrbücher für Geschichte Osteuropa", Bd 6, 1958.
459. Balcer O., *Genealogia Piastow*, Krakow, 1895.
- 459a. Balcer O., *Krolestwo Polskie, 1295—1370*, t. I, 1919; t. II, 1920; t. III, 1920.
- 459b. Balcer O., *Stosunek Litwy do Polski*, — "Pisma posmiertne", t. I, Lwów, 1937.
460. Bardach J., *Historia panstwa i prawa Polski*, t. I, Warszawa 1957.
461. Bardach J., *Studia z ustoru i prawa Wielkiego ks. Litewskiego XIV—XVII w.*, Warszawa, 1970.
462. Bardach J., *Krew i Lublin*, KH, 3, 1969.
463. Baszkiewicz J., *Powstanie zjednoczonego panstwa polskiego na przelomie XIII—XIV ww.*, Warszawa, 1954.
464. Baszkiewicz J., *Polska czasow Lokietka*, Warszawa, 1968.
465. Beck H. G., *Kirche und theologische Literatur im Bizantinischen Reich*, München, 1959.
466. Beckman G., *Der Kampf Kaiser Sigmunds gegen Osmanen (1392—1437)*, Gotha, 1902.
- 466a. Belle H., *Polen und die römische Kurie in den Jahren 1414—1424*, — "Osteuropischen Forschungen", H. 2, Berlin, Leipzig, 1914.
467. Bobrzynski M., *Smolka St. Jan Dlugosz, j jego zycie i stanowisko w pismnictwie*, Kraków, 1893.
468. Breiter E., *Wladislaw ks. Opolski*, Lwów, 1899.
469. Buga K., *Die lituaisch-weissrussischen Beziehungen*, — "Zeitschrift für Slavphilologie", Bd I, 1924.
470. [Burmow A.] Бурмов А., *История на България през времето на Шишмановци (1323—1396)*, — «Годишник на Софийски университет», XLIII, София, 1947 г.
- 470a. Charmoy M., *Expedition de Timour-link contre Toqtamich 1391*, SPb., 1836.
471. Chodynicky K., *Kosciol prawoslawny a Rzeczpospolita Polska*, Warszawa, 1934.
- 471a. Chodynicky K., *Próby zaprowadzenia chrzescijanstwa na Litwie w 1386*, — PH, t. 18, 1914.
472. Chodynicky K., *Ze studiow nad dziejopisarstwem litewskoruskim*, — AW, R. III, 1925—1926.
473. Czermak W., *Sprawa rownoupawnienia schizmatyków i katolikow na Litwie 1433—1563*, RAU, t. XLIV, 1903.
474. Czolowski A., *Sprawy woloskie w Polsce do r. 1412*, — KH, R. V, 1891.
475. Dąbrowski J., *Ostatnie lata Ludwika W. 1370—1382*, Kraków, 1918.
476. Dąbrowski J., *Dzieje Polski sredniowiecznej*, t. I, II, Kraków, 1926.

477. Dąbrowski J., Koronacje andegawenskie w Polsce, Krakow, 1938.
478. Dąbrowski J., Krolowa Jadwiga, — "Przeglad Powszechny", R. XL, t. 200, 1933.
- 478a. Dąbrowski J., Ze studiow nad kroniką Janka z Czarnkowa, — PAU, t. 51, 1950.
479. Ditten H., Bemerkungen zu L. Chalkokondyles. Nachrichten über die Länder und Völker an den europäischen Küsten des Schwarzes Meeres, Klio, 1965.
480. Dölger F., Regesten der Keiserurkunden des Oströmischen Reiches, Bd I, II, 1924—1927; Bd III—V, München, Berlin 1932—1965.
- 480a. Dölger F., Byzanz und die europäische Staatenwelt, Ettal, 1953.
- 480b. Dölger F., Karajannopulos, — "Byzantinische Urkundenlehre" München, 1968.
481. Duchinski F., Les Moscovites Grands Russes, d'après leur origine éléments et tendances, Constantinopol, 1854.
482. Duchinski F., Zasady dziejow Polski i inych krajow slowianskich i dziejow Moskwy, Pariz, 1858, 1860, 1862.
483. Duchinski F., Le monument de Novogrod, etudes sur les peuples Indo-Europeens et Turaniens, Paris, 1862.
484. Dzieduszycki M., Zb. Olensnicki, t. I—II, Krakow, 1853.
- 484a. Dujceev J., Byzance apres Byzance et les Slaves, — "Medioevo Bizantino-slavo", Rome, 1968.
485. Dworzaczek W., Genealogia, Warszawa, 1959.
- 485a. Fedotov G. B., The Russian Religians Mind, Cambridge, 1966.
486. Fennell J. L., The Emergence of Moscow, London, 1968.
487. Fennel J. L., The Tver Uprising of 1327, — «Jahrbücher für Geschichte Osteuropas», Heft 2, 1967.
488. Fessler, Kleine Geschichte von Ungarn, Bd II, Leipzig, 1869.
489. Fijalek J., Biskupstwa greckie na ziemiach ruskich od pol. XIV w., — KH, R. XI, 1897.
490. Fijalek J., Kościół rzymsko-katolicki na Litwie, — "Polska i Litwa w dziejowym stosunku", Warszawa—Kraków, 1914.
491. Fijalek J., Sredniowiecze biskupstwa Kościoła wschodniego na Rusi i Litwie na podstawie źródel greckich, — KH, R. X, 1896.
- 491a. Frcek J., Zadonstina, Starorusy zalospev o boji rusu s tatary r. 1380, — "Rozprava literarne dejepisna", Praha, 1948.
492. Gelzer H., Beiträge zur russischen Kirchengeschichte aus griechischen Quellen, — "Zeitschrift für Kirchengeschichte", Bd XIII, Gotha, 1892.
493. Genov M., Grigorij Zamblak, Sofija, 1930.
494. Gentzen F., Sprawa ziem polskich w rewiz, historiografii Niemiec Zachodnich, — KH, 1955.
495. Giese F., Die altosmanischen anonymen Chroniken, Breslau, Leipzig, 1925.
496. Cieysztor A., Slask i Pomorze w dziejepisarstwie polskim wiekow srednich, Warszawa, 1956.
- 496a. Gieysztor A., Uwagi o kształtowaniu się, naradowosci polskiej we wczesniejszym sredniowieczu na ziemiach polskich, — "Pochodzenie jezuka polskiego", Warszawa, 1956.
497. Gieysztor A., Polska a kraje niemieckie w Sredniowieczu, Warszawa, 1964.

498. Gilewicz A., Stanowisko i działalność gospodarcza Wł. Opolczyka na Rusi w latach 1372—1378, Lwów, 1929.
499. Golezowski A., Zbiór pisarzy polskich, V, Warszawa, 1939.
500. Gorka O., Dziejowa rzeczywistość a racja stanu Polski na południowym wschodzie, — PN, 1933, z. 1—2.
501. Gorka O., Stan badań i zadania historiografii stosunków polskorumyńskich, — PH, 1925.
502. Gorka O., Zagadnienie czarnomorskie w polskiej polityce średniowiecznej, Cz. I (1359—1506), — PH, 1933.
503. Goyski M., Wzajemne stosunki Polski, Litwy i Zakonu w latach 1399—1404, — PNL, R. XXXIV, 1906.
504. Goyski M., Sprawa zastawy Ziemi Dobrzyńskiej przez Władysława Opolczyka Zupierwsze lata sporu (1391—1399), — PH, t. III, 1906.
505. Grodecki R., Polska Piastowska, Warszawa, 1966.
506. Grümel V., Titulature de mitropolites byzantins, Bucaresti, 1948.
507. Grümel V., Les Regeste des Actes du Patriarcat de Constantinople, Chalcedon, 1932.
508. Gumowski M., Numizmatyka Litewska wieków średnich, Kraków, 1921.
509. Gumowski M., Podręcznik numizmatyki polskiej, Kraków, 1914.
510. Halecki O., Wcelenie i wznowienie państwa litewskiego przez Polskę, — PH, 1917—1918.
511. Halecki O., Dzieje unii Jagiellońskiej, t. I—II, Kraków, 1919—1920.
512. Halecki O., The Ecclesiastical Separation of Kiev from Moscow in 1458, Graz, 1956.
513. Halecki O., Grenzraum des Abendlandes. Eine Geschichte Ostmitteleuropas, Salzburg, 1957.
514. Halecki O., Geografia polityczna ziem ruskich Polski i Litwy (1340—1569), — STN, 1917.
515. Halecki O., Przyczynki genealogiczne do dziejów układu Krewzkiego, — "Miesięcznik Heraldyczny", t. 14, 1935.
516. Halecki O., Witold, Warszawa, Lwów, 1930—1931.
517. Halecki O., Idea Jagiellońska, — KH, R. LI, 1937.
518. Halecki O., From Florence to Brest (1439—1596), — "Sacrum Poloniae Millennium", t. V, Rzym, 1958.
519. Halecki O., Rome et Byzance au temps du grand schisme d'Occident, — "Collectio Theologica", t. XVIII.
520. Halecki O., Borderlands of Western Civilization. A History of East Central Europe, New York, 1952.
- 520a. Halecki O., Un empereur de Byzance a Rome, Warszawa, 1930.
- 520b. Halecki O., Przełom w dziejach unii kościelnej w XIV w., — "Przegląd Powszechny", 1929.
521. Hammer J., Geschichte des Osmanischen Reiches, Bd I, Pest, 1827.
522. Hammer-Purgstall J., Geschichte der Goldenen Horde in Kiptszak, Budapest, 1840.
523. Hellmann M., Zu den Anfängen des Litauischen Reiches, München, 1956.
524. Hellmann M., Zur Geschichte des Deutschtums in Litauen, — "Auslandsdeutsche Volksforschung", Bd I, 1937.
525. Heintz K., Fürst Witold von Litauen in seinem Verhältniss zum Deutschen Orden während der Zeit seines Kampfes um sein litau-

- sches Erbe, 1382—1401, — "Historische Studien", H. CLXV, Berlin, 1925.
526. Heyd, Geschichte des Levantehandels, Bd I—II, Berlin, [б. р.].
527. Historia Polski, t. I, cz 1, red. Lowmiasski, Warszawa, 1957.
528. Historia polityczna Polski, t. I—II, Warszawa, Krakow, 1920.
529. Huber A., Geschichte Österreichs, Bd II—IV, Gotha, 1885—1892.
530. Huber A., Ludwig I von Ungarn, — "Archiv für Österreichische Geschichte", Bd 66, 1885.
531. [Ivanov J.] Иванов И. Българското книжовно влияние в Русия при митрополит Киприан (1375—1406), София, 1958.
532. [Iretzek K.] Иречек К. Българският цар Срацимир Видински, Београд, 1882.
533. История народа Югославие, т. I, Београд, 1955.
534. История на България, т. I, София, 1954.
- 534a. [Ihtziev D. A.] Ихчиев Д. А., Материали за историята под турското рабство, София, 1906.
535. Jablonowski A., Sprawy wołoskie za Jagiellonów (wstęp), — "Zrodla Dziejowe", t. X, Warszawa, 1878.
536. Jablonowski A., Historia Rusi Poludniowej do upadku Rzeczypospolitej Polskiej, Krakow, 1912.
537. Jablonowski A., Polska XVI w., t. VII, 2, Ziemie ruskie. Rus Czerwona, t. VIII, Ziemie ruskie. Wołyn i Podole, t. XI, Ziemie ruskie. Ukraina, t. XII, Warszawa, 1935.
538. Jablonski K., Die offizielle Urkundensprache des Großfürstentums als kulturgeschichtliche Quelle, Rigae, 1938.
539. Jakubowski J. S., Studia nad stosunkami narodowosciowymi na Litwie przed unią Lubelską, Warszawa, 1912.
540. Jaworski J., Zagadnienie feodalizmu litewskiego i zachodniego, Lwów, 1935.
541. Jorga N., Geschichte des Osmanischen Reiches, Bd I, Gotha, 1908.
542. Jorga N., Geschichte des rumänischen Volkes, Bd I, Gotha, 1905.
543. Jorga N., Byzance apres Byzance, Bucarest, 1943.
544. Kaczmarczyk Z., Monarchia Kazimierza Wielkiego, Poznań, 1947.
- 544a. Kaczmarczyk Z., Kazimierz Wielki, Warszawa, 1948.
545. Kaluznianski, Werke des Patriarchen von Bulgarien Euthymius (1375—1393), Wien, 1901.
- 545a. Kaluznianski, Aus der panegirischen Literatur der Südslaven, Wien, 1901.
546. Kamieniecki W., Geneza państwa Litewskiego, — PH, t. 19, 1915.
547. Kamieniecki W., Spolczeństwo litewskie w XV w., Warszawa, 1947.
548. Khitrowo B., Itinéraires russes en Orient, Genewa, 1889.
549. [Kiselkov V.] Киселков В. Патриарх Евфимий, София, 1938.
- 549a. [Kiselkov] Киселков В., Проуки и очерти по старобългарска литература, София, 1956.
550. Kling G., Die Schlacht bei Nikopolis in 1396 J., Berlin, 1903.
551. Klimas P., Litwa starozytna, Wilno, 1921.
552. Kochanowski J., Witold w.k. litewski, — "Studium historyczne, Lwów, 1900.
- 552a. Koehler A., Die Schlachten von Nikopolis und Warna, Breslau, 1882.

553. Kolankowski L., *Dzieje Wielkiego Księstwa Litewskiego za Jagellonów*, t. I, 1377—1499, Warszawa, 1930.
554. Kolankowski L., *Polska Jagiellonów*, Lwów, 1936.
555. Kolankowski L., *Problem Krymu w czasach jagiellońskich*, — KH, R. 49, 1935.
556. Koneczny F., *Jagiello i Witold*, Lwów, 1893.
557. Koneczny F., *Polityko Zakonu niemieckiego w latach 1389—1399*, — RAU, t. XXIV, 1889.
558. Koneczny F., *Vitoldiana*, — AW, R. VII, z. 3—4, 1930.
559. Korduba M., *Roswój i obecny stan badań nad latopisami staroruski Balticoslavica*, t. II, Wilno, 1936.
560. Krakowski S., *Polska w walce z najazdami tatarskimi w XIII w.*, Warszawa, 1956.
561. Krakowski S., *Korjatowicze i sprawa podolska w XIV w.*, — AW, R. XIII, Wilno, 1938.
562. Krumbacher K., *Geschichte der Byzantinische Literatur (527—1453)*, Berlin, 1897.
563. Krzyzanowski St., *Początki Wołoszczyzny*, — RAU, t. XXIV.
564. [Krindjalov D.] Кр ѣнд жал ов Д., *Мирчо Добруджа*, — «Годишник на Софийском университете», т. XLII (42), 1946.
565. Kuczynski St. M., *Ziemie czernigowsko-siewierskie pod rządami Litwy*, Warszawa, 1936.
566. Kuczynski St. M., *Wielka wojna z Zakonem krzyżackim w latach 1409—1411*, Warszawa, 1960.
567. Kuczynski St. M., *Studia z dziejów Europy Wschodniej X—XVII w.*, Warszawa, 1956.
568. Kuczynski St. M., *Rozbiór krytyczny roku 1385 "Dziejów Polski J. Długosza"*, — "Studia Zdroznawcze", t. III, Poznań, 1958.
569. Kuczynski St. M., *Tatary wobec Litwy i Moskwy w II poł. XV w.* — "Problemy Europy Wschodniej", Poznań, 1938.
570. Kürbisowna B., *Studia nad Kroniką Wielkopolską*, Poznań, 1952.
571. Kupelwieser L., *Die Kämpfe Ungarns mit den Osmanen bis 1526*, Leipzig, 1895.
572. Kutrzeba St., *Historia ustroju Polski w zarysie*, t. I, Korona; t. II, Litwa; Lwów, 1920 [1949].
573. Kutrzeba St., *Unia Polski z Litwą*, — "Polska i Litwa w dziejowym stosunku", Warszawa, 1914.
574. Labuda G., *Polska granica Zachodnia*, Poznań, 1971.
575. Labuda G., *Zabieg o utrzymanie jedności państwa Polskiego w latach 1138—1146*, — KH, R. 66, 1959.
576. Labuda G., *Uwagi o zjednoczeniu państwa Polskiego na przełomie XIII—XIV w.*, — KH, R. 62, z. 3, 1955.
577. Labuda G., *Stare i nowe tendencje w historiografii zachodnio-niem.*, — "Przegląd Zachodni", 1956.
578. Laurent A., *Aux origines de l'Eglise de Moldavie*, — «Revue des études Byzantines» № 5, 1947.
579. Lascaris M., *Influences byzantines dans la diplomatie bulgare, serbe, et slavo-romaine*, — "Byzantino-Slavica", t. III, Praga, 1931.
580. Lewicki A., *Kiedy Witold został wielkim ks. Litwy?*, — KH, R. VIII, 1894.
- 580a. Lewicki A., *Sprawa unji kościelnej za Jagielly*, — KH, R. VI.

581. Likowski, Kwestia unii Kościoła wschodniego z zachodnim na soborze Konstańskim, — "Przegląd Kościelny", t. VIII, 1905; t. IX, 1906.
582. Limanowski M., Najstarsze Wilno, — "Wilno i ziemia Wileńska", t. I, Wilno, 1930.
583. Lorenz, Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter, Berlin.
584. Lowmianski H., Studia nad początkami społeczeństwa i państwa Litewskiego, tt. I, II, Wilno, 1931, 1932.
585. Lowmianski H., Uwagi w sprawie podłoża społecznego i gospodarczego unji jagiellońskiej, Wilno, 1935.
- 585a. Lowmianski H., Wcelenie Litwy do Polski w 1386 r., — AW, R. XII, 1937.
586. Lowmianski H. Z., Zagadnień Spornych Społeczeństwa litewskiego w wiekach średnich, — PH, t. 40. 1950.
587. Lowmianski H., Agresja Zakonu na Litwie, w w. XIII—XV, — PH, 1954.
588. Lowmianski H., O znaczeniu nazwy "Rus" w wieku X—XIV, — KH, t. LXIV, 1957, № 1.
589. Lowmianski H. Rec., G. Rhode, Die Ostgrenze Polens, — KH, t. LXIV, № 2, Köln, 1957.
590. Lowmianski H. Rec., A. Soloviev, Der Begriff "Russland" im Mittelalter, — KH, 1957, t. LXIV, № 6.
591. Maciejewska M., Dzieje ziemi Połockiej (1385—1430), — AW, t. VIII, 1933.
592. Maleczynski K., Bolesław Krzywousty, Kraków, 1947.
593. Maleczyńska E., Książęce lenno mazowieckie, Lwów, 1929.
594. Maleczyńska E., Społeczeństwo polskie pierwszej połowy XV w. wobec zagadnień zachodnich, Wrocław, 1947.
- 594a. Maleczyńska E., Ruch hysycki w Czechach i w Polsce, Warszawa, 1959.
- 594b. Maleczyńska E., Ze studiów nad hasłami naradowościowymi w źródłach doby husockiej, — PH, 1952.
595. Malyucz E., Die Zentralizationbestrebungen König Sigismunds in Ungarn, 1960.
- 595a. Matyjów, Der polnisch-ungarische Streit um Galizien, Lemberg, 1886.
596. Mayendorff J., Alexis und Roman: A study in Byzantino-Russian Relations, — "Byzantino-slavica", t. 28, 1967.
- 596a. Mazon A., Le Slovo d'Igor, Paris, 1940.
- 596b. Mosin V., Русские на Афоне — "Byzantino-Slavica", t. IX, 1947—1948.
597. Narbutt T., Dzieje starożytne narodu Litewskiego, t. I—IX, Wilno, 1835.
- 597a. Narbutt R., Dzieje narodu Litewskiego w krótkości zebrane, Wilno, 1856.
598. Natanson-Leski, Dzieje granicy Wschodniej, Warszawa, 1922.
599. Nicol D., Byzantium: its ecclesiastical history, London, 1972.
600. [Nikov P.] Ников П., Турското завладяване на България и сядбата на последните Шишмановци, София, 1928.
601. [Nikolaev V.] Николаев В., Славянобългарският фактор в християнизацията на Киевска Русия, София, 1949.
- 601a. Nistor Jan, Die Moldauische Ansprüche auf Pokutia, — "Archiv für Österreichische Geschichte", Bd 100, 1910.
602. Norden W., Das Papsttum und Byzanz, Berlin, 1903.

603. Nowak Z., *Polityka polnocna Zygmunta Luxemburskiego do 1414*, Torun, 1964.
- 603a. Nowak Z., *Walka z agresja, Zakonu Krzyzackiego w okresie zjednoczenia panstwa polskiego*, Warszawa, 1952.
604. Obolenski D., *The Byzantine Commonwealth. Eastern Europe 500—1453*, London, 1971.
605. Ochmanski E., *Historia Litwy*, Warszawa, 1967.
- 605a. Ochmanski E., *Organizacja obrony w Wielkim Ksiezwie Litewskim przednapadem tatarow Krymskich w XV—XVI w.*, — "Studia i materialy do historii wojskowosci", t. V, 1950.
606. Osten-Sacken P., *Livländisch-russische Beziehungen während der Regierung des Grossfürsten Witowt von Litauen (1392—1430)*, "Mittellungen aus dem Gebiete der Geschichte der Liv-Est- und Kurlands", Bd XXX, Riga, 1910.
607. Ostrogorski G., *Dzieje Byzantium*, Warszawa, 1967.
608. Papadapoullous R. H., *The History of the Greek Church and People under Turkish Domination*, Brussel, 1952.
- 608a. Paszkiewicz H., *Polityka ruska Kazimierza Wielkiego*, Warszawa, 1925.
609. Paszkiewicz H., *Jagiellonowie a Moskwa*, Warszawa, 1933.
610. Paszkiewicz H., *O genezie in wartosci Krewa*, Warszawa, 1937.
611. Paszkiewicz H., *The Making of Russian nation*, London, 1963.
612. Paszkiewicz H., *The Origin of Russia*, London, 1954.
613. Pastor L., *Geschichte der Päpste*, Bd I—II, Frieburg, 1886, 1889.
614. Pelesz J., *Geschichte der Union der Rutenischen Kirche mit Rom*, Bd I, Wien, 1878.
615. Pfitzner J., *Großfürst Witold von Litauen*, Praga, Leipzig, 1930.
616. Pieradska K., *Bitwa Grünwaldska w obcych relacijach kronikarskich*, — "Historische Studien", R. III, z. 1—2, 1960.
617. Prochaska A., *Długosz o Witoldez*, — PNL, R. VIII, 1880.
618. Prochaska A., *Dzieje Witolda W. Ks. Litowskiego*, Warszawa, 1914.
619. Prochaska A., *Krol Wladyslaw Jagiello*, t. I—II, Kraków, 1908.
620. Prochaska A., *Podole lennem Korony 1352—1430*, — RAU, t. XIV, 1895.
621. Prochaska A., *Holdy mazowieskie 1386—1430*, — RAU, t. XLVII, 1905.
622. Prochaska A., *Przyczynki krytyczne do dziejów unii*, — RAU, t. XXXIII, 1896.
623. Prochaska A., *Sprawy woloskie w XV w.* — PNL, R. XVI, 1888.
624. Prochaska A., *Z Witoldowych dziejów. Uklad Witolda z Tochtamyszem*, — PH, t. XV, z. 3, 1912.
625. Prochaska A., *Znaczenie niedoszlej koronacji Witolda*, — AW, R. 1923.
626. Prochaska A., *O Raciaskiem przymierzu Jagielly i Witolda z Krzyzakami*, — PH, t. XV, 1912.
- 626a. Prochaska A., *Odzyskanie Trembowli w 1390 r.*, — KH, t. VIII.
627. Prochaska A., *Polska a Czechy az do powolania Korybuta*, — RAU, t. VII—VIII.
628. Prochaska A., *Upadek Kiejstuta*, — KH, t. XXXIII, z. 4, 1909.

629. Pułaski K., Stosunki z Tatarszyzną w połowie XV w., Ateneum, 1882.
630. Pułaski K. Stosunki Polski z Tatarszczyzną od połowy XV w., Ateneum, 1881.
631. Pużyna J., Korjat in Korjatowicze, — AW, t. VII, z. 3—4, 1930.
632. Pużyna J., Pierwsze wystąpienia Korjatowiczów na Rusi południowej, — AW, R. XIII, 1938.
633. Pużyna J., W sprawie pierwszych walk litwinów z tatarami o Rus w latach 1238—1243, — PH, t. 9, 1937.
634. Radziszewska J., Echa bitwy grunwaldskiej w ruskich łopisach, Warszawa, 1960.
- 634a. Rhode G., Die Ostgrenze Polens, B. I., Köln—Graz, 1957.
635. Rozbiór krytyczny annalium Poloniae Jana Długosza z lat 1395—1440, Krakow, 1961.
636. Ruch Husicki w Polsce. Wybor tekstow zrodlowych, Warszawa, 1955.
637. Runciman St., Upadek Konstantinopola, Warszawa, 1968.
638. Runciman St., The Great Church in Captivity. A study of Patriarchate of Konstantinopole from the Eve of the Turkish Conquest to the Greek War of Independence, Cambridge, 1968.
- 638a. [Rusev P., Davidov A.] Русев П., Давидов А., Григорий Цамблак, София, 1966.
639. Semkowicz Wl., Braterstwo szlachty polskiej z bojarstwem litewskim, Krakow, 1914.
- 639a. Silberschmidt, Das Orientalische Problem zur Zeit der Entstehung des türkischen Reiches nach Venez. Quellen, Leipzig, 1923.
640. Semkowicz A., Krytyczny rozbiór, "Dziejow polskich" Jana Długosza (do r. 1384), Krakow, 1887.
641. Sieradski J., Polska wieku XIV, Warszawa, 1959.
642. Skrzypek J., Bitwa pod Nikopolis, — PH, R. VII, 1936.
643. Skrzypek J., Poludniowo-wschodnia polityka Polski od koronacji Jagielly do smierci Jadwigi i bitwy nad Wersklą (1386—1399), Lwów, 1936.
644. Skrzypek J., Usunięcie Fedora Koriatowicza z Podola w 1393 r., Lwów, 1934.
645. Skrzypek J., Zygmunt Luksemburski i jego polityka wobec Polski w latach 1386—1399, — STN, R. XII, Lwowie, 1932.
646. Smolka St., Kiejstut i Jagiello, — PAU, t. VII, 1889.
647. Smolka St., Najdawniejsze pomniki dziejopisarstwa ruskoliteńskiego, — RAU, t. VIII, 1890.
648. Smolka St., Polska wobec wojen husyckich, Ateneum, 1879.
649. Smolka St., Unio Litwy z Koroną, Krakow, 1886, 1903.
650. [Snegarov J.] Снегаров И., Духовно-културни връзи между България и Русия през средните векове (X—XV в.), София, 1950.
651. [Snegarov J.] Снегаров И., Кратка история на съвременните православни църкви (българска, руска и сръбска), т. I, II, София, 1946.
652. Sofonija's Tale of the Russian-Tatar Battle on the Kulikowo Field, The Hague, 1963.
653. Spuler B., Die Goldene Horde. Die Mongolen in Russland 1223—1502, Leipzig, 1943 (1965).
654. Stachon B., Polityka Polski wobec Turcji w XV, Lwów, 1930.

655. Stadnicki K., Ziemia lwowska za rządów polskich w XIV i XV ww., Lwow, 1863.
656. Szajnocha K., Jadwiga i Jagiello, t. I—IV, 1861.
657. Szujski J., Ludowik Wegerski i bezkrólewie po jego smierci Opowiadania, t. III, Krakow, 1888.
658. Szujski J., Historia Polski, t. Krakow, [6. r.].
659. Szaraniewicz I., O latopisach i kronikach ruskich XV i XVI w., a zwlaszcza o latopisie "Wielkiego kniazstwa litowskiego i zamojskiego", — RAU, t. XV, 1882.
660. Sapoka A., Lietuvos Istorija, Kaunas, 1936.
661. [Todorov P.] Тодоров Р., Балканският град XV—XIX в., София, 1972.
- 661a. Turdeann E., La literature bulgare du XIV siècle et sa diffusion dans les pays roumains, Paris, 1947.
- 661b. Vaillant A., Les récits de Kulikovo: "Relation des chroniques" et "Skazanie de Mamai", — "Revue des etudes slaves", t. 39, Paris, 1961.
662. Vetulani A., Roman St. Sredniowiczny ruski przeklad Statutow ziemskich Kazimierza W., Wladyslawa Jagielly, Wroclaw, 1957.
663. Wasilewski L., Litwa Bialorus. Zarys hystoryczno-polityczny stosunków narodowosciowych, Warszawa, 1925.
- 663a. Wattenbach W., Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter, Bd I—II, Berlin, 1893—1898.
664. Weiß G., Joannes Kontakuzinos, Berlin, [6. r.].
665. Winter E., Russland und Papsttum, Bd I, Berlin, 1960.
666. Wlodarski B., Polska i Rus w 1194—1340, Warszawa, 1966.
- 666a. Wojciechowsky M. i Z., Polska Piastow Polska Jagiellonow, Poznań, 1946.
667. Wolff J., Senatorowie i dygnitarze Wielkiego ks. Litewskiego 1386—1795, Krakow, 1885.
668. Wolff J., Kniazowie litowsko-ruscy, Warszawa, 1895.
669. Wolinski J., Polska i koscioł prawoslawny, Lwow, 1936.
670. Zajaczkowski St., Witold kielki ks. Litewski, — AW, t. VII, 1930.
671. Zajaczkowski St., W sprawie badan nad dziejami stosunków polsko-litewskich za Jagiellonow, Poznań, 1958.
672. Zajaczkowski St., Dzieje Zakonu krzyzackiego, Łódz, 1946.
673. Zajaczkowski St., Przegląd badan nad dziejami Litwy do 1385 r., Wilnie, 1935.
674. Zakrzewski St., Wypadki lat 1382—1386 w związku z genezą, unii, Lwow, 1930.
675. Zdan M., Stosunki litowsko-tatarskie za czasów Witolda, — AW, t. VII, Wilno, 1930.
676. Zeisberg H., Dziejepisarstwo polskie wickow srednich, Warszawa, 1877.
677. Zinkeisen, Geschichte des Osmanischen Reiches, Bd I—IX, Gotha, 1840—1863.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

- АЕ — «Археологический ежегодник», М.
ВИ — «Вопросы истории», М.
ВВр. — «Византийский временник», М.
ЖМНП — «Журнал Министерства народного просвещения», СПб.
ЗВОРАО — «Записки Восточного отделения Русского археологического общества», М.
ИЖ — «Исторический журнал», М.
ИЗ — «Исторические записки», М.
ИОАИЭ — «Известия Общества археологии, истории, этнографии», Казань.
ИОРЯС — «Известия Отделения русского языка и словесности», М.
ИТО — «Известия Таврического общества литературы», Симферополь.
КСИИМК — «Краткие сообщения о докладах Института материальной культуры АН СССР», М.—Л.
НЗТШ — «Наукови записки товариства им. Шевченко», Львов.
РИБ — «Русская историческая библиотека», СПб.
РИЖ — «Русский исторический журнал», СПб.
ТВОАО — «Труды Восточного отдела археологического общества», СПб.
ТОДРЛ — «Труды отдела древнерусской литературы», СПб.
ЧОЛДР — «Чтения Общества любителей российских древностей», М.
AW — "Ateneum Wilienskie", Wilno.
BB — "Byzantinobulgarica", Sofija.
BZ — "Byzantinische Zeitschrift", München.
CSHB — "Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae", Bonnae.
KH — "Kwartalnik historyczny".
PAU — "Pamiętnik Akademii Umiejętnosci", Krakow.
PH — "Przegląd Historyczny".
RAU — "Rosprawy Akademii Umiejętnosci", Krakow.
PN — "Polityka narodow", Warszawa.
RTN — "Rocznik Towarzystwa Nauk", Poznan.

СОДЕРЖАНИЕ

От автора	3
Введение. Главные тенденции развития стран Восточной Европы XIII — первой половины XIV в. и становление восточноевропейской политики Орды .	13
Глава I. Международные отношения в Восточной Европе в 50-х — начале 80-х годов XIV в.	45
Политическое развитие Великого Владимирского княжения, Литвы и Польши в 50—70-х годах .	45
Главные тенденции политического развития Польши в 70-х — начале 80-х годов XIV в. (неизжитый «полицентризм», неудача польско-венгерской унии)	65
Политическое развитие Великого Владимирского княжения и великого княжества Литовского в 70-е годы XIV в.	85
Русская церковь и Царьград на рубеже 70—80-х годов XIV в.	105
Политическая жизнь Восточной Европы в начале 80-х годов XIV в. (от разгрома Мамая на Куликовом поле до взятия Тохтамышем Москвы) .	127
Литва и Московская Русь в 1382—1385 гг. . . .	165
Глава II. Политическая жизнь Восточной Европы в 1385—1400 гг.	182
Польша, Литва и Московская Русь в 1385—1389 гг.	182
Польша, Литва и Московская Русь в 1390—1398 гг.	195
Битва на берегах Ворсклы 1399 г. и ее политические результаты	223
Глава III. Международные отношения и политическое развитие Восточной Европы в 1400—1420 гг.	237
Политическая жизнь стран Восточной Европы в первом десятилетии XV в.	237
Политическое развитие стран Восточной Европы во втором десятилетии XV в.	266

Глава IV. Идеино-политические тенденции в исторических памятниках феодальной Руси конца XIV — начала XV в.	311
Несколько соображений по поводу идеологических настроений на Руси 1381 г.	314
Несколько соображений по поводу общерусского летописного свода 1392 г.	323
«Список русских городов дальних и ближних» — важный документ политической истории Восточной и Юго-Восточной Европы 90-х годов XIV в.	341
Новые веяния в идеологической жизни Руси второй половины 90-х годов XIV в.	380
Троицкая летопись — важный документ идеологической борьбы конца первого десятилетия XV в.	421
Восстановление общерусских тенденций в идеологической жизни феодальной Руси второго и третьего десятилетий XV в.	465
Заключение	483
Использованная литература	488
Список сокращений	517

Игорь Борисович Греков
ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА
И УПАДОК ЗОЛОТОЙ ОРДЫ
(на рубеже XIV—XV вв.)

*Утверждено к печати
Институтом славяноведения и балканистики
Академии наук СССР*

Редактор *З. Д. Кастельская*. Младший редактор *И. В. Бушуева*
Художник *М. И. Эльцуффен*. Художественный редактор *Э. Л. Эрман*
Технический редактор *М. В. Погоскина*. Корректоры *А. И. Киселева*
и *Р. Ш. Чемерис*

Сдано в набор 22/X 1973 г. Подписано к печати 24/I 1975 г. А09462.
Формат 84×108¹/₃₂. Бум. № 2. Печ. л. 16,25. Усл. п. л. 27,3. Уч.-изд. л. 29,77.
Тираж 7000 экз. Изд. № 2570. Зак. 747. Цена 1 р. 93 к.

Главная редакция восточной литературы издательства «Наука»
Москва, Центр, Армянский пер., 2

1-я тип. Профиздата, Москва, Крутицкий вал, 18.